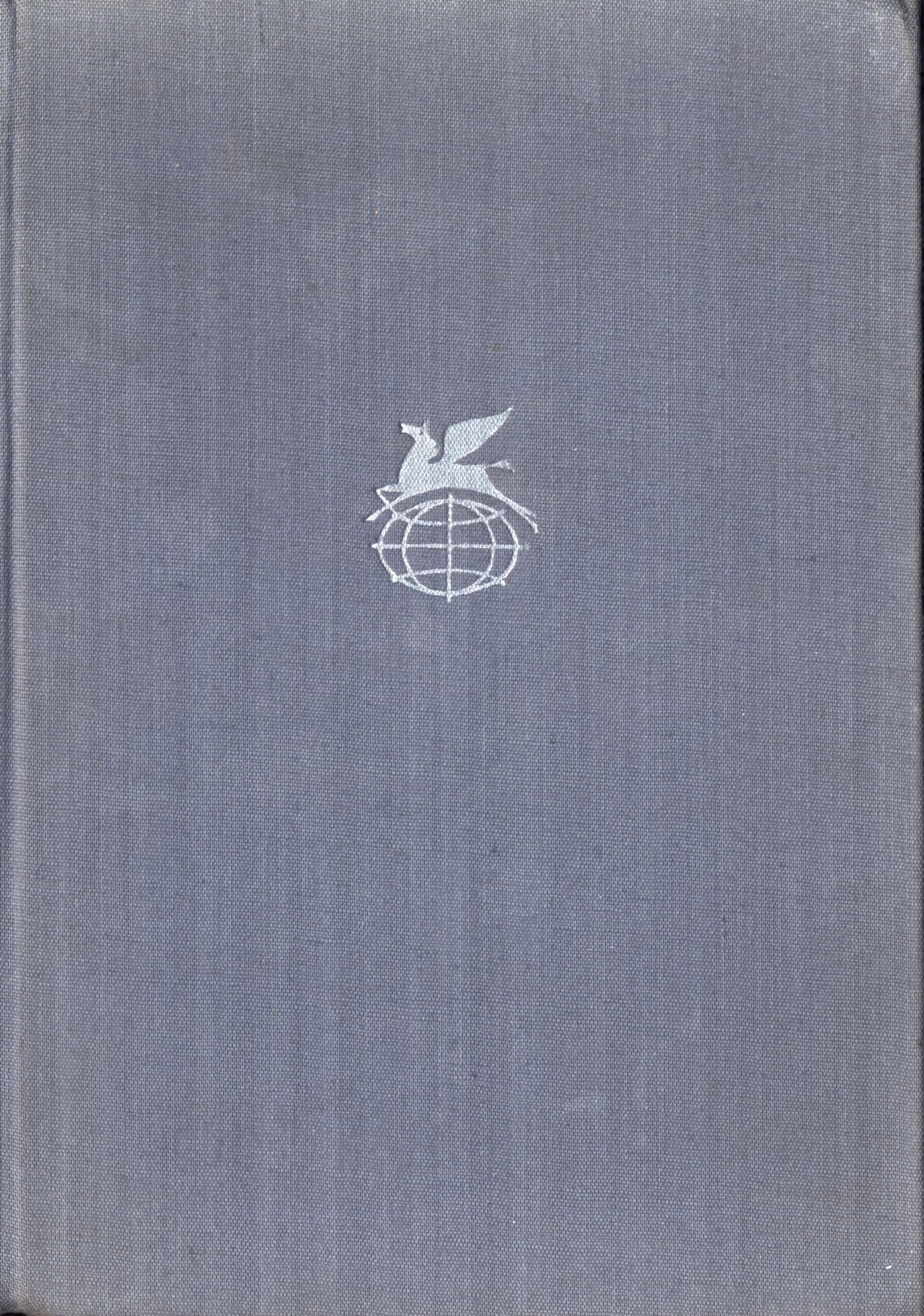






Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая ✻ ✻

Литература XX века

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

●

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С ЕВРЕЙСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1969

Вступительная статья
В. Финка

Составление, редакция переводов
и примечания
М. Беленького

Иллюстрации
А. Каплана

7—3—3
Подп. изд.



ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ И ЕГО ВРЕМЯ

1

Это был писатель удивительно счастливый: слава пришла к нему, когда он находился в расцвете таланта и вдохновения.

Однако, надо думать, лучезарная гостья была немало удивлена: дверь ей открыла хозяйка дома — Нищета. И по всему было видно, что она одевала жену и детей писателя, она обставила квартиру.

А самого писателя, этого жизнерадостного шутника, всегда советовавшего своим читателям смеяться, потому что это якобы полезно для здоровья, слава застала в постели, он даже не поднялся, чтобы встретить и приветствовать гостью. Он не смог сделать этого, так как харкал кровью: у него была чахотка.

Не могло быть иначе.

Шолом-Алейхему приходилось печататься в еврейских газетах. Издания были небогатые, и к тому же принадлежали они паукам. А пауки жестоко эксплуатировали и талант Шолом-Алейхема, и его бедность, и то добавочное, весьма для них важное обстоятельство, что Шолом-Алейхем был человек совершенно не деловой, с ним можно было делать что угодно — сопротивляться он не умел.

Поэтому и получалось, что если бы он работал в меру сил, не надрываясь, то возник бы вопрос, кто будет кормить семью. Разрешить этот вопрос было невозможно.

Если же хотеть непременно прокормить семью, то возникал другой вопрос: кто будет харкать кровью? Этот вопрос решался более легко, и всегда жребий падал на Шолом-Алейхема.

Вот что рассказывал он сам о своем житье-бытье в письме к своему близкому другу Спектору:

«...я полон сейчас мыслей и образов, так полон, что я, право, крепче железа, если я не разлетаюсь на части, но, увы, мне приходится рыскать в поисках рубля. Сгореть бы бирже! Сгореть бы деньгам! Сгореть бы на огне евреям, если еврейский писатель не может жить одними своими писаниями и ему приходится рыскать в поисках рубля! Меня спрашивают те, кто меня знает и видит каждый день, когда я пишу? Я, право, сам не знаю! Вот так я пишу: на ходу, на бегу, сидя в чужом кабинете, в трамвае, и как раз тогда, когда мне морочат голову по поводу какого-то леса, либо дорогого имения, какого-нибудь заводика,— как раз тогда вырастают прекрасные образы и складываются лучшие мысли, а нельзя оторваться ни на минуту, ни на одно мгновенье, чтобы все это запечатлеть на бумаге,— сгореть бы всем коммерческим делам! Сгореть бы всему миру! А тут приходит жена и говорит о квартирной плате, о деньгах на правоучение в гимназии; мясник — джентльмен, он согласен ждать; лавочник зато подлец — он отказывается давать в кредит; адвокат грозит описать стулья (глупец! он не знает, что они уже давно описаны)...»

Обратите внимание: Шолом-Алейхем жалуется, что от литературной работы его отвлекают докучливые разговоры об имении, о лесах, о заводе. Слова эти надо понять правильно. Речь идет всего лишь о маклерстве по купле-продаже недвижимостей. Эта жалкая профессия маклеров, комиссионеров, посредников захватила в те годы множество несчастных бедняков. Увы, Шолом-Алейхем был в их числе.

А ведь письмо к Спектору помечено 1903 годом. Шолом-Алейхем уже проработал в еврейской литературе двадцать лет. Он уже был не то что известен,— знаменит.

Только в 1908 году, когда отмечалось двадцатипятилетие его литературной деятельности, благодарная читательская общественность объявила добровольный сбор средств для выкупа его произведений у пауков-издателей и возвращения автору. Выкуп завершился только через год, и тогда Шолом-Алейхем смог стать на ноги. Большой моральной и материальной поддержкой был для него предпринятый московским издательством «Современные проблемы» выпуск полного собрания его сочинений на русском языке.

Русский читатель и русская критика признали его и с уважением ввели этого еврейского писателя в круг русского чтения.

Шолом-Алейхем состоял в переписке с Л. Н. Толстым и с А. П. Чеховым, с В. Г. Короленко, и особенно дружил с А. М. Горьким, который называл его «искренне уважаемый собрат».

Имя Шолом-Алейхема было широко известно и популярно, но не все русские читатели и даже не все писатели знали, что это только псевдоним. Горький был, например, уверен, что Алейхем — фамилия.

Людей, приезжавших из Киева, где тогда жил Шолом-Алейхем, Горький спрашивал:

— А как там поживает господин Алейхем?

В разговорный еврейский язык выражение «шолом алейхем» вошло из языка древнееврейского. Это обычное приветствие. Оно звучит почти точно так же на арабском языке: «селям алейкюм».

Писатель — его подлинное имя было Шолом Нохимович Рабинович — родился в марте 1859 года на Украине, в городе Переяславе, Полтавской губернии, ныне называющемся Переяслав-Хмельницкий. Отец его был человек со средствами, но внезапно разорился, когда будущий писатель еще был ребенком.

Это была первая беда, заглянувшая в семью. Она не закрыла за собой дверей: по традиции, она пришла не одна. Вскоре в дом заглянула холера и унесла мать Шолома.

Однако дверь продолжала оставаться открытой, и в дом вошла мачеха. Эта особа усердно отравляла своему пасынку жизнь, добиваясь ответа на вопросы вроде следующих: «Когда ты подохнешь?», «Когда ты подавишься костью?», «Когда я тебя понесу на кладбище?» — и многими другими в этом роде.

Один только бог знает, сколько слез пролил маленький Шолом, прячась от мачехи в темных углах отцовского дома.

Но в конце концов он усмирил свою мучительницу. Мальчик составил полный словарь ругательств и проклятий, какими его осыпала мачеха, и, замечательно подражая ее интонациям и жестам, читал всем, кто хотел слушать. Успех был всегда необыкновенный, все смеялись до упаду. Смеялась и мачеха, хотя едва ли искренне. Не могло ее веселить сознание, что этот щуплый мальчик несомненно в чем-то сильнее ее, выше ее и нисколько ее не боится.

Конечно, выходка была просто мальчишеским озорством. Но не показывает ли она все-таки, что сам мальчик был непростой?

Когда он подрос, ему захотелось учиться. Но малейшая попытка заговорить об этом вызывала бешеный и опасный гнев отца. Отец содержал в ту пору заезжий дом.

Надо было кому-нибудь зазывать постояльцев, ставить для них самовар, бегать для них в лавочку и в шинок за горилкой. Метла тоже порядочная лентяйка, сама она двор подметать не станет, каждый раз надо ее заставлять.

Все эти заботы отец возложил на Шолома, считая, что с ними вполне можно справляться и без всякого образования.

Отец рассуждал по-своему логично. Но это была жестокая и неумолимая логика бедности и бескультурья. Скольким способным и любознательным людям она исковеркала жизнь! Правда, для Шолома опасность была не столь велика. Мальчик был наделен талантом. Убить талант

трудно: во-первых, истинный талант активен, он борется за себя, во-вторых, люди любят его и помогают ему.

У Шолом-Алейхема есть роман — автобиография «С ярмарки». Автор называл его «творением своих творений», «книгой книг», «песнью песен своей души».

В этом обширном романе, который, собственно говоря, является историей жизни российского еврейства в те годы, есть сосед семьи Рабиновичей — некий Арнольд. Это был еврей, провинциальный интеллигент. В мальчике на побегушках он, вероятно, сразу почуял создание, отмеченное какой-то особой печатью. Арнольд вмешался в судьбу мальчика и помог ему уломать отца. Отец сдался не сразу, сначала он пошел на уступку: пусть Шолом поступит в ешибот — еврейское религиозное учебное заведение, пусть будет раввином. После этой уступки вскоре последовали дальнейшие. Но драмы, ссоры, стычки и слезы продолжались, и отец согласился в конце концов на то, на чем настаивал Арнольд. Мальчик поступил в уездное училище. Оно было двуклассное, программа была, разумеется, крайне скудная. Но преподавание велось на русском языке. Именно это привлекало мальчика и решило всю его дальнейшую судьбу. Русский язык раскрыл перед ним новый мир. Полуграмотный еврейский мальчик припал к дорогим страницам: он увидел свою грядущую судьбу, он непременно будет писателем.

Писать он начал рано, едва ли не в восемнадцать — девятнадцать лет. Он жил тогда в качестве домашнего учителя в глухой деревне Киевской губернии у некоего купца-еврея Эли-Мейлаха Лоева, арендовавшего землю у местного помещика, и ученицей Шолома Рабиновича была единственная дочь Лоева, ровесница учителя.

Учитель прожил в доме три года в довольстве и добре. Ученица была прилежна, родители были довольны, все шло отлично.

Однако произошла заминка.

Она произошла из-за того, что будущий знаменитый писатель стал пробовать перо на пухлых романах. Он посылал их издателям. Но издатели были равнодушны. Эти романы не увлекали никого, кроме одной души на свете — кроме ученицы автора. Девушка слушала чтение не дыша.

По-видимому, родители стали о чем-то догадываться.

В одно, надо думать, не слишком прекрасное утро учитель, проснувшись, узнал, что в доме никого нет, кроме слуг: хозяева уехали. Они оставили для передачи учителю конверт, но там лежали только причитавшиеся ему деньги. И ничего больше.

Во дворе стояли сани. Кучер, не слишком старательно скрывая ироническую улыбку, отвез учителя на вокзал.

Так кончилось писание неудачных романов.

Снам золотым был тоже нанесен порядочный удар.

Неудачник учитель, неудачник писатель, неудачник влюбленный уехал в Киев. Здесь он в поисках работы успел проесть все свои деньги, успел узнать ночи без ночлега и голодные дни. Кончилось тем, что он уехал в Полтавскую губернию, в город Лубны, и занял там должность, название и функции которой могут показаться непонятными: будущий писатель-юморист стал казенным раввином. Служебные обязанности заключались в регистрации на русском языке актов гражданского состояния местных евреев. Неинтересная работа приводила его в отчаяние. Оно довершалось тем, что возлюбленная не отвечала на письма. Он писал аккуратно, настойчиво и все об одном и том же: о своей любви. Она не отвечала. Почему? Уж не выдал ли ее отец замуж за более подходящего жениха, за какого-нибудь богатого сынка, единственного наследника папаши, у которого крупная мануфактурная лавка где-нибудь в Киеве, на Подоле? Кто он? Кто он, этот презренный счастливец? Но и она хороша! Молодой Рабинович все повторял известные слова Гамлета: «И башмаков еще не износила», и заканчивал свою тираду словами, заимствованными у другого шекспировского героя, у яростного ревнивца — Отелло.

Могло ли ему прийти в голову, что возлюбленная сама терзается ревностью и тревогой, не получая от него никаких известий и даже не зная, где он находится? Чего только она не передумала? Разве могло ей прийти в голову, что в ее первой любви, в ее девичьих грезах может играть роль почтальон? Говоря точней, папаша давал почтальону на водку за каждое доставленное ему письмо, адресованное дочери.

Папаша имел деньги, он верил в них, полагался на них и не сомневался нисколько, что пятаки, даваемые им почтальону, расстроят дерзкие замыслы Рабиновича, этого голоштанника, этого бумагомараки.

Но в истории не отмечено ни одного случая, когда почтальону, получающему на водку за сокрытие писем, удалось бы погасить пламень любви в двух молодых сердцах.

Рабинович сидел в Лубнах, занятый писанием влюбленных писем девице Лоевой, и, когда случалось, записывал в особые книги имена евреев и евреек, которые рождались и вступали в брак, разводились или умирали в добром городе Лубны, Полтавской губернии.

Два с лишним года терпел он и терпел. Потом сложил с себя звание и уехал. Уехал он в Киев, и там произошло чудо: он встретил Ольгу Лоеву.

События начались сразу и в бешеном темпе.

Девица объявила отцу, что как угодно, а она выходит замуж за Рабиновича. Отец разбушевался, он кричал, гремел, бил кулаками по столу и еще разными другими способами проявлял свою ярость и свое горе, но эти шумовые эффекты он растрачивал так широко, что запас

иссяк очень скоро. Это было в 1883 году. Лоеву пришлось позвать раввинов, поварих и музыкантов, свадьба была сыграна.

Вскорости Лоев умер.

Все его состояние перешло к единственной дочери. Дочь выдала доверенность своему муженьку, а муженек вышел на биржу. Там его очень скоро оценили жулики и аферисты... Они без труда опутали этого простака, и деньги, еще недавно составлявшие силу и могущество первой гильдии купца Эли-Мейлаха Лоева, стали тысяча за тысячью переходить в карманы этих ловкачей.

Шолом-Алейхем находился на краю полного разорения, и никто не был в этом виноват, кроме него самого, его неумения сопротивляться жуликам. Когда он все-таки вырвался из их лап, кое-какие средства еще оставались. Неудачник делец покидает биржу и ее темный мир и начинает издавать литературно-критический сборник «Еврейская народная библиотека». Но на беду, предприниматель оказался меценатом, он платил авторам неслыханные гонорары, он усердно выискивал людей, которые хотели бы писать и, по крайней мере, соглашались брать авансы, так что предприятие вылетело в трубу, сам издатель был объявлен банкротом.

Вот тогда-то, потеряв все состояние, Шолом Рабинович вздохнул свободно: он остался один на один со своим литературным призванием.

Призвание оказалось мучительным. Муки поджидали его не за письменным столом, а за обеденным. Не на что было купить хлеба.

Но именно этому человеку, неудачно подвизавшемуся в ролях казенного раввина и биржевого зайца, было суждено стать знаменитым писателем, любимым сыном своего народа, его гордостью и украшением.

2

Шолом-Алейхем, жизнерадостный писатель, друг всякого, кто обижен и угнетен, пришел в еврейскую литературу как раз тогда, когда был больше всего нужен. Никто не был так нужен, как он.

Время это было едва ли не самое мрачное в жизни российского еврейства. Это было время Александра III и Николая II, Победоносцева и Щегловитова, унизительного ограничения в правах, время пресловутой «черты оседлости», погромов и дела Бейлиса. Вот в какое время раздались слова, уже ставшие неотделимыми от имени Шолом-Алейхема, которыми он кончает одну из своих повестей:

«Вы знаете, что автор этого рассказа по натуре не меланхолик, и плачевным историям предпочитает смешные... Сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи, и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали. Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться».

Это девиз, программа, декларация.

Сохранилось письмо Шолом-Алейхема к его приятелю Заблудовскому, собиравшемуся в деловую поездку по Белоруссии. Шолом-Алейхем просит посылать ему материалы:

«Тут должны быть типы, встречи, события, происшествия, злоключения, удачи, разные случаи, любовные истории, свадьбы, разводы, вещие сны, банкротства, празднества, даже, упаси бог, похороны — одним словом, все, что увидите и услышите в пути, в гостинице, где хотите. Одно лишь хочу подчеркнуть: никакого вымысла, только факты и факты! Жизнь богата фактами, она полна курьезов. Есть также множество несчастий и море слез, но у меня они заставят людей смеяться».

Смеяться! Смеяться! «Врачи советуют смеяться».

Никто не был так нужен, как Шолом-Алейхем.

Он начал печататься в 1883 году; черта оседлости была установлена в 1882-м. Всю свою жизнь, до самой смерти, Шолом-Алейхем описывал окаянный быт «черты».

Большинство посвященных ей произведений объединены местом действия. Все происходит в некоем городке с вымышленным названием Касриловка, о котором автор сообщает интересные географические и демографические данные.

Касриловка, говорил он, «находится в самой середине благословенной «черты». Евреев туда натолкали — теснее некуда, как сельдей в бочку, и наказали плодиться и множиться.

Автор этой статьи видел в жизни все то, что читал на правдивых страницах Шолом-Алейхема.

Касриловка жила плохо, это была юдоль нищеты.

Помню лавочки, в которых товару было за все про все рубля на три. Владелец покупал селедку за три копейки, разрезал ее на пять кусков и продавал по копейке кусок. Вместе с фунтом хлеба это составляло обед или ужин.

Пусть, однако, не покажется, что богател лавочник. Он действительно вкладывал в «дело» три копейки и выручал пять! В каждом гривеннике лежало шесть копеек прибыли! В рубле было шестьдесят процентов дохода! Неслыханно! Золотое дно! Сам Ротшильд никогда не видел таких доходов! Одна беда: некому было продавать больше десяти селедок в день!

Были другие лавочники, они содержали лавки для городской буржуазии. Но торговцев было много, а покупателей мало. На почве конкуренции они били друг друга гирями по зубам. И парикмахеров было больше, чем желающих стричься, и профессиональных сватов было больше, чем женихов и невест, и страховых агентов было слишком много, им оставалось только страховать друг друга.

Плохо жила Касриловка, очень плохо.

Могло ли быть иначе?

В черту входили западные и южные губернии. Территория немаленькая, евреев было около полутора миллионов душ. Расселиться и прокормиться можно было бы. Но евреям запрещалось жить в деревне; издавна там проживавшие были выселены. Можно было селиться в мелких городах и местечках. Но и там поджидали ограничения. Например, было запрещено принимать евреев на службу в государственные учреждения хотя бы в качестве ночных сторожей или дворников. Промышленность в те годы и в тех местах была кустарная или полукустарная, она не могла принять всю рабочую силу, какую предлагало местное еврейское население.

Вот и получилось, что добрых полтора миллиона человек, здоровых, деятельных и не слишком глупых,— в подавляющем большинстве беднота,— было отстранено от всякого разумного и производительного труда.

От этих законов всегда исходил душный и тошнотный запах казенной глупости. Но эта глупость была тяжела и унизительна.

Надо прибавить назойливые и изощренные ограничения на местах. Взять хотя бы Киев. Этот город входил в черту оседлости. Однако проживать там могли не все евреи, а только окончившие высшие учебные заведения и купцы первой гильдии. Непонятно почему, но эта льгота была впоследствии распространена и на ремесленников.

Но евреи, даже имевшие право проживания в Киеве, были ограничены в выборе улиц. Неутомимое начальство тщательно разработало список киевских улиц, на которых евреям разрешалось жить в любом доме как на четной, так и на нечетной стороне. Был не менее тщательно разработан список улиц, на которых не следовало показываться евреям, даже имевшим право проживания в Киеве. Были не менее тщательно составлены списки улиц, где евреям разрешалось проживать на четной стороне, и отдельные списки улиц, на которых можно было жить только на нечетной стороне.

Шолом-Алейхем жил в Киеве. Не знаю, по какому праву. Он не имел высшего образования и не был ни купцом, ни ремесленником. Повидимому, знаменитый писатель жил либо по фиктивному свидетельству, полученному в ремесленной управе за взятку, либо он выплачивал ежемесячную взятку полиции прямо в руки. Полиция была до умиления чувствительна к дарам. Но, возможно, Шолом-Алейхем избегал личных встреч с приставами и околоточными и расплачивался с ними через швейцаров. Таких евреев называли «швейцарскими подданными».

Таков был затхлый мирок, в котором жил и работал выдающийся писатель, классик еврейской литературы Шолом-Алейхем.

Он был плодовит и трудолюбив. Его сочинения занимают тысячи печатных страниц. Это — бесчисленное множество юмористических и сатирических рассказов, монологов, повестей, романов и театральных пьес!

Когда только успевал он, этот больной человек?! По свидетельству лиц, знавших его близко, он нередко писал две, даже три вещи одновременно, голова его была постоянно полна образов и сюжетов, и все они толпились и толкались на кончике пера, просясь скорей на бумагу. Но автор был требователен к себе и строг к персонажам. Над некоторыми произведениями он работал годами, отделывая их, переделывая, перестраивая и переписывая и все еще не удостаивая их чести быть представленными читателю.

Он работал едва ли не во всех литературных жанрах.

Бесчисленное множество рассказов, проникнутых мягким, ласковым юмором, посвятил он маленьким людям Касриловки, тем, кого больше всего обижали петербургские законодатели и местные касриловские мироеды и живоглоты.

Самыми значительными произведениями Шолом-Алейхема являются письма «Менахем-Мендла» и цикл рассказов о Тевье-молочнике. В создании этих двух образов Шолом-Алейхем достиг вершин своего творчества. Обе эти фигуры по праву занимают место в рядах героев мировой литературы.

Менахем-Мендл — человек средних лет, наделенный энергией и предприимчивостью, которые не к чему приложить. Мозги у него работают безостановочно, но на холостом ходу. Таких людей звали «людьми воздуха». Шолом-Алейхем обессмертил их в «Переписке Менахем-Мендла с женой Шейне-Шейндл».

Менахем-Мендл — бедняк самого последнего разбора, однако он твердо уверен, что разбогатеть не такое мудреное дело, разбогатеть всегда можно, потому что деньги — они где-то рядом, прямо под ногами, надо только увидеть их и не полениться взять.

Эти безрассудные мечты были навеяны некими новыми и важными событиями в жизни России.

Помещики, потерявшие крепостных, продавали свои земли, леса, дворянские усадьбы.

Все скупал предприимчивый Лопахин, тот самый, который откупил вишневый сад у чеховской помещицы, милой и беспомощной Раневской. Лопахины строили сахарные заводы, винокуренные заводы, маслобойные заводы, паровые мельницы, лесопилки, железные дороги и т. д. Это была эпоха спекуляций, она протекала в температуре горячки.

Менахем-Мендл не имел ни собственных угодий для продажи, ни денег для покупки. Но что из того?! Надо постараться, и тогда можно сорвать жирный куш на посредничестве, на миллионной сделке, в кото-

рой он, Менахем-Мендл, сыграет неоценимую роль умного посредника. (Как мы видели, этим занимался и сам Шолом-Алейхем.) «Человек воздуха» мысленно сводит двух богачей, они заключают сделку, и пусть им бог поможет, а сам он, получив свои комиссионные, большие тысячи, откланяется и поспешит к себе, в Касриловку, где его жена Шейне-Шейндл сидит без гроша за душой и ломает себе голову, чем накормить детей.

Такова мечта. Она не осуществляется прежде всего потому, что Менахем-Мендл парит над действительностью. Он лишен капитала и потому не может понять свою несовместимость с миром наживы и биржевых спекуляций. Так проходит вся его жизнь. Мечты уносят его далеко и высоко, но всякий раз он падает в ту же яму нужды, разочарования и отчаяния.

Что-то есть одновременно смешное и трагическое в этом фантазере из Касриловки.

Отдельное и почетное место среди всех персонажей Шолом-Алейхема занимает Тевье — человек простой, необразованный, но наделенный здравым умом, рассудительностью, положительностью. Он — любимый персонаж автора.

Шолом-Алейхем не раз говорил, что он сам и есть Тевье.

В главе «Изыди!» из повести «Тевье-молочник» мы застаем Тевье в критическую минуту. Тевье жил в деревне. И вот в прекрасный весенний день, в праздник пасхи, к нему приходит группа местных крестьян, его старых приятелей и друзей, и заявляет, что пришли они устроить ему погром. Говорят они об этом без всякой злобы, даже спрашивают, что им разгромить, чтобы не причинить Тевье чувствительного ущерба и чтобы к ним не придирались начальники, то есть полиция.

Эта странная сцена нуждается в объяснении.

Установление черты оседлости и прочих ограничительных законов было органически связано с так называемым «освобождением крестьян» от крепостной зависимости.

Освобождение было обманом: огромные массы крестьянства остались без земли. В деревне не прекращались восстания, бунты и мятежи. Террористы охотились за царем. До него было трудно добраться. 1 марта 1881 года все-таки добрались и убили на улице.

Положение нового царя было трудным. Он имел все основания бояться за свою жизнь и за судьбу самодержавия.

Для решения вопроса — что делать, была создана правительственная комиссия под председательством К. П. Победоносцева.

Комиссия трудилась один год и два дня и обнародовала пресловутые «Временные правила для евреев».

Задолго до их обнародования и в течение продолжительного времени после обнародования по базарам, шинкам и трактирам ходили

личности, заводили разговоры о том, что царя убили враги внутренние. А враги внутренние — это евреи, они и Христа распяли. Эти объяснения обычно заканчивались словами о том, что хорошо бы на пасху, в день светлого Христова воскресения, устроить евреям погром. Прибавляли, что на погроме можно и погулять и поживиться чем бог пошлет.

И вот в весенний день, близко к празднику пасхи, к Тевье, которого еще не выселили из деревни, приходит группа крестьян во главе со старостой и объясняет, что находится в затруднительном положении: они должны устроить у него погром, иначе их самих ждут неприятности.

Эта сцена — острая сатира на самодержавие, которое, симулируя заботу о крестьянах, пыталось всучить им еврейский скарб вместо помещичьей земли.

Устами Тевье-молочника Шолом-Алейхем высказывает свои собственные взгляды и мнения по многим важным вопросам этики, морали, политики.

В еврейской литературе давно сложилась традиция писать о трудной исторической судьбе еврейского народа в тоне плача Иеремии и напоминаний о том, как сидели евреи на реках вавилонских и плакали.

Но в конце прошлого века и в самом начале нынешнего, когда в России начался подъем революционного движения, новые ветры залетели и в Касриловку.

Незаметно, незаметно, но что-то стало меняться.

Передовая молодежь уходила в революцию, и сидели они не в синагогах и не на реках вавилонских, а в тюрьмах, на каторге и в далекой сибирской ссылке.

На Тевье обрушились испытания: две его дочери одна за другой вышли замуж не по сватовству, как того требовала традиция, а по любви. К тому же одна полюбила революционера и уезжает за ним в ссылку. Другая дочь вышла за христианина. По понятиям того времени, это было тяжким, очень тяжким ударом. Нелегко было старику отцу пережить два таких потрясения. Тяжело, когда рушатся традиции и взгляды, которые ты всосал с молоком матери, и, разумеется, особенно трудно перенести такой удар на старости лет.

Но, изрядно погоревав, Тевье приходит к выводу, что все его старые взгляды — тлен, порождение темноты и предрассудков.

Ошеломленный этим открытием, он восклицает:

«Что такое еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от бога, а другие — не от бога?»

«Досадно мне,— прибавляет старик в заключение,— почему я не так сведущ, как иные, в книгах, почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы».

Вряд ли Тевье перенес бы так мудро постигшие его испытания, в особенности то, что его дочь вышла замуж за христианина, если бы это произошло до 1905 года. Отцу полагалось в таких случаях просидеть семь суток на земле в знак траура и больше никогда не произносить имени вероотступницы. Если бы он хоть на волосок нарушил строгость этих правил, община отравила бы ему существование, его подвергли бы остракизму. И если бы беднота — люди маленькие — преследовала его не достаточно усердно, то и на нее обрушилась бы вся опасная сила гвирим — богачей. Богачи не терпели отступлений от обычаев религиозного мракобесия. Не сносить бы Тевье головы, если бы он отнесся по-человечески разумно к своим дочерям.

Так было бы до 1905 года.

Но события, описываемые в повести, относятся именно к 1905—1906 годам.

Это были годы восстаний, стрельбы, пожаров, военно-полевых судов и виселиц.

Это были годы, когда в злобных завываниях осенней вьюги народ слышал в воздухе нежный аромат весны и надежды.

Менялись люди, менялись взгляды. Разваливались отжившие традиции и нравы.

Когда революция была разбита, многие, конечно, приуныли, многие пришли в отчаяние.

Но Тевье был не из тех людей, которые легко воспламеняются и легко потухают. Да и годы его были не те. А самое главное, разумеется, было то, что надежда, забравшаяся к нему в сердце, была ему слишком нужна. Он не мог уже жить без нее.

Когда повесть была напечатана и вышла в свет, она сразу попала в ту среду, в которой была задумана, обдумана и выношена, среду, которую она описывала и которой посвящалась.

Каждая страница была насыщена драматическими коллизиями, в ней были высказаны новые и дерзкие взгляды на религию, на затхлые обычаи, на традиции, которым пора на слом.

Что скажут люди?

Вопрос этот разрешился необыкновенно быстро.

Читатель приветствовал Тевье, полюбил его и проникся уважением к этому незаметному человеку за житейскую мудрость, за то, что, подавленный горестями, он верил в надежду и в борьбу и ни разу не оглянулся в сторону, откуда доносился плач Иеремии.

3

Два слова о некоторых любопытных общих чертах личного характера Шолом-Алейхема и его литературной биографии.

Вы помните мачеху Шолома.

Конечно, составляя словарь ее ругательств и проклятий и вызывая всеобщий веселый смех чтением этого словаря вслух, мальчик не знал, что его перо, которым он дотоле пользовался только в хедере, написало произведение литературное, сатиру и что хотя это был еще детский шаг, но все-таки шаг по славной дороге его жизненного призвания.

Не знал он также, что сама решимость его поднять на смех такого опасного врага показывала, что талант сатирика достался не какому-нибудь вялому тихоне, а смелому борцу.

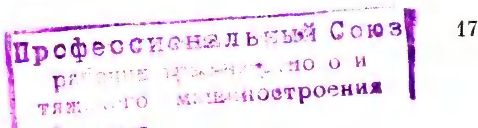
Будущий Шолом-Алейхем был виден со своих первых, детских страниц.

В нашем томе напечатана поэма «Песнь песней», шедевр мировой лирической литературы. Поразительно, что ее написал сатирик и юморист, обычно черпавший свои сюжеты и краски в далеко не поэтических буднях касриловского быта.

У Шолом-Алейхема есть веселая пьеса — «Крупный выигрыш». В ней рассказывается, как местечковый портной Шимеле Сорокер, бедняк из бедняков, выиграл по лотерейному билету двести тысяч и как все вокруг него начинает меняться. Появляется богатая обстановка, слуги, лакеи. Шимеле уже называется Семен Макарыч, люди лебезят перед ним. Но все эти, казалось бы, завидные перемены, начинают тяготить нашего выскочку. А тут еще дочь, в которую влюблены двое портновских подмастерьев, бежит из отчего дома, где все стало напыщенно, противоестественно и глупо. Парни-подмастерья помогают ей бежать. Разорение пришло к Семену Макаровичу скоро и внезапно, как еще столь недавно пришло богатство, и Шимеле вздыхает с облегчением: он снова в своем мире, среди своих, близких и простых людей.

Читателю эта история что-то напоминает. Да ведь это история о том, как самому Шолом-Алейхему свалилось на голову богатство умершего тестя, и как он, наследник, жил в собственном богатом и роскошном доме, ел и пил на серебре, и как черти подхватили его на рога, и потащили на биржу, и бросили под ноги аферистам, и как его там раздели и вернули ему его природную нужду, и как он вздохнул с облегчением и выбросил из головы всякие химеры и вернулся к деятельности, для которой был рожден.

И весь цикл переписки Менахем-Мендла тоже не выдуман: мы знаем, что Шолом-Алейхем и сам заплатил не малую дань нужде, кото-



рая отрывала его от литературного труда и, держа на побегушках, заставляла носиться по городу в поисках покупателя леса или имения, которые хочет продать разорившийся помещик.

Конечно, разные превратности судьбы, ее коварные обманы, ее грубые удары — когда они обрушиваются на человека, который наделен талантом писателя,— сразу получают вполне пристойное и даже завидное наименование жизненного опыта и в глазах некоторых критиков являются украшением писателя.

Сторонники превратностей, разумеется, превратностей чужой судьбы, напоминают, что писатель должен хорошо знать то, о чем пишет, и писать только о том, что хорошо знает.

Все это, конечно, так, но, откровенно говоря, писателю больше всего нужен талант. Можно без ударов судьбы, но без таланта и шагу сделать нельзя и заменить его нечем.

Что касается Шолом-Алейхема, то некая бессовестная звезда взвалила ему на плечи столько этого хваленого жизненного опыта с чахоткой в придачу, что удивительно даже, как он выжил. Но никто никогда не слыхал бы его имени, если бы некая другая звезда, счастливая, не подарила ему его великий талант. Что тут и говорить, талант — бремя тяжелое. Но Шолом-Алейхем не чувствовал тяжести: он заставил свой талант работать для народа.

Всем маленьким людям Касриловки, всем, кто угнетен, и обижен, и нуждается в помощи, и не видит, откуда она может прийти, отдал Шолом-Алейхем свой самый теплый юмор.

Это рассказы юмористические, но написаны они о горестях людей, которые всю жизнь выбиваются из сил в погоне за куском хлеба.

Рядом с каждым из этих людей, где-то за тонким дощатым простенком, жило отчаяние. Но именно опасность этого соседства заставила Шолом-Алейхема писать для этих людей и об этих людях рассказы юмористические. И бесчисленные Менахем-Мендлы, их жены, мальчики-сироты, вроде Мотла, все они проникались благодарностью к автору: они уже не чувствовали себя одинокими, брошенными и забытыми, у них был друг. Юмор ободрял их, им становилось легче.

Как бы между прочим, как бы шутя показывал Шолом-Алейхем этим маленьким, казалось бы, заурядным людям, что не такие уж они маленькие, не такие заурядные, что они умны, остроумны, наделены энергией, и придет время, они будут деятельны и полезны.

Возьмите хотя бы монолог касриловского меламеда на тему «Будь я Ротшильдом».

Меламед — учитель в хедере, один из классических типов местечковой бедноты, он предается мечтам о том, что он сделал бы, если бы ему привалили богатства Ротшильда.

Оказывается, он прежде всего завел бы такой порядок, чтобы жена всегда имела на расходы и не отравляла ему жизнь, начиная с четверга, требованием денег на субботу.

Вы сразу отчетливо видите масштаб человека. Простак, что с него взять. Однако требования меламеда расширяются и расширяются. И вот он уже восклицает, что, будь он Ротшильдом, он упразднил бы деньги, потому что от них все зло на свете.

Вот он уж и не такой маленький человек, этот меламед.

Шолом-Алейхем показал этого маленького и смешного человечка читателю — пусть читатель лучше узнает его и уважает. Но, быть может, больше всего хотелось автору, чтобы сам этот чудаковатый персонаж лучше узнал цену себе и уважал самого себя.

В этом была социальная функция Шолом-Алейхема.

Народ отвечал своим гонителям чистым, жизнеутверждающим и веселым талантом своего любимого сына.

В 1882 году петербургские законодатели назвали свои «Правила для евреев» временными. Никакой срок действия не был указан. Шли годы, складывались в десятилетия, один царь сменил другого, менялись вокруг трона министры и царедворцы, а «Правила» стояли твердо и непоколебимо, их скромное название «временные» как бы бросало вызов вечности.

Их сдуло с лица земли в феврале 1917 года первым порывом революционной бури.

Шолом-Алейхем до этого не дожил.

Умер он в Нью-Йорке, куда попал случайно. Летом 1914 года он находился с женой и детьми на одном из германских курортов для легочных больных.

В августе началась мировая война. Все русские подданные были интернированы. Но благодаря хлопотам друзей больному писателю и его семье разрешили выехать в Америку. Она в те годы лежала очень далеко, где-то на краю света. Дорога продолжалась несколько недель. Все были уверены, что война кончится раньше, чем они приедут. Это было ошибкой. Шолом-Алейхем так и умер в Нью-Йорке, не дождавшись конца войны.

Он оставил завещание, в первом пункте которого читаем:

«Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не среди аристократов, знати или богачей, а среди простых людей, рабочих, рядом с подлинным народом, так, чтобы памятник, который потом поставят на моей могиле, украсил скромные надгробия вокруг меня, а скромные могилы украсили мой памятник так же, как простой и честный народ при жизни моей был украшением своего народного писателя».

Далее он просит своих детей и внуков собираться каждый год в день его смерти, и, если религиозные взгляды не позволят им читать поминальные молитвы, пусть выберут какой-нибудь его рассказ из самых веселых и прочитают вслух на любом понятном им языке.

«И пусть лучше имя мое будет помянуто в веселье, нежели вовсе не помянуто»,— поясняет он и просит детей и внуков не плакать по нем, а, наоборот,— поминать его в радости и с честью носить его трудом заслуженное еврейское имя.

После смерти писателя в его бумагах был найден еще один документ: переведенный им на еврейский язык отрывок из «Мертвых душ». «...определено мне чудесной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Это был прощальный привет еврейского писателя великой русской литературе, это было преклонение мастера перед великим учителем, это была благодарность сына.

Он умер, как сказано выше, на чужбине в 1916 году.

Но, собственно говоря, умер только Шолом Нохимович Рабинович, пожилой еврей пятидесяти семи лет, страдавший туберкулезом, и его похоронили. А писатель Шолом-Алейхем жив и здоров, живет в окружении своих бесчисленных героев и читателей во всем мире, евреев и неевреев, которые благодарны ему за то, что он посвятил свое честное и веселое сердце добру, надежде и человеческому братству.

В. ФИНК

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

ПЕРЕВОД М. Ш А М Б А Д А Л А

«АЗ НЕДОСТОЙНЫЙ»

Письмо Тевье-молочника к автору

Моему любимому и дорогому другу, реб Шолом-Алейхему,— дай бог здоровья и достатка вам с женой и детьми! Да сопутствуют вам радость и утеха всюду и везде, куда бы вы ни обратили стопы свои,— вовеки аминь!

«Аз недостойный»,— должен сказать я, выражаясь словами праотца нашего Иакова, с которыми он обратился к господу богу, собираясь в поход против Исава... Но, может быть, это не так уж к месту,— не взыщите, пожалуйста: человек я простой, вы, конечно, знаете больше моего,— что и говорить! Живешь, прости господи, в деревне, грубеешь, некогда ни в книгу заглянуть, ни главу из Священного писания повторить... Счастье еще, что летом, когда в Бойберик на дачи съезжаются егупецкие богачи, можно кой-когда встретиться с просвещенным человеком, услышать мудрое слово. Поверьте, вспоминать о тех днях, когда вы жили неподалеку от меня в лесу и выслушивали мои глупые россказни, мне дороже какого угодно заработка! Не знаю, чем я заслужил, что вы возитесь с таким маленьким человечком, как я, пишете мне письма да еще собираетесь выставить мое имя в книге, преподнести меня как лакомое блюдо, точно бы я был невесть кто! Не должен ли я воскликнуть: «Аз недостойный!..» Правда, я вам поистине преданный друг, дай мне бог хотя бы сотую долю того, что я желаю вам! Вы, я думаю, и сами могли

видеть, как я старался ради вас еще в те добрые времена, когда вы снимали большую дачу,— помните? Не купил ли я вам за полсотни корову, какую и по дешевке за пятьдесят пять рублей не купишь. А что она на третий день околела, так я же не виноват! Ведь вот вторая корова, которую я для вас купил, тоже подохла!.. Вы сами отлично знаете, как это меня огорчило, я прямо-таки голову тогда потерял! Я ли не старался доставлять вам все, что ни есть лучшего, да поможет так бог мне и вам в наступающем Новом году, чтобы было у вас, как в молитве сказано: «Обнови дни наши, яко встарь...» А мне да поможет господь в моем деле! Чтобы и я, и лошаденка моя были здоровы, чтобы коровы давали много молока, дабы я и впредь мог служить вам верой и правдой и доставлять сыр и масло вам и егупецким богачам, пошли им бог удачи в делах и всего наилучшего. А что касается вашего труда и почета, который вы мне оказываете своей книгой, то я еще раз повторяю: «Аз недостойный!» Не много ли чести для меня, чтобы весь мир вдруг узнал, что по ту сторону Бойберика, недалеко от Анатовки, живет человек по имени Тевье-молочник? Однако вы, надо полагать, знаете, что делаете, учить вас уму-разуму мне не приходится; как писать, вам виднее, а во всем остальном целиком полагаюсь на ваш благородный характер: уж вы, я надеюсь, постараетесь там в Егупце, чтобы мне от этой книжки кое-что перепало. Сейчас это, знаете ли, было бы очень кстати: я вскоре начну подумывать о свадьбе — дочь надо замуж выдать. А если господь, как вы говорите, дарует жизнь, то, пожалуй, и двух сразу... А пока будьте здоровы и всегда счастливы, как желает вам от всего сердца ваш лучший друг

Тевье.

Да! Главное забыл! Когда книжка будет готова и вы вздумаете выслать мне немного денег, будьте добры отправить их в Анатовку на имя тамошнего резника. У меня зимой два поминальных дня: один осенью, незадолго до покрова, а другой поближе к зиме,— так что эти дни я провожу в городе. А просто письма можете посылать прямо в Бойберик на мое имя. Пишите так: «Передать господину Тевлу, молочного еврей».

СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!

Удивительная история о том, как Тевье-молочник, бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, достойному описания. Рассказана самим Тевье и передана слово в слово

Из праха подъемлет он бедного, из тлена — нищего...

Псалтырь, 113, 7

Знаете, пане Шолом-Алейхем, уж коль суждено счастье, оно само в дом приходит! Как это говорится: «Если повезет, так на рысях!» И не надо при этом ни ума, ни умения. А ежели, упаси господи, наоборот,— так уж тут говори не говори, хоть разорвись,— поможет, как прошлогодний снег! Как в поговорке: «Сладу нет с худым конем — ни умом, ни кнутом!» Человек трудится, надрывается, хоть ложись — прости господи! — да помирай! И вдруг — не знаешь, отчего и почему,— удача прет со всех сторон... «Свобода и избавление придет для иудеев!» Растолковывать вам эти слова нужды нет, но смысл их такой: покуда душа в теле, покуда хоть одна жилка еще бьется, нельзя терять надежды. Я знаю это по себе. И в самом деле, какими судьбами пришел я к теперешнему моему промыслу? Ни бабка, ни прабабка моя никогда молочным не торговали. Нет, право же, вам стоит выслушать эту историю от начала до конца. Я присяду на минутку вот здесь, возле вас, на травке, а лошадка тем временем пускай пожует. Как говорится: «душа всего живущего» — тоже ведь божья тварь.

Словом, было это около пятидесятницы, то есть, чтобы не соврать,— за неделю или за две до пятидесятницы... А впрочем, может быть, и неделю-другую после пятидесятницы. Не забывайте, что делу этому уже как-никак не первый год, то есть ровно девять лет, если не все десять, а может быть, еще и с хвостиком.

Был я тогда совсем не тот, что сейчас, то есть, конечно, тот же Тевье, а все же не тот, как говорится: та же бабка, да повойник другой. Почему, спросите вы? Очень просто: был я тогда, не про вас будь сказано, гол как сокол, нищий... Хотя, с другой стороны, если говорить начистоту, я и сейчас еще не богач. Мы

можем с вами вместе пожелать себе заработать нынешним летом столько, сколько мне не хватает до состояния Бродского... Но в сравнении с тем, что было, я сейчас, можно сказать, — богач: у меня своя лошаденка с повозкой, у меня, не сглазить бы, пара дойных коровок и еще одна стельная, вот-вот должна отелиться. Грех жаловаться: каждый день у меня свежее молоко, масло, сыр, сметана — и все своим трудом добыто, потому что работаем мы всей семьей, никто без дела не сидит. Жена доит коров, дочери разносят крынки, сбивают масло, а сам я, как видите, что ни утро — езжу на базу, обхожу в Бойберике все дачи, встречаюсь с тем, с другим, с самыми богатыми людьми из Егупца... Поговоришь с человеком,— начинаешь чувствовать, что и сам ты как-никак человек на белом свете, как говорится, не кляча колченогая... А уж в субботу — и говорить нечего! В субботу я — король: заглядываю в книгу, просматриваю главу из Пятикнижия, почитываю «Поучение отцов», псалом — то да се, пятое-десятое... Смотрите вы на меня, пане Шолом-Алейхем, а про себя небось думаете: «Э-ге, а ведь этот Тевье не так уж прост!..»

Словом, о чем же я начал рассказывать? Да... был я тогда, стало быть, с божьей помощью, горемычный бедняк, помирал с голоду вместе с женой и детьми трижды в день, не считая ужина. Трудился, как вол, возил бревна из лесу на вокзал, полный воз, бывало, везу — чего тут стесняться? — за два пятиалтынных, да и то не каждый день... И вот на такие заработки изволь прокормить полон дом едоков, не сглазить бы, да еще содержать лошаденку, которой и вовсе дела нет до всякого рода толкований и изречений: корми ее каждый день без отговорок, и дело с концом!

Однако на то и бог! Ведь он, как говорится, «всех кормящий и насыщающий»,— разумно миром управляет... Видит он, как я из-за куска хлеба бьюсь, и говорит: «Ты небось думаешь, Тевье, что все уже кончено, светопреставление, небо на землю валится? Ну и глуп же ты, Тевье, ой как глуп! Вот увидишь, счастье, если богу будет угодно, повернется этак налево кругом,— и сразу во всех уголках светло станет!» Выходит, как в новогодней молитве сказано: «Кто будет вознесен, а кто — низвергнут»,— кто ездит, а кто пешком плетется. Главное — упование! Надо жить надеждой, только надеждой! А ежели до поры до времени приходится горе мыкать, так на то же мы и евреи на белом свете, как говорится, избранный народ... Недаром нам весь мир завидует... К чему я это говорю? Да к тому, что и меня господь бог не оставил своей милостью... Вы только послушайте, какие чудеса на свете бывают.

Однажды летом, в предвечернюю пору, еду я лесом, возвращаюсь порожняком. Голову повесил, на душе кошки скребут. Лошаденка едва ноги волочит, хоть ты ее режь...

— Ползи,— говорю я,— несчастная! Пропадай со мной заодно! Знай и ты, что значит пропоститься долгий летний день, раз ты у Тевье в лошадях состоишь!

Кругом тишина. Каждый щелчок бича гулом отдается в лесу. Солнце садится, день угасает. Тени от деревьев вытягиваются до бесконечности. Темнеет. Тоскливо становится. В голову лезут разные думы, образы давно умерших людей встают перед глазами. О доме вспомнишь,— горе горькое! Дома мрак, уныние, ребятишки, будь они здоровы, раздетые, разутые, ждут не дождутся отца-добытчика, не привезет ли каравай свежего хлеба, а то и булку! А она, старуха моя,— известное дело, женщина! — ворчит: «Детей ему нарожала, да еще семерых! Хоть возьми, прости господи, и утопи их живыми в речке!» Каково такие речи слушать!

А ведь мы всего только люди, плоть да кровь. Разговорами сыт не будешь. Поешь селедки — чаю захочется, а к чаю сахар требуется, а сахар, говорите вы, у Бродского...

— За кусок хлеба, что не доела,— говорит моя жена,— утроба не взыщет. Но без стакана чаю утром я не жилица на белом свете: ребенок за ночь все соки из меня высасывает!

Однако и о том, что ты еврей, забывать нельзя: солнце на закате... Молитва хоть и не коза, никуда не убежит, а помолиться все-таки пора... Правда, какая уж там молитва! Можете себе представить: как раз, когда положено стоять неподвижно, лошаденка, точно назло, срывается с места и несется как шальная... Вот и бежишь за тележкой, натягивая вожжи, и припеваешь: «Господь Авраама, господь Исаака, господь Иакова...» Хороша молитва, нечего сказать! А помолиться, как нарочно, хочется горячо, с огнем,— авось на душе полегчает...

Короче говоря, бегу это я за возом и читаю нараспев, совсем, как в синагоге (не будь рядом помянута!): «Питающий все живущее от щедрот своих!» То есть кормящий всякое свое творение... «Выполняющий обет свой перед покоящимся во прахе...» То есть даже перед теми, кому и жизнь — сырая могила...

«Эх, думаю, жизнь наша — могила глубокая! Ну и маемся же мы на свете! Не то что егупецкие богачи, которые целое лето на дачах в Бойберике проводят, пьют, едят, как сыр в масле катаются! Эх, господи владыко небесный! И за какие грехи мне все это? Не такой я, что ли, как все другие? «Воззри на нашу бедность!» Посмотри, мол, на наши муки, погляди, как мы тру-

димся, и заступись за нас, бедняков, потому что больше за нас заступиться некому! «Исцели нас да будем исцелены». Пошли нам исцеление, а болячек нам не занимать стать. «Благослови нас...» Пошли нам добрый год, чтобы хлеба уродились — и рожь, и пшеница, и ячмень... Хотя, с другой стороны, какая мне, горемычному, от этого польза? Не все ли равно, скажем, моей лошаденке, дорог овес или дешев?

Однако не нам судить о деяниях всевышнего. А еврей и подавно должен все принимать безропотно и повторять: «И то благо!» Так, видно, богу угодно! А кощунствующие, продолжаю я, «стикраты», которые говорят, что нет на свете бога, будут посрамлены, когда явятся туда... Поплатятся с лихвой, ибо он, «сокрушающий врагов», воздаст им сторицею! С ним шутки плохи, с ним ладить надо, упрашивать, умолять: «Отец всемилостивый! Внемли гласу нашему! Услышь наши вопли! Обрати милосердие твое к нам! — пожалей жену мою и деток,— они, бедные, голодны. Почти за благо,— смилостивься над возлюбленным народом твоим, как некогда в священном храме, когда первосвященник и левиты...» И вдруг — стоп! Лошаденка остановилась. Я мигом отхватил оставшуюся часть молитвы, поднял глаза и вижу: выходят мне навстречу из чащи два каких-то странных существа, одеты будто бы не по-людски... «Разбойники!» — мелькнуло у меня в голове. Однако я тут же спохватился: «Фу, Тевье, дурачина ты эдакий! Столько лет подряд ездишь по лесу и днем и ночью — что это тебе разбойники вдруг померещились?»

— Вью! — крикнул я лошаденке, набрался духу и хлестнул ее еще несколько раз, будто ничего не замечая.

— Уважаемый! Послушайте, дяденька! — обращается ко мне одно из этих существ женским голосом и машет мне платком.— А ну-ка, остановитесь на минутку, погодите удирать, ничего худого мы вам не сделаем!

«Ага! Нечистая сила! — подумал я, но тут же говорю себе: — Дурья голова! Откуда вдруг ни с того ни с сего духи и черти?» Остановил лошаденку. Присмотрелся получше — женщины. Одна пожилая, в шелковом платке на голове, другая помоложе — в парике. Обе раскраснелись и вспотели.

— Добрый вечер! Вот так встреча! — говорю я громко и даже как будто бы с радостью.— Чего изволите? Если купить что-нибудь, то у меня ничего нет, разве что колики в животе да сердечные боли на неделю вперед, есть еще и хлопоты, и заботы, и всякая морока, и горести всухомятку, беды и напасти — оптом и в розницу!

— Тише! Погодите! — отвечают они.— Скажи пожалуйста, как его прорвало! Извозчика чуть словом задень,— жизни рад не будешь! Ничего,— говорят,— нам покупать не надо, мы только хотели вас спросить, не знаете ли вы, где здесь дорога на Бойберик?

— На Бойберик? — переспросил я с напускным смешком.— Для меня это все равно, как если бы вы спросили, к примеру, знаю ли я, что меня зовут Тевье.

— Вот как! — говорят они.— Вас зовут Тевье? Добрый вечер, реб Тевье! Нам не совсем понятно, что тут смешного? Мы не здешние, мы из Егупца и живем в Бойберике на даче. Вышли на минутку погулять и кружим в этом лесу чуть ли не с самого утра... Бродим, плутаем и никак не можем попасть на дорогу. А тут мы услыхали,— кто-то поет в лесу. Поначалу подумали,— а вдруг, упаси бог, разбойник! Но когда увидели вблизи, что вы еврей, стало легче на душе. Понимаете?

— Ха-ха! Хорош разбойник! — отвечаю я.— Слыхали вы когда-нибудь историю о еврейском разбойнике, который напал на прохожего и потребовал от него понюшку табаку? Хотите,— могу рассказать...

— Историю,— говорят они,— оставим до другого раза. Вы лучше укажите нам дорогу на Бойберик.

— На Бойберик? Позвольте! Но ведь это и есть самая настоящая дорога на Бойберик! Если вы даже не хотите, вы все равно по этой дороге обязательно придете прямо в Бойберик!

— Так чего же вы молчите?

— А чего,— говорю,— мне кричать?

— В таком случае,— говорят они,— вы, наверное, знаете, далеко ли до Бойберика?

— До Бойберика,— отвечаю,— недалеко, несколько верст. То есть верст пять-шесть или семь, а может, и все восемь.

— Восемь верст! — вскричали женщины в один голос и, заломив руки, чуть не расплакались.— Помилуйте! Что вы говорите? Понимаете ли вы, что говорите? Шутка ли — восемь верст!

— Что же,— отвечаю,— я могу поделать? Если бы от меня зависело, я бы, пожалуй, подсократил это расстояние. Человек должен все на свете испытать. В пути и не то бывает... Случается иной раз тащиться по грязи в гору, да еще в канун субботы, дождь хлещет в лицо, руки коченеют, есть хочется до полусмерти, а тут вдруг — трах! — ось лопнула...

— Болтаете вы что-то непутевое! — говорят они.— Вы не в своем уме, право! Что вы нам рассказываете басни, сказки из «Тысячи и одной ночи»? Мы уже не в силах на ногах держаться.

За весь день, кроме стакана кофе с плюшкой, у нас маковой росинки во рту не было, а вы нам всякие истории рассказываете!

— Ну, это другое дело! — отвечаю.— Плохи пляски да шутки, когда пусто в желудке. Что такое голод, я знаю хорошо,— можете мне не рассказывать. Возможно, что кофе с плюшками я в глаза не видал вот уже лет...

И представляется мне тут стакан горячего кофе с молоком и свежей булкой и другие вкусные вещи... «Скажите на милость! Чего захотел...— думаю я.— Какое деликатное воспитание: кофе с булочками... А ломоть хлеба с селедкой — хвор?» Но сатана, будь он неладен, как назло, не унимается: слышу запах кофе, чувствую вкус сдобной булки — свежей, хрустящей — объедение!..

— Знаете что, реб Тевье? — обращаются ко мне женщины.— Чем здесь стоять, не лучше ли нам забраться к вам в телегу, а вы бы потрудились отвезти нас домой, в Бойберик. Что вы на это скажете?

— Вот те и здравствуй! — говорю я.— Я из Бойберика еду, а вам надо в Бойберик! Как же это выйдет?

— Ну и что же? — отвечают они.— Не знаете, что делать? Человек, да еще ученый, находит выход: поворачивает оглобли и едет обратно. Не беспокойтесь, реб Тевье, будьте уверены,— если вы нас благополучно доставите домой, то дай нам бог столько прохворать, сколько вы на этом деле потеряете...

«Говорят они со мной чего-то на тарабарском языке! — подумал я.— Все какими-то обиняками!» И приходят на ум мертвецы, ведьмы, шуты, нечистая сила. «Дурень набитый! — думаю.— Чего ты стоишь как пень? Полезай на облучок, пугни конягу кнутом и — пошел, куда глаза глядят!» Но, как на грех, у меня против воли срывается:

— Полезайте в телегу!

А те, как услышали,— не заставили себя долго упрашивать... Я следом за ними — на облучок, повернул дышло и стал нахлестывать лошаденку: «Раз, два, три — пошел!» Да где там! Как бы не так! С места не трогается, хоть режь ее. «Ну, думаю, теперь ясно, что это за женщины такие! И дернула же меня нелегкая остановиться ни с того ни с сего посреди дороги и завести разговор с женщинами!..»

Понимаете? Кругом лес, тишина, ночь надвигается, а тут — два каких-то существа в образе женщин... Разыгралась у меня фантазия не на шутку! Вспомнилась история об извозчике, который однажды ехал один-одинешенек лесом и увидел на дороге мешок с овсом. Извозчик не поленился, слез, схватил мешок на

плечи,— чуть не надорвался, кое-как взвалил его на телегу, и марш вперед. Отъехал с версту, хватился мешка, а его и нет! Ни тебе овса, ни мешка! На возу лежит коза с бородкой. Извозчик хочет дотронуться до нее рукой, а она ему язык с аршин как высунет, как расхохочется — и нет ее!

— Почему же вы не едете? — спрашивают мои пассажирки.

— Почему не еду? Сами,— говорю,— видите почему: конь танцевать отказывается, охоты нет.

— А вы его,— говорят они,— кнутом! Ведь у вас кнут есть.

— Спасибо,— отвечаю,— за совет! Хорошо, что напомнили. Беда только в том, что мой молодец таких вещей не боится. С кнутом он уже свыкся, как я с нищетой...

Шучу, понимаете, а самого лихоманка трясет.

Словом, что тут долго рассказывать,— выместил я на несчастной моей лошаденке все, что накопилось на душе. В конце концов господь помог, лошадка снялась с места, и мы отбыли — поехали лесом, своим путем-дорогою.

Еду, а в голове новая мысль проносится: «Эх, Тевье, и осел же ты! Если ты начал падать, а значит это — как был ты нищим, так нищим и останешься. Подумай, такая встреча, ведь это раз в сто лет случается,— как же ты не сторговался с самого начала, чтобы знать, «что почем», сколько ты получишь? Ведь как ни суди,— по совести ли, по человечности ли, по закону или по чему бы то ни было,— а заработать на таком деле, право же, не грех. Да и почему не поживиться, раз так случилось? Останови лошадку, осел ты эдакий, и скажи им — так, мол, и так, без церемоний: «Дадите столько-то,— ладно, а не дадите,— тогда, прошу прощения, извольте слезть с телеги!» Но, с другой стороны, думаю, ты и в самом деле осел, Тевье! Не знаешь разве, что медвежью шкуру в лесу не продают? Как наши крестьяне говорят: «Ще не поймав, а вже скубе...»

— Почему бы вам не ехать побыстрее? — говорят мои пассажирки, тормоша меня сзади.

— А куда вам так торопиться? Тише едешь, дальше будешь,— отвечаю я и поглядываю на них искоса.

Как будто бы ничего... Женщины как женщины: одна в шелковом платке, другая в парике. Сидят, смотрят друг на дружку и перешептываются.

— Далеко еще? — спрашивают они.

— Да уж не ближе, чем от этого места! — отвечаю я.— Вот сейчас поедем с горы, а потом в гору; затем — снова спуск и снова подъем и лишь потом будет большой подъем, а уж оттуда дорога пойдет прямо-прямехонько до самого Бойберика...

— Ну и извозчик! — обращается одна к другой.
— Бесконечное лихо! — говорит другая.
— Еще недоставало! — говорит первая.
— Вроде придурковатый!..

«Конечно, думаю, придурковатый, раз позволяю себя за нос водить!»

— А где, к примеру,— спрашиваю я,— где, милые женщины, прикажете вас скинуть?

— Что значит,— говорят,— «скинуть»? Что за скидывание такое?

— Это на извозчичьем языке так говорится,— объясняю я.— На нашем наречии это означает: куда доставить вас, когда, бог даст, приедем в Бойберик и, по милости всевышнего, будем живы и здоровы! Как говорится: лучше дважды спросить, чем один раз напутать.

— Ах, вот оно что! Вы,— говорят они,— будьте добры довезти нас до зеленой дачи, что у реки, по ту сторону леса. Знаете, где это?

— Почему же,— говорю,— мне не знать? В Бойберике я как у себя дома. Было бы у меня столько тысяч, сколько бревен я туда доставил. Вот только прошлым летом я привез на зеленую дачу две сажени дров сразу. Дачу снимал какой-то богач из Егупца, миллионщик,— у него, наверное, сто, а может быть, и все двести тысяч!

— Он и сейчас ее снимает,— отвечают обе женщины, а сами переглядываются и шепчутся, чему-то усмехаясь.

— Позвольте,— говорю я,— уж ежели стряслась такая история, то может статься, что вы к этому богачу имеете кое-какое касательство... А если так, то, может быть, вы будете добры замолвить за меня словечко, похлопотать? Не найдется ли, чего доброго, для меня дело какое-нибудь, должность, мало ли что? Вот я знаю одного молодого человека, неподалеку от нашего местечка, звать его Исроел... Был никудышный парень. Однако пробился каким-то путем к богачу, а сейчас он важная шишка, зарабатывает чуть ли не двадцать рублей в неделю, а может быть, и сорок!.. Кто его знает? Везет людям!.. Или вот, скажем, чего не хватает зятю нашего резника? Что было бы с ним, если бы он не уехал в Егупец? Правда, вначале он немало горя хлебнул, несколько лет мучился, чуть с голоду не помер. Зато сейчас — дай бог мне не хуже — домой деньги присылает. Он даже хотел бы взять туда жену и детей, да беда в том, что им там жить не разрешается. Спрашивается, как же сам он там живет? Очень просто — мучается... Однако,— говорю,— погоди-



«Аз недостойный»

те-ка! Всему конец приходит: вот вам река, а вот и большая дача...

И лихо подкатил — дышлом в самое крыльцо. Увидели нас — и пошло тут веселье, крики, возгласы:

— Ой, бабушка! Мама! Тетя! Отыскалась пропажа! Поздравляем! Боже мой, где вы были? Мы здесь голову потеряли... Разослали на поиски по всем дорогам... Думали — мало ли что? Волки... Разбойники, упаси боже... Что случилось?

— Случилась интересная история: заблудились в лесу, ушли бог весть куда, верст за десять... Вдруг — человек... Что за человек? Да так, какой-то горемыка с лошадкой... С трудом упросили его...

— Фу ты господи, страсти какие! Одни, без провожатого! Скажите на милость! Бога благодарить надо...

В общем, вынесли на веранду лампы, накрыли на стол и начали таскать горячие самовары, чай на подносах, сахар, варенье, яичницы, сдобные булочки, свежие, пахучие, потом блюда всякие — бульоны жирные, жаркое, гусятину, наилучшие вина, настойки... Стою это я в сторонке и смотрю, как едят и пьют егупецкие богачи, сохрани их господи от дурного глаза! «Последнюю рубаху заложить,— подумал я,— только бы богачом быть!» Верите ли, мне кажется, того, что здесь со стола на пол падает, хватило бы моим детям на всю неделю, до субботы. Господи боже милосердный! Ведь ты же великий, всемилостивый и справедливый! Какой же это порядок, что одному ты даешь все, а другому — ничего? Одному — сдобные булочки, а другому — казни египетские! Однако, с другой стороны,— думаю я,— ты все-таки очень глуп, Тевье! Что это значит? Ты берешься указывать богу, как миром управлять? Уж если ему так угодно, значит, так и быть должно. Потому что если бы должно было быть иначе, то и было бы иначе. А на вопрос, почему бы и в самом деле не быть по-иному, есть один только ответ: «Рабами были мы»,— ничего не попишешь! На то мы и евреи на белом свете. А еврей должен жить верой и надеждой: уповать на бога и надеяться, что со временем, если будет на то воля божья, все переменится к лучшему...»

— Позвольте, а где же этот человек? — спросил кто-то.— Уже уехал, чудак эдакий?

— Упаси боже! — отозвался я.— Как же это я уеду, не попрощавшись? Здравствуйте, добрый вечер! Благослови господь сидящих за столом! Приятного вам аппетита! Кушайте на здоровье!

— Подите-ка сюда,— говорят они мне.— Чего вы там

стоите, в темноте? Давайте хоть посмотрим, какой вы из себя! Может быть, рюмочку водки выпьете?

— Рюмочку водки? С удовольствием! — отвечаю.— Кто же отказывается от рюмочки! Как в Писании сказано: «Кому за здравие, а кому за упокой». А толковать это следует так: вино — вином, а бог своим чередом... Лехаим! — говорю и опрокидываю рюмку.— Дай вам бог всегда быть богатыми и счастливыми! И чтобы евреи оставались евреями. И пусть господь бог даст им здоровья и силы переносить все беды и горести!

— Как вас звать? — обращается ко мне сам хозяин, благообразный такой человек в ермолке.— Откуда будете? Где место вашего жительства? Чем изволите заниматься? Женаты? А дети у вас есть? Много ли?

— Дети? — отвечаю.— Грех жаловаться. Если каждое дитя, как уверяет жена моя Голда, миллиона стоит, то я богаче любого богача в Егупце. Беда только, что нищета — богатству не чета, а хромой прямому не сродни... Как в Писании сказано: «Отделяющий праздник от будних дней»,— у кого денежки, тому и жить веселей. Да вот деньги-то у Бродского, а у меня — дочери. А дочери, знаете, большая утеха,— с ними не до смеха! Но — ничего! Все мы под богом ходим, то есть он сидит себе наверху, а мы мучаемся внизу. Трудимся, бревна таскаем,— что ж поделаешь? Как в наших священных книгах говорится: «На безрыбье и рак рыба...» Главная беда — это еда! Моя бабушка, царство ей небесное, говаривала: «Кабы утроба есть не просила, голова бы в золоте ходила...» Уж вы меня простите, если лишнее сболтнул... Нет ничего прямее кривой лестницы и ничего тупее острого словца, особливо, когда хватишь рюмочку на пустой желудок...

— Дайте человеку покушать! — сказал богач.

И сразу же на столе появилось — чего хочешь, того просишь: рыба, мясо, жаркое, курятина, пупочки, печенка...

— Закусите чего-нибудь? — спрашивают меня.— Мойте руки.

— Больного,— отвечаю,— спрашивают, а здоровому дают. Однако благодарю вас! Рюмку водки — это еще куда ни шло, но усесться за стол и пировать в то время, как там, дома, жена и дети, дай им бог здоровья... Уж если будет на то ваша добрая воля...

Словом, очевидно, поняли, на что я намекаю, и стали таскать в мою телегу — кто булку, кто рыбу, кто жареное мясо, кто курятину, кто чай и сахар, кто горшок смальца, кто банку варенья...

— Это,— говорят они,— вы отвезете домой в подарок жене и детям. А сейчас разрешите узнать, сколько прикажете заплатить вам за труды?

— Помилуйте,— отвечаю,— что значит я прикажу? Уж это как ваша добрая воля... Поладим авось... Как это говорится,— червонцем меньше, червонцем больше... Нищий беднее не станет...

— Нет! — не соглашаются они.— Мы хотим от вас самих услышать, реб Тевье! Не бойтесь! Вам за это, упаси господи, головы не снимут.

«Как быть? — думаю.— Скверно: сказать целковый,— обидно, а вдруг можно два получить. Сказать два,— боязно: посмотрят, как на сумасшедшего, за что тут два рубля?»

— Трешницу!..— сорвалось у меня с языка, и все так расхохотались, что я чуть сквозь землю не провалился.

— Не взыщите! — говорю я.— Быть может, я не то сказал. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, а уж человек с одним языком и подавно...

А те еще пуще смеются. Прямо за животики хватаются.

— Довольно смеяться! — сказал хозяин и, достав из бокового кармана большой бумажник, вытащил оттуда — сколько бы вы подумали, к примеру? А ну, угадайте! Десятку! Красненькую, огненную,— чтоб я так здоров был вместе с вами! — и говорит: — Это вам от меня, а вы, дети, дайте из своих, сколько найдете нужным...

Словом, что тут говорить! Полетели на стол пятерки, и трешницы, и рублевки — у меня руки и ноги дрожали, думал — не выдержу, в обморок упаду.

— Ну, чего же вы стоите? — обращается ко мне богач.— Заберите ваши деньги и езжайте с богом к жене и детям.

— Воздай вам бог сторицею! — говорю.— Пусть у вас будет в десять, в сто раз больше! Всего вам хорошего и много-много радости!

И стал обеими руками сгребать деньги и, не считая,— где тут считать! — совать бумажки во все карманы.

— Спокойной вам ночи! — говорю.— Будьте здоровы и дай бог счастья вам, и детям вашим, и детям детей ваших, и всему вашему роду!

Направляюсь к телеге. Но тут подходит ко мне жена богача, та, что в шелковом платке, и говорит:

— Погодите-ка, реб Тевье. От меня вы получите особый подарок. Приезжайте, с божьей помощью, завтра. Есть у меня бурая корова. В свое время была корова хоть куда, двадцать

четыре кружки молока давала. Да вот сглазили ее, и она перестала доиться... То есть она доится — но молока не дает...

— Дай вам бог долголетья! — отвечаю.— Можете не беспокоиться! У меня ваша корова будет и доиться, и молоко давать. У меня старуха большая мастерица: из ничего лапшу крошит, из пяти пальцев затирку варит, чудом субботу справляет и колотушками ребят укладывает... Извините,— говорю,— если лишнее сболтнул. Спокойной вам ночи, всего хорошего и будьте мне всегда здоровы и счастливы!

Вышел во двор к своему возу, хватился лошаденки,— нет лошаденки! Ах ты горе мое горькое! Гляжу во все стороны,— вот ведь беда! — нету, и все тут!

«Ну, Тевье, думаю, попал ты в переплет!» И приходит мне на память история, которую я вычитал как-то в книжке, о том, как нечистая сила заманила набожного человека в какой-то дворец за городом, накормила, напоила его, а потом оставила его с глазу на глаз с какой-то женщиной. А женщина эта обернулась диким зверем, зверь — кошкой, а кошка — чудовищем... «Смотри-ка, Тевье! — говорю я себе.— А не водят ли тебя за нос?»

— Что это вы там копошитесь? Чего ворчите? — спрашивают меня.

— Копошусь...— говорю я.— Горе мне и всей моей жизни! Беда со мной приключилась: лошаденка моя...

— Лошадка ваша в конюшне,— отвечают мне.— Потрудитесь зайти на конюшню!

Захожу, смотрю: и правда, честное слово! Стоит, понимаете ли, моя молодица среди господских лошадей и с головой ушла в еду: жует овес на чем свет стоит, аж за ушами трещит!

— Слышь ты! — говорю я ей.— Умница моя, домой пора! Сразу набрасываться тоже нельзя! Лишний кус, говорят, впрок нейдет...

В общем, еле упросил ее, запряг, и поехали мы домой, довольные и веселые. Я даже молитву праздничную запел. А лошаденку и не узнать, будто в новой шкуре. Бежит, кнута не дожидаясь. Приехал я домой уже поздненько, разбудил жену.

— С праздником,— говорю,— поздравляю тебя, Голда!

— Что еще за поздравления? — рассердилась жена.— С какой такой радости? С чего это на тебя такое веселье нашло, кормилец мой хваленый? Со свадьбы, что ли, приехал или с рождения, добытчик мой золотой?

— Тут тебе все вместе — и свадьба и рождение! Погоди, жена, сейчас увидишь клад! — говорю я.— Но прежде всего разбуди детей, пусть и они, бедняги, отведают егупецких разносолов...

— То ли ты сдурел, то ли спятил, то ли рехнулся, то ли с ума сошел? Говоришь как помешанный, прости господи! — отвечает мне жена и ругается, осыпает меня проклятьями, как полагается женщине.

— Баба,— говорю я,— бабой и останется! Недаром Соломон Мудрый говорил, что среди тысячи жен он ни одной путной не нашел. Хорошо еще, что нынче вышло из моды иметь много жен...

Вышел я, достал из телеги все, что мне надавали, и расставил на столе. Моя команда, как увидела булки, как почуяла мясо,— налетели, горемычные, словно голодные волки. Хватают, руки дрожат, зубы работают... Как в Писании сказано: «И вкушали...» А значит это — набросились, как саранча! У меня даже слезы на глаза навернулись...

— Ну, рассказывай,— обращается ко мне жена,— у кого это была трапеза для нищих или пир какой?.. И чему ты так радуешься?

— Погоди,— говорю,— Голда, все узнаешь. Ты взбодри самоварчик, усядемся все за стол, выпьем по стаканчику чаю, как полагается. Человек живет на свете всего только один раз, не два. Тем более сейчас, когда у нас есть своя корова на двадцать четыре кружки в день,— завтра, бог даст, приведу ее. А ну-ка, Голда,— говорю я и достаю из всех карманов ассигнации.— А ну-ка, попробуй угадай, сколько у нас денег?

Посмотрел я на свою жену,— стоит бледная как смерть и слова вымолвить не может.

— Бог с тобой, Голда-сердце,— говорю я,— чего ты испугалась? Уж не думаешь ли ты, что я украл или награбил эти деньги? Фи, постыдись! Ты столько времени жена мне. Неужели ты могла подумать обо мне такое? Глупенькая, это деньги, честно заработанные, добытые собственным моим умом и трудами. Я спас,— говорю,— двух человек от большой опасности. Если бы не я, бог знает, что было бы с ними!

Словом, рассказал я всю историю от начала до конца, и принялись мы вдвоем считать и пересчитывать еще и еще раз наши деньги. Там оказалось ровным счетом дважды по восемнадцать и один лишний, а в общем вы имеете не больше и не меньше, как тридцать семь рублей!..

Жена даже расплакалась.

— Чего же ты плачешь, глупая женщина?

— А как же мне не плакать,— отвечает она,— когда плачется? Сердце переполнено, и глаза — через край. Вот тебе бог,— говорит,— предчувствовала я, что ты приедешь с доброй вестью. Уж я и не припомню того времени, когда бабушка Цейтл, мир праху ее, мне во сне являлась. Сплю это я, и вдруг снится мне подойник, полный до краев. Бабушка Цейтл, царство ей небесное, несет подойник, прикрывая его фартуком от дурного глаза, а ребята кричат: «Мама, мони!»

— Ты погоди, душа моя, торопиться, не забегай вперед! — говорю я.— Пусть твоя бабушка Цейтл блаженствует в раю, а будет ли нам от нее какая-нибудь польза, не знаю. Но если господь бог мог совершить такое чудо, чтобы мы имели корову, так уж, наверное, он постарается, чтобы корова эта была коровой. Ты лучше посоветуй мне, Голда-сердце, что делать с деньгами?

— Лучше скажи мне ты, Тевье, что ты собираешься делать с такими деньгами?

— Нет,— говорю я,— ты, ты скажи, как ты считаешь, что мы можем сделать с таким капиталом?

И стали мы думать, прикидывать и так и эдак, долго ломали себе голову, перебирали все промысла на свете. И чем только мы в эту ночь не промышляли! Покупали пару лошадей и тут же их перепродавали с большой прибылью; открывали бакалейную лавочку в Бойберике, наскоро распродавали весь товар и тут же открывали мануфактурную торговлю; покупали лесной участок, с тем чтобы получить за него отступные и уехать; пытались взять в откуп коробочный сбор в Анатовке; собирались давать деньги в рост...

— С ума сошел! — рассердилась жена.— Хочешь растранжирить деньги и остаться при одном кнутовище?

— А ты думаешь, торговать хлебом и потом обанкротиться лучше? Мало ли народу,— говорю,— нынче разорилось на пшенице? Поди послушай, что творится в Одессе!

— Сдалась мне твоя Одесса! — отвечает она.— Мои деды и прадеды не бывали там, и дети мои тоже не будут, покуда я жива и на ногах держусь.

— Чего же ты хочешь? — спрашиваю я.

— Чего мне хотеть? — говорит она.— Я хочу, чтобы ты не был дураком и не говорил глупостей.

— Ну, конечно! — отвечаю я.— Теперь ты умная... У кого сто рублей, тот всех умней! Богатство еще только на примете, а уж умней его и нет на свете!.. Всегда так бывает!

Словом, мы несколько раз ссорились, тут же мирились и порешили, наконец, к обещанной мне бурой корове прикупить еще одну, дойную, которая дает молоко...

Вы, конечно, спросите: почему корову, почему не лошадь? На это я могу ответить: а почему лошадь? Почему не корову? Бойберик, понимаете,— такое место, куда летом съезжаются все егупецкие богачи, а так как егупецкие богачи с детства приучены, чтобы им прямо ко рту подносили и мясо, и яйца, и кур, и лук, и перец, и всякую всячину,— почему же кому-нибудь не взяться доставлять им к столу сыр, сметану, масло и тому подобное? Покушать егупчане любят, а деньги для них — трын-трава, значит, можно и товар легко сбыть и заработать неплохо. Главное, чтоб товар был хорош. А такого товара, как у меня, вы и в Егупце не сыщете. Дай боже мне вместе с вами столько счастья, сколько раз очень почтенные господа, даже христиане, упрашивали меня привозить им свежий товар.

«Мы,— говорят они,— слыхали, что ты, Тевье, человек честный, хоть и нехристь...» Думаете, от своих дождешься такого комплимента? Как бы не так! Доброго слова от них не услышишь. Они только и знают — совать нос, куда не следует. Увидали у Тевье корову, тележку новую и начали ломать себе голову: откуда такое? А не торгует ли этот самый Тевье фальшивыми ассигнациями? А не варит ли он втихомолку спирт? «Ха-ха-ха! Ломайте себе головы, думаю, на здоровье!» Поверите ли, вы чуть ли не первый человек, которому я рассказал подробно всю эту историю...

Однако мне кажется, я заболтался. Не взыщите! Надо о деле думать. Как в Писании сказано: «Каждая ворона к своему роду»,— то есть каждый берись за свое дело. Вы — за свои книжки, а я — за горшки и крынки... Об одном только хочу попросить вас, пане Шолом-Алейхем,— чтобы вы про меня в книжках не писали. А если напишете, то хоть имени моего не называйте.

Будьте здоровы и всего вам хорошего!

ХИМЕРА

«Много замыслов в сердце человека» — так, кажется, сказано в Священном писании? Объяснять вам, реб Шолом-Алейхем, что это значит, как будто нет нужды. Но есть у нас поговорка: «И резвому коню кнут нужен, и мудрому человеку

совет требуется». О ком я это говорю? О себе самом. Ведь будь я умнее да зайди к доброму приятелю, расскажи ему все как есть, так, мол, и так,— я бы, конечно, не влип так нелепо! Однако «и жизнь и смерть во власти языка», то есть если бог захочет наказать человека, он его и разума лишит. Уж я сколько раз думал про себя: «Посуди сам, Тевье, осел эдакий! Ведь ты, говорят, человек не глупый,— как же это ты дал себя вокруг пальца обвести? Да еще так по-дурацки? Чего бы тебе не хватало, к примеру, сейчас, при нынешних твоих, хоть и небольших, заработках? Ведь твой молочный товар славится везде и всюду —и в Бойберике, и в Егупце, и где угодно... Как хорошо и радостно было бы, если бы твои денежки лежали себе тихонько в сундуке, на самом донышке, и чтобы ни одна душа об этом не знала? Потому что кому, скажите на милость, какое дело, есть у Тевье деньги или нет их? В самом деле! Очень, что ли, интересовались этим самым Тевье, когда он в пыли и прахе валялся, горе мыкал, когда он с женой и детьми трижды в день с голоду помирал? Ведь это только потом, когда господь бог, обратив око свое к Тевье, вдруг осчастливил его, и Тевье стал кое-как приходить в себя и приберегать целковый-другой про черный день, о нем везде и всюду заговорили, и он сделался уже «реб Тевье» — шутка ли! И друзей тут объявилось — не счесть! Как в Писании сказано: «И все любимые, и все ясные», в общем: «Даст господь ложкой, так и люди — ушатом...» Каждый со своим советом лезет: один предлагает мануфактурную лавку, другой — бакалейную, один предлагает дом, второй — имение, третий — лес, хлеб, торги...»

— Братцы! — взмолился я.— Отстаньте вы от меня! Вы жестоко ошибаетесь! Вы поди подумали, что я — Бродский? Иметь бы всем нам столько, сколько мне не хватает до трехсот, и даже до двухсот, и даже до полутораста рублей! На чужое добро,— говорю,— глаза разгораются. Каждому кажется, что у другого золото блестит, а подойдешь поближе — медная пуговица!

Короче говоря, сглазили-таки,— чтоб им ни дна ни покрышки! Послал мне господь родственничка... Да и то сказать: родственник — нашему забору двоюродный плетень. Менахем-Мендл звать его,— ветрогон, фантазер, путаник,— шут его знает! Взялся он за меня и заморочил голову химерами, небылицами, мыльными пузырями. Вы, пожалуй, спросите,— как же так? Как я, Тевье, попал к Менахем-Мендлу? На это я вам отвечу: так, видно, суждено. Вот послушайте.

Приехал я как-то в начале зимы в Егупец, привез немного товара — фунтов двадцать с лишним свежего масла,— да какого масла! — пару изрядных мешочков творога,— золото, а не товар! Дай нам бог обоим такую жизнь! Ну, сами понимаете, товар у меня тут же расхватали, ни крошки не оставили. Я даже не успел побывать у всех моих летних покупателей, бойберикских дачников, ожидающих меня, как мессию... Да и что удивительного? Разве могут егупецкие торговцы — хоть лопни они! — давать такой товар, как Тевье делает! Вам-то мне нечего рассказывать. Как в Притчах сказано: «Пусть хвалит тебя чужой»,— хороший товар сам себя хвалит...

Словом, расторговался я вчистую, подбросил лошаденке сенца и пошел бродить по городу. «Человек из праха создан»,— все мы люди, все мы человеки, хочется на мир божий поглазеть, воздухом подышать, полюбоваться на чудеса, что выставляет Егупец напоказ в окнах магазинов, будто говоря: смотреть — смотри, сколько душе угодно, а руками трогать — не моги! И вот стою это я у большого окна, за которым разложены полуимпериалы, серебряные целковики, банковые билеты и просто ассигнации, гляжу и думаю: «Господи боже мой! Иметь бы мне хоть десятую долю того, что здесь лежит,— чего бы мне еще тогда желать? И кто бы мог со мной сравняться? Перво-наперво, выдал бы я старшую дочь, дал бы за ней пятьсот рубликов приданого, не считая подарков, одежи и свадебных расходов; конягу с тележкой и коров продал бы, переехал бы в город, купил бы себе постоянное место в синагоге у восточной стены, жене — дай бог здоровья — нитку-другую жемчуга, раздавал бы пожертвования, как самый зажиточный хозяин; синагогу покрыл бы железом, чтоб не стояла, как сейчас, без крыши — вот-вот провалится; устроил бы какую ни на есть школу для ребят, соорудил бы больницу для бедных, как во всех порядочных городах, чтобы бедняки не валялись в синагоге на голом полу; выставил бы наглеца Янкла из погребального братства,— хватит ему водку пить и пупками да печенками закусывать на общественный счет!..»

— Мир вам, реб Тевье! — слышу я вдруг позади себя.— Как живете?

Оборачиваюсь, смотрю,— готов поклясться, что знакомый!

— Здравствуйте,— отвечаю.— Откуда будете?

— Откуда? Из Касриловки. Родственник ваш,— говорит он.— Правда, не так, чтобы очень близкий: ваша жена Голда приходится мне кровной четвероюродной сестрой.

— Позвольте-ка,— говорю я.— Так вы, может быть, зять Борух-Герша, мужа Лея-Двоси?

— Вроде угадали! — отвечает он.— Я зять Лея-Двосиного Борух-Герша, а жену мою зовут Шейне-Шейндл, дочь Лея-Двосиного Борух-Герша! Теперь вам ясно?

— Погодите-ка,— говорю я.— Бабушка вашей тещи, Соре-Ента, и тетка моей жены, Фруме-Злата, были как будто бы чуть ли не кровными двоюродными сестрами, а вы, если не ошибаюсь, женаты на средней дочери Борух-Герша, мужа Лея-Двоси. Но дело в том, что я забыл, как вас зовут, вылетело у меня из головы ваше имя. Как же вас зовут по-настоящему?

— Меня,— отвечает он,— зовут Менахем-Мендл, зять Лея-Двосиного Борух-Герша,— так зовут меня дома, в Касриловке.

— В таком случае, дорогой мой Менахем-Мендл,— говорю я ему,— тебе особая честь! Скажи же мне, дорогой Менахем-Мендл, что ты здесь поделываешь, как поживают твои теща и тесть? Как твои дела, как здоровье?

— Эх! — отвечает он.— На здоровье, слава богу, не жалуемся, живем помаленьку. А вот дела нынче что-то невеселые.

— Авось бог милостив! — говорю я и поглядываю на его одежду: потрепана сильно, а сапоги, извините, каши просят...— Ну, ничего! Господь поможет. Поправятся, надо думать, дела. Знаешь, как сказано: «Все суета сует»,— деньги — они круглые: нынче там, а завтра здесь,— был бы только человек жив! А главное — это надежда! Надо уповать. А что приходится горе мыкать, так ведь на то мы и евреи! Как говорится: «Ежели ты солдат,— нюхай порох!» А в общем,— говорю,— вся жизнь наша — сон... Ты скажи мне лучше, Менахем-Мендл-сердце, каким образом ты вдруг очутился в Егупце?

— Что значит «очутился»? — отвечает он.— Уж я здесь полегоньку да потихоньку года полтора...

— Ах, вот как! — говорю я.— Стало быть, ты здешний, егупецкий житель?

— Ш-ш-ш! — зашипел он, оглядываясь по сторонам.— Не говорите так громко, реб Тевье! Здешний-то я здешний, но это — между нами!..

Стою я и смотрю на него, как на полоумного.

— Ты что? — спрашиваю.— Беглец? Скрываешься в Егупце посреди базара?

— Не спрашивайте,— говорит он,— реб Тевье! Все это правильно. Вы, наверное, не знаете егупецких законов и порядков... Пойдемте,— предлагает он,— и я вам расскажу, что значит быть здешним и в то же время нездешним...

И стал он мне рассказывать целую историю о том, как здесь люди мытарствуют...

— Послушай меня, Менахем-Мендл! — говорю я.— Съезди ко мне в деревню на денек. Отдохнешь, кости разомнешь. Гостем будешь, и желанным! Старуха моя так тебе обрадуется!

В общем, уговорил: едем. Приехали домой — радость! Гость! Да еще какой! Кровный четвероюродный брат! Шутка ли? Свое — не чужое! И пошли тары-бары: что слышно в Касриловке? Как поживает дядя Борух-Герш? Что поделывает тетя Лея-Двося? А дядя — Иосл-Менаше? А тетя Добриш? А дети их как поживают? Кто умер? Кто женился? Кто развелся? У кого кто родился и у кого жена на сносях?

— Ну, что тебе,— говорю я,— жена моя, до чужих свадеб и рождений? Ты позаботься лучше, чтоб перекусить было чего. «Всяк алчущий да приидет...» Какая там пляска, коли в брюхе тряска? Ежели есть борщ,— прекрасно, а нет борща, так и пироги сгодятся, или вареники, галушки, а то и блинчики, лазанки, вертуты... Словом, пускай будет блюдом больше, лишь бы скорее!

Короче говоря, помыли руки и славно закусили, как положено.

— Кушай, Менахем-Мендл,— говорю я,— ибо «все суета сует», как сказал царь Давид, нет на свете правды, одна фальшь. А здоровье,— говорила моя бабушка Нехама — царствие ей небесное, умная была женщина! — здоровье и удовольствие в тарелке ищи...

Гость мой,— у него, у бедняги, даже руки тряслись,— на все лады расхваливал мастерство моей жены и клялся, что он уж и времени того не помнит, когда ему доводилось есть такие чудесные молочные блюда, такие вкусные пироги и вертуты!

— Глупости! — говорю я.— Попробовал бы ты ее запеканку или лапшевник — вот тогда бы почувствовал, что такое рай на земле!

Ну вот, покушали, молитву прочитали и разговорились каждый о своем, как водится: я о своих делах, он о своих. Я — о том, о сем, пятое-десятое, а он — об Одессе, о Егупце, о том, что он уже раз десять бывал «и на коне и под конем», нынче богач, завтра нищий, потом снова при деньгах и опять бедняк... Занимался такими делами, о которых я сроду и не слыхивал, дикими какими-то, несуразными: «гос» и «бес», «акции-шмакции», «Потивилов», «Мальцев-Шмальцев» — бог его ведает! А счет ведется прямо-таки сумасшедший — десять тысяч, двадцать тысяч... Деньги — что щепки!

— Скажу тебе по правде, Менахем-Мендл,— говорю я ему,— то, что ты рассказываешь о своих диковинных делах,— это, конечно, ловкости требует, уметь надо... Но одно мне не совсем понятно: насколько я знаю твою супружницу, меня очень удивляет, что она позволяет тебе эдак носиться и не приезжает к тебе верхом на метле...

— Эх,— отвечает он со вздохом.— Об этом, реб Тевье, лучше не напоминайте мне... Достается мне от нее и так... И в жар и в холод бросает... Послушали бы вы, что она мне пишет,— вы бы сами сказали, что я праведник! Но все это мелочь, на то она и жена, чтобы в гроб вгонять. Есть,— говорит,— кое-что похуже. Имеется у меня еще и теща. Рассказывать вам о ней мне не к чему,— вы сами ее знаете!

— В общем,— говорю я,— у тебя как сказано: «И пятнистые, и пегие, и пестрые...» Болячка на болячке, а поверх болячки — волдырь!

— Совершенно верно, реб Тевье! Это вы очень правильно сказали. Болячка — болячкой, но волдырь,— отвечает он,— хуже всякой болячки!

Словом, проболтали мы таким манером до поздней ночи. У меня даже голова закружилась от всех этих историй и сумасшедших дел, от этих тысяч, которые то взлетают кверху, то свергаются вниз, от сказочных богатств Бродского... Всю ночь потом мерещились мне Егупец, полуимпериалы, Бродский, Менахем-Мендл со своей тещей... И только на следующее утро он наконец выложил все начистоту. В чем дело?

— Так как,— говорит он,— у нас в Егупце сейчас деньги, можно сказать, на вес золота, а товар полетел вниз, то вы, реб Тевье, могли бы в настоящее время отхватить порядочный куш, а меня вы бы очень поддержали, прямо-таки из мертвых воскресили бы!

— Рассуждаешь ты, как мальчик! — отвечаю я.— Думаешь, у меня егупецкие деньжищи, полуимпериалы? Глупенький! Дай бог нам с тобою в компании заработать до пасхи столько, на сколько я не дотянул до Бродского!

— Конечно,— говорит он,— я и сам понимаю... Но вы думаете, что для этого нужны большие деньги? Дайте мне,— говорит,— одну сотню, и в течение трех-четырех дней я сделаю вам из нее двести, триста, шестьсот, семьсот,— а почему бы и не всю тысячу?..

— Очень,— отвечаю я,— может случиться так, как в Писании сказано: «Барыш под рукой, да карман — за рекой...» Все это хорошо, когда есть чем рисковать. А как же быть, если и

сотни нет? Вот и получается: «Пришедший в одиночку, в одиночку и изыде»,— иначе говоря: хворобу вложил — лихоманку достал!..

— Бросьте! — говорит он.— Сотня у вас еще найдется, реб Тевье! При ваших заработках, при вашем добром имени, не сглазить бы...

—А что толку,— отвечаю я,— от моего имени? Имя, конечно, вещь хорошая, да беда в том, что я так при имени своем и остаюсь, а денежки-то все-таки у Бродского... Если хочешь знать в точности, то у меня всего-навсего едва ли сотня наберется. Да и ею надо тысячу дыр заткнуть: во-первых, дочь замуж выдать...

— Об этом и разговор! — перебил он меня.— Когда еще, реб Тевье, вам такой случай подвернется: вложить в дело одну только сотню, а получить, с божьей помощью, столько, чтобы хватило и на выданье дочерей и еще кое на что?

И снова пошла канитель на битых три часа. Он стал объяснять мне, как из одного рубля делают три, а из трех — десять. Перво-наперво, говорит он, вносят сотню и велят купить десять штук,— уж я и забыл, как это называется,— потом выжидают несколько дней, пока это самое не поднимется в цене... Тогда дают куда-то такое телеграмму и велят продать это, а на вырученные деньги купить вдвое больше... Потом это снова повышается в цене, и снова посылают телеграмму, и так до тех пор, пока сотня не превратится в две, две — в четыре, четыре — в восемь, а восемь — в шестнадцать. Чудеса, да и только! Видел он, говорит, в Егупце таких, что совсем еще недавно без сапог ходили, были маклерами, лакеями на побегушках... А сейчас у них собственные дома, палаты каменные, жены у них с желудками возятся, за границу лечиться ездят... А сами они носятся по Егупцу на резиновых шинах — фу-ты ну-ты! — и людей не узнают!

Словом, о чем тут долго говорить! Разобрало меня не на шутку! Чего, думаю, на свете не бывает! А вдруг сама судьба послала его мне? Ведь вот, слышу я, люди в Егупце при помощи пяти пальцев богатеют! Чем я хуже их? Менахем-Мендл как будто бы не лгун, не из головы же он выдумывает такие чудеса! А вдруг, думаю, и в самом деле повернет, как говорят, направо, и Тевье на старости лет в люди выбьется? И правда, до каких пор маяться, из сил выбиваться? День и ночь только и знаешь: коняга да телега, сыр да масло... Пора, говорю, тебе, Тевье, отдохнуть, зажить по-человечески, не хуже других, в синагогу почаще заглядывать, за еврейской книгой посидеть... Да, но что, если, не ровен час, все это обернется другой стороной, упадет,

так сказать, маслом вниз? Но, опять-таки, почему же мне не надеяться, что все будет хорошо?

— А? Что ты скажешь? — обращаюсь я к своей старухе.— Как тебе, Голда, нравится его план?

— Что я могу сказать? — отвечает она.— Я знаю, что Менахем-Мендл — не первый встречный, обманывать он тебя не станет. Он, упаси бог, не из портных и не из сапожников! У него очень порядочный отец, а дед был и вовсе святой жизни человек: день и ночь, уже будучи слепым, корпел над Торой. А бабушка Цейтл,— да будет ей земля пухом,— тоже была женщина не из простых...

— Пошла болтать ни к селу ни к городу,— говорю я.— Тут о деле разговор, а она — со своей бабушкой Цейтл, которая пряники пекла да со своим дедом, у которого за рюмкой душа ушла в рай... Баба бабой остается! Недаром царь Соломон весь свет изъездил и ни одной женщины с клепкой в голове не нашел...

Короче говоря, решено было составить компанию: я вношу деньги, Менахем-Мендл — сметку, а что бог даст,— пополам.

— Поверьте мне! — сказал Менахем-Мендл.— Я с вами, реб Тевье, рассчитаюсь, бог даст, честно, как самый добропорядочный человек, и вы, надеюсь, будете получать деньги, деньги и деньги!

— Аминь! — ответил я.— И вам того же. Из твоих бы уст да богу в уши! Однако непонятно мне одно: как коту Ваське речку переплыть? То есть понимаешь... Я здесь, ты там... Деньги — ведь это, знаешь, материя деликатная... Уж ты не обижайся, я без задних мыслей. Помнишь, как у праотца Авраама сказано: «Сеявшие со слезами, пожнут с пением». То есть лучше наперед оговорить, нежели потом слезы проливать...

— Ах!—спохватился он.—Может быть, вы хотите расписку? Пожалуйста, с удовольствием!

— Погоди-ка,— сказал я.— Если подойти к этому делу с другой стороны, то ведь одно из двух: если ты захочешь меня зарезать, то чем уж тут расписка поможет? Как в Талмуде сказано: «Не мышь ворует, а нора...» Платит-то не вексель, а человек. Ну, что ж поделаешь? Повис на одной ноге,— буду висеть на обеих!

— Поверьте мне! — опять сказал он.— Честным своим именем клянусь вам, реб Тевье. Да поможет мне бог! Обманывать вас, реб Тевье, я не собираюсь, боже меня сохрани! У меня в мыслях лишь одно: честно, честно и благородно делиться с вами поровну, доля в долю, вам половина, мне половина: мне сто —

вам сто, мне двести — вам двести, мне триста — вам триста, мне четыреста — вам четыреста, мне тысяча — вам тысяча...

В общем, достал я свои несколько рублей, трижды пересчитал,— руки у меня тряслись,— подозвал старуху свою в свидетели, еще раз объяснил Менахем-Мендлу, какие это кровные деньги, и отдал их ему, зашил в боковой карман, чтобы, упаси бог, в дороге не украли. Уговорились мы с ним, что не позднее будущей недели он напишет мне подробно обо всем, попрощались честь честью, расцеловались сердечно, как полагается родственникам.

Уехал он, а меня, едва я остался один, стали одолевать всякого рода мысли, ну прямо сны наяву,— и все такие сладостные, что хотелось, чтобы они продолжались вечно, чтобы им конца не было. Представлялся мне большой дом в центре города, железом крытый, с сараями, чуланами, клетями и кладовыми, полными всякого добра. А хозяйка с ключами за поясом заглядывает во все углы: это моя жена Голда, но ее и узнать нельзя, право — совсем другое лицо! Богачиха, с двойным подбородком, с жемчугами на шее. Важничает и слуг ругает почем зря. Дети одеты по-праздничному, околачиваются без дела, палец о палец не ударяют. Двор кишмя кишит курами, гусями и утками. В доме у меня все сверкает, в печи огонь — готовится ужин, а самовар шипит, как злодей! Во главе стола сам хозяин, то есть Тевье, в халате и в ермолке, а вокруг самые уважаемые люди, и все лебезят перед ним: «Извините, реб Тевье!», «Не взыщите, реб Тевье!..». «Эх,— думаю я,— денежки, черт бы вашего батьку с прабатькой взял!»

— Кого это ты ругаешь? — спрашивает меня Голда.

— Да никого! — отвечаю.— Так, размечтался... Мысли всякие, глупости, прошлогодний снег... Скажи-ка мне, Голда-сердце, ты не знаешь, чем это он торгует, твой родственник, Менахем-Мендл то есть?

— Вот те и здравствуй! — говорит она.— Все, что снилось мне в прошлую и позапрошлую ночь и за весь год, пусть обрушится на головы моих врагов! Просидел с человеком битые сутки, говорил, говорил... А потом спрашивает у меня, чем он торгует! Ведь вы же вместе какое-то дело затеяли!

— Да,— отвечаю я,— затеять-то затеяли, но что затеяли, убей меня,— не знаю! Не за что, понимаешь ли, ухватиться... Однако одно другого не касается,— беспокоиться тебе, жена моя, нечего: сердце мне предсказывает, что мы заработаем, и как следует заработаем! Говори «аминь» и готовь ужин!

Между тем проходит неделя, другая и третья,— нет письма

от моего компаньона! Я вне себя, голову теряю, не знаю, что и подумать! Не может быть, чтобы он просто забыл написать: он слишком хорошо знает, как мы тут дожидаемся весточки. Но тут же мелькает мысль: а что я с ним поделаю, если он, например, снимет себе все сливки, а мне скажет, что заработка никакого нет? Поди разберись! «Да не может этого быть! — говорю я сам себе.— Как же это так? Я обошелся с человеком, как с самым близким и родным, дай мне бог того, что я ему желаю! Неужели же он сыграет со мной такую штуку?» Однако тут же мелькает и другая мысль: что уж там о барышах говорить? Бог с ними — с барышами! Не до жиру — быть бы живу! Помог бы господь при своем остаться! Меня даже холодом обдало. «Старый дурень! — говорю я себе.— Держи карман пошире, ослиная твоя голова! За эти сто рублей можно было купить парочку лошадок, каких свет не видывал, и тележку обменять на рессорную бричку!..»

— Тевье, почему ты ни о чем не думаешь? — говорит жена.

— То есть как это,— говорю,— я не думаю? У меня голова от дум раскалывается, а она спрашивает, почему я не думаю!..

— Не иначе,— говорит она,— стряслось с ним что-нибудь в дороге. Либо разбойники на него напали и обобрали до нитки, либо, упаси бог, заболел он, либо, не приведи господь, умер!..

— Еще чего придумаешь, душа моя? — отвечаю я.— Разбойники ни с того ни с сего!

А сам, между прочим, думаю: мало ли что с человеком в дороге случиться может!

— Уж ты,— говорю я,— жена моя, всегда не к добру истолкуешь...

— У него,— отвечает жена,— вся семья такая: мать его — да будет она заступницей за нас перед богом! — недавно умерла совсем еще молодой; были у него три сестры,— царство им небесное! — и вот одна из них умерла еще в девицах, вторая, наоборот, успела выйти замуж, да простудилась как-то в бане и тоже умерла, а третья сразу же после первых родов сошла с ума, помучилась, помучилась и тоже богу душу отдала.

— Ну и что же? — говорю я.— Все мы, Голда, помрем. Человек подобен столяру: столяр живет, живет и умирает, и человек — тоже...

Словом, порешили мы, что я съезжу в Егупец. Тем временем товару немного накопилось — сыр, масло, сметана. Товар — первый сорт! Запряг я лошадку и марш в Егупец! Еду я, а на душе у меня, можете себе представить, невесело, тоскливо:

один в лесу, фантазия разыгралась и полезли в голову всякие мысли.

Вот интересно-то будет, думаю я: приезжаю, начинаю расспрашивать о своем молодчике, а мне и говорят: «Менахем-Мендл? Те-те-те! Здорово оперился! К нему теперь не подступись! Собственный дом! В каретах разъезжает! Не узнать его!» И вот,— представляю я себе,— набрался я духу и прямо к нему домой. «Тпрру! — говорят мне и локтем в грудь.— Не суйтесь, дяденька, сюда соваться нечего!» — «Да я, говорю, свой, родственник! Он — четвероюродный брат моей жены!» — «Поздравляем вас! — отвечают мне.— Очень приятно! Однако, говорят, можете и здесь у дверей подождать, ничего вам не сделается...» Догадываюсь, что надо задобрить привратника: не подмажешь, не поедешь... И поднимаюсь к нему самому. «Здравствуйте, говорю, реб Менахем-Мендл!» Но — куда там! Ни ответа, ни привета. Даже не узнает! «Вам чего?» — спрашивает. Я чуть в обморок не падаю. «То есть как же это? — говорю я.— Родственника не узнаете? Меня звать Тевье».— «Как? — отвечает он.— Тевье? Припоминаю такое имя...» — «Серьезно? — говорю я.— Припоминаете? А не припомните ли, говорю, блинчики моей жены, ее пироги, галушки? Постарайтесь-ка припомнить...» Однако тут же представляется мне совсем другая картина: прихожу к Менахем-Мендлу, а он радушно и приветливо поднимается мне навстречу: «Гость! Какой гость! Присядьте, реб Тевье! Как живете? Как жена? Заждался я вас: рассчитаться пора!» — и насыпает мне полную шапку полуимпериалов. «Это,— говорит он,— барыши, а основной капитал остается в деле. Сколько бы мы ни заработали, будем делить все поровну, доля в долю: мне сто — вам сто, мне двести — вам двести, мне триста — вам триста, мне четыреста — вам четыреста...»

Задремал я, размышляя, и не заметил, как мой молодец свернул с дороги, зацепил колесом за дерево... Меня как стукнет сзади,— искры из глаз посыпались. «И то благо! — говорю я.— Спасибо, хоть ось не сломалась!»

Приехал я в Егупец, прежде всего распродал свой товар, справился, как всегда, быстро, без задержек, и пошел разыскивать своего компаньона. Брожу час, другой, третий, «а дитяти все нет» — что-то не видать его! Стал останавливать людей, расспрашивать:

— Не слыхали ли, не видали ли человека по имени Менахем-Мендл?

— Менахем-Мендл,— отвечают,— скушал крендель... Мало ли Менахем-Мендлов на белом свете?

— Вы, наверное, хотите знать его фамилию? Понятия не имею! Даже у него на родине, в Касриловке то есть, если вам угодно знать, его называют по имени тещи — Менахем-Мендл Лея-Двоси. Да чего уж больше,— тесть его, человек в летах, и тот зовется Борух-Герш Лея-Двоси. И даже сама она, Лея-Двося то есть, тоже зовется Лея-Двося, жена Борух-Герша Лея-Двосиного... Теперь вы понимаете?

— Понимать-то мы понимаем! — говорят они.— Но этого еще мало. Какая у него профессия, чем он занимается, ваш Менахем-Мендл?

— Чем занимается? — отвечаю.— Он здесь торгует полуимпериалами, каким-то «бес-мес», Потивилов, посылает телеграммы куда-то такое в Петербург и в Варшаву...

— А-а! — покатываются они со смеху.— Так уж не тот ли это Менахем-Мендл, который торгует прошлогодним снегом? Потрудитесь в таком случае перейти на ту сторону,— там их, этих зайцев, много бегает, и ваш среди них...

«Чем дольше живешь, тем больше жуешь,— думаю я.— Зайцы какие-то, прошлогодний снег?»

Перешел на другой тротуар, а там народу — ступа непротолченная, как на ярмарке! Теснота — не протолкнуться! Носятся как сумасшедшие, кто туда, кто сюда, друг на дружку наскакивают... Сутолока, ералаш, все говорят, кричат, размахивают руками: «Потивилов!», «Твердо, твердо!», «Ловлю вас на слове!», «Всучил задаток!», «Почешется!», «Мне куртаж причитается!», «Паршивец эдакий!», «Голову тебе размозжу!», «Плюнь ему в рожу!», «Смотри пожалуйста,— зарезали!», «Тоже мне спекулянт!», «Банкрот!», «Лакей!», «Черта твоему батьке!»

Оплеухами пахнет! «И бежал Иаков,— сказал я себе.— Удирай, Тевье! Уноси ноги, не то и тебе влетит!.. Ну и ну,— думаю я.— Господь — отец, а Шмуел-Шмелькес — его стряпчий, Егупец — город, а Менахем-Мендл — добытчик... Это вот здесь и ловят счастье за хвост? Полуимпериалы? И вот это у них называется заниматься делом? Горе тебе, Тевье, с твоими затеями!»

Остановился я возле большого окна, за которым выставлено множество брюк, и вдруг увидел в стекле отражение моего дорогого родственничка. У меня даже в груди оборвалось, когда я его увидел, чуть душа не выскочила. Врагам бы моим и вашим выглядеть так, как выглядел Менахем-Мендл! Где уж там пиджак! Какие там сапоги! А лицо! Господи, краше в гроб кладут! «Ну, Тевье,— подумал я.— Яко благ, яко наг, яко нет

ничего! Пропала твоя головушка! Плакали твои денежки! Уже, как говорится, «ни медведей, ни леса» — ни товара, ни денег,— одни горести!»

Он, в свою очередь, тоже, видать, очень растерялся. Остановились мы оба как вкопанные, не в силах слово вымолвить, и только смотрим друг на друга, как петухи, будто желая сказать: «Оба мы с тобою обездолены! Остается нам обоим по суме надеть и по миру пойти!»

— Реб Тевье! — произнес он едва слышно, а слезы так и душат его.— Реб Тевье! Несчастливцу, знаете, лучше и на свет не родиться! Нежели такая жизнь... Вешать,— говорит,— меня надо, четвертовать...

И больше ни слова вымолвить не может.

— Конечно,— сказал я,— тебя, Менахем-Мендл, за такое дело следовало бы разложить вот здесь, посреди Егупца, и всыпать тебе, не жалеючи, да так, чтобы ты свою бабушку Цейтл на том свете увидал! Подумай сам, что ты сделал? Взял да погубил целую семью, без ножа зарезал столько живых душ, несчастных, ни в чем не повинных людей. С чем, скажи, я вернусь теперь домой к своей жене и детям? Нет, скажи сам, душегуб эдакий, разбойник, злодей!

— Правда! — пробормотал он, прислонясь к стене.— Святая правда, реб Тевье! Честное слово...

— Ада, дурень эдакий, ада и того для тебя мало!

— Правда, реб Тевье! Все правда... Честное слово... Нежели такая жизнь, реб Тевье... Чем так жить...— повторил он и поник головой.

Стою я и гляжу на него, горемычного, смотрю, как он стоит, прислонившись к стене, понурив голову, шапка на сторону, и каждый его вздох и стон надрывают мне сердце.

— Хотя,— говорю,— если подойти к этому делу с другой стороны, то ведь совершенно ясно, что ты, может быть, во всем этом нисколько не виноват. Если рассудить как следует, то одно из двух: думать, что ты это сделал по злобе,— глупо,— ты ведь был таким же компаньоном, как и я, заработок мы должны были поделить поровну. Я вложил деньги, ты — сметку. Горе мне! Ты, конечно, рассчитывал, как говорится, «на жизнь, а не на смерть». А если все это пошло прахом,— значит, не суждено. Как сказано: «Не хвались днем грядущим»,— человек предполагает, а бог располагает. Ведь вот возьми для примера мой промысел. Уж на что, казалось бы, верное дело? А между тем когда суждено было, то прошлой осенью — не про тебя будь сказано! — полегла у меня корова, которая по дешевке, на мясо, не меньше

полусотни стоила, а следом за ней — красная телка, за которую я бы и двадцати рублей не взял... И ничего не попишешь, как ни мудри! Уж если не везет, так и трижды три — нос утри... Я даже спрашивать у тебя не стану, где мои деньги. Сам понимаю, где они торчат, кровные мои денежки, горе мое горькое! В бумажки вложены, в прошлогодний снег... А кто же виноват, как не я сам? Дал уговорить себя, легкого хлеба захотелось, шальных прибылей... Деньги, братец ты мой, надо зарабатывать тяжким трудом, потом и кровью добывать! Бить тебя, Тевье, надо, бить, сколько влезет! Но что теперь толку от моего крика? Как в Писании сказано: «И возрыдала отроковица»,— плачь, хоть надорвись! Разум и раскаяние — обе эти вещи всегда приходят слишком поздно. Не суждено Тевье богачом стать. Как в поговорке: «Не було у Микиты грошив и не буде!» Так, видать, судил господь. «Бог дал, бог и взял», а толковать это надо так: пойдем,— говорю,— братец, хватим по рюмочке!..

Так, пане Шолом-Алейхем, окончились все мои мечты химерой! И думаете, меня очень огорчило то, что я деньги потерял? Право же, нет! Ведь мы с вами знаем, что в Писании сказано: «И серебро мое, и злато мое»,— деньги — чепуха! Главное — человек, то есть чтобы человек оставался человеком! Досадовал я только на то, что золотой мой сон кончился. Хотелось, ох, как хотелось, побыть богачом хоть минутку! Но тут уж ничего не попишешь! Сказано: «Не по своей воле живешь»,— не по своей воле сапоги рвешь! Твое дело, Тевье, говорит бог, сыр и масло, а не пустые фантазии! Ну, а надежды? Это — само собой. Чем больше горестей, тем больше надежд, чем беднее, тем сильнее упование... Ибо...

Но мне кажется, я на сей раз немного заболтался. Пора ехать, делом заняться, как это говорится: «Всякий человек обманчив», то есть у каждого свои болячки.

Будьте здоровы и всегда счастливы!

НЫНЕШНИЕ ДЕТИ

Я это к тому, что вы говорите «нынешние дети»... «Растил я чад своих и пестовал...» Легко сказать — роди детей, мыкайся, жертвуй ради них собою, работай день и ночь... А ради чего? Все думаешь: авось так, авось эдак,— каждый по своему разу-

мению и достатку. До Бродского мне, конечно, далеко, но и ставить себя ни во что я тоже не нанимался, потому что и сам я человек не из последних, и происходим мы, как жена, чтоб здорова была, говорит,— не от портных да не от сапожников... Вот я и рассчитывал, что дочери меня выручат. Почему? Во-первых, господь бог благословил меня красивыми дочерьми, а красивое лицо, как вы сами говорите,— половина приданого. А во-вторых, я и сам сейчас, с божьей помощью, не тот Тевье, что в былые времена,— могу добиться самого лучшего жениха, даже из Егупца, не так ли? Однако есть на свете бог, бог милосердия и сострадания,— вот он и являет мне чудеса свои, бросает меня и в жар и в холод, швыряет вверх и вниз. «Тевье,— говорит он,— выкинь дурь из головы, и пускай все на свете идет, как повелось!..» Вот послушайте, чего только не бывает. А с кем приключаются всякие истории? С таким счастливчиком, как Тевье, конечно.

Но зачем размазывать? Вы, надо полагать, не забыли, что случилось со мной недавно,— помните, конечно, историю с моим родственничком Менахем-Мендлом — чтоб ему ни дна ни покрышки! — и наши блестящие дела с ним в Егупце с полуимпериалами и «потивиловскими» акциями? Всем моим врагам желаю таких дел! Как я тогда убивался! Думал — конец приходит Тевье, конец молочному хозяйству!

— Дурень ты эдакий! — говорит мне однажды моя старуха.— Довольно горевать, этим делу не поможешь! Только изведешь себя. А если бы, скажем, разбойники на тебя напали и обобрали... Сходи-ка,— говорит,— лучше в Анатовку, к мяснику Лейзер-Волфу, ты ему, говорит он, очень нужен...

— В чем дело? Зачем я ему так срочно понадобился? Если,— говорю,— насчет нашей бурой коровы, то пускай он колом вышибет себе эту дурь из головы.

— А что такое? — отвечает жена.— Подумаешь, сколько молока, сколько сыра и масла дает тебе эта корова!

— Да не в том дело,— говорю я.— Просто так. Во-первых, как можно такую корову на убой отдавать? Жалость берет... У нас в Священном писании сказано...

— Хватит тебе, Тевье! Весь мир,— говорит она,— знает, что ты большой знаток Священного писания. Послушай меня, жену свою, сходи к Лейзер-Волфу. Каждый раз, по четвергам, когда наша Цейтл приходит к нему в лавку за мясом, он ей покою не дает: скажи, говорит, отцу, чтобы пришел, он мне очень нужен...

Словом, надо же когда-нибудь и жену послушать, не так ли? Дал я себя уговорить и прихожу к Лейзер-Волфу в Анатовку, верстах в трех от нас. И, конечно, не застаю его дома.

— Где он? — спрашиваю у какой-то курносой женщины, которая толчется в комнате.

— На бойне,— отвечает она.— С самого утра там быка режут. Скоро должен вернуться...

Брожу один по всему дому Лейзер-Волфа и начинаю разглядывать хозяйство. Дом, не сглазить бы,— полная чаша, дай бог всем моим друзьям не хуже: шкаф ломится от медной посуды — за полтораста целковых не купишь; самовар и еще один самовар, и поднос медный и еще один — варшавский, пара серебряных подсвечников, и бокалы, и рюмочки золоченые, и семисвечник литой, и много еще вещей, и всякой дребедени без конца! «Владыко небесный! — думаю я.— Видеть бы мне столько добра у моих детей, дай им бог здоровья! Ну и везет же этому мяснику! Мало того что он так богат,— у него к тому же всего-навсего двое дочерей, да и те уже замужем, а сам вдовцом остался...»

Наконец господь смилостивился, отворяется дверь, и входит Лейзер-Волф — сердитый, мечет громы и молнии на резника. Резник его погубил, забраковал, черт его возьми, здоровенного быка,— гора — не бык! — из-за пустяка признал его трефным, отыскал какой-то изъян на легком, величиной с булавочную головку, чтоб ему сквозь землю провалиться!

— Здравствуйте, реб Тевье! — говорит он.— Что это вас никак не дозовешься! Как живете, что поделываете?

— Да как вам сказать? — отвечаю я.— И дело как будто делаем, а все на месте стоим... Как в Писании сказано: «Ни жала твоего, ни меда твоего»,— ни тебе денег, ни здоровья, ни минуты спокойной.

— Грешите вы, реб Тевье,— говорит он.— В сравнении с тем, что было когда-то, вы сейчас, не сглазить бы, богач!

— Дай нам боже,— отвечаю,— обоим столько, сколько мне еще не хватает. Но я не ропщу, и на том спасибо! В Талмуде,— говорю я,— сказано: «Аскакурдо демасканто декурносе дефарсмахто...» А сам думаю: чтоб ты так с носом был, живодер, как что-нибудь похожее где-нибудь сказано! И слов-то таких на свете нет...

— Вы,— говорит он,— вечно со своей ученостью. Хорошо вам, реб Тевье, что вы знаете толк в мелких буковках. Но к чему она, эта премудрость и ученость? Давайте потолкуем лучше о нашем деле. Присядьте, реб Тевье.— И приказывает: — Чаю!

Тут же, как из-под земли, вырастает курносая, вихрем подхватывает самовар и — айда на кухню.

— Теперь,— говорит Лейзер-Волф,— когда мы одни, с глазу на глаз, можно и о деле поговорить. А дело, видите ли, вот в чем: я уже давно собирался потолковать с вами, реб Тевье, я вашей дочери уже несколько раз наказывал, просил, чтобы вы потрудились ко мне... Видите ли, мне приглянулась...

— Знаю,— перебил я,— кто вам приглянулся, да только понапрасну, зря стараетесь, не выйдет это дело, реб Лейзер-Волф, не выйдет.

— Почему так? — спрашивает он и смотрит на меня как будто испуганно.

— Потому,— говорю.— Я могу и подождать, мне не к спеху, река, что ли, загорелась?

— Зачем же ждать, когда можно сейчас же?

— Это во-первых,— продолжаю я,— а во-вторых, попросту душа за нее болит, жаль живое создание...

— Скажите пожалуйста! — говорит с усмешкой Лейзер-Волф.— Какие нежности при нашей бедности! Послушал бы кто со стороны,— мог бы подумать, что она у вас одна-единственная. Мне кажется, у вас, реб Тевье, их, не сглазить бы,— достаточно...

— Ну и пускай,— отвечаю,— живут на здоровье. А кто мне завидует, пусть сам не имеет...

— Завидует? — говорит он.— Причем тут зависть? Наоборот, именно потому, что все они у вас, не сглазить бы, такие удачные, я и хотел бы... Вы, конечно, меня понимаете? Не забывайте, реб Тевье, какая вам от этого будет выгода.

— Да, да,— отвечаю я,— от ваших благодеяний голова окаменеть может... Зимой снега пожалеете... Это нам известно с давних пор...

— Ах! — говорит он медовым голосом.— Что вы сравниваете, реб Тевье, те времена с нынешними? Тогда было одно, а теперь совсем другое дело: сейчас мы ведь как-никак породниться собираемся, не правда ли?

— Как это породниться?

— Обыкновенно,— говорит он,— породниться.

— Позвольте, реб Лейзер-Волф, вы думаете, о чем мы толкуем?

— А ну, скажите вы, реб Тевье, о чем у нас речь идет?

— Что значит? — говорю.— О бурой корове, которую вы хотите у меня купить.

— Ха-ха-ха! — закатывается он.— Ничего себе корова, да еще бурая! Ха-ха-ха!..

— А о ком же разговор, реб Лейзер-Волф? Скажите, я тоже посмеюсь.

— О дочери вашей,— отвечает он.— О вашей Цейтл говорим мы все время! Ведь вы же знаете, реб Тевье, что я, не про вас будь сказано, остался вдовцом. Вот я и подумал: к чему искать счастья на стороне, связываться со всякими сватами и свахами, с чертом и дьяволом? Ведь мы же оба на месте, я знаю вас, вы знаете меня, сама она мне тоже нравится, я ее вижу по четвергам у себя в лавке, пробовал как-то заговаривать с ней,— ничего, видать, тихая... А сам я, как вы знаете, человек зажиточный, не сглазить бы: свой дом, кладовок парочка, хозяйство, сами видите,— грех жаловаться; есть еще запасец шкур на чердаке и деньжата кой-какие в сундуке... К чему нам, реб Тевье, цыганские штуки, хитрить да ловчиться? Давайте ударим по рукам — раз, два, три и — готово! Понятно вам или нет?

Когда он мне все это выложил, я онемел, как человек, ошеломленный неожиданной вестью. Сразу, правда, мелькнула у меня мысль: Лейзер-Волф... Цейтл... У него уже дети такие, как она... Однако я тут же сам себе возразил: помилуй, такое счастье! Такое счастье! Ведь ей хорошо будет! Правда, у него не очень-то щедрая рука. Но ведь это по нынешним временам, наоборот, большое достоинство! Как говорится: «Ближе всего человеку он сам»,— кто добр к людям, тот недобр к себе. Нехорошо, правда, что уж чересчур он простоват... Но ничего не поделаешь! Не всем же грамотеями быть! Мало ли в Анатовке, и в Мазеповке, и даже в Егупце богатых и весьма уважаемых людей, для которых слово печатное — потемки? А все же дай бог мне столько счастья, сколько почета им оказывают. Как в Писании сказано: «Нет хлеба, нет и учения», то есть ученость — она в сундуке, а мудрость — в кармане...

— Ну, реб Тевье,— говорит он,— чего же вы молчите?

— А чего мне кричать? — отвечаю я, будто в нерешительности.— Это, реб Лейзер-Волф, понимаете ли, такое дело, которое нужно обмозговать как следует, со всех сторон. Это ведь не шуточки: первое дитя у меня.

— Вот именно,— говорит он,— именно потому, что первое дитя, не надо откладывать. Потом уж, с божьей помощью, вы сможете выдать вторую дочь, а там и третью. Понимаете?

— Аминь! — отвечаю.— И вам того же! Замуж выдать — не велика штука, дал бы только всевышний каждой своего суженого...

— Нет,— говорит он,— я не об этом, реб Тевье, я совсем о другом. Приданого я не прошу, а справить все, что девице требуется, это я беру на себя, да и вам, надо думать, кое-что перепадет...

— Фи! — отвечаю я.— Разговариваете вы со мной совсем, извините, как в мясной лавке. Что значит «перепадет»? Фи! Моя Цейтл, упаси бог, не такая, чтобы ее нужно было за деньги продавать. Фи! Фи!

— Ну что ж,— говорит он.— «Фи» так «фи». Я, наоборот, хотел как можно лучше... Но раз вы говорите «фи», пусть будет «фи». Вам любо, так и мне хорошо. Главное,— поскорее бы, не откладывая, хозяйку, так сказать, в дом! Понимаете?

— За мной,— отвечаю,— остановки нет. Но ведь еще и со старухой надо переговорить. В таких делах — она указчица. Дело-то не шуточное, как в Писании сказано: «Рахиль оплакивает сыновей своих», что означает: мать — превыше всего! Наконец и ее самое, Цейтл то есть, тоже не худо бы спросить... Как это говорится: всю родню на свадьбу отправили, а жениха дома оставили...

— Вздор! — отвечает он.— Спрашивать? Только сказать, реб Тевье! Надо приехать домой, сказать — так, мол, и так,— и сразу под венец, раз, два, три и — магарыч!

— Не скажите, реб Лейзер-Волф, не скажите! Девица — это не вдова...

— Ну, конечно,— отвечает он.— Девица — это девица, а не вдова... Но потому-то и надо заранее обо всем условиться. Тут, понимаете, и платья, и то да се, и всякая дребедень... А пока давайте, реб Тевье, пропустим по маленькой, или не надо?

— Почему же нет? — говорю я.— Одно другому не помеха. Как говорится: человек — человеком, а вино — вином. Есть у нас в Талмуде такое изречение...

И пошел сыпать изречениями якобы из Талмуда... Одно, другое, все, что на ум взбредет: стихи из «Песни Песней», из «Сказания на пасху»...

Словом, хлебнули мы горькой влаги, выпили честь честью, по завету божьему. Тем временем курносая притащила самовар, и мы приготовили себе по стаканчику пунша. Беседуем по-приятельски, обмениваемся пожеланиями, калякаем насчет свадьбы, толкуем о том, о сем и опять-таки о свадьбе.

— Да знаете ли вы, реб Лейзер-Волф,— говорю я,— что это за брильянт?

— Знаю,— отвечает он,— поверьте мне, что знаю. Если бы не знал, и говорить не стал бы.

А говорим мы оба разом. Я кричу:

— Брильянт! Алмаз! Сумеете ли вы ее ценить? Мясника в себе попридержите...

А он:

— Не беспокойтесь, реб Тевье! То, что она у меня по будням кушать будет, она у вас и по праздникам не едала...

— Чепуха! — говорю я.— Подумаешь, какое дело — еда! И богачи червонцев не глотают, и бедняки камней не грызут. Человек вы простоватый, сумеете ли вы ее ценить! Как она печет! Как рыбу готовит, реб Лейзер-Волф! Попробовать ее рыбу,— да ведь этого удостоиться надо...

А он:

— Вы, реб Тевье, извините, уже выдохлись. Людей не знаете, реб Тевье, меня не знаете...

А я — свое:

— На одну чашу весов — золото, на другую — Цейтл. Уверяю вас, реб Лейзер-Волф, будь у вас хоть двести тысяч, все равно вы и подметки ее не стоите...

А он опять:

— Поверьте мне, реб Тевье, вы — большой дурень, хоть вы и старше меня...

В общем, горланили мы таким манером, надо полагать, довольно долго, и оба были здорово навеселе, потому что, когда я заявился домой, было уже довольно поздно и ноги меня плохо слушались... Жена моя, дай ей бог здоровья, сразу же почуяла, что я «под мухой», и отчитала меня по заслугам.

— Тише, Голда, не сердись! — говорю я, ног не чуя под собой от радости.— Не кричи, душа моя, нас поздравить можно!

— Поздравить? С чем бы это? — отвечает она.— Проморгал бурую корову, продал ее Лейзер-Волфу?

— Хуже того,— говорю.

— Выменял на другую? Обманул Лейзер-Волфа? Некому его, беднягу, пожалеть...

— Еще хуже!

— Да говори же,— кричит она,— по-человечески! Смотри пожалуйста, слова из него не вытянешь!

— Поздравляю тебя, Голда! — говорю я снова.— Поздравим друг друга! Наша Цейтл просватана!

— Коли так,— отвечает она,— значит, тебе не на шутку в голову ударило! Говоришь что-то непутевое. Выпил ты, видно, здорово!

— По рюмочке,— говорю,— мы действительно с Лейзер-Волфом пропустили да по стаканчику пунша выпили, но я еще

в своем уме. Да будет тебе известно, Голда-братец, что наша Цейтл — в добрый час — просватана за него, за Лейзер-Волфа то есть.

И рассказал ей всю историю от начала до конца, как, и что, и почему, и о чем мы с ним говорили, не упустив ни одной мелочи.

— Знаешь, Тевье,— говорит жена,— а ведь, право же, чуяло мое сердце,— да поможет мне так господь бог! — чуяло оно, что Лейзер-Волф звал тебя неспроста! Но я боялась и думать об этом, а вдруг окажется, что все это — мыльный пузырь. Благодарю тебя, господи, спасибо тебе, отец милосердый! Пусть же это и в самом деле будет в добрый час! Пусть она состарится с ним в богатстве и чести, потому что покойная жена Лейзер-Волфа, Фруме-Сора — царство ей небесное! — как будто не так уж счастливо жила с ним. Она — не к ночи будь помянута! — была женщина въедливая, да простит она мне, не умела ладить ни с кем, совсем не то, что наша Цейтл. Благодарю, благодарю тебя, господи! Ну, Тевье! Что я тебе говорила, умник мой! Надо ли горевать человеку? Уж ежели что суждено, так оно само в дом приходит.

— Что и говорить! — отвечаю я.— Ведь есть такой стих...

— Что толку в твоих стихах? — говорит она.— Надо к свадьбе готовиться. Прежде всего надо составить для Лейзер-Волфа список, что нашей Цейтл требуется к свадьбе. Ведь у нее ни лоскута белья, ни чулок даже нет. Затем — платья: одно шелковое к венцу, одно шерстяное на лето, другое — на зиму, и еще пару платьев бумажных, и нижних юбок, и шуб,— говорит,— хочу, чтоб у нее было две: кошачий бурнус для будней и другая шуба — лисья — для субботы; затем — сапожки на каблучках, корсет, перчатки, носовые платки, зонтик и всякие прочие вещи, которые нужны девушке по нынешним временам...

— Откуда,— говорю я,— Голда-сердце, ты знаешь обо всех этих финтифлюшках?

— Что ж,— говорит,— я среди людей не бывала? Или, думаешь, я у нас, в Касриловке, не видала, как люди одеваются? Ты дай мне, уж я с ним столкуюсь. Лейзер-Волф, слава богу, человек богатый, он, надо думать, и сам не захочет людям на язык попасть. Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет!

Словом, проговорили мы эдак до самого рассвета.

— Собери-ка,— говорю,— жена, сыр и масло, надо, пока суд да дело, в Бойберик съездить. Все это, конечно, очень хорошо, но дело запускать тоже не следует. Как там сказано:

«Душа божья, да спина-то барская», что означает: «И о деле помнить надо!»

И ранехонько, чуть свет, я запряг лошадку и отправился в Бойберик. Приехал на рынок — ага! Существуют разве секреты у нашего брата? Все уже известно, со всех сторон меня поздравляют:

— Дай бог счастья, реб Тевье! Когда, с божьей помощью, свадьба?

— Спасибо! — отвечаю.— И вам того же. Выходит по поговорке: отец родиться не успел, а сын уже на крыше вырос...

— Глупости! — кричат они.— Ничего вам, реб Тевье, не поможет! Выпивку придется поставить. Не сглазить бы, такое счастье! Прямо — золотое дно!

— Ну,— говорю я,— это еще бабушка надвое ворожила: золото может утечь, а дно останется...— Однако от компании отставать не приходится,— нельзя же свиньей быть! Вот справлюсь только со своими егупецкими покупателями, тогда и выпивка будет и закуска... Живи — не горюй! Как сказано: «Радуйся и веселися!» — гуляй, голытьба!..

Словом, справился я со своей торговлей быстро, как всегда, выпил с братвой по рюмочке, пожелали мы друг другу всего хорошего, как полагается, затем я уселся в тележку и покатил домой — живо, весело, под хмельком.

Еду лесом, время летнее, солнышко хоть и припекает, но с обеих сторон тень от деревьев, сосной пахнет — благодать! Растянулся я барином на возу, вожжи отпустил, дал своему коняге волю: шагай, мол, будь ласков, сам небось дорогу знаешь... И распелся во весь голос, заливаюсь. На душе эдак празднично, и на память приходят напевы покаянных молитв. Гляжу ввысь, в небо, а мысли мои — здесь, на земле.

«Небеса,— вспоминаю я слова молитвы,— небеса — чертог божий», «а землю» — а землю, он отдал «детям Адама», то есть сынам человеческим,— пусть, мол, бьются головой о стенку, дерутся, словно кошки, от «великой роскоши» из-за почестей и старшинства... «Не мертвым славить бога»: черта с два понимают они, как надо благодарить его за ниспосылаемые им милости... «А мы...» Но мы, бедняги, чуть выпадет на нашу долю хоть один сносный день, благодарим и славим господа и говорим: «Возлюбил»,— люблю тебя, господи, за то, что внемлешь голосу и молитве моей, за то, что обращаешь ко мне ухо твое, когда окружают меня со всех сторон нищета и горести, беды и напасти: то корова средь бела дня падет, то принесет нелегкая родственничка-недотепу, вроде Менахем-Мендла из Егупца, кото-

рый заберет у тебя последний грош, а ты, не дав себе времени подумать, решаешь, что все уже кончено, что весь мир рушится, что «все люди лживы», что нет правды на земле... Но что же делает бог? Внушает Лейзер-Волфу мысль взять за себя мою Цейтл, как есть, без приданого... Дважды буду славить тебя, господи, за то, что ты обратил око свое к Тевье, пришел мне на помощь, судил мне радость от дитяти моего... Приеду к ней в гости, увижу ее хозяйкой... шкафы ломятся от белья, кладовые полны банок с гусиным салом и вареньем, во дворе не пройти от кур, гусей и уток...

Вдруг пустился мой коняга куда-то под гору, и, прежде чем я успел поднять голову и сообразить, где нахожусь, я оказался на земле вместе со всеми порожними горшками и крынками, а воз на мне. Кое-как с трудом выкарабкался, встал разбитый, искалеченный и всю свою злость сорвал на коняге:

— Чтоб ты провалился! Кто тебя просил, растяпа эдакий, показывать, что ты мастак под гору бегать? Ведь ты мне чуть бед не натворил, дьявол эдакий!

Задал я ему, сколько влезло. Мой молодец, видно, и сам понял, что сильно набедокурил, стоит, понурив голову, как корова над подойником.

— Прах тебя побери! — говорю я, подымаю воз, собираю посуду и — «пошел к праотцам» — поехали дальше. «Нехорошая примета,— говорю я про себя,— не случилось ли какой-нибудь беды дома?»

Так и есть. Отъезжаю еще версты две, уже и дом недалеко, вижу по дороге движется мне навстречу женская фигура. Подъезжаю ближе, вглядываюсь: Цейтл! Не знаю почему, но сердце у меня екнуло, когда я ее увидел. Спрыгнул с воза.

— Цейтл, это ты? Что ты тут делаешь?

А она с плачем бросается мне на шею.

— Бог с тобой,— говорю,— доченька, чего ты плачешь?

— Ах,— отвечает она.— Отец, отец!

И обливается слезами. В глазах у меня потемнело, сердце защемило.

— Что с тобой, дочь моя, скажи, что случилось? — говорю я и обнимаю ее, ласкаю, целую.

А она:

— Отец, дорогой, сердечный ты мой! Раз в три дня кусок хлеба есть буду... Пожалей меня, пожалей мою молодость! — И снова обливается слезами, слова вымолвить не может.

«Горе мне великое! — думаю я.— Уж я догадываюсь, в чем дело. Понесла меня нелегкая в Бойберик!»

— Зачем же плакать? — говорю я и глажу ее по голове.— Глупенькая, зачем же плакать? Ну что ж поделаешь,— нет так нет, никто тебя силой не заставляет. Мы хотели тебе же лучше сделать. А если тебе не по сердцу,— что ж поделаешь? Не суждено, видать...

— Спасибо тебе, отец! — отвечает она.— Дай тебе бог долгие годы! — и снова падает ко мне на грудь, снова целует меня и обливается слезами.

— Однако,— говорю,— хватит слез! «Все суета сует» — вареники и те приедаются. Полезай-ка в тележку, поедем домой. Мать небось невесть что передумала.

Короче говоря, уселись, и я стал ее успокаивать разговорами о том о сем.

— Видишь ли, в чем дело,— говорю я.— Мы, конечно, ничего плохого в виду не имели. Бог свидетель,— нам хотелось, так сказать, обеспечить свое дитя на всякий случай. А ежели ничего из этого не выходит, значит, бог так велит. Не суждено тебе, дочь моя, прийти на все готовое, сделаться хозяйкой такого богатства, а нам — дождаться на старости лет утехи за все наши труды: и день и ночь словно к тачке прикованы, ни минуты хорошей,— одна только нищета, нужда, одни неудачи, куда ни сунься!..

— Ах, отец! — отвечает она и снова плачет.— Я в прислуги пойду, глину месить буду, землю рыть!..

— Чего ты плачешь, глупая девчонка! — говорю я.— Разве я тебя упрекаю? Или требую чего-нибудь от тебя? Просто жизнь наша горькая, безрадостная,— вот я и изливаю свою душу, с ним толкую, с господом богом, о том, как он со мною обходится. Он — отец милосердый, жалеет меня, силой своей похваляется,— да не накажет он меня за такие речи! — счеты со мной сводит, и делай что хочешь, хоть караул кричи! Но, видно, так уж быть должно. Он там, наверху, а мы — внизу, глубоко-глубоко в земле... Вот и приходится нам говорить, что он всегда прав и суд его справедлив. Ибо, ежели посмотреть на это с другой стороны, то не дурень ли я? В чем дело? Чего я горячусь? Как это так — я, червяк, ползающий по земле, жалкое создание, которое, если бог захочет, малейшим дуновением ветерка может быть в одно мгновение сметено с лица земли,— я со своим глупым разумом осмеливаюсь указывать ему, как надлежит править миром! Уж если он велит, чтоб было так, а не иначе, значит, так тому и быть,— жалобы не помогут! За сорок дней,— говорю,— так у нас в священных книгах сказано,— за сорок дней до зачатья ребенка в утробе матери прилетает ангел и воз-

глашает: «Дочь такого-то — такому-то!» Пусть дочь Тевье возьмет какой-нибудь Гецл, сын Зораха, а мясник Лейзер-Волф пусть потрудится поискать свою суженую в другом месте. То, что ему положено, от него не уйдет, а тебе пусть господь бог пошлет твоего суженого, только бы порядочного человека, да поскорее. Аминь! Да будет воля его! Хоть бы мать не слишком кричала... Ох, и достанется же мне от нее!..

Словом, приехали домой, распрягли лошаденку, сели возле дома на травке и стали думать да гадать, как тут выйти из положения, какую бы сочинить для моей жены небылицу, сказку из «Тысячи и одной ночи», чтобы выпутаться из беды.

Дело к вечеру. Солнце садится. Теплынь. Вдалеке лягушки квакают, стреноженная лошадь щиплет траву, коровки, только что пригнанные из стада, стоят над подойниками и ждут, пока их подоят; а трава кругом благоухает — рай земной, да и только! Сижу это я, смотрю на все это и думаю, как мудро всевышний устроил свой мир. Каждое существо — от человека, скажем, и до коровы — должно свой хлеб зарабатывать, даром ничего не дается! Ты, коровушка, есть хочешь,— давай молоко, корми хозяина, и жену его, и деток. Ты, лошадка, жевать хочешь,— вози каждый раз горшки в Бойберик и обратно. То же и человек: кусок хлеба хочешь,— изволь трудиться, доить корову, таскать крынки, сбивать масло, готовить сыр, а потом запрягай конягу и тащись чуть свет в Бойберик на дачи, кланяйся, спину гни перед егупецкими богачами, улыбайся, льсти, к каждому в душу влезай, смотри, чтобы они довольны были, чтобы как-нибудь, упаси боже, гонор их не задеть!.. Остается, правда, вопрос: «Чем отличается?» — почему такая разница? Где это сказано, что Тевье должен работать на них, вставать ни свет ни заря, когда сам бог еще спит? А ради чего? Ради того, чтобы доставить им к утреннему кофе свежее масло и сыр... Где это сказано, что Тевье обязан маяться из-за жидкой похлебки, из-за крупенного кулеша, а они, егупецкие богачи, должны косточки свои на дачах нежить, палец о палец не ударять и кушать обязательно пироги, блинчики и вертуты? Не такой же я человек, как и они? Разве не было бы справедливо, чтобы Тевье хоть одно лето на даче пожил? Но опять-таки спрашивается: откуда возьмутся тогда сыр и масло? Кто будет коров доить? Да хотя бы они же, егупецкие аристократы то есть... И сам расхохотался при этой сумасбродной мысли... Поговорка на этот счет есть: «Послушал бы господь дураков,— был бы свет не таков...»

— Добрый вечер, реб Тевье! — называет меня вдруг кто-то по имени.

Оборачиваюсь, гляжу — знакомый: Мотл Камзол, портновский подмастерье из Анатовки.

— И тебя с добрым вечером! — говорю я.— Вот так гость! Легок на помине... Садись, Мотл, на божью землю. Какими судьбами?

— Какими судьбами? Своими ногами! — отвечает он, присаживается на траву и поглядывает туда, где мои девицы возятся с горшками и крынками.

— Давно уже,— говорит он,— собираюсь я к вам, реб Тевье, да все времени нет. Один заказ сдаю, за другой принимаюсь. Я теперь от себя тружусь, работы, слава богу, хватает. Все портные завалены заказами: лето у нас нынче такое выдалось — все свадьбы да свадьбы. Берл Фонфач дочь замуж выдает, у Иосла Шейгеца свадьба, у Мендла Заики свадьба, у Янкла Пискача свадьба. Свадьбу справляют и Мойше Горгл, и Меер Крапива, и Хаим Лошак, даже у вдовы Трегубихи — и у той свадьба.

— Весь мир,— говорю,— свадьбы справляет, одному только мне не везет. Не заслужил, видать, у бога.

— Нет,— отзывается Мотл, поглядывая на моих девиц,— вы ошибаетесь, реб Тевье. Если бы вы захотели, вы тоже могли бы сейчас готовиться к свадьбе... От вас зависит.

— А именно? — спрашиваю я.— Каким образом? Может быть, есть у тебя на примете жених для моей Цейтл?

— Как по мерке! — отвечает он.

— Что-нибудь стоящее? — спрашиваю и думаю: вот ловко-то будет, если он имеет в виду мясника Лейзер-Волфа!

— И ладно скроено, и крепко сшито! — отвечает он на своем портновском языке и все поглядывает на моих дочерей.

— Откуда,— говорю,— жених? Из каких краев? Если пахнет от него мясной лавкой, то я и слышать об этом не желаю!

— Упаси бог! — отвечает он.— Никакой мясной лавкой он не пахнет. Да вы, реб Тевье, его хорошо знаете!

— Но это — подходящее дело?

— Да еще как! — отвечает он.— Подходящее подходящему рознь! Это, как говорится, в облиточку — тютелька в тютельку!

— Кто же это такой, интересно знать?

— Кто такой? — переспрашивает он, все еще не спуская глаз с моих дочерей.— Жених, понимаете ли, реб Тевье, я сам и есть.

Только вымолвил он эти слова,— я как ошпаренный вскочил с места, а он следом за мной. Так и застыли друг против друга, нахохлившись, как петухи.

— Рехнулся ты или просто с ума спятил? — говорю я.— Ты и шадхен, ты и кум, да ты же и жених? Свадьба, так сказать,



«Химера»

с собственной музыкой? Нигде не слыхивал, чтобы парень сам себе невесту сватал.

— Что касается сумасшествия,— отвечает он,— то пускай враги наши с ума сходят. Я еще, можете мне поверить, в своем уме. Вовсе не нужно быть помешанным, чтобы хотеть жениться на вашей Цейтл. Недаром даже Лейзер-Волф, самый богатый человек у нас в местечке, и тот захотел взять ее как есть... Думаете, это секрет? Все местечко уже знает. А насчет того, что вы говорите: «Сам, без шадхена»,— я, право, удивляюсь вам, реб Тевье: ведь вы же все-таки человек, которому, как говорится, пальца в рот не клади — откусить можете... Но к чему длинные разговоры? Дело, видите ли, в том, что я и ваша дочь Цейтл давно уже, больше года тому назад, дали друг другу слово пожениться...

Лучше бы мне нож в сердце, нежели слышать такие слова. Во-первых, куда ему, портному Мотлу, быть зятем Тевье? А во-вторых, что это за разговор такой — «они дали друг другу слово пожениться»!

— Ну, а я? Где же я? — спрашиваю.— Я тоже как будто бы имею кое-какое право слово сказать своей дочери! Или меня уж и спрашивать нечего?

— Что вы, помилуйте! — отвечает он.— Ведь я же для того и пришел, чтобы переговорить с вами. Как только я услыхал, что Лейзер-Волф сватается к вашей дочери, которую я уже больше года люблю...

— Скажите пожалуйста! — говорю я.— У Тевье есть дочь Цейтл, а тебя зовут Мотл Камзол и занимаешься ты портновским ремеслом,— что же ты можешь иметь против нее, за что тебе не любить ее?

— Нет,— отвечает он,— не в этом дело, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что люблю вашу дочь и что ваша дочь любит меня уже больше года, мы уже друг другу слово дали, что поженимся. Я уже несколько раз собирался потолковать с вами, да все откладывал, пока не сколочу немного денег на покупку швейной машины, а потом — пока не справлю себе одежи, как полагается. Ибо по нынешним временам любой, хоть самый ледащий парень должен иметь два костюма и несколько жилеток...

— Тьфу ты, пропасть! — говорю я.— Рассуждаете вы, как дети. А что вы будете делать после свадьбы? Зубы на чердак закинете или ты жену свою жилетками кормить будешь?

— Удивляюсь я вам, реб Тевье, от вас ли такое слышать? Я полагаю, что и вы, когда собирались жениться, собственного

каменного дома не имели, и все же, как видите... Что ж, как люди, так и я... А ведь у меня как-никак и ремесло в руках...

В общем, что тут долго рассказывать,— уговорил он меня. Да и к чему себя обманывать,— а как все молодые люди у нас женятся? Если обращать внимание на такие вещи, то ведь людям нашего достатка и вовсе жениться нельзя было бы... Одно только было мне досадно, и понять я этого никак не мог: что значит — они сами дали друг другу слово? Что это за жизнь такая пошла? Парень встречает девушку и говорит ей: «Дадим друг другу слово, что поженимся...» Так просто, за здорово живешь? Однако, когда я посмотрел на моего Мотла, когда увидел, что стоит он, понурив голову, как грешник, что говорит он серьезно, без задних мыслей, я стал думать по-другому. Давайте, думаю, взглянем на это дело с другой стороны: чего это я ломаюсь и прикидываюсь? Рода я, что ли, очень знатного? Или приданого за моей дочерью даю невесть сколько, или одежу, прости господи, роскошную? Мотл Камзол, конечно, всего лишь портной, но он очень славный парень, работяга, жену прокормить может и честный человек к тому же. Чего же еще мне от него надо? «Тевье,— сказал я самому себе,— перестань чваниться и говори, как в Писании сказано: «Прощаю по слову твоему!» Дай бог счастья!»

Да, но как быть с моей старухой? Ведь она же мне такое закатит, что жизни рад не будешь! Как же к ней подъехать, чтобы и она примирилась?

— Знаешь что, Мотл? — обращаюсь я к новоявленному жениху.— Ты ступай домой, а я здесь тем временем все улажу, поговорю с тем, с другим. Как в предании об Эсфири написано: «Питье шло чинно»,— все это надо обмозговать как следует. А завтра, бог даст, если ты к тому времени не передумаешь, мы, наверное, увидимся.

— Передумаю? — отвечает он.— Я передумаю? Да не сойти мне с этого места! Да превратиться мне в камень!

— К чему мне твои клятвы? — говорю я.— Я и без клятвы тебе верю. Будь здоров, спокойной тебе ночи и пускай тебе снятся хорошие сны...

Сам я тоже лег спать, но сон меня не берет. Голова пухнет: то одно придумываю, то другое. Наконец придумал-таки. Вот послушайте, что Тевье может прийти в голову.

Около полуночи,— все в доме крепко спят, кто храпит, кто посвистывает,— а я вдруг как закричу не своим голосом: «Гвалт! Гвалт! Гвалт!» И, конечно, переполошил весь дом. Первая вскочила Голда и стала меня тормошить:

— Бог с тобой, Тевье! Проснись! Что случилось? Чего ты кричишь?

Я раскрываю глаза, оглядываюсь по сторонам, точно ищу кого-то, и спрашиваю с дрожью в голосе:

— Где она?

— Кто? Кого ты ищешь?

— Фруме-Сору,— отвечаю,— Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа только что стояла тут...

— Ты бредишь, Тевье!— говорит жена.— Бог с тобой! Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа,— не про нас будь сказано,— давно уже на том свете...

— Знаю,— отвечаю я,— что она умерла, и все же она только что была здесь, возле самой кровати, говорила со мной. Схватила за горло, задушить хотела...

— Опомнись, Тевье! — говорит жена.— Что ты болтаешь? Тебе, наверное, сон приснился. Сплюнь трижды и расскажи мне, что тебе померещилось, я тебе к добру истолкую...

— Дай тебе бог здоровья, Голда,— отвечаю я.— Ты привела меня в чувство. Если бы не ты, у меня бы от страха сердце разорвалось... Дай мне глоток воды, и я расскажу тебе, что мне приснилось. Только не пугайся, Голда, и не подумай невесть что. В наших священных книгах сказано, что только три доли сна могут иной раз сбыться, а все остальное — чепуха, глупости, сущая бессмыслица...

— Прежде всего,— начал я,— снилось мне, что у нас какое-то торжество — не то свадьба, не то помолвка,— много народу: женщины, мужчины, раввин, резник... А музыкантов!.. Вдруг отворяется дверь и входит твоя бабушка Цейтл, царство ей небесное...

Услыхав про бабушку Цейтл, жена побледнела как полотно и спрашивает:

— Как она выглядела с лица? А во что была одета?

— С лица? — отвечаю я.— Всем бы нашим врагам такое лицо: желтое, как воск, а одета, конечно, в белое, в саван... «Поздравляю! — говорит мне бабушка Цейтл.— Я очень довольна, что вы для вашей дочери Цейтл, которая носит мое имя, выбрали такого хорошего, такого порядочного жениха. Его зовут Мотл Камзол, в память моего дяди Мордхе, и хоть он портной, но очень честный молодой человек...»

— Откуда,— говорит Голда,— к нам затесался портной? В нашей семье имеются меламеды, канторы, синагогальные служки, могильщики, просто нищие, но ни портных, упаси боже, ни сапожников...

— Не перебивай меня, Голда! — говорю я.— Наверное, твоей бабушке Цейтл лучше знать... Услыхав такое поздравление, я говорю ей: «Почему вы, бабушка, сказали, что жениха Цейтл зовут Мотл и что он портной? Его зовут вовсе Лейзер-Волф, и он — мясник!» — «Нет,— отвечает бабушка Цейтл,— нет, Тевье, жениха твоей Цейтл зовут Мотл, он портной, с ним она и проживет до старости в довольстве и в почете».— «Ладно, говорю, бабушка, но как же быть с Лейзер-Волфом? Ведь я только вчера дал ему слово!» Не успел я вымолвить это, гляжу — нет бабушки Цейтл, исчезла! А на ее месте выросла Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа, и обращается ко мне с такими словами: «Реб Тевье, я всегда считала вас человеком порядочным, богобоязненным... Как же могло случиться, чтобы вы решились на такое дело: как вы могли пожелать, чтобы ваша дочь была моей наследницей, чтобы она жила в моем доме, владела моими ключами, надевала мое пальто, носила мои драгоценности, мой жемчуг?» — «Чем же, отвечаю, я виноват? Так хотел ваш Лейзер-Волф!» — «Лейзер-Волф? — говорит она.— Лейзер-Волф кончит плохо, а ваша Цейтл... жаль мне бедняжку! Больше трех недель она с ним не проживет. А когда пройдут три недели, я явлюсь к ней ночью, схвачу ее за горло, вот так!..» При этом,— говорю,— Фруме-Сора схватила меня за горло и стала душить изо всех сил... Если бы ты меня не разбудила, я был бы давно уже далеко-далеко...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — трижды сплюнула жена.— Пускай все это в воде потонет, сквозь землю провалится, по чердакам мотается, в лесу покоится, а нам и детям нашим не вредит! Всякие беды и напасти на голову мясника, на его руки и ноги! Пропади он пропадом за один ноготок Мотла Камзола, хоть он и портной. Ибо раз он носит имя моего дяди Мордхе, то он, наверное, не прирожденный портной... И уж если бабушка, царство ей небесное, потрудилась и пришла с того света, чтобы поздравить, значит, мы должны сказать: так тому и быть, в добрый и счастливый час! Аминь!

Словом, что тут долго рассказывать? Я в ту ночь был крепче железа, если не лопнул со смеху, лежа под одеялом... Как сказано в молитве: «Благословен создавший меня не женщиной»,— баба бабой остается. Понятно, что на следующий день была у нас помолвка, а вскоре и свадьба,— как говорится — одним махом! И молодая парочка живет, слава богу, припеваючи. Он портняжит, ходит в Бойберик, из одной дачи в другую, наби-

рает работу, а она день и ночь в труде да заботе: варит и печет, стирает и моет, таскает воду. Едва-едва на кусок хлеба хватает. Если бы я не приносил иной раз кое-чего молочного, а в другой раз немножко денег, было бы совсем невесело. А спросите ее,— она говорит, что живется ей, благодарение богу, как нельзя лучше, был бы только здоров ее Мотл... Вот и толкуй с нынешними детьми!

Так оно и выходит, как я вам вначале говорил: «Растил я чад своих и пестовал»,— работай как вол ради детей, бейся как рыба об лед,— «а они возмутились против меня», а они говорят, что лучше нас понимают. Нет, как хотите,— чересчур умны наши дети!

Однако, кажется, я на сей раз морочил вам голову больше, чем когда-либо. Не взыщите, будьте здоровы и всего вам наилучшего!

ГОДЛ

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что Тевье давно не видать? Осунулся, говорите, как-то сразу поседел? Эх-эх-эх! Если бы вы знали, с какими горестями, с какой болью носится Тевье! Как это там у нас сказано: «Прах еси и в прах обратишься»,— человек слабее мухи и крепче железа. Прямо-таки книжку обо мне писать можно! Что ни беда, что ни несчастье, что ни напасть — меня стороной не обойдет! Отчего это так? Вы не знаете? Может быть, оттого что по натуре я человек до глупости доверчивый, каждому на совесть верю. Тевье забывает, что мудрецы наши тысячу раз наказывали: «Прославляй его и подозревай», а по-еврейски это означает: «Не верь собаке!» Но что поделаешь, скажите на милость, если у меня такой характер? Я, как вам известно, живу надеждой и на предвечного не жалуюсь — что бы он ни творил, все благо! Потому что, с другой стороны, попробуйте жаловаться,— вам что-нибудь поможет? Коль скоро мы говорим в молитве: «И душа принадлежит тебе и тело — тебе», то что же может знать человек и какое он имеет значение? Я постоянно толкую с ней, с моей старухой же то есть:

— Голда, ты грешишь? У нас в Писании сказано...

— Ну что мне твое Писание! — отвечает она.— У нас дочь на выданье. А за этой дочерью следуют, не сглазить бы, еще две, а за этими двумя — еще три!

— Эх! — говорю я.— Чепуха все это, Голда! Наши мудрецы и тут свое слово сказали. Есть в книге толкований...

Но она и сказать не дает.

— Взрослые дочери,— перебивает она,— сами по себе хорошее толкование...

Вот и объяснись с женщиной!

Словом, как вам должно быть ясно, выбор у меня, не сглазить бы, достаточный, и «товар» к тому же хорош, грех жаловаться! Одна другой краше! Не полагается, конечно, самому расхваливать своих детей. Но я слышу, что люди говорят: «Красавицы!» А всех лучше — старшая, звать ее Годл, вторая после Цейтл, той, которая втюрилась, если помните, в портнягу. И хороша же она, вторая дочь моя, Годл то есть, ну, как вам сказать? Совсем, как написано в сказании об Эсфири: «Ибо пригожа она лицом своим»,— сияет как золото. И как на грех, она к тому же девица с головой: пишет и читает по-еврейски и по-русски, а книжки — книжки глотает, как галушки. Вы, пожалуй, спросите: что общего у дочери Тевье с книжками, когда отец ее всего-навсего торгует сыром и маслом? Вот об этом-то я и спрашиваю у них, у наших молодых людей то есть, у которых, извините за выражение, штанов нет, а учиться — страсть какая охота. Как в «Сказании на пасху» говорится: «Все мы мудрецы»,— все хотят учиться, «все мы знатоки»,— все хотят быть образованными... Спросите у них: чему учиться? Для чего учиться? Козы бы так знали по чужим огородам лазить! Ведь их даже никуда не допускают! Как там сказано: «Не простирай руки!» — брысь от масла! И все же посмотрели бы вы, как они учатся! И кто? Дети ремесленников, портных, сапожников, честное слово! Уезжают в Егупец или в Одессу, валяются по чердакам, едят хворобу с болячкой, а закусывают лихоманкой, месяцами куска мяса в глаза не видят. Вшестером в складчину булку с селедкой покупают и — «да возрадуешься в день праздника твоего»,— гуляй, голытьба!

Словом, один из этих молодчиков затесался и в наш уголок, невзрачный такой паренек, живший неподалеку от наших мест. Я знавал его отца, был он папиросник и бедняк,— да простит он меня,— каких свет не видал! Но не в этом дело. Чего уж там! Если нашему великому ученому, раби Иоханану Гасандлеру не стыдно было сапоги тачать, то ему, я думаю, и подавно нечего стыдиться, что отец у него папиросник. Одного только я в толк не возьму: с чего бы это нищему хотеть учиться, быть образованным? Правда, черт его не взял, этого парнишку,— голова у него на плечах неплохая, хорошая голова! Перчиком звать его,

этого недолю, а мы его на еврейский лад переименовали — «Фефер». Он и выглядит, как перчик: неказистый такой, щупленький, черненький, кикимора, но — башковит, а язык — огонь!

И вот однажды случилась такая история. Еду я домой из Бойберика, сбыл свой товар — целый транспорт сыра, масла, сметаны и прочей молочной снеди. Сижу и, по обыкновению своему, размышляю о всяких высоких материях: о том, о сем, о егупецких богачах, которым, не сглазить бы, так везет и так хорошо живется, о неудачнике Тевье с его конягой, которые всю жизнь маются, и тому подобных вещах.

Время летнее. Солнце печет. Мухи кусаются. А кругом — благодать! Широко раскинулся мир, огромный, просторный, хоть подымись и лети, хоть растянись и плыви!..

Гляжу — шагает по песку паренек, с узелком под мышкой, пóтом обливается, едва дышит.

— Стоп, машина! — говорю я ему.— Присаживайся, слышь, подвезу малость, все равно порожняком еду. Как там у нас говорится: «Ослу друга твоего, если встретишь, в помощи не откажи», а уж человеку и подавно...

Улыбнулся, шельмец, но просить себя долго не заставил и полез в телегу.

— Откуда,— спрашиваю,— к примеру, шагает паренек?

— Из Егупца.

— А что,— спрашиваю,— такому пареньку, как ты, делать в Егупце?

— Паренек, вроде меня,— говорит он,— сдает экзамены!

— А на кого,— говорю,— такой паренек учится!

— Такой паренек,— отвечает он,— и сам еще не знает, на кого учится.

— А зачем,— спрашиваю,— в таком случае паренек зря морочит себе голову?

— А вы,— отвечает,— не беспокойтесь, реб Тевье! Такой паренек, как я, знает, что делает.

— Скажите-ка, пожалуйста, уж если я тебе знаком, кто же ты, к примеру, такой?

— Кто я такой? Я,— говорит,— человек!

— Вижу,— говорю,— что не лошадь. Чей ты?

— Чей? — отвечает.— Божий!

— Знаю,— говорю,— что божий! У нас так и сказано: «Всяк зверь и всякая скотина...» Я спрашиваю, откуда ты родом? Из каких краев? Из наших или, может быть, из Литвы?

— Родом,— говорит он,— я от Адама. А вообще-то я здешний. Вы, наверное, меня знаете.

— Кто же твой отец? А ну-ка, послушаем.

— Отца моего,— отвечает он,— звали Перчик.

— Тьфу ты, пропасть! Зачем же ты мне так долго голову морочил? Стало быть, ты — сын папиросника Перчика?

— Стало быть, я — сын папиросника Перчика.

— И учишься,— говорю я,— в «классах»?

— И учусь,— отвечает,— в «классах».

— Ну, что же! «И Гапка — люди, и Юхим — человек!» А скажи-ка мне, сокровище мое, чем же ты, к примеру, живешь?

— А живу я,— говорит он,— от того, что ем.

— Вот как! Здорово! Что же,— спрашиваю,— ты ешь?

— Все, что дают,— отвечает он.

— Понимаю,— говорю,— что ты не из привередливых. Было бы что. А если нет ничего, закусываешь губу и ложишься натощак. И все это ради того, чтобы учиться в «классах»? По егупецким богачам равняешься? Как в Писании сказано: «Все любимые, все избранные...»

Говорю я с ним эдаким манером, привожу изречения, примеры, притчи, как Тевье умеет. Но думаете, он, Перчик то есть, в долгу остается?

— Не дождутся,— говорит он,— богачи, чтобы я равнялся по ним! Плевать я на них хотел!

— Ты,— отвечаю,— что-то больно взъелся на богачей! Боюсь, не поделил ты с ними отцовского наследства...

— Да будет вам известно,— говорит он,— что и я, и вы, и все мы имеем, быть может, очень большую долю в их наследстве.

— Знаешь что? — отвечаю я.— Лучше бы ты помалкивал!.. Вижу, однако, что парень ты не промах, за язык тебя тянуть не приходится... Если будет у тебя время, можешь забежать ко мне сегодня вечером, потолкуем с тобой, а заодно, кстати, и поужинаешь с нами...

Разумеется, паренек мой не заставил повторять приглашение и пришел в гости, в самую точку угодил, когда борщ уже на столе стоял, а пирожки на сковородке жарились.

— Хорошо,— говорю,— тому жить, кому бабушка ворожит. Можешь идти руки мыть. А не хочешь, можешь и так за стол садиться. Я у бога в стряпчих не состою, и сечь меня на том свете за тебя не будут.

Говорим мы с ним эдаким вот манером, и чувствую я, что тянет меня к этому человечку. Почему,— сам не знаю, а только

тянет. Люблю, понимаете, человека, с которым можно словом перекинуться — иной раз изречением, другой раз — притчей, рассуждением о разных высоких материях,— то да се, пятое-десятое... Таков уж Тевье.

С этих пор мой паренек стал приходить чуть ли не каждый день. Покончит с уроками и заглянет ко мне отдохнуть, побеседовать. Можете себе представить, что это были за уроки и что они ему давали, прости господи, если самый крупный богач у нас привык платить не больше трешницы в месяц, да и то требует, чтобы учитель вдобавок прочитывал его телеграммы, надписывал адреса или бегал иной раз по поручениям... Почему бы и нет? Ведь ясно сказано: «Всей душой и всем сердцем»,— если ешь хлеб, должен знать за что...

Хорошо еще, что кормился он, собственно, у меня. За это он занимался понемногу с моими дочерьми. Как говорится: «Око за око...» Таким образом сделался он у нас своим человеком. Дети подносили ему стакан молока, а старуха присматривала, чтобы у него рубаха на теле была и носки целые. Вот тогда-то мы и прозвали его «Феферл», переделали то есть его имя на еврейский лад. И можно сказать, что все мы его полюбили, как родного, потому что по натуре он, надо вам знать, и в самом деле славный паренек, без хитростей: мое — твое, твое — мое, душа нараспашку...

За одно только я его терпеть не мог: за то, что он вдруг, ни с того ни с сего, пропадал. Неожиданно подымется, уйдет, и ищи ветра в поле — нету Перчика! «Где ты был, дорогой мой птенчик?» Молчит как рыба... Не знаю, как вы, а я не люблю человека с секретами! Я люблю так, как сказано в Писании: «Что есть, то и выкладывай!» Зато, с другой стороны, было у него и большое достоинство: уж если разговорится,— «кто на воде, а кто в огне»,— так и пышет жаром, так и режет. Язычок, будь он неладен! Говорит против бога и против помазанника его, и больше всего — против помазанника... А планы у него все какие-то дикие, нелепые, сумасшедшие, и все-то у него шиворот-навыворот, все вверх ногами. Богач, например, по глупому его разумению, вообще ничего не стоит, а бедняк, наоборот, цаца великая, а уж мастеровые, рабочие — те и вовсе соль земли, потому что труд, говорит он,— это главное, всему основа.

— А все же,— говорю я,— с деньгами этого не сравнишь!

Тут он вспыхивает и начинает меня убеждать, что деньги — зарез для всего мира. От денег,— говорит он,— всяческая подлость на земле, да и вообще все, что творится на белом свете,— несправедливо. И приводит мне десять тысяч доказа-

тельств и примеров, и все они пристают ко мне, как горох к стене.

— Выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему рассуждению, что доить корову или заставлять лошаденку в упряжи ходить — тоже несправедливо?

И много таких каверзных вопросов задаю я ему, припираю его, так сказать, к стенке на каждом шагу, как Тевье умеет! Однако и Феферл мой тоже это умеет, да еще как умеет! Лучше бы уж он не умел. А уж если есть у него что-нибудь на сердце,— тут же выложит.

Сидим мы однажды под вечер у меня на завалинке и эдак вот рассуждаем, философствуем... Вдруг он и говорит мне, Феферл то есть:

— Знаете, реб Тевье? Дочери у вас очень удачные!

— Серьезно? — отвечаю.— Спасибо за добрую весть! Им было,— говорю,— в кого уродиться.

— Одна,— продолжает он,— старшая, и вовсе умница! Человек в полном смысле слова!

— И без тебя знаю! — говорю я.— Яблоко от яблони недалеко падает.

Говорю это я ему, а у самого сердце, конечно, тает от удовольствия. Какому отцу, скажите, не приятно, когда хвалят его детей? Поди угадай, что от этих похвал разгорится такая пламенная любовь, не приведи господи! Вот послушайте.

Короче говоря, «и бысть вечер и бысть утро»,— было это в сумерки, в Бойберике. Еду я на своей тележке по дачам, вдруг меня кто-то останавливает. Гляжу — Эфраим-шадхен. Эфраим, надо вам сказать, такой же сват, как и все сваты, то есть занимается сватовством. Увидал меня в Бойберике и остановил:

— Извините, реб Тевье, мне нужно вам кое-что сказать.

— Ну что ж! Лишь бы что-нибудь хорошее,— отвечаю я и придерживаю конягу.

— У вас,— говорит,— реб Тевье, есть дочь.

— У меня их,— отвечаю,— семеро, дай им бог здоровья!

— Я знаю,— отвечает он,— что у вас семеро! У меня тоже семеро.

— Стало быть,— говорю,— у обоих у нас ровным счетом четырнадцать.

— Словом,— отвечает он,— шутки в сторону. Дело вот в чем, реб Тевье: я, как вам известно, сват. И вот есть у меня для вас жених — всем женихам жених! Высший сорт!

— Например? Что у вас называется «всем женихам жених»? Если,— говорю,— портняжка, или сапожник, или мела-

мед, пускай себе сидит на месте, а мне, как в Мидраше сказано: «Свобода и избавление придут из другого места». Найду себе ровню в другом месте...

— Вы все со своими притчами! — говорит он.— С вами разговаривать — надо хорошенько подпоясаться! Начинаете сыпать словечками да изречениями. Вы лучше послушайте, какого жениха Эфраим-шадхен намерен предложить вам. Вы только слушайте и молчите.

Так говорит он мне, Эфраим то есть, и начинает выкладывать... Ну, что я вам скажу? В самом деле что-то необыкновенное! Во-первых, из очень хорошей семьи, сын почтенных родителей, не безродный какой-нибудь, а для меня, надо вам знать, это важнее всего, потому что и сам я не из последних. У меня в семье, как говорится, «и пятнистые, и пегие, и пестрые»,— есть и простые люди, есть мастеровые, а есть и хозяева. Затем он, жених этот, большой грамотей, хорошо разбирается в мелких буковках, а это для меня и подавно великое дело — терпеть не могу невежд! Для меня невежда в тысячу раз хуже шалопая! Можете ходить без шапки, хоть головой вниз, ногами кверху, но если вы знаете толк в Раши, то вы для меня — свой человек. Таков уж Тевье.

— Затем,— говорит Эфраим,— он богат, набит деньгами, разъезжает в карете на паре огневых лошадей, так что пыль столбом...

Ну что ж, думаю, это тоже не такой уж недостаток. Нежели бедняк, пускай уж лучше богач. Как сказано: «Приличествует бедность Израилю»,— сам бог бедняка не любит. Ибо если бы бог любил бедняка, так бы бедняк бедняком не был!

— Ну, послушаем дальше!

— А дальше,— говорит Эфраим,— он хочет с вами породниться, помирает человек, сохнет. То есть не по вас, а по вашей дочери сохнет. Он хочет красивую девушку.

— Вот как? — отвечаю.— Пусть сохнет! Кто же он такой, ваше сокровище? Холостяк? Вдовец? Разведенный? Черт, дьявол?

— Холостяк! — отвечает.— Холостяк. Правда, в летах, но холостяк.

— Как же его святое имя?

Не хочет сказать, хоть режь его.

— Привезите ее в Бойберик, тогда скажу!

— Что значит,— говорю,— я ее привозить буду? Приводят лошадь на ярмарку или корову на продажу...

Словом, шадхен, сами знаете, и стенку уломать может.

И порешили мы, что, даст бог, на будущей неделе я ее привезу в Бойберик. И светлые, сладостные мечты приходят мне в голову: представляю себе мою Годл разъезжающей в карете на паре горячих коней. И весь мир завидует... Не столько роскошному выезду, сколько тому, что я благодаря дочери-богачке творю добрые дела, помогаю нуждающимся, даю взаймы — кому четвертной, кому полсотни, а кому и все сто... Ведь и у другого, говорите вы, душа не мочалка...

Размышляю я эдак, возвращаясь под вечер домой, нахлестываю свою лошаденку и беседую с ней на лошадином языке:

— Вьо! — говорю.— А ну-ка, пошевеливай ходулями, да поживее,— получишь порцию овса... Ибо сказано у нас: «Без хлеба нет и учения»,— не подмажешь, не поедешь...

Разговариваем мы так со своей конягой, и вижу я, из лесу идут двое: похоже, мужчина и женщина. Идут рядом, вплотную друг возле друга, горячо беседуют о чем-то. «Кто бы мог сюда забрести?» — думаю я и всматриваюсь сквозь огневые прутья солнца. Готов поклясться, что это Феферл! С кем же это он гуляет так поздно? Заслоняю рукою глаза от солнца и еще пристальнее вглядываюсь: кто же эта женщина? Ой, кажется, Годл! Да, она, честное слово — она... Вот как? То-то они так усердно занимаются грамматиками, книжки читают! «Эх, Тевье! Ну и дурень же ты!» — думаю. Останавливаю лошаденку и обращаюсь к моей парочке:

— Добрый вечер! — говорю.— Что слыхать насчет войны? Какими судьбами вы попали сюда? Кого поджидаете? Вчерашнего дня?

Услыхав такое приветствие, моя парочка остановилась, как говорится, между небом и землей — то есть ни туда ни сюда,— растерялись и покраснели... Постояли эдак несколько минут молча, опустив глаза. Потом стали поглядывать на меня, я на них, они — друг на друга.

— Ну,— говорю.— Чего это вы меня разглядываете, точно давно не видали. Я как будто тот же Тевье, что и был, ничуть не изменился.

Говорю это я, не то досадуя, не то подтрунивая над ними. А дочь моя, Годл то есть, еще больше покраснела и говорит:

— Отец, нас нужно поздравить...

— Поздравляю! Дай бог счастья! А по какому случаю? Клад,— спрашиваю,— в лесу нашли? Или только что от большой беды спаслись?

— Нас,— говорит он,— следует поздравить, мы — жених и невеста!

— Что значит,— спрашиваю,— жених и невеста?

— Вы,— отвечает он,— не знаете, что значит жених и невеста? Жених и невеста значит, что я — ее жених, а она — моя невеста!

Так говорит Феферл и смотрит мне прямо в глаза. Но и я ему прямо в глаза смотрю и спрашиваю:

— Когда же у вас была помолвка? Почему меня не пригласили на торжество? Я как-никак ей будто бы сродни... Не так ли?

Шучу, понимаете, а самого черви грызут, тело мое точат. Но ничего! Тевье — не баба. Тевье любит выслушать до конца...

— Не понимаю,— говорю я.— Что же это за сватовство без свата, без помолвки?

— А на что нам сват? — отвечает Феферл.— Мы уже давно жених и невеста.

— Вот как? Чудеса, да и только! Чего же вы,— говорю,— до сих пор молчали?

— А чего нам кричать? — говорит он.— Мы бы и сегодня не рассказали, но так как нам скоро нужно будет разлучиться, мы и решили раньше повенчаться.

Тут уж я не вытерпел... «Подступила вода к горлу», как говорится,— за живое задело. То, что он говорит: «Жених и невеста»,— это еще куда ни шло... Как это там сказано: «И возлюбил»,— она ему нравится, он ей... Но венчаться! Что значит — венчаться? Ума не приложу!.. Жених, видать, понял, что я от всей этой истории малость ошалел, и говорит.

— Понимаете ли, реб Тевье, дело вот в чем: я собираюсь уезжать отсюда.

— Когда ты едешь?

— Вскоре.

— Куда, к примеру?

— Этого,— отвечает он,— я вам не скажу, это тайна.

Понимаете? Тайна! Ну, как вам это нравится? Приходит вот такой Феферл, маленький, черненький, кикимора какая-то, объявляет себя женихом, хочет венчаться, собирается уезжать и даже не говорит куда. Лопнуть можно!

— Ну что ж! — говорю я.— Тайна так тайна... У тебя все тайны... Однако растолкуй ты мне, братец, вот что: ведь ты за справедливость ратуешь, ты же насквозь пропитан любовью к людям,— как же это так могло случиться, чтобы ты вдруг, ни с того ни с сего, забрал у Тевье дочь и сделал ее вдовой при живом муже? Это, по-твоему, и есть справедливость? Любовь к людям? Хорошо еще, что ты меня не обокрал, не поджег...

— Отец! — говорит Годл.— Ты даже не знаешь, как мы счастливы, я и он, что рассказали тебе обо всем. У нас прямо-таки камень с души свалился! Поди сюда, давай расцелуемся!

И, не долго думая, они обхватывают меня оба, она с одной стороны, он с другой, и начинают обнимать и целовать... Они меня, я их, а под шумок, должно быть от большой спешки,— они уже давай целовать друг друга! Комедия, да и только! Театр...

— Может быть, хватит,— говорю,— целоваться! Пора и о деле потолковать.

— О каком деле? — спрашивают они.

— О приданом, о платьях, о свадебных расходах,— то-се, пятое-десятое.

— Ничего этого,— отвечают они,— нам не нужно! Ничего! Ни пятого, ни десятого...

— А что же вам нужно?

— Нам,— отвечают,— только повенчаться нужно...

Слыхали разговор?

Словом, о чем тут долго рассказывать! Ничего не помогло. Пришлось их повенчать. Венчание, конечно, венчанию рознь! Что и говорить, не такое оно было, какое пристало Тевье. Тоже мне... Тихая, с позволения сказать, свадьба... А к тому же еще жена, как говорится: сверх болячки — волдырь! Мучает меня, пристает, чтобы я объяснил ей: почему такая спешка? Изволь объяснить женщине, что тут пожар, горит!.. Пришлось, чтоб не поднимать шума, придумать какую-то дикую историю о наследстве, о богатой тетке из Егупца, врать почем зря, лишь бы она меня оставила в покое. И в тот же день, через несколько часов после этой хваленой свадьбы, я запрягаю лошаденку, усаживаемся втроем — я, дочь и он, зятек мой богоданный,— и марш к поезду, в Бойберик. Сижу я на возу, поглядываю со стороны на свою парочку и думаю: велик наш бог и как удивительно он своим мирком правит! Каких только нелепых созданий, каких чудаков нет у него! Вот вам чета, только что из-под венца: он уезжает, бог его ведает куда, а она остается здесь,— и хоть бы слезинку уронили, ну, из приличия, что ли! Но — молчу. Тевье — не баба. Тевье может потерпеть. Молчу и смотрю, что дальше будет... Вижу, пара молодчиков, порядочных оборванцев, в стоптанных сапогах, пришла к поезду попрощаться с моим птенчиком. Один из них, одетый как крестьянский парень, с рубахой, извините, навыпуск, стал о чем-то шушукаться с моим зятем... «Смотри, Тевье, думаю, уж не попал

ли ты в компанию конокрадов, карманников, взломщиков или фальшивомонетчиков?»

На обратном пути, едучи с Годл из Бойберика, я не вытерпел и откровенно сказал ей, о чем подумал. А она смеется и хочет меня уверить, что все они — честнейшие люди, глубоко порядочные, замечательные люди, которые всей своей жизнью жертвуют ради других, а о себе даже не думают...

— А вот тот, что в рубашке,— говорит она,— из очень богатой семьи! Родителей бросил в Егупце, ломаного гроша у них брать не хочет.

— Скажи пожалуйста! Чудеса в решете! — говорю я.— Очень славный парень, право, ему бы к его рубахе навыпуск и длинным волосам еще гармошку в руки или собаку на привязи — то-то было бы загляденье!

Вымещаю эдаким манером всю свою злобу на ней, бедной, и на нем заодно... А она? Ничего! «Не открывает себя Эсфирь» — прикидывается непонимающей. Я ей — «Феферл», а она мне — «общее благо, рабочие»,— прошлогодний снег...

— Что мне,— говорю,— от вашего общего блага и от ваших рабочих, когда все это у вас делается по секрету? Есть такая поговорка! «Где секрет, там не чисто...» Вот скажи мне прямо, зачем он поехал, Феферл, и куда?

— Все,— отвечает,— скажу, только не это! И не спрашивай лучше! Поверь, со временем все узнаешь. Бог даст, услышишь, может быть, даже вскоре, много нового, много хорошего!

— Аминь! — говорю.— Дай бог! Твоими устами да мед пить! Но чтоб наши враги так здоровы были, как я знаю и понимаю, что тут у вас творится и что означает вся эта канитель!

— В том-то,— отвечает она,— и беда, что ты этого не поймешь!

— Что ж, это так замысловато? Я, кажется, с божьей помощью, и более заковыристые вещи понимаю...

— Этого,— говорит она,— одним умом не понять, это чувствовать надо, сердцем чувствовать...

Так говорит она мне, Годл то есть, а лицо в это время у нее пылает, глаза горят. Будь они неладны, дочери Тевье! Захватит их что-нибудь, так уж целиком — с головой и сердцем, с душой и телом!

Расскажу я вам вкратце: проходит неделя, и две, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь — ни ответа, ни привета. «Ни гласа, ни отзыва»,— ни письма, ни весточки.

— Пропал,— говорю,— Феферл! — и поглядываю на свою Годл. Ни кровинки в лице. Выискивает, бедная, себе работу по

дому, хочет, видать, горе свое заглушить... Но хоть бы вспомнила о нем! Тихо! Как будто никогда и не было на свете никакого Перчика!

Но вот однажды случилась такая история: приезжаю домой, вижу — моя Годл ходит заплаканная, с набухшими веками. Начинаю расспрашивать и узнаю, что был недавно какой-то длинноволосый и о чем-то шептался с ней, с Годл то есть. «Ага! — думаю.— Это, наверное, тот самый, который удрал от богатых родителей и носит рубаху навыпуск...» И, не долго думая, вызываю Годл и сразу же беру ее в оборот:

— Скажи-ка мне, дочка, ты получила от него весточку?

— Да!

— Где же он, твой суженый?

— Далеко! — говорит.

— Что он поделывает?

— Сидит.

— Сидит?

— Сидит.

— Где сидит? За что?

Молчит. Смотрит мне прямо в глаза и молчит.

— Скажи-ка мне, дочь моя,— говорю я,— насколько я понимаю, он сидит не за воровство. Но в таком случае это у меня в уме не укладывается: коль скоро он не вор и не жулик,— за что же он сидит, за какие такие грехи?

Молчит. «Не говоришь,— подумал я,— не надо! Твое сокровище, не мое! Ну и шут с ним!» Но в сердце я ношу боль. Ведь я все же отец! Недаром в молитве говорится: «Как отец детей своих жалеет»,— отец отцом остается.

Короче говоря, было это в седьмой день праздника кущи вечером. Уж у меня так заведено, что в праздники я и сам отдыхаю и лошаденке отдых даю, как сказано в Писании: «Ты и вол твой, и осел твой и сам отдыхай, и жена твоя и лошадь твоя...» Да и то сказать, в Бойберике делать уже почти нечего: чуть только запахнет осенью, дачники разбегаются, словно крысы в голодную пору, и Бойберик превращается в пустыню. В такое время я люблю сидеть дома на завалинке. Это для меня самая лучшая пора. Каждый хороший день — дар божий. Солнце уже не пышет жаром, оно ласкает мягко, душу живит. Лес еще зелен, от сосен по-прежнему пахнет смолой, и кажется мне, что лес выглядит празднично, как божьи кущи. Вот здесь, думаю я, господь справляет праздник. Здесь, а не в городе, где шум и сутолока, где люди носятся как угорелые, душу себе выматывают в погоне за куском хлеба, где только и слышно, что

деньги, деньги и деньги! А уж вечером, да еще в такой праздник,— здесь и вовсе рай земной: небо синее, звезды сверкают, переливаются, мигают совсем как человеческие глаза. Иной раз случается,— пролетит стрелой звезда и оставляет после себя на секунду зеленоватую черту — это закатилась чья-нибудь звездочка, чье-то счастье кануло. Ведь что ни звездочка, то чья-то доля... «Хоть бы не моя судьба бесталанная»,— думаю я и вспоминаю о своей Годл. Уже несколько дней, как она чего-то приободрилась, ожила, совсем другая стала. Кто-то ей письмо привез, верно от него, от Перчика. Хочется, страсть как хочется знать, что он пишет, но спрашивать не желаю. Молчит — и я молчу. Словно в рот воды набрал. Тевье — не баба, Тевье может и подождать.

Между тем выходит сама Годл, усаживается рядом со мной на завалинке, оглядывается по сторонам и говорит тихонько:

— Знаешь, папа? Я должна тебе кое-что сказать: сегодня мы с тобой распрощаемся... Навсегда...

Говорит она тихо, чуть слышно, и смотрит на меня так странно, что вовек мне этого ее взгляда не забыть. «Топиться хочет»,— мелькнуло у меня в голове. Откуда такая страшная мысль? Дело в том, что недавно по соседству с нами случилась такая история: еврейская девушка влюбилась в деревенского парня и ради него... понимаете, конечно? Мать от горя заболела и умерла, отец растратил все, что имел, стал нищим. А парень раздумал и женился на другой. Тогда девушка пошла к речке, бросилась в воду и утонула...

— Что значит — ты прощаешься со мной навсегда? — спрашиваю я и опускаю голову, чтобы она не видела, как помертвело мое лицо.

— Это значит,— отвечает она,— что я уезжаю завтра на рассвете... Мы уже никогда больше не увидимся... никогда.

Немного отлегло от сердца. «И за то слава богу! — думаю я.— И то благо — могло быть и хуже, а хорошему ведь конца-краю нет...»

— Куда же, к примеру, ты едешь, если,— говорю,— я достоин узнать об этом?

— Я еду к нему.

— К нему? А где же он сейчас?

— Пока что он еще сидит,— отвечает она,— но скоро его высылают.

— Значит, ты едешь попрощаться с ним? — прикидываюсь я дурачком.

— Нет,— отвечает,— я еду за ним туда.

— Туда? Куда же? Как это место называется?

— Еще,— говорит,— точно неизвестно, как называется место, но это очень далеко отсюда, страшная даль...

Говорит она, Годл, и кажется мне, что произносит она слова с гордостью, как будто он совершил нечто такое, за что следовало бы наградить его медалью в пуд весом!.. Что можно ответить на это? За такие речи отец должен был бы рассердиться, отхлестать по щекам или отчитать как следует! Но Тевье — не баба. Я считаю, что злиться — значит дьяволу угождать. И я, как обычно, привожу стихи из Писания:

— Вижу я, дочь моя, что ты выполняешь завет божий: «А потому да покинет...» Оставляешь ради Перчика отца с матерью и отправляешься в неведомые края, в пустынные места, на застывшее море, туда, где странствовал на корабле Александр Македонский и попал на дальний остров к дикарям, как я читал когда-то в одной книжке...

Говорю я это полушутя, полусердито, а сердце у меня плачет. Но Тевье — не баба. Тевье сдерживается. Да и она, Годл то есть, тоже духом не падает. Отвечает мне обстоятельно, не торопясь, обдуманно. Дочери Тевье умеют говорить.

И хоть я и сижу, понурив голову, и с закрытыми глазами, мне кажется, что я ее вижу. Вижу ее лицо, усталое и бледное как луна, и сдается мне, что голос у нее как будто приглушен и дрожит... Броситься ей на шею, просить, умолять, чтоб она не ехала? Но я знаю, что из этого ничего не выйдет. Провались они, мои дочери! Уж если втюрятся в кого-нибудь, так всем, всем сердцем, всей душой без остатка!

Словом, просидели мы на завалинке долго-долго, чуть ли не всю ночь. Больше молчали, нежели говорили, да и говорили-то мы полусловами... Она говорила, я говорил... Об одном только я спрашивал: где это слыхано, чтобы девушка вышла замуж только для того, чтобы потом следовать за мужем куда-то к черту на рога? А она мне:

— С ним — хоть к черту на рога!

Я, конечно, стараюсь ей доказать, как это глупо. А она по-своему объясняет, что мне этого не понять. Тогда я привожу ей пример: курица высидела утят. Утята только встали на ноги, побежали к речке — и в воду, а наседка, бедная, квохчет.

— Что ты,— говорю,— на это скажешь, доченька?

— Что же мне сказать? — говорит она.— Наседку, конечно, жалко. Но неужели же из-за того, что она квохчет, утятам не плавать?

Понимаете, какой разговор? Дочь Тевье не говорит впустую...

Между тем время идет. Уже светать начинает. Старуха моя ворчит. Она уже несколько раз посылала звать нас домой. Увидев, что не помогает, она высунула голову в окно и начала меня отчитывать, как водится:

— Тевье, что ты себе думаешь?

— Тише,— говорю,— Голда! Как в Писании сказано: «Зачем возмущаться, народы?» Ты забыла, наверное, какой сегодня праздник. В эту ночь на небе решается наша судьба. Эту ночь спать не полагается. Послушай меня, Голда, потрудись-ка раздуть самовар, напьемся чаю, а я тем временем запрягу лошаденку. Поедем с Годл к поезду.

И уж, как водится, сочиняю новую из-под иголочки небылицу, рассказываю, будто Годл едет в Егупец, а оттуда еще дальше, все по тому же делу, насчет наследства то есть, и может статься, что она там останется на всю зиму, а может быть, на зиму, и на лето, и еще на одну зиму. Так что, говорю, надо ей приготовить на дорогу все, что полагается: немного белья, подушки, наволочки, платья, то-се и прочее...

Командую я эдак и наказываю, чтобы никаких слез не было. Сегодня праздник на белом свете! «Сегодня, говорю, плакать нельзя! В законе прямо так и сказано!» Думаете, послушались, закона испугались? Куда там! — плачут. А как дошло до прощания, заголосили все, ревмя ревут и мать, и дети, да и сама она, Годл то есть, плачет навзрыд. Особенно тяжело было прощаться с моей старшей дочерью, с Цейтл (она к нам на праздники приходит вместе со своим мужем, с Мотлом Камзолом). Сестры как бросились друг дружке на шею, так их еле разняли. И только я один взял себя в руки, держался твердо, как кремень. То есть, конечно, это только так говорится... Внутри кипит, как в самоваре, но я, разумеется, и виду не подаю. Тевье — не баба... Всю дорогу до Бойберика мы молчали, и только, уже подъезжая к станции, я попросил ее в последний раз объяснить мне, что же все-таки сделал он такого, Феферл то есть? «Ведь все, говорю, должно иметь какой-нибудь смысл!» Она вспыхнула и стала клясться всеми клятвами на свете, что он чист как стеклышко!

— Он,— говорит,— человек, который меньше всего думает о себе. Вся его забота — о благе других, об общем благе, и, главное,— о рабочих, о трудовом народе!

— Стало быть,— говорю я,— он заботится обо всех на свете? А почему же свет о нем не заботится, если он такой уж

хороший человек? Ну, поклонись ему от меня, твоему Александру Македонскому, скажи ему, что я полагаюсь на его порядочность,— он ведь насквозь справедливостью пронизан, я надеюсь, что он дочь мою не обманет и напишет когда-нибудь письмецо старику отцу.

Говорю я эдак, а она вдруг как бросится мне на шею и давай плакать!

— Попрощаемся,— говорит.— Будь здоров, отец! Бог знает, когда мы увидимся!..

Кончено! Тут уж я больше не выдержал...

Вспомнилась мне, понимаете ли, эта самая Годл, когда она была еще крошкой... дитя малое... на руках носил ее... на руках... Уж вы извините меня, что я так... совсем по-бабьи... Но если бы вы знали, что это за Годл! Если бы вы знали! Читали бы вы ее письма! Вот она у меня где... глубоко-глубоко... Нет, не могу я всего этого выразить...

. . . .

Знаете что, пане Шолом-Алейхем? Давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе?

ХАВА

«Славьте господа, ибо благостен он»,— как господь бог судит, так и ладно, то есть приходится говорить, что ладно, ибо подите будьте умником и сделайте лучше! Вот хотелось мне быть умным, толковал я изречения и так и эдак... А как увидел, что не помогает, махнул рукой и сказал самому себе: «Тевье, ты глуп! Мира тебе не переделать. Ниспослал нам всевышний «муки воспитания детей», что означает: дети доставляют огорчения, а принимать это надо за благо». Вот, к примеру, старшая моя дочь, Цейтл, влюбилась в портнягу, в Мотла Камзола. Ну, что я могу иметь против него? Правда, человечек он простецкий, в грамоте не слишком силен. Да ведь что поделаешь? Не всем же, как вы говорите, учеными быть! Зато он человек порядочный, работяга, в поте лица свой хлеб добывает. У нее с ним, посмотрели бы вы, полон дом голопузых,— не сглазить бы! — и оба они мыкаются в «богатстве и в почете»...

А поговорите с ней, она вам скажет, что живется ей хорошо, лучше некуда... С одним только делом не все ладно: на хлеб не хватает. Вот вам, так сказать, номер первый.

О второй дочери, о Годл, мне вам рассказывать нечего: сами знаете. Проиграл я ее, потерял навеки! Бог знает, увидят ли ее когда-нибудь мои глаза, разве что на том свете, через сто двадцать лет... Заговорю о ней,— и до сих пор в себя прийти не могу,— жизни моей конец! Забыть, говорите вы! Да как же можно живого человека забыть? Да еще такое дитя, как Годл? Читали бы вы, что она мне пишет,— умереть можно! Живется ей там, пишет она, очень хорошо. Он сидит, а она зарабатывает. Стирает белье, читает книжки и видится с ним каждую неделю. И надеется, говорит, что у нас тут все перебродит, что солнце взойдет и настанет свет, тогда его со многими другими такими же вернут,— и вот тогда только они примутся за настоящую работу и перевернут мир вверх ногами. Ну, как вам нравится? Хорошо, не правда ли? Что же делает господь-вседержитель? Ведь он же, говорите вы, бог милосердный, бог всемилостивый... Вот он мне и говорит: «Погоди-ка, Тевье, вот я устрою так, что ты обо всех своих горестях забудешь!..» И действительно,— стоит послушать. Другому не стал бы рассказывать, потому что боль велика, а позор — и того больше! Но — как это там сказано: «Таю ли я что-нибудь от Авраама?» — от вас у меня секретов нет. Все, как есть, выкладываю. Об одном только прошу: пусть это останется между нами. Потому что — повторяю — боль велика, но позор, позор — и того больше!

Словом, как в «Поучении отцов» сказано: «Возжелал господь очистить душу»,— захотел бог облагодетельствовать Тевье и благословил его семью дочерьми — одна другой лучше, умные, красивые, крепкие,— сосны! Эх, быть бы им лучше безобразными, уродинами,— пожалуй, и для них было бы лучше, и для меня. Ибо что мне, скажите на милость, толку от доброго коня, если он на конюшне стоит? Что толку от красивых дочерей, когда торчишь с ними в глухомани и живого человека не видишь, кроме Антона Поперилы — сельского старосты, или писаря Федьки Галагана — верзилы с копной волос на голове и в высоких сапогах, да еще попа, чтоб ему ни дна ни покрышки! Имени его слышать не могу — и не потому, что я еврей, а он поп. Наоборот, мы с ним много лет хорошо знакомы, то есть в гости друг к другу не ходим, но при встрече здороваемся, то-се, чего на свете слыхать... Пускаться с ним в долгие рассуждения я не люблю, потому что чуть что, начинается канитель: наш бог, ваш бог... Я, конечно, не сдаюсь, перебиваю его

поговоркой, говорю, что есть, мол, у нас изречение... Но и он меня перебивает и говорит, что изречения он знает не хуже моего, а может быть, и лучше. И как начнет шпарить наизусть наше Пятикнижие, да еще по-древнееврейски, только как-то по-своему... «Берешит бара элохим...» Каждый раз одно и то же. Опять-таки перебиваю его и говорю, что есть у нас Мидраш... «Мидраш,— отвечает он,— это уже Талмуд»,— а Талмуда он не любит, потому что Талмуд, по его мнению,— это чистое жульничество... Тут уж я вспыхиваю не на шутку и начинаю выкладывать ему все, что на ум придет. Думаете, это его трогает? Ничуть. Смотрит на меня, посмеивается и бороду расчесывает. А ведь ничего на свете нет хуже, чем когда ругаешь человека, с грязью его смешиваешь, а тот молчит. У вас желчь разливается, а тот сидит и усмехается!

Тогда я не понимал, но теперь мне ясно, что означала эта усмешка...

Возвращаюсь однажды домой уже к вечеру и застаю писаря Федьку на улице с моей Хавой, с третьей дочерью, следующей за Годл. Увидав меня, парень повернулся, снял передо мною шапку и ушел. Спрашиваю у Хавы:

— Что тут делал Федька?

— Ничего! — говорит.

— Что значит «ничего»?

— Мы разговаривали! — отвечает она.

— А что общего у тебя с Федькой? — спрашиваю я.

— Мы,— говорит она,— знакомы уже давно.

— Поздравляю тебя с таким знакомством! — говорю я.— Хорошая компания для тебя — Федька!

— А ты разве его знаешь? — отвечает она.— Знаешь, кто он такой?

— Кто он такой, я не знаю,— говорю я,— родословной его не видал. Но понимать — понимаю, что он, должно быть, очень знатного рода: отец его, наверное, был либо пастух, либо сторож, либо просто пьяница...

Тогда она мне заявляет:

— Кем был его отец, я не знаю и знать не хочу,— для меня все люди равны. Но то, что сам он человек необыкновенный, это я знаю наверняка...

— А именно? — спрашиваю я.— Что же он за человек такой? А ну-ка, послушаем...

— Я бы сказала тебе, да ты не поймешь. Федька — это второй Горький.

— Второй Горький? А кто же такой был первый Горький?

— Горький,— отвечает она,— это нынче чуть ли не первый человек в мире!..

— Где же он обретается,— говорю я,— твой мудрец, чем он занимается и что он проповедует?

— Горький,— отвечает Хава,— это знаменитый писатель, сочинитель, то есть он книги пишет, и к тому же редкий человек, чудесный, замечательный, честный, тоже из простонародья, нигде не учился, все самоучкой... Вот его портрет.

При этом Хава достает из кармана карточку и показывает мне.

— Вот это,— говорю,— и есть твой праведник, реб Горький? Готов поклясться, что я его где-то видал: не то мешки на станции грузил, не то бревна в лесу таскал...

— Что ж, это, по-твоему, недостаток, если человек своими руками хлеб добывает? А ты сам не трудишься? А мы не трудимся?

— Да, да,— отвечаю я.— Конечно, ты права! В Писании прямо так и сказано: «От трудов рук своих будешь вкушать» — не будешь трудиться,— есть не будешь. Однако я все же не понимаю, чего здесь надо Федьке? По-моему, лучше бы ты была с ним знакома на расстоянии. Ты не должна забывать,— говорю,— «откуда пришел и куда идешь»,— кто такая ты и кто он.

— Бог,— говорит Хава,— создал всех людей равными.

— Да, да! Бог создал Адама по образу и подобию своему. Нельзя, однако, забывать, что каждый должен искать себе ровню, как в Писании сказано: «Каждый по достатку своему».

— Удивительное дело! — перебивает она меня.— На все у тебя имеется изречение. А нет ли у тебя изречения насчет того, что люди сами поделили себя на евреев и неевреев, на господ и рабов, на богачей и нищих?

— Те-те-те! — отвечаю я.— Это ты, дочка, больно далеко хватила!

И объясняю ей, что так уж повелось на земле с первых дней сотворения мира.

— А почему так повелось?

— Потому что бог так создал мир!

— А почему бог так создал мир?

— Ну, знаешь,— отвечаю я.— Если мы начнем спрашивать, отчего да почему, так вопросам конца не будет!

— На то,— говорит она,— бог и дал нам разум, чтобы мы вопросы задавали...

Тогда я ей говорю:

— Есть у нас обычай: если курица петухом петь начинает,

ее сейчас же к резнику волокут, как в молитве сказано: «Дарующий разум петуху...»

— А не хватит ли горланить? — вмешивается вдруг моя Голда, выходя из дому.— Уже час, как борщ на столе, а он все заливается!

— Вот те и здравствуй! Недаром мудрецы говорят: «У бабы слов — девять коробов». Тут о серьезных вещах толкуют, а она со своим молочным борщом!

— Молочный борщ,— отвечает Голда,— может быть, такая же серьезная вещь, как и все твои серьезные вещи...

— Поздравляю! — говорю я.— Новый философ выискался, прямо из-под печки! Мало того что дочери такими умными сделались, так и жена Тевье стала через трубу в небо летать!

— Уж раз заговорили про небо, так провались ты сквозь землю!

Как вам нравится такое приветствие, да еще натощак?

Словом, давайте, как пишется в книжках, оставим царевича и возьмемся за царевну, то есть за попа...

Однажды под вечер еду я домой с порожними крынками и у самой деревни встречаю его. Сидит на кованой бричке, сам правит лошадьми, а расчесанная борода развевается по ветру. «Ах ты, черт побери, думаю, хороша встреча!»

— Добрый вечер! — говорит он.— Не узнал меня, что ли?

— Скоро разбогатеете, батюшка! — отвечаю, снимаю шапку и хочу ехать дальше.

— Погоди немного, Тевль,— говорит он.— Куда ты так торопишься? Я хочу сказать тебе пару слов.

— Ну что ж! — отвечаю.— Если хорошее что-нибудь, пожалуйста! А если нет,— можно и до другого раза отложить.

— А что у тебя называется «до другого раза»?

— До другого раза,— говорю я,— это до пришествия мессии.

— Мессия,— отвечает он,— уже пришел...

— Ну, это мы уже слыхали не раз. Вы бы, батюшка, что-нибудь новое придумали...

— А я как раз и собираюсь! — отвечает он.— Хочу поговорить с тобой о тебе самом, то есть о твоей дочери...

Екнуло у меня сердце: какое ему дело до моей дочери?

— Мои дочери,— говорю я,— упаси бог, не такие, чтобы за них говорить надо было: они и сами за себя постоять могут.

— Но тут,— отвечает он,— такое дело, что она сама о нем говорить не может. Тут должен говорить другой, потому что речь идет о весьма существенном, собственно, о ее судьбе...

— А кого,— говорю,— касается судьба моего дитяти? Мне кажется, уж если зашел разговор о судьбе, то я своей дочери отец до ста двадцати лет, не правда ли?

— Конечно,— отвечает он,— ты своему дитяти отец. Но только ты слеп, не видишь, что дитя твое рвется в другой мир, а ты ее не понимаешь, либо понимать не хочешь...

— Не понимаю ли я ее или не хочу понимать,— об этом можно потолковать. Но вы-то тут при чем, батюшка?

— Меня,— говорит он,— это очень даже касается, потому что она сейчас в моем распоряжении...

— Что значит — в вашем распоряжении?

— А то и значит, что она под моей опекой...— отвечает поп, глядя мне прямо в глаза и расчесывая свою красивую окладистую бороду.

— Кто? — подскочил я.— Мое дитя под вашей опекой? А по какому праву? — говорю и чувствую, что во мне все закипает.

— Ты только не горячись, Тевль! — отвечает он хладнокровно, с усмешкой.— Давай лучше спокойно обсудим это дело. Ты знаешь, я тебе, упаси бог, не враг, хоть ты и еврей. Ты,— говорит,— знаешь, что я евреев уважаю, и у меня душа болит за их упрямство, за то, что они так несговорчивы и понять не хотят, что им добра желают.

— О доброжелательстве, батюшка,— отвечаю я,— вы со мной лучше не говорите, потому что каждое слово ваше для меня сейчас капля смертельного яда, пуля в сердце. Если вы мне действительно друг, как вы говорите, то прошу вас только об одном: оставьте мою дочь в покое...

— Ты глупый человек! — говорит он.— С дочерью твоей, упаси бог, ничего плохого не случится. Ее ждет счастье, она выходит замуж за хорошего человека, мне бы такую жизнь...

— Аминь! — отвечаю я будто в шутку, а у самого геенна огненная в сердце.— Кто же он, к примеру, жених этот, если я достоин знать?

— Да ты его, наверное, знаешь. Это очень славный, честный человек, образованный, хоть и самоучка; он влюблен в твою дочь и хочет на ней жениться, но не может, потому что он не еврей...

«Федька!» — подумал я, и точно огнем обожгла меня эта мысль, а затем холодным потом окатила, так что я еле усидел в тележке. Но показывать ему мое состояние — это уж извините, этого ему, положим, не дождаться! Натянул я вожжи, хлестнул своего конягу и — айда восвояси, даже не попрощался...

Приезжаю домой,— батюшки! Все вверх дном. Дети уткнулись в подушки и ревут. Голда — чуть жива... Ищу Хаву... Где Хава? Нет Хавы! Спрашивать, где она, не хочу. Что уж тут спрашивать, горе мое! Чувствую адскую муку, горит во мне злоба, а против кого, и сам не знаю... Вот взял бы, кажется, и сам себя отхлестал. Набрасываюсь на детей, вымещаю свою горечь на жене. Места себе не нахожу. Иду в хлев корма подсыпать лошади, вижу, запуталась она, одной ногой по ту сторону колоды стоит. Вскипел я, схватил палку и стал ее отчитывать, колошматить почем зря: «Чтоб ты сгорела, дохлятина! Овса захотелось? Припасен для тебя овес, как же! Чтоб ты так жила! Горе мое, если хочешь, могу тебе дать, напасти мои, несчастья, болячки!»

Ругаю ее, беднягу, однако спохватываюсь: а она-то в чем виновата? С чего я на нее накинулся? Подсыпаю ей немного сечки, «а в субботу, говорю, даст бог, сено тебе в молитвеннике покажу...». Возвращаюсь в дом и ложусь, зарываюсь в подушку, сам с кровавой раной в груди, а голова — голова раскалывается от дум, от вопросов: «Что все это значит? В чем вина моя и прегрешение мое? Чем я, Тевье, провинился больше всех на свете? За что меня карают суровее кого-либо другого? Ах ты господи, господи, владыко вселенной! Что мы и что наша жизнь? Кто я такой, что ты все время помнишь обо мне, не упускаешь меня из виду и ни одним горем и несчастьем, ни одной бедой и напастью не обходишь меня?»

Лежу эдак вот, как на горячих углях, размышляю и слышу, как жена моя, бедняжка, стонет,— прямо за сердце хватает.

— Голда,— говорю,— ты спишь?

— Нет,— отвечает,— а что?

— Ничего,— говорю,— скверно, Голда... Хоть сквозь землю провались! Может быть, посоветуешь, что делать?

— У меня,— отвечает,— советов спрашиваешь? Горе мое горькое! Встает утром дитя, здоровое, крепкое, одевается и вдруг бросается ко мне на шею, целует, обнимает и ничего не говорит. Я думала, она, упаси бог, рехнулась! Спрашиваю: «Что с тобой, доченька?» Не отвечает. Выбегает на минутку к коровам и — нет ее. Жду час, два, три,— где Хава? Нет Хавы! Тогда я говорю детям: «А ну-ка, сбегайте на минутку к попу!..»

— А откуда ты, Голда,— говорю я,— знала, что она у попа?

— Откуда,— отвечает,— я знала? Горе мне! Что же, глаз у меня, что ли, нету? Или я не мать?

— А если у тебя есть глаза,— говорю я,— и если ты мать, почему же ты молчала и мне ничего не говорила?

— Тебе говорить? А когда ты дома бываешь? Да если я и говорю, ты разве слушаешь? Тебе скажешь, а ты сейчас же изречением отвечаешь. Забиваешь голову изречениями, да тем и отделываешься.

Так говорит она мне, Голда то есть, и я слышу, как она плачет в темноте... Отчасти, думаю, она права, ибо что может понимать женщина? И болит у меня за нее сердце, слышать не могу, как она плачет и стонет.

— Вот видишь, Голда,— обращаюсь я к ней,— ты недовольна, что у меня про всякий случай изречение есть. Должен и на это ответить тебе изречением. Сказано у нас: «Как отец сжалится над детьми»,— отец любит дитя свое. Почему,— я говорю,— не сказано: «Как мать сжалится над детьми своими»? Потому, что мать — это не отец; отец умеет по-иному с детьми разговаривать. Вот увидишь, завтра, даст бог, повидаюсь с ней...

— Дай-то бог,— говорит она,— чтобы ты с ней мог повидаться и с ним тоже. Он — человек неплохой, хоть и поп. Он добр к людям. Попросишь его, в ноги поклонишься,— может быть, он и сжалится.

— Кто? — говорю я.— Поп? Чтоб я ему в ноги кланялся? С ума ты сошла или рехнулась? «Не отверзай уст своих дьяволу на потеху!» Не дождутся этого враги мои!

— Ну, вот видишь,— отвечает она,— опять ты за свое...

— А ты,— говорю,— что ж думала? Стану я у женщины на поводу ходить? Твоим бабьим умом жить буду?

В таких-то разговорах и прошла вся ночь. Еле дождался я первых петухов, встал, помолился, взял кнут и пошел к попу во двор... Женщина — это, конечно, всего только женщина, но куда же мне было идти? В могилу?..

Короче говоря, прихожу к попу во двор, и тут собаки устраивают мне встречу, хотят привести в порядок мой кафтан, попробовать мои икры — не придутся ли они по вкусу их зубам...

Счастье, что я захватил с собою кнут и растолковал им изречение: «Пусть пес зубов не точит», то есть: «Нехай собака даром не бреше...» На шум выбежали поп и попадья, с трудом разогнали веселую компанию и пригласили меня в дом. Приняли меня как почетного гостя, даже самовар хотели поставить. Я сказал, что самовар ни к чему, что мне нужно побеседовать с ним, с попом то есть, с глазу на глаз. Он, конечно, догадался, зачем я пришел, и мигнул жене, чтобы та, мол, потрудилась закрыть дверь с другой стороны. А я приступил к делу прямо, без всяких предисловий: пусть прежде всего скажет, верует ли

он в бога? Затем пусть ответит, понимает ли он, что значит оторвать от отца любимое дитя? И еще пусть скажет, что, по его мнению, есть богоугодное дело, а что — грех? И еще одно хотел бы я у него узнать: какого он мнения о человеке, который врывается в чужой дом и хочет там все перевернуть, переставить стулья, столы и кровати?..

Он, конечно, оторопел и говорит:

— Тевль, ты человек умный, как же ты задаешь мне столько вопросов сразу и хочешь, чтобы я тебе тут же ответил? Погоди, я тебе отвечу на все по порядку.

— Нет,— говорю я.— Ты мне, батюшка дорогой, никогда на это не ответишь. Знаешь почему? Потому что все твои мысли я знаю наперед. Ты лучше скажи мне вот что: могу ли я еще надеяться увидеть свое дитя, или нет?

— Что значит «еще»? — всполошился он.— С твоей дочерью ничего плохого не случится! Наоборот...

— Знаю! — перебил я.— Знаю, вы хотите ее осчастливить? Но я не об этом говорю. Я хочу знать, где она и могу ли я ее видеть?

— Все, что угодно,— отвечает он,— только не это!

— Ну, вот так и говорите! Коротко и ясно! Будьте здоровы и пусть господь воздаст вам сторицею!..

Пришел домой, застал свою Голду в кровати, лежит скрюченная, как черный клубок, и плакать уже не может.

— Встань,— говорю я ей,— жена моя, разуйся и сядем на пол — траур справлять по завету божьему. «Господь дал, господь и взял»,— не мы первые, не мы последние. Пусть нам кажется, что никогда у нас никакой Хавы и не было... Или возьмем для примера Годл, которая ушла от нас невесть куда, бог знает, увидим ли мы ее когда-нибудь. Всевышний — бог милосердный, он ведает, что творит!

Изливаю я так свое горе и чувствую, что слезы душат меня, клубком к горлу подкатываются. Но Тевье — не баба. Тевье сдерживает себя. Положим, это только так говорится «сдерживает себя», потому что, во-первых, вы только подумайте, какой позор... А во-вторых, как же можно сдерживать себя, когда теряешь такое дитя, такой брильянт, такую дочь, которая чуть ли не больше всех детей дорога сердцу моему и сердцу матери? Почему, я и сам не знаю. Может быть, потому, что в детстве она часто и подолгу хворала, перетерпела, бедняжка, всяческие муки. Мы просиживали над нею ночи напролет, не раз прямотаки вырывали ее из рук смерти, отхаживали, как отхаживают полурастоптанного цыпленочка,— ибо если бог захочет, он из

мертвых воскрешает, как в молитве сказано: «Не умру, но жить буду!» — если не суждено умереть, то не умирают. А может быть, потому, что она такая ласковая, преданная, всегда любила нас обоих всем сердцем, всей душой. Спрашивается, как же она могла причинить нам горе? Но такова уж, видать, наша доля. Не знаю, как вы, а я верю в судьбу. А во-вторых, это — наваждение, порча, вроде колдовства! Можете смеяться надо мной, но уверяю вас,— я вовсе не такой отпетый дурак, чтобы верить в чертей, в домовых и прочую нечисть. А в колдовство, понимаете ли, верю, ибо что же это, если не колдовство? Вот послушайте, что дальше было,— и вы со мною согласитесь...

Словом, если сказано в наших священных книгах: «Не своею волею жив человек» — сам себя человек жизни не лишает,— то говорится это недаром: нет на свете раны, которая бы не залечилась, и нет горя, которое не было бы забыто. То есть забыть не забудешь, но что поделаешь? «Человек животному подобен»,— человек должен трудиться, маяться, горе мыкать ради куска хлеба. Принялись мы, знаете ли, все за работу: жена и дети — за крынки, я — за тележку и конягу, и — «все в мире по заведенному порядку» — жизнь идет своим чередом. Наказал я в доме, чтобы имя Хавы никто не смел упоминать,— нет Хавы! Вычеркнута — и кончено! Собрал я немного свежего товара и отправился в Бойберик к своим покупателям.

Приехал в Бойберик — все обрадовались:

— Как поживаете, реб Тевье? Что это вас не видать?

— Да как мне поживать? — отвечаю.— Сказано: «Обнови дни наши яко встарь!» Тот же неудачник, что и прежде. Коровка у меня пала...

— И что это,— говорят они,— с вами всякие чудеса случаются?

И каждый в отдельности расспрашивает меня, какая коровка пала, и сколько она стоила, и сколько коров у меня еще осталось... И посмеиваются при этом, развлекаются... Известно, богачи любят пошутить над бедняком неудачником, особенно после обеда, когда на душе спокойно, а на дворе жарко, и зелено, и дремать хочется... Но Тевье не из тех, с кем можно шутки шутить. Дудки, мол, так вы и узнали, что у меня на душе творится! Покончив с покупателями, пустился я порожняком в обратный путь. Еду лесом, лошадке волю дал, пускай себе плетется да украдкой травку пощипывает... А сам углубился в свои думы, и всякие мысли приходят мне на ум: о жизни и о смерти, об этом и о том свете, и что такое мир божий, и для чего живет человек... Размышляю, стараюсь рассеяться, чтобы

не думать о ней, о Хаве... Но, как назло, в голову лезет именно она, только она. То вижу ее высокую, красивую и стройную, как сосна, а то — наоборот, представляется мне, как я держу ее на руках, маленькую, болящую, дохлятинку, и она, словно цыпленок, склонила головку ко мне на плечо: «Чего тебе, Хавеле? Дать хлебушка кусочек? Молочка?» И забываю на минуту все, что она натворила, и тянет меня к ней, и душа болит, тоскует... Но лишь вспомню,— кровь во мне закипает, огнем разгорается злоба и на нее, и на него, и на весь мир, и на себя самого: почему я не могу забыть о ней ни на минуту, почему не могу вычеркнуть, вырвать ее из сердца? Не заслужила она разве этого? Для того ли должен Тевье всю свою жизнь маяться, горе мыкать, носом землю рыть, детей растить, чтобы они потом вдруг отрывались и опадали, словно шишки с дерева, и чтобы заносило их ветром невесть куда? Вот, к примеру, думаю я, растет дерево в лесу, дуб... И приходит человек с топором, отрубает ветвь, вторую, третью... А что такое дерево без ветвей? Взял бы ты лучше, человече, подрубил бы дерево под корень — и дело с концом! Зачем оголенному дереву в лесу торчать?!

Размышляю я таким образом и вдруг чувствую, что лошаденка моя остановилась — стоп! В чем дело? Поднимаю голову, гляжу — Хава! Та же Хава, что и прежде, ничуть не изменилась, даже платье на ней то же!.. Первое, что приходит на мысль,— соскочить с телеги, обнять ее, поцеловать... Но тут же спохватываюсь: «Тевье, ты что — баба?» Дергаю вожжу: «Но, растяпа!» — и сворачиваю вправо. Смотрю,— и она вправо и рукой машет, будто говоря: «Погоди минутку, мне сказать тебе кое-что нужно...» И что-то внутри у меня обрывается, руки и ноги не слушаются... Вот-вот с телеги спрыгну! Однако сдерживаю себя и сворачиваю влево. Она тоже влево, смотрит на меня дикими глазами, лицо у нее помертвело...

«Что делать? — думаю.— Стоять или дальше ехать?» Но не успеваю оглянуться, как она уже держит коня за уздечку и говорит:

— Отец! Пусть я умру, если ты с места сдвинешься! Прошу тебя, выслушай меня прежде, отец дорогой! Папа!

«Эге! — подумал я.— Силой взять меня хочешь? Нет, душа моя! Не знаешь ты, видать, отца своего...» И давай нахлестывать лошаденку на чем свет стоит! Лошаденка тронула с места, скачет, но то и дело голову назад поворачивает да ушами прядает.

— Но-но! — говорю я.— «Не приглядывайся к кувшину» — не смотри, умник мой, куда не следует!..

А самому, думаете, разве не хочется мне обернуться, хоть одним глазом посмотреть на то место, где она осталась? Но нет, Тевье — не женщина. Тевье знает, как обходиться с дьяволом искусителем...

Словом, не буду растягивать — жаль вашего времени. Если суждены мне загробные муки, то я, конечно, их уже отбыл, а что такое ад, геенна огненная и прочие ужасы, которые в наших священных книгах описываются,— об этом спросите меня, я вам расскажу. Всю дорогу мне казалось, что она бежит следом и кричит: «Выслушай меня, отец-родитель!» Мелькнула мысль: Тевье! Не слишком ли много ты берешь на себя? Что тебе сделается, если ты остановишься на минутку и выслушаешь, чего она хочет? Может быть, она сказала бы такое, что тебе следовало бы знать? Может быть, она, чего доброго, раскаивается и хочет вернуться? Может быть, ей с ним жизнь невтерпеж и она просит тебя помочь ей вырваться из ада?.. Быть может то, быть может другое, множество таких «бытьможетей» проносится у меня в голове, и я снова вижу ее ребенком, и вспоминается изречение: «Как отец сжалится над детьми своими»,— нету, мол, у отца плохого дитяти, и мучаюсь я, и сам о себе говорю, что «жалости недостоин» — не стою я того, что земля меня носит! В чем дело? Чего ты горячишься, сумасшедший упрямец? Чего шумишь? Повороти, изверг, оглобли, помирись с ней, ведь она — твое дитя, ничье больше!.. И приходят мне в голову какие-то необыкновенные, странные мысли. «А что такое еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть как разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от бога, а другие — не от бога?» И досадно мне, почему я не так сведущ, как иные, в книгах, почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы.

И чтобы рассеяться, я начинаю предвечернюю молитву: «Блаженны восседающие в чертогах твоих и славящие тебя вовеки!» Молюсь, как полагается, вслух, с напевом.

Но что толку от моей молитвы, от напевов, когда в глубине души звучит совсем другое: «Ха-ва! Ха-ва!» И чем громче я пою «блаженны», тем громче поет во мне «Ха-ва», и чем больше я хочу забыть о ней, тем больше и ярче встает она передо мною, и кажется мне, что я слышу ее голос, взывающий: «Выслушай меня, отец!» Затыкаю уши, чтобы не слышать, закрываю глаза, чтобы не видеть, читаю молитву и не слышу, что произносят мои уста, бью себя в грудь и не знаю за что... И вся моя жизнь расстроена, и сам я расстроен, и никому не говорю

об этой встрече, и никого не расспрашиваю о ней, о Хаве, хотя знаю, хорошо знаю, где она и где он и что они делают... Но никогда и никто от меня ничего не узнает! Не дождутся враги мои, чтобы я кому-нибудь пожаловался! Вот какой человек Тевье!

Хотелось бы мне знать, все ли мужчины таковы, или это я один такой сумасшедший? Вот, к примеру, иногда бывает... Не будете смеяться надо мной? Боюсь — будете... Иной раз, бывает, надену субботний кафтан и отправляюсь на станцию... Готов уже сесть в поезд и поехать к ним,— я знаю, где они живут. Подхожу к кассиру и прошу дать мне билет. «Куда?» — спрашивает он. «В Егупец»,— отвечаю. А он: «Такого города нет у меня...» — «В таком случае я не виноват...» — говорю я и возвращаюсь домой. Снимаю субботний кафтан и снова за работу... Как там говорится: «Каждый за свое дело, всяк за свою работу»,— портной — за ножницы, сапожник — за верстак... Смеетесь надо мной? Я так и говорил. Я даже знаю, что вы думаете. Вы думаете: «Не все дома у Тевье!..»

Поэтому я полагаю, что хватит на сей раз. Будьте здоровы и пишите письма. Но, ради бога, не забывайте, о чем я вас просил: ни слова об этом! То есть книжки из этого не делайте! А уж если придется писать, пишите о ком-нибудь другом, не обо мне. Обо мне забудьте. Как в Писании сказано: «И позабыл его»,— нет больше Тевье-молочника!

ШПРИНЦА

Большой и сердечный привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам, вам и детям вашим! Сто лет мы с вами не видались! Батюшки, сколько воды с тех пор утекло! Сколько горя оба мы, да и весь народ наш, пережили за эти несколько лет. Кишинев, «коснетуция», погромы, беды да напасти,— ах ты господи, владыко небесный! Я даже удивляюсь вам,— извините, что прямо скажу,— ведь вы же и на столечко не изменились,— тьфу, тьфу, не сглазить бы! А на меня взгляните: шестидесяти еще нет, а как поседел Тевье! Шутка ли, «муки воспитания детей» — чего только от них не натерпишься! А кому еще на долю выпало столько горя из-за детей, сколько мне? У меня новая беда стряслась — с дочкой Шпринцей, да такая беда, что ее и сравнить



«Химера»

нельзя с тем, что было раньше. И тем не менее, как видите, ничего, живем... Как это там сказано: «Не по своей воле жив человек»,— хоть лопни, а напевай песенку:

Что мне жизнь и что мне целый свет,
Если нету счастья, если денег нет?

Словом, как в Писании сказано: «И возжелал всевышний удостоить своей милостью»,— захотел господь бог облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье — коснетуция. Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились наутек из Егупца за границу, теплые воды придумали, нервы, соляные ванны, вчерашний день, прошлогодний снег... Ну, а коль скоро из Егупца разъехались, так уж и Бойберик с его воздухом, лесом и дачами насмарку пошел... Но велик наш бог, чье око не дремлет и неусыпно следит, как бы бедняки не перестали мучиться на белом свете,— и выдалось у нас лето — ай-ай-ай! Понаехали к нам в Бойберик из Одессы, из Ростова, из Екатеринослава, из Могилева, из Кишинева тысячи богачей, толстосумов, миллионщиков! Видать, коснетуция эта самая там еще свирепее, чем у нас в Егупце, потому что бегут оттуда беспрестанно, бегут без оглядки. Вы, пожалуй, спросите, чего они бегут к нам? На это есть одно объяснение: чего наши бегут к ним? Так уж, слава богу, повелось: чуть только заговорят о погромах, евреи начинают метаться из одного города в другой, как в Писании сказано: «И отправились и остановились, остановились и снова отправились»,— что означает — вы к нам, а мы к вам... Между тем Бойберик, можете себе представить, превратился в большой город, полно народу, женщин и детей. А дети любят покушать, им молоко да масло подавай... А где взять молочное, как не у Тевье? Короче говоря, Тевье вошел в моду. Со всех сторон: Тевье и Тевье! Реб Тевье, пожалуйста, сюда! Реб Тевье, зайдите ко мне! Шутка ли, когда бог захочет...

Однажды случилось такое дело. Было это накануне пятидесятницы. Приехал я со своим товаром к одной из моих покупательниц, к молодой богатой вдове из Екатеринослава. Поселилась она в Бойберике на лето с сыном Арончиком и, сами понимаете, первым делом познакомилась со мной.

— Мне,— говорит она, вдова то есть,— вас рекомендовали. У вас, говорят, самые лучшие молочные продукты.

— Еще бы! — отвечаю.— Недаром царь Соломон сказал, что доброе имя гремит по свету, аки трубный глас. А если

хотите,— говорю,— могу вам рассказать, как толкует это место Мидраш...

Но она, вдова то есть, перебивает меня и говорит, что она — вдова и в таких вещах мало сведуща. Не знает, мол, с чем это едят... Главное, чтобы масло было свежее и творог вкусный... Ну, поди поговори с женщиной!

Словом, я стал бывать у екатеринославской вдовы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, точно по календарю. Доставляю товар, даже не спрашиваю, нужно или не нужно. Стал своим человеком и, по обыкновению, начал приглядываться к порядкам в доме, сунул нос на кухню, сказал раз-другой то, что считал нужным сказать. Поначалу, как водится, прислуга меня осадила, чтоб не вмешивался, чтоб не заглядывал в чужие горшки. В другой раз, однако, прислушались к моим словам, а там и советоваться со мной стали: вдова разглядела, кто такой Тевье. Дальше — больше, и вот однажды открыла она мне свое сердце. С Арончиком у нее беда! Помилуйте, парню двадцать с лишним лет, а у него одни лошади да «лисапед» на уме, да еще рыбная ловля, а больше, говорит, он знать ничего не желает. Слышать не хочет ни о делах, ни о деньгах. Отец оставил ему приличное наследство, почти что миллион, а он даже не интересуется! Только и знает — тратить, руки у него, говорит, дырявые!

— Где он,— спрашиваю,— ваш сынок? Давайте-ка его сюда, я с ним немного потолкую, поучу его малость уму-разуму, приведу парочку изречений!

А она смеется:

— Что вы! Вы ему коня приведите, а не изречение!

Говорим мы, и вдруг посреди нашего разговора «появилось дитятко» — пожаловал Арончик собственной персоной... Здоровенный такой детина, стройный, как сосна, кровь с молоком. Широкий пояс прямо, извините, на штанах, часики в кармашке, рукава засучены повыше локтей.

— Где ты был? — спрашивает мать.

— Катался на лодке,— отвечает,— рыбу удил...

— Прекрасное занятие,— говорю я,— для такого паренька, как вы. Тут могут весь дом разнести, а вы там будете рыбку ловить!

Взглянул я на мою вдову,— покраснела как маков цвет, даже в лице изменилась. Наверное, думала, что сынок схватит меня ручищей за шиворот, надает, сколько влезет, оплеух и вышвырнет, как битый горшок... Глупости! Тевье таких штук не боится! У меня — что на уме, то на языке!

И что же вы думаете? Услыхав такие речи, парень отступил на шаг, заложил руки за спину, свистнул как-то по-особенному, окинул меня взглядом с головы до пят да вдруг как расхохочется! Мы даже испугались,— уж не рехнулся ли часом? И — знаете, что я вам скажу? — с этих самых пор мы с ним подружились, лучшими приятелями стали! Должен признаться: парень мне с каждым разом все больше нравился. Правда,— мот, шалопай, деньгам счета не знает и к тому же с придурью. Встретит, к примеру, нищего, сунет руку в карман и подаст, не считая. Ну, кто так делает? Или снимет с себя пальто, целехонькое, новенькое и отдаст первому встречному... Ну, что говорить, когда у человека не все дома! Мать, бедную, от души было жаль! Плачется мне, бывало,— что делать? Просит меня, чтобы я с ним потолковал. Я, конечно, готов: жалко мне, что ли? Денег стоит? Принимался рассказывать ему истории, приводил примеры, сказания, притчи,— как Тевье умеет. А он как раз любил меня послушать, расспрашивал о моем житье-бытье, какие у меня порядки в доме.

— Хотел бы я,— говорит он однажды,— как-нибудь побывать у вас, реб Тевье.

— За чем же дело стало? Хотите побывать у Тевье, прокатитесь разок ко мне на хутор. У вас достаточно лошадей и лисапедов. А в крайнем случае можно и пешком пройтись,— авось ноги не отвалятся! Это недалеко, только лес пересечь...

— А когда,— спрашивает он,— вы бываете дома?

— Меня,— говорю,— можно застать дома только в субботу или в праздник. Погодите-ка, знаете что? В будущую пятницу у нас пятидесятница. Если хотите, прогуляйтесь к нам на хутор, моя жена угостит вас молочными блинчиками, да такими...— и добавляю по-древнееврейски: — каких наши предки и в Египте не едали...

— Что это значит? — спрашивает он.— Вы же знаете, что по части древнееврейского я не очень-то силен.

— Знаю,— говорю,— что вы не очень-то сильны. Если бы вы учились в хедере, как я когда-то учился, вы бы тоже кое-что кумекали...

Рассмеялся он и говорит:

— Ладно! Буду вашим гостем: в первый день праздника приеду, реб Тевье, кое с кем из моих знакомых к вам на блинчики, только уж вы,— говорит,— смотрите, чтоб горяченькие были!

— Огненные, пламенные! — отвечаю.— Со сковородки — прямо в рот!

Приезжаю домой и говорю своей старухе:

— Голда, у нас будут гости на праздник.

— Поздравляю! — отвечает.— Кто такие?

— Об этом после узнаешь,— говорю.— Ты приготовь побольше яиц; сыра и масла у нас достаточно. Напечешь блинчиков на три персоны, но на такие персоны, которые не дураки покушать, а в Писании ничего не смыслят!

— Наверное,— говорит она,— напросился какой-нибудь растяпа из голодающей губернии?

— Глупая ты, Голда! Во первых,— говорю,— не велика беда, если мы бедного человека накормим праздничными блинчиками. А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя супруга, благочестивая и смиренная госпожа Голда, что одним из наших гостей будет сынок вдовы, тот самый Арончик, о котором я тебе рассказывал.

— Ну,— отвечает она,— это совсем другое дело!

Вот она, сила миллионов! Даже моя Голда, едва почует деньги, совсем другим человеком становится. Таков мир, что и говорить! Как это в молитве сказано: «Серебро и злато — дело рук человеческих»,— деньги губят человека...

Короче,— наступил радостный, зеленый праздник. О том, какая красота у меня на хуторе в эту пору, как там зелено, светло и тепло, вам рассказывать нечего. Самый крупный богач у вас в городе мог бы пожелать себе иметь такое голубое небо, такой зеленый лес, такие пахучие сосны, такую чудесную траву — корм для коровок, которые стоят, жуют и смотрят вам в глаза, будто желая сказать: «Вы нас всегда такой травкой кормите, а уж молока мы вам не пожалеем».

Нет, говорите что хотите, предложите мне самое прибыльное дело, но если для этого понадобится переехать из деревни в город, я с вами не поменяюсь. Где у вас в городе такое небо? Как в молитве говорится: «Небеса — чертог господень»,— только богу под стать такое небо! В городе, если голову задерешь,— что увидишь? Дом, крышу, трубу. Но разве есть там такие деревья? А уж если и попадется деревцо, так вы на него хламиду напяливаете.

Одним словом, гости мои налюбоваться не могли, когда ко мне на хутор приехали. Прибыли они, четыре молодца, верхом. Лошадки — одна другой лучше. А уж под Арончиком была лошадка... Жеребец! Настоящий мерин! За триста рублей такого не купишь.

— Милости просим, дорогие гости! — говорю я.— Это вы что же, ради праздника решили верхом прокатиться? Да ладно!

Тевье не такой уж праведник, а если вас, даст бог, на том свете посекут за это,— не мне больно будет... Эй, Голда! Присмотри-ка там, чтобы блинчики были готовы, и пусть вынесут стол сюда, во двор, в доме мне перед гостями хвастать нечем... Эй, Шпринца, Тайбл, Бейлка! Куда вы там запропастились? Пошевеливайтесь!

Командую я эдак, и вот вынесли стол, стулья, скатерть, тарелки, ложки, вилки, соль и тут же — Голда моя с блинчиками, горячими, пламенными, прямо со сковороды, вкусными, жирными — объедение! Гости мои нахвалиться не могут...

— Чего ты стоишь? — говорю я жене.— Повторить надо ради праздника! Сегодня у нас пятидесятница, а в этот день молитву «Хвалю тебя» произносят дважды!

Голда, не долго думая, снова наполняет миску, а Шпринца подает к столу. Вдруг посмотрел я на моего Арончика и вижу, что он загляделся на мою Шпринцу — глаз с нее не сводит. Что он такое на ней увидел?

— Кушайте! — говорю я ему.— Почему вы не едите?

— А что же я, по-вашему, делаю? — спрашивает он.

— Вы,— говорю — смотрите на мою Шпринцу...

Поднялся хохот, все смеются, смеется и Шпринца. И всем весело, радостно... Чудесный, славный праздник! Поди знай, что радость эта обернется бедой, несчастьем, горем, наказанием божьим на мою голову!.. Но что говорить! Человек глуп! Человек разумный не должен все принимать близко к сердцу, надо понимать, что как есть, так и следует быть. Ибо, если бы должно быть иначе, то и было бы не так, как есть. Разве не читаем мы в псалмах: «Уповай на бога»,— ты, мол, только понадейся на него, а уж он постарается, чтоб тебя в три погибели согнуло... Да еще скажешь: «И то благо!» Послушайте, что может случиться на белом свете, но прошу вас, слушайте внимательно, так как только сейчас и начинается настоящая история.

«И был вечер, и было утро»,— однажды вечером приезжаю домой распаренный, измученный беготней по дачам в Бойберике и застаю во дворе около дома привязанного к дверям знакомого коня. Готов поклясться, что это конь Арончика, тот самый мерин, которого я в триста целковых оценил. Подошел я к нему, шлепнул его по боку, пощекотал шею, гриву потрепал. «Приятель, говорю, друг сердечный, что ты тут делаешь?» А он повернул ко мне свою славную морду и смотрит умными глазами, будто сказать хочет: «Что меня спрашивать? Хозяина спроси». Вхожу в дом и принимаюсь за жену:

— Скажи-ка мне, Голда-сердце, что тут делает Арончик?

— А я почем знаю? — отвечает она.— Ведь он из твоих дружков.

— Где же он?

— Ушел,— говорит,— с детьми в рощу на прогулку.

— Что за прогулки ни с того ни с сего? — говорю и велю подавать на стол.

Поужинал и думаю: «Чего ты, Тевье, так расстроен? Человек приходит к тебе в гости, что же тут волноваться? Наоборот...»

А в это время гляжу: идут мои девицы с этим молодчиком, в руках букеты, впереди обе младшие — Тайбл и Бейлка, а позади Шпринца с Арончиком.

— Добрый вечер!

— Здравствуйте!

Арончик подошел ко мне — какой-то странный, поглаживает коня, жует травинку.

— Реб Тевье,— говорит он,— хочу с вами дело сделать. Давайте лошадками поменяемся.

— Не нашли,— говорю,— над кем смеяться?

— Нет! — отвечает.— Я это серьезно.

— Вот как? Серьезно? Сколько же, примерно, стоит ваша лошадка?

— А во сколько,— спрашивает,— вы ее цените?

— Я ценю ее, боюсь сказать, рублей в триста, а может быть, и с гаком!

А он смеется и говорит, что конь стоит больше чем втрое. И опять:

— Ну как? Меняемся?

Не понравился мне этот разговор: ну, что это значит — он хочет выменять своего коня на мою развалину? Предложил я ему отложить дело до другого раза и спрашиваю в шутку: неужто он специально ради этого приехал? «Если так, говорю, то зря потратились...» А он мне серьезно:

— Приехал я к вам, собственно, по другому делу. Если вам угодно, пойдемте немного прогуляемся.

«Что за прогулки такие?» — подумал я и направился с ним в рощу. Солнце уже давно село. В роще темновато, лягушки у плотины квакают, от травы аромат — благодать! Арончик идет, и я иду, он молчит, и я молчу. Наконец он останавливается, откашливается и говорит:

— Что бы вы сказали, реб Тевье, если бы я, к примеру, сообщил вам, что люблю вашу дочь Шпринцу и хочу на ней жениться?

— Что бы я сказал? — говорю.— Я бы сказал, что одного из сумасшедших надо вычеркнуть, а вас вписать...

Посмотрел он на меня и спрашивает:

— Что это значит?

— А вот то и значит! — говорю.

— Не понимаю.

— Значит,— говорю,— сметки не хватает. Как в Писании сказано: «У мудрого глаза его в голове его...» Понимать это надо так: умному — мигнуть, а глупому — палкой стукнуть...

— Я говорю с вами прямо,— отвечает он обиженно,— а вы все шуточками да изречениями отделываетесь...

— Ну что же,— говорю я.— Каждый кантор по-своему поет, а каждый проповедник для себя проповедует... Если хотите знать, что вы проповедуете, переговорите прежде всего со своей мамашей,— уж она вам все обстоятельно разъяснит...

— Что же я, по-вашему, мальчишка, который должен у мамы спрашиваться?

— Конечно,— говорю,— вы должны спроситься у матери. А мать вам, наверное, скажет, что вы не в своем уме, и будет права.

— И будет права?

— Конечно,— говорю,— будет права. Посудите сами, какой же вы жених для моей Шпринцы? Разве она вам ровня? А главное, каково-то вашей матери породниться со мною?

— Ну, если так,— отвечает он,— то вы, реб Тевье, глубоко ошибаетесь. Я не восемнадцатилетний мальчик и вовсе не намерен подыскивать родственников для моей мамаши. Я знаю, кто вы такой и кто ваша дочь... Она мне нравится, я так хочу, и так оно и будет!

— Извините,— говорю,— что перебиваю. С одной стороной, насколько я вижу, вы уже поладили. А как обстоит дело с другой стороной?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я имею в виду,— говорю,— свою дочь, Шпринцу... С ней вы уже говорили? Что она вам сказала?

А он будто обиделся и говорит с улыбкой:

— Ну, что за вопрос! Конечно, говорил с ней, и не один, а несколько раз. Ведь я сюда каждый день приезжаю.

Понимаете? Он ежедневно сюда приезжает, а я даже не знаю об этом! Эх, Тевье, Тевье! Голова садовая! Ведь тебя соломой кормить надо! Если ты так дашь себя за нос водить, тебя и купят и продадут ни за грош, осел ты эдакий!

Подумал я так и повернул с Арончиком к дому. Распрощался он с моей командой, вскочил на коня и — марш в Бойберик.

Теперь оставим, как вы в своих книжках пишете, царевича и примемся за царевну, за Шпринцу то есть...

— Скажи-ка мне, дочка, хочу я тебя спросить,— говорю я ей,— расскажи-ка мне, пожалуйста, о чем это с тобой договорился Арончик без моего ведома?

Но можно ли добиться ответа от дерева? Так и от нее! Покраснела, опустила глаза, как невеста, набрала полон рот воды и — молчок! Ладно, думаю, сейчас говорить не хочешь, после скажешь... Тевье — не баба: он и подождать может. Выждал я некоторое время, потом как-то улучил минутку, когда остались мы с нею с глазу на глаз, и говорю:

— Скажи мне, Шпринца, хочу тебя спросить: знаешь ли ты хотя бы этого Арончика?

— Конечно, знаю! — отвечает она.

— Знаешь ли ты, что он — свищик?

— Что значит свищик?

— Пустой орех,— говорю,— что свистит.

— Ошибаешься! — отвечает она.— Арнольд — хороший человек.

— Уж он,— говорю,— у тебя Арнольдом называется, а не Арончик-шарлатан.

— Арнольд,— отвечает она,— не шарлатан, у него сердце доброе. Арнольд живет среди низких людей, которые только и знают, что деньги да деньги!

— Вот как! — говорю.— И ты, Шпринца, уже стала философствовать? Ты тоже возненавидела деньги?

Словом, чувствую по разговору, что дело у них зашло довольно далеко, и спохватился я поздновато — назад не воротишь. Я свою публику знаю! Уж я вам как-то говорил, что дочери Тевье, будь они неладны, ежели прилипнут к человеку, так всем сердцем, всей душой! И подумал я: «Глупец! Всех на свете умнее хочешь быть? Может быть, это от бога? Может быть, так суждено, чтобы именно через эту вот тихоню Шпринцу ты был вознагражден за все удары и муки, что тебе пришлось перенести? Может быть, суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете? Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллионщицу? А что? Не пристало тебе? Где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло егупецким богачам, заботиться, чтоб им было чего жрать? Кто знает, мо-

жет быть, мне предначертано свыше, чтобы я на старости лет сотворил что-нибудь хорошее, сделался благотворителем, гостеприимным хозяином, а может быть, и вовсе засел бы с учеными людьми и занялся священными книгами?» Такие вот чудесные, золотые мечты лезут в голову... Как в молитве сказано: «Много дум в сердце человеческом»,— или как наши мужики говорят: «Дурень думкою богатеет...» Захожу в дом, отзываю в сторону свою старуху и завожу с ней разговор.

— Что было бы,— говорю,— если бы наша Шпринца, к примеру, стала миллионщицей?

— А что это значит «миллионщица»?

— Миллионщица — значит жена миллионщика!

— А что такое миллионщик?

— Миллионщик,— говорю я,— это человек, у которого есть миллион...

— А сколько это миллион?

— Если ты дура,— говорю я,— и не знаешь, сколько это миллион, так о чем же с тобой разговаривать?

— А кто тебя просит разговаривать? — отвечает она.

И тоже права. Словом, проходит день, приезжаю домой.

— Был Арончик?

— Нет, не был.

Еще день проходит.

— Был парень?

— Нет, не был...

Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно: подумает, что Тевье набивается в родственники... Кроме того, я чувствовал, что для нее все это, «аки роза среди терниев», нужно ей это, как пятое колесо телеге. Хотя я не понимаю почему. Потому что у меня нет миллиона? Так ведь зато у меня теперь свойственница — миллионщица! А у нее свойственник — кто? Нищий, бедняк, Тевье-молочник! Кому же зазнаваться — мне или ей? Скажу вам по чистой совести, я стал желать этого брака, и не столько ради самого брака, сколько ради того, чтобы почувствовать себя победителем. «Черта бы их батьке с матерью, егупецким богачам, пускай знают, кто такой Тевье! До сих пор только и слыхать было, что Бродский да Бродский, будто остальные и не люди!»

Размышляю я так однажды по пути из Бойберика домой. Приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью: посыльный только что был из Бойберика от вдовы, чтоб я обязательно сейчас же приехал туда, хотя бы среди ночи. «Все равно, запрягай и поезжай, ты там очень нужен!»

— Чего это им,— говорю,— так приспичило? Что это они так торопятся?

Взглянул я на Шпринцу. Молчит, но глаза ее говорят,— ох и говорят! Никто, как я, так не понимал ее сердца... Я все время боялся,— мало ли что,— а вдруг вся эта история кончится ничем! И наговаривал я на этого Арончика, как мог,— уж он, мол, такой и эдакий. Но я видел, что это как горохом об стенку,— Шпринца тает, как свеча.

Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в Бойберик. А по пути все думаю: «Чего это они меня так спешно вызывают? Насчет зарученья? Или помолвки? Так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне? Ведь я все-таки отец невесты». Но тут же рассмеялся: где же это видано на белом свете, чтобы богач к бедняку первым шел? Конец света, что ли, настал? Времена мессии наступили? Как вот эти, нынешние молодчики, меня уговорить хотят,— наступит, мол, скоро время: богач с бедняком сравняются, мое — твое, твое — мое? Все трын-трава! Мир как будто вовсе не так глуп,— а вот не перевелись же еще такие дураки! Эх-хе-хе!»

С такими вот мыслями добрался я до Бойберика и прямо на дачу, к вдове. Привязал лошаденку — где вдова? Нет никакой вдовы! Где парень? Нет никакого парня? Кто же меня звал?

— Я вас звал! — отвечает мне круглый, плотный человечек с выщипанной бородкой и толстой золотой цепочкой на брюшке.

— Кто же вы такой будете? — спрашиваю я.

— Я,— говорит он,— брат вдовы, Арончику дядей прихожусь. Меня депешей вызвали из Екатеринослава, я только что приехал...

— В таком случае,— говорю,— с приездом вас!

Присаживаюсь, а он, увидев, что я сел, говорит:

— Садитесь!

— Спасибо,— говорю,— я уже сижу. Как же вы поживаете? Как там у вас насчет коснетуции?

На это он мне ничего не ответил, развалился в качалке, руки в карманы, выпятил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне:

— Вас, кажется, зовут Тевье?

— Да,— говорю,— когда меня вызывают к свиткам Торы, то провозглашают: «Прииди, реб Тевье, сын Шнеер-Залмана...»

— Послушайте,— начал он,— реб Тевье, что я вам скажу: к чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу.

— Ну что ж,— отвечаю.— Еще Соломон Мудрый говорил:

«Всему свое время». Если нужно говорить о деле, давайте — о деле. Я человек деловой...

— Это,— говорит он,— видать, что вы человек деловой... Вот я и хочу поговорить с вами по-купечески... Хочу, чтобы вы мне сказали, только откровенно, во что нам обойдется эта история? Но только откровенно!

— Если говорить откровенно,— отвечаю,— то я не знаю, о чем вы говорите.

— Реб Тевье,— обращается он ко мне снова, не вынимая рук из карманов.— Я спрашиваю, во что нам обойдется вся эта музыка?

— Это,— отвечаю я,— зависит от того, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду устроить шикарную свадьбу, как вам пристало, то я не в состоянии.

Уставился он на меня и говорит:

— Не то вы прикидываетесь простачком, не то вы и в самом деле... Хотя по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото... Пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку,— дочь она вам или не дочь,— в такие тонкости я не вдаюсь... А она ему полюбилась, то есть понравилась. А о том, что он ей понравился, и толковать нечего,— это само собой... Я ничего не говорю, очень может быть, что она честная девушка и принимает, бедняжка, все это всерьез... Я в такие тонкости не вдаюсь... Но вы не должны забывать,— говорит он,— кто вы такой и кто такие мы. Ведь вы же разумный человек, как же вы можете допустить, чтобы молочник Тевье, который доставляет нам сыр и масло, стал нашим родственником? А то, что они друг другу дали слово,— ну что ж, они его друг другу и вернут. Большой беды тут нет. Если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она его освободит от слова,— пожалуйста! Мы ничего против не имеем. Девица,— говорит он,— конечно, не парень,— дочь она вам или не дочь — в такие подробности я не вдаюсь...

«Господи боже ты мой! — думаю я.— Чего от меня хочет этот человек?»

А тот не перестает говорить, так и барабанит у меня над головой. Пусть я не думаю, говорит он, что мне удастся устроить скандал, растрезвонить повсюду, что его племянник сватался к дочери Тевье-молочника. Чтоб я себе выбил из головы, будто сестра его такой человек, из которого можно выкачивать деньги... Добром, говорит, получить у нее несколько рублей — это еще куда ни шло: вроде как пожертвование... Все мы, говорит, люди, надо иной раз оказать помощь человеку...

Вы хотите знать, что я ему ответил? Ничего я,— горе мне,— ему не ответил. Как это говорится: «Прильпе язык мой к гортани моей»,— отнялась у меня речь. Поднялся я, повернулся к дверям и — нет меня! Как от пожара удрал, как из тюрьмы!

У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова: «Откровенно говоря...», «Дочь она вам или не дочь...», «Вдова для выкачивания...», «Вроде как пожертвование...»

Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и — не будете смеяться надо мной? — расплакался. И плакал и плакал... А когда вдоволь наплакался и, усевшись, выместил на своей несчастной кляче все, что накопилось на душе,— обратился я, как Иов, к господу богу с вопросом: «Что ты такого увидел, господи, в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне, что ли, свет клином сошелся?»

Приезжаю домой, застаю всю свою команду веселой — не сглазить бы! Ужинают. Шпринцы нет.

— Где Шпринца? — спрашиваю.

А они мне:

— Что слышно? Зачем тебя звали?

— Где Шпринца? — спрашиваю я снова.

А они опять:

— Что слышно?

— Ничего,— говорю,— особенного не слышно. Тихо, слава богу. О погромах не слыхать...

В эту минуту входит Шпринца. Заглянула мне в глаза и села за стол как ни в чем не бывало, будто не о ней речь. По лицу ее ничего не узнаешь, только притихла уж очень, сверх всякой меры. И не нравится мне ее задумчивость и какое-то слепое послушание. Скажешь ей: сиди — сидит; скажешь: ешь — ест; скажешь: пойди — пойдет. Окликнешь ее — бросается... Смотрю я на нее и щемит у меня сердце, и гнев внутри разгорается — на кого, сам не знаю... Ах ты господи, боже ты наш! За что караешь меня, за чьи грехи?

Короче, вы хотите знать, чем это кончилось? Такого конца я и злейшему врагу не пожелаю, и нельзя этого никому пожелать, потому что горе детей — родителям худшее проклятье и кара божья.

Кто знает, быть может, меня кто-нибудь и проклял? Вы не верите в такие вещи? Ну, а что же это, по-вашему? Скажите — послушаем... Но о чем тут рассуждать? Расскажу вам конец.

Однажды к вечеру еду домой. Сами понимаете, каково у меня на душе: подумайте, какая обида, какой позор! А дитя свое как жаль! А вдова? — спросите вы. А сын ее? Где там вдова!

Какой там сын! Уехали и даже не попрощались. Стыдно признаться,— даже за сыр и масло не рассчитались со мной... Но об этом что говорить! Забыли, наверное... Я говорю о том, что даже не попрощались, так и уехали. Что перенесла Шпринца, об этом ни одна душа не знала, кроме меня, потому что я отец, а отцовское сердце чует... Думаете, она хоть словом обмолвилась? Жаловалась? Плакала? Э, не знаете вы в таком случае дочерей Тевье! Тихо, вся ушла в себя, таяла, угасала, как свеча. Изредка лишь вздох прорвется, да такой, что клок сердца вырывает!

Словом, еду я так, углубился в печальные размышления, задаю вопросы господу богу и сам на них отвечаю. И уже не столько бог меня трогает — с ним я уж кое-как поладил,— сколько люди: почему люди такие злые? Разве не могут они добро творить? Зачем им нужно портить жизнь и другим и себе, когда они могли бы жить и хорошо и счастливо? Неужто бог создал человека для того, чтобы он мучился на земле? Зачем это ему нужно было?

С такими думами приезжаю к себе на хутор и вижу издали, возле гребли, скопище людей — крестьяне, крестьянки, девушки, парни и малые ребята. Что могло случиться? Пожара нет. Наверное, утопленник. Кто-нибудь купался возле гребли и утонул. Никто не знает, где смерть подстережет, как мы говорим в молитве...

И вдруг вижу, бежит моя Голда, шаль по ветру развевается, руки простерты... А впереди мои дети — Тайбл и Бейлка — голосят, рыдают, надрываются:

— Дочь! Сестра! Шпринца!

. . . .

О чем я хотел спросить вас? Да! Вы когда-нибудь видели утопленника? Никогда? Когда человек умирает, он почти всегда лежит с закрытыми глазами... У утопленников глаза открыты... Не знаете, почему это так?

Извините меня, я отнял у вас много времени. Да и сам я занят: надо идти к лошаденке, развезти свой товар. Жизнь требует своего! Нужно и о заработке подумать, а о том, что было, забыть. Потому что все, что землей прикрыто, должно быть забыто, а покуда жив человек, душу не выплюнешь. Никакие увертки не помогут, хочешь не хочешь, а приходится возвращаться к старой истине: покуда душа в теле, поезжай дальше, Тевье!

Будьте здоровы, а ежели вспомните обо мне, не поминайте лихом.

ТЕВЬЕ ЕДЕТ В ПАЛЕСТИНУ

Рассказано самим Тевье в железнодорожном вагоне

Батюшки, кого я вижу! Как поживаете, реб Шолом-Алейхем? Вот так встреча! Даже не снилось! Ну, здравствуйте! Мир вам! А я, понимаете, все думал да гадал: что за притча такая? Что это его столько времени не видать ни в Бойберике, ни в Егупце? Мало ли что случается: а вдруг, думаю, приказал долго жить и перебрался туда, где редьки с салом не едят? Но, с другой стороны, думаю: неужто он такую глупость сделает? Ведь он как-никак человек умный! Ну, слава тебе господи, что привелось свидеться в добром здоровье, как это там сказано: «Гора с горой» — человек с человеком... Глядите вы на меня как-то так, будто не узнаете. Да ведь это же ваш старый приятель Тевье. «Не гляди на сосуд»,— вы не смотрите, что человек в новом кафтане. Это все тот же злополучный Тевье, что и был, ничуть не изменился, разве что, когда приоденешься по-субботнему, то и выглядишь приличнее, вроде как богатый, потому что в дороге, на людях нельзя иначе, тем более когда едешь в такую даль, в Палестину,— шутка ли. Небось удивляетесь, откуда у такого маленького человечка, как Тевье, который всю жизнь торговал маслом да сыром, эдакие замашки? Ведь это только какой-нибудь Бродский мог бы себе позволить на старости лет такое путешествие! «Сплошь загадка», пане Шолом-Алейхем, все ясно как на ладони, поверьте мне! Вы только будьте добры, отодвиньте немножко ваш чемоданчик, я сяду рядом с вами и расскажу вам историю. Вот послушайте, что господь может устроить.

Должен вам прежде всего сообщить, что я, не про вас будь сказано, остался вдовцом. Умерла моя Голда, царство ей небесное. Женщина была она простая, без затей, но великая праведница. Пусть уж она там за детей своих заступницей будет, достаточно она из-за них натерпелась, а может быть, из-за них она и со свету ушла, перенести не могла, что разбрелись они в разные стороны — «кто в лес, кто по дрова». «Что это, прости господи, за жизнь,— говорила она,— когда ни дитяти, ни теляти? Корова и та скучает, когда от нее теленка отлучают...»

Так, бывало, говорит она, Голда то есть, и плачет горючими слезами. И вижу я, что женщина тает день ото дня, как

свеча, и сердце у меня от жалости сжимается, и говорю я ей, душу изливаю:

— Эх, Голда-сердце, сказано у нас: «Либо как детей, либо как рабов»,— что с детьми, что без детей... Есть у нас великий бог, милосердный и всемогущий... А все же,— говорю,— столько бы мне счастья, сколько раз случается: выкинет господь-вседержитель такую штуку, врагам бы моим такую долю!..

Но ведь она, Голда, не тем будь помянута, всего только женщина... Вот она и отвечает мне:

— Грешишь ты, Тевье! Нельзя грешить...

— Вот тебе и раз! Разве я плохое что-нибудь сказал? Что же я, по-твоему, против бога, что ли, восстаю? Ведь если господь бог создал свой мир так расчудесно, что и дети — не дети, и родители — трын-трава, стало быть — он знает, что делает...

Но она не понимает, что я говорю, и отвечает ни к селу ни к городу:

— Умираю я, Тевье, кто тебе ужин готовить будет?

Говорит она мне это и смотрит на меня такими глазами, что камень и тот был бы тронут. Но Тевье — не женщина, отвечаю ей словцом, изречением и еще изречением.

— Голда,— говорю я,— ты столько лет была мне верна, неужели ты на старости лет в дураках меня оставишь?

Глянул на нее — кончается человек!

— Что с тобой,— говорю,— Голда?

— Ничего! — отвечает она едва слышно.

Эге! Вижу, что шутки плохи, запряг я лошадку, поехал в город и привез доктора, самого лучшего доктора. Приезжаю домой,— где там! Лежит моя Голда на полу со свечой в изголовье и выглядит, покрытая черным, как кучка земли. Стою я и думаю: «Вот он и весь человек! Эх ты, владыко небесный! Что ж это ты творишь с твоим Тевье? Что я теперь делать стану на старости лет, горе мое горькое!» И как сноп повалился наземь. Но — кричи не кричи! Знаете, что я вам скажу? Когда видишь перед собой смерть, поневоле вольнодумцем становишься, начинаешь размышлять, «что мы и что наша жизнь»,— что такое наш мир с его планетами, что вертятся, с поездами, которые бешено несутся, со всем этим шумом и треском, и что такое даже сам Бродский с его миллионами? Суета сует, чепуха и ерунда!

Словом, нанял я человека — по Голде Кадеш читать — и уплатил ему за год вперед. Что же мне оставалось делать, когда господь бог наказал меня, не дал мне мужчин — одни женщины, дочери да дочери, будь они неладны! Не знаю, все ли

так мытарятся со своими дочерьми, или я один такой злосчастный, что не везет мне с ними? То есть против них самих я ничего не имею, а счастье — ведь оно от бога. Того, что они мне желают, пошли мне, господи, хоть половину! Наоборот, они чересчур уж преданны, а все, что чересчур,— вредно. Вот возьмите мою младшую дочь, ее Бейлкой звать. Если бы вы знали, что это за человек! Вы меня не первый день знаете,— год, да год, да еще денек,— и знаете, что я не из тех отцов, которые любят расхваливать зазря своих детей. Но раз зашел разговор о Бейлке, то я вам должен сказать в двух словах: с тех пор как господь бог Бейлками промышляет, он такой еще не создавал. О красоте и говорить нечего! Дочери Тевье, сами знаете, по всему свету славятся как первые красавицы. Но она, Бейлка то есть, всех их за пояс заткнет: что и говорить,— всем красавицам красавица! Вот о ней можно сказать словами притчи: «Обманчива красота»,— не в красоте дело, а в характере. Золото, чистое золото, говорю я вам! Я для нее всегда был первым человеком в доме, но с тех пор как моя Голда, да будет ей земля пухом, померла, отец для нее — зеница ока! Пылинке упасть на меня не дает. Уж я говорил про себя: господь бог, как сказано в молитве, «предпосылает гневу своему милосердие» — посылает исцеление еще до болячки. Трудно только угадать, что хуже — исцеление или болячка... Поди будь пророком и узнай, что Бейлка ради меня продаст себя за деньги и отошлет отца своего на старости лет в Палестину! Положим, это только так говорится — отошлет. Поверьте, она повинна в этом так же, как и вы. Виноват кругом он, ее избранник,— проклинать его не хочу, пусть на него казарма свалится! А может быть, если хорошенько вдуматься да покопаться поглубже, то виноват в этом больше всех я сам, потому что ведь у нас в Талмуде так и написано: «Человек повинен...» Но мне ли вам рассказывать, что в Талмуде сказано!

Короче, не буду вас долго задерживать. Прошел год и еще год, Бейлка моя выросла, стала, не сглазить бы, девицей на выданье. А Тевье знай свое: возит в тележке сыр и масло — летом в Бойберик, зимой в Егупец, чтоб их затопило, как Содом! Видеть не могу этот город и не столько город, сколько его жителей, и не всех жителей, а одного человека — Эфраима-шадхена, пропади он пропадом! Вот послушайте, что может натворить сват.

«И был день»,— приезжаю я однажды в середине сентября в Егупец с товаром. Гляжу,— «и пришел Аман» — идет Эфраим-шадхен! Я вам о нем как-то рассказывал. Человечек он

хоть и въедливый, но, чуть его завидишь, поневоле остановишься,— такая уж сила у этого человека...

— Слышь ты, умница моя,— говорю я своей кляче,— а ну-ка постой тут малость, я тебе пожевать дам.

И останавливаю Эфраима, здороваюсь с ним и завожу разговор издалека:

— Что слыхать насчет заработков?

— Скверно! — отвечает он со вздохом.

— А в чем дело?

— Делать,— говорит,— нечего!

— Совсем?

— Совсем!

— Что за причина? — спрашиваю.

— Причина,— говорит он,— в том, что браки нынче дома не заключаются.

— Где же,— спрашиваю,— они нынче заключаются?

— Где-то там, за границей...

— А как же быть,— говорю,— такому человеку, как я, у которого и дедушкина бабушка там не бывала?

— Для вас,— отвечает он и протягивает мне табакерку,— для вас, реб Тевье, у меня имеется товарец здесь, на месте...

— А именно?

— Вдова,— отвечает он,— без детей, полтораста рублей приданого, служила кухаркой в лучших домах...

Гляжу я на него и спрашиваю:

— Реб Эфраим, вы кому это сватаете?

— Кому же,— говорит,— как не вам?

— Тьфу, пропасть! Сдурели вы, что ли? — отвечаю я, угощаю лошаденку кнутом и хочу ехать дальше.

Тогда Эфраим говорит:

— Извините меня, реб Тевье, если я вас обидел. Скажите, а кого же вы имели в виду?

— Кого же,— говорю,— иметь мне в виду, как не мою младшую?

Тут он даже подпрыгнул и хлопнул себя по лбу:

— Погодите-ка! Вот хорошо, что напомнили мне, реб Тевье, дай вам бог долгие годы!

— Аминь! — отвечаю.— Желаю и вам до пришествия мессии дожить. Но с чего это на вас такая радость напала?

— Хорошо! — восклицает он.— Замечательно! Лучше некуда!

— Да в чем же дело?

— У меня,— говорит,— для вашей младшенькой есть на

примете нечто исключительное, счастье, главный выигрыш, богач, денежный мешок, миллионщик, Бродский. Сам он подрядчик и звать его Педоцур!

— Педоцур? — говорю я.— Знакомое имя, из Пятикнижия...

— Да что там Пятикнижие? Причем тут Пятикнижие? Он подрядчик, этот Педоцур, он дома строит, мосты, побывал во время войны в Японии, привез кучу денег, разъезжает на огненных конях, в каретах с лакеями у дверей, с собственной банькой у себя в доме, с мебелью из Парижа, с брильянтовым перстнем на пальце, совсем еще не старый, холостой, настоящий холостяк, прима! И ищет он красивую девушку, кто бы она ни была, раздетую, разутую, лишь бы красавица!..

— Тпр-ру! — говорю я.— Если вы так скакать будете без передышки, то мы с вами, реб Эфраим, заедем невесть куда. Если не ошибаюсь, вы уже как-то сватали того же самого жениха моей старшей дочери Годл.

Услыхав это, мой сват как схватится за бока да как захохочет! Я думал, с ним удар случится...

— Эге! — говорит.— Вспомнили тоже, как моя бабка впервые рожала... Тот до войны еще обанкротился и в Америку удрал!

— Царство ему небесное! — отвечаю.— Может быть, и этот туда же удерет?

Тут мой шадхен прямо из себя вышел:

— Да что вы говорите, реб Тевье! Тот был пустельга, шарлатан, мот, а этот — подрядчик со времени войны, ведет большие дела, имеет свою контору, служащих и... и... и...

Словом, так разгорячился мой Эфраим, что даже стащил меня с телеги, ухватил за лацканы да так меня стал трясти, что подошел городовой и хотел нас обоих отправить в часть. К счастью, я вспомнил, что в Писании сказано: «Иноземцу отдавай в рост»,— с полицией надо уметь ладить...

Короче, что тут долго рассказывать? Этот Педоцур стал-таки женихом моей младшей дочери Бейлки, и «недолго тянулись дни», то есть я хочу сказать, что прошло все-таки довольно много времени, пока мы их обвенчали. Почему прошло много времени? Потому что она, Бейлка то есть, не хотела за него выходить, как человек помирать не хочет. Чем больше этот Педоцур приставал к ней с подарками, с золотыми часиками да с брильянтовыми колечками, тем противнее он ей становился. Мне, знаете ли, пальца в рот не клади. Я отлично видел это по ее лицу, видел и слезы, которые она тайком проливала. Подумал я однажды и говорю ей эдак между прочим:

— Слушай-ка, Бейлка, боюсь, что твой Педоцур мил и люб тебе так же, как и мне...

А она вся зарделась и отвечает:

— Кто тебе сказал?

— А чего ты плачешь ночи напролет?

— Разве я плачу?

— Нет,— говорю,— не плачешь, а всхлипываешь. Думаешь, если уткнулась головой в подушку, то спрятала от меня слезы? Думаешь, отец твой мальчик или мозги у него высохли и он не понимает, что ты это ради старика отца делаешь? Ты отцу покойную старость обеспечить хочешь, чтобы ему было где голову приклонить, чтобы ему, упаси бог, побираться не пришлось? Если ты так думаешь, то ты,— говорю,— очень глупа, голубушка! Есть у нас великий бог, а Тевье не приживальщик, чтобы жить на чужих хлебах из милости. А деньги — чепуха, как в Писании сказано. Возьми, к примеру, твою сестру Годл. Как она бедствует! А посмотри-ка, что она пишет бог весть из каких далеких краев и как она счастлива там, где-то на краю света, со своим беднягой Перчиком!..

А ну-ка, будьте умником, отгадайте, что ответила на это Бейлка?

— С Годл,— говорит она,— ты меня не равняй. Годл выросла в такое время, когда мир ходуном ходил, чуть было не перевернулся. Тогда думали обо всем мире, а о себе забывали. А сейчас, когда мир спокойно на месте стоит, каждый думает о себе, а о мире забыли...

Так отвечает мне Бейлка, и подите разгадайте, что она под этим разумеет.

Ну? Что вы скажете о дочерях Тевье?

Видели бы вы ее под венцом — принцесса! Я глядел на нее, любовался и думал: «Вот это Бейлка, дочь Тевье? Где она научилась так стоять, так ходить, так держать голову, так одеваться, чтобы все на ней было как влитое?» Однако долго любоваться мне не дали, потому что в тот же день, после венца, часов около шести вечера молодожены поднялись и курьерским поездом умчались,— шут их знает куда, в какую-то «Наталию» на воды, как принято у богачей, а вернулись уже зимой и тут же прислали за мной, чтобы я во что бы то ни стало немедленно приехал в Егупец. Я подумал: это неспроста. В чем дело? Если бы им просто хотелось, чтобы я приехал, они бы так и наказали: приезжай, мол, и дело с концом. К чему же еще «во что бы то ни стало» и «немедленно»? Значит, здесь что-то кроется! Спрашивается, что же это может быть? И полезли в голову

всякие мысли и предположения — и хорошие и дурные. Может быть, молодожены уже успели рассориться, как две кошки, и дело идет к разводу? Но тут же я возражаю себе: «Ты глуп, Тевье! Почему ты должен все истолковывать к худшему? Откуда ты знаешь, для чего тебя зовут? Может быть, они соскучились и хотят тебя видеть? А может быть, Бейлке вообще захотелось, чтобы отец был возле нее? А вдруг этот Педоцур решил принять тебя на службу, взять к себе в дело и сделать своим управляющим? Так или иначе,— ехать надо». И вот сажусь — «и направился в Харран» — и еду в Егупец. В дороге разыгралась у меня фантазия, и представляется мне, что я оставил деревню, продал корову, конягу с тележкой, со всем барахлом и переехал на жительство в город. Сделался у моего Педоцура сначала доверенным лицом, потом кассиром, а дальше стал управлять всеми его подрядами и, наконец, вошел в дело полноправным компаньоном,— все у нас пополам, и я, как и он, разъезжаю на паре огненных коней — один буланый, другой гнедой,— и сам себе удивляюсь: «Что сие и к чему сие?» — куда мне, такому маленькому человеку, вести такие крупные дела? На что мне весь этот тарарам, весь этот базар и вечная суета? К чему мне, как скажете вы, «восседать с вельможами», толкаться среди миллионщиков? Оставьте меня, мне хочется покойной старости, хочется иной раз в священную книгу заглянуть, главу из псалмов прочитать,— ведь надо же и о душе когда-нибудь подумать, не так ли? Как царь Соломон говорит: человек — что скотина: забывает, что сколько бы он ни жил, а смерти не миновать...

С такими вот мыслями и думами приехал я, с божьей помощью, в Егупец прямо к Педоцуру. Хвастать перед вами, рассказывать «о величии его и богатствах его» — то есть о его квартире и обстановке,— я просто не в состоянии. Я никогда в жизни не удостаивался чести быть в доме у Бродского но насколько я могу себе представить, лучше и краше, чем у Педоцура, быть не может! Судите, что это за палаты царские, хотя бы по тому, что сторож, который стоит у дверей, верзила с серебряными пуговицами, ни за что меня пускать не хотел, хоть ты ему кол на голове теши! В чем дело? Двери стеклянные, я вижу, как он стоит, этот верзила, пропади он пропадом, и чистит платье. Я ему киваю, руками размахиваю, знаками показываю, чтобы он пустил меня, потому что жена хозяина мне родной дочерью приходится... Но он, дурья голова, знаков не понимает, и тоже руками показывает, чтобы я убрался ко всем чертям! Вот ведь горе какое! К родной дочери рука требуется! «Горе

тебе и седой твоей голове, Тевье, до чего ты дожил!» — думаю я и гляжу сквозь стеклянную дверь. Вижу, вертится там какая-то девица. «Наверное, горничная»,— думаю, потому что глаза у нее вороватые. У всех горничных такие глаза. Я, знаете, вхож в богатые дома и со всеми горничными знаком... Кивнул я ей: «Отвори, мол, кошечка!» Та отворила двери и спрашивает, представьте себе, по-еврейски:

— Кого вам?

— Здесь,— говорю,— живет Педоцур?

— А вам кого? — спрашивает она громче.

А я ей еще громче:

— Тебя спрашивают, отвечай толком! Здесь живет Педоцур?

— Здесь.

— Ну, коли так,— говорю,— значит, мы с тобой свои люди. Поди же скажи мадам Педоцур, что к ней гость приехал, отец ее, Тевье, в гости к ней пожаловал и вот уже сколько времени на улице стоит, как нищий у дверей, потому что он, видишь ли, не удостоился чести снискать любовь и благоволение вон того идола с серебряными пуговицами, провались он сквозь землю за один твой ноготок!

Услыхав такие речи, девушка — видать, хорошая шельма! — расхохоталась, захлопнула у меня перед самым носом двери, побежала наверх, потом сбежала вниз, впустила и привела меня в такой дворец, какой и отцам отцов моих не снился. Шелк и бархат, золото и хрусталь, идете и шагов своих не слышите, потому что ступаете грешными своими ногами по дорогим коврам, мягким, как снег. А часов, часов! На стенах часы, на столах часы, бесконечное количество часов. «Господи благодетель, много ли у тебя таких на свете? К чему человеку столько часов?» — думаю я и, заложив руки за спину, иду дальше. Смотрю, несколько Тевье сразу двигаются мне навстречу со всех сторон, один сюда, другой туда, один ко мне, другой от меня... Тьфу ты, пропасть! Со всех сторон зеркала!.. Только такой гусь, как этот подрядчик, может позволить себе столько часов и столько зеркал!.. И приходит мне на память Педоцур, толстенький, кругленький, с лысиной во всю голову, говорит громко и смеется мелко, дробненьким смешком... И вспоминаю, как приехал он ко мне в деревню в первый раз — на горячих конях — и расположился у меня, как у себя дома. Познакомился с моей Бейлкой и тут же отозвал меня в сторону и сообщил по секрету на ушко, да так, что слышно было по ту сторону Егупца, что дочь моя ему понравилась, что он желает —

раз-два-три и — под венец! Ну, то, что дочь моя ему по нраву пришлась, понять нетрудно, но это «раз-два-три»,— «аки меч двуострый»,— точно тупым ножом меня по сердцу полоснуло! Что значит «раз-два-три и — под венец»? А где же я? А Бейлка где? Ох, и хотелось мне закатить ему парочку изречений, чтоб он меня попомнил! Но, с другой стороны, подумал я: «К чему тебе, Тевье, вмешиваться? Многого ты добился у старших дочерей своих, когда пытался им советы давать? Наговорил с три короба, всю свою ученость выложил, а кто в дураках остался? Тевье!»

Короче говоря, оставим, как в ваших книжках пишут, царевича и примемся за царевну. Исполнил я, стало быть, их просьбу и приехал в Егупец. «Здравствуйте! Здравствуйте! Как поживаете? Как дела? Садитесь!» — «Спасибо, можно и постоять!» — ну, и все прочие церемонии, как водится.

Соваться вперед с вопросом: «Что отличает сей день от прочих»,— то есть что, мол, означает этот вызов, зачем понадобился,— неудобно. Тевье — не женщина, он и потерпеть может. Между тем входит какая-то личность в больших белых перчатках и объявляет, что обед подан. Поднимаемся втроем и входим в комнату из сплошного дуба: стол дубовый, стулья дубовые, стены из дуба, потолок из дуба, и все это точеное, разукрашенное, размалеванное... А на столе — царская роскошь! Чай, и кофе, и шоколад, и печенье, и коньяк, и соленья наилучшие, всякие блюда, фрукты и овощи, стыдно признаться, но боюсь, что моя Бейлка у своего отца ничего этого и в глаза не видала. Наливают мне рюмочку и еще рюмочку, а я пью, смотрю на нее, на Бейлку, и думаю: «Дождалась дочь Тевье, как сказано: «Подъемлющий нищего из праха»,— коли поможет господь бедняку, так его и узнать нельзя. Казалось бы, Бейлка, а все же не Бейлка!» И вспоминаю я прежнюю Бейлку и сравниваю с той, что сейчас, и больно и обидно мне становится, как если бы я оплошал, дурака свалял, заключил бы невыгодную сделку, взял бы, к примеру, свою лошаденку-работягу и выменял бы на жеребенка, про которого и не знаешь, что из него выйдет — конь или дубина.

«Эх, Бейлка, Бейлка, думаю, что с тобой стало! Помнишь, как, бывало, по вечерам ты сидишь при коптящей лампочке, шьешь и песню напеваешь, оглянуться не успею, ты двух коровок выдоишь, а то, засучив рукава, приготовишь мне простой молочный борщ, или галушки с фасолью, или пампушки с сыром, или ушки с маком и скажешь: «Отец, поди руки мой!» Ведь это лучше всякой песни было!» А сейчас сидит она со

своим Педоцуром за столом, как королева, два человека к столу подают, тарелками брякают... А Бейлка? Хоть бы слово вымолвила! Зато он, Педоцур то есть, за двоих уплетает, рта не закрывает! В жизни не видал человека, который бы так любил болтать и балабонить бог знает о чем, рассыпаясь при этом своим дробненьким смешком. У нас это называется: сам сострил, сам и смеется... Кроме нас троих, сидит за столом еще какой-то тип с румянцем во всю щеку. Не знаю, кто он такой, но едок он, видать, не из последних, потому что все время, покуда Педоцур говорил и смеялся, тот уписывал за обе щеки, как в Писании сказано: «Трое, что ели...» — ел за троих... Тот ел, а Педоцур трещал, и все такую ерунду, что слушать тошно: подряд, губернское правление, удельное ведомство, казначейство, Япония... Из всего этого меня интересовала одна только Япония, потому что с Японией у меня кое-какие счеты были. Во время войны,— знаете, конечно,— лошади в большом почете были, их днем с огнем искали... Наскочили, стало быть, и на меня, и взяли моего конягу в работу: смерили его аршином, прогнали его несколько раз взад-вперед и выдали ему белый билет. Вот и говорю им: «Я наперед знал, что напрасны ваши труды, как в Писании сказано: «Праведник печется и о жизни скота своего»,— не Тевьиной кляче на войну ходить...» Однако извините меня, пане Шолом-Алейхем, я путаю одно с другим, так и с пути сбиться недолго. Давайте-ка лучше, как вы говорите,— «вернемся к делу» — обратимся к нашей истории.

Словом, выпили мы, значит, честь честью, закусили как полагается, а когда встали из-за стола, взял он, Педоцур, меня под руку и привел к себе в свой кабинет, убранный по-царски — с ружьями и кинжалами на стенах, с пушками на столе... Усадил он меня на эдакий диван, мягкий, точно масло, достал из золотой коробки две длинные, толстые, пахучие сигары — одну себе, другую мне, закурил, уселся против меня, вытянул ноги и говорит:

— Знаете, для чего я за вами посылал?

«Ага! — думаю.— Хочет, видно, потолковать со мной насчет того самого». Однако прикидываюсь дурачком и говорю:

— «...Сторож я, что ли, брату своему?» Откуда же мне знать?

— Я,— отвечает он,— хотел поговорить с вами относительно вас самих.

«Служба!» — думаю и отвечаю:

— Ну что ж, если что-нибудь хорошее, пожалуйста! Послушаем.

Тогда он вынимает сигару изо рта и обращается ко мне с такой речью.

— Вы,— говорит,— человек не глупый и не обидитесь, если я буду с вами говорить откровенно. Надо вам знать, что я веду крупные дела. А когда ведешь такие крупные дела...

«Да! — думаю.— Меня имеет в виду!» Перебиваю его и говорю:

— У нас в Талмуде сказано: «Чем больше достояние, тем больше забот». Знаете, как это надо толковать?

А он отвечает мне довольно-таки откровенно:

— Скажу вам по чистой совести, что Талмуд я никогда не изучал и даже не знаю, как он выглядит!

И рассыпался мелким смешком. Ну, что вы на это скажете? Казалось бы, уж если господь тебя наказал и остался ты невеждой, неучем,— так уж пусть это будет шито-крыто! Нашел тоже, чем хвастать!

— А я иначе и не думал! — говорю.— Знаю, что к таким вещам вы отношения не имеете... Однако послушаем, что же дальше?

— А дальше,— отвечает он,— я хотел вам сказать, что по моим делам, по моему имени и положению мне неудобно, что вас называют «Тевье-молочник». Не забывайте, что я знаком лично с губернатором, что ко мне в дом может, чего доброго, нагрянуть эдакий... Бродский, Поляков, а то, пожалуй, и сам Ротшильд!.. Чем черт не шутит?..

Говорит он мне это, Педоцур то есть, а я сижу, смотрю на его лоснящуюся лысину и думаю: «Очень может быть, что ты и с губернатором лично знаком и что Ротшильд может к тебе в дом прийти, но говоришь ты как собака поганая!»

И обращаюсь к нему не без досады:

— Как же быть, если Ротшильд, чего доброго, и в самом деле нагрянет?

Думаете, он почувствовал мою шпильку? Куда там! «Ни леса, ни медведей!» Даже в голову ему не пришло!

— Я бы хотел,— говорит он,— чтоб вы бросили это самое молочное дело и занялись чем-нибудь другим.

— А именно? Чем?

— Чем хотите! — отвечает он.— Мало ли дел на свете? Я помогу вам деньгами, сколько потребуется, лишь бы вы не были больше Тевье-молочником. Или, погодите-ка, знаете что? А может быть, вы бы совсем — раз-два-три — взяли и уехали бы в Америку? А?

Говорит он это, засовывает сигару в зубы и смотрит мне прямо в глаза, а лысина блестит... Ну? Что можно ответить такому грубияну? Сперва я подумал: «Чего ты, Тевье, сидишь, как истукан? Поднимись, хлопни дверью и уйди, ни слова не сказавши на прощание!» Так меня за живое задело! На что способен подрядчик! Наглость какая! «Что значит,— ты велишь мне бросить честный и почетный заработок и ехать в Америку? К нему, видите ли, может заглянуть Ротшильд, а по этому случаю Тевье-молочник должен бежать невесть куда?!»

Внутри у меня, как в котле, кипит, немного взволнован я был еще и раньше, и зло меня берет на нее, на Бейлку: «Чего ты сидишь, как принцесса, среди сотен часов и тысяч зеркал, в то время как отца твоего сквозь строй гонят по горячим углям?!»

«Столько бы мне радостей, думаю, насколько лучше поступила твоя сестра Годл! Конечно, что правда, то правда,— нет у нее такого дома и таких финтифлюшек, как у тебя, но зато у нее муж Перчик... Ведь это человек, который о себе и не думает, обо всем мире заботится... И к тому же у него голова на плечах, а не макитра с лоснящейся лысиной... А язычок у этого Перчика — чистое золото! Ему изречение приведешь, а он тебе — три сдачи! Погоди, подрядчик, вот я тебе такое изречение закачу, что у тебя в глазах потемнеет!»

Подумал я эдак и обратился к нему с такими словами:

— То, что Талмуд для вас книга за семью печатями, это еще куда ни шло: когда человек живет в Егупце, называется Педоцуром и занимается подрядами, то Талмуд может спокойно лежать на чердаке. Но простой стих,— ведь это же и мужик в лаптях поймет. Вы, наверное, знаете, что у нас в Писании сказано насчет Лавана Арамейского: «Из хвостито поросяти шапкато не сварганито...»

А он смотрит на меня, как баран на новые ворота, и спрашивает:

— Что же это значит?

— Это значит,— отвечаю я,— из поросячьего хвоста шапки не сварганишь!

— Это вы, собственно, к чему же? — снова спрашивает он.

— А к тому,— говорю,— что вы предлагаете мне ехать в Америку!

Рассмеялся он дробненько и говорит:

— В Америку не хотите? Тогда, может быть, в Палестину? Все старые евреи едут в Палестину...

И только проговорил он это, как засело у меня гвоздем в голове: «Погоди-ка, может быть, это вовсе не так глупо, Тевье,

как ты думаешь? И в самом деле... Нежели таковы отцовские радости, какие мне сулил бог, может быть, лучше Палестина? Глупец! Чем ты рискуешь и кто здесь остается у тебя? Твоя Голда, царство ей небесное, все равно уже в могиле, а сам ты, прости господи, мало, что ли, маешься? Да и до каких пор тебе топтаться на белом свете?»

А кроме того, надо вам знать, пане Шолом-Алейхем, что меня давно уже тянет побывать у «стены плача», у гробницы праотцев наших, на могиле праматери Рахили, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Чермное море, Питом и Рамзес и тому подобные святые места... И уносят меня мысли в обетованную землю Ханаанскую, в землю, как говорится, «текущую млеком и медом...».

Но Педоцур перебивает мои мысли:

— Ну? Чего тут долго раздумывать? Раз-два-три...

— У вас,— говорю я,— все «раз-два-три», как в Писании сказано: «Все едино: что хлеб, что мякина...» А для меня это, знаете ли, не так-то просто, потому что подняться и ехать в Палестину — на это деньги нужны...

Рассмеялся он своим дробненьким смешком, подошел к столу, открыл ящик, достал бумажник и вынул мне, можете себе представить, порядочную сумму, а я не заставил себя упрашивать, сгреб бумажки (вот она — сила денег!) и засунул в карман поглубже. Хочу ему привести хоть парочку изречений, подходящих к случаю, но он и слушать не желает.

— Этого,— говорит он,— вам хватит до места с лихвой, а когда приедете туда и вам нужны будут деньги, напишите и — раз-два-три — деньги будут сейчас же высланы. А напоминать вам лишний раз об отъезде, я думаю, не придется,— ведь вы же человек честный, совестливый...

Говорит он это мне, Педоцур, и смеется своим дробненьким смешком, от которого с души воротит. Мелькнула у меня мысль: «А не швырнуть ли ему в рожу эти бумажки и не сказать ли ему, что Тевье за деньги не покупают и что с Тевье не говорят о совести и справедливости?»

Но не успел я и рта раскрыть, как он позвонил, позвал Бейлку и говорит ей:

— Знаешь, душенька? Ведь отец твой нас покидает, распродает все свое имущество и — раз-два-три — уезжает в Палестину.

«Снился мне сон, да не ведаю...— думаю я.— Вот уж действительно: и во сне не снилось, и наяву не мерещилось...» Смотрю я на Бейлку, а она хоть бы поморщилась! Стоит, как

деревянная, ни кровинки в лице, смотрит то на меня, то на него и — ни единого слова. Я, на нее глядя, тоже молчу, молчим, стало быть, оба, как в псалмах говорится: «Прилипни язык мой» — онемели! Голова у меня кружится, в висках стучит, как от угара. «Отчего бы это? — думаю.— Вероятно, от сигары, которой он меня угостил». Но вот ведь он сам, Педоцур, тоже курит! Курит и говорит, говорит, рта не закрывает, хотя глазки у него слипаются, видать, вздремнуть хочет.

— Ехать,— говорит он,— вам надо отсюда до Одессы курьерским, а из Одессы морем до Яффы. А ехать морем сейчас самое лучшее время, потому что позже начинаются ветры, снега, бури и... и...

Язык у него заплетается, как у человека, которого клонит ко сну, однако он не перестает трещать:

— А когда будете готовы к отъезду, дайте нам знать, и мы оба приедем на вокзал попрощаться с вами, потому что когда-то мы еще увидимся.

При этом он, извините, сладко зевнул и сказал Бейлке:

— Душенька, ты тут немного посидишь, а я пойду прилягу на минутку.

«Никогда,— подумал я,— ты ничего умнее не говорил, честное слово! Теперь-то я душу отведу!» И хотел было выложить ей, Бейлке то есть, все, что на сердце накипело за весь этот день, но тут она как бросится мне на шею да как расплачется!.. У моих дочерей, будь они неладны, у всех такая уж натура: крепятся, хорохорятся, а когда прижмет,— плачут, как ивы плакучие. Вот, к примеру, старшая моя дочь Годл, мало ли она рыдала в последнюю минуту, перед отъездом в изгнание, к Перчику, в холодные края? Но что за сравнение! Куда ей до этой?

Скажу вам по чистой совести: я, как вы знаете, не из слезливых. По-настоящему я плакал только однажды, когда моя Голда, царство ей небесное, лежала на полу; еще раз всласть поплакал я, когда уехала Годл, а я остался на вокзале, как дурень, один со своей клячей; и еще как-то раз-другой я, как говорится, расхлюпался... А так, вообще, что-то не припомню, чтобы я был легок на слезы. Но когда расплакалась Бейлка, у меня так защемило сердце, что я не в силах был сдержаться, и духу у меня не хватило упрекнуть ее. Со мной много говорить не надо,— меня звать Тевье. Я сразу понял ее слезы. Она не просто плакала, она каялась в том, что отца не послушалась... И вместо того, чтобы отчитать ее как следует и излить свой гнев на Педоцура, я стал утешать Бейлку и приводить ей один при-

мер за другим, как Тевье умеет. Выслушала она меня и говорит:

— Нет, отец, не оттого я плачу. Я ни к кому претензий не имею. Но то, что ты уезжаешь из-за меня, а я ничем помочь не могу,— это меня огнем жжет!

— Брось! — отвечаю.— Рассуждаешь ты, как дитя! Забыла, что есть у нас великий бог и что отец твой еще в здравом уме. Большое, думаешь, дело для твоего отца съездить в Палестину и вернуться, как в Писании сказано: «И отправились и остановились»,— туда и обратно...

Говорю это я, а про себя думаю: «Врешь, Тевье! Уж если уедешь, так поминай как звали! Нет больше Тевье!»

И она, точно угадав мои мысли, говорит:

— Нет, отец, так успокаивают маленького ребенка. Дают ему куклу, игрушку и рассказывают сказочку про белую козочку... Уж если рассказывать сказки, то не ты мне, а я тебе расскажу. Только сказочка эта, отец, скорее грустная, чем интересная.

Так говорит она, Бейлка то есть. Дочери Тевье зря не болтают. И рассказала она мне сказку из «Тысячи и одной ночи» о том, как этот ее Педоцур выбрался, что называется, из грязи в князи, сам, собственным умом добился высокого положения, а сейчас стремится к тому, чтобы к нему в дом был вхож Бродский, и швыряет ради этого направо и налево тысячи, раздает крупные пожертвования. Но так как одних денег недостаточно,— нужно к тому же иметь и родословную, то Педоцур из кожи лезет вон, чтобы доказать, что он не кто-нибудь, а происходит из знатного рода Педоцуров, что отец его был крупным подрядчиком...

— Хоть он отлично знает,— говорит Бейлка,— что мне-то известно, кем был его отец: просто на свадьбах играл. Затем он всем рассказывает, будто отец его жены был миллионером...

— Это он кого же имеет в виду? — говорю я.— Меня? Если судил мне господь иметь когда-нибудь миллионы, так пусть считается, что я уже отбыл это наказание.

— Да знаешь ли ты, отец,— говорит Бейлка,— как пылает у меня лицо, когда он представляет меня своим знакомым и начинает распространяться о знатности моего отца, моих дядей и всей моей родни! Рассказывает такие небылицы, какие никому и во сне не снились. А мне остается только слушать и молчать, потому что на этот счет он очень капризен...

— По-твоему,— отвечаю,— это каприз, а по-нашему,— просто мерзость и безобразие!

— Нет, отец,— говорит она,— ты его не знаешь. Он вовсе не такой уж скверный, как ты думаешь. Но он человек минуты. У него отзывчивое сердце и щедрая рука. Стоит только попасть к нему в добрую минуту и скорчить жалостливую мину,— он душу отдаст, а уж ради меня и говорить нечего,— звездочку с неба достанет! Думаешь, я над ним никакой власти не имею? Вот я недавно добилась от него, чтобы он вызволил Годл и ее мужа из дальних губерний. Он поклялся, что не пожалеет ради этого многих тысяч, но с условием, чтобы они оттуда уехали в Японию.

— Почему,— спрашиваю,— в Японию? Почему не в Индию или, к примеру, в Падан-Арам к царице Савской?

— Потому что в Японии,— отвечает она,— у него есть дела. На всем свете у него дела. Того, что ему в день стоят одни телеграммы, нам хватило бы на полгода жизни. Но что мне от того, когда я — не я?..

— Выходит,— говорю,— как у нас в «Поучении отцов» сказано: «Если не я за себя, то кто за меня?» И я — не я, и ты — не ты...

Говорю, отделываюсь шутками, изречениями, а у самого сердце разрывается, глядя, как дитя мое мучается «в богатстве и чести».

— Твоя сестра Годл,— говорю я,— так бы не поступила.

— Я тебе уже говорила,— отвечает она,— чтобы ты меня с Годл не сравнивал. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое... А от времени Годл до времени Бейлки так же далеко, как отсюда до Японии...

Понимаете, что означают эти странные слова?

Однако, я вижу, вы торопитесь. Еще две минуты, и конец всем историям. Насытившись до отказа горестями и муками моей счастливой дочери, я вышел оттуда разбитый и пришибленный. Швырнул наземь сигару, от которой я угорел, и обращаюсь к ней, к сигаре то есть:

— Пропади ты пропадом, черт бы тебя взял!

— Кого это вы так, реб Тевье? — слышу я позади себя. Оглядываюсь — он, Эфраим-шадхен, чтоб ему провалиться!

— Добро пожаловать! — говорю я.— Что вы тут делаете?

— А что вы тут делаете?

— Был в гостях у своих детей.

— Как они поживают?

— А как,— говорю,— им поживать? Дай бог нам с вами не хуже.

— Насколько я понимаю,— отвечает он,— вы очень довольны моим товаром?

— Да еще как доволен! Пусть господь воздаст вам сторицей!

— Спасибо,— говорит он,— на добром слове. Может быть, вы вдобавок к доброму слову подарочек преподнесли бы мне?

— А разве,— спрашиваю,— вы не получили того, что вам за сватовство полагается?

— Иметь бы ему самому столько, вашему Педоцуру! — отвечает он.

— А в чем дело? Маловато?

— Не так, чтобы мало, как от доброго сердца пожаловано.

— А именно?

— А именно... Уже ни гроша не осталось.

— Куда же это подевалось?

— Дочь,— отвечает,— замуж выдал.

— Поздравляю,— говорю,— дай им бог счастья и радости!

— Хороша радость! — отвечает он.— Наскочил я на зятя-шарлатана. Бил, истязал мою дочь, потом забрал денежки и удрал в Америку.

— А зачем,— говорю,— вы дали ему так далеко убежать?

— А что я мог поделать?

— Соли,— говорю,— на хвост насыпать...

— У вас,— отвечает он,— реб Тевье, хорошо на душе...

— Дай боже вам того же, хотя бы наполовину...

— Вот как! — удивился он.— А я-то полагал, что вы богач... В таком случае нате вам понюшку табаку...

Взял я понюшку табаку и отделался от шадхена.

Вернулся домой, стал распродавать свое хозяйство, нажитое за столько лет. Положим, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Каждый черепок, каждая безделица мне здоровья стоили. Одна вещь напоминала мне Голду, царство ей небесное, другая — детей... Но ничто так не растревожило душу, как моя лошаденка. Перед ней я чувствовал себя виноватым... Подумайте, проработали мы с нею столько лет, вместе бедствовали, вместе горе мыкали, и вдруг — взял да продал! Продал я ее водовозу, потому что от извозчиков ничего, кроме издевательств, не дождешься. Прихожу к ним лошадь продавать, а они:

— Господь с вами, реб Тевье, разве это лошадь?
— А что же это, по-вашему,— говорю,— подсвечник?
— Нет,— отвечают,— не подсвечник, а святой угодник...
— Почему угодник?
— А потому что коню вашему под сорок, зубов ни следа, губа серая, боками трясет, как баба на морозе...

Нравится вам такой извозчичий разговор? Готов поклясться, что лошадка моя понимала, бедняга, каждое слово, как в Писании сказано: «Вол знает владетеля своего»,— скотина чует, что ее продавать собираются... А в доказательство, когда мы с водовозом ударили по рукам и я сказал ему: «В добрый час!» — лошадь вдруг повернула ко мне свою симпатичную морду и глянула так, будто хотела сказать: «Вот она награда за все мои труды,— так-то поблагодарил ты меня за службу...» Посмотрел я в последний раз на свою конягу, когда водовоз взял ее под уздцы и стал учить уму-разуму, остался один и думаю: «Господи владыко небесный! Как мудро ты миром своим управляешь! Вот создал ты Тевье и создал, к примеру, лошадь, и у обоих у них одна судьба на свете... Только, что человеку язык дан, и он может душу излить, а лошадь — что она может? Бессловесное создание, немое существо!.. Как вы скажете: «И нет преимущества у человека пред скотом?..»

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что у меня слезы на глазах, и небось думаете: затосковал, видно, Тевье по своей лошадке? Но почему по лошадке, чудак вы эдакий? По всему стосковался, всего жаль! Буду тосковать и по лошадке, и по деревне, и по старосте, и по уряднику, и по бойберикским дачникам, и по егупецким богачам, и даже по Эфраиму-шадхену, чума бы его побрала... Хотя, с другой стороны, если только рассудить, так ведь и он всего-навсего бедняк, который ищет заработка.

Даст бог, приеду благополучно на место,— не знаю еще, что я там делать буду, но ясно, как божий день, что первым долгом отправлюсь на могилу праматери Рахили. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу, помолюсь и за Эфраима-шадхена, вспомню и о вас, и обо всех евреях. Обещаю вам это, вот вам моя рука! И будьте мне здоровы, счастливого вам пути и передайте от меня привет каждому в отдельности.

ИЗЫДИ!

Большой и горячий привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам и детям вашим! Уж я давненько встретиться с вами хочу, набралось у меня «товару» порядочно, есть что рассказать. Все время расспрашиваю: «Где обретаешься?» — почему это вас не видать? А мне говорят, что разъезжаете вы где-то по белу свету, по разным дальним странам, как в сказании об Эсфири говорится: «Сто и двадцать семь царств...» Да только вы как-то странно на меня смотрите... Небось сомнение берет: он или не он? Он, пане Шолом-Алейхем, он самый! Ваш старый приятель Тевье собственной персоной, Тевье-молочник, тот же Тевье, только уже больше не молочник, просто человек, такой, как все, старик, хотя по годам не так уж стар — как в «Сказании на пасху» говорится: «Вот я, семидесятилетний»,— до семидесяти еще далеко! А что волосы побелели? Поверьте, не от радости, дорогой друг... Своих горестей немало — что греха таить? — да и всему нашему народу горя не занимать стать!.. Скверное время! Тяжкая година для нашего брата! Но я знаю, что у вас на уме. Вы о другом думаете: вспомнили, наверное, что мы с вами однажды распрощались перед тем, как я должен был уехать в Палестину, а теперь, вероятно, думаете, что видите меня на обратном пути, из Палестины то есть, и ждете, конечно, новостей оттуда, хотите получить свежий привет от гробницы праматери Рахили, от священной пещеры и тому подобных святынь. Должен вас успокоить. Если есть у вас время и если хотите послушать, какие чудеса бывают на свете, выслушайте меня внимательно,— тогда сами скажете, что человек — тварь неразумная, что велик наш бог и что его волей мир управляется.

Какой раздел Пятикнижия читают нынче? «И воззвал»? А у меня на очереди совсем другой раздел: «Изыди!» «Изыди!» — сказали мне. Убирайся, Тевье, «из страны своей, с места твоего рождения»,— из деревни, в которой ты родился и прожил все свои годы, «на землю, которую я укажу тебе»,— куда глаза глядят! И прочли мне эти строки как раз в то время, когда Тевье уже и стар, и немощен, и одинок, как мы в молитве читаем: «Не покидай нас на старости лет...»

Однако я забежал вперед и чуть было не забыл, что не дошел еще до начала рассказа, я ведь еще не рассказал вам о Палестине. Что там слышно, хотите вы знать, дорогой друг? Страна хорошая, что и говорить! «Земля, текущая млеком и медом»,— говорится у нас в Священном писании. Беда только,



«Тевье едет в Палестину»

что Палестина — в Палестине, а я, как видите, все еще здесь... Это про меня, видно, говорится в сказании об Эсфири: «Суждено мне пропадать — и пропадаю»,— как был я неудачником, так неудачником и помру. Был уже, казалось, одной ногой по ту сторону, на земле обетованной то есть, оставалось только взять билет, сесть на корабль — и пошел! Но человек полагает, а бог располагает. Вы только послушайте! Как раз в это время старший мой зять, Мотл Камзол, портной из Анатовки, вдруг надумал помереть, не про вас будь сказано! Лег спать здоровый, крепкий и не встал! То есть, конечно, особенным богатырем он никогда не был. И откуда взяться здоровью: ремесленник, день и ночь, как сказано: «Либо премудрость постигал, либо господу молитвы возносил» — с иголкой в руках штаны, извините, сметывал. Шил, шил, пока сухотку не нажил, кашлять начал, кхекал, кхекал, да так все легкие и прокхекал. Не помогли ему уже ни доктор, ни знахарь, ни козье молоко, ни шоколад с медом. Славный был парень, хоть и простецкий, не ученый, зато честный, без задних мыслей, а дочь мою любил, как душу свою! И жертвовал собою ради детей, а за меня готов был в огонь и в воду!

Словом, как в Библии сказано: «И умер Моисей»,— помер Мотл и оставил мне изрядный груз. Где уж там было думать о Палестине? Дома у меня такая Палестина, лучше некуда! Как же я мог, судите сами, оставить дочь-вдову с малышами сиротами без куска хлеба? Хотя, с другой стороны, чем я могу ей помочь? Дырявый мешок — как его наполнишь? Мужа я ей из мертвых не воскрешу, детям отца с того света не верну... Да и сам я, грешным делом, не более как человек: хочется на старости лет кости расправить, почувствовать себя разумным созданием, а не скотиной. Пошумел и хватит! Пожил на этом свете и довольно! Пора и о том свете подумать! Тем более что с хозяйством своим я уже покончил; и как вам известно, я давно спровадил коровок, распродал без остатка, осталась только пара бычков, из которых мог бы выйти толк, если их хорошо кормить,— и вдруг изволь на старости лет сделаться отцом сирот, кормильцем маленьких детей! Думаете, это все? Не торопитесь! Самое главное впереди, потому что у Тевье если стрясется беда, то, сами знаете, обязательно за ее хвостом другая тащится! Когда однажды, к примеру, случилось несчастье,— пала у меня корова,— то следом же пала вторая... Так уж господь бог создал свой мир, так тому и быть,— ничего не попишешь!

Короче говоря, историю моей младшей дочери, Бейлки, вы, конечно, помните? Помните, какое счастье ей привалило, какого

леща она поймала, Педоцура, вертопраха, военного подрядчика, который привез в Егупец полные мешки и втюрился в мою дочь, захотел иметь жену-красавицу, подослал ко мне Эфраима-шадхена,— чтоб его черт...— землю носом рыл, лез из кожи вон, взял ее, как говорится, в чем мать родила, осыпал с головы до ног подарками, брильянтами да алмазами... Казалось бы, такое счастье, не правда ли? Ну, так вот, все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как еще вылетело! С треском, господи, спаси и помилуй! Потому что, если бог захочет, чтобы колесо повернулось в обратную сторону, так все летит к черту, маслом вниз, знаете, как в молитве вот написано, «подъемлет нищего из праха», а не успеешь оглянуться, как следом за этим идет: «взирающий с высоты на небо и на землю»,— то есть хлоп в яму с постромками!.. Бог любит поиграть с человеком, ох, любит! Сколько раз он эдак играл с Тевье: «То восходит, то нисходит»,— то вверх, то вниз! Так было и с моим подрядчиком, с Педоцуром. Помните, конечно, его дом в Егупце с целой оравой слуг, с зеркалами, с часами, с финтифлюшками? Фи-фу-фа! Помните, я, кажется, рассказывал вам, что я тогда уговаривал Бейлку, упрашивал ее постараться, чтобы он купил этот дом и обязательно на ее имя? Меня, конечно, не послушались, куда там! Разве отец понимает что-нибудь? Отец ничего не понимает! Ну, и чем же, вы думаете, все это кончилось? Врагам бы моим такой конец! Мало того что Педоцур после этого шика и треска обанкротился и распродал все зеркала, и все часы, и женины брильянты и алмазы,— он к тому же влип в скверную историю и должен был удрать, куда Макар телят не гонял, то есть в Америку. Туда ведь едут все разбитые сердца,— вот и они туда поехали. На первых порах здорово помучились, небольшую сумму, какая у них была, проели, а когда жевать стало нечего, пришлось беднягам взяться за работу. Работали каторжно, как наши предки в Египте,— оба, и он и она! Сейчас, пишет она, малость полегчало: они вяжут чулки на машине и «делают жизнь»,— так это у них в Америке называется. А по-нашему это означает — перебиваются с хлеба на квас. Хорошо еще, что их всего двое, пишет она, ни дитяти, ни теляти — и то благо!

Вот я и спрашиваю: не черта ли его дядькиной тетке? То есть я имею в виду Эфраима... Сосватал-таки жениха моей дочке, втянул меня в болото, нечего сказать! Чем, скажите, было бы плохо, если бы она вышла за ремесленника, как Цейтл, или за учителя, как Годл? Правда, и тем не больно повезло... Одна осталась молодой вдовой, а вторая выслана куда-то к

черту на кулички на поселение... Но ведь это от бога! Что может предвидеть человек? Знаете, что я вам скажу? Умница была моя Голда, царство ей небесное: вовремя спохватилась, распрощалась с этим глупым светом и ушла к праотцам. Потому что, скажите сами, не правда ли, нежели столько горя терпеть из-за детей, не в тысячу ли раз лучше спокойно лежать в могиле? Но как это там говорится: «Не по своей воле жив человек»,— нам не дано взять свою судьбу в руки, а попробуй-ка взять, по рукам получишь!

Однако мы сбились с прямого пути, давайте вернемся к делу. Оставим на время, как это пишется в ваших книжках, царевича и вернемся к царевне. На чем же мы остановились? На разделе «Изыди!». Но прежде чем приступить к этому разделу, я попрошу вас потрудиться,— остановимся на минутку на другом. Его, правда, читают не после, а до того раздела, но мне эти разделы прочли в обратном порядке. История интересная, можете ее послушать,— она вам, чего доброго, еще и пригодится.

Дело было давно, сразу после войны, в самый разгар коснетуций, когда на головы евреев посыпались всякие «благодеяния», сначала в крупных городах, потом в местечках... Однако до меня дело не дошло и дойти не могло ни в коем случае! Почему? Очень просто! Живешь столько лет среди крестьян, со всеми соседями дружишь. «Друг сердечный, отец милосердый», «батюшка Тевль» у всех в большом почете, первая личность на селе. Совет нужен: «як Тевль скажет»; лекарство от лихорадки: «до Тевля»; ссудить на время несколько рублей — опять-таки к Тевлю... Ну, мог ли я опасаться погрома! Глупости! И в голову не приходило! Сами крестьяне сколько раз говаривали, что мне совершенно нечего бояться, они не допустят! И действительно... Вот послушайте.

Приезжаю однажды из Бойберика домой. Я тогда еще в полной силе был, торговал молочным товаром — сыром, маслом и прочей снедью. Выпряг лошадку, подсыпал сена и овса, не успел даже руки помыть к обеду,— гляжу, у меня полон двор крестьян, вся громада, самые почтенные хозяева, от старосты Ивана Поперило и до пастуха Трохима. И все они выглядят как-то странно, у всех праздничный вид... Поначалу у меня екнуло сердце: что за праздник ни с того ни с сего? А не пришли ли они... Однако тут же подумал: «Фи, Тевье! Стыдно, перед самим собой стыдно: столько лет живешь в селе — одинединственный еврей среди стольких крестьян и всегда со всеми в согласии и в ладу, никогда никто тебя пальцем не тронул!»

Вышел я к ним и поздоровался честь честью.

— Здравствуйте,— говорю,— дорогие хозяева! Зачем пожаловали? Что хорошего скажете? Что нового расскажете?

Выступает староста, Иван Поперило то есть, и говорит ясно, прямо, без всяких предисловий:

— Пришли мы к тебе, Тевль... Побить тебя хотим!

Как вам нравится такой разговор? По-нашему это называется намеки делать, обиняками говорить... Каково было у меня на душе, можете себе представить. Но показывать — дудки! Наоборот... Тевье — не мальчик...

— Поздравляю вас! — отвечаю я как ни в чем не бывало.— Но что же это вы, дети мои, так поздно спохватились? В других местах об этом уже почти забыть успели!

Тогда Иван Поперило, староста то есть, говорит самым серьезным образом:

— Понимаешь, Тевль, мы все время думали и гадали: бить тебя или не бить? Повсюду, во всех других местах, ваших бьют, как же нам тебя обойти? Вот громада и порешила, что надо тебя побить... Да только, видишь ли, сами еще не знаем, что с тобой делать, Тевль: только ли стекла у тебя вышибить, перины и подушки распороть и пух выпустить, или поджечь твою хату, сарай и всю худобу?..

Тут уж у меня и вовсе стало кисло на душе. Смотрю я на своих гостей, стоят, опершись на длинные посохи, и о чем-то шепчутся. По всему видать, что дело нешуточное. «В таком случае,— думаю я про себя,— выходит, как в псалмах сказано: «Дошли воды до души моей»,— взяли тебя, Тевье, здорово в работу! Ведь если — не приведи господь... Мало ли что? Кто их знает?.. Нет, брат, со смертью шутки плохи! Надо им сказать что-нибудь».

И что тут долго рассказывать, дорогой друг, суждено было, видать, совершиться чуду... Внушил мне господь не теряться, не падать духом! Набрался я смелости и обращаюсь к крестьянам:

— Выслушайте меня, дорогие мои хозяева. Раз громада порешила, так и рассуждать тут нечего. Вам лучше знать, заслужил ли у вас Тевье, чтобы вы разорили все его хозяйство... Да только,— говорю,— знаете ли вы, что есть на свете кое-кто повыше вашей громады? Знаете ли вы, что есть бог на свете? Я не говорю — мой бог или ваш бог, я говорю о том боге, об общем нашем боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь внизу... Очень может быть, что он сам так решил, чтобы я ни за что ни про что был наказан вами, лучшими моими друзьями, а может быть,— говорю,— и наобо-

рот, может быть, он ни в коем случае не желает, чтобы Тевье зло причинили... Кто же может знать, чего хочет бог? А ну-ка, может быть, среди вас сыщется кто-нибудь, кто бы взялся добиться тут толку?

Словом, увидели они, надо думать, что Тевье им не переспорить. Тогда староста, Иван Поперило то есть, говорит:

— Дело, видишь ли, вот какое. Мы, правду сказать, против тебя, Тевль, ничего не имеем. Ты хоть и жид, но человек неплохой. Да только одно другого не касается, бить тебя надо. Громада так порешила, стало быть — пропало! Мы тебе хоть стекла повышибаем. Уж это мы непременно должны сделать, а то,— говорит,— не ровен час, проедет кто-нибудь мимо, пусть видит, что тебя побили, не то нас и оштрафовать могут...

Точно так и сказал, как я вам говорю, чтоб мне так господь помог во всех моих делах!

Ну, вот я и спрашиваю вас, пане Шолом-Алейхем, ведь вы человек бывалый, не прав ли Тевье, когда говорит, что велик наш бог?..

Покончили мы, стало быть, с одной историей. Теперь вернемся к библейскому разделу «Изыди!». Этот раздел со мной прошли совсем недавно и уже по-настоящему. На этот раз не помогли, понимаете ли, никакие речи, никакие проповеди! А дело было так. Надо это рассказать со всеми подробностями, как вы любите.

И «было во дни» Бейлиса, было это как раз в то время, когда Мендл Бейлис — невинная наша жертва — муку принимал за чужие грехи, а весь мир ходуном ходил. Сижу это я однажды на завалинке возле дома, погруженный в свои думы. На дворе лето. Солнце припекает, а голова трещит от мыслей. Как же это так? Возможно ли? В нынешние времена? Такой, казалось бы, мудрый мир! Такие великие люди! Да и где же это бог? Старый еврейский бог? Почему он молчит? Как допускает он такое дело? Что же это значит, и опять-таки — как же так? И, размышляя эдак о боге, поневоле углубляешься в высокие материи, начинаешь рассуждать, что такое жизнь и что такое загробный мир? И почему бы не прийти мессии?

«Эх, думаю, вот был бы он умницей, если бы вздумал сейчас на белой своей лошадке прискакать! Вот было бы здорово! Никогда, кажется, он так не был нужен нам, как сейчас! Не знаю, как там богачи, к примеру, Бродские в Егупце или Ротшильды в Париже. Им, может быть, мессия и ни к чему, они о нем и думать не желают. Но мы, бедняки,— из Касриловки, из Мазеповки, из Злодеевки и даже из Егупца и Одессы,— ох,

как ждем его, ждем не дождемся! Прямо-таки глаза на лоб лезут! Вся наша надежда сейчас только на то, что бог свершит чудо и придет мессия!»

И вот, размышляя таким образом, вдруг вижу: белая лошадка, кто-то на ней верхом сидит и — прямо к воротам моего дома! Тпр-ру! Остановился, слез, лошадку привязал и ко мне:

— Здравствуйте, Тевль!

— Здравствуйте, здравствуйте, ваше благородие! — отвечаю я радушно, а про себя думаю: «Вот легок на помине: ждешь мессию,— приезжает урядник!»

Поднимаюсь, иду ему навстречу:

— Милости просим, гость дорогой! Что на свете слыхать, что хорошего скажете, господин начальник?

А сердце прямо выскочить готово — хочу знать, в чем дело? Но он, урядник то есть, не торопится. Закуривает преспокойно папироску, выпускает дым, сплевывает и спрашивает:

— Сколько тебе, Тевль, потребуется времени, чтобы продать хату и все твои бебехи?

Гляжу я на него с недоумением.

— А зачем же,— говорю,— продавать ее, мою хату? Кому, к примеру, она мешает?

— Мешать,— отвечает он,— она никому не мешает. А только я приехал выселять тебя из деревни.

— Только и всего? — говорю я.— А за какие такие добрые дела? Чем я заслужил у вас такую честь?

— Не я,— отвечает он,— тебя выселяю — губерния выселяет.

— Губерния? Что же такого,— говорю,— она на мне увидела?

— Да не одного тебя,— отвечает он,— и не только отсюда, а из всех деревень кругом: из Злодеевки, из Грабиловки, из Костоломовки и даже из Анатовки, которая раньше считалась местечком... Сейчас и она деревней становится, и выгоняют оттуда всех, всех ваших...

— И мясника Лейзер-Волфа тоже? И Нафтоле-Герца? И резника? И раввина тамошнего?

— Всех, всех! — отвечает он и даже рукой махнул, точно ножом отрезал...

Полегчало как-то у меня на душе: как-никак горе многих — половина утешения. Однако досада меня разбирает, так и жжет меня, и говорю я ему, уряднику то есть:

— Скажи-ка мне, ваше благородие, а знаешь ли ты, что я живу тут гораздо дольше тебя? Знаешь ли ты, что в этом

углу жил еще мой покойный отец, и дед мой, и бабка, царство им небесное?

Я не поленился и перебрал всю семью, всех назвал по именам, рассказал, где кто жил и где кто помер... Он выслушал, а когда я кончил, говорит:

— Чудак ты, право, Тевль, и разговору у тебя не оберешься! Да что мне,— говорит он,— толку от твоих бабушек и дедушек? Царство им небесное! А ты, Тевль, собирай свои манатки и фур-фур на Бердичев!

Это меня уж совсем взорвало: мало того что такую добрую весть принес, ты еще издеваешься: «Фур-фур на Бердичев!» Дай-ка, думаю, хоть скажу ему, что на душе!

— Ваше,— говорю,— благородие! Вот уже сколько времени ты у нас начальником. Слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы кто-либо из соседей на меня жаловался, говорил бы, что Тевье его обокрал, или ограбил, или обманул, или попросту забрал что-нибудь? Расспроси-ка мужиков, не жил ли я с ними всегда душа в душу? А сколько раз я, бывало, ходил к тебе, господин начальник, за крестьян хлопотать, чтобы ты их не обижал?..

Это ему, видно, не понравилось. Встал, раздавил папироску пальцами, швырнул ее и говорит:

— Некогда мне с тобой лясы точить, пустыми разговорами заниматься. Прибыла мне бумага, а остальное меня не касается! Поди-ка вот распишись! А времени на выезд дают тебе три дня, чтобы ты мог все распродать и приготовиться в путь-дорогу!

Увидев, что дело плохо, я говорю:

— Три дня даете мне? Дай вам бог за это три года жить в богатстве и чести. Пусть господь воздаст вам сторицей за добрую весть, что принесли мне...

Словом, всыпал ему по первое число, как Тевье умеет! В самом деле, чего мне было церемониться? «Что мне терять?» — подумал я. Конечно, будь я моложе лет на двадцать хотя бы, будь жива моя Голда, будь я тот же Тевье, что прежде, я бы так скоро не сдался! Я боролся бы до крови! А теперь — что уж? «Что мы и что наша жизнь?» — кто я и что я? Мертвец, битый горшок, черепок негодный! «Ах ты, думаю, владыко небесный! И чего это ты привязался к Тевье? Почему бы тебе не поиграть когда-нибудь, хотя бы шутки ради, с Бродским, к примеру, или с Ротшильдом? Почему им никто не читает главу «Изыди!»? Им бы это больше кстати было! Во-первых, они бы по-настоящему почувствовали, что значит быть евреем, а во-вторых, пусть бы и они увидали, что есть у нас всесильный бог...»

Однако все это пустые разговоры. С богом вступать в споры

бесполезно, и советов у нас никто не спрашивает. Если он говорит: «Небо мое и земля моя»,— стало быть, он хозяин и надо слушаться. Как бог скажет, так тому и быть!..

Вошел я в дом и говорю своей дочери-вдове:

— Цейтл, мы переезжаем в город. Пожили в деревне и хватит. Перемена места — перемена счастья. Принимайся,— говорю,— за дело, начинай загодя готовиться в путь — собирай постель, самовар и прочую рухлядь, а я пойду хату продавать. Прибыла бумага, чтобы мы очистили это место и чтобы через три дня нашего духу тут не было!

Услыхав такую весть, Цейтл как расплачется, а детишки, на мать глядя, тоже ни с того ни с сего разревелись, и в доме поднялся стон и плач, как на похоронах. Я, конечно, рассердился и стал вымещать на дочери, бедняжке, все, что накипело на душе: «Чего, говорю, вы от меня хотите? Что это вы расхныкались так, с бухты-барахты, как старый кантор в дни покаяния? Один я, что ли, у господа бога? Единственный? Мало ли евреев сейчас из деревень выгоняют? Поди послушай, что урядник рассказывает! Даже твоя Анатовка, которая до сих пор была местечком, и та, с божьей помощью, деревней стала ради тамошних евреев, чтоб их всех можно было выгнать оттуда... А если так, то чем же я хуже других?»

Выкладываю я все это ей, моей дочери, но ведь она всего только женщина...

— Куда,— говорит она,— мы вдруг перебираться станем? Куда пойдем пристанища искать?

— Глупая! — отвечаю я.— Когда бог явился нашему праотцу Аврааму и сказал ему: «Пойди из земли твоей»,— Авраам не стал спрашивать куда. Бог сказал ему: «В страну, которую я укажу тебе...» А значит это — на все четыре стороны... Пойдем, куда глаза глядят, куда все идут. Что со всеми будет, то и со мной. А чем ты лучше твоей сестры-богачки Бейлки? Ей, видишь ли, пристало торчать сейчас со своим Педоцуром в Америке и «делать жизнь», а тебе почему не пристало? Слава богу, что у нас еще есть с чем с места трогаться. Кое-что осталось от прежнего, немножко от скотины, которую мы продали, за хату сколько-нибудь получим. А тут немножко, там немножко: глядишь — полна плошка. И то благо! Да если бы у нас даже ничего не было, все равно,— говорю,— нам лучше, чем Менделю Бейлису!

Словом, кое-как уговорил ее, чтоб не шибко упрямилась. Втолковал ей, что раз урядник пришел и бумагу принес, раз велят выезжать, то нельзя же поступать по-свински,— надо

уходить... А сам отправился на деревню улаживать дело с хатой. Прихожу к Ивану Поперило, к старосте то есть. Он хозяин крепкий, и хата моя давно ему приглянулась. Я не стал ему рассказывать, что, и как, и почему, а говорю прямо:

— Да будет тебе известно, Иван-сердце, что покидаю я вас...

— Что так? — спрашивает он.

— В город,— говорю,— переезжаю. Хочу быть среди своих. Человек я не молодой, а вдруг, упаси бог, помирать придется...

— Что ж ты,— отвечает он,— здесь помереть не можешь? Кто тебе не дает.

— Спасибо,— говорю,— тебе здесь сподручнее помирать. А я лучше к своим пойду... Покупай, Иване, мою хату с огородом. Другому не продал бы, а тебе продам.

— А сколько ты за хату хочешь?

— А сколько дашь?

Словом, пошел разговор: «Сколько хочешь?» — «Сколько дашь?» — стали торговаться, по рукам ударять, десяткой больше, десяткой меньше,— покуда не столковались насчет цены. Взял я у него приличный задаток, чтобы без отказу было, и так вот за один день распродал за бесценок, разумеется, все свое имущество, все в золото превратил и пошел нанимать подводу, чтобы забрать оставшуюся рухлядь.

Однако послушайте, что с Тевье приключиться может! Вы только внимательно слушайте, я вас долго не задержу, в двух словах передам.

Прихожу я перед отъездом домой, а дома ничего уже нет — разор! Стены голые и кажется, будто они слезами плачут. На полу — узлы, узлы, узлы! На припечке кошка сидит, как сирота, печальная, бедняжка,— меня даже за сердце взяло, слезы на глаза навернулись... Кабы не стыдился дочери, поплакал бы всласть... Что ни говорите, все-таки батьковщина!.. Вырос тут, маялся всю жизнь и вдруг, пожалуйте, изыди! Говорите что хотите, но это очень больно! Однако Тевье — не женщина, сдерживаю себя и эдаким веселым тоном кричу дочь:

— Поди-ка сюда, Цейтл, где ты там запропастилась?

Выходит она, Цейтл то есть, из соседней комнаты с красными глазами, с распухшим носом. «Эге, думаю, дочка моя опять наревелась, как баба в Судный день». С этими женщинами, доложу я вам,— сущая беда: чуть что — плачут! Дешевые у них слезы...

— Глупая! — говорю я.— Чего ты опять плачешь? Посуди сама, какая разница между нами и Менделем Бейлисом...

Но она и слушать не хочет.

— Отец,— говорит,— ты не знаешь, чего я плачу...

— Отлично,— говорю,— знаю! Почему бы мне не знать? Плачешь, потому что жаль с домом расставаться... Ведь ты здесь родилась, здесь выросла, ну, конечно, тебе больно! Поверь мне, не будь я Тевье, будь я другой человек, я бы и сам целовал эти голые стены и пустые полки... Я бы сам припал к этой земле... Мне, как и тебе, каждую пустяковину жаль. Глупенькая! Даже вот кошка, и та сиротой на припечке сидит. Бессловесное существо, животное, а ведь жаль ее, без хозяина остается...

— Положим,— говорит Цейтл,— есть еще кого пожалеть...

— Например?

— Например? Вот мы уезжаем и оставляем здесь одного человека, одинокого, как камень...

Не понимаю, о ком она говорит, и обращаюсь к ней:

— Что ты там болтаешь? О ком речь? Что за человек? Какой камень?

— Отец,— отвечает она,— я не болтаю, я знаю, что говорю. Я говорю о нашей Хаве...

Сказала она это и, клянусь вам, будто кипятком ошпарила меня или поленом по голове трахнула!

Накинулся я на нее и стал отчитывать:

— Что это вдруг ни с того ни с сего о Хаве? Ведь я сколько раз говорил, чтобы имя Хавы не упоминалось!

Думаете, она оробела? Ничуть. Дочери Тевье — с характером.

— Отец,— говорит она,— ты только не сердись. Вспомни лучше, не ты ли сам сколько раз говорил: в Писании, мол, сказано, что человек должен жалеть человека, как отец свое дитя...

Слыхали? Я, конечно, вскипел и отчитал ее по заслугам:

— О жалости ты мне говоришь? А где была ее жалость, когда я, как собака, валялся в ногах у попа, будь он проклят, умолял его, а она, быть может, была тут же рядом в комнате и, может быть, слыхала каждое слово? Или где была ее жалость, когда покойная мать, царство ей небесное, лежала вот здесь на полу, накрытая черным? Где она была тогда? А ночи,— говорю,— которые я провел без сна? А боль, которая по сей день сжимает мне сердце, когда я вспоминаю, что она с нами сделала, на кого нас променяла! Где же,— говорю,— ее жалость ко мне?

И так у меня защемило сердце, что не могу больше ни слова вымолвить... Думаете, однако, что дочь Тевье не нашлась?

— Ведь ты,— сказала она,— сам говоришь, что человеку, который кается, даже сам бог прощает...

— Кается? — говорю я.— Слишком поздно! Веточка, что однажды оторвалась от дерева, должна засохнуть! Лист, что упал, должен сгнить. И больше не говори со мной об этом! Хватит!

Увидав, что словами ничего не поделаешь, что Тевье уговорами не возьмешь, она припала ко мне, стала руки целовать и говорить:

— Отец! Пусть я умру здесь на месте, если ты и на этот раз оттолкнешь ее, как тогда в лесу, когда она к тебе руки протягивала, а ты поворотил лошадь и удрал!

— Да что ты,— говорю,— пристала ко мне? Что за напасть на мою голову?

Но она не отпускает, держит меня за руки и твердит свое:

— Умереть мне на месте, если ты не простишь ее. Ведь она дочь тебе, так же как и я!

— Чего ты от меня хочешь? — говорю.— Не дочь она мне больше! Она давно уже умерла!..

— Нет! — говорит Цейтл.— Она не умерла, она снова твоя дочь, как и была, потому что с первой же минуты, как только она узнала, что нас выселяют, она себе сказала, что выселяют всех нас, то есть и ее тоже. Где мы,— так мне сама Хава сказала,— там и она будет. Наше изгнание — ее изгнание... И вот даже ее узел здесь...

Говорит она все это торопясь, одним духом, слова сказать не дает и показывает мне какой-то узел, в красный платок завязанный... И тут же открывает дверь во вторую комнату и зовет: «Хава!» Честное слово! И что мне сказать вам, дорогой друг? Совсем так, как у вас в книжках описывается: показывается в дверях Хава — здоровая, крепкая, красивая, как была, ничуть не изменилась, только лицо немного озабоченное и глаза чуть подернуты. А голову держит прямо, с гордостью. Останавливается на минутку, смотрит на меня, а я на нее. Потом простирает ко мне обе руки и только одно слово может выговорить, одно-единственное слово и едва слышно:

— Отец!

Извините меня! Как вспомню, так и сейчас слезы глаза застилают. Не думайте, однако, что Тевье, упаси бог, расплакался, слезам волю дал, глупости! То есть, конечно, то, что я тогда пережил и перечувствовал, это само собой... Ведь и вы

отец и знаете не меньше моего, что значит жалость к детям... Дитя, как бы оно ни провинилось,— если прямо в душу к вам влезает и говорит: «Отец!» — ну, скажите, можно его оттолкнуть? Попробуйте!.. Но, с другой стороны, голова идет кругом, и на память приходит все то зло, что она мне причинила... Федька Галаган... Поп... Мои слезы... Смерть Голды... Нет! Скажите сами, разве можно все это забыть? Как забыть? Но опять-таки родное дитя... «Как отец жалеет детей своих». Разве можно человеку быть таким жестоким, если сам бог говорит о себе, что он — бог всепрощающий! А тем более, если она раскаивается, хочет вернуться к своему отцу и к своему богу? Что скажете вы, пане Шолом-Алейхем? Ведь вы человек, который сочиняет книжки и миру советы подает,— скажите сами, как должен был поступить Тевье? Обнять ее как родную, расцеловать и сказать, как в молитве сказано: «Простил по слову твоему» — иди ко мне, ты мое дитя? Или поворотить дышло, как я сделал когда-то, и сказать ей: «Иди подобру-поздорову, откуда пришла»? Нет, серьезно, допустим, что вы на моем месте... Скажите мне откровенно, как доброму другу: как бы вы поступили? А если не можете сказать сейчас, даю вам срок, подумайте... А пока что надо идти: внуки ждут не дождутся деда. Надо вам сказать, что внуки еще в тысячу раз дороже, чем дети. «Чада и чада чад твоих!» Шутка ли!

Будьте здоровы и не взыщите, что заморочил вам голову. Зато будет у вас, о чем писать. А если даст бог, мы еще, наверное, встретимся. До свидания! Всего хорошего!

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НОЖИК

Рассказ для детей

1

Не укради.
Седьмая заповедь

Я расскажу вам, дети, историю одного ножика. Историю эту я не выдумал, а пережил в моем детстве.

Ничто в мире не привлекало меня так, как ножик; ничего не хотел я иметь так страстно, как ножик, хоть какой-нибудь, но собственный ножик. Пусть он будет спрятан у меня в кармане, чтобы в любую минуту я мог достать его и резать им, что захочу,— пусть весь мир знает о том, что у меня есть ножик!

Недавно начал я ходить в хедер, к учителю Иоселю Дардаки. В это время я имел уже ножик, то есть вещицу, смахивающую на ножик. Я смастерил ее сам. Я выдрал гусиные перья из постели, обрубил их с одного конца, другой конец закруглил и вообразил, что это в самом деле ножик и что им можно резать.

— Откуда эти перья, черт бы тебя драл? Что за манера возиться с перьями? — закашливаясь, спрашивал меня отец, больной человек, с желтым, высохшим лицом.— Ему бы только игрушки! Перья! Кхе-кхе...

— Пусть дитя играет,— возражала ему мать, маленькая женщина в шелковом платке,— не огорчайся понапрасну, почему ты так любишь портить себе здоровье?

Потом, когда я начал зубрить Пятикнижие, у меня был уже другой ножик, тоже собственного изделия. Я выдернул железку из маминого кринолина и искусно вогнал эту железку в деревянный обрубок.

Потом я долго точил о горшок свой ножик и, конечно, порезал себе при этом все пальцы.

— Полюбуйся, как он растерзал себя, любимчик твой! — вскричал отец и сжал мне пальцы так, что кости хрустнули,— золотое дитя! Кхе-кхе...

— Горе мне,— сказала мать, вырвала у меня ножик и бросила его в печь.— Конец этим несчастьям, нет больше ножика!

Но вскоре я добыл новый ножик, на этот раз совсем настоящий: круглый, пузатенький, с деревянным, горбатым черенком, который открывался и закрывался. Вы хотите знать, как он мне достался? Я сколотил капитал из моих завтраков и купил его у Шлоймки за семь грошей наличными, а три гроша он поверил мне в кредит.

О, боже милостивый, как я любил этот нож! Приходишь, бывало, домой из хедера, избитый, голодный, сонный, высеченный (учитель Мотя, по прозвищу «Ангел Смерти», усадил меня недавно за Талмуд. Мы подошли к знаменитому пункту: «Бык, который боднул корову», а раз бык боднул корову, то я получаю оплеуху),— придешь домой, вытащишь ножик из-под черного шкафа (он хранился там потому, что в хедер нельзя было его носить, а дома никто не должен был знать, что у меня есть нож), приласкаешь его, порежешь им бумагу, покрошишь соломинку и только после этого начинаешь делить свою порцию хлеба на малюсенькие кусочки, натыкаешь хлеб на острие ножика и кладешь его наконец в рот.

Перед сном я чистил его, гладил, мыл, вытаскивал точильный камушек, найденный мною на чердаке, и тихонько принимался точить мой ножик...

Отец, бывало, сидит тут же в ермолке; он склонился над Талмудом, читает и кашляет, кашляет и читает.

Мать на кухне, она возится с тестом, а я все точу ножик, все точу...

Отец вдруг спохватывается, как будто со сна:

— Кто это там пищит? Кто это работает? Что ты затеял, бездельник?

Он подкрадывается ко мне, наклоняется над точильным камушком, крутит мне ухо и закашливается.

— Ножики?! Кхе-кхе! — бормочет отец и выхватывает ножик вместе с точильным камушком.— Лодырь какой! Возьми-ка лучше книгу, почитай...

Я плачу навзрыд; отец хлещет меня по спине и щекам, мать с засученными рукавами выбегает из кухни и кричит:

— Тише, тише, что здесь такое? За что ты бьешь его, бог с тобой! Чем дитя провинилось?

— Ножики? — вопит отец и кашляет.— Подумаешь, какой барин! Вот так парень на мою голову, кхе-кхе-кхе!.. Пусть лучше книгу читает! Молодому человеку восемь лет, а он возится с ножиками, бездельник этакий!.. Ни с того ни с сего — ножики!

Боже, чем согрешил перед ним мой ножик, за что такая ненависть к нему?

Отца моего я помню всегда больным, желтым, разъяренным, сердитым на весь мир. Из-за малости, из-за пустяка он приходит в бешенство и грозит всеми карами. Одна мать спасает меня, она всегда на моей стороне.

Ножик мой забросили,— забросили так далеко, что я восемь дней подряд искал его и не мог нигде найти. Я горько оплакивал его, мой горбатый милый ножик, и мне становилось очень грустно, когда я, сидя в хедере, вспоминал, что вот приду я домой с опухшими щеками, с красными ушами, надранными Мотей — Ангелом Смерти — за то, что «бык забодал корову»,— приду домой — и нет мне радости. Я чувствовал себя осиротевшим, никто, никто не видел слез моих, проливаемых украдкой, ночью на кровати. Наплакавшись вволю, я вытирал глаза, засыпал и утром снова отправлялся в хедер, а там бык уже вовсю бодает корову, Мотя — Ангел Смерти — раздает пощечины, и после этого отцовское хрипение, кашель, проклятья,— не было у меня вольной минуты, ничто меня не радовало, один я остался, один на всем свете...

2

С тех пор прошел год, а может — полтора. Я начал забывать мой горбатый ножик. Но судьба, видно, судила мне пострадать из-за ножиков. На беду на мою, появился у меня новый ножик, редкостный ножик с двумя лезвиями, дорогими стальными лезвиями, острыми, как мечи, и с белым костяным черенком. Поверьте на слово, это был настоящий «завьяловский» ножик. Как попал ко мне, к бедняку, этот аристократ? Это очень трогательная история. Слушайте внимательно!

У нас на квартире остановился однажды подрядчик, господин Герц Эрценгерц.

Какими глазами должен был я смотреть на бритого этого немца, на господина Герца Эрценгерца? Говорил он хоть и по-еврейски, ходил с непокрытой головой, брил бороду, не носил пейсов, а сюртук его был, извините за выражение, вполовину короче, чем надо. Можно ли было удержаться, скажите мне, и не

помереть со смеху, когда этот еврейский немец или немецкий еврей заговаривал со мной по-еврейски и начинал «акать» на забавном своем еврейском языке.

— Ну-с, милейший мальчик, какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи,— прыскал я в кулак.

— Ответь мне, милый мальчик, какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи! Болок!.. — разражался я хохотом и убегал.

Происходило это в самом начале знакомства, когда я не освоился еще с нашим гостем, зато потом, узнав поближе господина Герца Эрценгерца (он пробыл у нас больше года), я полюбил его и перестал досадовать на то, что он не молится и ест, не умывая рук. Вначале я не мог сообразить, как это он не подавится пищей в час обеда, почему это не лезут волосы из непокрытой его головы? Учитель мой, Мотя — Ангел Смерти — утверждал, что немец этот — не немец, а оборотень. Безбожный еврей превратился в немца, потом он станет волком, коровой, лошадью и даже гусыней...

Неужели и гусыней?

«Ха-ха-ха! Веселое дело»,— думал я и очень соболезновал нашему немцу. Одного только не мог я понять: почему отец, считавшийся порядочнейшим, набожным человеком, всегда уступал ему место и все другие люди, бывавшие у нас, тоже относились к нему с почтением.

— Мир вам, господин Герц Эрценгерц. С добрым утром, господин Герц Эрценгерц. Садитесь, пожалуйста, господин Герц Эрценгерц.

Я не утерпел и спросил об этом отца, но он оттолкнул меня:

— Пошел вон, не твое дело! Незачем тут путаться, бездельник. Возьми лучше Талмуд, почитай!

Опять Талмуд! О боже всемогущий!

Я бегу в гостиную, прокрадываюсь в уголок и прислушиваюсь: все разговаривают между собой, а господин Герц Эрценгерц хохочет во все горло и курит толстую сигару, которая пахнет удивительно... Внезапно отец подходит ко мне и награждает пощечиной.

— Опять ты здесь, лодырь этакий! Что из тебя выйдет, бездельник! Горе мне, что это у меня растет?..

Господин Герц Эрценгерц пытается защитить меня.

— Не трогайте мальчика, не трогайте его!

Но это не помогает. Отец гонит меня. Я достаю Талмуд, но

разве из него вычитаешь что-нибудь путное? Я брожу из одной комнаты в другую, пока не попадаю в чистую горницу, где живет сам господин Герц Эрценгерц. Как хорошо, как светло здесь! Горят лампы и блестят зеркала. На столе большая серебряная чернильница и маленькие перья, человечки и лошадки, игрушки, костяшки, камушки и... ножик. Ох, какой ножик! Кабы мне такой ножик! Каких вещей я не нарезал бы только! Попробуем, острый ли? Да, он сразу перерубил волосок! Ох, какой ножик!..

Еще мгновенье — и ножик у меня в руках. Я озираюсь и пробую подержать ножик у себя в кармане хотя бы минуту. Рука дрожит... Сердце стучит сильно, я слышу, как оно отбивает «тик-тик-тик»... Кто-то идет, заскрипели чьи-то сапоги... Это он, господин Герц Эрценгерц! Куда деваться? Пусть ножик побудет у меня, я положу его потом обратно. А сейчас надо уходить, уходить отсюда, бежать, бежать!..

. . . .

Ужинать мне невмоготу. Мама щупает мою голову. Отец свирепо смотрит на меня и гонит спать... Спать,— разве тут уснешь? Я ни жив ни мертв. Как быть с ножиком? Как положить его обратно?

3

— Поди-ка сюда, сокровище мое,— обращается ко мне утром отец,— не видал ли ты ножика?

Сперва я оцепенел. Мне показалось, что он все знает, я чуть было не проболтался: ножик? Вот он...

Странная штука подкатывает к моему горлу, я отвечаю с дрожью в голосе:

— Что? Какой ножик?

— «Что? Какой ножик?» — передразнивает меня отец.— Что — какой ножик! Золотой ножик! Гостя нашего ножик! Бездельник ты этакий, лодырь, свинопас!

— Что ты цепляешься к ребенку? — вмешивается мама.— Бедное дите ничего не знает, а ты ему морочишь голову... ножик, ножик...

— Как это он не знает,— говорит отец сердито.— Целое утро все кричат: «Ножик, ножик, ножик»,— весь дом перевернули, а он спрашивает: «Что? Какой ножик?» Ладно, иди умываться, бездельник этакий!..

Благодарение богу, они не стали меня обыскивать. Но что делать дальше? Надо спрятать ножик в надежное место... Куда

бы спрятать его? Пойду на чердак! Я вынимаю ножик из кармана, впихиваю его в голенище... За завтраком я чуть не подавился, глотаю и не знаю, что глотаю, пища застревает в глотке.

— Какого дьявола ты так спешишь? — спрашивает отец.

— Тороплюсь в хедер,— отвечаю я и чувствую, что пожар зажигается на моих щеках.

— Трудолюбец какой!.. Что вы скажете о нашем праведнике? — ворчит отец и злобно смотрит на меня.

Кое-как я доел, совершил благословение.

— Почему же ты не бежишь в хедер, ангел мой? — спрашивает отец.

— Куда ты гонишь его? — говорит мама.— Пусть дите посидит минутку.

А я уже на чердаке... Зарытый в гору овощей лежит мой белый нож, лежит и молчит.

— Зачем ты шляешься по чердакам? — кричит отец.— Лодырь, подлец, мошенник...

— Я ищу кое-что...— отвечаю я и шатаюсь с перепугу.

— Кое-что? Что значит «кое-что»? С чем едят «кое-что»?

— Тал... муд... старый Талмуд...

— Книгу? На чердаке? Ах ты мерзавец! Слезай оттуда, сию минуту слезай!.. Банщик, свинопас, чучело!..

Меня не тревожит отцовский гнев, я боюсь — как бы не нашли мой ножик. Шутка ли! Взбредет им полезть на чердак развешивать там белье. Нет, надо забрать его и спрятать в верное место... Каждый взгляд отцовских глаз говорит мне, что он все знает; я трепещу: вот он схватит меня и спросит, где я спрятал ножик нашего гостя... Местечко-то я нашел уже, золотое местечко. Я выкопал ямку у стены, положил туда ножик, прикрыл соломой для приметы...

Вернувшись из хедера, я бегу сейчас же во двор, выкапываю, чуть дыша, ножик, но мне не дают даже наглядеться на него, отцовский голос гремит уже:

— Где ты там? Почему ты не идешь молиться? Извозчик, водовоз!..

Но сколько бы ни ругал меня и ни мучил отец, сколько бы ни бил и ни сек меня ребе, все это меркнет перед счастьем, которое я испытывал, встречаясь с единственным милым другом, с моим ножиком. Но счастье это — увы! — окутано было тревогой, омрачено страхом и недобрыми мыслями.

4

Летний день. Садится солнце, воздух остывает и холодеет, трава благоухает, квакают лягушки, и клочья облаков проносятся мимо, надвигаются на луну, заглатывают ее. Белая, серебряная луна прячется и показывается снова,— она то плывет, то стоит на одном месте.

Отец сидит на траве; он в халате, одна рука у него за пазухой, другой он шарит по траве, смотрит в вызвездившееся небо и кашляет. Лицо его, озаренное луной, мертво, оно серебрится. Он сидит на том месте, где похоронен мой ножик, и не знает, что скрыто под ним! Если бы он знал! Что сталось бы со мной?

«Ага,— думаю я про себя,— ты забросил мой горбатый ножик, а теперь у меня есть в сто раз лучший. Ты сидишь на нем и не знаешь! Ой, тату, тату...»

— Что ты выпучил на меня глаза, как к-кот? — кричит отец.— Сидишь сложа руки, как градоначальник? Не можешь работу себе найти? А вечернюю молитву ты уже прочитал? Чтоб ты не сгорел, бездельник этакий! Чтоб черт тебя не унес, извозчик!

Когда он говорит: «Чтоб ты не сгорел», или: «Чтоб черт тебя не унес»,— это значит, что он не так уж сердит; это значит — он в хорошем расположении духа. И в самом деле, можно ли быть дурно настроенным в такую чудную летнюю ночь, когда каждого тянет из дому на воздух, на мягкий промытый воздух. Все — на улице. Отец, мама, маленькие дети, валяющиеся в песке и выискивающие камушки. Господин Герц Эрценгерц прогуливается по двору без шапки, курит сигару, поет немецкую песенку, смотрит на меня и хохочет... Он смеется, видно, над тем, как отец цукает меня... А я смеюсь над ними над всеми. Сейчас они улягутся спать, а я побегу к заветной стене (я сплю во дворе, на земле,— в комнате слишком жарко), раскопаю ножик и натешусь им досыта.

Все спят, кругом тишина. Я осторожно приподымаюсь, прокрадываюсь на четвереньках во двор, прокрадываюсь не дыша, как кошка. Ночь застыла, воздух чист. Я медленно подползаю к месту, где похоронен ножик, вытаскиваю его, разглядываю при лунном свете. Он блестит, он переливается, как алмаз. Я подымаю глаза и вижу, что луна уставилась на меня, на мой ножик... Что она там увидела? Я поворачиваюсь спиной — луна продолжает смотреть. Я закрываю ножик рубахой — луна все не отводит глаз. Она-то знает, что это за ножик, где я взял его... Взял?.. Да, я украл его!

В первый раз за все время, что ножик у меня, мне приходит в голову это страшное слово. Украл? Стало быть, я вор! Просто вор? А в Библии, в десяти заповедях, написано большими буквами:

НЕ УКРАДИ!

Не воруй, а я украл! Что же они сделают со мной в аду? Отсекут руку — руку, которая украла,— побьют железными прутьями, изжарят, испекут... Вечно, вечно буду я тлеть и дымиться... Отдать надо ножик, мне не нужен украденный ножик! Завтра же положу его обратно.

Так решаю я, прячу нож за пазуху, но он жжет, терзает меня. Нет, надо схоронить его в земле до завтра. А сверху смотрит на меня луна. Почему она смотрит? Что нужно ей — соглядатаю?.. Я уползаю потихоньку в дом, взбираюсь на постель, хочу уснуть и не могу. Ворочаюсь с боку на бок и не могу уснуть... Только на рассвете пришел ко мне сон, и мне приснилась луна, железные прутья и ножики. Рано утром я вскочил, помолился, поспешно поел и побежал в хедер.

— Отчего ты так торопишься? — кричит отец.— Черти тебя гонят? Не потеряешь, если позже пойдешь. Помолись, как полагается, и не глотай слов! Еще успеешь безбожничать, нечестивая душа! Кхе-кхе...

5

— Почему так поздно? Посмотри-ка сюда! — обращается ко мне ребе и показывает пальцами на моего товарища, Берла Рыжего, который стоит в уголку с опущенной головой.— Ты видишь его, бездельник? Знай же, что с сегодняшнего дня и на все времена имя его не Берл Рыжий, как он назывался до сих пор, нет! Теперь его зовут Береле-вор! Кричите же дети: «Береле во-о-ор! Береле во-о-ор!»

Учитель распевает эти слова, ученики подхватывают за ним хором:

— Бе-ре-ле во-о-ор! Бе-ре-ле во-о-ор!

Я каменею, мороз пробегает у меня по коже. Что все это значит?..

— Почему ты молчишь, лодырь? — обращается ко мне учитель и лепит мне пощечину.— Почему ты молчишь, балбес? Ты слышишь, как все поют, пой с ними: «Береле во-о-ор! Береле во-о-ор!»

У меня ходуном ходят руки и ноги, зуб на зуб не попадает, но я подпеваю:

— Береле во-о-ор!

— Громче, балбес ты этакий,— подгоняет учитель,— громче, громче!

Я пою вместе со всеми хором на разные голоса:

— Береле во-о-ор! Береле во-о-ор!

— Тишшше! — вскрикивает внезапно учитель и ударяет кулаком по столу.— Тише! Сейчас мы устроим суд. Ну-ка, Береле-вор,— сладко поет учитель,— подойди-ка сюда, дитя мое, подойди скорее, дружок! Скажи-ка, дорогой мальчик, как тебя зовут?

— Береле.

— И еще как?

— Береле... Береле... вор!

— Вот так, милый мальчик, вот так, дружок.— И учитель опять поет: — А теперь, Береле, будь мне жив и здоров, потрудись, миленький, спусти штанишки, вот так, поскорее, вот так, Береле, родной мой!..

Берл стоит голый, в чем мать родила. Кровинки нет в его лице, он оцепенел.

Глаза опущены. Он умер, он мертв!..

Ребе вызывает самого взрослого ученика и продолжает распевать:

— Ну-ка, Гершеле Великан, выйди-ка из-за стола. Сюда, ко мне, поживей, вот так. Расскажи-ка нам с начала до конца историю о том, как Береле сделался вором. Слушайте, дети, слушайте внимательно!

И Гершеле Великан рассказывает историю о том, как Берл позарился на кружку Меера Чудотворца, в которую его мать опускала каждую пятницу вечером копейку-две; как Берл пробрался к этой кружке, смазал смолой соломинку и вытащил соломинкой все копейки из этой кружки, как мама его, Злата Безголосая, спохватилась, вскрыла кружку, а там лежит одна только соломинка, смазанная смолой; и Берл после трепки сознался, что он целый год таскал копейки, на которые по воскресеньям покупал два пряника и один рожок, и как...

— Теперь, детки, судите его, как я вас учил. Пусть каждый произнесет приговор над вором, таскавшим копейки из благотворительной кружки. Гершеле Молокосос, скажи ты первый, что надо сделать с вором, таскающим копейки из благотворительной кружки.

Ребе склоняет голову набок, закрывает глаза и подставляет Гершеле Молокососу правое ухо. Гершеле Молокосос отвечает громко, полным голосом:

— Вор, который таскает копейки из кружки, заслуживает, чтобы его истязали до тех пор, пока не покажется кровь...

— Мойшеле, как поступить с вором, который таскает копейки из благотворительной кружки?

— Вор,— говорит Мойшеле плачущим голосом,— вор, который таскает копейки из благотворительной кружки, заслуживает, чтобы его связали, двое должны сесть ему на голову, двое на ноги, и сечь его солеными розгами...

— Топеле Тутарету! Что надо сделать с вором, который таскает копейки из кружки?

Копеле Кукареку, по прозванию «Топеле Тутарету», мальчик, не выговаривающий «к» и «г», вытирает носик и пискливо произносит приговор:

— Вор, тоторый тастает топейти из тружти, заслуживает, чтобы все мальчити подошли т нему близто и стазали прямо в лицо: «Вор! Вор! Вор!»

Весь хедер разражается хохотом. Учитель поджимает толстым пальцем горло, подобно кантору, и вызывает меня с таким напевом, с каким вызывают к венцу жениха:

— Да грядет жених Шолом сын Нохима! Скажи-ка мне, Шлоймка, дорогой мой, твой приговор. Что надо сделать с вором, который таскает копейки из благотворительной кружки?..

Я хочу ответить, но язык не повинуется мне. Меня трясет лихорадка, горло сжимают тиски. Холодный пот покрывает меня с головы до пят. В ушах свистит. Я не вижу ни учителя, ни Берла-вора, ни товарищей своих. Я вижу только ножики, ножики без конца и краю, белые, раскрывающиеся ножики со многими лезвиями, а за дверью висит луна, улыбается и смотрит на меня человечьими глазами... Голова кружится, хедер вертится вместе со столом, с книгами, с товарищами, с луной, которая висит за дверью. Ноги мои подкашиваются, еще мгновение — и я упаду. Но я сдерживаю себя изо всех сил и стараюсь не упасть...

Вечером я возвращаюсь домой, щеки мои пылают, в ушах шумит. Кто-то болтает о чем-то, не знаю о чем. Отец с кем-то спорит, горячится, он хочет меня бить. Мать защищает меня, распускает фартук, как курица распускает крылья, когда она высиживает яйца, попробуйте ее тронуть... Я ничего не слышу и не хочу слушать. Я жду, когда наступит ночь, тогда я покончу

с ножиком. Что делать с ним? Сознаться и вернуть? Тогда меня ожидает участь Берла. Подбросить? А если меня поймают? Надо выбросить, и делу конец, только бы избавиться. Но куда забросить его, чтобы не нашли? В воду, бросить в воду, в колодец, у нас на дворе...

План этот мне нравится, больше думать нечего. Я хватаю ножик, бегу к колодцу, мне кажется, что в руках у меня не ножик, а гаденыш какой-то, зараза, от которой поскорее надо избавиться. Но до чего жаль! И какой чудный ножик! И вот мне кажется, что в руках у меня живое существо. Сердце сжимается от боли. Сколько трудов и горя стоило мне это бедное существо! Я собираю всю мою волю, разжимаю руку — плюх!..— вода плеснула, и нету ножика! С минуту стою я у колодца и прислушиваюсь,— ничего не слышно, избавился! А сердце щемит: «Как же так? Милый ножик!..»

Я пробираюсь к моей постели, луна крадется за мною следом, и мне кажется, что она видела все. Я слышу голос издалека: «И все-таки ты вор! Бейте его, ловите! Он вор! Вор!»

Я проскальзываю в дом и укладываюсь спать. Мне снится, что я бегу, бегу в воздухе с ножиком в руках, а луна несется за мной и приговаривает: «Ловите его! Бейте его! Он — вор! Во-ор!!!»

6

Долгий сон! Тяжелое сновидение! Глухо шумит голова. Все залито кровавым светом. Огненные, горящие прутья вонзаются в мое тело, я барахтаюсь в крови, меня обступили змеи и удавы, пасти у них раскрыты, они хотят меня проглотить... Я слышу грозное дуновенье, это трубит рог: «ту-ту!». Трубный глас все громче: «ту-ту!». Кто-то наклонился надо мной и распевает: «Секите его! Секите его! Секите его! Это вор!!!» И сам я кричу: «Уберите от меня луну! Отдайте ей ножик! Чего она хочет от Береле? Он не виноват, это я вор! Вор!»

Что было дальше, не помню...

. . . .

Я открываю один глаз, потом другой. Где я? Кажется, в постели? Что я здесь делаю? Кто сидит на скамейке у кровати? Это ты, мама? Она не слышит... Мама! Ма-ма! Что это значит? Мне кажется, я кричу полным голосом. Тише — она плачет? Я вижу отца, у него желтое, болезненное лицо. Он склонился над книгой и неслышно бормочет, кашляет, вздыхает, кряхтит... Неужели я умер? Умер? И сразу я начинаю чувствовать, как про-

ясняются мои глаза, голова не болит больше, все члены выпрямляются, одно ухо заныло, в другом звенит: «дзинннь!». Я кашляю: апчхи!

— На здоровье, живи долго! Хорошая примета, благодарение тебе, боженька!

— Благодарите всевышнего! Он чихает! Чихай на здоровье!

— Великий бог! Наш мальчик будет жить!

— Пусть поскорее позовут Минцу, жену резника. Она хорошо знает заговор от дурного глаза.

— Доктора надо позвать, доктора!

— Зачем доктора? Глупости! «Он» у нас — доктор, всевышний лечит лучше доктора!

— Разойдитесь, как здесь жарко! Разойдитесь, ради бога!

— Видите? Я сказал вам, его нужно смазать воском? Кто прав?

Вокруг меня толкутся люди, каждый подходит и щупает мне голову. Они колдуют, шепчут заговоры, лижут мне лоб, потом плюют. В меня вливают кипящий бульон, мне суют в рот ложку с вареньем. Они сторожат меня как зеницу ока, кормят бульонами и курицами и не оставляют меня ни на одну минуту. Мама сидит подле меня и каждый раз рассказывает всю историю сначала: как меня подняли с земли чуть не мертвого; как я лежал две недели в горячечном бреду, квакал, как лягушка, бредил о розгах и ножиках... Все думали, что я умираю... И вдруг я семь раз чихнул, восстал из мертвых.

— Боже мой,— плачет мать,— сколько слез мы пролили, я и отец твой, пока бог не смилостивился над нами... Мы чуть не потеряли тебя, бедное дитя мое, согрешили мы перед тобой, и все из-за чего? Из-за мальчика какого-то, из-за Берла — воришки какого-то, которого высек учитель. Когда ты вернулся из хедера, ты был уже как мертвый, о, горе мне! Во всем виноват разбойник-учитель твой, грабитель, чтоб ему тошно сделалось... Нет, мальчик мой, теперь, когда ты встанешь с божьей помощью с постели, ты не пойдешь к этому учителю. Мы отдадим тебя к другому, не такому мучителю и душегубу, как этот Ангел Смерти, да сотрется имя его и память о нем!

Новость эта очень мне нравится. Я обнимаю маму и целую ее.

— Милая, милая мама!

Отец подходит ко мне, кладет свою бледную, холодную руку мне на лоб и говорит тихо, без всякого гнева:

— Ай, как ты испугал нас, бездельник этакий!

Подходит и еврейский немец или немецкий еврей, господин Герц Эрценгерц, с сигарой в зубах, он наклоняет свою бритую физиономию, хлопает меня по щеке и говорит по-немецки:

— Гут, гут! Выздоравливай! Гут!..

А через две недели после выздоровления отец говорит мне:

— Ну, сыночек, отправляйся в хедер и не думай больше о ножиках и прочих глупостях... Пора стать взрослым человеком. Через три года — ты совершеннолетний, дай бог прожить сто двадцать лет...

Он провожает меня к новому учителю, реб Хаиму Коту. В первый раз слышу я от сердитого своего отца добрые, нежные слова. Я забываю сразу все, все его проклятия и пощечины, словно ничего этого и не было. Кабы не было стыдно, я бы обнял его и расцеловал, но — хи-хи-хи — где это видано — целовать отца? Мама снабжает меня на дорогу целым яблоком и двумя грошами, немец дарит мне две копейки, он щиплет меня за щеку и говорит по-немецки:

— Солидный юноша! Гут, гут!..

Я беру с собой Талмуд и отправляюсь в хедер. На сердце у меня легко, голова ясна, мысли прозрачны, свежи, честны, и сам я — как новорожденный. Солнце кланяется мне теплыми своими лучами. Ветерок прокрадывается в мои волосы, птицы пищат: «ти-ти-ти!». Меня носит по воздуху, мне хочется летать, прыгать, танцевать — как хорошо быть честным!..

Я крепко-крепко прижимаю к груди Талмуд и мчусь в хедер. И даю клятву над Талмудом, что никогда, никогда не трону ничего чужого, никогда, никогда не украду, никогда ничего не утаю, я буду честным, всегда, всегда...

ЧАСЫ

Рассказ

Часы пробили тринадцать...

Не подумайте, что я шучу. Я рассказываю вам вполне правдивую историю, которая случилась в Касриловке, у нас в доме. Я сам был свидетелем этой истории.

У нас были стенные часы, старые-престарые часы; отец получил их в наследство от деда, дед — от прадеда, и так они переходили от поколения к поколению с незапамятных времен. Право, жаль, что часы — не живое существо, что у них нет языка и они не умеют говорить: они бы многое могли порассказать... Наши часы пользовались славой первых часов в городе — «часы реб Нохима!..» Они так хорошо шли, так верно показывали время, что люди ставили по ним свои часы. Представьте себе, даже Лейбуш-философ, настоящий мудрец, который определял заход солнца по самому солнцу и знал наизусть календарь, даже он говорил (я слышал из его собственных уст), что хотя наши часы... по сравнению с его часами сущая ерунда, понюшки табаку не стоят, но по сравнению с другими наши часы все-таки часы... А уж если Лейбуш-философ сказал, то на его слова можно было положиться, потому что каждую субботу под вечер, между предвечерней и вечерней молитвами, он не ленился подниматься в женское отделение синагоги или на вершину холма возле старой синагоги и затаив дыхание следить за солнцем, ловить мгновение, когда оно сядет. В одной руке держал он часы, в другой — календарь, и, когда солнце спускалось за Касриловку, реб Лейбуш говорил: «Поймал!» Часто он заходил к нам сверять часы. Войдя, он никогда не скажет «добрый вечер», а только взглянет на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь, потом еще раз на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь — и нет его.

Лишь однажды реб Лейбуш, придя к нам сверить часы, поднял крик:

— Нохим! Скорей! Где ты?

Отец прибежал ни жив ни мертв.

— А?! Что случилось, реб Лейбуш?

— Злодей, ты еще спрашиваешь!..— отвечает реб Лейбуш и сует прямо в лицо отцу свои карманные часы, потом показывает ему на наши стенные часы и кричит голосом человека, которому наступили на мозоль: — Нохим! Что ты молчишь? Они ведь спешат на полторы минуты, на полторы минуты! Им место на свалке!!! — Последнее слово он произносит с такой силой, как в молитве слова «бог един».

Отцу досадно: как это его часам место на свалке!

— Откуда известно, реб Лейбуш, что мои часы спешат на полторы минуты? А может, наоборот, может, ваши часы *отстают* на полторы минуты? Чего только не бывает!

Реб Лейбуш смотрит на него такими глазами, как если бы отец сказал, что первое число будет продолжаться три дня подряд, или что канун пасхи выпал в июле, или еще тому подобные нелепости, от которых, если принять их всерьез, может хватить удар. Реб Лейбуш не отвечает ни слова. Он глубоко вздыхает, поворачивается, не простившись, хлопает дверью — и нет его! Но это еще ничего; весь город знает: реб Лейбуш — человек, которому не нравится ни одна вещь на свете. О лучшем канторе он скажет, что это кочан капусты; умнейшего человека назовет скотиной в ослином обличье; счастливое бракосочетание сравнит с кривой кочергой и о самом справедливом высказывании отзовется, что оно идет к делу, как пятое колесо к телеге. Такой уж человек реб Лейбуш-философ.

Но возвращаюсь к нашим часам. Это, говорю я вам, были часы что надо! Их бой был слышен за три дома: бом!.. бом!.. бом!.. Почти половина города жила по нашим часам. По ним читали и полуночную и утреннюю молитвы; в пятницу по ним пекли халу, солили мясо, благословляли субботние свечи, а к исходу субботы — зажигали свет: по нашим часам делали все, что имело отношение к еврейским обрядам. Словом, наши часы были городскими часами. Служили они, сердечные, очень, очень верно, никогда не останавливались даже на сутки, ни разу за всю свою жизнь не побывали в руках у часового мастера. Отец возился с ними сам (он достаточно разбирался в тонкостях часового ремесла). Каждый раз накануне пасхи отец осторожно снимал часы со стены, прочищал пером, извлекая из их внутренностей паутину с запутавшимися в ней мухами, которых пауки заманили туда и свернули им головки, и мертвых тараканов,

заблудившихся там и погибших насильственной смертью... Протерев и прочистив часы, отец вешал их обратно на стену и сиял. Вернее, они вместе сияли: часы сияли оттого, что их причесали и нарядили, а отец сиял оттого, что часы сияли.

И был день, и случилась история. Однажды, в хорошую ясную погоду, мы все сидели за столом и завтракали. У меня была привычка: когда бьют часы, считать удары, и непременно вслух:

— Раз... два... три... семь... одиннадцать... двенадцать... тринадцать... Ой, тринадцать!

— Тринадцать? — смеется отец.— А ты мастер считать, ничего не скажешь. Разве бывает тринадцать часов?

— Тринадцать, чтоб мне провалиться, тринадцать!

— Тринадцать оплеух ты от меня получишь,— говорит отец, рассердившись.— Не смей повторять такие глупости. Часы, невежда, не могут бить тринадцать!

— Знаешь, Нохим,— вмешивается мать.— Боюсь, что ребенок прав. Мне кажется, и я насчитала тринадцать!

— Вот так новости! — говорит отец.

Похоже было на то, что и он начинает сомневаться. После завтрака он подходит к часам, взбирается на табурет, трогает какое-то колесико, и часы снова бьют. Мы все втроем считаем и киваем головой в такт ударам: «Раз... два... три... семь... девять... двенадцать... тринадцать».

— Тринадцать?..— Отец смотрит на нас, как человек, который вдруг услышал, что стена заговорила, неожиданно обрела дар речи.

Он еще немного ковыряется в колесике, и часы еще раз бьют тринадцать. Отец, бледный, со вздохом слезает с табурета, останавливается посреди комнаты, смотрит на потолок и, жуя кончик бороды, рассуждает сам с собой:

— Бьют тринадцать... Что же это такое? Что бы это могло означать? Будь они испорчены, они бы остановились. В чем же тут дело? Надо понимать так: спружинка...

— Что ты мудришь: спружинка, спружинка? — говорит ему мать.— Берут часы и исправляют. Ты ведь мастер!..

— Что ж? Может, ты и права...— отвечает ей отец, снимает часы со стены и начинает возиться с ними. Он трудится, потеет над часами целый день и наконец вешает их на место — слава богу, идут как следует. А когда приходит полночь, мы все стоим около часов и насчитываем двенадцать! Отец ликует:

— Слышали? Больше не бьют тринадцать? Если я говорю — спружинка, значит, можете мне поверить!..

— Я давно знаю, что ты на все руки мастер,— говорит мать.— Только одного я не понимаю: почему они хрипят? Они как будто никогда так не хрипели.

— Это тебе кажется! — говорит отец, прислушиваясь, как хрипят часы, когда приходит время бить. Словно старик, которого донимает кашель: хил-хил-хил-хил-тр-р-рр... и только после этого: бом!.. бом!.. бом!.. Но и самый «бом» уже не тот, что прежде: прежний «бом» был веселый «бом», жизнерадостный, а теперь закралась в него какая-то грусть, какая-то тревога, и звучит он, как голос старого, отслужившего свое кантора, когда он в Судный день читает последнюю молитву.

Хрип все усиливается, бой становится все тише и печальнее, а отец все мрачнеет. Ему больно, он молча страдает, он вне себя от того, что ничем не может помочь. Кажется, вот-вот — и часы совсем станут. Маятник начинает проделывать какие-то диковинные номера: он замедляет ход, отклоняясь в сторону, словно цепляется за что-то, как старик, который волочит ногу. Видно, часы собираются остановиться навсегда, навеки. К счастью, отец своевременно спохватывается, что часы тут ни сном ни духом не виноваты,— виноваты гири: мало груза! И отец привешивает к гирям все, что подвертывается под руку (весом в несколько фунтов). И снова часы наши как песня. И отец снова весел — совсем другой человек!

Однако радость наша продолжается недолго. Часы опять начинают лениться, и маятник опять вытворяет странные штуки: в одну сторону отклоняется медленно, в другую — быстро; от скрежета часов скребет на душе, ноет сердце. Больно видеть, как умирают часы. И отец, глядя на них, тает, исходит жалостью.

Как хороший, опытный врач, который жертвует собой ради больного, напрягает все силы, применяет все средства, чтобы исцелить его, не дать ему умереть, так отец всеми способами спасал старые часы.

— Мало груза — мало жизни! — говорит отец и привешивает к гирям одну тяжесть за другой: сначала железную сковородку, потом медную кружку, за ней железный утюжок, мешочек песку, несколько кирпичей — часы набираются сил и идут, с трудом, с мучениями, но идут, пока не случилось однажды ночью большое несчастье.

Это было зимой, в пятницу вечером. Мы покончили с субботним ужином: вкусной наперченной рыбой с хреном, горячим бульоном с лапшой, цимесом из слив — и совершили благословение по всем правилам. Субботние свечи еще не догорели. Служанка достала из печи свежие, теплые, хорошо высушенные

семечки. Вошла тетя Ента, смуглая, молодая, но беззубая женщина, которую бросил муж. Вот уже несколько лет, как он уехал в Америку.

— Доброй субботы,— говорит тетя Ента,— я так и знала, что у вас свежие семечки; беда только, грызть нечем, чтоб ему, моему злодею, жить столько лет, сколько у меня зубов во рту... Как тебе нравится, Малка, что творилось сегодня с рыбой? Я спрашиваю его, рыбака Менаше: «Почему у вас такая дороговизна?» Но тут подскакивает богачка Соре-Перл: «Дайте мне, дайте мне скорее, свешайте мне вот эту щучку!» — «Куда вы так спешите? — говорю я.— Бог с вами. Река не сгорит. И Менаше свою рыбу не повезет обратно; у богачей,— говорю я,— деньги, видно, дешевы, а ум дорог...» И что же вы думаете? Она как откроет ротик: «Беднякам, говорит, здесь нечего делать... Бедняку, говорит, и хотеться не должно...» Ну, видели вы такую негодницу! Давно ли она стояла со своей мамашей у столика на базаре и продавала ленты? Точно так же, как Песл Пейси-Аврома хвастает своей дочерью: мол, вышла за стрищенского богача, который взял ее как есть, без гроша за душой... Еврейское счастье,— говорят, она мучается день и ночь, все с детьми не может поладить... Известно, разве приятно быть мачехой? Упаси бог! Вот, к примеру, Хавеле. Кажется, что с нее возьмешь? Вы бы посмотрели, как ей достается от его детей! С утра до ночи крики, шум, гам, дым коромыслом!

Свечи оплывают. Тени ползут по стене, взбираются все выше и выше. Семечки трещат, люди мирно беседуют, рассказывают истории о том о сем, просто так, каждая история сама по себе. Больше всех говорит тетя Ента.

— Постойте! — восклицает она.— Недавно случилась история еще почище. Недалеко от Ямполя, версты за три, разбойники напали на корчму, целую семью вырезали, даже малое дитя в люльке — и то не пощадили. Уцелела только служанка, которая спала в кухне на печи; услышав, что кричат, она, служанка эта, спрыгнула с печи, посмотрела в дверную щель, и увидела она, служанка эта, на полу зарезанных хозяина и хозяйку, а крови — река целая... Не долго думая, служанка выскочила в окно и побежала прямо в город с криком: «Спасите, люди добрые, караул, караул, караул!!!»

Тетя Ента кричит «караул!», и вдруг мы слышим: «трах-тарарах-бом-динь-динь-бом!». Увлеченные историей, мы подумали, что разбойники напали на наш дом и выпалили из десяти пушек или же крыша обвалилась, землетрясение началось, а то еще какое-нибудь несчастье случилось. Мы замерли. Минуту



«Не везет!»

молча смотрели друг на друга, а потом все разом как закричим: «Караул! Караул! Караул!» В общей сумятице мать прижимает меня к себе.

— Дитя мое! Да минет тебя зло! О, горе мне!

— А? Что? Что с ним? Что случилось? — кричит отец.

— Ничего, ничего, тише, тише! — кричит тетя Ента, размахивая руками.

Из кухни вбегает испуганная служанка.

— Кто кричит? Что такое? Горит? Где горит?

— Кто горит? Что горит? Чтоб ты сгорела, девка этакая, чтоб тебе сгореть и испепелиться! — кричит на служанку тетя Ента.— Мало было, так ее черти принесли... Вот тебе на, горит! Чтоб тебе провалиться! Слыхали вы такое! Какого беса вы кричите! Чего всполошились? Проклятие моим врагам! Вот так перепуг, было бы с чего! Стука испугались! Смех берет! Бог с вами, это часы, часы упали, теперь вам ясно? Навешали на часы всякой всячины целых три пуда, вот они и упали. Что тут удивительного? Если бы столько повесили, простите, на человека, он бы тоже поступил не лучше. Слыхали такое?

Лишь теперь мы приходим в себя. Один за другим поднимаемся из-за стола, подходим к часам и смотрим, как лежат они, бедные, лицом вниз, сломанные, разбитые на мелкие части, искалеченные навсегда.

— Конец часам,— произносит побледневший отец, низко опустив голову, словно перед ним лежит покойник. Отец ломает руки, и слезы стоят у него в глазах. Я смотрю на отца, и мне тоже хочется плакать.

— Что ты, успокойся, зачем принимать это близко к сердцу? — говорит ему мать.— Наверно, так суждено, начертано на небесах, чтобы сегодня, в эту минуту, пришел им конец, как, простите, человеку, да помилует меня бог! Пусть будут они искуплением за меня, за тебя, за наших детей, за всех наших родных и близких и за всех евреев на свете. Аминь...

Всю ночь после этого мне снились часы. Я видел: наши старые часы лежат на полу, одетые в белый саван. Я видел: часы идут, но вместо маятника болтается из стороны в сторону длинный язык, человеческий язык. И часы не бьют, а стонут, и каждый их стон отзывается во мне болью... А на циферблате, где я привык видеть двенадцать, вижу я вдруг цифру тринадцать. Именно тринадцать. Можете мне поверить на слово.

НЕ ВЕЗЕТ!

Менахем-Мендл — сват

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ С ДОРОГИ — СВОЕЙ ЖЕНЕ ШЕЙНЕ-ШЕЙНДЛ В КАСРИЛОВКУ

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что не везет мне, не везет, хоть разорвись! Как только я получил присланные тобою несколько рублей, я прежде всего расплатился в заезжем доме и сразу стал собираться в дорогу.

Чего больше? Я уже в вагоне сидел, взял билет до Фастова, а из Фастова рассчитывал ехать прямо домой, то есть в Касриловку.

Но велик наш бог! Послушай, какую штуку сыграл он со мной... Я как-то писал тебе, что в заезжем доме вместе со мной находился человек, занимающийся сватовством, по имени Лейбе Лебельский. Он все хвастал, что держит у себя за пазухой весь мир и зарабатывает груды золота. Между тем понадобилось ему съездить куда-то на день-другой по крупному брачному делу. Он, говорит, получил «строчную депешу» — не медлить. И вот он оставил хозяйке узел до своего возвращения — вернется, тогда и расплатится с ней. Уехал и — только его и видели.

Когда я собрался в дорогу, хозяйка мне говорит:

— Ведь вы же едете по той линии. Возьмите с собой узел

этого рохли Лебельского... Может быть, встретите где-нибудь, отдадите ему его «шпаргалы»...

— На что мне чужие узлы? — говорю я.

— Не бойтесь! — отвечает она.— Это не деньги,— бумажки какие-то, листки...

И действительно. Уже сидя в вагоне, я из любопытства развязал узел. Заглянул,— а там целый клад! Письма от сватов, списки родителей женихов и невест и всякие другие бумажки. Среди этих бумажек — длинный список женихов и невест на древнееврейском языке. Передаю тебе его слово в слово:

Овруч. Хава, дочь богача реб Лейви Тонкиног... Знатное происхождение... Жена его, Мириам-Гитл... тоже из знатных... Высокого роста... Красавица... Четыре тысячи... Хочет «окончившего»...

Балта. Файтл, сын богача реб Иосифа Гитлмахера... Просвещенец... Сионист... Окончил бухгалтерию... От призыва свободен... Молится ежедневно... Хочет денег...

Глухов. Ефим Балясный... Аптекарь... Бритый... Расположен к евреям... Дает деньги в рост... Хочет брюнетку...

Дубно. Лея, дочь богача реб Меера Коржик... Родовитость... Низенького роста... Рыжая... Говорит по-французски... Может дать деньги...

Гайсин. Липе Браш... Шурин Ици Коймена... Советник на сахарном заводе реб Залмана Радомысльского... Единственный сын... Красавец... Хитрющие глаза... Хочет золотое дно...

Винница. Хаим Гехт... Холостяк, играет на бирже... Разъезжает в фаэтоне... Крупно зарабатывает... Стоит десять тысяч...

Житомир. Богач Шлойме-Залман Таратайка... Две девицы... Красавицы — прима... Младшая рябоватая... Рояль, немецкий, французский... Хотят образованного... Диплом не обязательно.

Хмельник. Богачиха Бася Флекл... Вдова, ростовщица... Удивительная умница... Хочет талмудиста... Можно без денег...

Тальное. Раввин реб Авремеле Файнцик... Вдовец... Хáсид... Знаток Библии... Ищет вдову с делом...

Ямполь. Мойше-Нисл Кимбак... Богач-выскочка... Жена его, госпожа Бейля-Лея... До зарезу хотят просватать... Сколько бы другая сторона ни дала, обязуется дать в два раза больше. Вознаграждение свату немедленно при помолвке... Подарок свату экстра от мамаши...

Касриловка. Реб Носон Корах... Богат как Крез... Ужасная свинья... Сын ученого Иойсеф-Ицхока... Ученая голова... Тургенев и Дарвин... Тихий омут... Ищет бедную сиротку... Красавицу

из красавиц... Не хвор выслать на расходы... Не подмажешь, не поедешь...

Липовец. Сын богача Лейбуша Капоте... Заядлый ха́сид... Сдает экзамены за восемь классов... Живет в Одессе... Играет на скрипке и знает древнееврейский... Красавец...

Межбиж. Реб Шимшон-Шепсл Шимелиш... Вдовец... Имеет двух дочерей и три тысячи... Но должен прежде сам жениться... Хочет также девицу...

Немиров. Смицик Бернард Мойсеевич... Из настоящих Смициков... Разведен... самостоятельный... Мастерски играет в преферанс... Вхож к начальству... Достоин девицы с пятью тысячами, либо разводки с десятью тысячами...

Смела. Переле Дама... Разводка с десятью тысячами... Требуется просвещенный комиссионер...

Игнатовка. Домовладелец реб Менде Лопата... Старик за семьдесят... Но держится крепко... Похоронил трех жен... Хочет девицу...

Прилуки. Гимназист Фрайтик... Сын богача Михеля Фрайтика... Носит дома шапку... Не пишет по субботам... Хочет двадцать тысяч, ни копейки меньше... Сам дает половину этой суммы...

Царицын. Опись богача вдовца Фишера... Живет в Астрахани... Обещал два выигрышных билета первого займа... Кроме вознаграждения свату... Нужно написать еще раз... Просил выслать двадцать пять рублей на расходы... По крайней мере — марки...

Кременчуг. Просвещенный и заклятый сионист... Сотни комиссий... Умница... Шахматист... Талмуд — наизусть... Знаток... Говорун... Остряк... Прекрасный почерк... Слыхал, что он уже женился...

Радомысль. Внук реб Нафтоли Радомысльского... Приверженец Садагоры... Сахарный завод... Золотое дно... Наполовину хасид, наполовину немец — короткие пейсы и длинный сюртук... Знаток языков и Талмуда... Имеет дядю-миллионера и зачетную квитанцию. Ищет красавицу из хорошей семьи, двести тысяч, рояль, порядочность, французский язык, парик, умение танцевать, набожность, барышню без кавалеров...

Шпола. Богач и мудрец Эля Чернобыльский... Живет в Егупце... Маклер по сахару и имениям... Компаньон знаменитого богача Бабишке... Единственная дочь... Хочет звездочку с неба... Знатока большего, чем доктор... Свободного от призыва... Красивого, как Иосиф Прекрасный, умного, как Соломон Мудрый... Певца и музыканта на всех инструментах... Семью без

пятнышка... Денег без счету... Все качества... Чуть ли не Бродского... Телеграфировал в Радомысль...

Томашполь. Пять девиц... Три красавицы и две — образины... И каждой — либо доктора с кабинетом и обстановкой, либо адвоката с практикой в Егупце... Писал много раз...

И вот сижу я в вагоне с узлом этого Лебельского, читаю еще и еще раз список женихов и невест и думаю: «Господи боже мой! Сколько профессий создал всевышний для своих евреев! Вот, к примеру, сватовство это самое. Что, казалось бы, может быть солиднее, приличнее, лучше и легче этого? Работы почти никакой! Нужно иметь только клепку в голове, уметь прикидывать, кто кому под стать. Например: Овруч имеет девицу-красавицу с четырьмя тысячами, желающую окончившего, а в Балте живет сионист, ученый, который окончил бухгалтерию и ищет в браке деньги,— чем не пара? Или, скажем, в Тальном сидит вдовец, который ищет вдову с торговлей. Отчего бы ему не потрудиться съездить в Хмельник к вдове Басе Флекл, которая ищет вдовца, хотя бы без денег, но обязательно ученого? Словом, дорогая моя, нужно только уметь строить комбинации. Если бы я родился шадхеном, я поставил бы это дело совсем по-другому. Я бы списался со всеми сватами на свете, собрал бы все их списки и засел бы сочетать,— предварительно, конечно, на бумаге,— этого жениха с этой невестой, ту невесту с тем женихом... А в каждом городе у меня был бы компаньон,— сколько городов, столько и компаньонов. А заработки делил бы по справедливости: половина — мне, половина — тебе. Возможно, что имело бы смысл открыть контору в Егупце или в Одессе, содержать людей, которые сидели бы, писали письма и посылали телеграммы,— а я сам ничего не делаю, сижу, составляю пары и строю комбинации».

Такого рода мысли и фантазии мелькают у меня в голове. Между тем приносит нелегкая в вагон какого-то пассажира, заросшего с головы до пят; тащит за собой мешок, сопит, как гусь, и обращается ко мне по-особому вежливо, совсем не так, как водится.

— Молодой человек! — говорит он.— Не будете ли вы так любезны потревожить свою особу и чуть потесниться, дабы такой человек, как я, к примеру, мог иметь честь примоститься на минутку рядышком с вами?

— Почему же нет? Пожалуйста! С удовольствием! — отвечаю я, освобождаю для него место и спрашиваю больше приличия ради: — Из каких будете мест?

— Откуда явился то есть? Из Кореца,— отвечает он.— Имя мое Ошер, а зовут меня реб Ошер-шадхен. Я уже,— говорит,— потихоньку да полегоньку, с божьей помощью, почти сорок лет этим делом занимаюсь.

— Вот как? — говорю я.— Значит, вы тоже сват?

— Итак,— отвечает он,— я должен толковать ваши слова в том смысле, что уж вы-то наверное сват. Значит, свой брат. В таком случае вам по закону полагается приветствие.

Так заявляет этот самый сват, сует мне огромную, мягкую, волосатую руку и спрашивает, тоже, очевидно, из вежливости:

— Ваше имя?

— Менахем-Мендл...

— Знакомое имя,— говорит он,— слыхал как-то, не помню где. Послушайте,— продолжает он,— реб Менахем-Мендл, что я вам скажу. Уж ежели стряслась такая беда, то есть я хочу сказать, уж ежели господь бог по мудрости своей великой так судил, чтобы мы, два свата, столкнулись в одном месте, то, может быть, возможно, чтобы мы тут же, сидя с вами в вагоне, что-нибудь наладили?

— А именно? — спрашиваю я.— Что бы мы могли наладить?

— Может быть,— говорит он,— у вас найдется охотник на хорошее вино в скверной посудине?

— А именно? Что вы называете хорошим вином в скверной посудине?

— Разрешите,— отвечает он.— Сейчас объясню, и тогда вам все станет ясно. Но... Вы должны вникнуть в это дело. У меня имеется в Ярмолинце товарец... Отборный, прямо-таки редкость... Зовут его реб Ицикл Ташрац. Что касается происхождения, то об этом и говорить не приходится. Дальше некуда! Мало того что он сам знатного рода,— она, жена его, еще более родовита, чем он. Беда только в том, что за свою родовитость этот Ташрац хочет получить наличными. Сколько бы он ни дал, ему хочется, чтобы другая сторона дала в два раза больше...

— Позвольте,— говорю я,— мне кажется, есть как раз то, что вам требуется.

Хватаюсь за свой узел, достаю памятную книжку Лейбе Лебельского, отыскиваю Ямполь и показываю:

— Вот он тот, кого вы ищете! Прочтите — увидите: «Мойше-Нисл Кимбак... Богач-выскочка... До зарезу хотят просватать... Сколько бы другая сторона ни дала, обязуется дать в два раза больше...» Как раз то, что вам нужно!

Услыхав такие речи и узнав, что этот Мойше-Нисл Кимбак

вдобавок обещает вознаграждение сватам сразу же при помолвке и, кроме того, еще специальный подарок от мамаши,— мой реб Ошер вскочил с места, схватил меня за руку и говорит:

— Поздравляю вас, реб Менахем-Мендл! Мы сделали дело! Я заметил у вас в корзинке, если не ошибаюсь, яичные коржики, чай, сахар и прочую дребедень, может быть, не мешало бы нам пока что перекусить, а когда мы, с божьей помощью, доберемся благополучно до Фастова, вы потрудитесь сбегать за кипятком,— я видел, у вас есть чайник,— выпьем по стаканчику чаю, а на станции, надо полагать, и винца достанем, пятидесятисемиградусной, тогда выпьем заодно за здоровье моего ярмолинецкого аристократа и вашего ямпольского богача, которому так не терпится просватать, и пускай будет в добрый и счастливый час!

— Аминь! — отвечаю.— Вашими устами да мед пить! — Но не так скоро дело делается, как сказка сказывается...

— Разрешите,— перебивает он меня,— вы не знаете, реб Менахем-Мендл, с кем дело имеете. Я не мальчик! Вы изволите разговаривать с мировым шадхеном по имени реб Ошер, у которого волос на голове меньше, чем устроенных им браков. Дай бог нам обоим столько сотен, сколько пар у меня уже развелись, снова поженились и снова развелись... Стоит мне только заглянуть в список, я сразу нащупаю, пойдет дело или не пойдет. Ваш Мойше-Нисл, насколько я понимаю, не без изъяна. В самом деле, давайте разберем, отчего ему так приспичило? И по какому случаю так горячится мамаша и даже обещает подарок свату от себя? Видимо, где-то копошится червячок. То есть яблочко, очевидно, с червоточиной...

— Каков же,— говорю,— будет ваш совет?

— Совет,— отвечает он,— самый простой: мы оба должны немедленно разъехаться в разные стороны. Я в Ярмолинец — к моему знатному Ицику Ташрацу, а вы — в Ямполь, к вашему Мойше-Нислу Кимбаку. Но... работать нам придется изо всех сил. Вы, с вашей стороны, должны будете настаивать, чтобы ваше червивое яблочко дало как можно больше, а я, со своей стороны, конечно, постараюсь, чтобы мой Ташрац дал действительно половину, как обещал... Потому что мало ли что взбредет в голову человеку, торгующему своим происхождением?

Как видишь, дорогая моя, началось как будто с пустяков, с шутки, а кончилось настоящим делом. Пока то да се, мы приехали в Фастов. По приезде в Фастов мы прежде всего напились чаю, закусили честь честью и стали серьезно обсуждать наше дело. Сначала, по правде сказать, мне от всей этой истории было не по себе: какой я сват? И какое отношение я имею к чу-

жим спискам? Ведь это же, если хочешь,— прямой грабеж! Человек, скажем, уронил кошелек с деньгами, а я поднял... Но, с другой стороны, что особенного случилось? Одно из двух: если выгорит,— поделимся! Ведь я же не разбойник с большой дороги,— мне чужого не надо. Словом, выходит, что никакой несправедливости во всем этом нет, и мы порешили двинуться в путь — он в Ярмолинец, я — в Ямполь. Сговорились мы так: сразу же по приезде на место я прежде всего должен выведать, в чем тут дело, почему этому Мойше-Нислу Кимбаку так не терпится просватать. А когда я осмотрю дом и самый «предмет» мне понравится, я должен дать телеграмму реб Ошеру в Ярмолинец: «Так, мол, и так», а он мне ответит телеграммой: «Так, мол, и так»,— и тогда мы съедемся, вероятно, в Жмеринке на смотрины, и, если пара подходящая, сватовство состоится. «Главное,— говорит он мне,— вы, реб Менахем-Мендл, должны не жалеть расходов, давать депеши, потому что при сватовстве депеша — самое важное... Родителей жениха и невесты,— говорит он,— при виде депеши черт за душу хватает...»

Когда дело дошло до расставания и надо было покупать билеты, оказалось, что моему мировому шадхену реб Ошеру не хватает на дорогу. Он, говорит, израсходовался до последней копейки на депеши и телеграммы. «Дай вам бог,— говорит он,— зарабатывать ежемесячно столько, во сколько мне в неделю обходятся депеши и телеграммы!» Понимаешь? Вот она, какая профессия! Словом, поезд дожидаться не станет, пришлось мне выложить несколько рублей,— не расстраивать же дела из-за расходов! Мы обменялись адресами, очень тепло распрощались и разъехались — он в Ярмолинец, а я — в Ямполь.

Приехал в Ямполь и перво-наперво стал выведывать:

— Кто такой Мойше-Нисл Кимбак?

— Дай бог всем евреям жить не хуже! — отвечают мне.

— Много у него детей?

— Много детей бывает у нищих... А богач имеет одно только дитя.

— Какое дитя?

— Дочь,— говорят.

— Какова она из себя?

— Из нее можно сделать двух...

— А приданого он много дает?

— Сколько бы ни давал,— отвечают,— он не хвор дать в два раза больше.

Хочу нащупать, в чем дело? Но щупай тут, щупай там —

ничего не нащупаешь. Тогда я надел субботний кафтан и отправился прямо к этому Кимбаку.

Ну, описать тебе дом я просто не в состоянии. Богатый дом, полная чаша, а люди — брильянты! Когда я сказал, кто я такой и зачем приехал, меня приняли по-царски, угостили сладким чаем с печеньем и лимонным вареньем, поставили на стол бутылку хорошей вишневки. Он, Мойше-Нисл то есть, мне ужасно понравился: приветливый такой, душевный человек, можно сказать, без желчи. Да и она, Бейля-Лея то есть, понравилась мне с первого взгляда. Дородная женщина, с двойным подбородком, тихая, скромная. Оба они стали выпытывать у меня, кто другая сторона, хорош ли у них сын и что он умеет? Что мне было сказать, когда я и сам не знаю? Но человек с головой на плечах находит выход из положения.

— Давайте,— говорю я им,— покончим сначала с одной стороной, а потом будем толковать о другой. Во-первых, я хотел бы знать точно, сколько вы приданого даете? А во-вторых, я хотел бы повидать вашу дочь.

Услыхав такие речи, он, Мойше-Нисл то есть, обращается к жене, Бейле-Лее то есть:

— Где ж это Сонечка? Позови-ка ее.

— Сонечка одевается,— отвечает ему жена, подымается с места и уходит в соседнюю комнату, а мы с ним, с Мойше-Нислом то есть, остаемся одни. Выпили по рюмочке вишневки, закусили лимонным вареньем и беседуем. О чем? Я и сам не знаю,— так, вообще, о всякой всячине.

— Давно вы уже занимаетесь своим делом? — спрашивает он и наливает мне рюмку вишневки.

— С самой женитьбы,— отвечаю я.— Мой тесть — сват, и отец у меня был сватом, и все мои братья занимаются тем же, чуть ли не вся наша семья,— говорю,— состоит из сватов...

Лгу на чем свет стоит, даже не поморщившись, и чувствую только, что лицо у меня пылает. Сам не знаю, откуда что взялось! Но что же мне было делать? Как твоя мать говорит: «Влез в болото,— полезай дальше...» Решил я про себя, как я уже говорил тебе, что если всевышний окажет мне милость и я обломаю это дело,— свою часть заработка, с божьей помощью, без всяких отговорок, поделить пополам с тем сватом, Лейбе Лебельским, который оставил в заезжем доме свой узелок с бумагами. Чем он виноват? Ведь, если судить по справедливости, то, может быть, все мое вознаграждение принадлежит ему, Лейбе Лебельскому то есть? Но — с другой стороны, а я с чем же останусь? Ведь я же, собственно говоря, во всей этой истории глав-

ный зачинщик. А труды мои совсем ничего не стоят?! И врать без зазрения совести ради другого я тоже как будто не нанимался. Да и кто знает, может быть, бог так судил, чтобы тот потерял, а я чтобы нашел и чтобы благодаря мне три человека заработали деньги?

Размышляю я таким образом, а в это время отворяются двери и входит мамаша, Бейля-Лея то есть, а следом за ней Сонечка, невеста то есть. Красивая, высокая, полная и солидная такая, вроде мамаши. «Ну, и рост и объем, не сглазить бы! — думаю я.— Не Сонечка, а целый «сонечник»!» Одета она, невеста, как-то странно: в длинный капот, пестрый такой, и выглядит она скорее замужней женщиной — не потому, что она стара на вид, а потому что уж очень широка! Надо было бы с ней кое о чем побеседовать, посмотреть, что за зверь такой, но он, отец то есть, слова сказать не дает. Говорит без остановки, так и сыплет. О чем, думаешь, говорит? О Ямполе. Что это за город! Город сплетников, завистников, клеветников, готовы человека в ложке утопить... Пустые разговоры.

Спасибо, мамаша, Бейля-Лея то есть, перебила и обратилась к мужу:

— Мойше-Нисл, может быть, хватит уже разговаривать? Пускай лучше Сонечка сыграет им на «фертипьяне»!

— Я ничего против не имею! — ответил ей Мойше-Нисл и подмигнул дочери.

Подходит она к «фертипьяну», усаживается, раскрывает большую книгу и начинает почем зря молотить пальцами. Тогда мамаша говорит ей:

— Сонечка, к чему тебе «тюды»? Сыграй им лучше «Ехал козак за Дунаем», что-нибудь из «Колдуньи» или «Субботнюю песню»...

— Пожалуйста, не мешай! — отвечает Сонечка и продолжает барабанить так быстро, что даже глаз не поспевает за пальцами, а мать смотрит на нее не отрываясь, будто хочет сказать: «Видали, какие пальцы?»

В самый разгар игры отец с матерью незаметно выскользнули из комнаты, и мы с невестой, с Сонечкой то есть, остались с глазу на глаз.

«Теперь, думаю, самое время потолковать с ней, узнать хотя бы, умеет ли она говорить». Но с чего начать? Хоть убей, не знаю! Поднимаюсь с места, подхожу, становлюсь у нее за спиной и говорю:

— Извините, Сонечка, что перебиваю вас посреди игры. Я хотел вас кое о чем спросить...

Она поворачивает ко мне лицо, смотрит сердито и спрашивает по-русски:

— Например?

— Например,— говорю,— я хотел спросить у вас, каковы ваши требования? То есть какого, к примеру, жениха вы хотели бы, чтобы вам дали?

— Видите,— отвечает она уже немного мягче и опустив глаза,— собственно, я хотела бы «окончившего», но я знаю, что это понапрасну. Поэтому я хотела бы, по крайней мере, чтобы он был образованный, потому что, хотя наш Ямполь считается фанатическим городом, мы все же получили русское образование. И хотя мы не посещаем учебных заведений, вы все же не найдете у нас ни одной барышни, которая не была бы знакома с Эмилем Золя, с Пушкиным и даже с Горьким...

Разговорилась моя красавица, Сонечка то есть, и пошла молоть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски, то есть больше по-русски, чем по-еврейски. В это время входит мамаша и отзывает невесту, словно хочет сказать: «Все хорошо в меру!» Входит отец, и мы снова усаживаемся с ним вдвоем и начинаем обсуждать: сколько он дает приданого, где бы съехаться на смотрины, когда справлять свадьбу и тому подобные подробности дела. Потом подымаюсь и хочу идти на станцию — дать телеграмму, но Мойше-Нисл берет меня за руку и говорит:

— Вы не пойдете, реб Менахем-Мендл! Вы прежде пообедаете с нами, вы, наверное, голодны.

Пошли руки мыть, сели за стол, выпили по рюмочке вишневки, а у него, у отца то есть, все время рот не закрывается: Ямполь, Ямполь и Ямполь...

— Вы не знаете,— говорит он,— что это за город! Город бездельников и сплетников! Если бы вы меня послушали, вы держались бы от них в стороне, не говорили бы с ними ни слова. Ничего не рассказывайте им — кто вы, откуда, что вы тут делаете... А моего имени даже не упоминайте, как будто вы меня и не знаете. Понимаете, реб Менахем-Мендл? Вы меня совсем не знаете!

Так он мне наказывает раз десять подряд. Я ухожу и даю телеграмму моему компаньону в Ярмолинец, как мы и сговорились. А пишу я ему очень ясно следующее:

«Товар осмотрел. Первый сорт. Шесть тысяч. Телеграфируйте, сколько напротив. Где съехаемся...»

На другой день от моего компаньона прибывает какой-то странный ответ:

«Упирался десять. Напротив половина шесть. Работайте набавке. Согласен Жмеринке. Товар прима. Телеграмируйте».

Бегу к своему Мойше-Нислу, показываю ему депешу и прошу разъяснить мне ее, потому что я ни слова не понимаю. Он прочитал депешу и говорит:

— Чудак! Чего вы тут не понимаете? Ведь это же яснее ясного. Он, понимаете ли, хочет, чтобы я дал десять, тогда он мне даст половину шести, то есть три тысячи. Напишите же ему, что он чересчур умен. Короче говоря: сколько бы он ни дал, даю в два раза больше. И еще пишите, чтоб не медлил, потому что найдется другой.

Я послушал его и дал компаньону такую депешу:

«Коротки слово. Сколько дает, кладу напротив два раза более. Не медливать. Подхватится другой».

В ответ получаю снова непонятную телеграмму:

«Согласен два раза менее выговором тысяча назад. Товар находка».

Снова бегу с депешей к моему Кимбаку. А он опять:

— Все ясно. Ваш компаньон говорит, что согласен дать ровно половину, но с условием, что получит тысячу обратно. Это значит: если я, к примеру, дам десять, то он должен был бы дать пять; но ему хочется оттянуть одну тысячу. Получится, значит, что я даю десять, а он — только четыре. Неглуп, что и говорить! Он хочет меня обдурить с головы до пят. Но я, знаете ли, купец и в делах кое-что понимаю. Я лучше дам ему вдвое больше того, что дает он, да еще накину тысячу. Иначе говоря, если он даст три — дам семь, даст четыре — дам девять, даст пять — дам одиннадцать. Раскусили? Так вот,— говорит,— идите сейчас же и дайте ему «строчную», чтоб он не тянул и пусть тоже ответит вам «строчной» о встрече, и дело с концом!

Бегу, даю своему Ошеру «строчную» депешу:

«Даст три — кладет семь. Даст четыре — кладет девять, даст пять — кладет одиннадцать. Не тянуть длинную скамейку. Строчите выехаем».

В ответ получаю «строчную» депешу — всего два слова:

«Выехаем. Выехайте».

Когда прибывает такая важная депеша? Конечно, ночью. И ты сама должна понять, что спать в эту ночь я уже больше не мог. Стал рассчитывать, сколько, примерно, наберется на мою долю, если, скажем, всевышний поможет, и я сосватаю весь список, который Лейбе Лебельский потерял? Что тут, в сущности,

невозможного, если бог захочет? Я твердо решил: как только, с божьей помощью, проведу это дело, заключить с Ошером постоянный союз. Человек он, судя по всему, предприимчивый, да и везет ему здорово. И, разумеется, Лейбе Лебельский тоже не будет обойден. Что я могу иметь против него? Он тоже бедняк, обремененный семьей...

Еле дождался утра, помолился и пошел к моим Кимбакам — депешу показывать. Те сразу велели подать кофе со сдобными булочками, и было решено, что в тот же день мы вчетвером выезжаем в Жмеринку. Но для того, чтобы Ямполю не показалось подозрительным, чего это мы едем вчетвером, мы устроили так: я выезжаю с поездом, который уходит раньше, а они — позже. А до их приезда я в Жмеринке присмотрю для них гостиницу получше и закажу приличный ужин.

Так оно и было. Приехал я в Жмеринку раньше всех, остановился в лучшей гостинице, собственно единственной в Жмеринке, под названием «Одесская гостиница». Познакомился первым долгом с хозяйкой,— очень славная женщина, гостеприимная такая. Спрашиваю:

— Что у вас можно покушать?

— А чего бы вы хотели?

— Рыба у вас есть?

— Можно купить.

— Ну, а бульон?

— Можно и бульон сварить.

— С чем? С лапшой или с рисом?

— Хотя бы с клецками.

— Ну, а скажем, к примеру, жареные утки?

— За деньги,— говорит,— можно и уток достать.

— Ну, а пить? — спрашиваю.

— А что вы пьете?

— Пиво есть?

— Почему нет?

— А вино?

— Были бы денежки!

— Так вот,— говорю я,— потрудитесь, дорогая моя, готовьте ужин не больше, не меньше, как на восемь персон.

— Откуда взялось восемь персон? — отвечает она.— Ведь вы только один?

— Странная женщина! — говорю я.— Какое вам дело? Вам говорят восемь, значит,— восемь.

Во время нашего разговора входит мой компаньон, реб

Ошер то есть, бросается ко мне на шею и начинает целовать меня и обнимать, как родной отец.

— Чуяло мое сердце,— говорит он,— что найду вас здесь, в «Одесской гостинице»! Тут есть что перекусить?

— Только что,— отвечаю,— я заказал хозяйке ужин на восемь персон.

— При чем тут ужин? — говорит он.— Ужин — ужином, но пока обе стороны выберутся и приедут, мы вовсе не обязаны поститься. Вы тут, я вижу, свой человек. Прикажите накрывать на стол, пусть нам подадут водочки и чего-нибудь мясного на закуску. Кушать хочется,— говорит,— до полусмерти!

И, не ожидая долго, реб Ошер направляется на кухню руки мыть, знакомится с хозяйкой, велит подавать, что можно, и мы садимся честь честью за стол, а реб Ошер, закусывая, рассказывает чудеса, как он стену пробивал, в лепешку расшибался, пока наконец ему удалось уломать своего аристократа дать эти три тысячи.

— Как это,— говорю я,— три тысячи? Ведь речь шла о четырех и не меньше?

— Разрешите,— отвечает он,— реб Менахем-Мендл! Я знаю, что делаю. Меня зовут реб Ошер! Надо вам знать,— говорит он,— что мой Ташрац вовсе ничего давать не хотел, потому что он знатного происхождения, а жена еще больше родовита. Он, говорит, если бы хотел породниться с кем попало, так ему бы еще доплатили. Словом, я достаточно потрудился, горы ворочал, и еле-еле с грехом пополам уговорил его дать, по крайней мере, две тысячи.

— Что значит,— говорю,— две тысячи? Ведь вы же только что говорили — три тысячи!

— Разрешите! — снова отвечает он.— Реб Менахем-Мендл, я шадхен более опытный, чем вы, и зовут меня реб Ошер! Пускай стороны съедутся, пускай жених с невестой свидятся, тогда все будет в порядке. Из-за какой-нибудь несчастной тысячи у меня сватовство не расстраивается! Меня, понимаете ли, зовут реб Ошер! Есть, правда, одна заковыка, которая меня тревожит...

— А именно? — спрашиваю.— Что вас тревожит?

— Меня тревожит призыв. Я уверил своего Ташраца, что хотя у вашего Мойше-Нисла совсем молодое дитя, кровь с молоком, но призыва он не боится... Сказал даже, что он уже покончил с призывом...

— Что вы такое болтаете, реб Ошер? — спрашиваю я своего компаньона.— Какой такой призыв? Откуда?

А он опять:

— Разрешите, реб Менахем-Мендл! Меня зовут реб Ошер!..

— Вы можете,— отвечаю я,— восемнадцать раз называться реб Ошер, и все же я не понимаю, о чем вы говорите! Что это вы лопочете: «Призыв — шмизыв...» Откуда у моего Мойше-Нисла взялся призыв? Женщины, по-вашему, тоже отбывают воинскую повинность?

— Что значит женщины? — говорит мне Ошер.— А где же сын вашего Мойше-Нисла?

— Откуда,— отвечаю,— у Мойше-Нисла возьмется сын, когда всего-то-навсего у него одна-единственная дочь? Од-на един-ствен-ная!

— Значит,— говорит он,— выходит, что и у вас девица? Позвольте, но ведь мы же говорили о женихе!

— Конечно, о женихе! Но я иначе и не думал, что женихова сторона — это вы!

— Из чего следует,— говорит он,— что женихова сторона — это я?

— А из чего следует,— отвечаю я,— что женихова сторона — это я?

— Почему вы не предупредили меня, что у вас девица?

— Ну, а вы предупредили меня, что у вас девица?

Тут он рассердился и говорит:

— Знаете, что я вам скажу, Менахем-Мендл? Вы такой же сват, как я раввин!

— А из вас,— отвечаю,— такой же сват, как из меня раввинша!

Слово за слово... Он мне: «Растяпа!» Я ему: «Лгун!» Он мне: «Рохля!» А я ему: «Обжора!» Он мне: «Менахем-Мендл!» Я ему: «Пьянчуга!» Это его, конечно, задело, он мне — пощечину, а я его — за бороду... Скандал — упаси бог!

Понимаешь? Столько расходов, и времени, и трудов... А позор-то какой! Все местечко сбежалось полюбоваться на шадхенов-ловкачей, которые сосватали двух девиц! Но Ошер этот самый — черт бы его побрал! — сразу же исчез, меня оставил одного рассчитываться с хозяйкой за ужин, который я заказал на восемь персон. Счастье, что мне удалось улизнуть вовремя, до того как родители обеих невест приехали в Жмеринку. Что там творилось с ними, я не знаю. Но представляю себе. Так вот, поди будь пророком, знай, что этот сват,— провались он сквозь землю! — такая пустельга, черт бы его побрал! Такая ветряная мельница! Говорит, разъезжает, носится, дает депеши, а в конце концов? Обе девицы! Раз навсегда, дорогая моя, не везет, хоть

живым в воду! И потому что я очень пришиблен, я пишу на сей раз кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам, по которым я сильно стосковался, тестю, и теще, и каждому в отдельности

твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Господь поражает, господь и исцеляет. Едучи из Жмеринки, я думал, что небо уже свалилось на меня. Было бы у меня на дорогу, я бы уже кое-как добрался до дому, в Касриловку. Но как я ни считал, выходило, что я обязательно застряну где-нибудь в пути, хоть ложись поперек рельсов. Но на то и бог! В вагоне знакомлюсь с каким-то чудаком, который штрафует людей от смерти. Он уговаривает меня, обещает золотые горы, лишь бы я стал агентом. Что такое агент и как штрафуют людей от смерти,— писать долго, а я уж и так хватил через край. Оставляю это до другого раза.

Тот же.

РЯБЧИК

Еврейская собака

1

Рябчик был небольшой, белой с черными пятнами, собакой, кроткого нрава. Он и не помышлял о том, что можно напасть на кого-либо со спины, оторвать полу или укусить в ляжку, как это делали другие собаки-задиры. Он был рад, когда его самого не трогали. А трогал его всякий кому не лень. Огреть Рябчика палкой, пнуть каблуком в бок, запустить камнем в голову, вылить на него ведро помоев составляло всеобщую забаву, считалось чуть ли не богоугодным делом.

Когда Рябчика били, он не пускался в объяснения с обидчиком, не отбрехивался, как это делают другие собаки, не показывал зубов; при каждом ударе он склонялся до самой земли, отчаянно визжа: ай-яй-яй! Потом, поджав хвост, удирал, забивался в какой-нибудь уголок и там, ловя мух, погружался в думы.

2

Откуда взялся Рябчик? Какова его родословная? На это трудно ответить. Возможно, что старый помещик оставил его во дворе. Возможно, Рябчик заблудился и, потеряв хозяина, пристал к новому месту, да так и остался у нас навсегда.

Случается, вы идете по улице, и за вами увязывается приблудная собачонка, не отступает от вас ни на шаг. «Что за напасть? — думаете вы и замахиваетесь на собачонку: — Пошла вон!» Собачонка останавливается, изгибается, как человек, ожидающий пощечины, и бежит за вами дальше. Вы склоняетесь к земле и, будто подняв камень, снова замахиваетесь на нее. Но и это не помогает. Вы останавливаетесь и смотрите на соба-

чонку; собачонка тоже останавливается и смотрит на вас; вы с собачонкой так долго смотрите друг другу в глаза, пока наконец не сплюнете и не отправитесь дальше в сопровождении той же собачонки. Вы выходите из себя, хватаете палку и со злостью напускаетесь на нее. Но собачонка и тут находит выход из положения: ложится на спину, задрав лапки, дрожит и смотрит вам прямо в глаза, как бы говоря: «Пожалуйста, хочешь бить меня, бей!..»

Вот такого рода собакой был Рябчик.

3

Рябчик не отличался жадностью. Золото увидел бы на дороге, и то бы ни тронул. Рябчик знал: все, что под столом, принадлежит ему, а дальше не суйся. Говорят, что в молодости и он был озорником. Даже попытался однажды тайком стащить гусиную лапку. Но тут случилась кухарка Брайна, женщина с черными усами. Не своим голосом закричала: «Айзик! Айзик!» Айзик прибежал на крик как раз в ту минуту, когда Рябчик пытался незаметно прошмыгнуть с гусиной лапкой во двор, и Айзик прищемил его дверьми так, что голова несчастного Рябчика осталась по одну, а хвост — по другую сторону дверей. И вот тогда-то и рассчитались с ним как следует: Айзик бил его по голове палкой, а Брайна колотила поленом, не переставая кричать: «Айзик! Айзик!»

Этот случай оставил у Рябчика след на всю жизнь: стоило подойти к нему вплотную и произнести слово «Айзик», как он пускался со всех ног бежать.

4

Больше всех донимала Рябчика Параська, та самая Параська, которая стирала у нас белье, мазала хату и доила корову.

Трудно сказать, чем Рябчик так досаждал Параське; Рябчик всегда казался ей лишним — стоило ему только попасться Параське на глаза, как в ней закипала злость: «Шоб тоби хвороба, собака невирна!..» И будто нарочно Рябчик вечно путался у нее в ногах.

Во время работы Параська издевалась над ним, как над злейшим врагом; когда стирала белье, то окатывала его ушатом ледяной воды. Такая баня была Рябчику не по душе, и после нее

он долго отряхивался. Когда Параська мазала хату, она норовила заляпать Рябчику морду белой глиной, и он потом чуть ли не целый час облизывался. И даже когда доила корову, Параська и то умудрялась запускать ему поленом в лапу. И Рябчик научился прыгать. Когда в него летело полено, он искусно, как чертенок, перескакивал через него.

Однажды угощение Параськи не пошло Рябчику впрок; она угодила ему поленом в переднюю лапку. Рябчик завизжал не своим голосом: ай-яй-яй-яй-яй-яй! На его крик сбежались со всего двора. Увидев столько людей, Рябчик начал жаловаться, показывая каждому свою подбитую лапу, как бы говоря: «Вот посмотрите, что она со мной сделала, эта Параська!..» Рябчик, видно, думал, что за него заступятся, что Параське голову снесут за такое злодейство.

Вместо этого во дворе поднялся смех; усатая Брайна выскочила из кухни с половником, провела обнаженной рукой по носу снизу вверх и сказала: «Перебили недотепе лапу? Так ему и надо!..» Сбежавшиеся ребята-озорники загикали и засвистели. А тут снова появилась Параська и в придачу окатила его кипятком из кувшина. Рябчик поднял крик еще пуще, завизжал еще сильней: ай-яй-яй-яй-яй-яй!.. Он подпрыгивал от боли, вертелся волчком и кусал свой собственный хвост, не переставая кричать истошным голосом, что еще больше развеселило мальчишек. Глядя на Рябчика, который плясал на трех ногах, они посулили ему новые беды, да еще отдубасили палками. Рябчик с визгом пустился бежать, кувыркаясь и катаясь по земле, а озорники преследовали его палками и камнями, улюлюкали, свистели, пока не прогнали далеко за город, по ту сторону мельницы.

5

Рябчик бежал с намерением не возвращаться в город до конца дней своих. Бежал он в обширный мир, куда глаза глядят. Бежал, бежал и прибежал в деревню. Увидели его деревенские собаки, обнюхали:

— Добро пожаловать! Откуда ты, собака? Что это за штука такая у тебя на спине? Шкура как будто выжжена по самой середине?

— И не спрашивайте! — с грустной миной отвечает им Рябчик.— Долго рассказывать, да скучно слушать. Нельзя ли у вас ночку скоротать?

— Сделайте одолжение! — отвечают ему деревенские собаки.— Земля велика, а поднебесье еще больше.

— А как у вас здесь с едой? — спрашивает Рябчик.— Чем вы утоляете голод, когда желудок требует своего?

— Да ничего, грешно жаловаться! — говорят деревенские собаки.— Помойки всюду есть, а мясо бог сотворил вместе с костями; не беда, пусть хозяева едят побольше мяса, а нам пусть достаются кости. Только бы, как говорится, набить утробу.

— Ну, а каковы здесь хозяева? — помахивая хвостом, спрашивает Рябчик, подобно чужеземцу, которому хочется поподробнее все разузнать, во все вникнуть.

— Хозяева как хозяева,— нехотя отвечают деревенские собаки.

— Ну, а Параська?

— Какая Параська?

— Параська,— отвечает Рябчик,— та самая Параська, которая стирает белье, мажет хату и доит корову. Вы разве не знаете Параську?

Деревенские собаки стоят и смотрят на Рябчика, как на помешанного. «О чем это он?» Они снова обнюхивают его и расходятся поодиночке, каждая на свою помойку.

6

«Вот счастливчики!» — думает Рябчик о деревенских собаках и растягивается на божьей земле, под божьим небом, чтобы немного вздремнуть. Но ему не спится: зудит ошпаренная шкура, нестерпимо болит и ноет спина. И мухи докучают, нет от них спасенья. Кроме того, урчит в животе; Рябчик не прочь бы закусить, да нечего. Придется потерпеть до утра. Еще не дает ему спать недавний разговор с деревенскими собаками: нет у них никаких Айзиков, которые прищемляют тебя дверьми, а потом колотят поленом; нет у них Парасек, которые ошпаривают кипятком; нет у них озорников, которые бросают в тебя палки, и гикают, и свистят, и гонят прочь. «Есть же счастливые собаки на свете! А я думал, что дальше того двора и жизни нет, как червяк, который забирается в хрен и думает, что слаще ничего не бывает...»

Рябчик засыпает. И снится ему большое помойное ведро, наполненное до краев хлебными корками, мясными жилами, требухой, гречневой кашей, перемешанной с пшеном и фасолью, а костей там — целый клад: и ноги, и ребра, и мозговые кости,

и еще рыбные кости, и селедочные головки, совсем целые, необглоданные. Рябчик не знает, с чего начать.

— Приятного аппетита! — говорят деревенские собаки, держась на расстоянии и глядя, как он готовится к еде.

— Откушайте с нами,— для приличия приглашает Рябчик.

— Кушайте сами на здоровье! — любезно отвечают деревенские собаки.

Вдруг над самым его ухом раздается: «Айзик!»

Рябчик просыпается. Это был только сон...

Утром Рябчик отправился по дворам в поисках какой-нибудь помойки, может быть, удастся что-нибудь перехватить, хотя бы самую маленькую косточку. Но куда бы он ни пришел — все места уже заняты.

— Нельзя ли у вас закусить? — спрашивал Рябчик.

— Здесь? Нет. Может быть, на соседнем дворе...

Рябчик бегает со двора на двор и всюду встречает тот же прием. И наконец ему приходит на ум: не хватит ли церемониться? Не вернее ли будет подойти и схватить, что попадется? Но при первой же попытке что-либо стянуть с ним схватились деревенские собаки. Вначале они смотрели на него со злобой, рычали и показывали зубы. А потом разом набросились на него, искусали, истерзали, жестоко разделались с его хвостом и с соответствующими почестями проводили за околицу.

7

Поджав хвост, Рябчик побежал в другую деревню. Но там повторилась та же история: радушный прием, милые речи, почему бы и нет? А потом, когда дело доходит до помойки, сразу косые взгляды, ворчанье, Рябчика кусают, терзают и гонят на все четыре стороны.

Рябчику надоело странствовать, вечно переходить с места на место, и он решил так: люди злы, собаки ничем не лучше их; не попытаться ли ему поискать счастья в лесу, среди зверей.

И Рябчик отправился в лес.

Походил он в одиночестве и день, и два, и три,— единственная собака в лесу,— и почувствовал, что у него все больше сводит живот от голода и жажды, последние силы иссякают, хоть возьми растянись среди леса и помирай! А Рябчику, как назло, хочется еще жить и жить.

Рябчик поджимает хвост, вытягивает передние лапы, укладывается под деревом и думает свою собачью думу: «Где раздо-

быть кусок хлеба? Где взять кусочек мяса? Косточку хотя бы? Где бы глотком воды разживиться?» От горя Рябчик превращается в философа, его одолевают мысли: «За что бог наказал меня, бедного пса, больше всех зверей, птиц и всякой твари на земле? Вон птица летит в свое гнездо. Ящерица пробирается в свою норку... Вот червячок ползет, жучок, мурашка — у каждого свой дом, каждый находит себе пропитание, один только я, гав-гав-гав!..»

— Кто это лает здесь? — спрашивает волк, который проходит мимо, высунув от голода язык.

Рябчику никогда еще не приходилось видеть волка, поэтому он думает, что перед ним собака. И Рябчик медленно, потягиваясь, поднимается с земли и не спеша подходит к волку.

— Кто ты такой? — высокомерно спрашивает его волк.— Как тебя зовут? Откуда ты взялся и что ты здесь делаешь?

Рябчик рад, что встретился с добрым приятелем, есть, по крайней мере, перед кем излить свою душу. И Рябчик рассказывает волку о всех своих злоключениях.

— Скажу тебе по совести,— заканчивает Рябчик свою печальную повесть,— я бы не прочь повстречаться со львом, с медведем или, скажем, с волком.

— И что бы тогда было? — со шкодливой улыбкой спрашивает волк.

— Ничего,— отвечает Рябчик.— Если мне судьба умереть, то пусть уж лучше волк меня растерзает, чем околеть с голоду среди своих.

Волк, ощерившись, щелкает зубами и говорит:

— Ну так знай же, что я волк! Я разорву тебя на части и позавтракаю тобой, потому что я голоден, восемь дней ничего в рот не брал!

Слова волка так напугали Рябчика, что он задрожал всей своей опаленной шкурой.

— Всемогущий царь! Милостивый реб Волк! — взмолился Рябчик жалобным голосом.— Пусть бог пошлет тебе лучший завтрак! Ну, какой прок во мне? Шкура да кости!.. Послушай, отпусти меня, сжалься над моей собачьей жизнью!..

Поджав хвост и выгнув спину, Рябчик стал ползать на брюхе, извиваться и гримасничать так, что волку тошно стало.

— Подбери свой гадкий хвост, собачье ты отродье, и убирайся ко всем чертям, чтоб я паршивого обличья твоего не видел!..

Ни жив ни мертв, не чуя под собой ног, Рябчик пустился бежать, боясь даже оглянуться. Он мчался во весь дух подальше от леса, обратно в город.

8

Вернувшись в город, Рябчик миновал двор, в котором вырос, хотя сердце влекло его именно туда, на тот двор, где его били и колотили, на тот двор, где ему подбили ногу и ошпарили спину... Рябчик отправился на базар, в мясные ряды, к собакам, которые там околачиваются, к своим, значит.

— Милости просим! Откуда явилась, собака? — обращаются к нему собаки из мясных рядов, позевывая и устраиваясь на ночлег.

— Да я здешний,— отвечает Рябчик,— вы разве меня не узнали? Я ведь Рябчик!

— Рябчик? Рябчик? Постой-ка, знакомое имя! — говорят собаки, будто никак не могут вспомнить, кто он такой.

— Что это у тебя за отметина на спине? — нахально прыгая перед его мордой, спрашивает Цуцик, маленькая собачонка.

— Это, наверно, для того, чтобы его ни с кем не спутали, или же просто для красоты, что тут удивительного? — насмешливо замечает Рудек, рыжая, мохнатая собака.

— Ничего подобного! — говорит Серко, старый холостяк, серый, кривой, с отрезанным ухом.— Об отметинах меня спросите, уж я вам точно скажу. Это знак суровых стычек, битв с целыми сворами...

— Разговорились! — вставляет Жук, бесхвостая собака.— Дайте же высказаться Рябчику, пусть сам расскажет.

Рябчик вытягивается на земле и начинает рассказывать свою историю, ни одной мелочи не пропускает. Все собаки лежат и слушают молча, один только рыжий Рудек, шутник, то и дело вставляет остроту.

— Да замолчишь ли ты, Рудек? — широко зевая, говорит черный бесхвостый Жук.— Рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы все любим после обеда послушать сказки...

Рябчик все продолжает рассказывать жалобным голосом свою печальную историю, но никто его уже не слушает. Цуцик шепчется с Серко. Рудек сыплет остротами, а Жук храпит, как целый взвод солдат. Изредка он просыпается, широко зевая и приговаривая:

— Ты рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы любим после обеда послушать сказки!

9

Чуть рассвело, Рябчик уже был на ногах. Он издали смотрел на мясников, которые рубили мясо. Вот висит туша шеей вниз, и кровь из нее течет. А вот кусок жирный-прежирный, любо смотреть... И Рябчик смотрит и глотает слюну. Мясники рубят мясо на мелкие куски и время от времени бросают собачкам то кусочек мяса, то кожицу, то кость. А собаки подпрыгивают, на лету ловят подачки. Рябчик смотрит, как собаки ухитряются подпрыгнуть как раз вовремя, ни одной косточки не упустят. Получив свою долю, каждая отходит в сторонку, привольно располагается там и справляет трапезу, то и дело оглядываясь на других собак, как бы говоря: «Видите кость? Эта кость моя, и я ее ем».

Другие собаки притворяются, будто ничего не замечают.

«Чтоб тебе подавиться,— думают они,— чтоб у тебя эта кость боком вышла, все утро жрет и жрет, а мы стой тут и смотри, сожри тебя черви!»

А иная собака тащит в зубах кусок кожи и ищет место, где бы ей перекусить, чтоб никто не видел: она боится дурного глаза...

А еще одна собака стоит перед злым мясником, который все время чем-то недоволен, кричит, ругается с другими мясниками. Собака вертит хвостом и говорит угодливо, якобы обращаясь к своим товаркам:

— Видите вот этого мясника? Правда, у них как будто сердитый вид? Но такое бы мне счастье, какой это славный человек! На всем свете другого такого не сыщешь! Они по-настоящему жалеют собак; они, можно сказать, покровитель собак... Вот увидите, как сейчас полетит кость, кость с мясом... Гоп!

Собака подпрыгивает и ляскает зубами, пусть другие подумают, что ей попался жирный кусок...

— Всем хорош,— отзывается собака со стороны,— и врун, и льстец, и хвастун, чтоб его черт побрал!..

А еще одна собака, улучив момент, когда мясник на минуту отворачивается, прыгает на колоду, на которой он рубит мясо, и лижет ее. Между собаками поднимается лай: это они доносят мяснику, клянутся именем господа, что пес-ворюга стащил кусок мяса, такой бы им слиток золота! Они своими глазами видели, видеть бы им так добро! Пусть их земля проглотит, если они врут, пусть подавятся первой косточкой, пусть им даже рога и копыта не достанутся от зарезанной скотины!..

— Фи, тошно, с души воротит! — отзывается старый пес,

который и сам был бы не прочь полакомиться косточкой. Тут Рябчик подумал: что толку в том, что он стоит и смотрит? Все собаки прыгают и хватают, и он как все. Но не успел Рябчик оглянуться, как несколько собак сразу схватили его за горло и стали терзать, норовя укусить то самое место, где особенно больно бывает...

С опущенным хвостом Рябчик забился в уголок и, вытянув морду, начал выть.

— Чего ты плачешь? — спросил его Жук, облизываясь после еды.

— Как же мне не плакать? — отвечает Рябчик.— Я несчастнейшая из собак! Я надеялся, что здесь, среди своих, мне тоже кое-что перепадет. Я бы не полез, поверь, но я смертельно голоден, сил больше нет!

— Верю,— отвечает ему Жук со вздохом.— Я знаю, что такое голод. Сочувствую твоей беде, но помочь ничем не могу. Здесь уже так заведено; у каждого мясника своя собака, а у каждой собаки свой мясник...

— Разве это хорошо? — говорит Рябчик.— Где же справедливость? Где собачность? Где это видано, чтобы собака пропадала среди собак? Чтобы голодный умирал с голоду среди сытых?

— Разве лишь вздохом могу тебе помочь,— говорит Жук, смачно зевая и располагаясь после еды ко сну.

— Если так,— и Рябчик набирается мужества,— я пойду прямо к мясникам; может быть, мне тоже удастся вылаять себе мясника...

— Желаю успеха! — говорит Жук.— Только к моему мяснику не ходи, потому что, если ты пойдешь к моему мяснику, быть тебе без хвоста, вот как я, видишь?

10

И Рябчик, миновав всех собак, направился прямо к мясникам, стал улыбаться им, прыгать и вилять перед ними хвостом. Но за неудачником беда следует по пятам. Один из мясников, здоровенный, широкоплечий парень, видно, шутки ради, запустил в Рябчика топором. Не умей Рябчик прыгать, его бы разрубило пополам.

— Ты совсем недурно пляшешь! — с издевкой обратился к нему Рудек.— Почище нашего Цуцика! Цуцик, поди-ка сюда, поучись, вот как надо плясать!..

Цуцик прибежал и начал прыгать прямо перед мордой Рябчика.

Этого Рябчик не мог стерпеть. Он схватил Цуцика зубами, опрокинул его на спину и начал кусать в живот. Всю горечь души своей он выместил на Цуцике, а потом дал стрекача. Один-одинешенек Рябчик пробрался в поле, вытянулся там посреди дороги, от стыда и досады спрятал морду в лапы — ему опостылел божий мир. Его даже не трогало то, что мухи облепили его, пусть кусают, пусть живого места не оставят — все равно конец!..

«Дальше некуда! — думал Рябчик.— Если даже среди собак, среди *своих,* собаке и дня нельзя прожить, то пусть весь мир провалится в тартарары!..»

ГОРОД МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Город маленьких людей, куда я ввожу тебя, друг читатель, находится в самой середине благословенной «черты». Евреев туда натолкали — теснее некуда, как сельдей в бочку, и наказали плодиться и множиться; а название этому прославленному городу — *Касриловка*.

Откуда взялось название Касриловка? Вот откуда.

В нашем быту бедняк, всякому известно, имеет великое множество названий — и человек скудного достатка, и впавший в нищету, и просто убогий, и до чего же убогий, нищий, побирушка, бродяжка, попрошайка и бедняк из бедняков. Каждое из этих перечисленных названий произносится со своей особой интонацией, со своим особым напевом... И есть еще одно обозначение бедняка: *касриел*, или *касрилик*. Это название произносится с напевом уже совсем другого рода, к примеру: «Ой и касрилик же я, не сглазить бы!..» Касрилик — это уже не просто бедняк, неудачник, это уже, понимаете ли, такой породы бедняк, который не считает, что бедность унижает, упаси боже, его достоинство. Наоборот, она — даже предмет гордости! Как говорится, нужда песенки поет...

Забитый в уголок, в самую глушь, отрешенный от всего окружающего мира, сиротливо стоит этот город, заворожен, заколдован и погружен в себя, словно никакого касательства к нему не имеет весь этот тарарам с его кутерьмой, суетой, сумятицей, кипением страстей, стремлением подавить один другого и всеми прочими милыми вещами, которые люди удосужились создать, придумав для них всякие названия, вроде «культура», «прогресс», «цивилизация» и другие красивые слова, перед которыми порядочный человек с величайшим благоговением снимает шапку. Маленькие, маленькие люди!.. Не то что об автомобилях, о воздухоплавании,— они долгое время не знали и о нашей

обыкновенной железной дороге, слышать не желали, верить не хотели, что где-то на свете существует поезд. «И слушать нечего,— говорили они,— пустые вымыслы, сущий вздор, небывальщина — медведь летел по поднебесью...» Отпускали и иные язвительные словечки. Пока не случилось, что одному касриловцу понадобилось в Москву. Он съездил и, вернувшись, клялся всеми клятвами, что самолично ехал до самой Москвы три четверти часа поездом... Его, разумеется, смешали с грязью: как может уважающий себя человек подкреплять клятвой такую неудобоваримую ложь? Оказывается, его не так поняли: он и впрямь ехал поездом не больше чем три четверти часа,— остальную часть пути шагал пешком. Как бы то ни было, но эта история с поездом представляла собой факт, против которого ничего нельзя было возразить: если почтенный человек клянется такими клятвами, он, вероятно, эту историю из пальца не высосал. Тем более что он толком дал им понять, каков из себя поезд, изобразил на бумаге, как вращаются колеса, а труба свистит, и вагон летит, и евреи едут в Москву... Маленькие люди его выслушать выслушали, для виду утвердительно покивали головой, но про себя смеялись от всей души и говорили: «Что же получается — колеса вертятся, труба свистит, вагон летит, евреи едут в Москву и — возвращаются назад...»

Таковы, как видите, все они, эти маленькие люди,— не мрачные ипохондрики, не слишком озабоченные делами воротилы. Наоборот, они славятся на свете, как недюжинные выдумщики, как краснобаи, как неунывающие души, живые создания, убогие достатком, но веселые нравом. Трудно сказать, чем они так, собственно, довольны! Ничем особенным — живем, не тужим!.. Живем? А ну, спросите их, к примеру: «На какие доходы вы живете?» И они вам ответят: «На какие доходы мы живем? Вот видите же, ха-ха, живем...» И примечательно! — когда бы вы их ни встретили, они мечутся как угорелые — этот сюда, тот туда, и вечно им некогда. «Куда вы бежите?» — «Куда мы бежим? Вот видите же, ха-ха, бежим, все надеемся — не удастся ли что-нибудь урвать, чтобы достойно справить субботу...»

Достойно справить субботу — это предел их мечтаний. Всю неделю готовы они трудиться, работать до седьмого пота, ни есть, ни пить, грызть землю, почернеть от забот — только бы справить субботу. И поистине, когда наступает милая святая суббота — пропадай Егупец, пропадай Одесса, пропадай даже Париж! Говорят,— и это, возможно, действительно так,— что с тех пор, как существует город Касриловка, не было там случая, чтобы еврею пришлось, не приведи господь, голодать в суб-

боту. Ибо возможное ли дело, чтобы у еврея на субботнем столе не было рыбы? Если нет у него рыбы, есть у него мясо; а нет у него мяса, есть селедка; а нет у него селедки, есть хала; а нет у него халы, есть хлеб с луком; а нет у него хлеба с луком, он займет у соседа; в следующую субботу сосед займет у него. «Весь мир — это колесо, и оно вертится...» — приводит пословицу касриловец и рукой изображает, как вертится колесо... Когда у маленьких людей дело доходит до острого словечка, их ничто не остановит, ради красного словца они не пожалеют, как говорится, ни мать, ни отца. На белом свете про них рассказывают такие истории, которые подчас кажутся небылицами, но можно смело поручиться, что это сплошь подлинные происшествия.

Рассказывают, к примеру, об одном касриловце, которому осточертело голодать в Касриловке, и он пустился в поисках счастья странствовать по свету, стал эмигрантом и пожаловал аж в Париж. Разумеется, загорелось ему попасть там к Ротшильду. Ибо возможно ли, чтобы еврей был в Париже и не повидался с Ротшильдом? Но вот незадача — не допускают. «В чем причина?» — «Рваный кафтан».— «И умники же вы! — толкует еврей.— Будь у меня цел кафтан, каких таких благ ради стал бы я приезжать в Париж?» Словом, дело плохо. Но наш касриловец не теряется и находит выход. Он набирается духу и обращается к стражу, стоящему у дверей: «Иди, скажи барину, что к нему прибыл не попрошайка, упаси бог, а еврей-купец, и привез ему такой товар, какого не раздобыть в Париже ни за какие сокровища мира».

Услышав такие речи, Ротшильд, любопытства ради, повелевает ввести к нему этого самого купца. «Шолом алейхем!» — «Алейхем шолом! Садитесь. Из какого вы края?» — «Из Касриловки».— «Что скажете хорошего?» — «Что мне вам сказать, пан Ротшильд? Дело заключается вот в чем: у нас толкуют про вас, что вы находитесь, не сглазить бы, при недурном достатке, про меня будь сказано — иметь бы мне хоть половину того, трети — и той, пожалуй, хватило бы. Ну, а до почета, надо думать, вы тоже не очень жадны, ибо — у кого денег полон ящик, тот миру и указчик. Так чего вам не хватает? Одной вещи — вечной жизни. Ее-то я и привез, чтобы продать вам».

Услышав про вечную жизнь, Ротшильд говорит ему: «А дорог ли товар, во сколько это обойдется?» — «Это вам будет стоить ни много ни мало (тут наш касриловец призадумался), ни много ни мало — три сотни».— «Может, будем торговаться?» — «Нет, пан Ротшильд, не пойдет. Пусть бог пошлет

мне столько благословений, на сколько больше, чем три сотни, я мог бы вам назвать,— но так и быть, сказано — пропало». Так говорит ему касриловский еврей, и Ротшильд, разумеется, вынимает и отсчитывает ему наличными три сотни — одна в одну. Наш касриловец прежде всего опускает эту толику наличных в карман и обращается к Ротшильду с этакой речью: «Ежели желаете жить вечно, мой вам совет — покиньте вы этот шумный Париж и махните-ка лучше со всем своим скарбом к нам, в Касриловку, и тогда вы вовеки не умрете, потому что с тех пор, как существует наша Касриловка, не было случая, чтобы у нас умер богач...»

Приключилась и другая история — одного из касриловцев занесло аж в Америку... Но если бы я собирался посвящать вас во всякие истории о выдумках и затеях маленьких людей, мне пришлось бы сидеть с вами три дня и три ночи и рассказывать, и рассказывать, и рассказывать. Давайте лучше перейдем к описанию самого города.

Вам хочется, конечно, знать, как выглядит Касриловка? Хороша неописуемо! А уж если посмотреть издали — и того лучше! Издали город живо напоминает... Что мне вам такое, к примеру, назвать?.. Подсолнух, густо усаженный семечками, доску, покрытую мелко накрошенной лапшой. Как на блюде, лежит он перед вами, и вы за версту можете разглядеть все его прелести, потому что город, понимаете ли, стоит на горе, то есть на город надвинулась гора, а под горой скучилось множество лачужек, одна на другой, как могилы на старом кладбище, как ветхие черные накренившиеся памятники. Об улицах говорить не приходится, потому что дома строились как попало, их не рассчитывали, не измеряли при помощи циркуля; свободного места между домишками тоже нет: почему ни с того ни с сего пустовать месту, если на нем можно поставить дом? Как в Писании сказано: «Для жительства сотворена», что означает: земля создана посада ради, дабы на ней сидеть, а не глядеть на нее... С чего бы на нее глядеть?..

И тем не менее, не огорчайтесь, имеются и улицы, большие улицы и малые улички, тесные переулки и закоулки. Но они, скажете, не так прямы, малость извилисты — то ползут в гору, то бегут под гору, а то вдруг перед вами на самой дороге дом, или погреб, или просто яма? Ну, и остается вам не ходить одному ночью без фонаря! О маленьких людях не тревожьтесь — касриловец в Касриловке среди касриловцев никогда не заблудится; каждый попадает к себе домой, к своей жене и детям, как птичка в свое гнездо...

А далее, в середине города, имеется широкая полукруглая, а может, четырехугольная площадь, на которой находятся магазины, мясные лавки, лабазы, рундуки и ларьки. И каждое утро открывается там базар, на который съезжается множество крестьян и крестьянок со всякого рода товарами, снедью — рыбой, луком, хреном, петрушкой и прочими овощами. Распродав свою зелень, они покупают у евреев нужные им вещи, и это приносит евреям доходы, не такие уж, правда, обильные, но все-таки доходы. Во всяком случае, это лучше, чем ничего... И там, на этой же самой площади, днем лежат, растянувшись, все козы города и греются на солнышке, именно там находятся, да простится мне, что рядом помянул, и все синагоги, молельни, хедеры, где еврейские дети изучают Тору, обучаются молитвам, чтению и письму... Ребе с учениками поют и кричат во все горло — оглохнуть можно!.. А еще тут есть и баня, где женщины моются, а также богадельня, в которой евреи умирают, и всякие прочие укромные места, которые дают себя почувствовать еще издали... Нет, Касриловка еще не знает канализации, водопровода, электричества и других подобных предметов роскоши. Но велика ли важность? «Умирают всюду, слышите ли, одной и той же смертью, закапывают всюду, слышите ли, в одну и ту же землю, засыпают и прибивают, слышите ли, всюду той же самой лопатой!» — так частенько говаривал мой учитель реб Исроел Малах во время празднества, как раз тогда, когда он бывал основательно навеселе, что называется «под мухой», и готовился, задрав кафтан, пуститься танцевать «немца» или сплясать «казачка»...

А уж чем Касриловка может похвастать — это своими кладбищами. Двумя роскошными кладбищами обладает этот благословенный город: старым кладбищем и новым кладбищем. То есть новое кладбище, вообразите себе, уже тоже достаточно старо и достаточно богато могилами — скоро некуда будет «класть», если, упаси бог, случится погром, холера или вообще какое-нибудь несчастье из нынешних несчастий.

Главным образом гордятся касриловские маленькие люди старым кладбищем. Старое кладбище, хотя оно уже заросло травой, деревцами и нет на нем почти ни одного целого памятника, они считают тем не менее своим сокровищем, украшением города, жемчужиной и оберегают его как зеницу ока. Так как, кроме того, что там покоятся предки их предков — раввины, праведники, ученые, мудрецы, великие люди,— есть основание полагать, что там находится и немало могил жертв гайдаматчины времен Хмельницкого... Это «святое место» — их единственная

кроха собственности на этом свете, которой они, маленькие люди,— единственные безраздельные хозяева, это их единственная пядь земли, их единственный клочок поля, где зеленеет травка, растет деревцо, а воздух свеж, и дышится свободно...

Посмотрели бы вы, что там творится, когда наступает конец лета, и в первых числах месяца элула начинаются «дни плача» — ай-яй-яй! Мужчины и женщины — главным образом женщины — валят валом, нескончаемой вереницей,— шутка ли, «могилы предков!» Со всего света являются сюда, чтобы немного выплакаться, излить наболевшее сердце перед святыми могилами. Знаете, что я вам скажу? Нигде не плачется так самозабвенно и так сладко, как в Касриловке на «божьей ниве». То есть в синагогах тамошних тоже плачется не так уж плохо. Но какое тут может быть сравнение с плачем на могилах предков?

«Могилы предков» — это еще и приличный заработок для касриловских резчиков по камню, содержателей заезжих домов, канторов и синагогальных служек, и первые дни месяца элула для тамошних нищих, женщин и калек — настоящая страдная пора.

«А вы уже побывали на нашей «божьей ниве»?» — спросит у вас касриловец с такой важностью, как если бы он вас, к примеру, спросил, побывали ли вы в его родовом винограднике? Если вы там еще не были, доставьте ему удовольствие и пройдите на кладбище, прочитайте старые, почти стершиеся надписи на полуповалившихся памятниках, и вы найдете часть истории целого народа... И если вы человек, которому доступно изумление и вдохновение, то, обозрев этот бедный город с его богатыми кладбищами, вы не сможете удержаться, чтобы не повторить старое изречение: «Как хороши твои шатры, Иаков, места твоего покоя, Израиль!..»



«Родительские радости»

РОДИТЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ

— Я, слышите ли, не богач, далеко не богач. Так, ничего особенного, просто живу в собственном доме. Да и что у нас, по правде говоря, дает собственный дом? Хворобу! Но родительские радости, могу похвастать, мне отпущены, слава богу, щедрее, чем самому большому богачу в Касриловке! И когда, слышите ли, наступает праздник и у меня собираются все мои дети, не сглазить бы, сыновья и дочери, невестки и зятья со всеми внуками — кто мне ровня?

Возьмите, к примеру, трапезу в пурим.

Что за вкус, спрашиваю вас, в трапезе, если вы с женой одни-одинешеньки сидите у стола и едите?

Ну, представьте себе, что я уже съел и рыбу, и бульон, то-се,— ну и что? Грош цена такому удовольствию! Лошадь, простите за сравнение, тоже ест. Но человек ведь не лошадь, и тем более такой человек, как я, и тем более в праздник, и тем более в такой праздник, как пурим с его трапезой!

Прежде всего — о детях, не сглазить бы.

Было их у меня двенадцать, но четверо, да продлятся годы оставшимся, отошли с миром, осталось восемь, и все они, дай им бог здоровья, устроены. Половина из них сыновья, половина — дочери; четыре зятя и четыре невестки; вот вы и имеете, не сглазить бы, ни много ни мало,— шестнадцать.

А внуки, дай им бог долгой жизни!

Грех жаловаться — все дочери и все невестки рожают, слава богу, каждый год; у кого — одиннадцать, у кого — девять, у кого — семь. Бесплодной, такой, значит, которая, упаси бог, не имела бы детей, у меня нет.

Правда, один сын, средний, мне доставил-таки немного хлопот: невестка долгое время не имела детей, нету — и все тут!

Началась история: врачи, ребе и, да простится мне, что рядом помянул, знахарь — ничего не помогает.

Короче, осталось одно — развестись.

Ладно, развестись так развестись. Как дошло дело до развода — какое там? Она не хочет!

Как так — не хочет? Она его, говорит, любит. Дурень ты этакий, говорю, что тебе в том, что она тебя любит? А он говорит: и я ее люблю. Что скажете про этого умника? Я говорю ему «дети», а он мне отвечает «люблю»... Как вам нравится этот дурень?!

Короче говоря, они не развелись. И бог помог — уже лет шесть, как она начала рожать, разрешается что ни год; осыпает меня внуками!

Посмотрели бы вы на моих внуков — все ладные, один другого лучше, на их личики не наглядеться! Верьте слову — красавцы!

А как они учатся! Хотите страницу Талмуда — будет вам страница Талмуда наизусть. О Пятикнижии с комментариями, о пророках, о грамматике со всеми прочими нынешними причиндалами и говорить не приходится. А как они читают и как пишут по-еврейски, и по-русски, и по-немецки, и по-французски, и... и... и...

Когда мне иногда нужно письмо прочесть, адрес написать, иное ли что — начинается война: «Дедушка, дай я! Дедушка, дай я!»

Но что же? Вы, пожалуй, спросите: как с заработками? Пустое, есть великий бог! Он и управляется — иногда так, иногда этак, иногда лучше, иногда хуже. Вообразите себе, чаще — хуже, нежели лучше,— мучаешься, перебиваешься кое-как круглый год; что и говорить, только бы здоровье было, как по-вашему?

У моего старшего сына дела шли неплохо. Жил он в деревне, в Злодеевке жил он, и имел довольно приличный доход; но когда вышел указ от третьего мая, его оттуда вежливо попросили; он же, понимаете, стал усердствовать, захотел доказать, что он не «поселившийся», раздобыл бумаги, что живет там еще со времен сотворения мира, и подал в сенат. Короче говоря, не помогли никакие вопли, его выгнали, и по сей день он не может прийти в себя... Живет у меня с женой и детьми. Что же остается делать?

Второму сыну моему, бедняжке, попросту не везет. За какое бы дело он ни взялся — все валится из рук, как говорится, все летит вверх тормашками. Покупает он зерно — падают цены, торгует он скотом — начинается падеж, берется он за лес — выдается теплая зима. Ничего не скажешь — удачлив! Взгляни он

в реку — подохла бы вся рыба... Надумал я и говорю ему: «Знаешь что? Увяжи-ка узлы и перекочуй с женой и детьми ко мне. Невелик риск!..»

Третьему моему сыну и впрямь жилось неплохо. Но во время большого пожара, не приведи бог такому повториться, он погорел, выскочил в чем мать родила и еще вдобавок имел кучу неприятностей — донос, следователь, потом призыв, тысяча напастей. Не спрашивайте — было весело!.. Теперь он живет у меня со всей своей оравой. А то как же?..

Одному только младшему моему сыну, не сглазить бы, не так уж худо. То есть как понимать «не худо»? Денег у него нет, но зато есть у него богатый тесть. То есть не то чтобы он был богат, имел приличный заработок, вел солидные дела, нет,— он страшный плут, воротила, упаси и защити господи! Всякий раз карусель крутит и не угомонится, пока не закрутит и себя и других. Но что же? Он-то сам выкручивается, собака. Уже не раз пускал он по ветру и свои деньги, и деньги детей. Говорю я ему: «Что вы присосались к деньгам моего сына?» Говорит он: «А велика ли в них ваша доля?» Говорю я: «Мой сын — мое родное дитя». Говорит он: «А моя дочь мне не дитя?» Говорю я: «Фу!» Говорит он: «Тьфу!» Говорю я: «Ну и ладно!» Говорит он: «Хватит!» Слово за слово — отозвал я своего младшего и говорю ему: «Плюнь ты, говорю, на своего тестя — богача и плута — и поселись у меня, а там что бог даст, только бы вместе...»

Но вот с зятьями, видите ли, у меня счастья нет. Ну, так-таки нет как нет! То есть мне их упрекнуть не в чем, я ими, боже упаси, не гнушаюсь, потому что у меня, можете мне поверить, такие зятья, каких нет у самого крупного богача. Башковитые, родовитые, прекрасные люди... Персоны!

Один зять у меня родом из настоящей знати, чудо, золотой человек, а способности какие — все достоинства! К тому же большой знаток Талмуда — всегда сидит за священной книгой. Я содержу его с самой свадьбы, потому что, если бы вы его знали, сами сказали бы, что такого грех выпустить из дому — что с ним станется?

Второй мой зять не так знатен родом, но зато сам он на редкость хорош. Да и чего, скажите, еще желать? И пишет, и читает, и вычисляет, и поет, и пляшет, и чего только не умеет? А как он играет в шахматы — что и говорить, на все горазд! И тем не менее, слышите ли, уж если что не суждено... Как говорит царь Соломон: не у мудрецов хлеб — все ученые ходят без сапог. Я уже испытал его на все лады: был он и арендатором, и лавочником, и меламедом, и сватом — ничего не выходит, хоть

разорвись! Живет он теперь у меня с детьми — я же мою дочь на улицу не выброшу!

Есть у меня еще зять, уж не такой образованный, но и не из тех, что попадаются на каждом шагу. Прекрасная голова на плечах, замечательный почерк, знаток Талмуда, а как речист — что ни слово, то жемчужина,— заслушаешься!

Один недостаток — он слишком нежен, почти бесплотный дух, он, понимаете ли, не слишком здоров, то есть, если так посмотреть на него, он, кажется, совсем ничего... Одна беда — он потеет. К тому же еще и кашель. С некоторых пор у него появился отвратительный кашель с каким-то визгом, ему трудно перевести дыхание. Врачи советуют пить молоко и поехать на дачу в Бойберик. Туда, говорят, едут все больные. Там есть такой лес, говорят, который исцеляет кашель. Вот я и думаю, если бог дарует нам жизнь, мы будущим летом съездим с ним в Бойберик. А до тех пор, пока не выздоровеет, сидит он с женой и детьми, как полагается, на моей шее. Разве откажешься?

И еще есть у меня один зять, уже совсем простой, но работящий парень, то есть не ремесленник, упаси боже, не портной, не сапожник, но и не из грамотеев.

Он — рыбник, рыбой торгует он; его отец торгует рыбой, его дед торговал рыбой, вся их семья только и знает — рыба, рыба и рыба!

Впрочем, они довольно-таки порядочные люди, честные, но простоватые.

Вы спросите: как попал ко мне такой зять? Конечно, и тут кроется своя история, как говорят: в реке попадается всякая рыба; таково уже, вероятно, счастье моей дочери, что ей суждено иметь *такого* мужа.

То есть упрекнуть мне его не в чем; дочь моя живет с ним счастливо, потому что по натуре он как раз человечишко хороший, алмаз чистой воды, привязан, слышите ли, ко всем нам всей душой. Все, что зарабатывает, отдает ей и, сколько может, поддерживает остальных моих зятьев и сыновей. Да что там говорить? — он почти только на нас и трудится, и относится ко всем нам с большим уважением, потому что прекрасно знает, чувствует, понимаете ли, кто такой он и кто такие мы: он это он, а мы это мы! И так запросто, слышите ли, от этого не отмахнешься.

Чего греха таить — если иногда у нас собираются люди и мои дети заводят разговор по поводу какой-нибудь премудрости, про какой-нибудь закон из «Шулхан-арух», или про мудреное место в Талмуде, или просто о каком-нибудь библейском изрече-

нии,— ему, бедняжке, приходится сидеть, набрав воды в рот, потому что для него все это, не про вас будь сказано,— темный лес!

Конечно же, он должен гордиться тем, что у него такие свояки, и должен трудиться на них! Как по-вашему? Разве не так? А?

Теперь, когда вы уже немного знакомы с моим семейством, вы сами понимаете, что́ у меня за веселье и какая радость у меня на душе, когда, к примеру, наступает праздник пурим и все дети со всеми внуками, не сглазить бы, собираются к трапезе, усаживаются вокруг стола, и я совершаю молитву над большим и затейливым праздничным калачом, который сдобрен шафраном и весь утыкан изюмом; за ним следует знаменитая наперченная и чуть-чуть подсахаренная рыба с хреном, далее — добрая длинная желтая лапша в бульоне, и все выпивают малость того самого пития, если бог послал бутылку выморозков, настоящих бессарабских, а то — по чарке хорошей вишневки, если только имеется такая, в крайнем случае глоток простой водки — тоже дело. А потом все как запоют! Я затягиваю «Розу Иакова» и еще раз «Розу Иакова»! И опять-таки «Розу Иакова»! А дети как подхватят:

Ликуем и веселимся!

А маленькие сорванцы, внуки, подтягивают тоненькими голосками: «У иудеев свет». Да еще и пускаемся в пляс — кто мне тогда ровня? Что мне Бродский? Что мне Ротшильд? Я король, клянусь честью, король!

Я, слышите ли, не богач, но родительские радости отпущены мне, слава богу, щедрее, чем самому большому богачу в Касриловке!

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПОРТНОЙ

Заимствовано из старинной хроники

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бысть муж во Злодеевке — жил человек в Злодеевке, местечке, расположенном в округе Мазеповки, неподалеку от Хаплаповичей и Козодоевки, между Ямполем и Стрищем, как раз на той дороге, по которой ездят из Пиши-Ябеды через Печи-Хвост на Тетеревец, а оттуда — на Егупец.

И наречен бысть оный муж Шимон-Элиогу — и имя ему было Шимен-Эле, а прозвали его «Шимен-Эле Внемли Гласу» за то, что во время моления в синагоге он имел обыкновение бурно проявлять свои чувства: прищелкивать пальцами, вопить и голосить, заливаться на все лады.

И бысть сей муж швецом — и был этот человек портным,— не то чтобы, упаси бог, из перворазрядных, из тех, что шьют по «картинке», именуемой «журналом», а попросту — заплатных дел мастером, то есть умел, как никто, поставить заплату, заштопать дыру, чтобы незаметно было, или перелицевать какую угодно одежку, вывернуть ее наизнанку — прямо-таки превратить старье в новую вещь. Возьмет, к примеру, старый халат и сделает из него кафтан, из зипуна — пару штанов, из штанов выкроит жилетку, а из жилетки — еще что-нибудь... Не думайте, что это так просто!

Вот на такие дела Шимен-Эле Внемли Гласу был поистине мастак. А так как Злодеевка — местечко нищее и справить новую одежду там дело не столь обычное, то Шимен-Эле был в большом почете. Беда только, что он никак не мог поладить с местными богачами, любил совать нос в общинные дела, заступаться за бедняков, говорить довольно откровенно о благодетелях, пекущихся о нуждах общества; откупщика коробочного

сбора он при всем честном народе смешивал с грязью, заявлял, что он вымогатель, кровопийца, людоед, а резники и раввины, которые с откупщиком заодно,— попросту шайка, скопище воров, мошенников, головорезов, разбойников, злодеев, черт бы их побрал с их батьками и прабатьками — до самого прадеда Тереха с дядей Ишмоелом в придачу!

Среди ремесленников, членов братства «Благочестивый труженик», Шимен-Эле Внемли Гласу слыл «музыкантом». На их языке это означало: человек, изощренный во всяких премудростях,— потому что Шимен-Эле так и сыпал изречениями, цитатами из священных книг, вроде: *«Аз недостойный», «Да возрадуются и возвеселятся», «Ныне день великого суда», «Угнетены и раздроблены», «Как в Писании сказано»,*— вставлял им самим придуманные древнееврейские слова и поговорки, которые у него всегда были наготове. К тому же и голосок у него был неплохой, хотя излишне визгливый и хрипловатый. Зато знал он как свои пять пальцев все синагогальные напевы и мотивы, до смерти любил петь у амвона, был старостой в портновской молельне и бывал, как водится, бит по большим праздникам.

Шимен-Эле Внемли Гласу был всю жизнь горемычным бедняком, можно сказать — почти нищим, но впадать по этому случаю в уныние он не любил. «Наоборот,— говаривал он,— чем беднее, тем веселее, чем голоднее, тем песня звонче! Как в Талмуде сказано: *«Приличествует бедность Израилю, як черевички красны дивке Хивре...»*

Короче говоря, Шимен-Эле принадлежал к числу тех, о которых говорят: «Гол, да весел». Был он маленького роста, замухрышка, бородка реденькая, козлиная, нос немного приплюснутый, нижняя губа чуть раздвоена, а глаза, большие, черные, всегда улыбались. В курчавых волосах постоянно торчали клочья ваты, кафтан был утыкан иголками. Ходил он приплясывая и неизменно напевая себе под нос: *«Ныне день великого суда...»* — только не тужить!»

И роди сей муж сынов и дщерей — и был Шимен-Эле обременен целой кучей ребят всех возрастов, преимущественно дочерей, среди них несколько взрослых. А жена его была наречена Ципе-Бейле-Рейза, и была она «ему соответственна», то есть полной противоположностью своему мужу: высокая, краснощекая, здоровенная — казак-баба! С первого же дня после венца она забрала его в руки, да так и не выпускала. Верховодила и, по сути дела, мужем в доме была она, а не он... Шимен-Эле относился к ней с благоговейным трепетом: стоило ей раскрыть рот, как его уже трясло... А иной раз, с глазу на

глаз, ежели придется, она и на оплеуху не скупилась... Оплеуху он прятал в карман и отделывался при этом поговоркой или стихом из Писания: *«Ныне день великого суда...»* — только не тужить!» В Священном писании сказано: *«И он»*, то есть муж, *«да властвует над тобой...»*. Стало быть, ничего не попишешь! Все властители Востока и Запада ничем тут помочь не могут.

И бысть день — и однажды приключилась такая история. Пришла как-то в летний день с базара Ципе-Бейле-Рейза с кошелкой в руках, швырнула пучок чесноку, петрушку и картошку, которые она закупила, и воскликнула в сердцах:

— Провались оно сквозь землю! Опостылело мне изо дня в день сушить себе мозги, придумывать, из чего обед готовить! Министерскую голову нужно иметь! Только и знаем что клецки с фасолью или фасоль с клецками, прости господи! Вот, к примеру, Нехаме-Броха... Уж на что беднячка, нищенка, убогая, побирушка — и та козу имеет! А почему? Потому что муж ее, Лейзер-Шлойме, хоть и портной, а все же человек! Шутка ли, коза! Когда в доме есть коза, есть и стакан молока для детей; можно иной раз сварить кашу с молоком, замять обед и обойтись без ужина. А то бывает и крынка пахты, и кусочек творогу, масла... Благодать!

— Ты, голубушка, конечно, права,— спокойно отвечал Шимен-Эле.— Даже в Талмуде сказано: *«Каждому еврею положена своя доля...»* — то есть каждый еврей должен иметь козу. Как в Священном писании говорится...

— Что мне толку от твоего Писания! — раскричалась Ципе-Бейле-Рейза.— Я ему: «коза», а он мне: «Писание»! Я тебе такое «писание» покажу, что у тебя в глазах потемнеет! Он меня Писанием кормит, кормилец мой хваленый! Недотепа! Да я, слышишь ли, всю твою ученость за один молочный борщ отдам!

И стала Ципе-Бейле-Рейза донимать своего мужа подобного рода «намеками» по нескольку раз в день до тех пор, пока он не поклялся, руку дал, что она может спать спокойно, что коза, с божьей помощью, будет! Главное — не терять надежды! *«Ныне день великого суда...»* — только не тужить!»

С тех пор Шимен-Эле стал копить грош к грошу. Он отказывал себе во многом, даже в самом необходимом, заложил у процентщика субботний сюртук и сколотил таким образом несколько рублей. Решили, что он возьмет деньги и пойдет в Козодоевку покупать козу. Почему в Козодоевку? На то были две причины: во-первых, Козодоевка — место, где водятся козы,

о чем свидетельствует и само название. А во-вторых, Ципе-Бейле-Рейза слыхала, как рассказывали об одной ее соседке, с которой она вот уже несколько лет не разговаривает, что та слыхала от своей сестры, недавно приезжавшей к ней в гости из Козодоевки, будто там живет некий меламед, в насмешку прозванный «Хаим-Хоне Разумником», так как он большой дурак; у этого Хаим-Хоне Разумника есть жена, ее зовут «Теме-Гитл Молчальница» за то, что у нее слов — девять коробов; а у этой Теме-Гитл Молчальницы — две козы, и обе дойные. Спрашивается: за что это ей полагается две козы, да еще дойные к тому же? А если бы у нее и одной не было,— подумаешь, беда какая! Есть, слава тебе господи, люди, у которых и полкозы нет. Ну и что же? Умирают они от этого?

— Ты, конечно, кругом права! — отвечал Шимен-Эле своей жене.— Ведь это, понимаешь ли, старая история... Как в Писании сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ...»*

— Опять? Опять он тут как тут со своим Писанием! — перебила его жена.— С ним говорят о козе, а он лезет с Писанием! Ты сходи лучше к козодоевскому меламеду и скажи ему: так, мол, и так... Слыхали мы, что у вас имеются две козы и обе доятся. На что вам две дойные козы? Солить? Стало быть, одну из них вы, наверное, хотите продать? Продайте ее мне! Какая вам разница? Вот так и скажи. Понимаешь?

— Конечно, понимаю! Чего ж тут не понимать? — сказал Шимен-Эле.— За свои деньги я должен еще упрашивать? За деньги все на свете можно достать. *«Серебро и злато и свиней очищают»*. Скверно, видишь ли, когда звонких нет... Вот тогда уж подлинно: *«Нищий подобен покойнику»* — что означает: если нечего жрать, ложись спать, или, как говорят: без пальцев и кукиша не покажешь... Есть такое изречение: *«Аскакурдэ дебарбантэ дефаршмахтэ...»*

— Снова Писание, и опять-таки Писание! У меня уже голова трещит от твоих изречений, чтоб ты провалился! — ответила Ципе-Бейле-Рейза и принялась, по своему обыкновению, честить мужа и втолковывать ему в сотый раз, чтобы он прежде всего попытал счастья у меламеда Хаим-Хоне, авось что-нибудь и выйдет... А что, если он не захочет?.. Но почему ему не захотеть? С какой стати он должен иметь двух коз, да еще дойных к тому же? Есть, слава тебе господи, люди на белом свете, у которых и полкозы нет. И что же? Умирают они от этого?

И так далее, все то же.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И бысть утро — начало светать, а наш портной поднялся рано, помолился, взял палку да кушак и в добрый час двинулся пешком в путь-дорогу.

Было воскресенье, погожий, солнечный летний день. Шимен-Эле даже не запомнит такого замечательного, благодатного дня. Давненько уже не бывал Шимен-Эле в поле, на вольном воздухе. Давно уже глаза его не видали такого свежевымытого зеленого леса, такого чудесного зеленого покрывала, усыпанного разноцветными крапинками. Уши его давно уже не слышали щебетания птиц и шума крыльев. Нос его давно уже не обонял вкусного запаха зеленой травы, сырой земли. Шимен-Эле Внемли Гласу провел всю свою жизнь в другом мире. Глаза его постоянно видели совсем иные картины: мрачный подвал, у самой двери — печь, ухваты, кочерги да лопаты, полное до краев помойное ведро. Возле печи, у помойного ведра,— кровать из трех досок. На кровати — ребятишки, много, не сглазить бы, ребятишек — мал мала меньше, полураздетые, разутые, немытые, вечно голодные. До ушей Шимен-Эле доносились совсем иные голоса: «Мама, хлеба!», «Мама, булки!», «Мама, кушать!..» И покрывал все эти голоса голос Ципе-Бейле-Рейзы: «Кушать? Чтоб вас черти не ели, господи милосердный, вместе с вашим дорогим отцом-недотепой!», «Чтоб вас черт не побрал вместе с ним!» Нос Шимен-Эле привык к другим запахам: к запаху сырых стен, которые зимою мокнут, а летом зацветают плесенью; к запаху кислого теста с отрубями, лука и капусты, сырой глины, чищеной рыбы и потрохов; к запаху ношеного платья, бьющему в нос из-под накаленного утюга вместе с паром...

Вырвавшись на миг из убогого, гнетущего, мрачного мира в новый, яркий, вольный свет, наш Шимен-Эле почувствовал себя как человек, в знойный летний день окунувшийся в море: вода несет, волны подхлестывают, он ныряет, ныряет и, всплывая, дышит полной грудью... Наслаждение, рай земной!..

«И что бы, казалось, мешало господу богу,— думал Шимен-Эле,— что бы ему мешало, если бы каждый труженик, к примеру, мог ежедневно или хотя бы раз в неделю выходить сюда в поле и вкушать от благ божьего мира? Эх, мир! До чего он хорош!..» И Шимен-Эле начал, по своему обыкновению, напевать молитвы, толкуя их на свой лад:

«Сотворил ты — создал ты, господи, *свою вселенную* — мир твой, *издревле* — по ту сторону города! *Избрал ты нас* — и об-

рек ты нас на жизнь в Злодеевке, в тесноте и в духоте. *И дал нам* — и отпустил же ты нам, господи, горестей и болячек, нищеты и лихоманки — *по милости твоей великой* — ой-ой-ой!..»

Так напевал Шимен-Эле про себя, и хотелось ему вот здесь, вот сейчас, в поле, броситься на зеленую траву, хоть на мгновение забыть обо всем и насладиться жизнью. Но, тут же вспомнив, что у него неотложное дело, он сказал себе: *«Стоп, машина!* Хватит, Шимен-Эле, распевать! *Отправляйся к праотцам* — шагай, брат, шагай! Отдохнешь, даст бог, в «дубовой» корчме. Ее арендует как-никак родственник, шинкарь Додя. Там в любое время можно рюмочку тяпнуть... Как в Писании сказано: *«Изучение Торы превыше всего»* — сиречь: стопочка горькой — великое дело...» И Шимен-Эле Внемли Гласу двинулся дальше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Среди дороги — как раз на полпути между Злодеевкой и Козодоевкой стоит в поле корчма, известная под названием «Дубовой». Корчма эта таит в себе неведомую силу; точно магнит притягивает она извозчиков и пассажиров, направляющихся из Злодеевки в Козодоевку и возвращающихся из Козодоевки в Злодеевку. Никто не может миновать «Дубовую»,— хотя бы на несколько минут, да остановится! Тайна этой притягательной силы никем по сей день не разгадана! Некоторые объясняют ее тем, что хозяин корчмы, шинкарь Додя,— в высшей степени любезный и гостеприимный человек, то есть за деньги он вам всегда поднесет добрую чарку водки и наилучшую закуску; другие усматривают причину в том, что Додя якобы принадлежит к числу тех, которых именуют «ведунами» или «прорицателями», а означает это вот что: хотя сам он краденым и не торгует, но со всеми знаменитыми ворами запанибрата... Однако доподлинно никто ничего не знает, и лучше об этом помолчать...

Додя этот был арендатором. Волосатый толстяк с огромным животом и носом картошкой, Додя не говорил, а ревел, точно бык. Жил он припеваючи, имел несколько коров. Не хватало ему, как говорится, разве что головной боли... К тому же он на старости лет остался вдовцом. Человек он был невежественный: ему что книга покаянных молитв, что пасхальное сказание, что сборник послеобеденных благословений — все едино. Поэтому-то портной Шимен-Эле стеснялся своего родства с ним:

не пристало ему, Шимен-Эле, грамотею и синагогальному старосте, иметь родственником невежду шинкаря... А Доде, со своей стороны, было стыдно, что родственником ему приходится какой-то плюгавый портняжка... В общем, оба они тяготились друг другом. Тем не менее, когда Додя увидел Шимен-Эле, он весьма радушно приветствовал его, так как втайне побаивался не столько родственника, сколько его языка.

— О! Гость! Какой гость! Как жив-здоров, Шимен-Эле? Как поживает твоя Ципе-Бейле-Рейза? Как детишки?

— А-а! *Что мы и что наша жизнь?*.. Как нам поживать? — ответил Шимен-Эле, по своему обыкновению, словами молитвы.— Как это говорится: *«Кто от бури, а кто от чумы...»* Иной раз так, иной раз этак... Главное — быть здоровым, как в Писании сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ дефаршмахтэ декурносэ...»* Как вы живете, дорогой родственничек? Что у вас в деревне нового? *«Запомнилась нам рыба»* — я до сих пор забыть не могу ваши прошлогодние вареники и выпивку... А ведь для вас — это главное. Заглядывать в книгу вы, я знаю, не охотник... *«Зачем возмущаться, народы?»* — на что вам священное слово? Эх, реб Додя, реб Додя! Если бы ваш отец, дядя Гдале-Волф, царство ему небесное, встал из гроба и взглянул на своего Додика, как он живет в деревне, среди неучей, он бы сызнова умер! Ах, и отец же был у вас, реб Додя! Святой жизни человек, да простит он меня: пил мертвую... Словом, *«несть человека без своих горестей»* — о чем бы ни говорить, все равно о смерти вспомнишь... Что ж, поднесите стаканчик, как наш учитель раби Пимпом говорит: *«Кафтан — в залог, а стакан — на стол!..»*

— Уже? Пошел сыпать изречениями? — сказал Додя, подавая ему водку.— Скажи-ка мне лучше, Шимен-Эле, куда ты едешь?

— Не еду я,— ответил Шимен-Эле, опрокидывая рюмку,— пешком иду. Как в молитве сказано: *«Имеют ноги, а не ходят»* — сиречь: есть ноги, не хвор и пешком шагать...

— В таком случае,— спросил Додя,— скажи мне, сердце, куда же ты шагаешь?

— Шагаю,— ответил Шимен-Эле, осушив вторую рюмку,— в Козодоевку,— коз покупать. Как в Писании сказано: *«Коз сотвори себе»* — покупай себе коз...

— Коз? — удивленно переспросил Додя.— С каких это пор портные торгуют козами?

— Это только так говорится: «коз»,— пояснил Шимен-Эле.— Я имею в виду одну козу. Авось господь поможет недорого купить при случае хорошую козу. То есть я бы не стал по-

купать, но жена моя, дай ей бог здоровья, Ципе-Бейле-Рейза то есть... Вы ведь ее знаете... Уж если она заупрямится... Криком кричит: хочу козу! А жену, говорите вы, слушаться надо! Ведь прямо так и сказано в Талмуде. Вы помните, как там говорится?

— В этих делах,— сказал Додя,— ты лучше меня разбираешься. Ты ведь знаешь, что я с этим... с этим Талмудом не шибко в ладах. Одного только не пойму я, дорогой мой родственник, откуда ты знаешь толк в козах?

— Вот тебе и на! — обиделся Шимен-Эле.— А откуда шинкарю знать толк в молитвах? Тем не менее, когда приходит пасха, вы, с божьей помощью, отбарабаниваете молитвы Судного дня как полагается? Не так ли?

Додя понял намек. Он закусил губу и подумал: «Погоди, погоди, портняжка! Что-то ты сегодня больно хорохоришься! Что-то ты чересчур своей ученостью бахвалишься! Устрою же я тебе козу — почешешься!..»

А Шимен-Эле велел налить себе еще стаканчик того самого горького зелья, что исцеляет от всех бед. От правды не уйдешь: Шимен-Эле любил выпить, но пьяницей он, конечно, не был. Упаси бог! Да и когда он мог себе позволить рюмочку водки?.. Беда только в том, что, пропустив одну рюмочку, он никак не мог отказать себе во второй, а от двух рюмок настроение у него сразу подымалось, на щеках выступал румянец, глаза загорались, а язык — язык развязывался и трещал без устали.

— Я насчет того, что вы говорите «цех»,— начал Шимен-Эле,— цех, игла да утюг. Наш брат мастеровой отличается тем, что каждому нравятся почести... А почет, говорят, не живет без хлопот. Любой ледащий сапожник и тот хочет начальником быть, хотя бы над помойной лоханью. А я им говорю: «Братцы, *«недостоин я милостей»*,— на черта мне это нужно! Выберите себе сапожника в старосты. *«Ни жала, ни кружала...»* Не надо мне ваших почестей, и не хочу я оплеух!» А они мне: «Ерунда! Что цех порешил, то свято!» Но ведь это же, говорю я, как в Писании сказано: *«Если есть на тебе облачение, будь нам вождем!»* То есть оплеухи получай, а старостой будь! Однако хватит. Заговорился я с вами, совсем забыл, что на мне еще коза. *«А день еще велик...»* Время на месте не стоит. До свидания, реб Додя. *«Крепись, крепись!»* Будьте здоровы и крепки и готовьте вареники!

— Так ты смотри же не забудь,— сказал шинкарь,— на обратном пути обязательно остановись у меня!

— Если богу будет угодно! — ответил Шимен-Эле.— Но

обещаю, но постараюсь! Конечно, а как же иначе? Ведь мы всего лишь грешные люди, плоть да кровь, как говорится... Вы только, реб Додя, приготовьте добрую чарку водки и закуску, магарыч то есть, как подобает нашему брату мастеровому!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И изыде Шимон-Элиогу из «Дубовой» — и вышел Шимен-Эле из корчмы в приподнятом настроении, немного навеселе, *и прииде* — и прибыл благополучно, в добром здравии, в Козодоевку. А по прибытии в Козодоевку стал расспрашивать, где здесь проживает реб Хаим-Хоне Разумник, имеющий жену Теме-Гитл Молчальницу с двумя дойными козами?

Долго расспрашивать не пришлось, потому что Козодоевка не бог весть какая столица, чтобы в ней, упаси бог, заблудиться. Все местечко перед глазами как на ладони: вот мясные лавки с мясниками, мясорубами и с голодными собаками; вот базар, где женщины, разутые, в чулках, носятся от одной крестьянки к другой и все разом щупают одного петуха.

— Чуешь? Чуешь? А що тоби за курку?

— Яка курка? Це пивень [1], а не курка!..

— Нехай буде пивень! А що тоби за курку?

В двух шагах отсюда — синагогальный двор. Здесь сидят старухи, торгующие мелкими грушами, подсолнухами и бобами; здесь же меламеды обучают ребят... Дети кричат, козы — бесконечное количество коз! — прыгают, таскают солому с крыш, либо лежат на земле, трясут бородками, греются на солнце и жуют жвачку.

А вот и баня с черными от копоти стенами. Рядом речушка, подернутая зеленым слоем ряски, кишащая пиявками и квакающими лягушками. Речушка сверкает на солнце, отливает всеми цветами радуги и распространяет нестерпимое зловоние.

А там, по ту сторону речушки, нет ничего, только небо да земля — кончилась Козодоевка!

Когда портной вошел к реб Хаим-Хоне Разумнику, он застал его за работой. В широком талескотне, с островерхой ермолкой на голове, меламед сидел в кругу своих учеников и вместе с ними громогласно, нараспев, изучал трактат Талмуда:

---

[1] Петух *(укр.)*.

«И оная коза, завидев на поверхности бочонка снедь, дорвалась до этой снеди...»

— Цафро тово, лемо́рей дехайто, декупо демахто!..— отчеканил Шимен-Эле Внемли Гласу мудреное приветствие на арамейском языке и тут же перевел его на простой разговорный: — Добрый день да ворвется к вам, уважаемый ребе, и к вашим ученикам! Вы, слышу я, толкуете с ними как раз о деле, ради которого я и потрудился прибыть к вашей супруге, госпоже Теме-Гитл, то есть насчет козы... Вообще-то я не стал бы покупать козу, но жена моя Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась... Криком кричит: хочу козу! А жену, как вы сами знаете, надо слушать! Ведь в Талмуде прямо так и сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ дефаршмахтэ декурносэ...»* Что вы на меня уставились? *«Не смотри в стакан, а смотри в бутылку»*,— вы не смотрите на то, что я мастеровой,— *«в труде рук твоих — благо твое!»* Вы, наверное, слыхали обо мне... Я — Шимен-Эле, портной из священного города Злодеевки, цеховик и староста в синагоге, хотя на черта мне это нужно... *«Ни жала, ни кружала...»* Не надо мне, говорю я им, почестей и не хочу оплеух! Но они отвечают: «Ерунда! Что цех порешил, то свято! Если есть на тебе облачение, будь нам владыкой»,— оплеухи получай, а старостой будь... Однако я немного заговорился и чуть не забыл поздороваться с вами. Мир вам, ребе! Мир вам, ребятишки, святые овечки, шалуны, озорники, сорвиголовы! Вам бы так плясать хотелось, как учиться хочется! Угадал, не правда ли?..

Услыхав такие речи, ученики начали тайком щипать друг друга и фыркать, давясь от смеха. Они были чрезвычайно довольны гостем и ничего не имели бы против того, чтобы почаще приходили такие посетители! Но Хаим-Хоне Разумник не разделял радостных чувств своих питомцев. Он не любил, чтобы ему мешали. Поэтому он позвал свою жену, Теме-Гитл, а сам вернулся с учениками к козе, которая дорвалась до снеди, и распелся во весь голос:

— «И присудил Рово...» — и постановил: *«Она обязана возместить полностью убыток, уплатить и за снедь и за бочонок...»*

Сообразив, что с меламедом ему говорить не о чем, Шимен-Эле принялся за его жену. И в то время как супруг ее с учениками занимался козой из Талмуда, Шимен-Эле беседовал с Теме-Гитл о ее собственной козе.

— Я, как видите, человек мастеровой! — заявил он.— Может быть, вы обо мне слышали... Я — Шимен-Эле, портной из города Злодеевки, цеховик и староста портновской синагоги...

Хотя на черта мне это нужно! *«Ни жала, ни кружала...»* Не надо мне, говорю я, оплеух и не желаю почестей... А пришел я к вам, стало быть, насчет одной из ваших коз. То есть я не стал бы покупать козу, но жена моя, Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась... Криком кричит: хочу козу! И все тут! Ну, а жену, вы сами говорите, надо слушать... В Талмуде буквально так и сказано...

Теме-Гитл, маленькая женщина с похожим на фасоль носиком, который она то и дело вытирала двумя пальцами, послушала-послушала, а затем перебила:

— Значит, вы пришли торговать у меня одну из моих коз? Так вот я должна сказать вам, дорогой мой, во-первых, я вовсе не собираюсь продавать козу. Потому что,— давайте говорить начистоту,— зачем мне это делать? Ради денег? Но что такое деньги? Деньги — они круглые! Деньги уходят, а коза остается козой, тем более такая коза! Разве это коза? Это мать, говорю я вам, а не коза! Как она, не сглазить бы, легко доится! А сколько молока дает! Да и что она ест? Разве она ест? Раз в день пойло из отрубей, а там солому с крыши... Но, с другой стороны, если бы мне дали хорошую цену, то я бы подумала: деньги, как вы говорите, приманка, за деньги я и другую козу могу купить, хотя такую, как моя, не так-то легко достать. Разве это коза? Мать, а не коза! Но что толку в словах? Вот я приведу сюда козу, и вы сами увидите!..

Теме-Гитл убежала, тут же привела козу и показала полную крынку только сегодня надоенного молока.

Увидев молоко, портной даже облизнулся и спросил:

— Скажите же мне, дорогая, какая ей будет цена? То есть *«сколько достоинств»* — я хочу сказать, сколько, к примеру, вы намерены запросить за вашу козу? Если цена несходна, то я и покупать не стану. Знаете почему? Потому что нужна она мне, как пятое колесо! Да вот жена моя, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась, криком кри...

— Что значит «сколько»? — перебила его Теме-Гитл, утирая свой носик.— Назовите вашу цену, а мы послушаем! Одно могу вам сказать, слышите: сколько бы вы ни заплатили, вы покупаете по дешевке! Знаете почему? Потому что если купите у меня козу, то будете иметь ко-зу...

— Сказали тоже! — в свою очередь, перебил ее портной.— Потому-то я ее и покупаю, что она коза, а не чучело гороховое! То есть я бы вообще не стал ее покупать, потому что нужна она мне, как собаке пятая нога. Но так как жена моя, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась, криком кри...

— Вот об этом-то я и говорю,— не дожидаясь конца, затараторила Теме-Гитл и снова начала перечислять достоинства своей козы.

Но портной не дал ей договорить и перебил ее. И так перебивали они друг друга до тех пор, пока не заговорили вместе, так что получилась форменная мешанина: «Это коза? Мать, а не коза!» — «Я не стал бы покупать...» — «Пойло из отрубей...» — «Но она, понимаете, заупрямилась...» — «Деньги — они круглые...» — «А как она, не сглазить бы, легко доится!» — «То есть Ципе-Бейле-Рейза...» — «Разве она ест?..» — «Криком кричит...» — «Солому с крыши...» — «Жену слушать надо...» — «Коза? Мать, а не коза!..»

— Может, хватит вам «козить»? — вмешался в разговор Хаим-Хоне Разумник и обратился к жене: — Слыханное ли дело? Тут люди делом заняты, а они: коза-коза, коза-коза! Одно из двух: либо продай ему козу, либо не продавай ему козы! А то — «коза-коза, коза-коза»! У меня уже в голове «закозело» от вашей козы!

— Правильно! — отозвался Шимен-Эле.— *Где учение, там и премудрость!* Одно из двух, о чем тут долго говорить? *«Мое серебро, мое и злато»:* мои деньги — ваш товар. Слово за слово и — по рукам! Как в молитве сказано...

— На что мне ваши молитвы? Вы лучше скажите мне, сколько вы даете за козу? — шепотом проговорила Теме-Гитл, изгибаясь при этом по-кошачьи и вытирая губы.

— Вот тебе и на! — так же тихо ответил Шимен-Эле.— Что значит — скажите мне? Что я за сказитель такой? Нет, вижу, я напрасно трудился! Не купить мне сегодня козы! Извините за беспокойство!..

И, повернувшись к дверям, Шимен-Эле сделал вид, что собирается уходить.

— Смотрите пожалуйста! — всполошилась Теме-Гитл и схватила портного за рукав.— Что это вам так некогда? Река, что ли, загорелась? Ведь вы же как будто завели разговор насчет козы...

Словом, Теме-Гитл назвала свою цену, портной — свою; она уступила, он прибавил,— тыщей больше, тыщей меньше,— поладили. Шимен-Эле отсчитал денежки и, сняв с себя поясок, привязал козу. Теме-Гитл поплевала на вырученные деньги, пожелала портному счастья и, что-то при этом шепча и поглядывая то на деньги, то на козу, проводила портного.

— Идите подобру-поздорову, и будьте здоровы, и пользуйтесь на здоровье, и дай бог, чтоб она была такою же, как до сих

пор, не хуже,— а хорошему конца-краю нет! И пусть она у вас живет и живет и доится, не переставая...

— Аминь! И вам того же! — ответил портной и направился к дверям.

Но коза не желала идти, стала вертеть рогами, упираться задними ногами, блеять, как молодой кантор, впервые выступающий у аналоя: *«Че-е-м я провинилась? Че-е-е-м согрешила?»* Куда, мол, вы меня тащите?

Тогда соблаговолил подняться сам Хаим-Хоне Разумник и своей плеткой помог выпроводить козу за двери.

А ученики в один голос подгоняли:

— Эй, коза, коза! Пошла, коза!

И отправился портной своим путем-дорогою.

ГЛАВА ПЯТАЯ

И воспротивилась — и не пожелала она, коза то есть, следовать за портным в Злодеевку,— ни за что на свете! Она изо всех сил порывалась обратно домой. Однако ничто ей не помогло. Шимен-Эле тянул ее за поводок и втолковывал, что напрасны все старания,— ни боданье, ни блеянье ни к чему не приведут.

— Сказано у нас в Писании,— говорил он козе,— *«вопреки воле своей живешь ты»* — по нужде влачишь ты свое существование, хочешь ты или не хочешь, никто тебя об этом не спрашивает. Я и сам когда-то, не теперь будь помянуто, был вольной пташкой, парень не хуже других, носил жилетку, сапожки со скрипом — фу-ты ну-ты... Чего мне недоставало? Головной боли? Но господь бог сказал: *«Изыди из земли своей»* — полезай, Шимен-Эле, в мешок! Женись на Ципе-Бейле-Рейзе! Плоди детей! Мучайся и мытарься всю свою жизнь! *«Ибо для того ты создан»* — на то ты и портной!..

Так говорил Шимен-Эле, обращаясь к козе и шагая быстро, чуть ли не бегом. Теплый ветерок раздувал полы его заплатанного кафтана, забирался под пейсы, поглаживал бородку и подносил к самому носу пряный аромат мяты, ромашки и прочих полевых цветов, издающих непривычное для портного благоухание.

От восторга он начал читать предвечернюю молитву, в которой перечисляются «бальзам, фимиам, гвоздика, ладан, благовонные смолы» и прочие курения и пряности. Читал он на-

распев, совсем как в синагоге... Шимен-Эле уже собирался «отстрочить» таким манером всю службу. Но вдруг... откуда ни возьмись налетел злой дух-соблазнитель и шепнул портному на ухо:

— Слышь ты, дурья голова! Чего ты распелся натощак? Ведь уже скоро ночь, а у тебя за весь день, кроме двух рюмок водки, маковой росинки во рту не было. Кроме того, ты ведь свято обещал своему родственнику на обратном пути, коли даст бог, с козой идучи, обязательно зайти и закусить у него! Дал слово — держи! Язык — не помело!

И, второпях закончив молитву, Шимен-Эле весело завернул к шинкарю.

— Добрый вечер, дорогой родственник реб Додя! Могу сообщить вам добрую весть. Поздравьте меня: *«Я жил у Лавана»*,— купил-таки козу! Да еще какую козу! Всем козам — коза! Праотцам нашим не снилась... Можете взглянуть на нее и сказать свое мнение,— ведь вы же как-никак человек ученый! А ну-ка, угадайте, *«сколько казней египетских»*,— то есть сколько я должен был за нее заплатить?

Додя приложил руку к козырьку, заслоняя глаза от солнца, заходившего за позолоченный край неба, с видом большого знатока осмотрел козу и оценил ее ровно вдвое дороже того, что заплатил портной. Это так расположило Шимен-Эле, что он даже хлопнул шинкаря по спине:

— Реб Додя, сердце мое! Дай вам бог здоровья! *«Справедливы слова твои»*,— на сей раз вы не угадали! Столько бы счастливых лет нам обоим...

Додя выпятил губы, покачал головой и произнес: «Фу-фу-фу!» — точно желая сказать: «Дешевка! Ворованное и то дороже!»

А Шимен-Эле склонил голову набок и ухватился согнутым пальцем за жилет, точно собираясь вынуть иголку и вдеть в нее нитку.

— Ну, реб Додя! Что скажете? Умеет наш брат дела обделывать? А? Посмотрели бы вы еще, как она, не сглазить бы, доится,— вы бы тут же на месте окочурились!

— Можешь сам окочуриться! — ответил Додя.

— Аминь! И вам того же! — сказал Шимен-Эле.— Уж если я для вас и в самом деле такой желанный гость, возьмите, пожалуйста, козу и устройте ее где-нибудь в хлеву, чтобы не утащили, упаси боже! Я тем временем отбарабаню вечернюю молитву, с предвечерней я уже разделался по дороге, а потом пропустим по маленькой и закусим, как в Писании сказано: *«Эйн*

койцим бифройцим» — не поевши, не спляшешь... Сказано так в Писании или нет?

— Что за вопрос? Раз ты говоришь, сказано,— значит, сказано. На то ты и книжник.

Помолившись как полагается, портной обратился к Доде:

— Уж ежели стряслась такая беда, то *«утоли алкание мое из того красного»,*— то есть нацедите, будьте добреньки, из той зеленой бутылочки, хватим по капельке горькой и давайте будем здоровы! Здоровье, знаете, это самое главное! Как это мы каждый день в молитве говорим: *«Усыпи нас»* в добром здравии.

Маленько выпив и закусив, наш портной разговорился и стал рассуждать о Злодеевке, о тамошней общине, о делах синагогальных, о цехе, о портновском ремесле... «Наш брат мастеровой... Утюг да ножницы». Попутно он уничтожил злодеевских старост и богачей с их порядками и клялся,— не будь он Шимен-Эле! — что всех их следовало бы сослать в «Симбирь»!

— Знаете, реб Додя! — закончил свою тираду Шимен-Эле.— Сказано в Писании: *«Роющий яму...»* Черт бы их батьку взял, благодетелей наших! Только и знают, что кровь сосать да шкуру сдирать с нашего брата бедняка! За ссуду в три целковых я — слышите! — четвертак в неделю плачу! Но ничего! Я помалкиваю... попадутся они еще в другие руки! И на них придет время! Ничего, они еще от господа бога ручательства не получали! Моя жена, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, говорит, что я никудышник, размазня, потому что, будь моя воля, я мог бы их припугнуть... Но кто станет слушать жену? Мое слово тоже чего-нибудь стоит! У нас в Священном писании так прямо и сказано: *«Он да властвует над тобой...»* А как это истолковать, вы знаете? Ведь это же замечательно! Вы только вслушайтесь: *«Он»,* то есть муж, *«да властвует»,* то есть будет полновластным хозяином!.. Но... В чем же дело? *«Начав падать, не остановишься...»* Уж ежели начали наливать, налейте еще рюмочку... Как в Талмуде сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ...»*

Чем дальше, тем сильнее у Шимен-Эле стал заплетаться язык, глаза начали слипаться, и, наконец, он привалился к стенке и задремал. Голова у него склонилась набок, руки он сложил на груди, ухватившись тремя пальцами за кончик козлиной бородки, и выглядел как человек, погруженный в глубокое раздумье. Если бы Шимен-Эле при этом не посвистывал носом, не похрапывал и не цедил сквозь зубы «тц-тц-тц», никто не сказал бы, что он спит. Однако, хоть он и дремал, голова продолжала работать, и снилось портному, что он дома, за рабо-

чим столом. На столе разложено некое странное одеяние, даже трудно угадать какое. Сказать, что это пара штанов, но где же шаг? Никаких следов шага нет! Жилет? Но откуда взялись такие длинные рукава? А если это ни то, ни другое, так что же это? Не может же это быть ничем! Шимен-Эле выворачивает одежу наизнанку... Оказывается, это кафтан! Да еще какой кафтан! Новенький, блестящий, атласный. Никогда в жизни не приходилось ему держать в руках такую вещь! Но Шимен-Эле нет до этого никакого дела: он достает из жилетного кармана ножик и ищет шов, чтобы начать пороть. Хорошо, что в это время появляется Ципе-Бейле-Рейза и начинает ругать и проклинать его:

— Чтоб тебе брюхо распороли, кишки выпустили, негодник этакий, огурец зеленый, фасоль моя распрекрасная! Ведь это же твой субботний кафтан, который я тебе справила на свои деньги, что я накопила благодаря козе.

И Шимен-Эле вспоминает, что у него, с божьей помощью, есть коза. Какая это радость! Он за всю свою жизнь не видел столько крынок молока! Столько мешочков творога! А масла, масла — полные макитры! А пахта, а сыворотка, а жирная простокваша с жирными «льдинами» на ней! Бесконечное количество сдобных булок, плюшек на масле, обсыпанных сахарным песком и корицей... И запах, запах! Какой-то особенный запах, знакомый!.. Фу! Шимен-Эле чувствует, как что-то ползет у него по шее, за воротом, за ухом, по лицу... Что-то щекочет его и издает зловоние, бьющее прямо в нос. Он проводит пальцами по лицу и нащупывает клопа... Раскрывает один глаз, другой, смотрит в окно — батюшки! Ох ты, горе горькое! Уже светает!..

«Вот так так! Здорово вздремнул!» — произносит про себя Шимен-Эле, передергивая плечами. Разбудив корчемника, Шимен-Эле выбегает во двор, открывает хлев, хватает козу за ремешок и устремляется домой, как человек, который боится опоздать и упустить бог весть что...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«А благоверная...» Тем временем Ципе-Бейле-Рейза, видя, что мужа так долго нет, никак не могла понять, что бы это значило. Она уже стала думать, не случилось ли, упаси бог, несчастья... А вдруг на него в пути напали разбойники, отобрали

у него деньги, а самого зарезали и кинули куда-нибудь в яму... А она, Ципе-Бейле-Рейза, осталась навеки одна со столькими, не сглазить бы, детьми... Хоть с моста да в воду!.. Такие и им подобные мысли в ту ночь одолевали Ципе-Бейле-Рейзу и не давали ей глаз сомкнуть. Как только прокричал первый петух, она вскочила, накинула на себя платье и вышла за порог — дожидаться мужа, авось господь бог смилостивится, и он придет... *«Такой уж если пойдет, то...»* — думала она, готовясь устроить ему достойную встречу.

Однако, когда она увидела Шимен-Эле с козой на поводке, у нее отлегло от сердца, и она встретила мужа приветливо.

— Что так долго, птичка моя? Ведь я уж подумала, что ты сквозь землю провалился, сокровище мое драгоценное, или какое-нибудь несчастье приключилось, упаси бог!

Шимен-Эле отвязал поясок, поставил козу в сенях и начал сыпать как из мешка, заговаривать жене зубы:

— Слышь, жена, купил я тебе козу... Всем козам — коза! Подождут еще наши здешние хозяйки, покуда им приснится такая коза! Она и ест-то всего ничего! Раз в день пойло из отрубей, а потом немного соломы с крыши... А молока дает, не сглазить бы, не хуже коровы, дважды в день доится. Я сам видел полный подойник, дай мне бог так видеть все самое лучшее! Разве это коза? Мать, а не коза! Так она говорит, Теме-Гитл то есть. Это — находка, чуть не даром! Еле-еле выторговал за шесть с полтиной! А сколько пришлось разговаривать и торговаться! Да она вообще продавать не хотела! Еле уломал! Камни ворочал! Ночь напролет...

А Ципе-Бейле-Рейза в это время думала: «Нехаме-Броха,— болячку бы ей, да побольше! — воображает, что одна она хозяйка, что только у нее есть коза, а больше ни у кого! Как бы у нее глаза не вылезли, когда она увидит, что у Ципе-Бейле-Рейзы, жены Шимен-Эле, тоже есть коза!.. А Блюме-Злата? А Хае-Мейта? Совсем, казалось бы, как родные сестры! Половину бы им того, что они желают мне, господи боже мой!»

Размышляя таким образом, она затопила печку и принялась готовить молочную лапшу на завтрак, а Шимен-Эле надел талес и филактерии и встал на молитву. Молился он в этот день особенно горячо, от души,— давно уже так не молился! — распевал «аллилуйю», подражал кантору, прищелкивал пальцами и разбудил своим пением детей. Ребятишки, узнав от матери, что отец привел козу и что варится лапша с молоком, развеселились, соскочили с кроватей и в одних рубашон-

ках, взявшись за руки, пустились в пляс, напевая при этом тут же сложенную ими песенку:

Коза, коза, козочка!
Купил папа козочку!
Козочка даст молочка,
Мама сварит нам лапшу!..

Глядя на поющих и пляшущих детей, Шимен-Эле таял от радости. «Бедняжки,— думал он,— никогда молочка не видят. Ну ничего, теперь, даст бог, сыты будете. Каждый день будете получать по стаканчику молока, кашу с молоком, к чаю молоко... Коза — великое дело! Что мне теперь Фишл-откупщик! Плевать я на него хотел! Не хочет давать мяса? Одни кости дает? Да подавись он ими! На что мне его мясо, когда у меня имеется молоко? А на субботу? На субботу можно и рыбу купить. Где сказано, что нужно обязательно есть мясо? Я такого закона нигде не встречал!.. Если бы все евреи послушались меня, они купили бы себе коз. И хотел бы я тогда посмотреть, как выглядел бы наш толстопузый откупщик! Черт бы тогда его душу взял!»

Так раздумывал Шимен-Эле Внемли Гласу, складывая свое молитвенное облачение. Потом помыл руки, отрезал хлеба и приготовился к молочной трапезе. Но в это время распахнулась дверь, и в дом влетела взбешенная Ципе-Бейле-Рейза с пустым горшком в руках, лицо ее пылало от гнева. И на голову Шимен-Эле обрушился ливень проклятий и ругательств. Нет, это были не проклятия — камни низвергались с небес, потоки горящей смолы вырывались у нее изо рта:

— Отца твоего, пьяницу, могила бы извергла, а тебя на его место! В камень, в кость превратиться тебе! Чтоб ты провалился! Чтоб тебя из ружья застрелило! Вешать бы тебя и топить, жечь и поджаривать, резать и крошить!.. Поди, разбойник, злодей, изверг этакий, поди посмотри, что за козу ты мне привел! Ах ты, лихо на твою голову, на руки да на ноги, господи милосердный, отец родимый!

Остального Шимен-Эле уже не слыхал. Он нахлобучил шапку и вышел в сени взглянуть на постигшую его беду.

Выйдя за двери и увидев приобретенное им сокровище, привязанное к колышку и равнодушно жующее жвачку, Шимен-Эле был ошеломлен и не знал, что делать, куда пойти... Он постоял, подумал-подумал и наконец произнес про себя:

— *«Умри, душа моя вместе с филистимлянами!»* Черт их, положим, заберет, этого меламеда с его благоверной вместе! Нашли, с кем шутки шутить! Я им такие шутки покажу, что у

них в глазах потемнеет! Казалось бы, такой тихоня этот меламед, совсем не касается мирских дел... А на поверку — такая история! Недаром мальчишки хихикали, когда он выпроваживал меня с этой козой! А жена еще пожелала мне на прощание, чтоб коза доилась и доилась... Я им покажу, что значит доить! Соки все из них выдою, из этих козодоевских святош, тунеядцев, пересмешников!..

Так рассуждал Шимен-Эле и отправился обратно в Козодоевку с намерением устроить «концерт», от которого не поздоровится меламеду и его жене.

Увидев у дверей «Дубовой» корчмы шинкаря с трубкой в зубах, наш портной еще издали рассмеялся.

— Что это тебе так весело? — спросил Додя.— Чего ты смеешься?

— Взгляните, пожалуйста, может, и вы посмеетесь! — сказал портной и еще пуще расхохотался, точно черти его щекотали.— Как вам нравится, реб Додя, такая, к примеру, напасть? *«Всякий человек ложь»* — ни одна беда меня стороной не обходит! Понимаете, какая история? Ох, и получил же я нахлобучку от жены, то есть от Ципе-Бейле-Рейзы, дай ей бог здоровья! Уж она задала мне — *«и по колеснице и по коням»,* не поскупилась, да и натощак к тому же! Пусть все это сбудется на проклятом меламеде и на его жене! Можете мне поверить, что я не смолчу! Воздам *«око за око»* — оплеуху за оплеуху! Я терпеть не могу, когда со мной шутки шутят! А ну, дайте-ка, реб Додя, с горя горло промочить, чтоб сил хватило разговаривать и чтоб душа не ныла... Лехаим! Будем здоровы, реб Додя! Как сказано: *«Ныне день великого суда...»* — главное, не тужить! Будьте уверены, уж я им покажу, как шутки шутить с нашим братом, цеховиком, утюг да ножницы, черт возьми!

— А кто тебе сказал, что это шутка? — спросил, прикидываясь дурачком и попыхивая трубочкой, шинкарь.— Может, вы там не столковались как следует?

Шимен-Эле даже подскочил на месте.

— Сказали тоже! Что вы такое болтаете? Вы понимаете, что говорите? Прихожу специально покупать козу, толкую людям яснее ясного: козу, понимаете, ко-зу... А вы говорите...

Додя продолжал курить, пожимая плечами, и разводил руками, точно желая сказать: «А я тут при чем? Я-то ведь и вовсе не виноват...»

И Шимен-Эле, схватив козу, направился в Козодоевку. *«И ярость загорелась в нем»* — а гнев пылал в нем ярким пламенем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

А обучающий меламед тем временем занимался своим делом, то есть сидел с учениками все над тем же трактатом об убытках, и крики их оглашали весь двор синагоги: *«И она вильнула хвостом»* — и она, корова то есть, ударила хвостом и разбила кувшин...

— Мир вам, мир наставникам и питомцам! Доброго утра, ребе, вам и вашим ученикам! — произнес, войдя, Шимен-Эле.— Можете прервать на минуточку! Ничего не случится: корова не убежит, а кувшин все равно целым не станет. Скажу вам коротко: сыграли вы со мною шутку! Может, вы и пошутили, но я, знаете ли, *«люблю послушание»,* я таких шуток терпеть не могу! Ведь вы, наверное, слыхали историю о тех двоих, которые в канун субботы мылись в бане на верхнем полке́? Один говорит другому: «Вот тебе мой веник, попарь меня!» А тот, не долго думая, взял веник, да и отделал его честь честью, до крови. Тогда побитый и говорит: «Дело вот в чем. Если ты хотел со мной рассчитаться и воспользовался тем, что я лежу на верхнем полке голый, а у тебя веник в руках, то ты, пожалуй, прав. Но если ты это сделал шутки ради, то должен тебе сказать, что мне такие шутки не нравятся!..»

— Это вы к чему? — спросил меламед, сняв очки и почесывая ими в ухе.

— А это я насчет вас самих и насчет замечательной козы, которую вы мне всучили нечаянно, то есть смеха ради! Но только от такого смеха, знаете ли, можно себе животики надорвать!.. Вы не думайте, что имеете дело с каким-нибудь портняжкой! Я — Шимен-Эле, портной из города Злодеевки, цеховик и староста в портновской синагоге, мы — люди мастеровые, утюг да ножницы, черт возьми!

При последних словах Шимен-Эле даже подпрыгнул, а меламед снова надел очки и стал разглядывать его, как больного, который бредит... Ученики задыхались от распиравшего их смеха.

— *«За что причинил ты зло народу сему?»* По какому случаю вы смотрите на меня, как на шута горохового? — спросил уже в сердцах Шимен-Эле.— Я прихожу к вам покупать козу, а вы мне всучили черт знает что!

— Вам не нравится коза? — недоуменно спросил меламед.

— Коза, говорите вы? Это такая же коза, как вы — губернатор!

Ученики покатились со смеху. Но в это время вошла Теме-Гитл Молчальница, и тут только и пошло все по-настоящему: Шимен-Эле говорит, а Теме-Гитл надрывается, Хаим-Хоне Разумник сидит и наблюдает, а ученики хохочут... Наконец Теме-Гитл рассердилась не на шутку, схватила портного за руку и потащила:

— Идем! Пойдем к раввину! Пусть люди видят, как злодеевский портной придирается, выдумывает, клевещет!

— Пойдем! — согласился Шимен-Эле.— Вот именно, пускай видят, как порядочные люди, люди, можно сказать, духовного звания, поймали чужого человека и строят из него дурака... Как в молитве сказано: *«На позор да на посмешище...»* Пойдемте и вы, уважаемый ребе! — обратился он к меламеду.

Хаим-Хоне надел поверх ермолки плисовый картуз, и решено было, что к раввину идут все четверо: портной, меламед, его жена и коза.

Компания застала раввина в ситцевом халатике, вытирающим руки и читающим молитву после отправления естественной надобности. Молитву он читал медленно, тщательно, смакуя каждое слово... Покончив с этим делом, раввин запахнул свой халат и сел в кресло без сидения, состоявшее из одних только ножек и подлокотников, древних и расшатанных, как зубы у старика,— им давно пора бы выпасть, но они каким-то чудом все еще держатся.

Выслушав обе стороны, которые все время перебивали друг друга, раввин послал за даеном, за резником и прочими именитыми гражданами, так сказать, за «семью радетелями города», и обратился к портному со следующими словами:

— Расскажи, пожалуйста, всю историю с начала до конца еще раз, а потом пусть она расскажет.

И портной Шимен-Эле не поленился повторить еще и еще раз все ту же историю сызнова. Его, мол, зовут Шимен-Эле, он — портной из города Злодеевки, цеховик и староста в синагоге, хотя он и толковал им уже сколько раз: «Не достоин я почестей! *«Ни жала, ни кружала...»* Не хочу я оплеух, и не надо мне почетных должностей!» Но они говорят: *«Коли есть на тебе облачение, будь нам вождем»,*— то есть оплеухи получай, а старостой будь!..» Словом, он отправился в Козодоевку за козой. Собственно говоря, он козу не стал бы покупать,— на кой черт она ему нужна! Но жена, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, житья ему не давала, криком кричала: «Хочу козу!» И так как жену, как вы сами говорите, надо слушать, то он и

пришел к меламеду Хаим-Хоне купить у него козу, и сторговался, и ясно условился: козу! Чем же это кончилось? Деньги у него забрали, а вместо козы подсунули черт знает что, очевидно в шутку. А он, Шимен-Эле, таких шуток терпеть не может... Вы, наверное, слыхали историю о тех двоих, которые в канун субботы мылись в бане?..

Шимен-Эле повторил еще раз эту запутанную историю, а раввин, и даен, и «семеро радетелей города» посмеялись.

— Так! — сказал раввин.— Стало быть, одну сторону мы выслушали. Теперь послушаем другую.

Тогда встал Хаим-Хоне Разумник, надвинул картуз на ермолку и начал:

— Выслушайте меня, ученые мужи! Дело было так... Сидел это я, стало быть, со своими учениками, сидел и занимался... Изучали мы трактат «об убытках»... Да... и вот... Приходит этот человек из Злодеевки и говорит, что он злодеевский житель, то есть из Злодеевки... И здоровается со мной, и рассказывает целую историю, что сам он злодеевец, то есть из Злодеевки, и что есть у него жена по имени Ципе-Бейле-Рейза... Да, Ципе-Бейле-Рейза зовут ее... Так, кажется?

Меламед наклонился к портному, а портной, все время теребивший бородку, слушал с закрытыми глазами и склоненной набок головой.

— Истина глаголет вашими устами,— ответил он.— У нее три имени: Ципе, Бейле и Рейза. Так ее нарекли, так ее и зовут с тех пор, как я ее знаю, потихоньку да полегоньку уже лет тридцать. Однако послушаем, что вы еще скажете, друг мой? Вы только зубы не заговаривайте! Давайте ближе к делу, *«о первом и о последующем»*,— что я говорил и что вы говорили... Как Соломон Мудрый сказал: *«Ничто не ново под солнцем»* — увертки тут не пройдут!

— Да я знать ничего не знаю! — испуганно ответил меламед и указал на свою жену.— Она с ним разговаривала, она с ним торговалась. А я ничего не знаю!

— Теперь,— сказал раввин,— послушаем, что скажет она.

Он указал пальцем на Теме-Гитл Молчальницу, а та вытерла губы, подперлась одной рукой и, размахивая другой, заговорила быстро, без остановки, и лицо ее при этом пылало.

— Послушайте же, как было дело. Вот этот человек, этот злодеевский портной то есть, да простит он меня, либо... сумасшедший, либо пьяница, либо сама не знаю что! Слыханное ли дело? Человек приходит ко мне аж из Злодеевки и пристает ко мне, как клещ,— продай да продай ему козу (а у меня их было

две)... И рассказывает при этом целую басню о том, что он не стал бы покупать козы, что она ему ни к чему, но так как у него есть жена, то есть Ципе-Бейле-Рейза, и она заупрямилась, требует, чтобы он купил козу, и так как жену надо слушаться... Понимаете? Я ему говорю: какое мне до этого дело? Хотите купить у меня козу, я вам продаю, хотя, с другой стороны, я не стала бы продавать козу ни за какие деньги... Что такое деньги? Деньги — они круглые, деньги уходят, а коза козой остается... Да еще такая коза! Разве это коза? Мать, а не коза! Как она, не сглазить бы, легко доится! А сколько молока дает! Да и ест она всего-то ничего. Раз в день пойло из отрубей, а там немного соломы с крыши... Но, с другой стороны, я подумала: у меня, не сглазить бы, две козы, а деньги — соблазн... Короче говоря, тут вмешался мой муж, дай ему бог здоровья, и мы с портным поладили. И сколько, думаете, я получила? Врагам моим иметь бы не больше, господи боже мой! А отдала козу — дай бог всем моим дорогим и близким такую козу! Разве это коза? Мать, а не коза! И после этого приходит портной и возводит на меня поклеп! Коза, говорит он, не коза! Погодите, знаете что? Вот она тут стоит. Дайте мне, прошу вас, подойник, я ее подою у вас на глазах!

Теме-Гитл взяла у раввинши подойник, подоила в присутствии всех козу и поднесла каждому посмотреть посудину с молоком. Первому, разумеется, раввину, потом даену, затем — «семерым радетелям города», а там уже и всем остальным.

В доме раввина поднялся шум, гам, крики — столпотворение! Один кричит: «Надо его оштрафовать, этого злодеевского портного! Пусть водки поставит!» Другой говорит: «Мало того! Надо у него козу отобрать!» А третий предлагает: «Нет, коза козой. Пускай он с ней состарится в богатстве и почете! Его надо угостить парочкой хороших тумаков и вышвырнуть вместе с козой ко всем чертям!»

Увидев, как обстоит дело, Шимен-Эле потихоньку выбрался из дома раввина и дал тягу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И поднял портной ноги свои — и взял Шимен-Эле, как говорится, ноги на плечи и двинулся с козой к дому так быстро, будто от пожара спасался. Оглядывался, не гонятся ли за ним, и благодарил бога за то, что выскочил *«даром, без выкупа»* — сухим, без единой оплеухи...

Проходя мимо «Дубовой» корчмы, Шимен-Эле подумал: «Черта с два ты у меня правду узнаешь!» И скрыл от Доди всю историю.

— Ну, что слыхать? — спросил Додя с напускным любопытством.

— А чего там слыхать? — ответил Шимен-Эле.— Меня, знаете ли, побаиваются! Со мной шутки плохи! *«Человек бо есмь»* — потому что я не мальчик! Раскрыл я уста свои, померялись мы с меламедом насчет учености, и оказалось, что я получше его знаю толк во всяких премудростях... Короче говоря, попросили у меня прощения и вернули ту самую козу, которую я у них покупал. Вот она! Возьмите ее на минутку, как в Писании сказано: *«Возьми себе душу, а достояние отдай мне»* — возьмите это создание, а мне дайте рюмочку водки.

«Мало того что гордец, еще и лгун к тому же! — подумал шинкарь.— Надо будет еще раз сыграть с ним ту же шутку... Послушаем, что он тогда скажет...»

А портному сказал:

— Имеется у меня для тебя, Шимен-Эле, стопочка старой вишневки, если есть у тебя желание.

— Райского вина? — отозвался Шимен-Эле и даже облизнулся.— Ну что ж, давайте попробуем и скажем свое мнение. Я знаю, что у вас должна найтись добрая стопочка вишневки, но не всяк человек лжив, то есть не всякий знает толк в таких вещах!

После первой же рюмки у нашего портного развязался язык.

— Скажите-ка, дорогой мой родственник,— обратился он к шинкарю.— Ведь вы человек неглупый и со всякими людьми дело имеете... Скажите на милость, верите вы в колдовство? В наваждение?

— А именно? — с притворным недоумением спросил Додя.

— А именно... В оборотней, в чертей, в нечистую силу, в привидения?

— Это ты к чему же говоришь? — с тем же наивным видом продолжал Додя, попыхивая трубкой.

— Я вообще спрашиваю,— ответил Шимен-Эле и заговорил о переселении душ, о колдунах и ведьмах, о чертях и духах, привидениях, о нечистых и вурдалаках. Додя делал вид, что слушает внимательно, попыхивал трубкой, потом сплюнул и сказал:

— Знаешь, Шимен-Эле? Мне сегодня, кажется, спать страшно будет. Скажу тебе по правде, что покойников я всегда

страшился, а теперь начинаю верить и в оборотней и в домовых...

— А что вам остается? — ответил портной.— Попробуйте не верить! Пусть заберется к вам какая-нибудь нечисть и начнет вытворять свои штуки: опрокинет кадку с борщом, воду выльет, опустошит все крынки, горшки перебьет, кошку вам в кровать подбросит, да так, чтобы кошка лежала десятипудовым грузом у вас на груди и чтобы вы двинуться не могли... А проснетесь, кошка прямо вам в глаза глядит, как грешный человек.

— Хватит! Довольно! — крикнул шинкарь, отплевываясь и отмахиваясь обеими руками.— Довольно тебе на ночь глядя такие страсти рассказывать!

— Ну, будьте здоровы, реб Додя, извините, если надоел. Сами знаете, я не виноват... Как в Писании сказано: *«Не было у бабы хлопот...»* Спокойной ночи!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вернувшись в Злодеевку, портной вошел в дом насупившись, с явным намерением отчитать жену по заслугам. Однако сделал над собой усилие и сдержался. «Ах,— подумал он,— баба так и остается бабой! Что с нее возьмешь? Где мое не пропадало!» И ради сохранения мира принялся рассказывать жене только что сочиненную историю:

— Что я тебе скажу, Ципе-Бейле-Рейза, братец! Меня, видать, и в самом деле побаиваются. Ну, о том, как досталось от меня меламеду и его супружнице, я рассказывать не стану... Дал я им, сколько влезло! А кроме того, я потащил их к раввину, и раввин постановил, что они должны уплатить штраф, потому что раз такой человек, как Шимен-Эле, приходит к ним покупать козу, то они это должны почитать за особую честь для себя, ибо Шимен-Эле, говорит раввин, это такой человек, который...

Однако Ципе-Бейле-Рейза не пожелала слушать, как превозносят ее мужа. Ей не терпелось увидеть настоящую козу, которую привел Шимен-Эле. Она схватила посудину и пошла в сени. Прошло немного времени, и Ципе-Бейле-Рейза вбежала в дом, ничего уже не говоря. Она ухватила мужа за шиворот, дала ему добрых три тумака и вытолкнула его вместе с его хваленой козой «ко всем чертям, к дьяволу в зубы!».

Во дворе портного с козой окружила толпа. Собрались мужчины, женщины, дети — послушать удивительные вещи, которые рассказывал Шимен-Эле. Вот эта самая коза, которую он держит на привязи, только в Козодоевке по-настоящему коза: там она доится, там она дает молоко... Но стоит ему прийти с ней сюда, как она уже больше не коза!.. Шимен-Эле клялся всеми клятвами,— выкресту и тому можно было бы поверить,— что он сам, своими глазами видел, как в доме у раввина ее выдоили и нацедили при этом полный подойник молока...

Многие останавливались, внимательно разглядывая козу, заставляли рассказывать всю историю еще и еще раз и очень удивлялись... Иные смеялись и отпускали шуточки. А кто-то покачал головой, сплюнул и сказал:

— Хороша коза! Это такая же коза, как я раввинша!

— А что же это такое?

— Оборотень! Разве не видите, что это оборотень?..

Слово «оборотень» подхватила вся толпа. Начали рассказывать истории про оборотней, случившиеся здесь, в Злодеевке, и в Козодоевке, и в Ямполе, и в Пиши-Ябеде, и в Хаплаповичах, и в Печи-Хвосте,— на всем свете! Кто же не знает про лошаденку Лейзер-Волфа, которую пришлось вывести за город, убить и закопать в саване?.. Или, скажем, кто не слыхал о четвертушке курицы, которая, будучи подана к субботнему столу, начала шевелить крылом?.. Мало ли таких правдивых историй?

Когда Шимен-Эле двинулся вперед, за ним увязалась орава мальчишек, сопровождавшая его с большими почестями и кричавшая ему вслед:

— Ур-ра Внемли Гласу! Ур-ра, дойный портной!..

И толпа покатывалась со смеху.

Тут Шимен-Эле почувствовал себя задетым за живое. Мало того что с ним приключилась беда, над ним еще издеваются! И пошел он со своей козой по городу и поднял шум среди членов братства «Благочестивый труженик»: «Помилуйте, мол, как можно молчать?» Он рассказал обо всем, что с ним проделали в Козодоевке, показал им козу... Члены братства тут же послали за водкой и порешили идти к раввину, к даенам и к «семи радетелям города» — кричать, добиваться: «Где же это слыхано! Такое злодеяние! Навалились на бедняка портного, выманили у него последние несколько рублей, продали ему якобы козу, а на самом деле всучили черт знает что! Да еще и во второй раз насмеялись над ним! Такого и в Содоме не творилось!»

И члены братства «Благочестивый труженик» пришли к раввину, к даенам и к «семи радетелям города» и кричали и

неистовствовали: «Помилуйте, где же это слыхано! Ведь это же разбой! Поймали неимущего человека, портного, обманом забрали у него последние несколько рублей, продали ему якобы козу и во второй раз всучают черт знает что! Ведь такие дела даже в Содоме не совершались!»

Раввин, и даены, и «семь радетелей города» выслушали эту претензию, а вечером устроили у раввина собрание и решили тут же на месте написать внушительное письмо к раввинам, даенам и к «семи радетелям города» Козодоевки. И злодеевские раввины, даены и «семь радетелей города» написали письмо козодоевским раввинам, даенам и семи радетелям города» по-древнееврейски, весьма красноречивым языком. Вот это письмо слово в слово:

«Раввинам, даенам, мудрецам, знаменитым гениям, столпам мира, на коих зиждется вся обитель Израиля. Мир да пребудет с вами, мир всем членам святой общины в Козодоевке, всяческое благополучие да почиет над ними. Аминь!

Дошло до наших ушей, что учинена великая несправедливость в отношении одного из наших сограждан — реб Шимен-Эле, сына реб Бендит-Лейба, портного, прозванного Шимен-Эле Внемли Гласу. А именно: двое из ваших граждан, меламед реб Хаим-Хоне и супруга его, госпожа Теме-Гитл, да здравствует она, хитростью выманили у нашего портного деньги в сумме шесть с полтиной серебром и, употребив их в свою пользу, утерли уста свои и говорят: «Мы никакой несправедливости не совершили...» Так среди евреев не поступают! Мы все, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что означенный портной — бедный труженик, обремененный семьей, кормящийся честным трудом своим... А царь Давид давно уже сказал в псалмах: «От трудов рук своих кормиться будешь, и благо да будет тебе», каковое изречение мудрецы наши толкуют в том смысле, что благо будет тебе и на земле, и в загробной жизни... Поэтому обращаем к вам нашу просьбу немедленно тщательно расследовать все, что произошло, и пусть суждение ваше взойдет, яко солнце! А присудить следует вам одно из двух: либо вернуть нашему портному полностью его деньги, либо выдать ему ту козу, которую он купил, ибо коза, которую он привел,— вовсе не коза! Это может подтвердить весь город под присягой. И да будет мир среди евреев по слову наших мудрецов: нет для евреев сосуда более совершенного, нежели мир. Мир да пребудет с вами, мир дальним и ближним, мир всем евреям! Аминь!



«Немец»

От нас, рабов ваших, чьи бедра тоньше ваших мизинцев: *Раввин, сын раввина, царство ему небесное... И раввин, сын раввина, царство ему небесное... Борух Капота, Зорах Пупок, Фишл Выкидайло, Хаим Квач, Нисл Качан, Мотл Шелуха, Иошуе-Гешл Киш-киш».*

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ту ночь ярко светила луна и глядела вниз на Злодеевку с ее мрачными полуразвалившимися домишками, жмущимися один к другому, без дворов, без деревьев, без заборов. Город выглядит ночью, как кладбище, старое заброшенное кладбище с ветхими надгробиями... Иные из них скособочились, другие давно бы и вовсе свалились, если бы их не подпирали бревна. И хотя воздух здесь не ахти какой чистый и запахи, доносящиеся с базара и с синагогального двора, не так уж упоительны, да и густая пыль стоит сплошной стеной,— тем не менее люди вылезли на улицу, как тараканы из щелей; мужчины и женщины, старики и дети вышли «подышать воздухом» после палящего, знойного дня. Люди уселись на порогах — побеседовать, попустословить или просто смотреть на небо, разглядывать лик луны и мириады звезд, которые, будь хоть семи пядей во лбу, никак не сосчитать!

В ту ночь портной Шимен-Эле, один со своим сокровищем, приобретенным в Козодоевке, бродил по закоулкам, стараясь не попадаться на глаза мальчишкам. Он полагал на рассвете снова пуститься в путь, а пока зашел к акцизничихе Годл в шинок выпить с горя рюмочку водки, излить душу и посоветоваться с ней насчет постигшего его несчастья.

Акцизничиха Годл была вдова, с «мужской головой на плечах», якшалась с начальством и дружила со всеми мастеровыми в городе. А прозвали ее акцизничихой вот почему. Девушкой она была очень хороша собой, просто красавица. Однажды ее увидел проезжавший через Злодеевку акцизник, очень богатый человек. Годл несла гусей к резнику. Акцизник остановил ее и спросил:

— Девушка, чья ты?

Она застыдилась, рассмеялась и убежала. С тех пор ее и прозвали акцизничихой... Иные, впрочем, говорят, что акцизник приходил потом к ней домой, говорил с ее отцом Нехемье-винокуром, хотел жениться на ней, взять без приданого да еще приплатить отцу. Дело как будто шло уже к помолвке, но в городе стали по этому поводу языки чесать, и сватовство рас-

строилось. Годл потом выдали замуж за какого-то убогого, за припадочного. Она горько плакала, не хотела идти под венец... Город тогда ходуном ходил! Говорили, что она сама тоже втюрилась в акцизника, и даже сочинили про нее песенку, которую женщины и девушки по сей день распевают в Злодеевке. Песенка эта начинается так:

Сияла луна,
Был полуночный час,
А Годеле сидела у дверей...

А конец песни такой:

Полюбил тебя, душенька,
Полюбил навсегда
И жить без тебя не могу!

Вот к этой акцизничихе Годл и пришел наш портной — излить наболевшую душу, рассказать обо всем, что у него на сердце, и спросить совета: что делать?

— Что делать? Ведь вы же и в самом деле *«смугла и собою хороша»*, как говорит царь Давид в «Песни Песней»,— вы и красавица и умница. Научите, что мне делать?

— Что делать? — переспросила Годл и сплюнула.— Разве вы не видите, что это оборотень? Охота вам тащиться с этаким добром! Бросьте его ко всем чертям! Ведь с вами может приключиться то же, что с моей тетей Перл, чур меня, чур меня, она уже на том свете...

— И что именно? — спросил в испуге Шимен-Эле.

— А именно...— со вздохом отвечала Годл.— Моя тетя Перл, царство ей небесное, была женщина благочестивая, праведная. У нас в семье все такие... Хотя здесь, в проклятой Злодеевке, чтоб ей сгореть, любят оговаривать всех и каждого, за глаза, конечно... В глаза-то они льстят и подлизываются — «душенька-голубушка»... Словом, моя тетя Перл, царство ей небесное, шла однажды на базар. Видит, лежит на земле клубок ниток... «Клубок ниток,— подумала она,— может пригодиться». Нагнулась и подняла. Взяла клубок и пошла дальше, а он как прыгнет ей в лицо и упал наземь. Тетя, конечно, снова нагнулась и подняла его, а он опять — прыг в лицо и — наземь. В третий раз нагнулась тетка и подняла клубок,— опять то же самое! Тогда она решила плюнуть на этот клубок — черт с ним! — и хочет идти домой. Глядь, а клубок катится за ней! Бросилась бежать, а клубок за ней! Словом, пришла домой ни жива ни мертва, упала в обморок и потом чуть не целый год прохворала. И что же, вы думаете, это было? Угадайте!

— Чепуха! *«Все любимые, все отборные»* — все женщины на один покрой! — сказал Шимен-Эле.— Бабьи сказки, болтовня, вздор, глупости! Если прислушиваться ко всему, что бабы плетут, так надо бы собственной тени бояться. Как в Писании сказано: *«Женщины легкомысленны»* — бабы что гуси! Однако ничего! *«Нынче день великого суда...»* — не тужить! Спокойной вам ночи!

И Шимен-Эле двинулся дальше.

Ночь была звездная. Луна гуляла по небу меж клочковатых облаков, похожих на высокие темные горы, отороченные серебром. Искоса луна поглядывала и на Злодеевку, погруженную в глубокий сон. Многие жители, боясь клопов, перебрались с постелями на улицу и, накрывшись с головой пожелтевшими простынями, смачно похрапывали и видели сладостные сны: заработки на ярмарках, крупную выручку, большие барыши; иным снился добрый помещик, выгодная сделка, верный кусок хлеба, почетная работа или один только почет — разные бывают сны!..

На улице ни души. Не слышно ни шороха. Даже базарные псы, набрехавшиеся и намотавшиеся вдосталь за целый день, и те забрались меж колод мясников, спрятали морды между лап и спят. Изредка только какой-нибудь из них тявкнет вполголоса, когда ему приснится кость, на которую зарятся другие собаки, или когда почудится, что муха забралась в ухо и шепчет что-то по секрету... Пролетит иной раз на распростертых крыльях глупый жук, покружится на одном месте, прожужжит, как струна на контрабасе: «ж-ж-ж-ш», потом шлепнется наземь и замолчит. Даже городской сторож, который по ночам расхаживает, охраняя лавки, и стучит колотушкой «кла-кла-кла-кла!», и тот на этот раз, как нарочно, подвыпил и, привалившись к стенке, сладко уснул... И вот этой тихой ночью портной Шимен-Эле бродит один-одинешенек по городу и не знает, идти ли ему, стоять или сидеть... Шагает и тихо говорит самому себе:

— *«И кот пришел и козочку сожрал...»* — не было у бабы хлопот, купила себе коня... Пропади она пропадом, эта коза! Коза! Козочка-козуля! Ха-ха-ха!

Он разражается хохотом и сам пугается своего голоса. В это время он проходит мимо «холодной синагоги», которая славится тем, что в субботние вечера там молятся покойники в белом и с молитвенными покрывалами на плечах... И кажется портному, что он слышит какое-то странное пение: «у-у-у-у!». Точно ветер, воющий в трубе зимней ночью... Он уходит подальше от «холодной синагоги», бредет по «русской» улице... И вдруг слышит:

«п-ц-с-с!». То свистит пугач, забравшийся на самую макушку церковного купола... Портного охватывает уныние, страх, ужас! Однако он крепится, силится вспомнить стих, который произносят по ночам, чтобы не бояться. Но стих словно улетучился из головы! И, как назло, перед глазами возникают страшные образы знакомых, давно умерших людей... На память приходят жуткие рассказы, которых он наслушался за свою жизнь,— о чертях, духах, о домовых в образе телят, о бесенятах, носящихся словно на колесах, о вурдалаках, передвигающихся на руках, об одноглазых чудовищах... Вспоминаются истории об оживших мертвецах, блуждающих по миру в саванах... Шимен-Эле решает окончательно, что коза, которую он таскает за собою, вовсе не коза, а оборотень, нечистая сила... Вот покажет язык в десяток аршин длиной или хлопнет крыльями и прокричит на весь город: «Ку-ка-ре-ку!..» Шимен-Эле чувствует, что у него волосы встают дыбом. Он останавливается, отвязывает ремешок, хочет избавиться от своей обузы. Но не тут-то было! Молодец и не думает уходить! Ни на шаг не желает отойти! Шимен-Эле пробует пройти вперед, а он за ним; Шимен-Эле сворачивает вправо, и тот вправо; Шимен Эле — влево, и тот туда же...

— Шма, Исроэл! — не своим голосом кричит Шимен-Эле и пускается бежать куда глаза глядят. И чудится ему, что кто-то гонится за ним, блеет тоненьким козлиным голоском и говорит по-человечьи, и поет, как кантор в синагоге:

— Владыка смерти и живота нашего! Дару-у-у-ющий жизнь усо-о-опшим!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утром, когда мужчины встали и собрались в синагогу, женщины — на базар, а девушки — загонять коров в стадо, все увидели сидящего на земле портного. Рядом, поджав ноги, сидела пресловутая коза, жевала жвачку и трясла бороденкой. К Шимен-Эле подходили, пытались заговорить с ним, но он не отвечал, сидя как истукан, с остановившимся взглядом... Собралась толпа, люди сбежались со всего города, подняли шум, гам, трескотню... Пошли разговоры, пересуды: Шимен-Эле... коза... Внемли Гласу... оборотень... бес.... вурдалак... нечистый... водил его, верхом на нем ездил всю ночь... мучил... замучил... И сочиняли при этом кто во что горазд: сами, мол, видели, как он ездил верхом...

— Кто на ком ездил? — спросил кто-то, просунув голову в тесно сомкнутый круг.— Шимен-Эле на козе или коза на Шимен-Эле?

Толпа разразилась хохотом.

— Горе вам и смеху вашему горе! — сказал один из ремесленников.— Бородатые люди! Женатые! Отцы семейств! Постыдились бы, посовестились бы! Чего вы собрались тут гоготать? Не видите, что ли, что портной не в себе, что человек смертельно болен? Отвели бы его лучше домой, послали бы за лекарем, чем стоять здесь и зубы скалить, черт бы вашего батьку взял!

Слова эти ремесленник выпалил точно из пушки, и толпа перестала смеяться. Кто побежал за водой, кто бросился к лекарю Юделю. Портного взяли под руки, отвели домой и уложили в постель. Вскоре прибежал лекарь Юдл со всеми своими причиндалами и стал спасать портного: поставил ему банки и пиявки, вскрыл жилу, пустил кровь...

— Чем больше крови ему выпустить, тем лучше,— сказал Юдл,— потому что все болезни, не про нас будь сказано, идут от нутра, таятся в крови...

Так лекарь Юдл объяснил тайны «медицинской премудрости» и обещал к вечеру зайти еще раз.

А Ципе-Бейле-Рейза, взглянув на своего мужа и увидев, как лежит он, бедняга, на разбитом топчане, укрытый тряпьем, закатив глаза, с запекшимися губами, и бормочет в бреду что-то несуразное, заломила руки, стала биться головой о стену, рыдать, вопить, как по покойнику:

— Горе мне, беда и несчастье, гром меня разрази! И на кого ты меня покидаешь с малыми детками?!

А детишки, голые и босые, сбились в кучу возле горемычной матери и вторили ей. Старшие плакали потихоньку, пряча и глотая слезы; младшие, не понимая, что происходит, плакали навзрыд, и чем дальше, тем громче. И даже самый маленький, мальчик лет трех, с изможденным желтым личиком и вздутым животом, приковылял на своих кривых ножках к матери, ручонками обхватил голову и закричал: «Мама, ку-у-у-шать!..»

Все это сливалось в многоголосый хор, и присутствовать при этом постороннему было невыносимо. Всякий, кто ни входил к портному в дом, выбегал оттуда расстроенный, с обливающимся кровью сердцем и, когда спрашивали: «Как там Шимен-Эле?» — только махал рукой: что уж, мол, говорить о Шимен-Эле!

Несколько ближайших соседок стояли заплаканные, с покрасневшими носами, смотрели в упор на Ципе-Бейле-Рейзу,

немилосердно кривили губы и качали головами, точно желая сказать: «Ох, горе, горе тебе, Ципе-Бейле-Рейза!»

Поразительная вещь! Пятьдесят лет прожил Шимен-Эле в Злодеевке в нищете и лишениях, прозябал, словно червяк во тьме, и никому до него дела не было, и никто не знал, что он за человек. А сейчас, когда он заболел, вдруг обнаружились все его достоинства и качества. Вдруг все заговорили, что Шимен-Эле был замечательный, добрый и чистой души человек, щедрый благотворитель, то есть он урывал сколько можно было у богачей и раздавал беднякам, ссорился из-за них, дрался до крови, делился с ближними последним куском... И еще много чего рассказывали о бедном портном, как рассказывают о покойниках на похоронах... Чуть ли не весь город ходил проведать его, и всеми средствами спасали его, только бы он, упаси бог, не умер преждевременно...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А мастеровые — ремесленники города Злодеевки собрались у акцизничихи Годл, поставили водку, кричали, горланили, неистовствовали, ругали богачей — за глаза, конечно,— и смешивали их с грязью.

— Хорош город Злодеевка, чтоб он сгорел! Почему молчат они, богачи наши, провалиться бы им сквозь землю! Всякий, кто хочет, пьет нашу кровь, а заступиться за нас некому! Кто платит коробочный сбор? Мы! А на всякую напасть, на резника, скажем, на баню — не будь рядом помянута! — с кого шкуру дерут? С нас! Чего же мы молчим? Пойдем к нашим раввинам, даенам, к «семерым радетелям города» — кишки из них вымотаем! Что за безобразие: целую семью зарезали! Давайте что-нибудь придумаем!

И братство «Благочестивый труженик» отправилось к раввину и учинило скандал. Тогда раввин прочитал ответ, только что полученный им через извозчика от козодоевских раввинов, даенов и «семерых радетелей города».

Вот что было написано в этом письме:

«Раввинам, даенам, «славной семерке отцов города»! Горы да несут мир золотым семисвечникам священной общины города Злодеевки. Аминь!

Немедленно по получении вашего послания, которое было слаще меда для наших уст, мы все собрались и тщательно расследовали дело, после чего пришли к заключению, что один из

наших сограждан заподозрен напрасно. Судя по всему, ваш портной человек недостойный: он возвел поклеп и пустил сплетню меж двух общин. Он заслуживает сурового наказания! Мы, нижеподписавшиеся, можем засвидетельствовать и присягнуть, что собственными глазами видели, как коза доилась,— дай бог всем еврейским козам доиться не хуже! Не слушайте этого портного, не верьте его россказням! Не обращайте слуха вашего к речам недостойных! Да будут заткнуты уста, извергающие ложь! Мир да будет вам, мир всем евреям отныне и во веки веков!

К сему — ваши младшие братья, пресмыкающиеся в пыли у ваших ног:

Раввин такой-то, сын раввина такого-то, царсто ему небесное, и раввин такой-то, сын раввина такого-то, царство ему небесное... Генох Горгл, Кусиел Шмаровидло, Шепсл Картофель, Фишл Качалка, Берл Водка, Лейб Воречок, Эля Петелеле».

Когда раввин прочел это письмо, ремесленники возмутились еще больше. «Ага! Козодоевские пересмешники! Еще издеваются! Надо их проучить! Наш брат — мастеровой! Наш цех — утюг да ножницы!»

Тут же устроили новое собрание, снова послали за водкой и решили взять эту хваленую козу, направиться прямо в Козодоевку и перевернуть там вверх дном хедер с его меламедом и весь город!

Сказано — сделано! Собралось человек шестьдесят: портные, сапожники, столяры, кузнецы, мясники — народ боевой, парни здоровые, один в одного, вооруженные: кто деревянным аршином, кто утюгом, кто сапожной колодкой, кто топором, а кто молотком... Иные взяли с собой кое-что из хозяйственной утвари: скалку, терку или секач... Решено было немедленно идти в Козодоевку войной — убивать, уничтожать, истреблять!

— Раз навсегда! — заявили вояки.— *«Умри, душа моя, вместе с филистимлянами!»* Смерть им — и дело с концом!

— Погодите, уважаемые! — сказал вдруг один из членов братства «Благочестивый труженик».— Вы уже готовы в поход? Совсем уже собрались? *«А где же агнец?»* Куда девалась коза?

— И правда, куда запропастился оборотень?

— Исчез!

— Неглупый оборотень, право! Однако куда же он мог удрать?

— Домой, наверно, убежал! К меламеду! Чего ты тут не понимаешь?

— С ума ты спятил! Рассуждаешь, как осел!

— Сам скотина! А куда же он еще мог убежать?

Словом, о чем спорить? Кричи не кричи, *«а дитяти нет»* — козы не стало...

. . . .

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теперь оставим заколдованного портного, борющегося со смертью, и ремесленников, готовящихся к войне, и перейдем к оборотню, то есть к козе.

Оборотень, увидев суматоху, которая поднялась в городе, подумал: к чему ему вся эта канитель? Что пользы быть привязанным к портному, таскаться с этим чудаком туда и обратно и подыхать с голоду? Не лучше ли бежать куда глаза глядят? Лишь бы не скитаться!

И наш молодец дал ходу! Он бежал стремглав, как безумный, не чуя под собою земли. Перепрыгивал через мужчин и женщин, нанося людям убытки, учинил разгром на базаре!.. Он опрокидывал столы с хлебом и плюшками, корыта с вишнями и смородиной, скакал по горшкам и стеклянной посуде, швырял, разбрасывал, крушил — трах-тарарах!.. Женщины всполошились, завизжали: «Кто такой?.. Что такое? Что за несчастье!.. Коза!.. Оборотень!.. Горе мое горькое! Напасть!.. Где он?.. Вон он!.. Ловите его!.. Пусть его поймают!.. Поймают!..»

И целая орава мужчин с подвернутыми полами и женщин с подоткнутыми, извините, подолами пустились бежать, обгоняя друг друга. Но все напрасно! Наш молодец, почуя свободу, мчался очертя голову!

А несчастный портной? А вывод? А мораль какая из всей этой истории? — спросит читатель.

Не принуждайте меня, дети! Конец нехороший. Началось все очень весело, а кончилось, как и большинство веселых историй, очень печально...

А так как вы знаете, что автор этого рассказа по натуре не меланхолик и плачевным историям предпочитает смешные, и так как вы знаете, что он не терпит «морали», что читать нравоучения не в его обычае, то сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи, и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали.

Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться...

НЕМЕЦ

Происходить происхожу я из Деражни, из маленького местечка Подольской губернии, из совсем крохотного местечка. Нынче, правда, Деражня целый город, с железной дорогой и вокзалом. И когда Деражня делалась станцией, все завидовали нам: шутка сказать — железная дорога!

Мы думали: вместе с железной дорогой на землю спустится счастье, появится работа, золото будет валяться на улице. Люди стали сползаться изо всех местечек. Жители перестраивали дома, открывали новые лавки. На мясо повысили таксу и стали поговаривать о новом резнике, о второй синагоге, о расширении кладбища,— словом, шум был большой. Шутка ли — железная дорога, станция, вокзал! Извозчики вздумали бунтовать, но до них никому дела не было. Проложили у нас рельсы, привезли вагоны, построили станцию, повесили колокол, прибили дощечку «Станция Деражня», и пошла писать губерния.

Как только открылась железная дорога, жена моя спрашивает меня:

— Что ты намерен теперь делать, Иойна? (Иойна — так зовут меня.)

— А что мне делать,— отвечаю я.— То, что делают все люди, то и я буду делать. Все деражненцы вертятся около поезда, стало быть, и я буду вертеться...

Взял я свою палку, пошел на вокзал и сделался, с божьей помощью, «правителем». Что такое — «правитель»? Кто-нибудь продал, скажем, вагон зерна, вагон этот надо погрузить и отправить, тут-то и требуется «правитель». Но так как все деражненские евреи стали «правителями», то получилось нехорошо, мы не «правим», а мучаемся, болтаемся без дела. Покупаешь мешок пшеницы у мужика и перепродаешь — иногда на пользу, ино-

гда в убыток, или вдруг набежит комиссия со стороны. Хватаешься за то, хватаешься за это,— что делать, когда нечего делать?

Раньше, правда, тоже нечего было делать, но мы не имели железной дороги, и досады поэтому было меньше. Зачем же нам понадобилась станция с вокзалом, с колоколом и всей кутерьмой?..

И вот случилось происшествие: стою я однажды на вокзале и, убитый своими болячками, провожаю почтовый поезд. Третий звонок отзвонил, локомотив отсвистал, осматриваю я платформу и замечаю одного барина, высокого и сухого, в четырехугольных очках, в большой шляпе, а в руках у него куча чемоданов. Стоит, вытянув шею, и осматривается кругом, как человек, только что совершивший преступление.

Барин чего-нибудь да хочет, соображаю я про себя, и чувствую, как что-то толкает меня в спину: «Подойди к нему, человек, и спроси, чего он хочет». И только я тронулся с места, как он начинает двигаться ко мне, приподнимает шляпу и говорит мне не иначе как по-немецки:

— Добрый вечер, господин...

— Дай вам бог здоровья,— отвечаю я тоже по-немецки, то есть наполовину по-еврейски, а остальное руками. И спрашиваю — откуда он едет?

— Нет ли в Деражне подходящей квартиры? — осведомляется он.

— Конечно, есть,— говорю я,— отчего не быть.— И соображаю про себя: «Обидно, что у меня нет гостиницы. Будь у меня гостиница, привел бы я его к себе. Это порядочный немец, на нем можно густо заработать...» И в голове моей зажигается мысль: глупец и сын глупца, разве на лбу у тебя написано, что ты не имеешь гостиницы? Пусть немцу кажется, что у тебя есть гостиница. И я говорю ему по-немецки, то есть наполовину по-еврейски, а остальное руками:

— Если господин имеет желание, так пусть он возьмет извозчика, и мы поедем в еврейскую гостиницу.

Услыхав эти слова, немец загорается, как куча соломы, и показывает на свои губы:

— Можно ли там покушать? Есть ли там пища?

— Первейшая пища,— отвечаю я ему.— С божьей помощью вы получите большое удовольствие, господин немец. Моя благоверная, жена моя, значит,— первейшая хозяйка. Ее обеды прославились во всей окрестности. Персидский царь Артаксеркс не откажется от ее рыбы...

— Яволь! — веселится мой немец, глаза его поблескивают, лицо сияет, как солнце.

«Какой чудной немец»,— думаю я, но канителиться тут некогда, нанимаю я подводу и еду с ним прямо к себе домой.

Не успели мы приехать, как сейчас же я рассказываю жене, что вот послал мне бог гостя, немца, редкий товар. Но что понимает женщина? Она начинает меня пилить за то, что я приехал в неудачный час, когда убирают квартиру.

— Что это за новости с гостями? Что это за постояльцы ни с того ни с сего?

— Женщина,— обращаюсь я к ней,— не говори по-еврейски. Этот господин все понимает, потому что он немец.

Но тут она поднимает вой и трясет веник над моей головой. Она воет, а мы с немцем стоим у двери — ни туда, ни сюда. Еле-еле убедил ее, что это не бесплатный гость, что это пахнет деньгами, что на немце может быть заработок.

Вы думаете — убедил? После долгих препирательств она сообщает мне:

— Куда же я положу его, в могилу, что ли?

— Тише,— говорю я,— безумная женщина! Сказано тебе — не выражаться по-еврейски, потому что этот господин понимает по-немецки.

Только тогда она поняла, в чем дело; мы уступили гостю нашу спальню, жена пошла раздувать самовар и готовить ужин. Осмотрев спальню, немец немножко повел носом — «могло бы быть получше»... Но что может понимать немец? Как только внесли самовар и заварили чай, он вытащил добрую бутылку рома, превосходно глотнул (дал и мне глотнуть), и всем нам сделалось хорошо. Немец расположился со своими чемоданами, как у родного отца, и стали мы друзьями.

После чаю завожу я с ним беседу, туда-сюда, что он здесь делает, чем торгует? Не нужно ли ему что-нибудь купить или продать? Нет, ему ничего не нужно. Какие-то машины, говорит он, должны прибыть. Вижу я, что делом здесь не пахнет, прошлогодний снег какой-то. А он поминутно заглядывает в печь и тревожится — не готов ли ужин?

— Вы,— говорю я,— господин немец, видать, не дурак покушать?

Отвечает он мне пустяками,— что может понимать немец? Пустяками этими занимались мы, пока не принесли ужин — свежий бульон с гренками, курицу с манной кашей, с морковью, с петрушкой, о!.. (Жена моя может, если захочет!)

— Благословение восседающим! — произнес я по-древнееврейски.

Но он ни полслова в ответ — присосался к курице, как после поста.

— Кушайте на здоровье! — говорю я ему еще раз, а он знай глотает, хоть бы слово сказал, хоть бы поблагодарил,— какое там!

«Грубый человек,— думаю я,— и большой нахал!»

Одним словом, поужинал он, раскурил длинную трубку и сидит, посмеивается. Вижу я, что немец озирается по сторонам, ищет местечка, куда бы ему приткнуть голову, глаза его слипаются. Я сейчас же кивнул жене.

— Куда его положить? — спрашивает она.

— Как это куда? Положи его в мою постель.

Она не заставляет себя просить, подходит к кровати и начинает взбивать постель, как полагается по закону. Жена моя, если захочет... А немец, замечаю я, чем-то недоволен, не нравится ему, видно, что перья летят. Он вертит носом, кашляет.

— Дай бог здоровьичка, господин немец,— приговариваю я.

И хоть бы ответил — спасибо! Какое там! «Грубый человек,— думаю я,— и дикарь!..» Старушка моя взбила постель до потолка, королевскую постель,— жена моя, если захочет... Настоящий трон. Мы попрощались с ним, пожелали спокойной ночи и разошлись.

Сначала, как только мы легли спать, я все прислушивался — спит мой немец, чтобы не сглазить, великолепно, храпит на все голоса, сопит, как локомотив, свистит и мычит, как зарезанный бык. Но внезапно он вскакивает с постели, начинает вздыхать, фыркать, икать, чесаться, плевать, ворчать, потом переворачивается на другой бок, засыпает и снова храпит, и сопит, и свистит, и опять спохватывается, и опять начинаются вздохи, фырканье, чесанье, плевки и ворчанье. Так повторял он несколько раз, пока совсем не соскочил с кровати. И слышу я вдруг, что все его постельные принадлежности летят на пол, одна подушка за другой. Он бросает их в бешенстве и рычит какие-то дикие слова.

— К дьяволу, сакррраменто, гррром и молния...

Я вскакиваю, подбегаю к двери, заглядываю в щелку. Немец мой стоит на полу в костюме Адама, сдирает с кровати все перины, плюется и проклинает божий свет на своем языке, упаси и помилуй нас бог.

— В чем дело? — спрашиваю я.— В чем дело, господин немец? — и открываю дверь.

Тогда он наливается гневом, нападает на меня со сжатыми кулаками, хочет стереть меня с лица земли. Он хватает мои руки, тащит к окну и показывает, что у него растерзано все тело. Потом он выгоняет меня и закрывает за мной дверь.

— Сумасшедший немец,— говорю я жене.— И большой чудак! Ему показалось, что кто-то его кусает... Скажите, какое горе!..

— Удивляюсь,— отвечает жена,— всего только на пасху я чистила кровать керосином...

Думал я, что немец мой рассердится и убежит утром, куда Макар телят не гонял. Но наступило утро, и ничего подобного — опять «здравствуйте», опять улыбки, опять сосет он свою трубку; приказал обед состряпать, а до обеда сварить ему яйца на завтрак, и желательно ему, чтобы яйца были в мешочке. Сколько яиц, полагаете вы? Десяток — ни больше, ни меньше! За завтраком глотнул он порядочно рому, и мне дал глотнуть.— ах, хорошо! Но наступила ночь — и снова та же история! Сперва храп, свист, сопенье, мычанье, потом вздохи, стоны, фырканье, чесанье, плевки и ворчанье. Он снова вскакивает с постели, снова сдирает все подушки и ругается, проклинает на своем языке.

— К дьяволу! Сакррраменто!! Грром и молния!!!

А наутро — «здравствуйте», и сосет трубку, и просит кушать, и делает за завтраком порядочный глоток — и так несколько дней подряд, пока не прибыли его машины и не приспело ему время уезжать.

Наступил день отъезда, стал мой немец собираться в дорогу, и просит у меня счет.

— Считать тут нечего,— говорю я.— Счет наш,— говорю я,— простой, с вас следует четвертная...

Выпучил он на меня глазенапы, как будто говорит: «А? Что такое? Не понимаю...»

Тогда я объяснил ему по-немецки:

— Господин немец будет настолько любезен и уплатит мне четвертную, или двадцать пять карбованцев, рублей, значит...

И я показываю на пальцах — десять, десять и пять.

Он, думаете, испугался? Ничуть не бывало. Потягивает, как прежде, свою трубку, улыбается и говорит, что очень бы хотелось ему знать, за что причитается с него двадцать пять рублей. Вытаскивает он карандаш, берет клочок бумаги и требует, чтобы я перечислил каждую вещь отдельно.

«Хоть ты и умный немец,— думаю я про себя,— но умный еврей умнее умного немца, в одной моей пятке больше мудрости, чем во всех твоих мозгах».

— Так пишите,— говорю я,— пишите, господин немец...

За гостиницу — шесть дней: полтора рубля помножить на шесть — девять рублей; двенадцать самоваров по семь с половиной копеек составляют девяносто копеек. Теперь помножьте шесть раз на десять яиц утром и десять яиц вечером, выходит сто двадцать, или две корзины яиц, по рублю за корзину — будет два рубля. Шесть бульонов, шесть куриц — по семьдесят пять копеек за каждую курицу, не считая крупы, сельдерея, петрушки, того-этого — шесть рублей. Теперь возьмите шесть ночей и шесть ламп — шестьдесят копеек. За распитие ваших напитков — два рубля. За пользование вашим чаем и сахаром один рубль, получается три рубля, а с вином, которое вы могли бы у нас потребовать,— получается четыре рубля. Пиво мы могли подать за семьдесят копеек. Итого имеем не более не менее, как двадцать четыре рубля с полтиной, но для ровного счета поставим двадцать пять рублей.

Объяснил я ему это очень достойно. Вы думаете, счет ему не понравился? Упаси бог! Он сосет, не переставая, из трубки, очень красиво улыбается, вынимает четвертную и швыряет ее мне, как швыряют трешницу. Очень красиво попрощался с нами и уехал на станцию.

— Ну, а теперь что ты скажешь, жена моя, о нашем немце?

— Дай бог,— говорит она,— чтобы мы получали таких немцев каждый день, было бы неплохо...

И уехал наш немец. Не прошло после этого и трех дней, как заявляется ко мне почтальон и протягивает письмо, но сначала он просит потрудиться и заплатить четырнадцать копеек. За что четырнадцать копеек? Отправитель забыл, говорит он, наклеить марку.

Уплатил я четырнадцать копеек, распечатал письмо — написано по-немецки, ни слова не понимаю. Бегаю я с моим письмом то к одному, то к другому, никто не читает по-немецки, беда! Обошел все местечко, насилу нашел провизора в аптеке, тот читает по-немецки. Прочел он письмецо и объяснил, что пишет это мне какой-то немец, благодарит за спокойный ночлег, который он имел у нас, благодарит за гостеприимство, за любезность, которых никогда не забудет...

«Ох, пожалуйста,— думаю я,— очень хорошо. Если ты доволен, так и я доволен!»

И говорю я жене:

— Что ты скажешь о таком немце? Он, видно, дурак не из простых.

— Дай бог,— говорит она,— чтобы мы получали каждую неделю таких умников, было бы совсем неплохо...

Проходит еще одна неделя. Возвращаюсь я как-то с вокзала домой. Навстречу идет мне жена, несет письмо и говорит, что почтальон велел доплатить двадцать восемь копеек.

— За что двадцать восемь копеек?

— Иначе,— говорит жена,— почтальон не хотел...

Распечатываю письмо — опять по-немецки. Бегу к провизору, прошу его прочитать. И рассказывает мне провизор, что этот самый немец только что миновал границу, и так как он возвращается домой на свою родину, то он еще раз благодарит меня за тихий ночлег, который он имел у меня, за наше гостеприимство, за нашу любезность, которых он никогда не забудет.

«Пропади ты,— думаю я,— со своей благодарностью».

А дома жена спрашивает меня:

— Что это за письмо?

— Опять от немца,— говорю я.— Он не может,— говорю я,— забыть нашу любезность, сумасшедший немец!

— Дай бог,— говорит она,— чтобы мы каждую неделю получали таких сумасшедших, было бы совсем неплохо...

Проходит еще две недели. Приносят мне с почты большой пакет, почтальон требует за него пятьдесят шесть копеек. Я отказываюсь. Тогда почтальон говорит:

— Как хотите,— и берет пакет назад. Тогда я начинаю раскаиваться, ужасно хочется знать, откуда этот пакет, может быть — необходимая вещь?

Заплатил я пятьдесят шесть копеек, вскрываю пакет, смотрю — опять по-немецки. Отправляюсь я, конечно, прямо к провизору, умоляю его простить мою назойливость,— что делать, если бог меня наказал и я не умею читать по-немецки?.. И провизор читает мне новое послание от немца. Дело в том, что он прибыл уже домой и увиделся со своим дорогим семейством, с женой, с детьми, и рассказал им, как он приехал в Деражню, как встретил меня на вокзале, и как я его хорошо принял, предоставил ему хороший, спокойный ночлег, и вот в эту радостную для него минуту он не может не поблагодарить меня от всей души за гостеприимство, за нашу любезность, которых он не забудет никогда, до гробовой доски.

— Будь ты проклят,— говорю я и обрушиваю на этого немца всю горечь моей души, но жене ничего не рассказываю, притворяюсь, что ничего не было.

Проходит еще три недели. Получаю я с почты повестку на один рубль и двенадцать копеек.

— Что бы это значило — один рубль и двенадцать копеек? — спрашивает жена.

— Не знаю,— отвечаю я,— пусть я не знаюсь с лихом,— и отправляюсь на почту, спрашиваю — откуда мне прислали один рубль двенадцать копеек. Но почта отвечает, что это не я получаю один рубль двенадцать копеек, а, наоборот, надо заплатить один рубль двенадцать копеек.

— За что?

— За письмо.

— За какое письмо? Может быть — от немца?

На это мне не отвечают ни слова. О чем с ними толковать? Заплатил я один рубль двенадцать копеек и взял это письмо, то есть не письмо, а целый ящик. Распечатываю — снова от него. От немца! Прибегаю к провизору.

— Не сердитесь,— говорю я,— пане, у меня несчастье, опять письмо от немца.

Провизор мой не ленится, он бросает работу и читает мне целую эпопею, все от этого самого немца, да сотрется имя его из списка живущих. Что же он пишет? Он пишет: так как у него сегодня именины, то есть праздник, и сидят у него гости, собралась вся семья, то он рассказал им для праздника случай о том, как приехал он в маленький городишко Деражня, как он очутился на станции, одинокий на чужой стороне, языка нашего он не понимает, и тут встретил он меня, и я привел его к себе, предоставил ему чудный, спокойный ночлег, отвели мы ему лучшую комнату, кормили и поили его, и как честно мы с ним обошлись. Принимая все это во внимание, он не может отказать себе в удовольствии поблагодарить нас еще раз за гостеприимство и любезность, которых он не забудет вечно, вечно...

«Какой пакостник этот немец,— думаю я,— не стану больше получать от него писем, пусть хоть золотом их обсыплет...»

Проходит еще один месяц, два месяца — нет больше писем, конец! Стал я уже забывать об этом немце, как вдруг приходит повестка со станции на посылку в двадцать пять рублей.

— Что это может быть за посылка в двадцать пять рублей? — раскидываю я мозгами так и этак, жена моя тоже раскидывает, и головы у нас трещат; потом я догадываюсь. Так как у меня есть друзья в Америке, то, может быть, это подарок от них — шифскарта или лотерейный билет. Лениться я не стал, побежал на станцию, хочу получить эту посылку, но мне говорят: будьте любезны, заплатите сначала два рубля двадцать четыре копейки, а потом сможете взять посылку.

Толковать тут нечего, надо одолжить где-нибудь два рубля двадцать четыре копейки, надо заплатить и взять посылку. Выкупил я эту посылку,— очень красивый ящичек и чудно упакован. Прибежал домой, вскрыл ящичек, оттуда сейчас же выпал портрет. Посмотрели мы на этот портрет — о, лихо мое, о, горе мое, о, погибшая жизнь моя — он! Это он на портрете — проклятый немец с длинной шеей и высокими плечами, с трубкой в зубах. К карточке прикреплено письмецо, по-немецки, конечно, и та же история. Он благодарит за ночлег, за гостеприимство и за любезность, которых он, конечно, не забудет. Какой ядовитый немец, будь он проклят! Дай бог, чтобы на его голову пала хоть половина, хоть малая часть наших проклятий, о, боже всевышний!

Прошло еще несколько месяцев — конец. Умер немец! Избавились, славу богу, от заразы! Я почувствовал себя счастливым... И вы думаете, что это все? Погодите, конец впереди. Совсем недавно получаю я ночью телеграмму о том, чтобы обязательно мне выехать в Одессу и поскорее к одному торговому человеку, по фамилии Горгельштейн. Остановился Горгельштейн в гостинице «Виктория» и срочно хочет меня видеть по делу.

— Одесса? Горгельштейн? Отель «Виктория»? Дело? Что за сон такой? — говорю я жене.

Но жена гонит меня, она хочет, она требует, чтобы я ехал, мало ли что бывает,— может быть, нас ждет хорошее дело, может быть, куртажные или партия зерна?

Легко сказать — езжай в Одессу! Поездка в Одессу должна влететь в копейку. Но дело не стоит, надо ехать. Короче говоря, достал я взаймы несколько рублей, сел в поезд и помчался в Одессу. Прибыл в Одессу, стал я расспрашивать, где стоит отель «Виктория». Наконец нашел его.

— Не у вас ли,— говорю я,— живет некто Горгельштейн?

— У нас,— говорят,— но только его сейчас нет дома. Он просил наведаться в десять часов вечера.

Наведываюсь в десять часов вечера — нет Горгельштейна. И меня просят прийти в десять часов утра, тогда я его застану. Прихожу в десять часов утра. «Где Горгельштейн?» — «Нет Горгельштейна. Он только что ушел и очень просил передать еврею из Деражни, чтобы тот пришел в три часа пополудни или в десять часов вечера».

Прихожу в три часа пополудни, прихожу в десять вечера — нет Горгельштейна! Зачем долго толковать, провалялся я в Одессе шесть дней и шесть ночей, питался болячками, укры-

вался бедой. С великим трудом, с невообразимыми мучениями поймал я этого Горгельштейна. Он оказался порядочным человеком с красивой черной бородой, принял меня очень мило, попросил присесть.

— Это вы,— говорит он мне, наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки,— тот самый еврей из Деражни?

— Это я тот самый еврей из Деражни. В чем дело?

— У вас,— говорит он,— прошлой зимой останавливался один немец?

— У меня,— говорю,— а в чем дело?

— Дела никакого нет,— говорит он,— но этот немец мой компаньон. Я получил от него письмо из Лондона. Он просит, если я увижу вас в Одессе, передать вам дружеский привет. Он благодарит вас за хороший спокойный ночлег и за ваше гостеприимство, и за любезность вашу, и за то, что вы с ним так честно обошлись. Никогда, пишет он, ему не забыть этого, никогда...

О, великая беда стряслась надо мной! Сейчас же после праздника я решил выехать из Деражни в другое местечко. Бежать, бежать, куда глаза глядят, бежать к черту на рога, лишь бы избавиться от этого пакостника, от этого немца, да сотрется имя его и память о нем!..

СКРИПКА

Рассказ из детских лет

1

— Сегодня, дети, я вам сыграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекрасней, ничего благородней, чем игра на скрипке. Не правда ли? Не знаю, как вы, но я, сколько себя помню, был всегда без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения. Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, рвану толстую струну: бум! — и бежать, бум! — и бежать. За этот «бум» мне однажды здорово влетело от Берл-баса. Берл-бас, человек сердитый, с приплюснутым носом, с острым взглядом, притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу, когда же я протянул руку к струне, он хвать меня за ухо и торжественно проводил до самой двери: «Ну-ка, ублюдок, марш отсюда!»

Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я страстно любил их всех: от скрипача Шайки, человека с красивой черной бородой и тонкими белыми пальцами, до барабанщика Геци, обладателя порядочного горба и плеши до самых ушей. Не раз леживал я под скамьей и слушал этих музыкантов — меня ведь гнали вон. Оттуда, из-под скамьи, я следил за тонкими пальцами Шайки, как они пляшут по струнам, внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипки.

После этого я, бывало, несколько дней подряд хожу как зачарованный, а перед глазами все Шайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днем наяву. Из головы не выходил у меня этот Шайка. Мне казалось, будто я и сам скрипач. Изогну, бывало, левую руку и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза — ну, совсем Шайка, две капли воды.

Приметил наш учитель Ноте-Лейб,— было это как раз на уроке,— что я двигаю как-то странно руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху.

— Ах ты бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи, мух ловит!

2

И я дал себе слово: что бы ни случилось,— я должен иметь скрипку. Но из чего же мне сделать эту скрипку? Конечно, из кедрового дерева. Легко, однако, сказать, кедровое дерево! Попробуй-ка достань его, если растет оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне вдруг такую мысль. Был у нас старый диван, доставшийся по наследству от дедушки реб Аншла. Из-за этого дивана в свое время поссорились между собой два мои дяди и покойный отец. Дядя Беня твердил, что он старший сын и поэтому диван должен, конечно, достаться ему; дядя Сендер утверждал, что именно как самому младшему диван должен принадлежать ему; а покойный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была единственной дочерью у дедушки, то диван должна наследовать она. Это во-первых. А во-вторых, диван стоит у нас в доме, значит — это вообще наш диван. Тут вмешались обе тетки, тетя Ита и тетя Злата, и затеяли такую склоку, что держись! Диван, дивана, диваном... В городе только и было разговору, что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.

Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, как яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящим «кедром», который идет на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но этот недостаток обернулся для меня достоинством: сядешь, бывало, на него и уж никак не встанешь, потому что сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине провалилось. Вот это-то и было его достоинством — никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.

На этот диван я и обратил теперь свои взоры. Смычок я изготовил уже давно. У меня был товарищ Шимеле, сын извозчика Юды, он дал мне пучок волос из хвоста их лошади. Канифоль для смычка я сам достал. На чудеса я никогда не полагался и выменял канифоль у другого приятеля, Меера-Липы,— дал ему стальную пластинку от маминого кринолина, который валялся

у нас на чердаке. Эту пластинку Меер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножичек. Меня даже взяла охота снова обменяться с ним, но он ни за что не соглашался.

— Вишь, какой умник нашелся! Весь в папашу! — раскричался он.— Я три ночи тружусь — точу, точу, все пальцы себе порезал, а он, видите ли, является — давай обратно меняться!

— Гляди-ка! — говорю я.— Ну и не надо! Какая невидаль, стальная пластинка! Мало валяется их у нас на чердаке? Внукам и правнукам хватит!

Итак, у меня есть все, что нужно. Теперь осталось только одно: содрать с дивана «кедровое дерево». Выбрал я для этого самое подходящее время: мать была в лавке, а отец после обеда прилег вздремнуть. Я взял гвоздь, забрался в угол и углубился в работу. Однако отец спросонья услышал какую-то возню и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец тут же повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу — отец подле меня и смотрит какими-то странными глазами. По-видимому, он сразу никак не мог сообразить, что же, собственно, я делаю. Потом уже, заметив изувеченный диван, он вытащил меня за ухо из угла и так жестоко избил, что меня пришлось отливать холодной водой.

— Господь с тобой! Что ты с ребенком сделал? — кричала мать, плача.

— Наследничек твой! Он живьем в могилу меня вгонит! — отвечал побледневший отец и, хватаясь за грудь, зашелся жестоким кашлем.

— Зачем же тебе так огорчаться? — говорила ему после мать.— Ты и без того хворый! Глянь на себя! Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!

3

Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильней становилась эта страсть. А тут еще, как назло, каждый день мне поневоле приходилось слушать музыку. Как раз на пол-пути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломой; оттуда постоянно неслись звуки всяких инструментов, чаще всего — звуки скрипки. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, ходивший в укороченном кафтане, с заложенными за уши пейсами и в крахмальном воротничке. У него был изрядный нос, который выгля-

дел будто приклеенный, губы толстые, зубы гнилые, лицо рябое и без всяких признаков бороды,— потому-то его и прозвали Безбородько. Жена его была дородная, крупная и звали ее «Праматерь Ева». А ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, ребята эти, все, от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цимбалах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, что умели исполнять самую сложную мелодию на губах, на гребенках, на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!

С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят — флейтист Пиня, парень лет пятнадцати, босой,— и спрашивает, понравилась ли мне игра.

— Хотел бы я,— отвечаю,— лет через десять так играть!

— Можешь этого добиться раньше,— говорит он и намекает, что за два целковых в месяц папаша его обучит меня играть, а если угодно, так и он сам обучит меня.

— На каком инструменте ты бы хотел играть? — спрашивает он.— На скрипке?

— На скрипке.

— На скрипке? — повторяет он.— А сможешь платить два с полтиной в месяц? Или ты такой же голодранец, как я?

— Платить-то я смогу,— отвечаю ему,— да только... об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни учитель.

— Боже упаси! — говорит он.— Зачем болтать! Нет ли у тебя табачку или папироски? Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос... Но смотри, никому ни слова, отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет и купит баранок на завтрак. Пойдем в дом, чего тут стоять!

4

Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.

Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу.

— Шолом Нохима Вевикова... сынок богача, хочет учиться играть на скрипке.

Нафтоле Безбородько убрал пейсы за уши, поправил воротничок, застегнул кафтан и завел со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что

самый лучший, самый замечательный инструмент — это скрипка, что выше и благородней скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Ведь скрипка — мать всех инструментов.

Вот так Нафтоле Безбородько прочел мне целую лекцию о музыке, при этом, как обычно, размахивал руками, шмыгал носом. Я же стоял и глядел ему в рот на почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.

— Скрипка, понимаешь ли,— говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией,— понимаешь ли, скрипка — самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был то ли Тувал-Каин, то ли Мафусаил, точно не помню, тебе лучше знать, ты ведь в школе учишься. Второй скрипач был царь Давид. Был еще один, третий скрипач, Паганини его звали, тоже еврей. Все лучшие скрипачи в мире евреи — вот, например, Стемпеню, Педоцур. Себя я не стану хвалить. Говорят, я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини. Паганини, говорят, продал душу дьяволу за скрипку. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями да папами, хоть те готовы были озолотить его. Зато он охотно играл для бедняков в кабачках по деревушкам или даже в лесу — для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, нахлебнички, за инструменты!

Это Нафтоле Безбородько внезапно отдал приказ своей команде, и ребята немедленно собрались вокруг него со своими инструментами. Сам Нафтоле встал посредине, ударил смычком по столу, строго глянул на каждого в отдельности, затем на всех разом, и они рванули на своих инструментах с такой силой, что я чуть было не свалился. Все они старались друг перед другом, но сильнее других оглушил меня один совсем маленький, худенький, мокроносый мальчонка, с босыми опухшими ножками. Хемеле играл на каком-то чудном инструменте; это было что-то вроде мешка, который, если его надуть, испускает дикий звук, будто кошка взвизгивает, когда ей наступают на хвост. Отбивая босой ногой такт, Хемеле все время поглядывал на меня своими маленькими плутоватыми глазенками и подмигивал, точно хотел сказать: «Не правда ли, здорово дую?» Но неистовей всех работал сам Нафтоле Безбородько: он и играл и дирижировал, действуя руками, ногами, носом, глазами, всем телом, а если случалось, что кто-нибудь ошибался, он еще и зубами скрежетал, сердито покрикивая:

— Форто, прохвост! Форто, фортиссимо!.. Такт, бездельник! Такт! Раз, два, три! Раз, два, три!

5

Договорились с Нафтоле Безбородько: за три раза в неделю по полтора часа — два рубля в месяц. И я его снова и снова умоляю держать все в строгой тайне, иначе я погиб. Он дает мне честное слово, что даже пташка в небе ничего не узнает.

— Уж такие мы люди,— заявляет он гордо и поправляет воротничок,— из тех, что денег не имеют, но совести и чести у нас побольше, чем у иных богачей!.. Не найдется ли у тебя несколько копеек?

Я вынимаю рубль и подаю ему. Нафтоле берет его двумя пальцами, как профессор, подзывает Праматерь Еву и говорит, глядя в сторону:

— На, купи чего-нибудь на завтрак!

Праматерь Ева, однако, хватает рубль обеими руками, да всей пятерней, рассматривает его со всех сторон и спрашивает мужа, что же ей купить.

— Чего хочешь,— отвечает он как бы совсем безразлично.— Купи несколько булок, две-три селедки и колбасы, не забудь головку луку, уксусу, масла, ну, и «мерзавчика», конечно, прихвати.

Когда все эти прелести появились на столе, орава накинулась на еду с такой жадностью, точно она разговлялась после долгого поста. Даже у меня слюнки потекли. И когда меня пригласили к столу, я не мог отказаться. Не помню, чтобы я когда-либо получал такое удовольствие, как тогда за этой трапезой.

После завтрака Безбородько мигнул своей команде. Все взялись за инструменты и меня угостили новым опусом — «собственной композиции» Нафтоле Безбородько. Эту «композицию» они сыграли с таким грохотом, что у меня заложило уши, закружилась голова, и я ушел оттуда как пьяный. Целый день потом в школе у меня вертелись в глазах учитель, ученики, книги, а в ушах не переставала грохотать «композиция». Ночью мне явился во сне Паганини верхом на дьяволе и огрел меня скрипкой по голове. Я проснулся с криком — у меня болела голова — и начал молоть всякий вздор. Что я говорил, не знаю. Но моя старшая сестра Песя потом рассказывала, что я в бреду выкрикивал какие-то бессвязные, дикие слова, вроде: Паганини, композиция. И еще об одном рассказала мне сестра — когда я болел, к нам раза два приходил от Нафтоле Безбородько какой-то босой мальчишка и справлялся, как я себя чувствую. Но его прогнали и наказали, чтобы он не смел больше являться к нам.

— Зачем приходил к тебе сынок музыканта? — допытывалась сестра.

Я твердил одно:

— Не знаю. Жизнью своей клянусь, не знаю! Откуда мне знать?

— Ну, на что это похоже? — говорила мне мать.— Ты уже, не сглазить бы, взрослый парень. Тебе уже невесту присматривают, а ты возишься с босыми музыкантами. Хороши у тебя приятели! Ну, что общего у тебя с этими музыкантами? Какие у тебя дела с сыном Нафтоле?

— Какого Нафтоле? — спрашивал я, прикидываясь дурачком.— Какие там музыканты?

— Погляди-ка на этого мудреца! — вставлял слово отец.— Не знает, что и сказать! Бедняжечка! Агнец невинный! Я в твои годы уже давно женихом был, а он все с мальчишками возится! Одевайся — и марш в хедер! Если тебя увидит Гершл Бал-таксе и спросит, чем ты болел, отвечай — лихорадкой. Слышишь, что тебе говорят? Лихорадкой!

Ничего не понимаю. При чем тут Гершл Бал-таксе? И почему я должен ему рассказывать о лихорадке?

Через несколько недель я получил ответ на все мои недоуменные вопросы.

6

Гершл Бал-таксе (так звали его потому, что и он, и отец его, и дедушка от века владели мясной таксой, или иначе — держали на откупе коробочный сбор; это уже была его вотчина) был человек с круглым брюшком, рыжей бородкой, влажными глазами и широким белым лбом — признак башковитости. И он действительно слыл в местечке человеком просвещенным, образованным, знатоком Библии и хорошим писцом. То есть почерк у него был замечательный; его письмо, говорят, составляло когда-то предмет гордости города. Ко всему прочему у него были деньги и единственная дочь, девочка с рыжими волосенками и влажными глазками,— две капли воды Гершл Бал-таксе. Имя ее было Эстер, а ласкательно ее звали Флестер. Было это существо хрупкое, нежное, и нас, мальчишек из школы, она боялась пуще смерти, потому что мы надоедали ей, вечно дразнили ее, пели при встрече:

Эстер!
Флестер!
Девочка-девчонка,
Где твоя сестренка?

Казалось, что обидного в этих словах? Правда ведь, ничего! Но Флестер, как только услышит эту песенку, заткнет уши и убежит с плачем в дом, а там заберется в какой-нибудь закуток и потом несколько дней подряд не выходит на улицу.

Но это было давно, когда она была ребенком. Теперь она стала взрослой девицей, заплетает свои рыжие волосы в косичку и одевается, как невеста, по последней моде. Моей матери она всегда нравилась, мать не могла нахвалиться этой «тихой голубицей». Эстер иногда в субботу заходила к моей сестре Песе, но, завидев меня, становилась еще красней, чем обычно, и опускала глаза. А сестра Песя нарочно, бывало, подзовет меня, спросит что-либо, а сама смотрит на нас обоих.

И был день, и стряслось оное событие. Является к нам в школу мой отец вместе с Гершлом Бал-таксе, а за ними плетется сват Шолом-Шахне, превеликий бедолага, человек с шестью пальцами на руке и курчавой черной бородой. Завидев таких гостей, учитель реб Зорах второпях напяливает на себя кафтан и шапку, но от волнения у него одна пейса заезжает за ухо, шапка сползает, из-под нее торчит пол-ермолки, а одна щека ярко пылает. Можно было сразу догадаться, что тут что-то кроется, тем более что сват Шолом-Шахне в последнее время слишком уж зачастил к нам в школу; всякий раз вызывал учителя в сени, и там они подолгу простаивали вдвоем, перешептывались, пожимали плечами, размахивали руками. Заканчивалось все это вздохом:

— Ну что ж, пускай будет так! Раз суждено, значит, сбудется. Разве можно все знать наперед?

Когда вошли гости, реб Зорах не знал, что ему делать, куда их посадить. Он схватил кухонную скамейку, на которой его старуха солила мясо, повертелся с ней по комнате, наконец поставил ее и сам же уселся на ней. Но тотчас вскочил как ошпаренный и, смутившись, ухватился за задний карман кафтана, точно потерял сокровище какое-то.

— Вот скамейка, садитесь! — предложил он гостям.

— Ничего, ничего, сидите! — ответил отец.— Мы зашли к вам, реб Зорах, только на минуту: они хотят послушать моего мальчика... что-нибудь из Библии.

И отец показывает на Гершла Бал-таксе.

— Ох, пожалуйста, с удовольствием! Отчего бы нет! — говорит учитель Зорах, хватает Библию и подает ее Гершлу так, точно говорит при этом: «На тебе, и делай, что хочешь».

Гершл Бал-таксе берет в руки книгу, как человек, знающий толк в этом деле, склоняет голову набок, зажмуривает один глаз,

листает, листает и, наконец, указывает мне на первый стих из «Песни Песней».

— Гм, «Песнь Песней»? — говорит учитель с усмешкой, которая должна означать: «Эх ты! Труднее ничего не мог найти?»

— «Песнь Песней»,— отвечает ему Гершл Бал-таксе,— это вовсе не такое пустое дело, как вы думаете. «Песнь Песней» — это надо понимать!

— Безусловно,— вставляет с улыбочкой Шолом-Шахне.

Учитель кивает мне. Я подхожу к столу и, раскачиваясь, начинаю громко напевать:

— Песнь песней, то есть всем песням песнь. Все песни сложил пророк, а эту — пророк пророков; все песни сложил мудрец, а эту — мудрец из мудрецов; все песни пел царь, а эту — царь царей.

Пою, а сам поглядываю на моих экзаменаторов и на каждом лице вижу другое выражение. У отца на лице гордость и удовлетворение; на лице учителя — боязнь и опасение, как бы я не запнулся и не наделал ошибок. Его губы шепчут вслед за мной каждое слово. Гершл Бал-таксе сидит, склонив голову несколько набок,— кончик рыжей бороды во рту, один глаз закрыт, другой уставился в потолок,— и слушает, как великий знаток. Сват Шолом-Шахне глаз с него не сводит. Он сидит, согнувшись над столом, покачивается вместе со мной и, не в силах сдержаться, поминутно перебивает меня каким-нибудь возгласом, одобрительным смешком, покашливанием или взмахом своего раздвоенного пальца.

— Раз говорят, что он знает,— значит, знает!

Через несколько дней у нас состоялось торжество — били тарелки, и я оказался женихом единственной дочери Гершла Бал-таксе, маленькой Флестер.

7

Бывает, что человек в один день вырастает так, как другой не вырастет в десять лет. Став женихом, я сразу же почувствовал себя взрослым; как будто тот же, что и раньше, и все же не тот. От приятеля-мальчишки и до самого реб Зораха все стали вдруг глядеть на меня с почтением — как-никак жених. И при часах! Даже отец перестал на меня кричать. А о порке и разговору не могло быть. Как это можно вдруг выпороть жениха с золотыми часами в кармане? Позор перед людьми и срам для себя! Правда, в школе у нас однажды высекли жениха, Элю, за

то, что он катался на льду вместе со всеми мальчишками. Об этой истории болтал потом весь город. Невеста, проведав о случившемся, рыдала так долго, пока жениху не отослали обратно акт обручения. А жених Эля с горя и со стыда хотел было утопиться, да река к тому времени замерзла.

Почти такая же беда случилась со мной. Но причиной были не розги и не катанье на льду, а скрипка.

Дело было так.

Частым гостем в нашей винной лавочке был капельмейстер Чечек, которого мы звали «пан полковник». Это был здоровенный дядька, с большой окладистой бородой, со страшными бровями. Говорил он на каком-то странном диалекте — смеси нескольких языков. Во время разговора водил бровями вверх и вниз. Когда он опускал брови, лицо его становилось мрачным, как ночь, когда поднимал, лицо делалось светлым, как день, потому что под его густыми бровями были голубые, добрые, веселые глаза. Носил он мундир с золотыми пуговицами, поэтому-то мы его и прозвали полковником. У нас в лавчонке он был частым гостем не потому, что пил горькую, а только из-за того, что отец искусно готовил из изюма «лучшее добротное венгерское вино». Чечек был в восторге, не мог нахвалиться этим вином. Бывало, положит свою здоровенную ручищу отцу на плечо и говорит на своем странном наречии:

— Герр келермейстер! У тебя найлепший угнвервейн. Нема таки винэ ин Будапешт! Перед богом! [1]

Ко мне Чечек был особенно расположен, хвалил за то, что я учусь в школе, часто проверял мои знания, спрашивал, кто был Адам, кто Изак, а кто Джозеф.

— Иосиф,— говорю я,— Иосиф Прекрасный?

— Джозеф,— отвечает он.

— Иосиф,— поправляю я его снова.

— У нас Джозеф, у вас Иоджеф,— говорит он, потрепав меня по щеке.— Джозеф-Иоджеф-Джозеф — вшйстко е́дно [2], ганц эгаль [3].

— Хи-хи-хи...

Я прячу лицо в кулак и смеюсь.

Но с тех пор как я сделался женихом, Чечек больше не обращался со мной как с мальчишкой, стал разговаривать как

---

[1] Господин виноторговец! У тебя наилучшее венгерское. Такого вина не найти и в Будапеште! Ей-богу! *(Смесь немецких, украинских и польских слов.)*

[2] Все равно *(польск.)*.

[3] Все равно *(нем.)*.

с равным, рассказывал полковые истории, небылицы о музыкантах (пан полковник мог наговорить с три короба, да некому было его слушать).

Однажды он разговаривал со мной о музыке. И я его спросил:

— На каком инструменте играет пан полковник?

— А на вшистских[1] инструментах,— отвечает он, поднимая брови.

— И на скрипке? — спрашиваю я, и он мне уже начинает представляться ангелом небесным.

— Заходи как-нибудь,— говорит он,— я тебе сыграю.

— Когда же я могу к вам прийти, пан полковник? Разве лишь в субботу. Но с условием: чтобы никто не знал. Обещаете?

— Перед богом! — говорит Чечек и вскидывает свои брови.

8

Чечек жил далеко-далеко за городом в маленькой белой хатке с малюсенькими оконцами и крашеными ставнями, с зеленым палисадником возле дома, откуда важно выглядывали высокие желтые подсолнухи. Наклоняя набок головки, они покачивались и будто звали меня: «Сюда, к нам, паренек! Здесь свет божий приволен, свеж и душист. Здесь чудесно!..» И после душных, пыльных городских улиц, после шума, толчеи и гама в школе тебя так и тянет сюда,— потому что здесь действительно чудесно; свет божий здесь необъятен, свеж и душист! Хочется бегать, прыгать, кричать, петь или броситься наземь, уткнуться лицом в пахучую зеленую траву. Увы, все это не для вас, еврейские дети! Желтые подсолнухи, веселые кочаны капусты, свежий воздух, душистая земля, ясное небо — нет, извините, этому на вашем мусоре не расти!..

Встретил меня большой черный кудластый пес с огненно-красными глазами. Он набросился на меня с такой яростью, что я чуть на месте не помер. К счастью, он был на цепи. На мой крик Чечек без мундира выскочил из дому и стал ласково унимать собаку, и она вскоре угомонилась. Тогда Чечек взял меня за руку и подвел к черному псу, уверяя, что мне нечего его бояться,— он не тронет. В доказательство миролюбия пса хозяин предложил мне самому погладить его. И тут же, не раздумывая, схватил мою руку и давай ею водить по спине этого зверя, на-

---

[1] На любых *(польск.)*.

зывая его при этом странными кличками, хотя и очень ласково. Черная бестия опустила хвост, нагнула свою собачью голову, облизнулась и кинула на меня искоса такой взгляд, который мог означать только одно: «Счастье твое, что пан здесь, не то ушел бы ты отсюда без руки...»

Оправившись от испуга, я наконец вошел с паном полковником в дом и остолбенел: все стены сверху донизу увешаны оружием, а на полу лежит шкура с головой льва или леопарда, с оскаленными острыми зубами. Впрочем, лев еще полбеды, все же мертвый лев. Но ружья, ружья!.. Мне было не до свежих слив и прекрасных яблок из собственного сада, которыми потчевал меня хозяин. Глаза мои не переставали перебегать со стены на стену. Лишь потом, когда Чечек вынул из красного футляра маленькую, кругленькую, пузатенькую скрипку, поднес ее к своей большой бороде, провел по ней несколько раз смычком и полились мелодии, я забыл про черного пса, и про страшного льва, и про ружья на стенах. Я видел лишь большую, рассыпавшуюся по деке бороду Чечека, его густые насупленные брови, круглую, пузатенькую скрипку и пальцы, плясавшие по струнам с такой быстротой, что трудно было постигнуть: откуда у человека столько пальцев?

А потом исчез Чечек, исчезла рассыпавшаяся борода его, густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу перед собой ничего. Слышу лишь пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шепот, воркование — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мед, чистые, как елей, лились, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко отсюда, в иной мир, мир чистых звуков и песнопений.

— Гербаты хцешь?[1] — спросил вдруг Чечек, отложил скрипку и хлопнул меня по плечу.

Я точно с неба свалился.

С той поры я стал ходить каждую субботу после обеда к Чечеку слушать его игру на скрипке. Ходил уже смело, никого не боясь, и даже с черным псом подружился так, что он, завидев меня издали, вилял хвостом и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал. Будем лучше добрыми друзьями на расстоянии!

Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день,— жених все-таки! Да и не узнали бы никогда, не случись со мною новое несчастье, которое и будет описано в главе девятой.

---

[1] Чаю хочешь? *(польск.)*

9

Казалось бы, кому какое дело, что паренек отправляется в субботу после обеда погулять несколько дальше обычного, за город, например? Неужели больше делать нечего, как следить за другими? Однако что толковать? Такова уж человеческая натура: приглядываться к своему ближнему, выискивать у него недостатки и давать советы! У нас могут, например, подойти к совершенно незнакомому человеку в синагоге, когда он молится, и поправить у него на лбу филактерии; или остановить его, когда он спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина; или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймет, что же ты, собственно, имеешь в виду: нос, бороду или шут его знает что еще; или когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Да вы не умеете! Дайте-ка мне»; или остановиться возле постройки и ляпнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, комнаты чересчур просторны, а окна несоразмерно широки. Хоть ломай постройку и начинай все заново! Так уж у нас, понимаете ли, водится издавна, с сотворения мира. А мы уж с вами мир не перестроим, да и не обязаны это делать.

После такого вступления вы поймете, почему Эфроим Клоц, совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе, принялся следить за мной, разнюхивать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся, что сам видел, как я ем трефное у полковника и курю в субботу. Чтоб ему, говорит, счастье так видеть в своем доме! Чтоб ему, говорит, не дойти туда, куда он идет! А если он врет хоть на столечко, пусть ему самому, говорит, скривит рот, пусть у него глаза вылезут!

— Аминь, дай-то бог! — говорю я и получаю от отца затрещину, чтобы не дерзил. Но я, кажется, опережаю события — поставил на стол бульон раньше рыбы. А ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфроим Клоц, что, собственно, он собою представляет и как дело было.

На краю города, за мостом, жил некий Эфроим Клоц. Почему его прозвали Эфроим Клоц? Торговал он когда-то лесом, теперь уже не торгует. С ним вышла история: нашли у него на складе бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, судебная волокита, еле-еле от тюрьмы ушел. С тех пор он вовсе бросил торговать, занялся общественными делами и всюду

совал свой нос: в дела общины, таксы, цехов, синагоги. Поначалу у него все это шло не очень гладко, натерпелся сраму. Однако дальше — больше, человек втирался в доверие, болтал, что знает «все ходы и выходы». И, глядь, наш Эфроим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так заберется в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя здесь как дома, настоящим хозяином.

Эфроим этот был низенький, на коротких ножках, имел крошечные ручки, красные щечки, а ходил быстро-быстро, вприпрыжку, подергивая головенкой, говорил торопливо, пискливым голоском, смеялся меленько — ровно горошек сыпал. Терпеть я его не мог, не знаю почему.

Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как он прогуливается на мосту в своем длинном залатанном субботнем кафтане, накинутом на плечи. Заложив руки за спину, он пискливо что-то напевал, а длинный балахон бил его по пятам.

— Добрый день,— говорю я ему.

— Добрый день,— отвечает он.— Куда это паренек идет?

— Просто так, гулять.

— Гулять? Один-одинешенек? — спрашивает он и смотрит мне в глаза с такой усмешкой, по которой трудно сразу понять: умно ли это, глупо ли, или, может быть, смело, что я иду гулять один-одинешенек.

10

Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфроим Клоц слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть на воду. Тогда и Эфроим остановился и стал глядеть в воду. Я повернул обратно — и он за мной. Пошел я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он куда-то исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы услышали, что собака яростно лает на кого-то и рвется с цепи. Выглянул в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, черненькое, на коротеньких ножках семенит, семенит и исчезает. Я бы поклялся, что это Эфроим Клоц.

Так и есть. Прихожу в исход субботы домой, красный от волнения, и застаю Эфроима у нас. Сидит за столом, что-то оживленно рассказывает и меленько смеется. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец — бледный как смерть, мнет бороду, выдергивает по волоску: верный признак, что он сердит.



«Семьдесят пять тысяч»

— Ты это откуда? — спрашивает меня отец и глядит на Эфроима.

— Откуда же мне быть? — отвечаю я.

— А я разве знаю откуда? — говорит отец.— Скажи ты, тебе лучше знать.

— Из синагоги иду,— отвечаю я.

— А где ты был целый день? — спрашивает отец.

— А где мне быть? — отвечаю я.

— Почем я знаю,— говорит отец,— тебе лучше знать.

— В синагоге,— отвечаю.

— Что же ты там делал, в синагоге?

— Что мне там делать?

— А я знаю, что тебе там делать?

— Я изучал...

— Что же ты изучал?

— Что мне изучать?

— Откуда я знаю, что тебе изучать?

— Я изучал Талмуд.

— Какой трактат ты изучил?

— Какой же мне изучать?

— Откуда я знаю какой?

— Трактат «Суббота» я изучал.

Тут Эфроим Клоц сыпанул своим меленьким смешком, и отец больше не выдержал: он вскочил с места и отвесил мне такие две звонкие, горячие пощечины, что у меня искры из глаз посыпались.

Мать это услыхала из соседней комнаты и вбежала с криком:

— Нохим! Господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха?! Перед свадьбой! Подумай, что же это будет, если сват узнает?!

. . . .

Мать была права. Гершл Бал-таксе проведал обо всем. Да сам Эфроим Клоц и рассказал, радуясь, что может досадить ему: они издавна были на ножах.

Уже на следующий день утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Конечно, я больше не жених. Отца это так огорчило, что он слег в постель, долго болел, не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрашивала, как ни защищала меня — ничто не помогло.

— Но этот срам! Но этот позор! Не снести мне,— сказал он,— такого позора!

— Да пусть оно пропадом пропадет! — изливала душу мать.— Бог пошлет ему другую невесту. Что ж поделаешь? С жизнью покончить? Видно, она ему не сужена...

Вместе с другими пришел проведать отца и капельмейстер Чечек.

Отец, увидев его, снял с головы ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев в глаза, сказал:

— Ой, пан полковник, пан полковник!..

Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слезы.

Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это меня так потрясло, так больно сжалось мое сердце! Я стоял у окна и глотал слезы. В эту минуту я искренне каялся во всем, что натворил. Я колотил себя в грудь, как истый грешник, и дал себе слово — никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда больше не причинять ему неприятностей. Конец скрипке!

БУДЬ Я РОТШИЛЬД...

Монолог касриловского меламеда

— Будь я Ротшильд...— размечтался касриловский меламед однажды в четверг, когда жена потребовала денег, чтоб справить субботу, а у него их не оказалось.— Эх, если бы я был Ротшильдом! Угадайте, что бы я сделал? Первым долгом я завел бы обычай, чтоб жена всегда имела при себе трешницу и не морочила голову каждый раз, когда наступает долгожданный четверг, а субботу отпраздновать не на что... Во-вторых, я выкупил бы заложенный субботний кафтан... Впрочем, нет! Женин кошачий бурнус: пускай перестанет твердить, что ей холодно! Затем я приобретаю весь этот дом, со всеми тремя комнатами, с клетушкой, чуланом, погребом, чердаком, со всей прочей дребеденью: пусть она не говорит, что ей тесно. Вот тебе две комнаты — стряпай себе, пеки, шинкуй, стирай, делай что хочешь, а меня оставь в покое, чтобы я мог заниматься с моими учениками на свежую голову! Нет заботы о заработке, не надо думать, откуда взять на субботу,— благодать, да и только! Дочерей бы всех повыдавал,— долой обузу с плеч. Чего мне еще надо? Вот я и начинаю подумывать о городских делах.

Перво-наперво жертвую старой синагоге новую крышу, пусть не каплет на голову, когда люди молятся. Баню, не будь рядом помянута, я перестраиваю заново, потому что не сегодня-завтра там неминуемо, упаси бог, беда приключится, да еще, чего доброго, как раз когда женщины моются. А коль скоро баню, то уж богадельню и подавно развалить надо и поставить на ее месте больницу, самую, что называется, настоящую — с койками, доктором, лекарствами, с бульоном для больных каждый день,— как водится в порядочных городах. Затем я строю приют для престарелых, чтобы старики, знатоки Талмуда, не валялись в молельне за печью. Создаю общество «Одежду — нагим», чтобы дети бедняков не бегали, извините за выражение,

с голыми пупками, и благотворительное ссудное товарищество. Чтобы человек, будь он меламед, или ремесленник, или даже торговец, не должен был платить процентов, не должен был закладывать последнюю рубаху; учреждаю общество «Призрения невест», дабы любую беднячку, засидевшуюся в девушках, приодели как следует и выдали замуж, и еще тому подобные общества завожу я у нас в Касриловке... Впрочем, почему только в Касриловке? Всюду, где живут наши братья евреи, основываю я такие общества, везде, по всему свету!

А для порядка, чтобы все шло чин чином, я знаете что делаю? Назначаю надо всеми обществами одно большое благотворительное общество, которое наблюдает за всеми остальными, заботится обо всех евреях, то есть обо всем народе, чтобы люди везде имели заработок, жили в дружбе, сидели бы по иешиботам и изучали Библию с комментариями Раши, Талмуд с толкованиями, с добавлениями и всякой прочей премудростью, все семь наук и все семьдесят языков. А надо всеми иешиботами был бы главный иешибот — еврейская академия, в Вильне, разумеется... Отсюда должны выходить величайшие в мире ученые и мудрецы — и все это бесплатно, «за счет богача», на мои средства то есть, и чтобы все велось по плану, по порядку, чтобы не было никакого «ты-мне-я-тебе-хап-лап», пусть у всех будет только одна забота — общее благо!.. А что нужно для того, чтобы люди думали об общем благе? Для этого надо обеспечить каждого в отдельности. А чем обеспечить? Разумеется, заработком. Потому что заработок — это, знаете ли, самое главное! Без заработка не может быть и дружбы. Из-за куска хлеба, прости господи, люди готовы друг друга извести, зарезать, отравить, повесить!.. Даже враги наши, зложелатели на всем свете,— чего, думаете, они от нас хотят? Ничего. Все из-за заработка. Будь у них дела получше, они бы вовсе не свирепствовали так. Погоня за достатком приводит к зависти, зависть — к вражде, а отсюда берутся, оборони боже, все несчастья, все горести, преследования, убийства, зверства, войны...

Ох, войны, войны! Это, скажу я вам, зарез для всего мира! Будь я Ротшильд, я бы раз и навсегда положил конец войнам!

Вы, пожалуй, спросите, каким образом? Только при помощи денег. А именно? Сейчас объясню толком.

Два государства, к примеру, спорят из-за пустяков, из-за клочка земли, который и понюшки табаку не стоит. У них это называется «территорией». Одно государство говорит, что территория принадлежит ему, а второе заявляет: «Нет, это моя территория!» С самого, что называется, сотворения мира господь

бог создал эту землю для его милости. Но тут приходит третье государство и говорит: «Оба вы ослы! Эта территория принадлежит всем, она, так сказать, «общее достояние»... Словом, территория сюда, территория туда — «территорят» до тех пор, пока не начнут палить из ружей и пушек, люди режут друг друга, как ягнят, кровь льется, как вода!

Но представьте себе, что я в самом начале являюсь к ним и говорю: «Тише, братцы, дозвольте слово сказать. Из-за чего у вас, собственно, спор? Думаете, мы не понимаем, чего вы хотите? Ведь вам не тары-бары,— вам галушки подавай! Территория — это ведь только предлог! А главное для вас — то самое, «петиметн», контрибуция!» А коль скоро речь зашла о контрибуции, к кому же обратиться за займом? Ко мне, к Ротшильду то есть. А я им: «Знаете что? Вот тебе, долговязый англичанин в клетчатых штанах, миллиард! Вот тебе, глупый турок в красной феске, миллиард! А вот и тебе, тетя Рейзя, миллиард! В чем дело? Господь поможет, уплатите мне с процентами, не с большими, упаси бог,— скажем, четыре-пять годовых,— не собираюсь я на вас наживаться...»

Понятно вам? И я дело сделал, и люди перестают резать друг друга, точно скот, ни за что ни про что. А если войнам конец, тогда к чему оружие, войско, вся эта канитель, весь этот тарарам? Ни к чему! А если нет оружия, нет войска, нет тарарама,— так ведь нет больше и вражды, нет зависти, нет больше ни турка, ни англичанина, ни француза, ни цыгана, ни еврея, скажем — весь мир обретает совсем другое обличье, как в Писании сказано: «И настанет день», то есть день пришествия мессии!..

А? А может быть... Будь я Ротшильд, я, может быть, вообще отменил бы деньги! Никаких денег! Потому что давайте не будем обманывать себя: что такое деньги? Ведь это же, собственно, дело сговора, самообман... Взяли кусок бумаги, нарисовали на нем картинку и написали: «Три рубля серебром». Деньги, говорю я вам, это только соблазн, страсть, одна из самых пагубных страстей... *Все за ними гонятся, и никто их не имеет*. Но если бы денег вообще на свете не было, так ведь и дьяволу-искусителю нечего стало делать, да и от самой страсти ничего бы не осталось! Понимаете или не понимаете?

Правда, возникает вопрос, откуда люди брали бы деньги, чтобы справить субботу? Но позвольте, а откуда мне сейчас взять на субботу?

ГИМНАЗИЯ

Зима. Напротив меня сидит человек средних лет. Рыжеватая бородка серебрится проседью. Бобровая шуба не первой свежести.

Разговорились...

— Самый заклятый враг, знаете,— обращается он ко мне,— не сделает вам того, что сам себе человек может натворить! Особенно если в дело вмешается женщина, то есть жена...

О ком я, думаете, говорю? О себе самом. Взять, к примеру, меня... Казалось бы, если взглянуть со стороны,— человек как человек, на носу у меня не написано, имею я деньги или не имею... А вдруг я и вовсе ко дну пошел! Возможно, что в свое время я и был при деньгах, но дело не только в них, деньги — ерунда! Дело в заработке — почетном и спокойном. Я не из тех, что шумят, гремят, как некоторые другие, которые любят фи-фу-фа!.. Нет!.. Я придерживаюсь того мнения, что лучше, когда все идет тихо, чинно... Я тихо и чинно торговал, несколько раз тихо и чинно объявлял себя банкротом, без лишнего шума улаживал свои дела с кредиторами, а потом снова помаленечку да потихонечку приступал к делу. Есть, однако, господь на небе,— вот он и осчастливил меня, наградил супругой... (Ее здесь нет, и, стало быть, можно говорить откровенно.) Жена, в сущности, такая же, как и все жены. На вид очень даже «ничего себе»: особа, не сглазить бы, раза в два крупнее меня, недурна собой, красавица, можно сказать! Неглупа, умница, собственно говоря, мужская голова на плечах... Но вот это как раз и есть главный недостаток! Беда, говорят, тому, у кого жена за мужчину в дому! Будь хоть тысячу раз умна! А все-таки господь создал раньше Адама и только потом — Еву...

Поговорите, однако, с ней,— она на это отвечает:

— То, что бог создал раньше вас, а потом нас,— это его дело. Но в том, что у меня по его милости в пятке больше ума, нежели у тебя в голове, я не виновата!

— Это ты,— спрашиваю,— к чему говоришь?

— А к тому и говорю, что обо всем у меня должна голова сохнуть. Даже и о том, чтобы сына в гимназию определить, обязана думать я.

— А где это, собственно, сказано, что непременно в гимназию? По мне, он всю эту премудрость может и дома одолеть.

— Я тебе уже тысячу раз говорила,— отвечает она,— что тебе не удастся заставить меня жить наперекор всему свету! Нынче такая мода: дети должны обучаться в гимназии!

— По моему разумению,— говорю я,— твой свет попросту с ума спятил!

— Если бы весь свет жил по твоему разумению,— отвечает она,— хорошо бы он выглядел!

— Каждый поступает по своему разумению...

— Моим врагам и врагам моих друзей,— говорит она,— иметь бы столько в кармане, в сундуке и в шкафу, сколько у тебя этого самого «разумения» в голове!

— Горе,— отвечаю,— тому мужчине, о котором судит женщина!

— Горе,— огрызается она,— женщине, имеющей мужа, о котором женщина должна судить!

Вот и столкуйся с женой! Вы ей про Авраама, а она вам про Адама. Скажешь ей слово, а она вам двенадцать сдачи. Попробуешь отмолчаться, а она как расплачется... А не то возьмет и шлепнется, извините за выражение, в обморок!.. Тут уж я вам и вовсе не завидую! Словом, вы же понимаете, что в конце концов поставила на своем она! Давайте говорить начистоту: если она чего-нибудь захочет, так уж тут никакие отговорки не помогут!

В общем, что тут рассказывать! Началась канитель — гимназия! Нужно, стало быть, готовить мальчишку в «младший приготовительный»! Шутка ли, «младший приготовительный»! Такая премудрость! Казалось бы, самый ледащий мальчишка в хедере, карапуз, и тот всех их трижды за пояс заткнет! А тем более такой, как у меня: всю империю изъездишь — другого такого не найдешь! Конечно, я отец... Но у него голова на плечах — единственная на всем свете!

Короче говоря, мальчик пошел, держал экзамен и... не вы-

держал! В чем дело? Получил двойку по арифметике: слабоват, говорят они, в счете, в математике то есть...

Как вам нравится такая история? У парнишки, можно сказать, голова одна на всю империю, а они мне байки рассказывают: «математика»!

Однако факт — не выдержал! Досадно, конечно! Уж если пошел держать, пускай бы лучше выдержал. Но ведь я же не женщина, я, как мужчина, подумал: «Ко всем чертям! Нашему брату не привыкать стать...»

Но подите поговорите с моей женой, когда та вбила себе в голову: «Гимназия!» — и ничего больше знать не хочет.

— Скажи мне,— пробую я убедить ее,— голубушка, на что это тебе? Для заработка ему гимназия нужна, как собаке пятая нога; а чем плохо, если он будет лавочником, как и я, или таким же купцом, как другие? А ежели ему, упаси бог, суждено быть богачом или банкиром,— я тоже горевать не стану!

Но — говорите со стенкой! Она не слушает и толкует о своем:

— Пожалуй, даже лучше, что он не попал в младший приготовительный.

— Почему?

— Так! — отвечает она.— Сразу пойдет в старший приготовительный!

Ну что ж, пускай будет старший приготовительный. Подумаешь, какая важность, когда у мальчугана голова — одна на всю империю...

Чем же это кончилось? Когда дошло до дела — снова двойка! Правда, на этот раз не из-за математики... Новое несчастье: правописание хромает. То есть пишет он вообще как полагается, но на одну букву малость прихрамывает — на букву «ять»! Ставить это самое «ять» он ставит. Почему его не ставить? Беда только, говорят они, что он ставит его не там, где надо...

Понимаете, какое несчастье? Прямо-таки не знаю, как я буду ездить в Полтаву или в Лодзь на ярмарку, если сын мой будет ставить букву «ять» не там, где им нравится!

Словом, когда нам сообщили эту добрую весть, жена моя стала землю носом рыть: бегала к директору, убеждала, уговаривала, клялась, что мальчик знает, умеет, может... Пусть его вызовут, пусть переэкзаменуют, пусть спросят снова... Но кто станет ее слушать? Вкатили двойку, да еще какую двойку — с минусом! И делай что хочешь!

Шум, крик:

— Помилуйте! Опять не выдержал!

— Ну, что же делать? — говорю я.— Жизни, что ли, решиться по этому случаю? Нам не привыкать стать...

Тогда она вспыхивает, начинает горячиться, ругаться, проклинать, как «они» умеют. Но уж это куда ни шло! Его, беднягу, жалко! Малыша! Прямо-таки душа болит! Помилуйте, такое горе: все вырядятся в белые пуговицы, а он нет...

— Глупенький! — говорю я ему.— Дурачок! Разве могут быть все на свете приняты? Должен же кто-нибудь и дома оставаться...

Тут налетает на меня жена:

— Утешитель нашелся! Кто тебя просит успокаивать мальчика такими умными речами? Позаботился бы лучше о том, чтобы найти для него хорошего учителя, специально по русскому языку, по грамматике!..

Слыхали разговор? Значит, я уже двух учителей должен держать! Одного учителя, не считая меламеда, мало! Словом, говори не говори, а поставила на своем, конечно, она, а не я. Уж если она так захотела, значит, никаких отговорок...

В общем, что тут рассказывать? Наняли нового учителя, русского (не еврея, упаси бог,— фи!), настоящего русского, потому что грамматика для поступления в первый класс — это горше хрена! Шутка ли, грам-ма-ти-ка! Буква — «ять»! И чего только не натерпелись мы от этого богом данного учителя! Даже рассказывать совестно! Он всех нас с грязью смешивал, смеялся прямо в лицо! Например, когда нужно было учить с мальчиком грамматику, он ничего, кроме чеснока, выискать не мог: «чеснок», «чеснока», «чесноку», «чеснокою»... Черт бы его взял! Если бы не жена, взял бы я его за шиворот и вышвырнул бы за дверь ко всем чертям собачьим вместе с его хваленой грамматикой! Но ей все ладно: зато мальчик будет знать, где ставить букву «ять», а где не ставить.

Можете себе представить, что ребенка основательно помучили всю зиму, и весной ему опять нужно было идти на заклание.

Пришла весна, он пошел, держал и принес уже не двойку, а четверку и пятерку! Радость! Ликование! Поздравляю!

Впрочем, не торопитесь с поздравлениями: еще неизвестно, принят ли он, об этом мы узнаем только в августе. Почему не сейчас? Подите спросите их. Но что поделаешь? Нам не привыкать стать...

Наступил август. Вижу — моя места себе не находит, бегает от инспектора к директору, от директора к инспектору.

— В чем дело? — спрашиваю.— Чего это ты носишься, как затравленная мышь, от Шмуни до Буни?..

— Что значит «чего»? Ты что — с луны свалился? Не знаешь, что по нынешним временам творится в гимназиях с процентами?..

И действительно! Оказывается, не приняли! Почему? Потому, что не две пятерки. Если бы он получил две пятерки, он, может быть, был бы принят! Понимаете,— «может быть»! Как вам это нравится?

Я уже не говорю о том, какую сцену закатила мне жена. Но малыша мне жаль! Лежит, бедняга, уткнувшись лицом в подушку, и, не переставая, плачет.

Долго ли, коротко ли,— пришлось взять нового учителя, студента из той же гимназии, и стали готовить мальчика уже во второй класс, но по-другому, потому что второй класс — это дело не шуточное. Тут уже требуется, помимо математики и грамматики, и география, и чистописание, и сам не знаю, что еще!.. Хотя, с другой стороны, все это гроша ломаного не стоит! Уверяю вас, что любой трактат Талмуда труднее всех этих наук, а может быть, и заковыристее... Но что прикажете делать? Наш брат привык...

И вот началась возня с уроками: только встал — за уроки! Помолился, закусил — за уроки; весь день — уроки. До поздней ночи только и слышишь, как он тарабанит: «именительный — дательный», «сложительный — вычитательный». В ушах трещит... Где там кушать? Какой там сон? Взяли, говорю, ни в чем не повинную душу и мучают ни за что ни про что!

— Ребенка,— говорю,— пожалейте! Как бы он не захворал!

— Типун тебе на язык! — отвечает она.

Короче говоря, он снова пошел на заклание и принес круглые пятерки! Да и что удивительного? У него голова — одна на всю империю!..

Казалось бы, все хорошо? Не правда ли? И тем не менее, когда вывесили списки принятых, оказалось, что моего среди них нет!

Шум, крик: «Как же так? Разбой! Круглые пятерки!!!» Вот она пойдет, вот она побежит, вот она их и так и этак!..

Словом, она и ходила и бегала — и добегалась до того, что ее попросили не морочить голову. А когда ее прогнали, она ввалилась в дом и подняла крик до самого неба:

— Что ж это значит? Какой же ты отец? Был бы ты настоящим отцом, преданным, любящим, как другие,— поискал бы какие-нибудь пути к директору, знакомства, связи!..

Как вам нравится такая бабья выдумка? Мало того что у меня мозги сохнут от своих дел, что голова у меня вечно занята сезонами и ярмарками, квитанциями и векселями, протестами и прочими несчастьями! Уж не хочешь ли ты, чтобы я обанкротился из-за твоей гимназии и твоих классов, которые у меня уже вот где сидят?

Ведь мы же, как говорится, всего только люди, а у каждого человека есть желчь. Нет-нет да и выпалишь... Но поставила на своем, конечно, она, а не я, потому что раз она захотела, стало быть, никаких отговорок...

В общем, что тут рассказывать? Я начал искать протекции, знакомства. Я унижался, терпел позор, потому что каждый спрашивает,— и правильно спрашивает! — в чем дело? Ведь вы же, реб Арн, говорят они, человек состоятельный, имеете всего-навсего одного-единственного сынишку... Куда же вас нелегкая носит? Что заставляет вас соваться с ним, куда не следует?.. Поди расскажи им, что есть у меня супруга,— жить бы ей до ста двадцати лет! — которая втемяшила себе в башку: «Гимназия, гимназия и гимназия!»

Однако и сам я, как видите, не из тех, кого за ручку водят: проторил-таки себе, с божьей помощью, дорожку куда следует, пробился к самому хозяину, то есть к директору в кабинет, и сел с ним толковать: так, мол, и так. С начальством я, слава тебе господи, говорить умею, за язык тянуть меня не надо.

— Что вам угодно? — спрашивает он и просит присесть.

— Господин директор,— говорю я ему тихо, на ухо,— мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться, и я хочу, а моя жена очень хочет!

— Что вам угодно? — спрашивает он снова.

Я подсел поближе и повторяю:

— Дорогой господин директор! Мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться, и я хочу! Но моя жена очень хочет!..

При этом я нажимаю на «очень», чтобы он понял... Но голова у него тупая, и он никак в толк не возьмет, чего я хочу.

— Так что же вам угодно? — спрашивает он уже сердито.

Тогда я осторожно сунул руку в карман, осторожно достал и говорю потихоньку:

— Извините, господин директор, мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный

мальчик, который хочет учиться. И я хочу. Но моя жена *очень* хочет!

И еще сильнее нажимаю на «очень» и сую ему...

Словом, клюнуло! Он понял, в чем дело, достал какую-то книжечку и стал расспрашивать, как зовут меня, как зовут сына и в который класс я намерен его определить?

«Вот так и говори!» — думаю я и выкладываю: зовут меня Кац, Арн Кац, а сына звать Мойше, то есть Мошко, а определить его я хочу в третий класс. Тогда он мне отвечает: коль скоро меня зовут Кац, а сына звать Мойше, то есть Мошко, и поступить он хочет в третий класс, то я его должен привести в январе, и тогда он, наверное, будет принят. Понимаете? Совсем другой разговор! Не подмажешь — не поедешь!.. Нехорошо, правда, что не сейчас. Но что поделаешь? Велят ждать — надо ждать. Нам не привыкать стать...

Наступил январь. Снова началась кутерьма, беготня туда и сюда: не сегодня-завтра должно состояться собрание, совет то есть. Соберутся директор, инспектор и все учителя гимназии, и лишь после собрания, после совета, будет известно, принят он или нет. В доме все вверх дном: жены нет, обеда нет, самовара нет, ничего нет! Где же она, жена моя? В гимназии! Вернее, не в гимназии, а возле гимназии: бродит с самого утра на холоде, ждет, когда будут расходиться с собрания, то есть с совета.

Мороз трещит, вьюга на дворе рвет и мечет, а она топчется на улице и ждет! Интересная история! Знаешь, кажется,— раз обещано, значит — свято! Тем более... Понимаете? Но попробуйте поговорите с женщиной! Ждет час, другой, третий, четвертый... Все ребята уже по домам разошлись, а она все еще ждет. В общем, ждала, ждала и дождалась: отворились двери и выходит один из учителей. Она подскочила к нему и спрашивает, не знает ли он, чем кончилось собрание, то есть совет. «Почему же мне не знать? — говорит он.— Принято всего восемьдесят пять человек — восемьдесят три русских и двое евреев». Кто именно? Одного зовут Шепсельзон, а другого — Кац!

Услыхав фамилию Кац, моя благоверная стремглав прилетела домой с радостной вестью:

— Поздравляю! Слава тебе господи! Благодарю тебя! Принят! Принят!

А у самой слезы на глазах.

Мне, конечно, это тоже приятно, но плясать по этому поводу я не нанимался,— на то я и мужчина, не баба...

— Для тебя, вижу я,— говорит она,— это не такая уж большая радость?

— Из чего, собственно, ты это заключаешь?

— Ты вообще,— отвечает она,— не из горячих. Если бы ты знал, как ребенок волнуется, ты не сидел бы сложа руки! Давно бы уже позаботился о мундирчике, о фуражке и ранце, устроил бы вечеринку для друзей и знакомых...

— С чего это вдруг вечеринки? Что это — «бармицве» или помолвка? — говорю я спокойно, как подобает мужчине.

Тогда она вспылила и перестала разговаривать. А когда жена перестает разговаривать, то это в тысячу раз хуже руготни и проклятий. Потому что когда она проклинает, так хоть голос человеческий слышишь, а так... поди поговори со стенкой! Словом, о чем тут гадать? Поставила на своем, конечно, она, а не я, потому что раз она захотела, значит — никаких отговорок...

Закатили вечеринку, созвали родных и знакомых, мальчишку нарядили в прекрасный мундир с белыми пуговицами, в фуражку с финтифлюшкой на околышке — губернатор, да и только!

Его, малыша моего, бедняжку, прямо-таки осчастливили, будто новую душу в него вдохнули, оживили. Он сиял, говорю я вам, точно солнышко в июне! Гости пили и выражали пожелания: «Пусть учится на здоровье, пусть гимназию окончит и двигается дальше и дальше...»

— Ну,— говорю я,— это вовсе не обязательно... Окончит несколько классов, а там я его, бог даст, женю, с божьей помощью...

А жена ухмыляется и смотрит на меня во все глаза.

— Скажите ему,— говорит она,— что он жестоко ошибается: он все еще живет по старинке...

— Скажите ей,— отвечаю я,— дай мне бог столько добра, насколько старый порядок был лучше нынешнего...

— Скажите ему,— снова говорит она,— что он, да простит он мне...

Гости смеются.

— Ох, реб Арн,— говорят они,— жена у вас, не сглазить бы! Казак, а не жена!..

Тем временем хватили по рюмочке, нализались, и так основательно, что пустились в пляс. Устроили круг, взялись за руки, мальчика поставили посередине и прыгали, можете себе представить, до самого белого дня. Утром пошли мы с ним туда. Пришли, конечно, ни свет ни заря. Ворота и двери на запоре, как говорится, ни одной бешеной собаки в бабьей молельне... Постояли на улице и основательно продрогли на морозе. Прямо-таки ожили, когда отворили двери и нас наконец-то впустили

в помещение. Вскоре начали собираться ребятишки с сумками и ранцами на плечах: шум, гам, гомон, смех — столпотворение.

Между тем подходит к нам некто с золотыми пуговицами, видимо учитель, с листом бумаги в руке и спрашивает, что мне нужно. Я указываю на своего парнишку,— привел, мол, учиться в хедер, то бишь в гимназию.

— В который класс? — спрашивает он.

— В третий,— отвечаю.— Недавно принят.

— Как его звать?

— Кац. Мойше Кац, то есть — Мошко Кац.

— Мошко Кац? — говорит он.— Такого у меня в третьем классе нет. Есть Кац, но не Мошко, а Мордух...

— Какой Мордух? — спрашиваю.— Мошко, а не Мордух...

А он мне: «Мордух!» — и тычет мне в лицо свою бумагу.

Я ему снова — «Мошко», а он мне: «Мордух!» Словом, «Мошко — Мордух», «Мордух — Мошко»... «Мошковали» мы и «мордуховали» до тех пор, пока не выяснилось... Замечательная история: то, что полагалось мне, досталось другому! Понимаете, какая штука? Ошибка, вот и все. Приняли действительно Каца, но по ошибке — другого, не нашего! В городе у нас имеются две кошки...

Что вам сказать? Нужно было видеть горе мальчика, когда ему пришлось снять финтифлюшку с фуражки! Ни одна невеста перед венцом столько слез не проливала, сколько в тот день пролил мой сынишка! Уж я и утешал его и грозился...

— Видишь? — сказал я жене.— Видишь, что ты натворила? Не говорил я тебе, что твоя гимназия для него зарез? Дал бы бог, чтобы все обошлось благополучно, чтобы ребенок не расхворался...

— Пусть мои враги хворают, если им так хочется! Мой ребенок обязательно должен попасть в гимназию! Если не в нынешнем году, так в будущем, если не здесь, так в другом городе! Но попасть он должен! Разве что я закрою глаза и уйду в могилу!

Слыхали разговор? И как вы думаете, кто поставил на своем? Я или она? Не будем себя обманывать: если она чего захотела, так уж тут никаких отговорок!

В общем, не буду больше растягивать,— повозился-таки я со своим сыном, весь свет из конца в конец изъездили, во всех городах, где только есть гимназии, побывали, всюду держали, всюду выдерживали, и хорошо выдерживали, и нигде не попадали! Из-за чего? Из-за процентов!

Можете мне поверить, я сам на себя в то время смотрел, как на сумасшедшего: «Дурень! В чем дело? Чего это ты но-

сишься из одного города в другой? На какого лешего тебе это нужно? Ну, а если он поступит, что тогда будет?» Нет, говорите что хотите, но настойчивость — великое дело! Меня и самого захватило нечто вроде азарта! И господь сжалился надо мной, наскочил я где-то в Польше на какую-то гимназию — «коммерческую», в которой принимают поровну евреев и неевреев, то есть пятьдесят процентов. Но с тем, однако, что каждый еврей, который желает определить своего ребенка, должен привести одного русского ученика. И если этот русский ученик выдержит экзамены и за него будет внесена плата, то есть «правоучение», тогда есть кое-какая надежда... Иначе говоря, вместо одного узла, надо таскать два... Понимаете? Мало того что мозги сохнут за своего, я должен еще морочить себе голову за другого, потому что если, упаси бог, провалится «Исав», так ведь и «Иаков» летит в тартарары! И действительно! Покуда я отыскал какого-то сапожника по фамилии Холява, у меня глаза на лоб вылезли! А когда дошло до дела, мой Холява, думаете, не провалился, как Койрах? И как раз по «Закону божьему»! Словом, мой вынужден был собственной персоной засесть и зубрить с ним «Закон божий»... Спросите, какое отношение имеет мой сын к «Закону божьему»? Но об этом спрашивать нечего: у него голова — одна на всю империю! О чем же тут говорить!

Короче говоря, господь помог, наступил добрый, счастливый час: оба приняты! Думаете, теперь уже все? Пришла пора записаться и получить квитанцию, а моего Холявы нет! В чем дело? Отец, видите ли, не желает, чтобы его сын находился среди стольких евреев! Хоть режь его! Он говорит: на что это ему, когда перед ним и так все двери открыты и он может пойти куда хочет? Извольте доказать ему, что он не прав! «Чего же ты хочешь, пане Холява?» — спрашиваю я. «Ничего!» — отвечает он. Словом, нашлись добрые люди, затащили его в трактир, выпили с ним по рюмочке, да по другой, да по третьей... В общем, пока сын попал наконец в гимназию, пришлось-таки натерпеться. Но, слава тебе господи, я произнес молитву: «Благословен еси, что избавил меня...»

Приезжаю домой — новое несчастье! Что еще? Жена думала, думала и надумала: помилуйте, один-единственный сын, один глаз во лбу, и будет он где-то там, а она здесь? Для чего же ей тогда жить?

— Чего же ты, собственно, хочешь?

— Не знаешь, чего я хочу? Хочу,— говорит,— быть с ним!

— А как же дом?

— Дом,— говорит,— домом!

Что на это можно было ответить? Словом, она села и поехала с ним туда, а я остался один во всем доме. Да и какой же это дом? Такую бы жизнь моим врагам! И жизнь не в жизнь, и дела пошли кувырком. Все пошло прахом, а мы только и делаем, что письма пишем: я пишу ей, она отвечает, туда письма, сюда письма... «Привет дорогой супруге...» — «Привет дорогому супругу». «Ради бога,— пишу я ей,— чем это кончится? Ведь мы же всего только люди! Без хозяйки, прости господи...» Словом, помогло мне все это, как прошлогодний снег. Поставила на своем, конечно, она; уж если она захотела, значит — никаких отговорок...

Кончаю, в общем... Я все сломал, все разорил, с делом покончил, распродал все, превратился в нищего и перебрался туда, к ним. Приехал на место, стал приглядываться, принюхиваться, искать... Кое-как, с трудом, выбился, наткнулся на компаньона — купца, очень как будто бы порядочного человека... Да! Человек самостоятельный, в Варшаве на Налевках у него дело, староста в синагоге... Но по существу — аферист, жулик, карманник! Чуть не погубил меня. Сами понимаете, чем голова у меня была занята.

Между тем прихожу однажды домой, а сын меня встречает какой-то странный, чего-то краснеет, а фуражка без финтифлюшки.

— Скажи-ка,— обращаюсь я к нему,— Мойшеле, а где же твоя цацка?

— Какая цацка?

— Ну, бляха!

— Какая бляха?

— Которая на фуражке. Ведь только на праздники купили фуражку с новенькой блямбой...

Еще пуще покраснел мой парень и отвечает:

— Снял...

— Что значит «снял»? — спрашиваю я.

— Я свободен! — говорит.

— Что значит — ты «свободен»?

— А мы все свободны...— отвечает он.

— Что значит — вы «все свободны»?

— Мы уже не ходим...

— Что значит — «мы уже не ходим»?

— Мы сговорились, чтобы больше не ходить...— отвечает он.

— То есть как это,— спрашиваю,— «сговорились»? Что еще за сговоры? Ради этого я положил столько трудов и денег?

Собою жертвовал ради тебя, чтобы ты потом «сговаривался»? Горе тебе, и мне, и всем нам! Хоть бы обошлось все это и нас миновало, потому что всегда ведь и за все мы в ответе!..

Говорю я все это и начинаю горячиться, мораль читать, как обыкновенно отец с детьми разговаривает... Но ведь имеется еще и жена, дай ей бог долгие годы! Прибежала и обрушилась на меня: я, мол, уже выдохся, понятия не имею о том, что на белом свете творится... Жизнь, говорит, нынче стала иной, умнее прежнего, наступили времена свободы, равенства, нет больше богатых и бедных, господ и рабов, кончились овечки и стригуны, ушли в прошлое и собачка-гав, и кошка-царапка, и мышка-кусачка...

— Те-те-те! — говорю я.— Откуда у тебя, супруга моя дорогая, такие странные речи? Новый какой-то язык, новые слова... Может быть, ты бы и кур выпустила из клетки: «Кишкиш на свободу»?

Вспыхнула она, будто я на нее десять ведер кипятку вылил, и — пошла, да так, как они умеют... Ну, ничего не попишешь, надо выслушать всю речь до конца, да вот беда — конца-то как раз и не видать...

— Знаешь что? — говорю я.— Довольно! Хватит! Каюсь: виноват, согрешил, и кончено, и пусть будет тихо!

Но она ничего слушать не хочет.

— Нет,— говорит она,— мне хочется знать, почему, отчего, как же это так, мыслимо ли это, возможно ли, что это значит, как это могло случиться, и опять-таки и снова... . . .

. . . .

— Скажите на милость, кто это выдумал... жену?

ГОРШОК

— Ребе, у меня к вам дело. Вы, наверное, меня не знаете, а может, и знаете, я Ента, Ента Куролапа. Я, значит, торгую яйцами да курами, курами да гусями. У меня свои постоянные покупательницы, два-три дома, они меня и выручают, дай им бог здоровья. Ведь заставь меня платить проценты, я живо вылечу в трубу. А так я держусь,— где подстрелю трешку, где отдам, возьму, отдам — вот и верчусь. Но, что там ни говори, живи сейчас мой муженек, мир праху его, я бы горя не знала. Хотя опять-таки надо признать, что мне с ним жилось тоже не так уж сладко-сахарно, потому как насчет заработков он был слабоват, не в обиду ему будь сказано, все, бывало, сидит-корпит над своими книгами, а тружусь-надрываюсь *я*. Правда, я к этому приучена с малолетства, меня к труду мама приохотила, ее звали Бася, мир праху ее, Бася-свечница: бывало, накупит у мясников трефного сала и давай сальные свечи лить, ведь тогда знать не знали ни про керосин, ни про всякие лампы да стекла, которые то и дело лопаются,— у меня, к примеру, что ни неделя, то новое стекло...

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали, мол, рано умер. Еще бы не рано, ведь моему покойнику, моему Мойше-Бенциону, было всего двадцать шесть, когда он умер. Почему двадцать шесть? Судите сами! Девятнадцать ему сровнялось в год нашей свадьбы, да после его смерти пробежало как-никак восемь годочков. Вот и выходит, по моему расчету, двадцать три. Почему не двадцать шесть? Потому что семь лет его болезни я не считаю. Он, конечно, хворал гораздо дольше, он, может, всю жизнь был хворый, верней, всю-то жизнь он, конечно, был здоровый, вот разве только кашель, он всегда кашлял,— кашель его и убил... Он всегда, не про вас будь сказано, кашлял. Впрочем,

вовсе не всегда, а только когда кашель нападет. Зато уж как примется кашлять, будет кашлять и кашлять, весь изойдет кашлем. Врачи говорили, что это, мол, у него спазмы такие, хочешь — кашляй, хочешь — не кашляй! Это сущая чепуха и ерунда, от них, от врачей, толку, как от козла молока. Взять, к примеру, сына Арона-резника, Иокл его звать. Как-то схватило у него зубы; чего только с ним не делали: и кололи и заговаривали, а толку чуть. Маялся Иокл, маялся, потом взял и засунул себе в ухо чесноку, говорят, чеснок здорово от зубов помогает. Ему и вовсе невтерпеж стало, от боли на стенки лезет, а о чесноке ни слова. Приходит врач и давай у Иокла пульс щупать. Дурак этакий, при чем тут пульс? Хорошо, что Иокла отвезли в Егупец, иначе он бы как пить дать отправился вслед за своей сестрой Перл, она, бедняжка, скончалась от сглазу во время родов, избави вас бог от этого...

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите — вдова. Овдовела я совсем молоденькой, осталась одна с грудным младенцем на руках, в половине дома на Бедняцкой улице, рядом со столяром Лейзером, вы его тоже должны знать, он живет за баней. Вы спросите: почему только полдома? Да потому, что другая половина не моя, а моего зятя, вы его тоже должны знать, его звать Азриел. Сам он веселокутский, из местечка, значит, Веселый Кут, и торгует рыбой, рыботорговец, значит. И зарабатывает, не сглазить бы, очень даже неплохо. Все зависит от реки. В тихую погоду рыба клюет — и цена на нее вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — и цена на нее растет. И вот зятек Азриел считает, что лучше, когда рыба клюет и цена вниз ползет. Я ему: «Какой же тебе расчет?» А он: «Расчет прямой. В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше рыба клюет и цена вниз ползет».— «Какой же тебе расчет?» А он опять: «В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет, в плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше клюет и цена вниз ползет». Тьфу, пропади ты пропадом, заладил одно, поди толкуй с этаким невеждой!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — своя квартира... Само собой, лучше свой уголок иметь и не мыкаться по чужим людям. Недаром сказано: чужое со своим не сравнишь. У меня, значит, своя половина, свое владение. Но куда мне, бедной вдове, с единственным сыном на руках, куда мне целых полдома? Есть где голову приклонить — и ладно! Зачем же мне полдома, да еще с худой крышей. Ведь который год крыша не чинена. А тут еще зятек мой, Азриел, значит, пристает: «Давай

класть новую крышу, давай — и никаких!» — «Ладно, говорю, давай».— «Давай крыть»,— говорит он. «Давай крыть»,— отвечаю я. Туда-сюда, давай-давай, судили-рядили, крыша-солома, а проку не видать. Ясное дело, ведь тут надо уйму соломы, про тес я уж и не заикаюсь, тес — это зарез. Пришлось, значит, мне сдать две комнаты, пришлось сдать. В одной живет глухой Хаим-Хоне, он уже старый и вовсе, можно сказать, из ума выжил. Его дети платят мне за него пять пятиалтынных в неделю, а кормиться он ходит к ним, правда, через день: день ест, день постится, но и в сытый день он тоже живет впроголодь. Он мне сам это говорил. А может, он и приврал немного, ведь старый человек любит поворчать. Сколько ему ни дай, куда ни посади — плохо, куда ни положи — жестко.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — соседи... Избави бог от них! О глухом речи нет, с него взятки гладки, он, как вы говорите, квартирант спокойный — тише воды, ниже травы. Но лукавый меня попутал другую комнату сдать мучной торговке Гнесе, она, значит, мукой торгует, Гнеся эта. Ну и язва! Спервоначалу-то она была шелковая, все напевала: «Душечка, кошечка, милочка, я для вас буду делать и то и се...» И ничего-то ей, мол, не надо, только вот столечко места в печке чугунок поставить, да краешек доски раз в неделю мясца сготовить, да уголок стола раз в полгода тесто раскатать... А куда вы, говорю, ребят ваших денете? Ведь их у вас, говорю, Гнеся, слава богу, целый выводок?» — «О чем вы беспокоетесь, Енточка, душенька! Вы не знаете, значит, моих детей. Ведь это же брульянты, а не дети! Летом они день-деньской во дворе, а зимой как заберутся на печку, только их и видели. Плохо другое: уж очень они любят поесть, уж такие охотники до еды, не напасешься на них». Да что толковать, видно, мне на роду написано страдать и мучиться. Ребята у нее оказались такие горластые — ужас! День ли, ночь — все едино, вечно у них шум, гомон, орут, визжат, кричат, ругаются, дерутся — сущий ад. И то, пожалуй, в аду легче... Но это еще не все, это еще полбеды. Ребят как-никак можно успокоить, дашь им пинка, щелчка, шлепка, они и угомонятся, на то они и ребята... Но бог ей дал мужа, его зовут Ойзер. Вы его должны знать, он младший служка малой синагоги и, видать, набожный, неглупый человек. Но как она им помыкает, Гнеся эта! «Ойзер, туда! Ойзер, сюда! Ойзер, то! Ойзер, се!» Только и слышно: «Ойзер, Ойзер...» А ему хоть бы что! Либо отделается шуточкой (он еще ко всему большой шутник), либо картузик на затылок — и был таков. Счастье, что у него характер покладистый.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: плохие соседи... Плохое плохому рознь! Избави бог, я про Гнесю худого не скажу, она не злая и даже подаст нищему ломоть. Но когда ей вожжа под хвост попадет — пронеси ты, господи! Стыд и срам! Другому я бы ни словечка, но вам, вам можно по секрету, тсс, молчок... она своего мужа того, поколачивает... да-да... тайком от всех... «Ах, Гнеся, Гнеся,— говорю я ей,— побойтесь бога, как вам не совестно, бога побойтесь». А она в ответ: «Это не ваше дело». А я ей: «Да ну вас к шуту!» А она мне: «Пускай шут унесет того, кто сует свой нос в чужой горшок». А я ей: «Ослепни тот, кто лучшего не видал». А она мне: «Оглохни тот, кто любит подслушивать...» Вот бессовестная!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вы сказали, что я люблю чистоту... Не откажусь, верно, люблю, когда кругом чисто, ни пылиночки. Чем же это плохо? А она, Гнеся, стало быть, не терпит, что у меня все сверкает-играет, убрано-прибрано, чистота, красота... А к ней загляни! Пакость, мерзость, грязь до ушей, помойное ведро полнехонько — бррр!.. С самого утра, не успеют глаза продрать, у них уже начинается столпотворение. Разве это дети? Сущие черти, а не дети. Разве их можно сравнить с моим Давидкой, с моим сыночком! Мой Давидка, дай ему бог здоровья, весь день в хедере, а как придет вечером, тоже без дела не сидит: либо молится, либо занимается, либо книжку читает. А ее черти? То жрут, прости господи, то рвут, то дерутся, то без дела околачиваются. Скажите сами, при чем тут я, если бог ее наградил оравой сорванцов и озорников, а мне он послал чудного сыночка, настоящий брульянт, чистое золото, не сглазить бы, потому что я над ним немало слез пролила, ох, немало. Вы не смотрите, что я женщина. На моем месте ни один мужчина не выдержал бы. Иной мужчина, не про вас будь сказано, конечно, в тыщу раз хуже женщины. Чуть жизнь немного припрет его к стене, он уже и не человек! Да что далеко ходить. Взять хотя бы Осю, сына Мойше-Авромa. Пока его жена Фруме-Неха была жива, все шло хорошо. Но как только она умерла, он сразу опустился, повесил голову, раскис... «Реб Иося,— говорю я ему,— Иося, бог с вами, возьмите себя в руки, ничего не попишешь. Смерть жены, говорю, ведь это божья воля. Как там сказано в наших святых книгах — бог дал, бог и взял. Да вы это лучше меня знаете».

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — единственный сын... Он, верно, у меня один-единственный, как солнышко в небе. Неужели вы его не знаете?! Имя ему дали по моему свекру, по Довид-Гиршу, значит. Посмотреть на него —

вылитый отец, дай бог ему долгой жизни, и лицо такое же желтое, как у отца, мир праху его, испитое, и весь он такой же тощий, слабенький, кожа да кости, еле-еле душа в теле... Доконали его, беднягу, и хедер и Талмуд... «Хватит тебе, сынок, говорю, хватит надрываться, отдохни малость, посмотри, на кого ты похож, поешь, выпей чего-нибудь, хоть чашечку цикория». А он в ответ: «Спасибо, мама, пей сама, тебе нужней, ведь ты работаешь, надрываешься. Хочешь, я тебе помогу корзину с базара принести!» А я ему: «И не выдумывай. Таскать корзины тебе не пристало. Мои враги (а их у меня хватает) этого не дождутся. Твое дело учиться, набираться ума-разума». А сама глаз с него не свожу, до чего на отца похож, как две капли, и кашляет точно так же. Боже ты мой, за что мне такое наказание?! Как начнет кашлять, у меня сердце кровью обливается. Разве можно передать, чего мне стоило его поднять, в люди вывести? Сколько муки я приняла, сколько страданий! Ведь никто, ребе, никто не верил, что мой сынок, мое чадо выживет, потому что не было на свете болезни, не было заразы, которая бы к нему не приставала. Чем он только не болел! И корью, и оспочкой, и скарлатиной, и железками, и дифтеритом... Сколько я над ним бессонных ночей просидела, одному господу богу известно. Но, видно, дошли до всевышнего мои вдовьи слезы, и я дождалась радостного денечка, когда моему чаду сровнялось тринадцать лет и он стал совершеннолетним. Но не думайте, что этим дело кончилось. Вот слушайте. Однажды зимним вечером шел мой сынок из хедера и вдруг видит: идет по улице призрак, весь в белом, и руками размахивает. Долго ли ребенку испугаться? Он так и обмер, потерял сознание и свалился в снег. Кто знает, сколько он там пролежал, покамест его нашли и принесли домой. А как его в чувство привели, он заболел по-настоящему и пролежал, на горе своей матери, в жару, в бреду целых шесть недель! Чудо из чудес, что я все это перенесла. Чего только я с ним не вытворяла: и обет давала за него в синагоге, и «продавала» его, и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила (Хаим-Довид-Гирш), чтобы он долго жил и чтобы ангел смерти его не узнал, а главное — плакала, плакала над ним в три ручья. «Боже милостивый,— молила я,— ежели надо меня наказать,— накажи, только сыночка моего не отбирай». И бог, видно, сжалился над мной, и сынок мой стал поправляться, и вот однажды он мне говорит: «Мама, я могу тебе передать привет от папы, я его видел, он навестил меня». Как я это услыхала, так внутри у меня что-то оборвалось, а сердце тук-тук-тук... «Пусть он там постарается. Это значит, что ты долго будешь жить»,— говорю я, а сердце

тук-тук-тук... Ну, а позже я дозналась, что это был за призрак, который белыми ручищами размахивал. Может, вы угадаете, ребе, ведь вы у нас умница! Это был Липе, Липе-водовоз. Он купил тогда новый тулуп, и, как на грех, белый, а мороз стоял лютый, вот он и решил согреться и давай махать руками, чтоб ему пусто было! Где же это видано, чтобы солидный человек напяливал на себя ни с того ни с сего белый тулуп?

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: здоровье... Здоровье — это первейшее дело! Наш врач тоже так считает и велит ухаживать за ним, варить ему каждый день бульон, хотя бы, говорит, из четверти курицы, и если вы, говорит, в состоянии, кормите, говорит, его и молочком, и маслицем, и шоколадом, если только, мол, вы в состоянии. Что за пустые слова: «Если вы в состоянии»! Да разве есть на земле такое, чего бы я не сделала ради своего Давидки! Какое тут может быть «состояние»? Скажи мне, к примеру: «Ента, ступай рой землю, коли дрова, таскай воду, меси глину, ограбь церковь»,— ради своего Давидки все сделаю, пускай в самую глухую ночь, пускай в самый страшный мороз. Этим летом, например, вздумалось ему прочитать какие-то книги, не то учебники, их у меня и в помине нет, но ведь я вхожа в богатые дома, бываю там, значит, вот он меня и просит, достань мне, мол, мама, эти не то книги, не то учебники, и написал мне их на бумажке, значит. Вот пришла я, значит, с этой бумажкой в богатый дом и выпросила эти книги — выпросила разок, другой, третий. А потом меня там на смех подняли: «Зачем вам, Ента, эти книги? Вы что, ими своих гусей да кур кормите, что ли?» — «Ладно, думаю, смейтесь, смейтесь, зато у моего Давидки есть что читать». Ночи, ночи напролет просиживает он над этими не то книгами, не то учебниками, все читает да просит еще принести. Что ж, мне не жалко! Отнесу прочитанные, принесу новые. Тут как раз и явился этот умник, горе-врач этот, и спрашивает: могу ли я сыну готовить каждый день бульончик хоть из четверти курицы? Чудак человек! А если понадобится из трех четвертей, разве я откажусь? Откуда берутся этакие врачи? На каких дрожжах их замешивают и в каких печах выпекают?

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите, бульон... Я каждый божий день готовлю бульончик из четверти курицы и подаю ему вечером, когда он приходит после занятий; он ест, а я с какой-нибудь работой в руках сижу рядышком, гляжу на него, рада-радешенька, и думаю только об одном: помоги мне, господи, завтра тоже сварить бульон. А он мне: «Мама, а почему тебе не поесть со мной?» — «Кушай на здо-

ровье, говорю, кушай, я уже ела».— «А что ты ела?» — «Что бы я там ни ела, а только я уже наелась, говорю, а ты кушай на здоровье». Потом он берется за свои не то книги, не то учебники, а я достаю из печки печеной картошки или крошу себе лучку с хлебом и заморю червячка. И хотите верьте, хотите нет, клянусь его здоровьем и счастьем, что эта луковица мне слаще самого вкусного жаркого, самого наваристого супа, потому что я рада, что Давидка мой сегодня ел бульончик и что на завтра еще осталось четверть курицы. Одна беда: уж очень сильно он кашляет, только и слышно: кха-кха... Я прошу врача: «Дайте же ему что-нибудь против кашля!» А тот все допытывается: «Сколько вашему мужу было лет, когда он умер, мир праху его, и от чего он умер?» — «От смерти, говорю, умер, от смерти. Очень просто, года его вышли, вот он и умер. При чем тут отец, когда речь идет о сыне?» А тот свое: «Нет, мне надо знать, я вашего сына осмотрел, хороший сын у вас, славный парень!» — «Спасибочки вам, говорю, я это и сама знаю. Вы лучше дайте ему лекарство от кашля, чтобы он не кашлял, чтобы...» А тот опять: «Дело не в лекарстве, вы лучше следите, чтобы он поменьше сидел над книгами».— «А что же еще ему делать?» — «Пусть гуляет побольше и, главное, пусть не засиживается по ночам над книгами. Если ему суждено стать врачом, говорит, не беда, если он им станет на два-три годочка попозже». Эти слова мне пришлись не по нутру, нет! Неладное он толкует, сразу видно, что мозги у него не в порядке. С чего это он взял, что мой сыночек будет врачом? Он бы еще сказал — «губернатором»! Пришла я домой и все это выложила своему Давидке. А он весь покраснел и говорит: «Больше, мама, не ходи к нему и не толкуй с ним ни о чем». А я говорю: «Наплевать мне на него, я больше в его сторону и смотреть не хочу, ведь он не в своем уме. Зачем он лезет не в свое дело, зачем выпытывает, где больной работает, да как живет, да сколько зарабатывает? Какое ему дело! Тебе сунули в лапу полтинник — выпиши рецепт,— и дело с концом!»

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: хватает, мол, забот!.. Еще бы не хватало. Забот полон рот. Да и как им не быть, если на руках у тебя корзина с яйцами, да с гусями, да с курами, да с утками, да еще парочка богатых дам в придачу, которые так и норовят взять у тебя самое лучшее, самое свеженькое, боятся, что одна другую опередит! Вы сами видите, что мне не до бульонов, ведь я никогда дома не бываю. Но голь на выдумки хитра. Встану пораньше, затоплю печь и убегу на базар, потом заскочу на минутку, замочу четверть курицы, посолю ее и опять убегу. Потом снова заскочу, воду солью, по-

ставлю горшок в печку, а сама попрошу соседку, Гнесю значит, последить за горшком: как закипит, мол, прикрыть его крышкой и задвинуть подальше в самый жар, чтобы не остыло. Что ж тут хитрого? Сколько раз, бывало, я для нее готовила полный ужин! Ведь мы как-никак все же люди, а не звери, живем не в лесу, а среди народа, значит, живем!.. А вечером, как приду с работы, разведу огонь, нагрею, значит, и подаю ему свеженький, горяченький бульончик. Кажется, все вроде хорошо? Как бы не так! Вы забыли, что соседка у меня сущая... стыдно выговорить... не скажу кто... ну ее совсем... Сегодня утром ей вдруг приспичило угостить свою ораву молочным обедом — не то галушками, не то балабушками на молоке. Что за вкус в этих молочных балабушках! Да и при чем тут балабушки, когда сегодня не суббота, а самая обыкновенная среда, никак не пойму! Чудная она все-таки, эта торговка мукой, Гнеся эта! У нее всегда: разом густо, разом пусто. То она три дня к печке не подойдет, а то вдруг как примется стряпать, набу́хает полный котел и готовит, значит, не поймешь что, то ли пшенный кулеш, то ли кашу, причем хоть очки нацепляй, все равно ни пшенинки не найдешь. А то вдруг начистит горшок картошки, вроде как с рыбой, а на самом-то деле там один лук, за версту разит, да вдобавок еще перцу положит столько, что вся орава потом сутками не отдышится, и все они ходят, разинув рты, чтоб их ветром продуло.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — не везет. Надумала, значит, моя соседка сварганить балабушки из гречневой муки и, значит, поставила в печку кувшин с молоком, чтобы, значит, вскипятить его. А ребята ее, само собой, обрадовались — давай петь, давай орать, хоть уши затыкай! Никогда, что ли, они молока не пробовали?! Да сколько там молока было, смешно сказать, дай бог нашим врагам иметь не больше. От силы две ложки — остальное все как есть вода. Но для бедняка и это радость. Вдруг нелегкая приносит самого служку. Видно, он еще в синагоге почуял, что дома пахнет богатым блюдом, вот он и пожаловал и по своей привычке шутливо говорит: «С праздником, мол, вас». А она ему в ответ: «Какой тебе, сатана, праздник, ты почему так рано приперся?..» — «Боялся,— говорит он,— опоздать к праздничному обеду. Что там у тебя в печке?» А она ему: «Специально для тебя шиш с маслом в маленьком горшочке». А он ей: «Уж лучше в большом, чтобы хватило нам обоим». Она вышла из себя да как крикнет: «Убирайся отсюдова со своими шуточками»,— да как возьмет ухват, да как подцепит свой кувшин. А кувшин хлоп на бочок, а молоко — бултых на всю печку. Тут поднялся крик, рев, шум! Гнеся при-

нялась честить мужа последними словами. Его счастье, что он сразу ноги унес. А вся орава, значит, прыг-прыг с печки и начала реветь, плакать, причитать, словно у них отца с матерью убили... А я говорю: «Провалитесь вы с вашими балабашками, из-за них, говорю, может, бульон моего Давидки пострадал, и горшок, может, теперь, не дай бог, придется выкинуть!» А она мне в ответ: «Черт бы побрал ваш горшок вместе с вашим бульоном, мне мои молочные балабашки дороже всех ваших горшков и всех ваших бульончиков, которыми вы пичкаете своего Давидку». А я говорю: «Один ноготок на мизинце моего Давидочки больше стоит, чем вся ваша орава». А она кричит: «Наплевать мне на вашего Давидку, он один, а у меня их вон сколько!» Такого сокровища, как эта Гнеся, еще свет не видывал. За такие слова ее бы надо как следует отхлестать мокрой тряпкой по лицу!..

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: мясному и молочному в одной печке не место... Так оно и вышло. Кувшин, значит, повалился набок, и молоко, значит, разлилось по всей печке. И если, не дай бог, хоть капля молока брызнула на мой мясной горшок, тогда мне погибель. Хотя, опять же, как могло молоко добраться до моего горшка: ведь он стоял вон там, в самой глубине, да еще был прикрыт золой. Но ручаться я не могу. А вдруг — судьба!.. Я вам все выложу начистоту, все. Бог с ним, с бульончиком, не в бульончике дело. Конечно, бульончик тоже жалко! Чем я вечером покормлю Давидку? В общем, что-нибудь соображу! Вчера я как раз принесла битых гусей, принесла, выпотрошила их, и у меня, конечно, остались потроха, значит, головки, желудочки, то-се. Что-нибудь состряпаю. Вопрос — в чем? Ведь если вы, ребе, не дай бог, решите, что мой мясной горшок стал из-за капли молока трефным, я с ума сойду, потому что больше горшков у меня нет. Правда, раньше у меня было целых три мясных горшка, но Гнеся эта, чтоб ей пусто было, взяла у меня новенький целехонький горшок, а вернула мне битый горшок. Я спрашиваю: «Чей это горшок?» Она говорит: «Как чей? Это ваш горшок!» А я ей: «Как мой? Ведь я вам дала целый горшок, а это битый горшок». А она мне: «Тише, не кричите, не запугаете! Во-первых, я вам вернула целый горшок, во-вторых, я брала у вас битый, а в-третьих, я у вас никаких горшков брать не брала. У меня хватает своих, и оставьте меня в покое!» Видали бесстыдницу!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: горшки в хозяйстве всегда пригодятся... Осталось у меня, значит, всего-навсего два горшка целых и один битый, в общем, счи-

тай, что два горшка. Но разве бедному человеку положено иметь два горшка? Притащила я как-то с базара полную корзину кур, и вдруг на ту беду прибежала кошка и напугала, значит, моих курочек. Вы, конечно, спросите: откуда взялась кошка? Все эта самая орава. Как увидят где-нибудь котенка, обязательно подберут и начнут его мучить, пока не замучают. «Пожалейте,— просит, бывало, мой Давидка,— ведь кошке тоже больно!» Но им, этим бездельникам да озорникам, наплевать! Они кошке на хвост что-то там такое нацепили, она давай прыгать, давай рваться, куры мои перепугались, одна отвязалась, заметалась, взлетела на полку, и — трах,— оттуда горшок на пол! Ну, что ей стоило сбросить битый горшок! Так нет же! Известное дело. Битый горшок никогда не свалится, а свалится целый. Так уж оно на земле водится испокон веков!

Вот бы узнать, почему это так, вот бы... К примеру: идут двое. Один идет, и другой идет. Первый — любимый сын у своей мамаши, один-единственный, как солнышко в небе, а другой, скажем... Ребе! Помилуй бог, ребе, что с вами?! Ребе, где ваша жена! Где она там?! Живей сюда, сюда, нашему ребе плохо! Он теряет сознание! Воды! Воды!..

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Вы говорите «заботы»? Все у вас называется «заботой»! Мне кажется, с тех пор как бог создал мир и с тех пор как существует еврейский народ, таких забот никто и во сне не видел! Если есть у вас время, придвиньтесь, пожалуйста, поближе и слушайте внимательно, тогда я расскажу вам от начала до конца, со всеми мелочами и подробностями, историю о семидесяти пяти тысячах. Мне, чувствую я, тесно вот здесь, это давит меня, огнем жжет, я должен, должен освободиться!.. Понимаете или нет? Об одном только попрошу вас: если я остановлюсь или залезу невесть куда, напомните мне, на чем я остановился, потому что с тех самых пор, то есть после истории с этими семьюдесятью пятью тысячами, у меня, не про вас будь сказано, начало шуметь в голове, и теперь частенько случается, что я забываю, на чем остановился... Понимаете или нет?.. Скажите, не найдется ли у вас семидесяти пяти тысяч?.. Тьфу! Я хотел сказать: не найдется ли у вас папироски?

Коротко и ясно, на чем же я остановился? Да, на семидесяти пяти тысячах... Первого мая нынешнего года я, вот такой как есть, выиграл семьдесят пять тысяч. Казалось бы, на первый взгляд, что тут особенного? Мало ли людей выигрывает деньги? Вот кто-то из Николаева выиграл, говорят, двести тысяч! Или один одесский молодой человек, бухгалтер какой-то конторы, выиграл сорок тысяч рублей — и тихо, спокойно, все очень прилично, пожалуйста... Правда, крупных выигрышей жаждет весь мир, сто тридцать шесть миллионов человек завидуют вам! Понимаете или нет? Но дело в том, что выигрыш выигрышу — рознь. История с моим выигрышем — история удивительная, запутанная, история на истории, и история в истории, и история

об истории. Надо, понимаете ли, набраться терпения, чтобы выслушать ее до конца и понять, в чем тут дело.

Прежде всего должен представиться, кто я такой. Не буду хвастать, что я великий ученый, или крупный богач, или мудрый философ. Я, как видите, человек простой, заурядный, хозяйственный,— имею собственный дом, пользуюсь кое-каким именем и уважением у себя в местечке. Понимаете или нет? Правда, в свое время у меня были деньги, крупные деньги. Конечно, что значит «крупные»? У Бродского денег гораздо больше, но ничего: несколько тысяч рублей у меня было. Но, как говорится, обратил на меня око свое господь бог, захотелось мне, понимаете ли, сразу разбогатеть, поторговал я хлебом с голодающими губерниями и остался, как говорится, без гроша. Счастье еще, что не обанкротился. Но вы, чего доброго, думаете, что я, потеряв деньги, пал духом? Значит, вы меня не знаете! Я, понимаете ли, такой человек: деньги для меня играют такую же роль, как... что бы вам сказать? Как вот этот пепел от папиросы. Никакой, то есть действительно — никакой! Конечно, как сказать... Деньги, разумеется, вещь хорошая, но драться из-за них, жизнью рисковать— нет! Скверно только, когда нет того, что надо, когда нельзя занимать надлежащее место, когда нет возможности пожертвовать или пообещать, сколько хотелось бы. Можете мне поверить, когда я вижу, что к кому-нибудь обращаются за трешницей на нужды города, а меня обходят,— жизни моей конец! Понимаете или нет? Я лучше получу нагоняй от жены, почему на субботу денег нет, нежели откажу бедняку, если в кармане у меня хотя бы двугривенный завалялся. Понимаете? Вот такой уж я сумасшедший! Нет ли у вас двугривенного... Тьфу! Спички, хотел я сказать, прикурить...

Коротко и ясно, на чем же я остановился? Потерял я, стало быть, свои деньжонки и остался, значит, без гроша. И вот, когда я потерял свои деньги и остался без копейки, обращаюсь я в одно прекрасное утро к моей жене:

— Знаешь, Ципойра, что я тебе скажу? Мы очистились.

— Что это значит,— говорит она,— «мы очистились»?

— У нас,— отвечаю я,— и двугривенного не осталось!

Ну, так ведь она женщина, вот и пошла кричать:

— Горе мне! Беда великая! Гром меня убил! Янкев-Иосл, что ты такое говоришь?Где же твои деньги?..

— Тихо! — говорю я.— Чего ты шумишь? Где сказано, что это мои деньги? Господь дал, господь и отнял. Или, как вы говорите: «Не было у Микиты грошив и не будэ!» Ну, где это написано, что Янкев-Иосл должен жить в четырех комнатах, дер-

жать двух прислуг и щеголять в шикарном субботнем кафтане? Существуют же люди, которые мучаются от голода,— что же, умирают они, что ли? Если бы все стали рассуждать, почему то да почему это, так ведь и до светопреставления недалеко...

И еще тому подобные слова и примеры приводил я, и она, жена то есть, поняла, что я прав. Понимаете или нет?.. Надо вам знать, что жена у меня такая,— краснеть за нее не приходится, она все понимает. Много разговаривать мне не пришлось. Она тут же перестала шуметь и болтать, да еще принялась меня успокаивать: видно, мол, так суждено, бог, мол, отец, он, будем надеяться, не допустит... И, не долго думая, сдала дом квартиранту, сами мы поселились в одной комнате с кухней, прислуг рассчитали, жена, дай ей бог долгие годы, засучила рукава и сама встала у печи, а я, как говорится, сам себя в бедняки записал. Но что значит «бедняк»? Есть, можете себе представить, бедняки почище меня: все-таки, как ни говорите, домишко у меня есть, доход приносит. Беда только, что месяц тянется целые четыре недели. Было бы в месяце не четыре, а две недели,— хватало бы, пожалуй, на расходы, а так две недели живешь за счет будущего месяца... Скверно, что и говорить! Но ничего не поделаешь... Как это говорится: к беде привыкают. И скажу я вам, нет на свете ничего лучше и спокойнее, чем быть бедняком: никаких тебе забот, понимаете ли, ни платежей, ни одолжений, ни беготни, ни суеты! Однако существует бог на свете, вот он и говорит: «К чему тебе, Янкев-Иосл, жить спокойно, без горестей? Есть у тебя билет? На тебе семьдесят пять тысяч и мучайся!..» Понимаете или нет? Нет ли у вас билета?.. Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Короче говоря, на чем же мы остановились? На билете, стало быть. Вы думаете, это так просто: есть у человека билет, и он выигрывает семьдесят пять тысяч? Погодите минуточку! Во-первых, для чего человек держит билет? Для того, чтобы он мог его заложить и получить деньги. Так пошел бы ты, дурень, Янкев-Иосл, отнес бы билет в банк и взял деньги! Но, во-первых, у нас в местечке нет банка, а во-вторых, что мне банк? Банк разве не может обанкротиться, если захочет? Земля, как говорится, не бессудная, из рук не выхватывают, да и кому нужен мой билет? Понимаете или нет? Так я думал в то время, а может быть, я и вообще ни о чем не думал. Я решил: есть у меня квартирант, который живет в моем доме, молодой человек, процентщик, очень порядочный,— почему мне не заложить билет у него? Пусть он даст мне под него двести рублей, я, конечно, возьму, почему не взять? И вот пришел я к моему квар-

тиранту, его звать Бирнбаум, и говорю: «Пане Бирнбаум, не дадите ли вы мне двести рублей под мой билет?» — «Я дам вам двести рублей под ваш билет!» — отвечает он. «А сколько вы мне процентов будете считать?» — спрашиваю. «А сколько вам считать?» — «А я знаю? — говорю я.— Считайте мне банковский процент».— «Буду считать вам банковский процент...»

Словом, договорились насчет процентов, отдал я ему билет на пять месяцев и получил двести рублей. Понимаете или нет? Поди же, дурень этакий, Янкев-Иосл, возьми расписку, что ты заложил у него такой-то и такой-то билет, такой-то серии, такого-то номера! Нет! Он, видите ли, Бирнбаум то есть, взял расписку с меня, что я одолжил у него двести рублей на пять месяцев под билет такой-то серии, такого-то номера. И если я не уплачу ему эти двести рублей в срок, то билет такой-то, такого-то номера и такой-то серии переходит в его собственность и я никаких претензий иметь не буду... Понимаете или нет? Что я в то время думал? Думал я вот что: «Чего мне бояться? Одно из двух: если я выкуплю билет в срок, так ведь все хорошо. А если нет, то уплачу ему причитающиеся проценты, и он подождет». Почему ему не подождать? Не все ли ему равно, лишь бы проценты! Понимаете или нет?

Так оно и было: пришел срок, и я билета, конечно, не выкупил. Прошло пять месяцев и еще пять месяцев, потихоньку да полегоньку миновало два года и пять месяцев. Проценты я плачу, конечно, то есть иной раз плачу, иной раз не плачу,— чего мне бояться? Он продаст мой билет? Не продаст он моего билета! Зачем ему продавать? Так я в то время думал, а может быть, я тогда и вовсе ни о чем не думал... А времена, между прочим, нехорошие, дел никаких, все еще слишком много недель в одном месяце, мучаемся, но что делать? Только бы жить, как говорится, а горестей хватит... И так до нынешней весны...

Незадолго до пасхи бог послал дельце: закупил я несколько вагонов пшена. А когда пшено поднялось в цене, я его продал и заработал на этом пшене добрых несколько рублей. И справили мы пасху, да так, что — можете мне поверить — Бродский и тот ничто в сравнении со мной! Шутка ли, человек никому не должен ни копейки, да еще имеет сотню-другую наличными! Кто же со мной сравняться может? Понимаете или нет? Так вот, взял бы ты, дурень этакий, Янкев-Иосл, внес Бирнбауму эти две сотни и выкупил бы свой билет! Нет! Я подумал: куда мне торопиться? Бирнбаум не удерет с билетом! Будет еще время выкупить билет и после пасхи, а не то уплачу проценты, сколько причитается, и получу квитанцию. Так я в то время думал, а

может быть, я тогда и вовсе ни о чем не думал. Понимаете? Взял я и на свои деньги купил мешки и сложил их в амбаре. А господь бог свершил чудо, сбили с амбара замок — это было после нынешней пасхи, как раз тридцатого апреля, в ночь на первое мая, когда производится розыгрыш билетов,— и украли у меня мешки, а я снова остался без гроша.

— Ципойра,— говорю я своей жене,— знаешь, какую новость я тебе сообщу? Мы уже снова очистились.

— Что значит — «мы очистились»?

— У нас уже ни одного мешка нет!

— Как это? — не понимает она.— Куда же девались мешки?

— Их,— говорю я,— сегодня ночью утащили из амбара.

Она, конечно, начинает шуметь, кричать, как водится у женщин. Тогда я ей и говорю:

— Тише, Ципойра, не кричи так. Одна ты, что ли, у господа бога? А если бы, скажем, дом сгорел, и мы выскочили бы голые-раздетые, в чем мать родила, было бы лучше?

— Тоже мне утешение! — говорит она.— Поэтому у нас должны были украсть все мешки?

— Какое имеет отношение одно к другому? — говорю я.— Вот попомни мое слово,— найдутся мешки...

— Откуда они найдутся? — говорит она.— Воры, что ли, подбросят украденные мешки, потому что тебя звать Янкев-Иосл? Делать им больше нечего.

— Э, глупая ты! — говорю я.— То, что бог может сделать, человеку и на ум не придет...

И действительно. Мешки, конечно, пропали, как в воду канули. Какие там мешки? Откуда мешки? Зря я бегал как сумасшедший, возился с полицией, искал во всех углах, рыскал по мышиным норам... Но — где там! Куда там! Ищи прошлогодний снег, вчерашний день! Понимаете или нет? Голова заморочена, в сердце пустота, во рту пересохло, на душе мрак... Стою это я на базаре, у нас на бирже, возле аптеки, и вдруг — мысль мелькает в голове,— было это утром, часов около двенадцати: «Позвольте-ка! Ведь сегодня, можно сказать, день суда божьего! Первое мая. Билеты разыгрывают! Чем черт не шутит? Ведь у нас великий бог! Ведь он, если захочет, может осчастливить меня и всю мою семью!..» Но тут я вспоминаю об украденных мешках, забываю, что сегодня первое мая, что у меня билет, который участвует в тираже, и снова начинаю искать мешки... На какой-то след, понимаете ли, напали. И так весь день и всю ночь до следующего дня — второго мая. Сам не знаю, на каком



«Царствие небесное»

я свете, целые сутки ничего не ел, уже час дня, сердце замирает, понимаете ли... А прихожу домой, на меня жена налетает:

— Может быть, ты бы умылся и закусил что-нибудь? Может быть, хватит возиться с этими мешками? Вот они у меня где сидят, твои мешки! Провались они к черту! Жизни, что ли, себя лишать из-за этих мешков? Что с ними, то и без них! Новое занятие — мешки! Мешки-мешки! Мешки-мешки!

— Знаешь что, жена моя? — говорю я.— Может, хватит насчет мешков? У меня уже голова как мешок! А тут еще ты солью раны присыпаешь! Мешки-мешки!..

Понимаете или нет? Не найдется ли у вас мешка?.. Тьфу! Еще папироски, хотел я сказать...

Короче говоря, на чем же мы остановились? На мешках, стало быть. Словом, пропали мешки. Что поделаешь? Душу не выплюнешь! Мою руки, сажусь за стол, но — где там, куда там! — ничего в горло не лезет.

— Что с тобой, Янкев-Иосл? — спрашивает жена.— Кто тебе сегодня дорогу перебежал?

— Я и сам не знаю, что со мной! — отвечаю, выхожу из-за стола и ложусь на диван. Только лег, принесли с почты газету. Возьми же, дурень этакий, Янкев-Иосл, газету и посмотри: сегодня второе мая, а вдруг твой билет выиграл? Но — где там, куда там! Я и понятия не имею, второе ли сегодня мая, или двадцать второе июня, или тридцать первое февраля! Понимаете или нет? Беру газету, начинаю читать, с самого начала, конечно. Словом, лежу это я, читаю всякие новости: расстреляны — повешены, заколоты — зарезаны, англичане и буры... В одно ухо входит, в другое выходит. Что мне англичане, что мне буры, когда у меня украли мешки? Пропади они пропадом все англичане и все буры! Так я в это время думал, а может быть, я в это время ни о чем не думал. Переворачиваю газету на вторую страницу, на третью — смотрю: тираж! Мелькнуло в голове: а вдруг мой билет выиграл хотя бы пятьсот рублей? Сейчас, после истории с мешками, это бы мне очень пригодилось. Начинаю просматривать все пятисотрублевые выигрыши — нету! Тысячные — нету! Пятитысячные, восьмитысячные, десятитысячные — конечно, нет! И так до тех пор, пока добрался до семидесяти пяти тысяч. А когда дошел до семидесяти пяти тысяч, мне вдруг что-то бросилось в глаза и ударило в голову: серия 2289, номер 12! Готов поклясться, что это мой номер! Но как это может быть? Чтобы мне, такому неудачнику, попался такой крупный выигрыш? Всматриваюсь в цифры — бог ты мой! Все-таки это мой номер! Хочу встать — не могу! Будто прирос к дивану. Хочу крикнуть:

«Ципойра!» — не могу: язык вдруг словно прилип к нёбу! Собрался с силами, встал, подошел к ящику стола, посмотрел у себя в книге. Да! Честное слово: серия 2289, номер 12!..

— Ципойра! — говорю я жене, а руки у меня дрожат и зубы стучат.— Знаешь? Нашлись украденные мешки...

Она смотрит на меня как на сумасшедшего.

— Что ты говоришь? Ты знаешь, что говоришь?

— Я говорю тебе,— бог вернул нам наши мешки сторицею, да еще с процентами... Наш билет выиграл полную шапку денег!

— Ты это серьезно, Янкев-Иосл, или смеешься надо мной?

— Что значит,— говорю я,— смеюсь? Я это совершенно серьезно. Нас поздравить нужно, мы выиграли деньги!

— Сколько же мы выиграли? — спрашивает она и смотрит мне прямо в глаза, будто хочет сказать: «Пусть только это окажется враньем, получишь ты от меня!»

— К примеру, как ты себе представляешь? Сколько бы ты хотела, чтоб мы выиграли?

— Я знаю? — говорит она.— Несколько сот рублей, наверное?

— А почему бы не несколько тысяч?

— Сколько это — несколько тысяч? Пять? Или шесть? А может быть, и все семь?

— А о большем ты, видно, не мечтаешь?

— Десять тысяч? — спрашивает она.

— Подымай выше!

— Пятнадцать?

— Выше!

— Двадцать? Двадцать пять?

— Еще выше!

— Янкев-Иосл,— говорит она,— скажи, не мучь!

— Ципойра! — говорю я и сжимаю ее руку.— Мы выиграли кучу денег! Целое богатство выиграли! Столько денег ты и во сне никогда не видела!

— Ну, говори же, сколько мы выиграли, не тяни за душу!

— Выиграли мы,— говорю я,— массу, много денег, клад, сумму в семьдесят пять тысяч!

— Хвала тебе, господи! — восклицает она, вскакивает и начинает бегать по комнате и руки ломать.— Благословенно да будет имя твое за то, что ты и на нас оглянулся и осчастливил нас! Спасибо тебе, господи, спасибо! Но ты хорошо посмотрел, Янкев-Иосл, не ошибся, упаси бог? Слава тебе, отец милосердный, слава тебе! Вся семья будет счастлива, друзья порадуются,

враги лопнут от зависти! Шутка ли, такие деньги! Не сглазить бы! Сколько ты говоришь, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч?

— Семьдесят пять тысяч! — отвечаю.— Дай-ка мне, Ципойра, кафтан. Я пойду!

— Куда ты пойдешь?

— Что значит «куда»? К Бирнбауму надо зайти, билет-то ведь у него заложен... А его расписки у меня нет...

Как проговорил я эти слова, жена моя в лице переменилась, схватила меня за обе руки и говорит:

— Янкев-Иосл, ради бога, не спеши. Подумай раньше, что делаешь, куда идешь и как тебе с ним говорить. Не забывай — это семьдесят пять тысяч!

— Рассуждаешь как баба! — сказал я.— А если семьдесят пять тысяч, так что? Мальчик я, что ли?

— Послушай меня! — повторяет она.— Подумай раньше, посоветуйся с добрыми друзьями, не иди прямо, я не пущу тебя!

Короче говоря, ведь вы же знаете,— если женщина заупрямится, она, конечно, поставит на своем. Пригласили доброго друга, рассказали всю историю. Он выслушал и говорит, что она, то есть жена моя, права, потому что семьдесят пять тысяч — это не шутки! А между тем билет у другого человека, а расписки у меня нет, деньги — соблазн, мало ли что, а вдруг придет ему в голову недобрая мысль: ведь это же семьдесят пять тысяч!

Понимаете или нет? Ну, что я вам скажу,— они так напугали меня, что я и сам начал бояться и думать бог знает что... Как же поступить? Мы решили: я возьму с собою двести рублей (деньги тут же нашлись, потому что, когда выигрываешь семьдесят пять тысяч, сразу же становишься кредитоспособным) и пойду, но не один, а еще с кем-нибудь, оставлю его за дверью, а сам заведу разговор с моим Бирнбаумом, уплачу ему долг с процентами и выкуплю свой билет. Тут — одно из двух: если он отдаст билет — очень хорошо, а если не отдаст — то будет, по крайней мере, свидетель... Понимаете или нет? «Однако все это хорошо,— думаю я,— если он еще не знает, что билет выиграл семьдесят пять тысяч. А что делать, если и у него есть газета и он тоже видел, что на этот номер пал выигрыш в семьдесят пять тысяч? А что я сделаю, если он, например, скажет мне, как та женщина с горшком: «Во-первых, я давно уже отдал вам ваш билет; во-вторых, ваш номер совсем не тот, а в-третьих, я у вас никогда никакого билета не брал!» Понимаете или нет? Разве что бог сотворил чудо и Бирнбаум еще не знает о выигрыше!

— Помни же, Янкев-Иосл, это не мелочь,— ты идешь получить семьдесят пять тысяч! Чтоб никто на твоем лице не заметил ни черточки, ни следа семидесяти пяти тысяч! И что бы с тобой ни случилось, помни, что жизнь дороже, чем семьдесят пять раз по семьдесят пять тысяч!

Так говорит мне жена, дай ей бог здоровья, берет меня за обе руки и требует, чтобы я дал ей слово, честное слово, что буду спокоен... Спокоен! Понимаете? Поди будь спокоен, когда сердце кипит, мысли прыгают и простить я себе не могу: «Как же так, Янкев-Иосл, дурень этакий, как же ты отдаешь билет на семьдесят пять тысяч какому-то Бирнбауму, совершенно чужому человеку, и хоть бы взял с него расписку!.. Росчерк пера!» Понимаете или нет? Не найдется ли у вас расписки... Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Короче говоря, на чем же мы остановились? На Бирнбауме, значит. «Интересно было бы,— думаю я,— если бы оказалось, что Бирнбаум давно уже просмотрел газету, знает уже о семидесяти пяти тысячах так же, как и я, а может быть, и раньше меня, а я прихожу к нему и говорю: «Здравствуйте, пане Бирнбаум!» — «Здравствуйте. Что хорошего скажете?..» — «Где мой билет, пане?» — «Какой билет?» — «Билет серии две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать, который я у вас заложил...» А он смотрит на меня как придурковатый...» Вот такие мысли пролетают у меня в голове, сердце сжимается, глотку перехватило... Нет дыхания! Воздуха не хватает!.. Пришел, и что же оказывается? Где Бирнбаум? Он спит... Спит? Значит, он ни о чем еще не знает. Слава тебе господи! Вхожу в дом, застаю его жену — ее зовут Фейгеле — на кухне. Дым, жара, грязь по шею.

— Здравствуйте! Гость! Реб Янкев-Иосл! — обращается ко мне Фейгеле и просит зайти в комнату, усаживает на почетное место и спрашивает, почему это меня давно не видно?

— А я знаю, почему меня не видно? Я и сам не знаю! — отвечаю я и смотрю ей прямо в глаза: «Знает она или еще не знает? Как будто бы еще не знает... А может, и знает?..»

— Как же вы поживаете, реб Янкев-Иосл?

— Как мне поживать? — отвечаю.— Слыхали небось о моих неприятностях.

— О каких неприятностях?

— Как! Вы разве не знаете о мешках, которые у меня украли?

— Ах, вы об этом? — говорит она.— Ну, ведь это уже старая история! Я думала, что-нибудь новое.

«Что-нибудь новое? А не имеет ли она в виду эти семьдесят пять тысяч?» — думаю я и смотрю ей прямо в глаза, но не могу прочесть в них ничего, то есть ровным счетом ничего!

— Может, выпьете стаканчик чаю, реб Янкев-Иосл? Я раздую самовар, а там муж проснется.

— Стакан чаю? Пожалуй, почему нет! — отвечаю я, а сердце падает, дыханья нет, воздуху — ни капли, во рту сохнет, в комнате жарко, пот катится с меня, а она, Фейгеле, говорит мне что-то, а что говорит — понятия не имею! Голова моя совсем не здесь, а в той комнате, где Бирнбаум спит и так сладко похрапывает... Понимаете или нет?

— Почему вы не пьете? — спрашивает Фейгеле.

— А что же я, по-вашему, делаю? — говорю я и помешиваю и помешиваю ложкой в стакане.

— Вы крутите ложкой вот уже целый час, а пить не пьете.

— Спасибо! — говорю.— Я не пью холодного, то есть горячего, чая. Я люблю, когда чай постоит, станет очень горячим, то есть очень холодным, то есть когда он здорово согреется, то есть остудится...

— Что-то вы, реб Янкев-Иосл, очень рассеянны! — замечает она.— Вы так рассеянны, что даже не знаете, что говорите. Неужели стоит так расстраиваться из-за того, что у вас украли мешки? Бог поможет, они еще отыщутся, ваши мешки. Я слыхала, что напали на след... Погодите-ка, муж ворочается, он уже встает. Вот он идет!

Вышел мой Бирнбаум, заспанный, в шелковой ермолке, трет глаза и смотрит на меня исподлобья.

— Как поживаете, реб Янкев-Иосл?

Первой моей мыслью было: знает? Или не знает? Кажется, не знает. А может, знает?

— Да как нам поживать? — отвечаю.— Вы ведь слыхали о моем несчастии с мешками?

— У этой истории уже длинная борода выросла. Расскажите что-нибудь поновее... Не найдется ли у тебя, Фейгеле, немного варенья? Нехорошо у меня во рту после сна,— говорит Бирнбаум и морщится.

«Ну, если ему хочется варенья, значит, он ничего еще не знает...» — подумал я и затеял с ним разговор, черт его знает о чем, слово к слову не клеится. В животе у меня что-то урчит, в глотке першит, сил моих нет, сейчас упаду, сейчас начну кричать во весь голос: «Помилуйте, люди добрые, семьдесят пять тысяч!» Понимаете или нет? Наконец бог сжалился, я завел разговор о процентах.

— Могу вам, пане Бирнбаум, дать немного процентов, то есть могу уплатить причитающиеся вам проценты.

— Ну что ж! Это очень хорошо! — говорит он и пробует ложечку варенья.

— Сколько же вам причитается процентов?

— Вы хотите знать счет или хотите платить деньги?

— Нет,— говорю,— я имею в виду платить деньги, наличные.

— Фейгеле, дай-ка сюда книгу...

Услыхав эти слова, я воскрес из мертвых: он, бедняга, ничегошеньки не знает!

Уплатив проценты, я обращаюсь к нему:

— Так уж вы запишите, будьте добры, пане Бирнбаум, у себя в книге, что вы получили от меня проценты по моему билету серии две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать.

— Запиши,— говорит он,— Фейгеле, по билету серии две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать.

«Ничего он не знает!» — думаю я и завожу разговор о билетах, о том, что не стоит держать билет и платить за него проценты. А что дальше будет с билетом?

— Это вы насчет чего же говорите? — спрашивает он и смотрит на меня одним глазом исподлобья.

От этого взгляда у меня сердце оборвалось: не понравился мне этот взгляд, понимаете или нет? Однако я тут же спохватился и сказал:

— Понимаете ли, пане Бирнбаум, я это к тому говорю, что билет требует расходов. Право же, вы могли бы впредь брать с меня на один процент меньше. Все-таки мы с вами старые знакомые, близкие соседи...

— Нет! — отвечает он.— Все, что угодно, только не это. Хотите так — ладно, а не то — уплатите мне мои деньги и заложите его в другом месте.

— Хотя бы сегодня? — спрашиваю я, а сердце стучит, как молотком: тик-тик-так! Тик-тик-так!

— Хоть сейчас! — говорит он.

— Так вот вам ваши деньги! — говорю я и выкладываю ему двести рублей, а сердце — вот оно выскочит!

— Прими деньги! — обращается он к Фейгеле, а сам наклоняется к стакану и закусывает ложечкой варенья. Потом берет еще ложечку и еще. Я хотел бы уже увидеть свой билет, а он все еще ест варенье! Мне каждая минута, каждая секунда здоровья и крови стоит! Но нельзя же быть свиньей: человек любит

варенье — пусть ест на здоровье! Подгонять человека в шею тоже не годится... Надо сидеть, как на горячих углях, и ждать, пока он покончит с вареньем. Понимаете или нет?.. Нет ли у вас немного варенья? Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Короче говоря, на чем же я остановился?

Мой Бирнбаум ест варенье. Съел, вытер губы и обращается ко мне:

— Реб Янкев-Иосл, деньги я у вас получил, проценты вы уплатили, теперь, стало быть, я должен отдать вам ваш билет?

— Видимо, так! — отвечаю я, как будто хладнокровно, и чуть в обморок не падаю от радости.

— Беда только,— говорит он,— что сегодня я вам билета дать не могу.

Как только он произнес эти слова, я почувствовал, что у меня в сердце что-то оборвалось. Я вдруг свалился с седьмого неба прямо на землю. Как я удержался на ногах, не понимаю.

— А в чем дело, пане Бирнбаум, почему вы не можете отдать мне мой билет?

— Потому,— говорит он,— что его нет у меня при себе.

— Что значит,— спрашиваю,— его нет у вас при себе?

— Он лежит на моем счету в банке.

У меня немного отлегло от сердца. Я задумался.

— Что это вы так задумались? — спрашивает он.

— Ничего,— говорю,— стою и думаю, как же он попадет ко мне?

— Очень просто,— отвечает он.— Завтра поеду в город и привезу вам ваш билет.

— Ну что ж! — говорю я, поднимаюсь, прощаюсь, направляюсь якобы к дверям и тут же возвращаюсь.— Как вам нравится, пане Бирнбаум, какой из меня купец? Деньги отдал, проценты уплатил, билет у вас,— дайте мне хотя бы расписку на билет!

— А на что вам расписка? Что же, вы мне не доверяете двести рублей без расписки?

— А может быть, вы и правы! — говорю я, направляюсь к дверям и снова возвращаюсь.

— Нет,— говорю я,— неудобно это как-то, не по-купечески... Когда билет на руках у другого, надо иметь расписку. Пускай будет по-моему, дайте мне расписку. Почему бы вам не дать мне расписку?

Вдруг мой Бирнбаум встает, идет к себе в комнату за занавеску и зовет к себе Фейгеле.

— Пане! — обращаюсь я к нему.— Я знаю, зачем вы

зовете Фейгеле. Вы хотите, чтобы она послала прислугу за газетой... Сегодня второе мая, вам хочется посмотреть, не выиграл ли билет? Зачем вам беспокоиться? Я могу и сам сообщить вам, что мой билет, слава богу, выиграл солидные деньги!

Мой Бирнбаум побледнел, потом покраснел.

— Серьезно? — спросил он.— Помогай вам бог! Сколько же он выиграл?

— Он выиграл,— ответил я,— довольно крупную сумму. Дай бог каждому порядочному человеку! Потому-то я и хочу получить от вас расписку. Поняли теперь?

— Ведь я же вам говорю, помогай вам бог, хотя бы все двести тысяч! От души желаю вам, поверьте мне! Но все-таки, сколько же пало на билет? Почему вы боитесь сказать?

— Пане Бирнбаум! — говорю я.— К чему нам лишние разговоры? На билет пал выигрыш в семьдесят пять тысяч рублей, а лежит он у вас. Проценты я уплатил, деньги вернул,— отдайте мне мой билет! Вы говорите, у вас билета нет, он в банке? Дайте мне расписку — и дело с концом!

Ну, ясное дело, у моего молодчика глаза на лоб полезли, лицо загорелось. Вижу, что ему не по себе. Тогда я отозвал его в сторону, взял за руки и сказал:

— Дорогой друг! Пожалейте меня и себя, скажите, чего вы хотите. Мы договоримся. Не мучьте меня, я еле на ногах стою. Скажите, сколько вы хотите, и дайте мне расписку на билет. Глупости, я без расписки отсюда не уйду, потому что речь идет о семидесяти пяти тысячах рублей!

— Что я вам скажу? — отвечает он, а глаза у него горят огнем.— Положимся на суд людей: как люди скажут, так и будет.

— На что нам,— говорю я,— люди? Давайте сами будем людьми. Послушайте меня, Бирнбаум, ради самого бога, скажите, сколько вы хотите? Давайте не допустим до насмешек и скандала!

— Нет, пусть решают люди! — отвечает он.— Как люди скажут, так я и поступлю...

Вижу, что ничего с ним не поделаешь,— тогда я открываю дверь и обращаюсь к своему человеку, к свидетелю то есть:

— Зайдл! Теперь можешь идти!

Мой Зайдл взял ноги на плечи, пошел и растрезвонил по всему городу, что билет Янкев-Иосла выиграл семьдесят пять тысяч, что билет находится у Бирнбаума, а Бирнбаум билета не отдает!.. Понимаете или нет? Больше ничего не потребовалось: не прошло и получаса, как дом Бирнбаума был полон

людей, улица запружена, поднялся шум, гам, тарарам: «Билет...», «Янкев-Иосл...», «Бирнбаум...», «Семьдесять пять тысяч...» Люди стали заступаться за меня, нашлись и такие, которые стучали кулаками по столу, другие обещали набить физиономии, кости поломать, разнести дом вдребезги,— плохие шутки! Наконец было решено положиться на суд нашего богача. Как богач постановит, так тому и быть. И мы всей толпой отправились к богачу.

Наш богач, надо вам знать, человек тихий, порядочный. Вообще-то он терпеть не может таких дел. Но когда мы всей гурьбой ввалились к нему с криками: «Спасите!» — он испугался, что ему дом разнесут, и у него не осталось другого выхода, как вмешаться во всю эту историю. И мы расписались, что целиком полагаемся на него. Бирнбауму, бедняге, пришлось переписать билет на его имя, и было решено, что завтра или послезавтра, даст бог, мы все едем в город взять билет из банка, и сколько богач присудит уплатить Бирнбауму, столько я и уплачу. Понимаете или нет? Но вы, наверное, думаете, что на этом вся история кончилась? Те-те-те! Теперь-то она только и начинается! У меня, видите ли, на этот билет имеется компаньон. Где вы видели, чтобы человек один владел целым билетом? Кто же мой компаньон? Мой родной брат, зовут его Генех, а живет он в местечке, недалеко от нас. Из-за него, собственно, я и заложил этот билет у Бирнбаума... То есть наоборот,— из-за меня он, мой брат, заложил билет у этого Бирнбаума... Но здесь целая история, которую я должен рассказать подробно, чтобы вам все было понятно.

Короче говоря, на чем же мы остановились? На моем брате Генехе. Имеется, стало быть, у меня брат Генех, дай бог до ста двадцати лет... Ну, что вам сказать? Неудобно распространяться о собственном брате, как это говорится, «выносить сор из избы». Но — ничего, дело семейное... Мы, понимаете ли, не слишком уважаем друг друга... О том, что я сделал для него, говорить не приходится,— дай бог мне не хуже. Могу похвастать, что я его на ноги поставил. Сначала бог, а потом я сделал его человеком. Мне незачем хвалиться перед вами, понимаете или нет? Так что, когда он прислал мне билет и попросил, чтоб я его продал или заложил, получил под него двести рублей и выслал ему деньги,— мог я ему отказать? Его ничего не касается: что ему билет? А я вот изволь думать о нем, страховать его, проценты платить... А когда господь помог, билет выиграл — кто бился головой об стенку с Бирнбаумом? Кто чуть удара не получил, покуда мы с ним кое-как поладили? А в конце концов, когда

дошло до дела, он, то есть братец мой, еще в претензии: «Кто, мол, просил тебя распинаться за мой билет?..» Понимаете, какой разговор? Нравится вам такая претензия грубияна? Мне это, конечно, досадно, за сердце хватает: «Эге, брат, в таком случае скажи, пожалуйста, а где это сказано, что билет принадлежит тебе?» — «А чей же он?» — «Чей бы ни был,— говорю я,— прежде всего надо поехать и забрать билет из чужих рук, потому что это не шутки — это семьдесят пять тысяч рублей!..» Понимаете или нет?.. Ну, что мне за это полагается? Нужно устраивать скандалы? Стучать по столу? Стулья ломать? Нет, знаете, уж если говорят, что из поросячьего хвоста шапки не сошьешь,— значит, правда... Я и подумал: зачем я буду грызться со своим братом? Сто тридцать шесть миллионов человек завидуют нашему счастью, а мы ссоримся, родные братья,— фу, противно! Надо прежде всего заполучить билет. Это как будто бы важнее! Не так ли? Как вы полагаете? Но поди толкуй с невежей! Я имею в виду своего брата, да не накажет меня бог за такие речи... Потому что, если бы он мне сказал раньше, что́ именно его беспокоит, если бы он рассказал, что это не просто билет, как всякий другой, что в истории этой кроется, так сказать, «косточка»,— я бы знал, что мне надо делать!.. А вот об этой «косточке» я узнал от брата только после того, как билет перешел на имя богача, когда следователь наложил на этот билет арест в банке, а нас, каждого в отдельности, взяли на цугундер, то есть следователь вызвал нас к себе и потребовал, чтобы мы рассказали в точности историю с билетом. Как попал, спрашивает он, ко мне билет? Какое отношение ко всему этому имеет Бирнбаум? И при чем тут богач? Понимаете, какая канитель? А откуда взялся следователь? И на что ему знать все эти подробности? В том-то и дело, что здесь начинается вся эта история с «косточкой»! Это, доложу я вам, «косточка», которая торчит поперек горла и которой и подавиться недолго!.. Хотите знать, откуда она взялась? «Косточка» эта взялась от какого-то монаха, от попа. Понимаете или нет? Там, где живет мой брат, есть монах, или поп, и мой брат уже много лет подряд торгует с ним, на слово одалживает у него деньги, продает ему товар, и живут они в большой дружбе. Понимаете или нет?..

И вот случилась такая история,— так рассказывает священник, и поди поверь ему на честное слово... Пришел к нему както мой брат и говорит:

— Батюшка, нужны мне на короткое время деньги, одолжите пару сотен, у меня — ярмарка!

А священник ему и отвечает:

— Где же я тебе возьму? Нету у меня денег!

— Никаких отговорок не может быть! — говорит ему брат.— Нужны двести рублей до зарезу!

— Странный ты человек! — говорит священник.— Сказал же я тебе — нет у меня денег. Билет, если хочешь, выигрышный, могу тебе одолжить, а ты раздобудь под него деньги...

Понимаете? Вот это и есть тот самый билет, который, стало быть, выиграл семьдесят пять тысяч. Так заявляет священник, и поди поверь ему на честное слово. Теперь, когда на билет пал выигрыш, священник, конечно, прибегает к брату и говорит:

— Билет, слава богу, выиграл порядочную сумму...

— Да, говорят,— отвечает мой брат,— что он выиграл...

— Ну, как же будет? — спрашивает священник.

— А что должно быть? — говорит мой брат.

Словом, туда-сюда, шутки в сторону,— он ему одно, тот в ответ — другое, он — про козу, а тот — про барана... Черным по белому, на бумаге у обоих ничего нет! Ну, у моего брата есть хотя бы билет, а у священника что? Одни огорчения!.. В общем, решено: священник просит у брата хотя бы несколько тысяч. Так взял бы ты, голова с мозгами, Генех этакий, и заткнул бы ему глотку несколькими тысячами, и пусть отстанет! Но братец мой твердит свое: «За что? Билет-то ведь мой! Честное слово, купил я этот билет у него еще три года тому назад!..» И, может быть, все обошлось бы, но тут вмешались наши евреи, дай им бог здоровья! Да и само местечко тоже хорошо,— может, слыхали о нем? — Пиши-Ябеда называется. По названию и местечко, полно ябедников, доносчиков,— сгореть бы им в летний день! Что говорить, пошли к священнику и растолковали ему, что он на этом деле может нажить деньги. И подсказали ему, чтобы он не медлил, поехал в большой город и обратился прямо к прокурору, подал бы бумагу: так, мол, и так, евреи, стало быть, обманным путем взяли у него билет, а билет выиграл семьдесят пять тысяч, и ему не отдают его... Понимаете? И что же вы думаете,— священник не поленился, проделал все, что нужно, и даже больше того, что нужно, и на билет наложили арест... В общем, завязалось дело не на шутку... Вот тебе напасть... Недоставало нам «косточки», священника!.. Брат уже было поладил с ним на десяти тысячах, но священник раздумал, так его накрутили, понимаете, что он и сам не знает, чего хотеть... Вот вам история с «косточкой». Понятно вам или нет?..

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На «косточке». Судил нам господь бог «косточку», которую ни проглотить, ни выплюнуть, ни туда, ни сюда!

Однако есть все же на свете бог, который одной рукой карает, а другой исцеляет,— нашлись люди добрые, друзья, приятели и просто люди, вмешались они в это дело, пытались подойти с разных сторон, бросались туда и обратно — от моего брата к священнику, от священника к брату, от меня к Бирнбауму, от Бирнбаума ко мне, от нас обоих — к брату, от нас троих — к священнику,— канитель, беготня, разъезды, разговоры, споры — словом, кое-как, с горем пополам уладили. Как уладили, на чем уладили,— не спрашивайте, лишь бы уладили! Как говорится, и из кривды ужин стряпают, или, как мой брат сказал, когда он встретился со священником: «Ваше преподобие, як не псак, то псакец, нехай будэ яхлойку».

— Нехай будэ «яхлойку»! — ответил священник.— А только ты, Генех, мошенник!..

— Лехаим, батюшка, за ваше здоровье! — сказал мой брат, поднес ему рюмку, и мы все взяли по рюмочке, выпили, расцеловались,— все хорошо, все довольны... То есть как сказать? Как можно быть довольным, когда у каждого из нас почти что были в руках семьдесят пять тысяч, а их точно ветром унесло? Хотите знать, каким образом? Да вот вам прямой расчет: ну, обо мне говорить нечего... Нет у меня семидесяти пяти тысяч, ну и черт с ними! Но я у вас спрашиваю: что бы, скажем, делал мой братец Генех, если бы я не телеграфировал ему, что наш билет выиграл семьдесят пять тысяч? Другой на моем месте, увидав такой выигрыш, знаете, что сделал бы? Утер бы губы и — молчок. Что мне брат? При чем тут Генех? А если бы я продал этот билет? Или — вот заложил я билет у Бирнбаума и не выкупил бы в срок, а ведь у Бирнбаума имеется моя расписка в том, что у него заложен мой билет такой-то номер, такой-то серии, и если я не выкуплю его в срок, то билет номер такой-то, серии номер такой-то... Понимаете или нет? Но что же? Мне это и в голову не приходило, не знать бы мне так никакого зла! Потому что я, как вы меня видите, человек, для которого деньги не играют большой роли! Что такое деньги? Чепуха! Дал бы только бог, как моя жена говорит, здоровья, и было бы все, что нужно... Но все-таки досадно, конечно... Как-никак семьдесят пять тысяч! Понимаете или нет?..

Теперь возьмем Бирнбаума. Ведь он и в самом деле ни в чем не повинен. Он прямо-таки из рук выпустил семьдесят пять тысяч рублей! Просто он честный, исключительно честный человек и не желает наживаться на чужом билете. Он хочет только, чтобы спросили у людей, что скажут люди? Понимаете? А дальше были бы, как говорят, и котелок чист, и ложка в порядке,

потому что ведь у него есть моя расписка в том, что если я не выкуплю билет в срок, то билет номер такой-то, серии такой-то... Понимаете или нет? А билет этот возьми да и выиграй как раз семьдесят пять тысяч! Ну, скажите сами, не может разве желчь разлиться? Вот вам, стало быть, уже две несчастных души на свете, которые чуть ли не из кармана выронили по семьдесят пять тысяч! А что, не правда ли?

Третий несчастный — это мой брат Генех. Ходит, как ограбленный, как зарезанный петух, и жалко его по-настоящему: ведь он так мало получит. Он, видите ли, привык каждый год, а то и дважды в году, когда разыгрывают билеты, получать по семьдесят пять тысяч, не меньше!.. Он ходит и кричит: «Чего они от меня хотят? Почему они меня грабят? Всем давай деньги! Священнику дай, брату дай, Бирнбауму дай,— они меня по миру пустить хотят!» Понимаете или нет?

Четвертый, то есть священник, и подавно несчастный!.. Он клянется, и можно поверить ему на честное слово, что не понимает, почему евреи делят между собою его деньги? «Ну ладно,— говорит он,— Генех, хотя он и мошенник и следовало бы его в кутузку засадить, но все же он свой человек, приятель... Но весь остальной кагал,— говорит он,— какое отношение имеет кагал к моему билету?!» Понимаете? Поди поговори со священником, растолкуй ему, что такое порядочность: один — это брат, который мог бы взять себе все, да так, чтобы никто и не пикнул, а второй — это исключительно честный молодой человек, имеющий от меня расписку в том, что билет такой-то и такой-то серии... Понимаете? Разве он, Бирнбаум то есть, на что-нибудь рассчитывает? Разве он требует денег? Он к кому-нибудь в претензии? Упаси бог! Он хочет только, чтобы спросили у людей, что скажут люди! Он, понимаете ли, человек, который влюбился в людей! Вот так-то.

Словом, четыре человека, выходит, выиграли по семьдесят пять тысяч на брата и четыре человека потеряли по семьдесят пять тысяч — четыре несчастных человека!.. Но ничего, поладили, значит — кончено! Видно, так суждено... Что же теперь надо делать? Теперь, стало быть, надо поделить билет, то есть надо вчетвером пойти в банк, получить билет, получить выигрыш, отдать каждому его долю и распить магарыч. Не так ли? Однако не спешите, только не торопитесь. Во-первых, на билете — печать следователя, значит, надо его прежде всего освободить, билет то есть. А священник не желает освободить билет, покуда ему не гарантируют его долю. Понимаете? Как же гарантировать его долю? Значит, надо снять билет со счета богача

и перевести его на имя священника и моего брата Генеха. Но богач и слышать об этом не желает. Он, видите ли, говорит,— и нельзя ему отказать в справедливости,— следующее:

— Какое отношение я имею к чужому билету? Как я могу приказать передать чужой билет на семьдесят пять тысяч, на который наложен арест, когда я не знаю, кому билет принадлежит? Раньше он принадлежал Бирнбауму и Янкев-Иослу, а теперь, слышу я, он принадлежит Генеху и священнику, а потом окажутся еще новые хозяева, новые генехи и священники,— что же я стану делать, если и они потребуют каждый по семьдесят пять тысяч? Откуда я возьму, дорогие мои, столько денег? Ведь я же не Бродский!

Понимаете или нет? Началась канитель с адвокатом. А ведь адвокаты — все равно что врачи: что бы один ни сказал, другой говорит противоположное. Деньги берут они все, а советы дают разные. Один адвокат говорит, что богач имеет полное право отдать билет, кому хочет... А второй заявляет, что он ни в коем случае не имеет права отдавать билет... Тогда является третий и настаивает: он обязан передать, не то он будет иметь неприятности... Четвертый советует: пускай богач вообще откажется от билета,— это будет самое лучшее... Приходит еще один и предостерегает: боже сохрани! Если богач откажется от билета, то билет останется висеть в воздухе, а это грозит серьезными неприятностями! Но другой адвокат утверждает, что неприятности ждут богача как раз в том случае, если он не откажется от билета! А еще один адвокат сообщает такую новость: откажется ли богач или не откажется — все равно неприятностей ему не избежать!.. Понимаете или нет? Но мне кажется, что неприятностей у него уже предостаточно, потому что помимо того, что ему поминутно морочат голову, он еще каждую неделю ездит в город, наш богач то есть, ходит от одного адвоката к другому, платит деньги и умоляет, чтоб над ним сжалились и посоветовали, как избавиться от этого груза! Прямо-таки жаль человека, да и позор! Взяли честного тихого человека, который и мухи не обидит, и повесили ему на шею этакую бомбу и — держись на доброе здоровье! За что? За какие грехи? За то, что люди заступились и решили услужить человеку? Понимаете или нет?.. Не найдется ли у вас еще одной бомбы?.. Тьфу! Папироски, хочу я сказать...

Короче говоря, на чем же мы остановились? На бомбе, которую повесили нашему богачу на шею... Вы, конечно, хотите знать, что с ней? Ничего, бомба так и осталась бомбой! Пока что она висит в воздухе... Богач каждую неделю ездит в город к

адвокатам, адвокаты берут деньги и дают советы — один так, другой этак, а третий — ни так и ни этак, а, наоборот, как обычно... И чем это кончится, один бог знает, потому что ни один человек постичь не может, что из этого будет... Если, упаси бог, дело дойдет до суда, то кто знает, как оно обернется... Понимаете? А кто тем временем мучается и страдает? Янкев-Иосл! Весь город,— да что там город,— весь мир носится со мной! Каждый на меня пальцем указывает: «Вон идут семьдесят пять тысяч!..» От дела меня оторвали, в кармане и трешницы нет,— еще хуже, чем было. Жена стыдится на рынок выйти — ее называют «новая богачка»... Меня в первую субботу пригласили к свиткам Торы с особыми почестями. Уже рассчитали, сколько из этих семидесяти пяти тысяч я должен пожертвовать городу, сколько я должен раздать бедным родственникам и что я буду делать с остальными деньгами. Один уверял, что я, наверное, сделаюсь процентщиком, другой говорил, что я, вероятнее всего, буду торговать хлебом так же, как торговал в былые времена, а третий доказывал, что для меня лучше всего открыть контору, потому что контора у нас может делать самые выгодные дела,— ведь ни одна из наших контор не располагает капиталом в семьдесят пять тысяч, да еще наличными! Понимаете? У нас в местечке народ неверующий: никто не верит, что кто-нибудь имеет в наличности больше двадцати пяти рублей собственных денег... Наше местечко, надо вам сказать, тоже черт не взял! Уж это, доложу я вам, из тех местечек, которыми все интересуются!.. Праздношатающихся, которым делать ничего, у нас достаточно, вот они и таскаются по местечку, и перемывают косточки всему миру. Своих дел нет, вот и занимаются чужими. Собираются на базаре, возле аптеки, на бирже то есть, и только и делают, что оценивают чужие сделки: боятся, а вдруг кто-нибудь заработает! А если человек потеряет — они счастливы, прямо-таки на глазах толстеют... Теперь вы понимаете, какая туча надвинулась на город, когда прослышали об этих семидесяти пяти тысячах? С того дня у людей рот не закрывается с утра до ночи. Шутят, и острят, и досаждают друг другу колкостями, вгрызаются, лезут в душу.

— Почему бы вам не выиграть семьдесят пять тысяч? Они бы вам сейчас очень пригодились!..

— А вы почему не выигрываете? Вам они гораздо нужнее!

Чтобы другим было досадно, какой-то математик рассчитал, что я самый крупный богач в городе. Простой расчет! Семьдесят пять тысяч я выиграл, тысяч шесть-семь стоит мой дом, вот вам уже почти восемьдесят пять тысяч, то есть без малого сто

тысяч. А о человеке, который имеет сто тысяч, можно смело сказать, что у него — двести, потому что когда говорят, что у человека двести тысяч, у него и ста не наберется! Выходит, таким образом, что у меня двести тысяч, то есть, что я самый богатый человек в городе! А то, что в городе есть люди побогаче меня, так ведь наверняка никто этого не знает. Кто побывал у них в кармане, кто считал их деньги? А может быть, они — банкроты? Понимаете или нет? Многих это задело за живое. Они не могли примириться: как это человек вдруг, ни с того ни с сего, становится без забот, без головной боли — богачом? Есть у нас один старый холостяк, богач и скряга... И вот озорники подослали к нему некоего Мендла Бороду, чтобы тот сообщил ему радостную весть: Янкев-Иосл выиграл семьдесят пять тысяч. И холостяку стало, не про вас будь сказано, так скверно, что думали — конец человеку! Прямо-таки жалость берет — ходит человек несколько дней подряд без головы! А теперь, когда он узнал об истории с моим братом Генехом и о «косточке», он, можно сказать, поздоровел. «Пусть уж лучше священнику достанется,— говорит он.— За что это еврею столько денег?..» Понимаете? Но вы думаете, что свои не завидуют? Они, если бы могли, утопили бы меня в ложке воды! Конечно, если бы я действительно получил эти семьдесят пять тысяч, все было бы подругому, тогда бы все были довольны — и свои и чужие. Но коль скоро так получилось, то опять-таки другое дело... Ничего, родственники могут держать карман пошире,— у моего брата Генеха не разгуляешься. Благодетель мой братец Генех! Он если начнет раздавать подаяние, так уж тут будет что посмотреть! Он уже как будто ассигновал от шестидесяти пяти до семидесяти двух рублей на свадьбу бедной сестры... А старику отцу он отвалил целую сотню! Пусть, мол, знает отец, что сын его выиграл семьдесят пять тысяч!.. Понимаете? Это — близкие родственники. А те, что издалека, вообще повадились ко мне со всего света каждый со своими нуждами... Многие в расчете на это дело надумали женить и замуж выдавать своих детей. Кое-кто развелся, полагая, что потом сможет добиться чего-нибудь получше... Но то хоть родственники. Как это говорится: от своих приходится терпеть. Понимаете? Но чужие, совершенно чужие, при чем тут они? Почему я обязан и о них думать? За что мне такое наказание? За какие грехи? Всем своим врагам, знаете ли, желаю я такого выигрыша! Можете мне поверить на слово, что поздравления, с которыми ко мне являются, улыбочки, льстивые слова я больше не в состоянии переносить! Люди, которых я не знаю, приходят ко мне за советом.

— Мы слыхали,— говорят они,— о вас, реб Янкев-Иосл. Мы давно уже слыхали, что вы человек умный. Не думайте, что у нас какие-нибудь задние мысли, потому что бог осчастливил вас выигрышем... Упаси бог! Просто так пришли к вам душу излить...

Понимаете или нет? Один приехал из какого-то странного города, уж я забыл, как он называется, издалека откуда-то, где бабка моего деда никогда не бывала. Отворяется дверь, входит человек, кладет узелок.

— Мир вам!

— Здравствуйте! Откуда будете?

— Из чертовой дали! Это вы реб Янкев-Иосл?

— Я Янкев-Иосл. Что хорошего скажете?

— Стало быть, это вы и есть тот самый Янкев-Иосл, который выиграл семьдесят пять тысяч? Я, знаете, нарочно приехал, то есть ехал я мимо, услыхал историю насчет семидесяти пяти тысяч и решил: дай-ка съезжу на денек, своими глазами посмотрю на счастливца, который выиграл *семьдесят пять тысяч рублей!* Ведь это же не шутки, — это *семьдесят пять тысяч рублей!!*

Понимаете или нет? Поди рассказывай каждому в отдельности историю с Бирнбаумом, который полагается на людей, и с братом Генехом, и с «косточкой», и с богачом, и с бомбой, и с адвокатами, и с чертями и дьяволами!.. Уверяю вас, что до этих семидесяти пяти тысяч рублей мне жилось гораздо лучше, чем сейчас, а уж спокойнее — наверняка! Скажу вам по правде, я теперь и за жизнь свою опасаюсь. Вот был я недавно в городе у тамошних адвокатов. Один из них заманил меня к себе на Подол якобы на чай. Прихожу это я на Подол, дело было ночью, застаю там еще одного типа, еврея с красивой бородой, сидящего над фолиантом. Здоровается со мной, встает, чтоб закурить папиросу, и гасит лампу, и мы остаемся в темноте... Понимаете? Стоило бы, пожалуй, если бы не было так поздно и если бы вы так не торопились, рассказать вам эту историю, а сверх этой истории есть еще история или, как говорят: на болячке — прыщ, а на волдыре — нарыв... Понимаете?

Короче говоря, на чем же мы остановились? На конце этой истории. Думаете, это конец? Погодите, не торопитесь. Это еще только начало. Да что я говорю — начало! И начало-то еще не начинается! А кто виноват? Я сам! То есть как сказать? Чем, собственно, я виноват? А я знаю? Ведь я же всего только человек, как говорится, плоть да кровь, но когда суждено несчастье, так уж тут ничего не поможет. Чем я виноват, к примеру, если...

Впрочем, не будем забегать вперед, не будем хвататься за рыбу до лапши, то есть наоборот, за лапшу до рыбы. Лучше я расскажу вам спокойно, не торопясь, всю историю от начала, то есть не от самого начала, а от последнего начала, то есть с того, что вы считаете концом... Так вот, если вы помните, мы, с божьей помощью, поделили билет, каждый получил свою долю... Конечно, это не так скоро делается, как говорится,— наговорились и накричались с каждым в отдельности вдосталь. Священник твердит: за что нам, мне и Бирнбауму, причитаются деньги? А мой братец Генех хотел бы, чтобы я положился на его справедливость, на его добрую волю и разумение. А мой Бирнбаум кричит, что ничего не хочет, ему только людей подавай, он хочет послушать, что люди скажут! Понимаете? Вмешались в это дело маклеры, три сразу. Поработали, уладили — и дело с концом. И решено было, если вы помните,— что же, собственно, было решено? Чтобы мы собрались все вчетвером, поехали в город, выручили билет, получили наши денежки и поделили между собой — на тебе, дай мне, и до свидания! Да, но в каком случае все это возможно? Если билет налицо. А если билета нету? Но что значит — нету? Билет-то есть, но вы помните, где он находится? Законопатили его в каком-то банке, на чужое имя, а на билет, извините, наложен арест следователя,— вот и возьми его, билет этот! Как же быть? Надо прежде всего прекратить это дело, покончить с этой историей — тогда только видно будет, что дальше делать. Понимаете или нет? Кто же должен прекратить дело? Конечно, священник. Но он хочет, чтоб его обеспечили, то есть передали билет на его имя, тогда он постарается прекратить это дело. Выходит, что и он как будто прав. Кто же должен передать билет на его имя? Наш богач, разумеется. Приходим, стало быть, к нему, к богачу, и просим, чтобы он был так добр и передал билет, тогда дело будет прекращено. А богач, если помните, твердит свое (и тоже по-своему прав): «Чего вы от меня хотите? — говорит он.— Чего вы мне навязали чужое дело?» — «Вы, конечно, правы! — отвечаем мы.— Но что же нам делать, если без вас с этим никак не покончить».— «Но я-то чем виноват? — спрашивает он.— Кончайте или не кончайте — мне-то что?» Понимаете или нет? Нет ли у вас дела?.. Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Короче говоря, на чем же мы остановились? На том, что нужно прекратить это дело. Одни советуют так, другие — этак, решено было судиться. А если судиться, нужно адвоката спросить, а спросить адвоката, надо поехать в город. И опять начинается: у какого адвоката спрашивать? Один говорит — у этого,

другой говорит — у того. В конце концов спрашивают у обоих,— другого выхода нет. И вот один адвокат говорит противоположное тому, что утверждает другой. А третий и вовсе городит бог весть что! Скверно! Приходится обратиться к четвертому... Словом, должен ли я рассказывать вам, что такое адвокаты? Что адвокаты, что врачи — один черт! Они созданы для того, чтобы говорить друг другу наперекор. Один адвокат говорит, что мы, все четверо, должны подать жалобу на банк и на богача за то, что они не выдают нам билета... Казалось бы, правильная мысль? Но другой адвокат заявляет, что подавать жалобу должны только двое — я и Бирнбаум, и на одного богача — за то, что он не дает распоряжения банку о выдаче билета. Тоже как будто бы резон! Не правда ли? Но третий адвокат спрашивает: что общего у меня с банком? Банк разве знает меня? Или имел со мной дела? Подавать должен Бирнбаум один, и не на банк, а на богача, потому что банк не виноват: ведь сам Бирнбаум совсем недавно просил банк перевести билет со своего счета на счет богача... Опять-таки правильно! Но является еще один адвокат и утверждает, что подавать жалобу должны не я и не Бирнбаум, а священник и мой брат Генех! И это верно, не так ли? Но другому адвокату приходит такая мысль: не надо, говорит он, жаловаться! Давайте посмотрим, откуда в банке взялся билет на имя богача! Бирнбаум передал его. А откуда Бирнбаум взял билет? Получил у Янкев-Иосла, то есть у меня. А я где его взял? У моего брата Генеха. У кого взял билет брат Генех? Одолжил, то есть купил у священника. Он говорит — купил, а священник говорит — одолжил, но не все ли равно? Дело пропащее. Поэтому священник требует билет у моего брата Генеха, Генех — у меня, я — у Бирнбаума, а Бирнбаум у кого? У банка. Но банк заявляет, что не знает никакого Бирнбаума, он знает богача! В таком случае пусть Бирнбаум требует у богача, а богач — у банка. Богач, правда, боится,— а вдруг на него будут жаловаться? В таком случае пусть Бирнбаум выдаст расписку богачу, я — Бирнбауму, мой брат Генех — мне, а священник пусть выдаст расписку Генеху. Как вам нравится такая мысль? Что может быть лучше? Нашелся, однако, еще один адвокат, умник, и задает такой каверзный вопрос: откуда, говорит он, мы знаем, что дело кончается на священнике? А вдруг где-нибудь на чердаке прячется еще одна душа, которая завтра встанет, приведет свидетелей с бумагами и начнет требовать: «Билет мой! Где мой билет?» Что же тогда будет? Он будет требовать не билет, а семьдесят пять тысяч! А у кого? Ни у кого другого, как у богача! Правда, у богача есть расписка от Бирнбаума, у

Бирнбаума — от меня, у меня — от брата Генеха, а у Генеха — от священника! Пусть в таком случае богач жалуется на Бирнбаума, Бирнбаум — на меня, я — на брата Генеха, а Генех — на священника. Опять, стало быть, скверно! Что же делать? Надо обратиться еще к одному адвокату, к самому Коперникову, а от Коперникова — к еще более крупному адвокату, к «золотой стрелке». В общем, побывали у всех адвокатов, ни одного не пропустили, и до того заадвокатили себе голову, что ни о чем другом говорить не могли, только и слышно было: адвокат, адвокат, адвокат... Нет ли у вас адвоката... Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Короче говоря, на чем же мы остановились? На адвокатах. Господь помог, адвокаты нашли выход,— все-таки адвокаты! В чем же выход? А в том, чтобы я и Бирнбаум, мы оба, прежде всего выдали бумагу и расписались у нотариуса, что мы вообще никакого отношения к билету не имеем, что билет этот прислал мне брат Генех, что взял он его, то есть купил, у священника, чтобы заложить, а я заложил его у Бирнбаума и получил под него двести рублей,— то есть так, как было на самом деле, чистую правду. Казалось бы, просто и хорошо, без фокусов, без штук,— что может быть лучше правды? Так вот, никому это в голову не приходило! Понимаете?.. Однако это еще не все! Это значит, мы, то есть я и Бирнбаум, дадим людям в руки такой бич против себя самих? А что же будет с нашими долями выигрыша? Что мы станем делать, если нам кукиш покажут? Полагаться на справедливость моего братца да на честное слово священника? А то, что мы расписались и выпили вместе? Это чепуха! Лист бумаги стоит грош, а выпивать можно каждый день, была бы водка. Чего же мы хотели, я и Бирнбаум то есть? Гарантии! Чтоб нам гарантировали то, *что нам причитается*... Понимаете или нет? А вот тут-то и началась самая буча. «Гарантии? А за что им полагается гарантия? Мало того что даром деньги получают, им еще гарантии подавай?» Это, конечно, нас здорово задело. «Ах вы такие-сякие! А за нашу честность! Мало того что вам делают такое одолжение,— ведь мы могли забрать у вас все семьдесят пять тысяч, чтоб ни одна живая душа не знала,— а вы еще в претензии?!» — «Значит, вам надо спасибо сказать, щечку погладить?» Это говорит мой брат Генех. Я, конечно, не стерпел, слово за слово, полетели оплеухи, как водится между братьями. Словом, уговорили,— дадут нам гарантию. Какую? Расписки? Расписка — это дешево стоит! Векселя? Жаль вексельной бумаги. А что же? Наличные деньги! Как моя бабка, царство ей небесное, говаривала: «Из всех молочных блюд самое

лучшее — кусок мяса!» Но где же взять наличные деньги? Наличных по нынешним временам ни у кого нет. То есть как сказать? Деньги есть, и много, но у Бродских. «Словом, все это пустые разговоры! Пока мне не выложат гарантии, я подписывать не стану!» — «Какую гарантию?» — «Какую хотите, лишь бы гарантия! Чтобы люди надо мной не смеялись, мол, Янкев-Иосл дурака свалял». Понимаете? Это одно. А мой молодчик, то есть Бирнбаум, опять за свое: *люди!* Так как он должен выдать такую важную бумагу за своей подписью, то он хочет, чтобы люди высказали свое мнение, и как они скажут, так пусть и будет. «Опять люди! — говорю я.— Ведь уже однажды покончили с этим! На что вам люди?» — «Понимаете,— говорит Бирнбаум,— я хочу, чтобы спросили у людей, а вдруг люди найдут, что мне ничего не причитается,— зачем же я буду зря брать деньги?» Понимаете или нет? Я кричу: *«Гарантии!»* А он твердит: *«Люди!»* Гарантии, говорит он, *потом.* Раньше надо спросить *у людей.* Опять вы, говорю, заладили с вашими людьми! У меня уже всю голову пролюдило от ваших людей! Лучше иметь гарантию! Гарантия важнее...»

Короче говоря, на чем же мы остановились? На гарантии. Нам все же уступили, связали друг с другом как следует, расписались со всех сторон, и не где-нибудь, а у нотариуса, сдали все эти бумаги, куда положено, и начали ходить по адвокатам, писать всякие бумажки, трястись что ни день в город, расходовать деньги, платить за ночлег, спать с клопами, лишь бы это называлось «отель» (заезжий дом — им не пристало!), кушать порции жареных тараканов, лишь бы это называлось «розбрат» (тушеное мясо — им не пристало!), потеть, как в парной бане, жариться на солнце, шлифовать мостовые, глохнуть и дуреть от стукотни и трескотни, от шума и гама... А чего ради? Счастье привалило — семьдесят пять тысяч! Конец бы всему этому настал, как моя жена говорит: «Медный грош наяву дороже золотого червонца во сне. Твои семьдесят пять тысяч,— говорит она,— уже семьдесят пять раз мое сердце пробуравили. Готова уступить тебе эти радости,— на что мне все это нужно?..» — «Э! — отвечаю я.— Баба ты, а баба так бабой и остается...» Но чувствую, что она права: что я имею от всего этого? На базар с этим не пойдешь! Только врагов себе нажил: один мне завидует, другой зубами скрежещет, боится, а вдруг я получу деньги? За что это Янкев-Иослу столько денег?.. Понимаете? Что там думать, немало крови стоило мне, покуда довелось услышать наконец, что со всем этим делом покончено. Глаза на лоб вылезли, пока дожили увидеть билет в добрый, счастливый

час! Но вы думаете, что так-то просто увидели мы наш билет? Погодите, не торопитесь. Раньше надо было выждать месяц,— а вдруг кто-нибудь недоволен решением. Не знаю, спал ли я хоть одну ночь за этот месяц! Снились мне дикие сны, не раз, бывало, вскакивал я среди ночи и кричал не своим голосом: «Ципойра, я лечу...» — «Куда ты летишь? — говорит она.— Что это на тебя за летание такое нашло? Сплюнь трижды и расскажи, что тебе снилось?» — «Интересный сон снился мне,— говорю я.— Будто у меня крылья и я лечу, а за мной летят какие-то дикие, странные создания, змеи и ящеры, и хотят меня уничтожить...» Так было однажды. В другой раз мне снилось, что я сижу на огромном надутом мешке. Мешок резиновый, красный, а сбоку на нем написано крупными цифрами: семьдесят пять тысяч... Дело происходит летом в субботний день, понимаете ли, люди гуляют, поминутно останавливаются и смотрят во все глаза на меня... И вдруг — тррах! Раздается треск! Лопнул, оказывается, резиновый мешок, и я падаю и кричу: «Ципойра! Лопнул!» — «Бог с тобой! Кто? Кто лопнул? Враги мои пускай лопаются!..» Так говорит мне жена, будит меня и истолковывает мой сон к добру, как это делают обычно жены.

Короче говоря, на чем же мы остановились? На получении билета. Когда настало время получать билет, началась новая история: «Кто же и кто шествующие?» То есть кто пойдет? Каждый сам себе, конечно, крепко доверяет, но целиком доверяться другому я тоже не нанимался,— слишком велик соблазн, ведь это же *семьдесят пять тысяч рублей!* Понимаете или нет? Поэтому решено было: я не верю тебе, ты не веришь мне,— пойдем все вместе! Что это значит — все вместе? Человек десять! Откуда взялось десять человек? Посчитайте, увидите: я — один, Бирнбаум — два, священник — три, мой брат Генех — четыре, три адвоката (один от священника, один от моего брата — таращанский адвокат, и один от меня и Бирнбаума — черкасский адвокат) — вот вам уже, не сглазить бы, семь человек; а три маклера, которые вмешались в это дело и поделили между нами выигрыш? Вот вам как раз десять человек. Поначалу было немного неловко. Мой брат Генех капризничал и привередничал: к чему, мол, столько людей, целая орава! Достаточно было двоих — его и священника то есть... Не понравилось ему, видите ли, что никто не желает полагаться на его справедливость и на слово священника!.. Помогло это ему, однако, как прошлогодний снег, потому что у каждого были свои претензии и каждый был по-своему прав. Я, например, считал, что непременно должен идти, потому что я — брат, не из-за почестей, а оттого, что один

брат может другого обмишурить. Что я стану потом делать? Жаловаться на него господу богу? Ведь это же брат!.. А мой Бирнбаум заявил, что если собственный брат мне не доверяет, то уж он, совершенно чужой человек, и подавно не может надеяться на чудеса! Он, говорит, и так уже достаточно деликатен... И ведь нельзя сказать, чтобы он был вовсе не прав. О трех адвокатах говорить нечего, они, конечно, обязаны присутствовать при этом, потому что придется еще писать, писать и писать... Остались, таким образом, только маклеры. Но они заявили, что идти они должны, и обязательно втроем, потому что они — собаки битые, то есть люди опытные, прошли хорошую школу, проделали курс на егупецкой бирже и знают, что такое маклерские деньги, то есть «картаж»... Это, говорят они, вроде сватовских денег, которые нужно получать при помолвке! Понимаете?

Договорились мы, что придем не все сразу, а поодиночке. Но так как каждый старался прийти первым, то возле банка оказались мы все чуть свет, и толклись на улице довольно долго, покуда отворили двери и мы вошли получать билет. Ну, объяснять вам, что такое банк, я думаю, незачем. Банк не любит торопиться, у него есть время. Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклеры, которые жаждут заработать, и вообще люди? Куда там — и в ус себе не дует! Один закуривает папиросу, другой болтает, третий пьет чай, кто чинит карандаш, кто газету читает, зарывшись носом, и головы не поднимает, хоть тресни! Мы бродим, зеваем, кашляем, дождаться бы уже минуты, но нет бухгалтера, пришел бухгалтер — нету кассира. Пришел кассир — директора нет. Где директор? Еще спит. Хозяин банка, стало быть, лежит себе и спит. Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклеры, которые жаждут заработать, и вообще люди? Сколько он, к примеру, получает жалованья, такой вот директор? Наверное, тысяч шесть, а может быть, восемь, а почему не все десять? Мало ли он трудится, бедняга? Я согласился бы на половину, на треть, и работал бы, наверное, больше него, а старательней — уж несомненно! Так стою я и думаю, а может быть, я в ту минуту и вовсе ни о чем не думал. Понимаете?

Между тем пришел директор. Мы, конечно, к нему, и все вместе. Он чего-то испугался и махнул рукой. Тогда подошли к нему только адвокаты, все втроем, и священник, и подали ему бумаги. Понимаете или нет? Директор заперся у себя с бумагами, а мы стали ждать, ждать и ждать! Наконец дождались: директор вышел с каким-то толстым барином и, встав к нам, извините, задом, начал с ним говорить — дело без конца! Что

ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклеры, которые жаждут заработать, и вообще люди? Вдруг он оборачивается к нам и говорит:

— Ваши бумаги готовы, ступайте в кассу...

Понимаете? Не мог сразу сказать. Взяли бумаги и пошли к кассиру, думали, что уже конец. Но где там! Куда там! Кассир занят, он считает деньги, бумажки, сотни и пятисотенные, словно мусор, а золота, золота целые стопочки, занят весь стол! Сколько здесь может быть денег? Бог ты мой, иметь бы мне хотя бы десятую часть, я плюнул бы на этот билет!.. Так стою я и думаю, а может быть, я в ту минуту и вовсе ни о чем не думал! А кассир считает и считает золото, и хоть бы глянул на нас! Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклеры, которые жаждут заработать, и вообще люди? Золотые в его руках летят, летят с удивительным каким-то сладким звоном, звоном золота. «Золотой звон»,— понимаете или нет?

Короче говоря, на чем же мы остановились? На золоте. Пересчитал золото, поднял на нас свои очки, взял у нас наши бумаги, перебрал их, как считают деньги, сотенные ассигнации, например, с особенным прищелкиванием пальцев! Потом выдвигает ящик и достает оттуда объемистый пакет. Вскрывает конверт, достает из него билет, тот самый билет, и спрашивает:

— Кто получает?

К билету устремилось десять пар рук.

— Нет! — сказал кассир.— Стольким рукам сразу я билет отдать не могу. Выберите кого-нибудь одного из вашей компании...

И мы, понимаете ли, выбрали одного из нашей компании, старшего из трех адвокатов. Старший адвокат взял билет осторожно, обеими руками, как берут младенца, и показал его сначала священнику, потом моему брату Генеху, затем мне и Бирнбауму, то есть нам обоим, чтобы мы видели, тот ли это самый билет или нет? Священник сказал, что он его узнал еще издали, в руках у кассира. У него, говорит, есть верный знак... Какой знак, он не хочет сказать... Мой брат Генех поклялся всем, что ему дорого, что, если бы его разбудить часа этак в два ночи и преподнести ему этот билет, он узнал бы его с первого взгляда! Понимаете или нет? А я и Бирнбаум, мы оба, билета не узнали,— к чему мне говорить то, чего не было,— мы только хорошо присмотрелись к серии и номеру двенадцать,— ведь это же самое главное, не так ли? И оттуда все направились в Государственный банк получать денежки, семьдесят пять тысяч! Шли мы все вместе, пешком, хоть это и в гору. Старший

из адвокатов держал билет на виду, крепко, обеими руками, чтоб его, упаси бог, не потерять или чтоб никто не подумал, что он собирается проделать с ним какой-нибудь фокус или его подменить... Ведь такой злополучный билет... А шли мы уже не вдесятером, нас уже было больше двадцати человек. Откуда взялось столько людей, не сглазить бы? Я вам скажу: во-первых, добрые знакомые из местечка, которые как раз в этот день были в городе и увидели, что мы уже идем с билетом в Государственный банк получать семьдесят пять тысяч... Вот они и пошли нас проводить и вошли в банк — посмотреть, как получают крупный выигрыш: ведь не каждый день увидишь такое. Словом, что там говорить, за нами шли, как на богатых похоронах, а в Государственном банке ефрейтор, что стоит у дверей, даже испугался, когда увидел столько евреев со священником посредине.

Все же он нас очень любезно принял и поодиночке пригласил в банк. Адвокат подошел с билетом куда следует и сказал, что нам нужно. Тогда нас отвели к чиновнику с лысиной, блестящей и белой, как молочная тарелка, передали ему наш билет и что-то сказали, что — не знаю. Тот, который с лысиной, что сидел по ту сторону решетки, поднял глаза, строго посмотрел сквозь очки и продолжил свою работу: он держал в руках острый ножичек, понимаете ли, и скреб им в книге, скреб и скреб без конца. Он скребет, а мы стоим как неприкаянные и смотрим, как он скребет, а вся остальная публика разглядывает нас с головы до ног. Лысый чиновник не перестает скрести, а кругом за столами сидят еще чиновники и считают деньги... Но сколько, думаете вы, денег? Деньги — как полова, как мусор! Золота — целые груды! Голова даже кружится, а «золотой звон» отдается в ушах, и в глазах сверкает! «Кто это,— думаю я,— выдумал деньги, из-за которых люди так изводятся, головой об стенку бьются, готовы друг друга живьем проглотить. Нет ни брата, ни сестры, ни отца, ни сына, ни соседа, ни приятеля... Ничто не дорого, только деньги, деньги и деньги!» Так думаю я, а может быть, я в ту минуту и вовсе ни о чем не думал, понимаете? А он, чиновник то есть, не перестает скрести, ибо — что ему билет, Янкев-Носл, семьдесять пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклеры, жаждущие заработать, и вообще люди?.. Однако все на свете имеет конец. Господь сжалился, чиновник перестал скрести, сложил острый ножичек, спрятал его в жилетном кармашке, достал белоснежный платок, громко высморкался. Потом взял билет, просто, как берут в руки обыкновенный лист бумаги, которому грош цена, раскрыл книгу и

смотрел, смотрел... То в книгу заглянет, то на билет посмотрит, то на билет, то в книгу. «Боится, наверное, этот умник, не поддельный ли билет? — подумал я.— Скреби, скреби! — думаю.— Нюхай, нюхай! Билет настоящий, не фальшивый!» И вдруг как возьмет он билет да как швырнет его чуть ли не в лицо и говорит (я и сейчас помню его слова):

— Кто вам сказал, что этот билет выиграл семьдесят пять тысяч?

Понимаете или нет? *Кто нам сказал?* Как вам нравится такой вопрос?

— Что значит,— отвечаем мы,— кто сказал? Сам билет сказал, что он выиграл семьдесят пять тысяч. Серия две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать!..

— Да,— говорит он совершенно серьезно,— правильно, серия две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать действительно выиграл семьдесять пять тысяч. Но ваш билет — серия две тысячи двести девяносто восемь, номер двенадцать. *Маленькая ошибочка...*

Как вам нравится такая новость? Что вам сказать? Сначала, когда он проговорил это, мы были ошеломлены! Мы считали: либо он одурел, либо мы сошли с ума. Или это нам снится... Стали мы смотреть друг на друга, потом догадались посмотреть на билет — да, честное слово! Серия 2298, номер 12. Понимаете или нет?

Ну, что вам дальше рассказывать, дорогой друг? Я не в состоянии и десятой доли передать, а вы не в состоянии описать, да и никто не в состоянии представить себе картину в банке, когда все онемели и стали смотреть друг на друга. На лицах было написано,— как вам сказать? Это вообще были не человеческие лица, понимаете ли, то были звери, животные в образе людей. Один другого готов был уничтожить взглядом, глазами! Казалось бы, что случилось? Что вам сделали? Приснились вам семьдесят пять тысяч. Ну и что же? Лишать себя жизни по этому случаю? Неужели жизнь сама по себе ничего не стоит? Сумасшедшие, понимаете вы или нет? И ни на кого я так не досадовал, как на своего молодчика, на Бирнбаума! Ну, остальные оправдывались, сваливали вину друг на друга: священник во всем винил моего брата Генеха, а Генех говорит: он ничего знать не знает, ему и не снились бы семьдесят пять тысяч, если бы я, Янкев-Иосл то есть, не послал ему телеграммы и не поздравил его. Понимаете? «Хорошо же ты, братец мой, газету смотрел!..» — «А ты,— говорю я,— почему не смотрел?» — «Ты,— отвечает он,— был главный зачинщик, у тебя был билет,

ты *по-настоящему хозяин!»* Слыхали? Когда речь шла о семидесяти пяти тысячах, меня вообще не хотели знать, а сейчас, когда все это оказалось мыльным пузырем, я — *настоящий хозяин!* Понимаете? Ну ладно! Я, Янкев-Иосл, козел отпущения, беру на себя всю вину. Пускай я буду во всем виноват! Но где же ваши глаза, дурачье? Ведь вы же, как и я, раз девятнадцать видели все бумаги, квитанции, страховки, в которых черным по белому написано серия 2298, а выиграла серия 2289, номер 12,— почему же вам не пришло в голову посмотреть, что девятка стоит перед восьмеркой? А когда билет был уже у вас в руках, вы не могли еще раз посмотреть таблицу?.. В банк пойти вы не поленились целой оравой... А почему? Думали,— вот получаете деньги? Понимаете? Но ни на кого я так не злился, как на моего типа, на Бирнбаума то есть. Надо было вам видеть, как он стоял в стороне, словно чужой, словно его все это не касается. Только что, казалось бы, он нам всем житья не давал: «Люди! Люди!» Он хочет положиться на суд людей! А теперь он стоит, как невинная овечка! Задело это меня за живое, и я подумал: дай хоть душу отведу за кровь, которую он мне испортил тогда, второго мая, если помните, когда я умолял его, как разбойника, чтоб он вернул мне билет.

— Пане Бирнбаум! — сказал я ему.— Теперь вы могли бы положиться на суд людей! Вот в банке людей, не сглазить бы, много! Чего же вы молчите? Больше не хотите людского суда? Покончено с людьми?..

Публика стояла и радовалась. Чему радовалась — не могу сказать: тому ли, что я предлагаю Бирнбауму суд людской, или публике вообще пришлось по душе, что ухнули наши семьдесят пять тысяч? Могу вам сказать, понимаете ли, и поклясться на чем угодно, что меня эти деньги не интересуют, пускай они сгорят! Досадно мне, однако, что, когда *только еще думали,* что у Янкев-Иосла есть *семьдесят пять тысяч,* я был реб Янкев-Иосл. А сейчас, когда оказалось, что Янкев-Иосл имеет, извините, *фигу, а не семьдесят пять тысяч,* я уже больше не реб Янкев-Иосл! Что, паршивцы, черта вашему батьке? Чем я перед вами провинился? Есть семьдесят пять тысяч или нет семидесяти пяти тысяч, какая разница? Знаете, что я вам скажу, пане Шолом-Алейхем? Можете гордиться вашими евреями и всем миром! Безобразен, скажу я вам, мир, лжив, обманчив и глуп. Но признайтесь, не звенит еще у вас в ушах, не вертится еще у вас шапка на голове от моих семидесяти пяти тысяч! Извините, что заморочил вам голову, и будьте, понимаете ли, здоровы, и пусть господь пошлет вам лучшие дела!

МАФУСАИЛ

Еврейская лошадка

1

Мафусаилом прозвали его в Касриловке потому, что был он обременен годами и не имел ни единого зуба во рту, если не считать двух-трех пеньков, которыми он с трудом жевал, когда было что жевать. Высокий, тощий, облезлый, с побитой спиной и тусклыми глазами (на одном — бельмо, другой — с красниной), кривоногий, мосластый, со впалыми боками, отвисшей губой, точно он вот-вот заплачет, и с общипанным хвостом — таков его портрет. А служил он на старости лет в Касриловке у Касриела-водовоза вместо лошади.

По природе своей Мафусаил был кроткий, работяга, только очень уж заездили его, беднягу. Натопавшись за день по густой касриловской грязи и обеспечив весь город на сутки водой, Мафусаил бывал доволен, когда его наконец распрягали, кидали ему охапку соломы, а затем на закуску ставили перед ним лохань с помоями, которую Касриелиха подносила ему с таким видом, с каким, скажем, подносят блюдо с рыбой или миску вареников самому дорогому гостю. Этих помоев Мафусаил ждал всегда с нетерпением, потому что там он находил размокший кусок хлеба, остатки каши и другие вкусные вещи, для которых зубы вовсе не нужны. Целый день Касриелиха старалась для Мафусаила, бросала в лохань все, что подвернется под руку,— пусть бедная лошадка покушает. А Мафусаил, подкрепившись, поворачивался лицом к своему бочонку, а к Касриелихе, извините, задом, что должно было, очевидно, означать: «Спасибо за хлеб-соль». При этом он еще больше свешивал нижнюю губу, закрывал зрячий глаз и погружался в глубокое лошадиное раздумье.

2

Не думайте, однако, что Мафусаил с первых дней своей лошадиной жизни был таким, каким он здесь изображен. Давным-давно, в молодые годы, когда еще жеребенком он трусил за матерью подле телеги, он обещал стать славным коньком. Знатоки предсказывали, что из него вырастет конь хоть куда. «Вот увидите,— говорили они,— он будет когда-нибудь ходить в карете в паре с самыми лучшими, самыми знатными лошадьми!»

Когда жеребенок подрос и стал лошадью, на него без церемонии надели узду, вывели на ярмарку и поставили там среди других лошадей. Раз пятьдесят его здесь прогоняли взад и вперед, ежеминутно смотрели зубы, поднимали ноги, разглядывали копыта, и так он был передан в чужие руки.

С той поры начинаются его хождения по мукам, бесконечные скитания с места на место. Он переходит от хозяина к хозяину, тащит телеги с тридцатипудовой тяжестью, тонет по брюхо в грязи, познает прелести кнута и палки, которые гуляют по его бокам, по голове, по ногам.

3

Долгое время ходил он коренным в почтовой упряжке с колокольцами, которые не переставая гремели у него над ухом — глин-глин-глон! глин-глин-глон! — и носился как оглашенный взад и вперед все по одному и тому же тракту. Потом он попал к простому мужику, у которого выполнял самые тяжкие работы: пахал, возил огромные телеги с зерном, бочки с водой, повозки, груженные лошадиным и коровьим навозом, выполнял еще много всякой другой грубой работы, которая была ему совершенно непривычна. От мужика он попал к цыгану. Цыган вытворял над ним такие штуки, применял такие подлые средства, чтобы он резвей бегал, что Мафусаил не забудет этого во всю свою лошадиную жизнь. От цыгана он перекочевал в какой-то большой табун, а спустя короткое время очутился в Мазеповке у владельца тяжелого, окованного железом фургона, над которым высился странного вида разодранный навес, называемый всеми «будой». Здесь, у извозчика, его постоянно награждали кнутом и палкой, точно лошадиная шкура из сыромятины, а не из плоти и крови, точно лошадиные бока из железа, а не из костей. О-ох-о! Сколько раз, бывало, Мафу-

саил уже еле волочит ноги, ляжки точно клещами тянет, в животе какая-то тяжесть, словно там ком какой, а он, этот безжалостный извозчик, все «но!», да «но!», да хлоп кнутом, да бух кнутовищем. Ну за что это?!

Счастье, что у извозчика был заведен такой обычай — один день в неделю можно было стоять на месте; стоять, жевать и ничего не делать. Мафусаил не однажды задумывался над этим. Его лошадиные мозги никак не могли уразуметь — в чем же смысл этого дня? Почему в этот день никто тебя не беспокоит? И почему бы не установить такой порядок навсегда? Раздумывая так, он, бывало, настораживал уши и прикрывал один глаз, а другим поглядывал на своих двух товарищей, которые стояли здесь же, привязанные к тому же фургону.

4

Извозчика и его фургон сменила молотилка. Здесь Мафусаил познал самый каторжный труд: день-деньской ходил в упряжке по кругу, глотал пыль да мякину, которая набивалась ему в ноздри, забиралась в уши, в глаза, и дурел от грохота машины. «Какой смысл в этом кружении? — не раз спрашивал он себя, пытаясь остановиться хоть на минутку.— Кто додумался до такой мудрости — кружиться на одном месте?» Однако ему не давали долго раздумывать; сзади стоял человек с кнутом и не переставая покрикивал: «Гу-ги! гу-ги!..»

«Дурачина ты этакий! — думал Мафусаил, поглядывая на человека с кнутом.— Хотел бы я видеть, как кружился бы ты вот здесь, если б тебя впрягли в колесо да подстегивали сзади».

Разумеется, от такого кружения в вечной пыли бедняга превратился вскоре в инвалида — один глаз закрыло бельмо, другой покраснел, сдали и ноги. С такими явными пороками он был гож только на свалку. Тогда Мафусаила опять вывели на ярмарку,— может быть, его все-таки удастся сбыть. Лошадь принарядили, расчесали ей гриву, жиденький хвост подвязали, а копыта освежили жиром. Однако ничто не помогло — людей не проведешь. Сколько его ни муштровали, чтобы он гордо нес свою лошадиную голову, чтобы держался молодцом, он все свое: свешивал понуро голову, подгибал ноги, опускал нижнюю губу и ронял слезу при этом... Нет, охотников на него уже не находилось! Подходил один, другой, но они даже в зубы не глядели ему, только, бывало, пренебрежительно махнут рукой, сплюнут и пойдут своей дорогой. Выискался было один охот-

ник, но не на лошадь, а на ее шкуру. Только не сошлись в цене. Шкурник подсчитал, что это ему невыгодно. Свести лошадь, забить, содрать шкуру — обойдется дороже, чем стоит сама шкура.

Но, видно, суждена была Мафусаилу спокойная старость — подвернулся Касриел-водовоз и свел его к себе домой в Касриловку.

5

До этого Касриел — широкоплечий, обросший до глаз человек с приплюснутым носом — был сам себе и водовозом и клячей, то есть попросту сам впрягался в бочку и развозил по городу воду. И как бы туго Касриелу ни приходилось, он никогда никому не завидовал. Вот только когда он видел человека с лошадью, то, бывало, останавливался и долго-долго смотрел ему вслед. Лишь об одном мечтал он всю жизнь: кабы господь помог обзавестись лошадью. Однако, сколько он ни копил, ему никак не удавалось собрать столько денег, чтобы хватило на лошадь. И все же он не пропускал ни одной ярмарки, чтобы не потолкаться у лошадок, не поглазеть,— говорят ведь: пощупать, что на возу, никогда не мешает. Увидев несчастную, забитую лошадь, стоящую посреди базара без узды, без привязи, Касриел остановился. Сердце его чуяло, что эта лошадь ему по карману.

Так оно и вышло. Торговаться ему долго не пришлось. Ухватив коня за узду, Касриел, счастливый, помчался домой. Он постучался, и Касриелиха вышла испуганная.

— Что такое? Господь с тобой!

— Купил, ей-же-ей, купил!

Касриел и Касриелиха не могли решить, где бы им поместить свою лошадку. Не стесняйся они соседей, поставили бы ее у себя в доме. Вмиг у них появились и сено и солома. А сами — Касриел и Касриелиха — встали перед лошадкой, долго любовались ею, никак наглядеться не могли.

Собрались и соседи посмотреть диковинку, которую Касриел привел с ярмарки. Они подтрунивали над лошадью, отпускали, как водится, остроты.

— Да ведь это не лошадь, а мул какой-то! — заявил один.

— Какое там мул! Кошка! — добавил другой.

Третий вставил:

— Это тень одна, ее надо заслонить, чтобы ветром, упаси господь, не унесло!

— Сколько, однако, лет этой твари? — полюбопытствовал кто-то.

— Наверное, больше, чем Касриелу и Касриелихе вместе.

— Мафусаиловы годы!..

С тех пор его и прозвали Мафусаилом. И имя это осталось за ним по сей день.

6

Зато жилось ему у Касриела, как никогда раньше, даже в самые лучшие годы. Во-первых, какой у него здесь труд? Смехота! Тащить бочонок с водой и у каждого дома останавливаться — разве это работа?! А хозяин! Да ведь это брильянт! Человек даже не крикнет громко, не прикоснется к нему, держит кнут так просто, для приличия. А еда! Правда, овсом его не балуют, но к чему овес, когда жевать нечем! Уж лучше помои да мякиши, которые подносит ему Касриелиха каждый день. И не столько помои, как вежливое обращение! Поглядеть только на Касриелиху, как она стоит, сложив руки на груди, и умильно посматривает на Мафусаила, разделывающегося с помоями,— тьфу, тьфу, не сглазить бы! А наступит ночь, подстелют ему во дворе соломки, затем либо Касриел, либо Касриелиха то и дело выходят проведать, не увели ли его, упаси господи. Чуть свет, еще сам бог спит, а Касриел уже около своей лошадки. Он запрягает ее тихонько, взбирается на передок и направляется к реке по воду, напевая при этом на какой-то странный мотив: «Блажен муж, иже не ходит...» У него это означает — хорошо человеку, который не идет пешком. А с полной бочкой Касриел возвращается все же пешком: теперь уже он не подпевает, топает вместе с Мафусаилом по грязи и знай себе помахивает кнутиком: «Ну, ну, Мафусаил, трогай, трогай!»

Мафусаил упрямо месит ногами грязь, мотает головой и, поглядывая единственным глазом на своего хозяина, думает про себя: «С тех пор как я — скотина, мне еще никогда не приходилось работать на такого чудака». И вот лошадка, поразмыслив, начинает вдруг припадать на задние ноги, а затем, шутки ради, останавливается в самой грязи: «Дай-ка посмотрю, что из этого выйдет!» Увидев, что лошадь внезапно остановилась, Касриел начинает суетиться вокруг бочонка, осматривает колеса, оси, упряжь, а Мафусаил, повернув голову к Касриелу и пожевывая губами, кажется, улыбается: «Ну и дуралей же этот водовоз! Совсем глупое животное!»



«Меламед Бойаз»

7

Но вечного счастья нет на земле. Мафусаил мог бы сказать, что он счастливо доживает свою старость у Касриела и Касриелихи, если бы не дети: хозяйские, соседские и всякие иные дети доставляли ему уйму неприятностей, издевались, позорили его.

С первой же минуты, как только его ввели во двор, детвора почувствовала к нему... не вражду, боже сохрани, а, наоборот, большую любовь. И эта любовь оказалась для Мафусаила роковой. Лучше бы они его меньше любили, да больше жалели.

Первым делом эти босые воспитанники талмудторы, касриловские дети, когда вокруг никого не было, стали испытывать, обладает ли Мафусаил теми же чувствами, что и человек; попробовали хлестнуть палкой по спине — ничего; пощекотали ногу — ничего; щелкнули по уху — еле-еле; и лишь когда провели соломинкой по бельму, они окончательно убедились, что Мафусаил чувствует, как человек, потому что он поморгал глазами и мотнул головой, точно хотел сказать: «Нет, только не это! Это мне не нравится». А коли так, ребята сразу же достали прутик из веника и засунули лошади глубоко в ноздрю. Тут Мафусаил дернулся, подпрыгнул и фыркнул.

Выскочил Касриел.

— Озорники, разбойники! Что вы делаете с лошадью! Марш в хедер, бездельники!

Ребята сразу — шмыг, и, дай бог ноги, в талмудтору.

8

А в талмудторе был мальчуган по имени Рувеле, озорной парнишка, сорвиголова,— храни бог от такого! Родная мать говорила про него: «Таких погуще сеять, да пореже б всходили!» Любимое его занятие было всем надоедать. Все чердаки, все погреба он облазил. Гонять кур, гусей, уток, дразнить собак, пугать козу, мучить кошек — о свиньях уже нечего и говорить! — было его страстью. Ни тумаки матери, ни розги учителя, ни зуботычины посторонних ни к чему не приводили. Ругай сколько влезет — как горох об стену. Только что его как будто отхлестали, только что он обливался горючими слезами, но вот вы отвернулись — ага! — Рувеле уже выставил язык, сложил губы вишенкой, надул щеки пузырем. А щеки у него — настоящие пампушки. И был он всегда весел и здоров. Что ему

от того, что мать, горемычная вдова, мучается, как в смертный час, а все же вносит за него свой рубль в талмудтору?!

Когда Рувеле проведал у ребят, что их отец привел с ярмарки коня, которого зовут Мафусаил, он вскочил на скамью, провел под носом одной рукой, потом другой и закричал во все горло:

— Ребята, есть смычок!

Нужно заметить, что у Руведе с малых лет была страсть к музыке. Он любил музыкантов, а по скрипке прямо-таки пропадал.

Кстати, у него был приятный голосок, и знал он на память уйму песен. Единственная его мечта — вырасти большим, купить себе скрипку и играть на ней день и ночь. Но пока он смастерил себе маленькую скрипочку из дерева, натянул на ней нитки вместо струн и, понятно, получил за это, что полагается, от матери.

— Музыкантом хочешь стать? Не дожить бы мне до этого!

Вечером, когда учитель Хаим-Хоне отпустил учеников, они всей гурьбой отправились смотреть лошадку Касриела-водовоза. И Руведе тут сразу заявил:

— Мафусаил — отличная лошадь. Из хвоста у нее можно добыть сколько угодно струн. Да вот мы сейчас попробуем.

И Руведе подобрался сзади к Мафусаилу и стал у него из хвоста выдергивать волосы. Пока он вырывал по одному волоску, Мафусаил стоял спокойно. «Один волосок? — точно говорил он.— Не велика беда! Подумаешь, будет на волос меньше!» Но когда Руведе приладился и стал выдирать целыми жгутами, Мафусаил осерчал: «Вот как! Посади свинью за стол, она и ноги на стол!» И, не долго думая, наддал копытом, да прямо в зубы Руведе, и рассек ему губу.

— Так тебе и надо! О, горе мне! Очень хорошо! Все несчастья на мою голову! В другой раз не полезешь. О, погибель моя! — причитала мать Руведе Ента-лепетунья, прикладывая холодный компресс к рассеченной губе сына, плакала, ломала руки, убивалась, поминутно бегала к знахарке Хьене.

9

Руведе был, слава тебе господи, из тех ребят, на которых все заживает, как на собаке. Не успели оглянуться, как у него срослась губа, будто ничего и не было. А он уже новую шутку придумал: надо как-нибудь прокатиться верхом на Мафусаиле

всем школьникам разом. Но как это сделать, чтобы никто не узнал? И Рувеле решил, что это надо сделать в субботу после обеда, когда все лягут отдыхать. В это время Касриловку можно вынести из дому со всем добром.

Один из учеников стал было возражать:

— Как же это можно еврею ехать в субботу?

Но Рувеле ему ответил:

— Осел, разве это значит ехать? Это ведь игра!..

Пришла суббота. Все пообедали, прилегли отдохнуть. Прилегли Касриел и Касриелиха. Тогда во двор к водовозу стали потихоньку собираться ребята. Рувеле сразу же принялся наряжать Мафусаила. Раньше всего он заплел ему гриву в косы и разукрасил их соломинками, затем надел ему на голову белый бумажный колпак, который укрепил тесемками, и, наконец, к хвосту прицепил старый веник, чтобы хвост выглядел длинней и красивей. И ребята, опережая друг друга, стали взбираться на спину лошади. Кому удалось взобраться, тот был на коне, остальным же оставалось только подождать. А пока они шли позади, понукали Мафусаила, чтобы тот шел быстрей, и пели хором:

— Так будет воздано коню, которому Рувеле пожелает оказать честь!..

У Мафусаила, однако, не было никакой охоты двигаться быстрей, и он плелся шажком. Во-первых, куда ему спешить, в самом деле? Во-вторых, ведь сегодня день отдыха. Но Рувеле не переставая подгонял лошадь, нокал, вьекал, тюкал и орал изо всех сил на остальную братию:

— Черт бы вас побрал! Что же вы молчите?

А Мафусаил все трюх да трюх шажком, да подумывает про себя: «Ребятня резвится, пусть их порезвятся!»

Но когда детвора стала уж слишком докучать ему, понукать, часто гнать, махать руками, Мафусаил пошел быстрее; а когда он шаг убыстрил, веник стал бить его по ногам. Тогда он побежал. Веник стал бить еще пуще. Мафусаил пошел вскачь. Ребята пришли в восторг, а Рувеле и вовсе подпрыгивал от удовольствия и все покрикивал: «Гоп-гоп-гоп!» Гопали они до тех пор, пока стали сыпаться с коня наземь, как галушки. А Мафусаил только теперь, сбросив всех и почуяв свободу, пустился как обезумевший, устремляясь все дальше, по ту сторону мельницы, за город.

А здесь пастушата, увидев странно разряженную лошадь, в бумажном колпаке, загикали, погнались за нею, стали кидать в нее палками, натравили собак. Собаки не заставили себя

долго просить, пустились вдогонку, стали кусать, рвать ее; одни схватили сзади за ляжки, другие забежали вперед, вцепились в горло. Мафусаил захрипел. Собаки терзали его до тех пор, пока не доконали.

10

На другой день ребята получили по заслугам. Разбитые носы да шишки на лбу — это не в счет. Помимо всего этого, они получили взбучку от своих родителей, да и учитель Хаим-Хоне всыпал им. Больше всего досталось, конечно, Рувеле, потому что все ребята, когда их пороли, плакали, как полагается, а этот, наоборот, смеялся. Тогда его принялись полосовать крепче. Но чем больше его били, тем сильней он смеялся, а чем сильней смеялся, тем крепче его били. Дошло до того, что сам учитель Хаим-Хоне рассмеялся, а на него глядя — и все ученики. Поднялся такой хохот, что соседи сбежались, прохожие на улице остановились,— тут были и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. «Что случилось? Что за смех? Отчего смеются?» Но никто не в силах был ответить — все смеялись. Тогда и прохожие не выдержали — расхохотались. Тут еще пуще загоготали ученики и сам учитель; а на них глядя покатились со смеху и пришедшие. Одним словом, все надрывали животики, смеялись до слез, до колик в боку.

Не смеялись только двое — водовоз Касриел и его жена. Когда, не дай господи, ребенок умирает в доме, не знаю, рыдают ли по нем так, как рыдали Касриел и Касриелиха по своей утрате, по своей бедной лошадке, по старому Мафусаилу.

ЗА СОВЕТОМ

— Вот уже третий день заходит к тебе какой-то молодой человек. Говорит, что ему очень нужно с тобой повидаться. По нескольку раз в день наведывается.

Эту, с позволения сказать, радостную весть мне сообщили, когда я однажды вернулся домой из поездки.

Я подумал: «Вероятно, сочинитель со своим произведением».

Звонок раздался, как только я сел к столу и принялся за работу.

Вот уже открыли дверь. Кто-то там возится в передней. Снимает калоши. Кашляет. Сморкается. Да, все признаки «сочинителя». Что ж, я бы хотел скорей увидеть этого субъекта.

И вот он, с божьей помощью, входит в мой кабинет.

Он весьма любезно меня приветствовал. Точнее сказать: сделал какой-то замысловатый реверанс и, потирая руки, представился. Назвал свое имя — из тех имен, какие тотчас испаряются из вашего сознания.

— Присаживайтесь! Чем могу быть вам полезен?

— Я пришел к вам по наиважнейшему делу. Иными словами: дело, которое привело меня к вам,— чрезвычайно важное. Скажу более: дело это является вопросом моей жизни. Я думаю, что только вы поймете, в чем тут суть. Все-таки вы писатель, много пишете и, стало быть, знаете, что к чему. Иными словами: умеете взвесить и оценить все то, что происходит на свете. Да, именно так я думаю, то есть даже не думаю, а уверен, что это так...

Я поглядываю на посетителя. Это тип местечкового просвещенца, сочинителя. Молодой человек с бледным лицом и с жалобными черными глазами, которые как бы тоскливо говорят: «Пожалейте одинокую заблудшую душу!»

Нет, не люблю таких глаз. Я побаиваюсь их. В таких глазах никогда не бывает искры смеха или улыбки. Они всегда обращены вглубь. Мне решительно не нравятся такие глаза.

Я откладываю в сторону перо и говорю:

— А ну, покажите, что у вас там?

Ожидаю, что сейчас мой посетитель засунет руку за пазуху и выгребет оттуда изрядную рукопись. Быть может, это будет роман в трех частях — длинный, как еврейское изгнание. Однако не исключена возможность, что это будет драма в четырех актах, причем действующие лица будут носить имена: Мердерзон, Эрлихман, Фрумхарц, Битерцвайг [1] и тому подобные,— имена, которые сами говорят, с кем вы имеете дело...

А впрочем, возможно, что это всего лишь стихи о Сионе:

Туда, в горы, его тянет,
Туда, где орлы парят,
И там пальмы зацветают,
Там пророки отдыхают,
Мудрость бога прославляют.

Мне хорошо знакомы такого рода вирши. Мне знакомы эти рифмы, от которых в ушах звенит и в глазах мелькают круги и точки. И пусто, как в самой дикой пустыне, сказал бы я, делается у вас на душе после чтения таких стихов.

Однако, представьте себе, на сей раз я ошибся. Молодой человек не засунул руку за пазуху и не выгреб оттуда рукопись. У него и в помине не было ни романа, ни драмы, ни стихов.

Поправив воротничок рубашки, обстоятельно откашлявшись, мой посетитель сказал:

— Видите ли, я пришел к вам для того, чтобы излить перед вами горечь своего сердца, чтобы посоветоваться с вами. Я думаю, что такой человек, как вы, может меня понять. Вы так много пишете, что должны все знать и, стало быть, можете дать мне хороший совет. Заранее скажу, я сделаю так, как вы посоветуете. Я даже могу дать честное слово... Однако простите, быть может, я отнимаю у вас время?

— Время не имеет значения. Рассказывайте, что с вами,— сказал я ему, почувствовав, как у меня с души свалилась огромная тяжесть.

---

[1] Мердерзон — сын убийцы *(еврейск.)*. Эрлихман — честный человек *(еврейск.)*. Фрумхарц — благочестивая душа *(еврейск.)*. Битерцвайг — горькая ветвь *(еврейск.)*.

Молодой человек придвинулся к столу и стал потихоньку изливать мне всю горечь своего сердца. Сначала он делал это спокойно, но потом увлекся и заговорил с жаром.

— Видите ли, я проживаю в одном маленьком местечке. Вообще-то говоря, местечко наше совсем не маленькое. Скажу более: это большое местечко. Это, пожалуй, город. Но этот наш город против вашего города — опять-таки маленькое местечко... Конечно, вы хорошо знаете наше местечко. Однако его название я вам не открою. Мало ли: вы можете его описать. А это меня не устраивает по многим причинам... Вероятно, вы хотели бы знать, чем я занимаюсь? Гм... Я занимаюсь... Вообще-то говоря, я ничем не занимаюсь. Иными словами: я пока ничего не делаю. Скажу проще: я нахожусь на харчах у своего тестя. Не на харчах, конечно, а на всем готовом. Еще бы: она единственная их дочь, и мы у них получаем все, что нам нужно. Не убудет у них от этого, даже если они будут нас содержать еще десять лет, потому что они состоятельные люди! Скажу прямо: они богачи. А для нашего маленького местечка так даже большие богачи. Короче говоря: у нас нет людей богаче, чем они.

О моем тесте вы, конечно, кое-что слышали. Но его имени я все-таки вам не открою. Это как-то не подобает при его положении. Хотя, между нами говоря, он любит, чтобы вокруг его имени был некоторый шум. Например, для бобруйских погорельцев он дал самое крупное пожертвование. И для города Кишинева он опять-таки дал больше всех. Что касается нашего города, то своим землякам он почти ничего не дает. Он не дурак: он хорошо знает, что в своем городе его и без того уважают. Зачем же ему и тут еще давать и неизвестно перед кем выхваляться? Вот по этой причине он дает своим только фигу с маслом. А щедро жертвует только чужим, которые еще не знают, что он такой добрый. Но, впрочем, он и перед чужими бледнеет как покойник, когда к нему приходят с просьбой или за подаянием. Таким людям он кричит: «Ага! Вы пришли обирать меня? Нате мои ключи! Идите сами, ройтесь в моих шкафах. Берите у меня все!..» Вы, наверное, думаете, что он и в самом деле отдает им ключи? Нет, простите, вы ошибаетесь. Ключи от шкафа у него заперты в столе. А ключик от стола тоже неплохо где-то запрятан... Вот каков человек мой тесть. А каков человек — такова и его слава. В нашем местечке, между нами говоря, его называют свиньей. Но, конечно, за глаза. А вообще-то в глаза ему льстят. И так льстят, что с души

воротит. А он доволен и все принимает за чистую монету. Поглаживает свой животик и живет припеваючи. Да, конечно, это и есть жизнь! Спрашивается: человек ничего не делает, живет в полном довольстве, сладко кушает, крепко спит. Ну, что ему еще нужно? Выспавшись, велит запрячь фаэтон и катается по грязи. А вечерком у него собираются гости. А это почти все хозяева города. Они сплетничают. Болтают всякую чепуху. Смеются над нашими жителями и над всем миром. Засим подают им большой самовар. И тут мой тесть непременно усаживается играть в домино с резником Шмуел-Абе. Шмуел-Абе, должен вам сказать, носит пейсы, и все же он из нынешних. В белом воротничке, с начищенными сапогами, он не прочь поболтать с молодухами, хорошо поет, читает газету, отлично играет в шахматы и в домино. А в домино? А в домино он с моим тестем может играть целую ночь. А ты сиди и смотри, как они играют. Можно сказать, уже рот разрывается от зевоты. Охота встать из-за стола, уйти в свою комнату и там взяться за книгу. Так нет! Уйти, оказывается, неприлично. Мой тесть на это крепко обижается. Он тогда надувается, как индюк, и перестает с тобой разговаривать. А глядя на него, и теща перестает тебя за человека считать. А уж коли родители не в ладах с зятем, то их чадо единственное тоже, как говорится, свой нос в сторону воротит. А это чадо о себе высокого мнения. Еще бы: она у родителей «зеница ока», а если ей чуть нездоровится, то немедленно появляется доктор, и все ходуном ходит. Мудрено ли, если такое создание полагает, что весь мир сотворен только для нее. А между нами говоря: она если и не дура, то и не особенно умна. Нет, когда она говорит, то незаметно, что она глупа. Напротив того, она кажется как будто бы даже не глупой, а умной. Иной раз даже может показаться, что она исключительно умна. Но что значит для нее ум, если она избалована и распущенна, как дикая коза? Целые дни она либо хохочет, либо плачет, а уж если плачет, то плачет, как малое дитя. Иной раз спрашиваешь ее: «Что ты плачешь? Чего тебе не хватает?» Стена скорей ответит, чем она. Но это еще полбеды. Жена если начнет плакать, то плачет до тех пор, пока не кончит. Вся беда в теще. Она тут же является на этот плач. Является в своей турецкой шали на плечах. Ломает руки. Восклицает что-то молитвенным тоном. А у самой голос грубый, как у мужчины. Спрашивает свое дитятко: «Что с тобой? Ах, это опять твой разбойник, бандит и убийца?! Горе мне! Что ему до «зеницы ока». Что он, ее кровь пролил?» Тут разные слова сыплются у нее, как из мешка. И мне кажется, что язык у нее

никогда не остановится. И мне делается дурно, у меня сердце щемит и душа тоскует от ее слов. Причем иной раз у меня появляется дикое желание схватить ее турецкую шаль, измять ее руками, растоптать ногами, а то и порвать на мелкие куски. Хотя, конечно, если здраво рассудить, то шаль тут ни при чем. Шаль как шаль, какие обычно привозят из Брод. Вероятно, вам знакомы эти турецкие шали? Они с крапинками, в клеточку и оторочены бахромой...

Тут я перебиваю моего молодого посетителя и строго ему говорю:

— Извините, но ведь вы хотели со мной посоветоваться о деле.

Посетитель тяжело переводит дыхание.

— Ах, простите,— говорит он,— я, кажется, отнимаю у вас время? Но все это чрезвычайно важно — то, о чем я рассказываю. Вы должны немного познакомиться с домом и с людьми. Только тогда вы до конца поймете мое положение и мое дело... Да, так вот является теща в своей турецкой шали. И тут ей кажется, что ее дитятко, упаси боже, чувствует себя нехорошо, что оно не совсем здорово. Тогда в дело вмешивается тесть. Он велит запрячь фаэтон и посылает за доктором. Посылает за «новым доктором» — именно так называют у нас одного врача, черт бы его драл. Но имени его я вам не открою по некоторым причинам... Так вот, посылают за этим доктором. И тут-то и начинается вся эта история, которую я вам хотел рассказать для того, чтобы выслушать ваш совет...

Мой посетитель на минуту прерывает свою речь. Он вытирает платком вспотевшее лицо и придвигается ко мне поближе со своим стулом. И при этом он берет со стола какой-то предмет. Есть люди, которые непременно должны держать в руках какую-нибудь вещицу. Иначе они не могут рассказывать. А на моем письменном столе много всяких безделушек и среди них имеется машинка для сигар в виде крошечного велосипеда. Так вот мой посетитель облюбовал себе именно эту вещицу. Сначала, рассказывая, он только смотрел на этот велосипедик, но потом взял его в руки и принялся вертеть колесики. В общем, эта машинка была в его руках почти все время, пока он рассказывал.

— Так вот,— снова заговорил он,— посылают за новым доктором. А в нашем местечке, да будет вам известно, докторов что собак нерезаных. Есть у нас доктора — русские, евреи, а также и врачи-сионисты, то есть такие, которые занимаются сионизмом. Но тот доктор, о котором я вам рассказываю,— совсем

молодой доктор, местный портновский сын. Иными словами, его папаша был когда-то портным. Но сейчас он уже, конечно, не портной. Зачем ему быть портным, если его сын доктор? Вернее сказать: зачем сыну-доктору иметь папашу-портного? Скажу о папаше два слова, чтобы вам иметь представление и о нем... Это человек совсем низенького роста, косоглазый и с искривленным пальцем на правой руке. Ходит он всегда в длиннополом ватном кафтане. А голос его напоминает трещотку. Целые дни он трещит и трещит о своем сыне: «Мой доктор вчера имел практику. Ну и практику! Мой доктор все умеет. Мой доктор!» Этот портной всем и каждому забивает голову своим доктором. К тому же, на беду всему городу, его сын — доктор по женским болезням. Иными словами: он акушер. И уж если у кого-нибудь в этом вопросе есть тайна, то эту тайну портной раззвонит по всему городу. Короче говоря: горе той женщине или девушке, которая попадает в руки к этому доктору и на язык к его папаше-портному. Была у нас одна девушка, которая...

Я снова перебиваю моего рассказчика:

— Простите, молодой человек, но вы же хотели рассказать мне о вашем деле?

— Ах, извините,— говорит он,— я чувствую, что отнимаю у вас время! Но как же быть? Ведь должен же я рассказать вам о докторе, который является моим злым гением! Ведь если бы не этот доктор, то все в моей жизни шло бы самым лучшим образом. Сообразите сами: чего мне не хватает? Детей мы пока не имеем. Жена у меня красавица, умница, единственная дочь у своих родителей. Когда они умрут, через сто двадцать лет, все их богатство перейдет к ней, то есть ко мне. Да и сейчас, тьфу-тьфу, не сглазить бы, я уже пользуюсь некоторым уважением. В гостях за столом меня всегда сажают на почетное место, как зятя богача. Во время богослужения в праздники я всегда иду первым за моим тестем. Не совсем, конечно, первым, но я иду вслед за кантором и раввином. А уж потом — все остальные. И даже, простите за выражение, в бане я встречаю такое же отношение. Едва начинаю раздеваться, как уж банщик кричит: «Расступитесь, люди! От дверей отойдите! Сейчас пойдет мыться зять нашего богача!» Нет, эти слова банщика мне неприятны, я такого внимания не люблю. Однако что значит — не люблю? Лесть всякий любит, и от почета никто не отказывается. Но только я-то знаю, что сам я еще этого не заслужил. Да, у меня тесть — богач. Вот пусть люди и лижут его. Дикари, скажу я вам, и только. А я-то тут при чем? Тем бо-

лее — кто такой мой тесть? Вот он сейчас не слышит меня, и поэтому я могу вам сказать: он невежда! С ним и говорить-то не о чем. А она — единственная их дочь. Чуть что, она бросается на постель и рыдает. И тогда, как я вам сказал, тесть посылает фаэтон за новым доктором, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Ах, поверьте мне, жизнь моя становится невыносимой, когда я вспоминаю об этом докторе. Именно тогда мне хочется схватить нож и зарезаться, либо побежать к реке и утопиться!

Молодой человек загрустил, задумался.

Тут я спросил моего посетителя, стараясь подобрать самые деликатные слова:

— Значит, вы, так сказать, подозреваете, что ваша жена...

Мой посетитель вскакивает со стула как ошпаренный.

— Упаси бог! — восклицает он.— Таких подозрений у меня нет! Что вы! Ведь это еврейская дочь! Это благочестивое дитя!.. Я говорю о докторе, об этом замечательном враче, сгореть бы ему! И главное, чтобы огонь сожрал его папашу, этого косоглазого портняжку, который всюду шляется в своем ватном кафтане! Шляется, трещит и барабанит по всему городу. Вы, вероятно, думаете, что он что-нибудь путное мелет? Нет, он мелет всякий вздор, чепуху! Язык у него длинный, вот он и мелет. Меня это трогает, как прошлогодний снег. Но беда в том, что у человека имеются уши. Уши же любят послушать, а хорошенько прислушиваясь, услышишь такое, чего слышать не хочется. К тому же надо знать наше местечко. Оно славится на весь мир обилием сплетников и клеветников с длинными языками. Скажу больше: если человек попадает к ним на язычок, он может попрощаться с жизнью!.. В глаза они мне ничего не говорят, но зато за глаза говорят такое, что я стал приглядываться и прислушиваться. Я стал ловить каждое его слово, когда он о чем-нибудь с ней беседовал. Нет, я ничего такого не усмотрел и ничего особенного не уловил из их разговоров. И только единственно, что я заметил: она становится совсем другим человеком, когда он приходит. У нее делается другое лицо и другие глаза, то есть человеком она остается таким же, каким и была. Но в глазах у нее вдруг вспыхивает какой-то блеск. И на лице у нее появляется какое-то иное выражение, чем при мне. Я спросил ее однажды: «Скажи, душенька моя, почему ты вдруг становишься совсем другим человеком, когда он приходит с визитом?» Нет, вы никогда не догадаетесь, что она мне на это ответила. Она ничего не ответила. Она только рассмеялась таким уничтожающим смехом, что я уж думал — сквозь землю провалюсь. После этого бросилась она на кровать

с рыданиями и потеряла сознание. Тут, конечно, прибежала теща в своей турецкой шали. Стала приводить ее в чувство. А тесть велел запрячь фаэтон и послал за новым доктором меня самого. И когда я привез доктора, то ей вдруг стало легче. Глаза у нее снова засверкали, как брильянты на солнце. И на щеках выступили розочки... Да, но вы представьте мое положение! Я же к нему должен был на дом ехать и везти его в фаэтоне к себе. А мне, может быть, легче в ад было войти, чем в его квартиру. Видели бы вы эту рожу! Красная, как бурак, вся покрыта прыщами, и притом вечно улыбается. Меня доктор встречает с особой улыбочкой. Со мной он сладок, как сахар, и мягок, как пластырь, приложенный к болячке. Его доброта ко мне, я бы сказал, беспредельна. Когда я как-то заболел модной болезнью — инфлюэнцей, он так старался меня вылечить, что мне даже стало это как-то не по нутру. И удивительное дело — чем он внимательнее ко мне, тем больше я его ненавижу. И пусть простит меня бог — не могу я его видеть. Особенно не могу в тот момент, когда он сидит у нас и с ней переглядывается. Вот тогда мне кажется, что я способен схватить его за шиворот и вышвырнуть вон. Это вернуло бы мне мое утраченное здоровье. Но я без этого, сударь, дал себе слово положить конец всему. Довольно мне терпеть его улыбочки и его взгляды, когда он приходит к нам и сидит возле нее. Сколько, я вас спрашиваю, можно выносить такой позор? Ведь клеветники и сплетники нашего города уже давно мною занимаются. Нет, я принял твердое решение: развестись с ней! Иного выхода у меня нет. Однако при этом решении у меня возникает мысль: а какая мне прибыль от того, что я с ней разведусь? Ведь, с другой стороны: тесть — богач, она — единственная дочь, все их — будет мое. Но тут же я думаю: «Черт с ними, все-таки разведусь,— иного выхода нет!» А как вы думаете?

Мой собеседник перевел дыхание, вытер лицо и кротко посмотрел на меня, ожидая, что я отвечу. Я сказал:

— Да, мне тоже кажется, что другого выхода у вас нет. К тому же и вашу любовь никак нельзя назвать пламенной. Да и детей у вас нет. И все эти сплетни в городе. На что вам все это?

Слушая это, мой собеседник смотрел на меня своими жалостливыми черными глазами и усердно вертел колесики велосипеда. Затем он придвинулся ко мне еще ближе и, тяжко вздохнув, снова заговорил:

— Вот вы говорите — любовь. О чем тут толковать? Нет, я не могу сказать, что я ее не люблю. Да и за что же, помилуйте, ее не любить? Ясно, что я ее люблю. И даже очень ее люблю... А что город сплетничает — так и пусть его сплетничает, если уж ему это так нравится! Нет, сударь, не это воспламеняет огонь в моей душе. Единственное, чего я не могу перенести, это лишь тот факт, что она радуется, когда видит доктора. Я задаю себе вопрос: а почему она не делается розовой и веселой, когда видит меня? Чем я, собственно говоря, хуже его? Может быть, тем, что он доктор, а я нет? Да, но если бы меня в свое время учили, то и я, быть может, стал бы врачом. И лечил бы людей не хуже, чем он. Уж поверьте мне на слово — я не только в этом заткнул бы его за пояс! Вот эти мысли несколько колеблют мое решение. А что, собственно говоря, произошло? Почему я должен дать ей развод? А новый доктор? Ну, а как быть, если уже не этот доктор, а еще другой какой-нибудь черт появится? Где это написано, что молодой женщине нельзя быть знакомой с врачом? Это во-первых. А во-вторых, я спрашиваю вас, какой мне будет толк, если я все-таки с ней разведусь? Ведь я сам по себе сирота, без родных, без друзей. Вам-то легко сказать — разведись. Ну, разведусь, и что я тогда? Снова — бедный парень, которому опять надо начинать свою жизнь сначала и опять надо на ком-нибудь жениться. А откуда я знаю, что найду жену лучше, чем она? А вдруг я попаду в еще худший ад, чем было до сих пор? Уж тут-то я, так сказать, притерпелся и знаю, в чем состоит мое горе. Тем более что горе это все-таки до некоторой степени — горе наследного принца, которому через энное количество лет достанется все. А в противном случае — что? В противном случае я снова должен пускаться на всякие комбинации и, так сказать, спекулировать моей жизнью. А ведь жизнь — это игра, лотерея. А? Не так ли? Или, по-вашему, не лотерея?

Я ответил моему посетителю:

— Да, отчасти игра, лотерея. И если так думать, то, пожалуй, вам и в самом деле лучше не разводиться, а закончить дело миром.

Мне самому понравился мой совет, который так отчетливо повернул все дело на путь мирных решений. Мне даже на минуту показалось, что беседа с моим посетителем подошла к концу. Но не тут-то было! Мой посетитель яростно схватил со стола велосипедик, и, завертев колесики, сказал мне прямо в лицо:

— Вы говорите — помириться с ней? А доктор, доктор с прыщеватой мордой, черт бы его в клочья драл! А папаша

доктора — этот косоглазый портной? Ведь этот портняжка и без того ходит по городу и барабанит, что дочь моего тестя собирается со мной разводиться! Нет, вы понимаете ли всю низость этого портняжки, который звонит об этом? Ясно: теперь весь город знает, как обстоят мои семейные дела. Но, с другой стороны, я сам себе задаю вопрос: уж если теперь весь город знает, то что же я в таком случае теряю? Да я ровным счетом ничего не теряю, если тот же папаша-портняжка об этом трезвонит. Извините за афоризм: дрянь дрянью и останется. Но, с другой стороны: если уже весь город говорит о моем разводе, то прилично ли мне придерживаться иных решений? Нет, сударь, увы, у меня нет другого выхода, кроме развода. А? Не так ли? Как вы думаете?

Я отвечаю моему посетителю:

— Пожалуй что вы правы. Уж если весь город обсуждает ваш развод, то при всяком другом вашем решении вы окажетесь в несколько деликатном положении.

Надвинувшись на меня со своим стулом, посетитель почти кричит:

— Ага! Стало быть, по-вашему, я непременно должен дать ей развод? Нет, сударь, вы хорошенько обдумайте все это дело, прежде чем так опрометчиво говорить! Вот, к примеру, вы раввин, и я прихожу к вам с женой разводиться. Естественно, вы меня спрашиваете: «Скажи мне, молодой человек, по какой причине ты хочешь развестись со своей супругой?» Какой же, к примеру, ответ я должен дать раввину? Или, по-вашему, я должен ему ответить: «Она смотрит на доктора, а он на нее». Да разве в таком ответе заключается какой-нибудь смысл? Но ведь другого-то я ничего не смогу ему ответить. Да как же я после этого буду выглядеть перед всем миром, если я с ней из-за этого разведусь? Ведь это каждый скажет, что он взбесился: развелся с женой-красавицей в тот момент, когда все их богатство через сто двадцать лет будет принадлежать ему. Да и вы тоже мне скажете: да вы взбесились, с ума сошли. А? Не так ли?

— Да, я тоже говорю: взбесились, с ума сошли.

Тут мой собеседник приблизился ко мне так, что наши ноги почти сплелись вместе. Откинув в сторону велосипедик, который сломался, посетитель взялся за мою чернильницу. Шумно вздохнув, он торопливо забубнил:

— Да, вам легко сказать, что я взбесился! Хотелось бы мне знать, как бы вы сами поступили, если бы такая история случилась с *вами*?! Нет, вы подумайте на минутку: *ваш*

тесть — невежда, теща ходит в турецкой шали, ворчит мужским голосом, жена все время лечится у врача, а весь город тычет на *вас* пальцем и за глаза говорит: «Муж козы». Да вы, сударь, посреди ночи вскочили бы с постели и удрали бы за тридевять земель! А? Что? Разве не так?

Я говорю моему посетителю:

— Да, это так. Пожалуй, я и в самом деле вскочил бы среди ночи, развелся бы с ней и удрал бы за тридевять земель!

Мой посетитель кричит на меня:

— Вам-то легко сказать: вскочил, развелся и удрал за тридевять земель! Удрал! Кто удрал? Куда удрал? В могилу, что ли? Да вы сообразите сами: ведь она единственная дочь. Все ее через сто двадцать лет будет моим! Это что? Это тоже, по-вашему, ничего? А к этому добавьте или, вернее, спросите самого себя: что я имею против нее? Нет, попробуйте ответьте мне, *что я имею против нее?*

— А в самом деле,— спрашиваю я моего посетителя,— что вы имеете против нее?

— То есть как что? — отвечает он.— А доктор? О докторе-то вы и забыли?! До тех пор пока он посещает наш дом, видеть ее не могу.

— Ну, в таком случае вы должны с ней развестись.

— А какая мне от этого будет прибыль? — кричит посетитель.— Ну, допустим, я разведусь, и что я тогда буду делать в нынешние тяжелые времена?! Нет, вы не увиливайте, а будьте умницей и дайте на это ответ!

— Пожалуй,— говорю,— вам не надо разводиться.

— Не давать развода, а как же доктор... Пока...

Я хочу положить конец нашей беседе и поэтому решительным тоном говорю:

— Вам надо с ней развестись.

— Развестись? А какой прок мне от этого?

— Ну, тогда не разводитесь.

— А доктор?!

Я не сумею объяснить вам, что именно со мной случилось. Видимо, кровь ударила мне в голову. В глазах потемнело. Во всяком случае, я схватил моего собеседника за горло, прижал его к стене и не своим голосом закричал:

— Развод! Дай ей развод, выродок этакий! Разводись, разводись! Разводись!!!

. . . .
. . . .

На наши крики сбежалась вся моя семья. Что такое? Что тут случилось?

Да нет, как будто бы ничего не случилось.

Однако я и сам себя не узнал, когда взглянул в зеркало на свое помертвевшее лицо.

Я долго жал моему посетителю руку, просил у него прощения и умолял позабыть то, что произошло между нами. Я сказал ему:

— Иной раз бывает, что человек по неизвестной причине выходит, так сказать, из себя...

Мой посетитель был чрезвычайно растерян, смущен и во всем соглашался со мной. Он соглашался с тем, что человек сам себе не хозяин и действительно иной раз выходит из себя.

Засим посетитель мой почтительно и вежливо поклонился и, потирая руки, ушел, причем, уходя, деликатно произнес:

— Не обижайтесь, если я отнял у вас время. Большое спасибо за совет. Будьте здоровы!

— Счастливого пути! Но благодарить не за что.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Если угодно, я расскажу вам про одну беду, которая приключилась со мной; сам я эту беду наделал и чуть от нее не погиб. И почему все это? Потому, что я был неопытный, наивный молодой человек. Собственно, я и сейчас не умник; был бы я умником, так у меня, как вы говорите, водились бы денежки, а с деньгами человек умен, и красив, и талантлив...

Был я, значит, молодоженом и жил на полном содержании у тестя и тещи, сидел и изучал Тору, заглядывал иногда в светские книжки, но тайком, чтобы не увидели тесть с тещей. Теща моя, надо вам знать, не женщина, а мужчина, то есть она женщина, но в сюртуке, всеми делами сама ворочает, сама детей просватала, сама выбирала женихов для дочерей. Меня она тоже сама нашла, сама проэкзаменовала и привезла в Звогель из Радомысля. Родом я радомысльский, вы, наверное, слыхали о нашем Радомысле, про него писали недавно в газетах...

Итак, сидел я в Звогеле на полном содержании, протирал штаны над «Море Небухим» и носа не казал на улицу до тех пор, пока не пришло мне время приписаться к призывному участку. Понадобилось мне, стало быть, прогуляться домой, в Радомысль, справить бумаги, выхлопотать, как водится, льготу и получить паспорт. Это был мой первый выезд в свет. И вот пошел я на базар нанимать подводу, пошел один, чтобы доказать, что я сам себе хозяин. Бог послал мне находку: я наткнулся на радомысльского мужичка — дело было зимой,— мужичка с санями, крашеными, широкоспинными, размалеванными по бокам всякими птицами. О лошади, о том, что она белая и что белая лошадь, как утверждает моя теща, сулит несчастье, я и не подумал.

— Дай бог соврать,— сказала она,— но боюсь, что поездка эта будет ох какая неудачная...

— Типун тебе на язык,— сказал ей тесть и сейчас же спохватился, но получил он, конечно, по заслугам, хотя и успел шепнуть мне:

— Бабьи сказки.

Начал я готовиться к путешествию. Упаковал свои филактерии и талес, пирожки, несколько карбованцев на расходы и три подушки: одну для сиденья, другую для спины и третью для ног. И давай прощаться! Подошла последняя минута, а слов у меня нет. Такая уже у меня привычка: как надо прощаться, так у меня отнимается язык. Мне и на ум не приходит, что полагается говорить в таком случае. Грубо это как-то получается, когда человек поворачивается ко всем, извините, задом и оставляет их с носом. Не знаю, как у вас, но для меня прощанье — тяжелая церемония. Однако погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...

Распрощался я, значит, и поехал в Радомысль. Было это в начале зимы, снега залегли рано, санный путь был хорош. Лошадка, хоть она и белая, летит, как песня. Мужичок попался мне молчаливый, из той породы мужиков, которые на все вопросы отвечают «эге» (да) или «ни» (нет) и дальше ни тпру, ни ну, хоть режь его!.. Поехал я из дому после обеда в наилучшем расположении духа, одна подушка подо мной, другая за спиной, а третья в ногах; лошадка несется, извозчик погоняет, сани хрустят, ветер дует, и падает мелкий снежок; он ложится, как пух, на широкий тракт, я чувствую себя превосходно, очень превосходно, душа моя светится. В первый раз в жизни выехал в свет, сам себе господин, что хочу, то и делаю! Прислонился я к спинке, разлегся, как пан... Но зимой, как тепло бы ни были вы одеты, мороз пробирает вас и хочется вам остановиться где-нибудь, согреться, отдохнуть и тогда уже ехать дальше. Мне представилась, в воображении, конечно, теплая корчма, кипящий самовар, горячий бульон, заливной соус... Сердце сжимается от этих мыслей,— ох, как хочется перекусить. Завел я с моим извозчиком разговор насчет корчмы, пытаюсь узнать, далеко ли она...

— Ни,— отвечает он.

— Близко? — спрашиваю.

— Эге!

Как близко — выпытать невозможно, хоть ноги протяни. Я вообразил себе, что было бы, если б на месте моего мужичка сидел еврей-балагула. Тот рассказал бы не только, где корчма

стоит, но и кто ее арендует, и как зовут арендатора, и сколько у него детей, и сколько он платит за аренду, и кто был арендатором до него, наговорил бы три короба... Странный это народ, наши евреи, пусть они будут здоровы!.. Совсем другая кровь, право!.. Мечтал я, стало быть о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре и тому подобных хороших вещах до тех пор, пока бог не смилостивился: извозчик мой дернул вожжу, повернул сани в сторону, показалась небольшая серая изба, засыпанная снегом до самой макушки; степная корчма, которая в белоснежной этой пустыне выглядела заброшенной, забытой могильной плитой...

Лихо подъехав к корчме, мой извозчик поставил сани и лошадь в сарай. Я вошел в избу, открыл дверь и... ни туда, ни сюда. В чем дело? Хорошенькая история, хоть и короткая. Лежит посреди корчмы на полу мертвец, покрытый черным, в головах у него стоят два медных подсвечника с крохотными свечками, вокруг мертвеца сидят малые дети, оборванные и заморенные. Они бьют себя по голове кулачками и кричат, ревут, убиваются: «Ма-ма! Мама!» — и кто-то высокий, длинноногий, в драной летней накидке, одетый совсем не по сезону шагает из угла в угол, то и дело заламывая руки, и разговаривает сам с собой:

— Что делать? Что делать и с чего начать?

Я понял, конечно, куда я попал. Первой моей мыслью было: «Беги, Нойах!» Я отскочил и хотел ретироваться, но дверь закрылась, земля притянула меня к себе, как магнит, ноги мои приросли к порогу, и я не мог двигаться с места. Заметив свежего человека, высокий корчмарь ринулся ко мне и простер руки, как утопающий.

— Беда приключилась со мной,— сказал он и показал на воющих ребятишек,— они потеряли свою маму. Что делать? Что делать и с чего начать?

— Благословен судья праведный! — произнес я и попытался, как водится, утешить его цитатами из Библии, но корчмарь перебил меня и обратился ко мне с нижеследующей речью:

— Выслушайте меня и поймите. Она была мертва, жена моя, еще год назад. У нее была эта болезнь, самая эта чахотка, и она просила себе смерти, но в чем же остановка? Остановка в том, что мы сидим здесь, в степи. Что делать? Что делать и с чего начать? Я пошел бы в деревню, достал бы подводу и отвез бы ее в город, но как оставить детей одних в глухой степи? А ночь близка, караул, что делать? Что делать и с чего начать?..

И корчмарь странно как-то заплакал, без слез, словно он смеялся, и издал при этом удивительный какой-то звук, будто закашлялся: «Гу-гу-гу!» Он ранил мое сердце, этот человек! Что там голод и холод? Я забыл обо всем на свете и сказал ему:

— Я еду из Звогеля, еду в Радомысль, сани у меня хорошие... Если до города недалеко, я могу вам услужить и дать вам сани. Сам же я подожду здесь...

— Дай вам бог вечную жизнь за ваше доброе сердце! Царство небесное заработаете вы себе этим, честное слово! — Так говорит корчмарь и осыпает меня поцелуями.— Городок отсюда недалеко, четыре-пять верст, это займет не больше часа, я сейчас же отошлю вам сани. Царствие небесное заслужите вы этим, честное слово! Дети! Встаньте и благодарите этого молодого человека, целуйте ему руки и ноги, он дает нам свою подводу, я отвезу маму на кладбище!.. Царствие небесное, честное слово, царствие небесное!

Я сказал бы слово «радость», но оно будет здесь некстати, потому что дети, услышав, что сейчас отвезут их мать, припали к ней и начали рыдать и выть с еще большей силой. Добрая весть все-таки ошеломила их; вот нашелся наконец человек, который оказывает им такую услугу. Сам господь послал его им! Они смотрели на меня, как на спасителя, на Илью Пророка, и я должен открыть вам чистую правду: я сам тоже считал себя в эту минуту необыкновенным человеком. В эту минуту я готов был сдвинуть гору, перевернуть весь мир, не было такой вещи, которую я не согласился бы совершить, и у меня вырвались следующие слова:

— Знаете что, я с моим мужичком — мы сами отвезем ее. Зачем затруднять вас, зачем отрывать вас от детей?

Чем больше я говорил, тем больше рыдала эта семейка. Рыдала и взирала на меня, как на посланника неба, я вырастал в своих глазах все выше и выше, почти до самых небес, и в ослеплении своем я забыл даже о моем страхе перед мертвецами. Я помог вынести покойницу и уложить ее в сани. Извозчику я пообещал лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Мой мужичок почесал у себя за ухом, пробурчал что-то, но после третьей посудины смягчился, и мы отправились в путь втроем; я, мой извозчик и покойница корчмарка Хаве-Нехама, так звали ее. Хаве-Нехама, дочь Рефоэл-Михла, я помню это, словно это случилось вчера, потому что всю дорогу я зубрил имя, сообщенное мне ее мужем. Он несколько раз повторил его, потому что для похорон надо ведь знать точное имя. Всю дорогу зубрил я наизусть «Хаве-Нехама, дочь Рефоэл-Михла! Хаве-

Нехама, дочь Рефоэл-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоэл-Михла!» И покуда я зубрил ее имя, имя ее мужа вылетело у меня из головы, хоть вскрой себе череп. Корчмарь особенно просил меня запомнить, как его зовут, он уверял меня, что стоит мне только назвать в городе его имя, как у меня тотчас же выхватят покойницу и я смогу поехать дальше. Он, корчмарь этот, у них в городке праздничный гость, каждый год он едет туда на праздники, ему это стоит денег: и на синагогу он дает, и на баню, и на многое другое!.. Корчмарь много наговорил мне всякой всячины, наговорил с три короба, куда поехать и что сказать и как сказать, но все это пулей вылетело у меня из головы, даже следов не осталось. Мысли мои судорожно вертелись вокруг одного: я везу мертвеца. Одного этого было достаточно, чтоб все у меня спуталось в голове и чтобы я забыл даже собственное имя, ибо с малых лет я смертельно боюсь покойников. И сейчас я ни за что не останусь с глазу на глаз с мертвецом, хоть бы вы осыпали меня золотом. Мне представляется, что полузакрытые эти и закатившиеся глаза смотрят на меня и видят меня, что сомкнутые эти и безжизненные губы сейчас откроются и раздастся чудовищный крик, словно из-под земли. Одни такие размышления могут свести с ума. Недаром рассказывают у нас насчет мертвецов всякие истории, как люди падали в обморок от испуга, теряли рассудок или, пригвожденные к своему месту, не могли пошевельнуться...

Ехали мы, значит, втроем с мертвецом. Я уступил ему одну из своих подушек и уложил его у моих ног. Чтобы не думать о страшных вещах, я смотрел вверх, на небо, и тихо зубрил: «Хаве-Нехама, дочь Рефоэл-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоэл-Михла». Зубрил до тех пор, пока у меня не получилось: «Хаве-Рефоэл, дочь Нехама-Михла! Рефоэл-Михл, дочь Хаве-Нехамы». И не заметил я, как становилось все темней и темней, ветер свистал все сильней и сильней, и снег не переставал падать. Он завалил дорогу так, что сани пошли куда глаза глядят, извозчик мой начал ворчать, сперва тихо, под нос, потом громче и громче, и я мог бы поклясться, что он благословляет меня трехъэтажным благословением...

— Ну, что с тобой? — спросил я его.

Ответил он плевком и показал искаженное злобой лицо — упаси и помилуй, боже,— потом он открыл рот и посыпались слова: я погубил его, кричит он, погубил его вместе с конягой. Из-за мертвеца лошадь сошла с пути, и мы блуждаем. Бог знает, как долго мы будем еще блуждать, вот наступит ночь и мы пропали...

Услыхав эту приятную новость, я готов был вернуться назад в корчму, отказаться от царствия небесного — и конец! Но мужичок мой сказал, что теперь уже все равно, все пропало, выхода нет; мы путаемся где-то посреди степи, черт знает где!.. Дорога засыпана, небо смутно, вокруг ночь, лошадь замучена до смерти, чтобы черт унес, говорит он, корчмаря и всех корчмарей на всем свете.

— Нехай,— говорил он,— лучше бы я ногу сломал, прежде чем остановиться возле этой корчмы. Нехай,— говорил он,— водка застряла бы у меня в глотке, прежде чем я дал себя уговорить и взял такую беду к себе в сани. Погибай за нее, за проклятый полтинник, в степи, черт знает где, с конягой вместе. Нехай,— говорил он,— погиб бы я сам, может, судил бог околеть в поле, но бедная коняга? Что вы имели против этой бедняги? Невинная скотина, бедное животное, оно-то ведь ни о чем не подозревает...

Готов поклясться, что в его голосе слышались слезы... Я пытаюсь утешить его, обещаю еще один полтинник и стопку водки, но извозчик впадает в ярость и говорит откровенно, что если я не замолчу, то он выбросит моего покойника из саней! И я думаю себе, что я в самом деле стану делать, если он выбросит моего покойника из саней со мной вместе? Шутка ли — взбесившийся извозчик?.. И я молчу, лежу, зарывшись в подушки, и изо всех сил слежу за тем, чтобы не уснуть. Но, во-первых, как можно спать, когда мертвец попрыгивает у твоих ног, и, во-вторых, я слыхал, что зимой, на морозе, спать нельзя, потому что можно заснуть навсегда. Но, как назло, глаза слипаются, вздремнуть хочется до смерти, полжизни отдал бы за то, чтобы соснуть. Я продираю глаза, но они не подчиняются мне, они сжимаются, открываются и снова смыкаются, а сани скрипят, сани несутся по белому, глубокому, мягкому снегу, и сладостная теплота окутывает все мои члены, хочется, чтоб сладость эта продолжалась долго, продолжалась вечно... Но чужая чья-то сила все время стоит надо мной и тормошит: «Нойах, не спи, не спи!» — и я опять продираю глаза, и вместо теплоты чувствую палящий холод во всем теле и страх, черный страх, упаси нас бог и помилуй! Мне мерещится, что покойник мой шевелится, сбрасывает саван и смотрит на меня полураскрытыми глазами, словно говорит: «Что ты пристал ко мне, молодой человек? Взял ты мертвую женщину, мать многих детей, и лишил святого погребения...»

А ветер гудит, свистит человеческим свистом, шепчет какой-то секрет, страшный секрет; черные думы лезут в голову,

и мне кажется, что мы все погребены в снегу, все — и я, и мужичок, и коняга его, и покойница... Мы мертвы все, и только покойник, только жена корчмаря жива...

Неожиданно услыхал я, как развеселившийся мой мужичок начинает погонять лошадку, славословит во все горло, крестится в темноте и сопит. Я возликовал, словно и я наново на свет родился... И вот вижу: вдалеке светится огонек, он мигает, пропадает и выплывает опять. «Чудеса,— думаю я,— благодарение создателю»,— и обращаюсь к моему извозчику.

— Видно,— говорю,— мы попали на дорогу? Похоже,— говорю,— что городок недалеко?

— Эге,— отвечает он коротко и спокойно, нисколько не злобствуя.

Я трепещу от желания обнять его, влепить ему поцелуй в спину за эту приятную новость, за славное «эге», которое мне теперь дороже самой умной беседы.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я его, и мне удивительно, что я до сих пор не знаю его имени.

— Микита,— отвечает он коротко.

— Микита? — повторяю я. И имя «Микита» кажется мне прекрасным.

— Эге,— бурчит он односложно, а мне хотелось бы услышать от него хоть два-три слова.

Он дорог мне, этот Микита, и лошадь его мне дорога, отличная лошадь. И я завожу с ним разговор о коняге.

— Хорошая у тебя коняга, Микита, очень хорошая!

— Эге.

— И сани у тебя, Микита, хорошие!

— Эге.

И ни слова больше, хоть убей.

— Ты, видно, не любишь разговаривать, сердце мое, Микита?

— Эге,— отвечает он, и я начинаю смеяться. Мне весело, словно я взял с бою Очаков, или нашел клад, или открыл такое, чего никто еще не открывал...

Приехали мы, с божьей помощью, в городок еще до рассвета. Городок спал, до утра далеко, огня не видно нигде, еле нашли избу с большими воротами и веником на них — признак, что это заезжий двор. Остановились мы, слезли и начали вдвоем с Микитой стучать кулаками в ворота. Стучали, стучали, покуда не зажегся свет в окошке. Потом мы услыхали шлепанье чьих-то ног, и из-за ворот раздался голос:

— Кто там?

— Откройте, дядя, и вы заработаете себе царствие небесное.

— Царствие небесное? Кто вы? — говорит человек за воротами и начинает отпирать замок.

— Откройте,— говорю,— я привез сюда мертвеца.

— Кого?

— Мертвеца.

— Что это значит — мертвеца?

— Это значит покойника. Я привез сюда умершую женщину из деревни, из корчмы.

За воротами стало тихо. Я услышал, как заскрипел замок и ноги зашлепали вглубь. Огонек потух, и что тут делать? Это обидело меня. Я попросил моего извозчика помочь мне постучать в окошко. Стучали мы отлично, огонек снова показался и снова раздался голос:

— Чего вы хотите от меня? Что вы пристали ко мне?

— Ради бога,— умоляю я этого злодея,— пожалейте меня. Я здесь с покойником.

— С каким покойником?

— Жена корчмаря.

— Какого корчмаря?

— Я забыл, как его зовут. Но ее имя будет Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоэл, то есть Хане-Рефоэл, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хава-Хана...

— Уходите отсюда, бездельник этакий, не то я оболью вас сейчас кипятком!

Вот с этакими словами обращается ко мне хозяин этого заезжего двора, уходит в глубь дома и тушит огонь. Пожалуйста, выкуси! Только через час, когда начало светать, ворота приоткрылись, и он высунул черную голову в белом пуху.

— Это вы барабанили в окна?

— Я.

— Что вам нужно?

— Я привез мертвеца.

— Мертвеца? Везите его к служке из погребального братства.

— Где он живет, ваш служка? Как его зовут?

— Ехиелем зовут его, служку. Живет он внизу, под горой, возле бани.

— А где у вас баня?

— Вы не знаете, где баня? Похоже, что вы не здешний. Откуда едете, молодой человек?

— Откуда? Из Радомысля, но теперь я еду из Звогеля, а покойника взял я в корчме, недалеко отсюда. Это жена корчмаря. Она умерла от чахотки.

— Не к ночи будет помянуто! Кем она вам приходится?

— Мне? Никем. Я проезжал мимо, и он попросил меня, корчмарь. Живет ведь он в степи с малыми детками, похоронить ее негде. И я решил заработать себе царствие небесное, почему бы нет? Человек, видите ли, просит...

— Подозрительная ваша история,— говорит мне вдруг трактирщик,— вам нужно сперва поговорить с членом погребального братства.

— А кто у вас в погребальном братстве? Где они живут?

— Вы не знаете нашего погребального братства? Реб Шепсл, габай, он живет за базарной площадью, реб Лейзер-Мойше, габай, живет на самой площади, и реб Иося, габай, рядом с старой молельней. Раньше всего надо вам поговорить с реб Шепслом, он у нас воротила, твердый человек, скажу я вам...

— Спасибо,— говорю,— дай бог слышать от вас новости получше! Когда я могу их видеть?

— Что это значит — когда? Утром, после молитвы...

— Поздравляю вас! А сейчас что я буду делать? Впустите меня хотя бы погреться...

Услыхав эти слова, хозяин плотно запер ворота — и снова тишина, как на кладбище. Что делать? Сани наши стоят посредине улицы. Микита ворчит, чешет затылок, плюет и сыплет трехъэтажные благословения. Чтоб черт унес, говорит он, корчмаря и всех корчмарей на свете. О себе он уже не думает, черт с ним, с Микитой, но лошадка!.. Что люди имеют против скотины, почему они морят ее голодом и холодом?.. Невинная скотина, бедное животное, ничего она не знала, ничего она не ведала...

Стыд горит во мне... Что-то он подумает, мужичок этот, о наших евреях? Какой вид имеем мы, евреи, милосердные из милосердных, в глазах Микиты, если один еврей не впускает к себе другого, не позволяет ему погреться? Стало быть, мы заслужили все наши несчастья?

И я недалек уже от того, чтобы оправдывать все, что выпало на нашу долю. Никто на свете не говорит о нас столько худого, сколько мы сами. Сто раз на день вы можете услышать от нашего же брата такие слова: «Еврей — тертая штука!», «С евреем каши не сваришь!», «На это способен только еврей», «На то она еврейка», «Ой, евреи, евреи!» — и тому

подобные аттестации. Я хотел бы знать, как у других в этом отношении обстоит дело.

Если один из «них» не поладил с другим из «них», то они тоже говорят, что весь народ никуда не годится, даром небо коптит? Однако хватит! Опять я, кажется, залез бог знает куда...

Стоим мы посредине базара и ждем, когда наступит утро и город покажет миру, что он живет. Так и было: где-то заскрипела дверь, застучало ведро, из труб показался дымок, петухи закукарекали бойчее. Открылись двери, и вынырнули божьи существа в образе коров, телят, коз и, простите, евреев, женщин и девушек, закутанных в теплые шали, скрюченных в три погибели, замороженных, как замороженные яблоки,— одним словом, ожил мой городок не хуже, чем оживает человек. Встали, умылись, набросили на себя одежду и взялись за работу. Мужчины за божье дело — молиться, распевать молитвы, читать псалмы, женщины — к печам, детям, телятам и козам. Я стал разузнавать насчет габаев, где живут здесь реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Иося? Тогда меня начали пытать:

— Какой Шепсл, какой Лейзер-Мойше и какой Иося? Есть у нас в городишке несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей и несколько Иосей.

Я сказал им, что мне нужны габаи из погребального братства. Они испугались и начали выведывать у меня, что нужно молодому человеку в погребальном братстве в такой ранний час? Я не позволил себя долго морочить и открыл им наболевшую мою душу. Рассказал секрет моей поклажи. Надо было видеть, что с ними сталось! Вы думаете, они поспешили мне на помощь? Упаси бог! Они выбежали на улицу — посмотреть на сани: в самом деле там лежит покойник или это сказки? Вокруг нас образовалась толпа. Холод прогонял одних, тогда на смену им приходили другие, они заглядывали в сани, качали головой, пожимали плечами, спрашивали, кто это помер, откуда он и кто я такой, и как он попал ко мне, и не ударяли палец о палец, чтобы помочь мне. Я с трудом добился у них адреса реб Шепсла. Его я нашел в талесе и филактериях. Он молился так крепко и сладко и с таким азартом, что стены, право слово, пели. Он щелкал пальцами, мычал и качался, делал такие гримасы, что я возликовал. Во-первых, я люблю послушать такую молитву, во-вторых, наконец-то я мог согреть окоченевшее мое тело. Когда реб Шепсл повернул наконец ко мне лицо, на глазах его еще дрожали слезы, он показался мне святым человеком, душа которого так далека от земли, как тело от неба.

Так как он не кончил еще своих молитв и не хотел осквернить себя будничным разговором, то изъяснялся со мной на древнееврейском языке, то есть на таком языке, который состоит из мельканья рук, поворота глаз, пожиманья плеч, качанья головой, верченья носа и пары древнееврейских слов. Если угодно, я передам вам этот разговор из слова в слово. Вы догадаетесь сами, что относится ко мне, что к нему.

— Шолом алейхем, реб Шепсл.

— Алейхем шолом. И, о... скамейка...

— Благодарю. Я сидел достаточно.

— Ну, о? Что? Что?

— У меня к вам просьба, реб Шепсл. Вы можете заработать царствие небесное!

— Царствие небесное? Хорошо... Что именно? Что?..

— Я привез к вам покойника...

— Покойника? Кто покойник?

— Недалеко отсюда находится корчма, и живет там еврей бедняк. Скончалась у него, не к ночи будь помянуто, жена. От чахотки. Оставила малых деток, несчастные сироты. Если бы я не пожалел их, то один бог знает, что делал бы корчмарь один в степи с покойником.

— Благослови судия праведный! Ну... ну?.. Деньги? Погребальный взнос?

— Какие деньги? Какой взнос? Бедняга гол, как птица, нищий среди нищих, отец многих детей. Вы заработаете себе царствие небесное, реб Шепсл...

— Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо. Что именно? Что? Где? Взносы? Евреи! Ну? Все нищие! И-о! Ну-фе!

Так как я не понял, что он хочет сказать, он сердито отвернулся и начал снова молиться, уже не с таким жаром, как раньше, быстро-быстро, на курьерских. Он сбросил с себя талес и филактерии и набросился на меня с такой яростью, как если бы я был его заклятым врагом или плюнул ему в кашу.

— Как? — вскричал он.— В нашем нищем городе хватит своих бедняков, которым надо собирать на саван, так тут приходят еще из чужих мест? Со всего света сюда?! Все сюда?!

Я начал оправдываться: я ни в чем не виновен, я сделал только доброе дело. Представьте себе, что вы нашли мертвеца на улице и нужно его предать погребению.

— Вы,— говорю,— порядочный, набожный еврей. Вы можете себе этим заработать царствие небесное!

Тогда он еще яростней набросился на меня, стал донимать, загонять, пилить, сокращать мою жизнь...

— Вот как? Вы еврей с царствием небесным? Пройдитесь тогда по нашему городу, сделайте так, чтобы не умирали с голоду и не замерзали, и вы заработаете себе царствие небесное! Молодой человек, который торгует царствием небесным! Идите себе с вашим товаром к бездельникам, может, они купят у вас! У нас есть собственные добрые дела, и если мы захотим достать кусочек царствия небесного, то сделаем это и без вас...

Так вскричал габай реб Шепсл и сердито выпроводил меня, хлопнув дверью. Я готов поклясться, я ведь вижу вас первый раз и, может быть, в последний, что с того утра я возненавидел слишком набожных евреев, тех, кто молится слишком громко, тех, кто качается, и мычит, и делает гримасы, возненавидел всех евреев, которые имеют дело с богом, служат ему и ничего без него не делают.

Стало быть, старший габай — реб Шепсл, извините за выражение, выгнал меня... Что делать? Надо двигаться дальше, к остальным габаям. Случилось, однако, так, что я не пошел к ним, а они пришли ко мне. Мы встретились нос к носу у двери. Они сказали мне:

— Это вы, молодой человек, с козой?

— С какой козой?

— Молодой человек, который привез сюда мертвеца, это вы?

— Да, это я. В чем дело?

— Пойдем назад к реб Шепслу, и мы посоветуемся.

— Советоваться? — сказал я.— При чем тут советы? Возьмите у меня покойника, отпустите меня, и вы заработаете себе царствие небесное...

— Никто вас не держит,— ответили они,— поезжайте себе с покойником куда хотите, даже в Радомысль. Мы вам спасибо скажем...

— Спасибо,— говорю,— за совет.

— Не за что,— ответили они, и мы вошли к реб Шепслу.

Все три габая начали спорить между собой, ссориться, ругать друг друга. Те двое говорят, что реб Шепсл — упрямец, жестокий человек, которого трудно переубедить. Реб Шепсл мечется, кричит, забрасывает их стихами из Писания. Своя рубашка к телу ближе, своих мертвецов хоть отбавляй. Тогда те двое нападают на него:

— Что же из этого следует? Вы хотите, значит, чтоб молодой человек поехал с мертвецом назад?

— Ничего подобного,— говорю я,— как это можно, чтобы я поехал с мертвецом назад? Я еле живой приехал сюда, чуть

не погиб в степи. Мужичок мой, дай ему бог здоровья, хотел выбросить меня в поле. Умоляю вас, пожалейте меня, освободите меня от этого покойника. Вы заработаете себе царствие небесное...

— Царствие небесное, конечно, лакомый кусок,— отвечает один из тех двоих, высокий и худой еврей с тонкими пальцами, тот, кого зовут Лейзер-Мойше,— покойника мы у вас возьмем и воздадим ему должное, но это будет стоить вам несколько рублей...

— Как так? — говорю я.— Мало того что я сделал доброе дело, чуть не погиб в степи... И вы еще говорите — деньги!

— Зато вы имеете царствие небесное,— обращается ко мне реб Шепсл с гнусной усмешкой.

— Сделайте одолжение,— говорит один из тех двоих, тот, кого зовут реб Иося, маленький еврей с бородкой, выщипанной наполовину,— вы не должны забывать, молодой человек, что везете с собой поклажу. Где ваши бумаги?

— Какие бумаги?

— А откуда же мы знаем, кто ваш покойник? Может быть, это совсем не тот, за кого вы его выдаете? — говорит высокий, с тонкими пальцами, Лейзер-Мойше.

Я оглядывал всех по очереди, а тот высокий, с тонкими пальцами, кого зовут Лейзер-Мойше, качает головой, тычет в меня тонкими пальцами и говорит:

— Да, да, да. Может быть, вы зарезали где-нибудь женщину, а может, и собственную жену, и привезли ее сюда, и рассказываете сказки: степная корчма, жена корчмаря, чахотка, малые детки, царствие небесное...

Вероятно, я хорошо выглядел после этих слов, потому что тот маленький, кого зовут реб Иося, стал утешать меня. Они, собственно, ничего против меня не имеют и не возражали бы. Они мне не враги и отлично понимают, что я не злодей и не разбойник, но все же я чужой, а покойник, как говорится, не картофельный мешок, речь идет о мертвом человеке, о мертвеце...

— У нас,— говорит он,— есть для этого раввин и урядник. Нужно составить протокол...

— Да, да, да! Протокол, протокол! — вмешался длинный, тот, кого зовут Лейзер-Мойше, тычет в меня пальцем и оглядывает меня, словно я в самом деле совершил уголовное дело.

Я потерял язык, пот густо выступил у меня на лбу, со мной чуть обморок не приключился. О чем с ними говорить? Я выта-

щил свой кошелек и обратился ко всем членам погребального братства:

— Выслушайте меня, евреи! Я вижу, что попал в беду. Черт занес меня в эту корчму как раз тогда, когда жене корчмаря угодно было умереть, и черт дернул меня столкнуться с этим бедняком, отцом многих детей, и прельститься царствием небесным! Значит, я должен заплатить за это? Вот вам мой кошелек, все мое состояние, семьдесят с лишком рублей. Возьмите и делайте, что хотите. Оставьте мне на расходы до Радомысля, заберите у меня покойника и отпустите меня.

Вероятно, слова были сказаны с чувством, потому что все три габая переглянулись, не прикоснулись даже к кошельку с деньгами и сказали, что у них не Содом и Гоморра. Правда, городок бедный и нищих больше, чем богачей, но напасть на человека и сказать ему: «Жид, давай гроши»,— это — тьфу! Пожалуйста, сколько вы дадите, с божьей помощью, будет хорошо! Без ничего тоже не годится, это бедный город! Кто заплатит служкам, носильщикам? А саван, водка, а милостыня? Если сыпать без толку, то скоро дно покажется.

— Хорошо!

Что тут толковать?.. Если б корчмарь имел пять тысяч рублей, и то жена его не добилась бы таких похорон... Весь город сбежался, чтобы посмотреть на молодого человека, который привез покойника. На меня указывали пальцами, а нищие? Нищих — словно песок морской. Нигде я не видел такой оравы нищих. Меня таскали за полы, рвали в клочья. Шутка ли, молодой человек, который швыряет деньгами! Счастье, что габаи взяли мою сторону, а тот длинный, с тонкими пальцами, Лейзер-Мойше, не отходил от меня ни на минуту и, тыча пальцами, не переставал внушать мне:

— Молодой человек! Швыряние не имеет конца! Швырять можно без конца!

Но чем больше убеждал он меня не швырять, тем теснее нищие окружали меня, тем яростней грызли они меня.

— Ничего,— кричали они,— когда хоронят такую богатую тещу, то можно и поистратиться. Теща оставила ему немало денег, дай бог каждому!

— Молодой человек! — голосил один, дергая меня.— Молодой человек, дайте нам на двоих полтинник! Двугривенный дайте! Мы оба рожденные калеки, пятнадцать копеек на двух калек! Двое калек заслужили у вас пятнадцать копеек!

— Что вы его слушаете и при чем тут калеки? — воскликнул другой нищий, толкнув собрата ногой.— Это, по-ва-

шему, калеки? Вот жена моя, та именно калека: ни рук, ни ног, ни кусочка тела, и малые детки, тоже больные. Дайте мне, молодой человек, еще один пятак, и я буду молиться о вашей теще, да будет ей земля пухом...

Теперь мне смешно, но тогда я не склонен был смеяться, потому что команда эта всходила, как опара, за полчаса они запрудили весь базар. Служки начали разгонять палками народ, получилось побоище, которое привлекло всеобщее внимание. Стали собираться хохлы и хохлушки, мальчишки и девчонки, пока дело не докатилось до высшей инстанции и не примчался господин урядник верхом, с нагайкой в руках. Одним взглядом и несколькими взмахами нагайки он разогнал всех, как козявок. Сам же он соскочил с седла и подошел к процессии посмотреть, что там делается, кто умер и от чего умер и почему так запружена площадь? Для начала захотелось ему спросить меня, кто я, куда и откуда еду? Я потерял язык, и душа моя убралась в пятки. Не знаю, что это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник — такой же человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядником живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник ест у евреев рыбу и, в свою очередь, угощает их яйцами... Однако хватит! Опять, кажется, забрался бог знает куда.

Итак, стал меня урядник допрашивать. Изволь рассказать ему, что живу я в Звогеле у тестя на хлебах, а сейчас еду в Радомысль за паспортом.

Счастье мое, что габаи помогли мне и вытащили из болота. Маленький, с выщипанной бородкой, отозвал в сторону урядника и начал шептаться с ним, а долговязый с тонкими пальцами поспешно учил меня словами и пальцами, что надо сказать.

— Скажите ему, что вы здешний и живете за городом. И это ваша родственница, ваша теща, померла и вы приехали похоронить ее. И в то время, когда вы будете ему давать ответы, придумайте какое-нибудь имя из Апокалипсиса, а извозчика вашего мы затащим в дом и угостим хорошей стопкой, чтоб не болтался под ногами, и все будет хорошо.

Я пошел за урядником в дом, и там он начал составлять протокол.

— Как тебя зовут?

— Мовша.

— Отца?

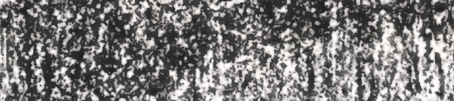
— Ицко.
— Сколько тебе лет?
— Девятнадцать.
— Женат?
— Женат.
— Дети есть?
— Есть.
— Чем занимаешься?
— Торгую.
— Кто у тебя умер?
— Теща.
— Как звали ее?
— Ента.
— Отца ее?
— Гершон.
— Сколько ей было лет?
— Сорок.
— Отчего она умерла?
— От испуга.
— От испуга?
— От испуга.
— Как это так, от испуга? — сказал он, положил ручку, закурил папиросу и осмотрел меня с головы до ног таким взглядом, что язык у меня прилип к гортани. Но, раз начав, надо окончить. И я рассказал ему целую историю, как теща моя сидела за работой, она вязала чулок и забыла, что в комнате с ней сидит еще мальчишка Эфраим, паренек тринадцати лет, но дурашливый, лодырь, играет с собственной тенью. Он сложил за ее спиной руки, сделав козочку на стене, и закричал: «Мэээ!» Тогда она скатилась со стула и умерла.

Я плету свою небылицу, а урядник не спускает с меня глаз. Выслушав до конца, он плюнул, вытер свои рыжие усы, вышел со мной на улицу к носилкам, раскрыл мертвеца, осмотрел умершую и покачал головой, словно говоря: «Нечисто здесь». Я смотрю на него, он на меня.

— Ну-с, покойницу можете похоронить,— говорит урядник габаям,— а этого человека я должен задержать, пока я не проверю, в самом ли деле это его теща и умерла ли она от испуга.

Вы можете себе представить, какой мрак окутал меня, когда я услыхал эти слова? Я отвернулся и зарыдал.

— Молодой человек! Почему вы плачете? — обратился ко мне маленький реб Иося и стал утешать меня.



«Мальчик Мотл»

— Не ешь чеснока, и запаху не будет,— прибавил реб Шепсл с усмешкой.

— Не пугайтесь, бог с вами! Этот начальник не такой уж плохой. Суньте ему что-нибудь... и скажите ему, чтобы он покончил с протоколом. Это умный начальник. Он хорошо знает, что все, что вы наговорили, не стоит ни гроша.

Так говорит мне с помощью своих пальцев реб Лейзер-Мойше. Если бы я мог, я растерзал бы его надвое, как разрывают селедку. Это он надоумил меня покатиться по скользкой дорожке, да сотрется имя его и память о нем!

Я не могу больше рассказывать. Не могу припомнить даже, что было. Вы понимаете, конечно, что мелочь мою у меня забрали и в кутузку посадили, и суд был, но все это меркнет перед тем, что было потом, когда тесть с тещей узнали, что зятек их сидит из-за мертвеца, которого он откуда-то привез... Они мигом приехали и представились моими тестем и тещей. Вот тут-то заварилась настоящая каша. С одной стороны полиция: «Если теща твоя, Ента Гершонова, жива, то кто же покойница?» С другой стороны, теща пристала ко мне: «Что я сделала тебе такого, что ты взял и заживо похоронил меня?» На суде выяснилась моя невиновность, но это влетело в копейку. Привезли корчмаря с детьми, и из кутузки меня выпустили. Но того, что я натерпелся от моей тещи, не пожелаю и самому заклятому моему врагу!

С той поры я избегаю царствия небесного...

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ СРЕДИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Поэма

ГЛАВА ПЕРВАЯ

АВТОР ОТВОДИТ ДУШУ В БЕСЕДЕ СО СВОИМИ ГЕРОЯМИ

По-видимому, так уже предначертано Касриловке свыше, что ее жителям положено испытать больше горя, чем всем людям на белом свете. Разбушевался ли где мор, навалилась ли на кого напасть, стряслось ли с кем несчастье, обрушилась ли кара господня, бедствие, наказание — ничто их не минует, ничто не оставляет равнодушными, и всё они принимают к сердцу ближе, чем все люди на белом свете. Ну, скажем, не удивительно, что они столько пережили, если помните, из-за дела Дрейфуса,— в конце концов он все-таки наш, свой, а свое, как говорится, не чужое. Но чем вы объясните их страдания по поводу буров, которых англичане победили и безжалостно истребили? Мало, что ли, волнений было тогда в Касриловке? Боже, боже! Сколько крови было из-за этого пролито в старой касриловской синагоге! Но не пугайтесь, уж не подумали ли вы, чего доброго, что там взаправду лилась кровь? Боже упаси! Жители Касриловки далеки от кровопролитий; касриловец, завидя издали порез на пальце, падает в обморок. Здесь речь идет совсем о другом; здесь имеются в виду их муки, душевные терзания, чувство стыда. А из-за чего, подумали бы вы? Из-за того только, что люди не могут прийти к единодушному суждению; если один что-либо утверждает, то другой непременно в том усомнится: а не наоборот ли? Один, скажем, принимает сторону буров и встает на защиту их прав: с какой, дескать, стати, с чего, собственно, привязались к бедному народу, который никого не

трогает, а хочет только одного — мирно жить и спокойно трудиться на своей земле? Приходит другой и выступает в роли ходатая по делам англичан, приводит неопровержимые доказательства того, что англичане самые образованные во всем мире люди. «Выродок! При чем тут образованность, если людей крошат, как капусту!» — «Тут-то оно и видно, что вы глупая скотина!» — «Сами вы скотина в образе осла!..» В итоге — оплеухи, свидетели, жалобы, мировой суд, всяческая пакость! А по существу, казалось бы, вы, касриловские бедняки, нищие, оборвыши, попрошайки,— какое касательство к вам имеет страна, находящаяся где-то у черта на рогах, в самой Африке? Или, к примеру, так уж вам обязательно болеть душой за Сербию, где каким-то офицерам, проснувшимся однажды среди ночи, взбрело в голову напасть и убить царя Александра, царицу Драгу и выбросить их из окна на улицу? Неслыханно, говорите вы, разве можно напасть на человека, когда тот спит, и прикончить его? Это пристало, говорите вы, дикарям, людоедам где-то там, в пустынях! Но я спрашиваю о другом: почему это тревожит вас больше, чем всех других? У вас так-таки нет никаких иных забот? Вы уже поженили, выдали замуж, обеспечили всех детей, управились со всеми делами? Я спрашиваю, что у вас за манера всюду совать свой нос? Верьте мне, мир прекрасно обойдется без вас, и каждый, надо думать, сам сладит со своей судьбой!..

Автор просит читателя простить ему, что он обращает к своим касриловским героям такие суровые слова! Я, понимаешь ли, дорогой друг, сам касриловский. Там я родился, там вырос, там окончил все хедеры и школы, там я, на свое счастье, женился и оттуда позднее пустился на своем утлом суденышке в плавание по великому, шумному, широкому морю, которое называется «жизнь», где волны вздымаются выше домов. И хотя все мы захвачены и затянуты оглушительным водоворотом, я еще ни на минуту тем не менее не забыл мою любимую, милую родину — Касриловку, да продлятся дни ее, не забыл и любезных сердцу моему братьев, касриловских евреев, дай бог им плодиться и множиться; и всякий раз, когда здесь у нас случается беда, горе, напасть, несчастье, мне непременно думается: что же творится теперь там, в моей отчизне?.. Касриловка, надо вам знать, как она ни бедна, как ни одинока и заброшена, все же связана со всем остальным миром какой-то такой чудесной проволокой, что малейший удар по одному ее концу тотчас отдается в другом конце! Можно сказать и так: Касриловка подобна ребенку во чреве матери, который связан, сращен с матерью пуповиной и чувствует все одновременно с ней: больно

матери — больно ребенку, больно ребенку — больно матери. Удивляет меня только одно: почему Касриловка так чувствительна к горестям и бедам всех на свете людей, и никто, никто не чувствует боли самой Касриловки; никто, никто не интересуется касриловцами? Касриловка у мира — что-то вроде пасынка, который при несчастье, не дай бог, или в доме опасно больного раньше всех проникается сознанием нависшей угрозы, больше всех терзается, неутомимо прислуживает больному, не спит ночей, вконец изводится, про врагов наших будь сказано! Но если пасынок свалится с ног и сам заболеет,— ничего страшного! — он будет отлеживаться где-нибудь в уголке наедине со своей болезнью, пылать от жара, изнывать от жажды, умирать с голоду — никто, можете быть уверены, никто на него не оглянется...

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАЛЕНЬКОЕ ПИСЬМЕЦО И ВЕЛИКАЯ ТРЕВОГА

После такого предисловия каждый легко поймет и представит себе, как бурлило в Касриловке в дни «веселой» суматохи, разыгравшейся в ту памятную пасху, не дай бог повториться подобной... Еще до того, как к Зейдлу прибыла газета, какой-то касриловский резник получил от своего зятя письмецо, которое мы и приводим здесь дословно, так как оно было написано, но в переводе на простой язык, дабы весь народ мог его понять.

«С почетом к моему любимому дорогому тестю, знаменитому мудрецу, чье имя да славится во всех краях вселенной, а также и к моей любимой дорогой теще, смиренной, умной и благочестивой,— да сияют имена их обоих подобно звездам из края в край вселенной, да осенит их мир, всем их домочадцам — мир, и всем евреям — мир. Аминь!

С трепетом в руках и дрожью в коленях пишу я вам эти слова. Сим да станет вам ведомо, что погода у нас резко изменилась, рука человека и свинцовый карандаш не в состоянии того описать.... Однако, благодарение всевышнему, все мы — и я, и моя супруга госпожа Двойрл, и наши деточки, дай им бог здоровья, и Иоселе, и Фейгеле, и Азрийликл, и Ханеле, и Гнендл — неизменно пребываем в добром здоровье, не считая того, что очень напуганы сильным градом и страшной бурей, которая пронеслась здесь. Но, слава богу, теперь все миновало, и мы уже можем, всем людям под стать, никого не бояться; мы

просим вас, я и моя супруга Двойрл, ничего дурного, упаси бог, не предполагать: мы и все наши деточки — и Иоселе, и Фейгеле, и Азрийликл, и Ханеле, и Гнендл — слава богу, здоровы. Именем бога молим немедленно отписать нам обо всем, что слышно у вас, какова у вас погода, здоровы ли вы и, во имя всего святого,— обо всем как можно подробней!»

Уже очень давно умные люди в своих сочинениях подметили, что таких мастеров читать между строк, как касриловские евреи, не сыскать на свете. Покажите им палец, и они тотчас догадаются, чего вы хотите, скажите им одно слово — и они вам немедленно добавят другие два. Для них нет ничего непреодолимо сокрытого, для них не существует неразрешимых загадок.

Письмецо резникова зятя переходило из рук в руки, а сам зять резника стал притчей во языцех. Касриловцы рассказывали друг другу страшные истории со всякими подробностями, как если бы сами при том присутствовали. Черная тень уныния легла на лица людей, словно вдруг навсегда погасла в них радость. Осталось одно утешение, одна слабая надежда: а может, все это — плод воображения, вымысел; ведь возможно и так — зять резника, молодой человек, из образованных, любитель красивого слога, знаток древнееврейского, и очень может быть, что любовь к велеречию занесла его черт знает куда! В действительности же все это — пустые выдумки, небылицы! И чтобы подбодрить друг друга, чтобы прогнать уныние, касриловцы стали рассказывать о нынешних молодых людях — приобщавшихся к просвещению, любителях писать витиевато — такие веселые истории, что при других обстоятельствах люди покатывались бы со смеху. Но в том-то и горе, что теперь никто не смеялся — не до смеха людям было. Какая-то странная, необъяснимая тоска излилась на всех, каждому подсказывало сердце, что там произошла очень печальная история. И народ двинулся к Зейдлу.

Зейдл, наш старый знакомый Зейдл, единственный в Касриловке человек, выписывающий газету, только что вернулся с почты, возбужденный, расстроенный. Лицо его было темнее тучи, а в сердце кипела обида на всех и вся. И тут люди узнали: то, чему боялись верить,— подлинная правда.

«Счастье, что здесь, в Касриловке, такая пакостная штука не может случиться, здесь такая беда не может произойти!»

Так утешали они один другого, но про себя думали: чем черт не шутит — на сильном ветру даже искра вызывает пожар, и дело кончается страшным бедствием. И касриловские евреи стали потихоньку озираться, присматриваться, как обстоят у них дела с соседями, с «иными народами»...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОВЕСТВУЕТ О СУББОТНЕМ ПРИСЛУЖНИКЕ ХВЕДОРЕ И ОБ «ИНЫХ НАРОДАХ» ВООБЩЕ

Если Хведор, который вечером по пятницам гасит свечи во всей Касриловке, и рябая Гапка, которая белит хаты и доит коз во всем городе, подходят под наименование «иные народы», мы обязаны сделать вывод, что Касриловке ни в коей мере некого и нечего бояться и тамошние евреи могут чувствовать себя спокойно до самого пришествия мессии, потому что испокон веку живут они с этими «народами» в таком ладу, лучше которого, кажется, и желать нельзя. Хведор, хотя он и есть самый коренной, исконный житель Касриловки, тем не менее честно исполняет свои обязанности — по субботам топит печи у евреев, гасит свечи и выполняет иные работы, к которым он приучен с незапамятных времен. И если вы подозреваете, что Хведор таит за это обиду против евреев, ошибаетесь: он хорошо понимает, что они это они, а он это он; весь мир не может состоять сплошь из генералов, должны быть и простые солдаты. Правда, многие генералы, то есть касриловские евреи, очень может быть, охотно поменялись бы судьбой с простым солдатом Хведором; но если посмотреть на этот предмет с другой стороны, надо признать, что необходимы и генералы, на одних только солдатах мир не может держаться; таким образом, обе стороны довольны: и они, касриловские генералы, у которых есть тот, кто с наступлением субботы обслуживает их, и он, солдат, который имеет кого обслужить и где поживиться — когда ломтем кулича, а когда и глотком водки.

— А ходи-ка сюды, Хведор-сердце! На, пей чарку, лехаим! — потчуют они его в субботу после предобеденной молитвы. Хведор снимает шапку, держит шкалик двумя пальцами, низко кланяется и желает всяческого добра.

— Дай боже здравствовать! — И, запрокинув голову, он залпом опрокидывает шкалик, причем лицо его искривляется в страшной гримасе. Хведор морщится так, как если бы впервые в жизни пил горькое вино.— Дуже гирка, нехай ему сто чертив и одна видьма!

— Закуси на вот, возьми ломоть, ломота тебе в кости! — говорят ему и угощают добрым куском пирога.

По тому, какими страшными проклятиями касриловские евреи осыпают Хведора, вы, чего доброго, еще подумаете, что ему и впрямь желают зла? Убереги вас бог от такой мысли! Они

не отдадут вам Хведора ни за что на свете, потому что он честнейший человек; оставьте в доме горы золота — он не прикоснется. А работает Хведор, как десять чертей: и печи вытопит, и помои выльет, и козу придержит, пока Гапка ее доит, наколет щепок, наполнит бочку водой, помоет посуду, как хорошая хозяйка, а при надобности и ребенка убаюкает. Никто не умеет так усыпить ребенка, как Хведор; никто не умеет так позабавить, развлечь ребенка, как Хведор,— щелкать языком, свистеть губами, барабанить пальцами, булькать горлом, хрюкать по-поросячьи и выделывать всякие иные штуки. И поэтому касриловские еврейские дети любят именно темное щетинистое лицо Хведора, именно грубую колючую свитку Хведора и не желают слезать с его коленей. По правде говоря, касриловские хозяйки не очень этому рады, потому что их дети частенько бывают голодны, а Хведор — разве уследишь? — возьмет и подсунет им втихомолку кусок хлеба из своей торбы, да и еще что-нибудь, трефное. Так что он может, не дай бог, накормить их чем-нибудь запретным, черт знает чем... Но это — заблуждение, Хведор никогда ничего такого не сделает: он очень хорошо знает — то, что евреи едят, ему, Хведору, законом есть разрешено, а то, что он, Хведор, ест, им есть нельзя. Почему? Это уже не его ума дело. А почему, к примеру, слегка дунуть на свечку, или прикоснуться к подсвечнику, или отнести молитвенник в синагогу и всякие иные такие же легкие работы ему в субботу можно делать, а им нельзя? Долгие рассуждения по этому поводу ни к чему, каждый должен придерживаться своего. И если случается, что Хведор в пасху вдруг не удержится, ухмыльнется и скажет о сухой маце: «Дуже трещит, нехай ему сто чертив и одна видьма!» — ему тотчас затыкают рот мгновенным ответом: «А твоя свинина, кабан ты этакий, лучше?» И Хведор замолкает.

Но Хведор тих только пока трезв, пока не напьется до того, что себя не помнит. Это случается с Хведором очень редко, но уж когда это с ним случается — берегись! Тогда он начинает бить себя кулаками в грудь, заливается горькими слезами и кричит: почему никто его не пожалеет? Почему пьют его кровь, почему его поедом едят? Вот он сейчас пойдет и разнесет в пух и прах всю Касриловку!..

— Жиды, нехристи, нехай им сто чертив и одна видьма! — орет он до тех пор, пока не уснет. А основательно выспавшись, снова как ни в чем не бывало возвращается к евреям, и Хведор снова для них тот же тихий, кроткий «Хведор-сердце», что и прежде.

— А где твои чеботы, рожа твоя бесстыжая? — спрашивают его и начинают поучать, осыпая в то же время, как полагается, страшной руганью: «Шо ты соби думаешь, босяк ты этакий? Ты ж подохнешь под забором, чтоб тебе век света не видать, господи боже!»

Хведор стоит, почесывает в затылке и молчит. Он очень хорошо знает, что они правы, а он не прав. Опустив голову, глядит он на свои босые ноги и размышляет, когда это ухитрился он продать свои сапоги, «нехай ему сто чертив и одна видьма!».

Вот какого рода человек Хведор.

И все прочие «иные народы» в Касриловке, которые постоянно соприкасаются с евреями, хорошо заучили, что с самого сотворения мира евреи созданы, чтобы быть лавочниками, купцами и перекупщиками; потому что никто не умеет так торговать, как еврей, ни в ком нет такой оборотистости, как в еврее, ибо «с тем рождены», на их языке это выглядит так: «На то воны жиды, шоб гандлювалы...» Они частенько встречаются на базаре, хорошо знают друг друга по имени и оказывают должное уважение один другому: Грицко говорит Гершке: «Мошенник», а Гершка — Грицке: «Зло́дий», и все это в самом благодушном тоне, а уж если они поссорятся всерьез, оба шествуют «до рабина», и раввин реб Ийзефл, который весьма нетверд в «иных» языках, всегда решает такие споры в угоду обеим сторонам: «Нехай було половина» — только бы не допустить осквернения имени божьего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГАПКА — ДУША ЕВРЕЙСКАЯ И МАКАР — ВРАГ ЕВРЕЕВ

До сих пор мы говорили об «иных народах», теперь потолкуем немного о рябой Гапке.

Гапка говорит по-еврейски, как настоящая еврейка; речь ее густо пестрит древнееврейскими словами. Она так сблизилась с касриловскими женщинами, что они, как и сама Гапка, забывают по временам, что она иноверка, и дают ей поручения, имеющие сугубо бытовой еврейский характер, к примеру — отправиться к раввину за разрешением религиозного вопроса, помочь просолить мясо, помочь в уборке и приготовлении дома к пасхе и другие такие дела, в которых Гапка осмотрительней и щепетильней иной еврейки. Она пуще смерти боится спутать мясное

с молочным, все семь дней пасхи остерегается прикоснуться к хомецу, ест наравне со всеми евреями мацу, уплетает за обе щеки горькие приправы к пасхальной трапезе и испытывает при этом такое наслаждение, как если бы была истинной дщерью Израиля. Касриловский пристав долго не хотел верить, что Гапка не еврейка, пока с ней не приключилась очень некрасивая история... Гапку поймали и хотели услать далеко-далеко. На ее счастье, в этом деле было замешано еще одно лицо — писарь мещанской управы Макар Холодный, злобный враг евреев, истинный юдофоб, один из виднейших интеллигентных антисемитов в Касриловке. И если бы не жалость к Гапке, насладились бы тамошние евреи местью над этим Аманом. Но так как вместе с сокрушением Макара должна была пострадать и Гапка, свидетели из евреев дали делу обратный ход, заявили следователю, что все их прежние показания были брехней,— и дело замяли... С той поры Макар Холодный должен был, казалось бы, заключить с евреями мир и стать их лучшим другом, но вследствие какой-то необъяснимой игры природы он, наоборот, стал еще большим врагом евреев, еще большим юдофобом, еще более ярым антисемитом, чем прежде.

Макару еврейский народ, можно сказать, причинял страдания с самого детства, и он глубоко в сердце затаил злобу — вначале против одних только касриловских евреев, а позднее — против евреев во всем мире. Когда он еще босоногим мальчонкой гнал, бывало, отцовских гусей на пастьбу, ему не раз встречались еврейские дети, возвращавшиеся из хедера, и, вместо того чтобы поздороваться с ними, он забавы ради кривлялся, передразнивал их говор «тателе-мамеле», тряс при этом полой, отнюдь не желая, упаси бог, никого этим оскорбить, а просто так, вполне беззлобно. Но еврейские дети, святая паства, внуки Иакова, изучающие Пятикнижие с комментариями Раши, они-то как раз считали себя оскорбленными и на его насмешки отвечали песенкой на еврейском языке. И хотя слов Макар понять не мог, но по мотиву и по тому, как дети при этом гоготали, он легко догадывался, что его стараются задеть до самой печенки, и не ошибался. Вот она, эта песенка:

Мне — в будни
Варят студни!
Мне — прибыль,
Тебе — погибель!
Мне — кобыла,
Тебе — могила!
Мне — отвозить,
Тебя хоронить!

Глупые дети! Во-первых, на самом деле все обстояло как раз наоборот: хлеб и мясо были у Макара, а не у них; верхом на кобыле ездил Макар, а не они! А во-вторых, как смели еврейские дети, если даже их целый десяток, задирать Макара, если даже он один? Макар обладал, учтите, ручищами, которые вполне могли противостоять десяти умным, острым, изощренным головкам десяти лучших еврейских мальчиков. Макар дал им еще тогда ощутительно — ого! — понять смысл слов, которые они заучили в хедере: «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исавовы...»

Позднее, когда Макар учился в приходском училище, он встречался с ними летом в поле за городом, а зимой — катаясь на льду, и каждый раз между обеими сторонами обязательно возникали распри. На кличку «жид», которая, собственно, представляет собой обыкновенное слово, такое, как, к примеру, «паршивец»,— они ему грубо отвечали: «Свинья». За их едкие насмешки он платил тумаками, довольно-таки наглядно показывая, как сыны Израиля удирают от филистимлян и как филистимляне преследуют их по пятам с жердями и каменьями, с гиканьем и криком, со свистом и улюлюканьем:

Ату-ту, жиды, гей,
Тэр, тэр, тэр!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОКАЗЫВАЕТ, КАК АНТИСЕМИТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФИЛОСОФА

Дальше приходского училища Макар не пошел — он остался, не про вас будь сказано, сиротой. В наследство от своих родителей получил он небольшой домишко с клочком огорода. Будучи грамотен, он тотчас потянулся к «службе» — взялся за перо, выработал себе недурной почерк и стал в касриловской мещанской управе писарем, потом — секретарем, потом — «всякому делу головой»; тогда-то и начались его встречи и близкое знакомство с касриловскими евреями...

В стычках, происходивших между Макаром и ними, вначале не было ничего особенно угрожающего; обе стороны ограничивались обидными намеками, колкостями, взаимными насмешками. Он — им: «Ицка, Берка, ой-вей, шабес, кугл!»

А они — ему: «Ваше благородие», и щелкали при этом по своему воротнику, словно сбрасывая с него что-то ползающее...

Бывают иногда, скажу вам, такие намеки, которые в десять раз хуже самой злобной ругани, и есть слова, которые в тысячу раз хуже пощечин. А на острые словечки касриловские евреи первые мастера, они величайшие задиры в мире! Ради того чтобы пошутить, касриловец, всему миру известно, не поленится пройти десять верст пешком, он готов рискнуть своим заработком, чуть ли не жизнь свою поставить на кон. Касриловский нищий, попрошайка, из тех, что ходят по дворам, когда ему кто-нибудь отказывает в подаянии, просит, чтобы ему хоть разрешили рассказать притчу, и очень часто бывает, что он получает за свою притчу весьма грустную награду — вылетает со двора, распахнув собственным лбом ворота; но о происшедшем не жалеет, главное он сделал — высказал, что хотел, и к месту привел поговорку. Вот каковы они, мои касриловцы, и вы ошибаетесь, если считаете, что их можно переделать, и если думаете, что я стыжусь своего родства с ними... Но вернемся к нашему Макару.

Ни за что ни про что касриловские евреи нажили опасного врага. Они полагали, что Макар вечно будет писарем в мещанской управе, забыли, что он не «без роду-племени» и рвется к чину. И действительно! Не успели они оглянуться, как Макар вырос, стал большим, здоровым, с пышными черными усами и с кокардой на красном околыше фуражки. И, едва нацепив кокарду, он тотчас распрямился, выпятил живот, стал казаться выше и толще, чем был на самом деле, широко расправил плечи и как-то по-новому зашагал — совсем не тот Макар! Его уже величали по-новому — Макар Павлович, и он был на короткой ноге со всеми господами в городе: с ветеринаром, с фельдшером, с почтмейстером.

Дружба с почтмейстером пригодилась ему больше, чем все остальные знакомства, так как на почте он открыл родник, из которого черпал свое просвещение, все свои познания,— единственный экземпляр газеты «Знамя», которую первым, конечно, просматривал сам почтмейстер, потом — Макар Павлович, а уже последним — абонент этой газеты, какой-то аристократишка из Злодеевки, здоровью которого, небось, не повредит, если узнает все новости несколькими днями позже, черт его не возьмет, он все равно дни и ночи играет в стукалку и обирает всех своих соседей по округе до последнего гроша. Это сказал сам почтмейстер, так что у Макара Павловича было что почитать и о чем поговорить. А «Знамя», как известно, газета

еврейская, она ведь только и думает что о евреях, полна забот о них, изыскивает всякие способы избавиться от них, разумеется, ради их же блага,— она-то и дала нашему Макару основательные познания в еврействе, и вширь и вглубь, и стал он, с божьей помощью, всесторонне и весьма значительно осведомлен о еврейских делах, стал великим знатоком Талмуда, основ иудейской догматики, всех еврейских законов и обычаев, в силу которых все евреи процентщики, в силу которых все они обманщики и вымогатели и в силу которых все они — конечно, не без того! — потребляют христианскую кровь в пасху. Эти предметы так сильно захватили нашего философа Макара, что захотел он дознаться о них из верного источника, от самого корня — от самих касриловских евреев; среди них, хотя он их и ненавидит, как набожный еврей свинину, у него имеются друзья, с которыми он по сей день живет в мире и согласии.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

БОГАЧ МОРДХЕ-НОСН И ЕГО ЖЕНА ТЕМЕ-БЕЙЛЯ

Один из первых друзей Макара в Касриловке это Мордхе-Носн — богач и значительное лицо в городе, куда значительней многих других именитых хозяев.

Богач Мордхе-Носн, как и подобает богачу, держит город в своих руках, вертит им как хочет, потому что он откупщик коробочного сбора, он староста синагоги, он первый среди первых, он главный заправила, он все и вся, одним словом, он богач. Хотя, если заглянуть в суть вещей, если пожелать установить, в чем заключается его богатство, окажется, что никто этого не знает. Если вы, к примеру, обратитесь к первому встречному касриловцу и спросите: как велико, по его мнению, состояние Мордхе-Носна? Тот остановится, погладит свою бороденку, качнет головой и нараспев протянет, глубоко при этом вздохнув:

— Мордхе-Носн? Про меня будь сказано — иметь хоть половину, хоть сотую долю того, что он имеет, конечно, кроме его бед... Шутите с Мордхе-Носном? Мордхе-Носн — богач!

— Что значит богач? Во сколько, примерно, его можно оценить?

— Оценить? Легко сказать — оценить! Разве такое оценишь?

— Но все-таки в чем состоит богатство Мордхе-Носна?

— Мордхе-Носна? Во-первых, Мордхе-Носн имеет дом, собственный.

— Ну?

— И двор, собственный.

— Ну?

— И коз несколько.

— Ну?

— А магазин? Стоящий магазин!

— Ну?

— А коробочный сбор?

— Ну?

— Опять-таки «ну», и еще раз «ну» — что вы нукаете? Вам все еще мало? Чего же вы хотели? Чтобы он открыл собственный банк? Сорил золотом? Разъезжал в каретах?

Касриловец уходит от вас обиженный — и он прав. В самом деле, почему нужно требовать от Мордхе-Носна больше того, что у него есть, когда он все-таки богач, все-таки первый среди первых, все-таки видное лицо в городе? Кто староста погребального богатства? Кто самое влиятельное лицо в городе? Кто главный заправила? Он, Мордхе-Носн! Кто устраивает у себя по субботним вечерам для отцов города проводы царице-субботе? Мордхе-Носн. Кто почитаем начальством? Мордхе-Носн. Куда ни глянь — Мордхе-Носн и Мордхе-Носн!

Мордхе-Носн, понимаете ли, знает, как нужно обходиться с людьми, как нужно вести себя с начальством. Каждую пятницу вечером к нему приходит в гости пристав, полакомиться рыбой. Касриловский пристав — великий любитель еврейской фаршированной рыбы, и всякий раз не может нахвалиться, надивиться, как хорошо варят у евреев рыбу, как она вкусна, как сладка — он ест и прямо-таки облизывается.

— Нема лучше, як жидовска рыба с тертым хреном! — непременно говорит он одно и то же каждый раз.

Хозяину и хозяйке эта похвала, видимо, очень по душе, оба умильно улыбаются, их так и распирает от гордости, аж пот прошибает от удовольствия. И Мордхе-Носн принимается убеждать гостя, что есть у евреев и лучшие яства, нежели рыба с хреном. Гость не хочет верить.

— А ну, к примеру?

— К примеру...

И Мордхе-Носн перебирает в уме еврейские блюда, ищет среди них нечто такое, что было бы лучше рыбы с хреном, и боится назвать. Цимес? А вдруг пристав останется ждать

цимеса — на кой черт это ему нужно? Кугл? А вдруг он прикажет распечатать «чолнт» ни с того ни с сего в пятницу вечером? Разве угадаешь наперед, какие неприятности подстерегают еврейский кугл?.. И Мордхе-Носн пробует отделаться мелким смешком: «Хе-хе!» На это гость ему отвечает: «Хе-хе-хе!» Мордхе-Носн рад, что тот смеется, и помогает гостю смеяться: «Хе-хе-хе-хе!» Пристав толкает хозяина локтем в бок, одновременно одаряя улыбкой хозяйку, и хозяин с хозяйкой млеют от удовольствия.

Вдруг гость спохватывается, встает, вытирает руки и рот краем белоснежной скатерти, застегивается на все пуговицы и произносит уже серьезно, без всякого признака шутливости:

— Пора на службу!..

И Мордхе-Носн с Теме-Бейлей встают в честь гостя, провожают к выходу, заглядывают ему в глаза с таким выражением, с каким собака глядит на своего хозяина, желая угадать, что у того на уме, угодливо кланяются и просят не забыть, упаси бог, прийти в следующую субботу...

— Чтоб тебе подохнуть! — благословляет хозяйка ушедшего гостя, едва закрыв за ним дверь. Теме-Бейля шипит, шипит, злится на мужа, который дни и ночи, даже в субботу, водится с начальством. Мордхе-Носн слушает и молчит, набрал воды в рот и молчит. Странный человек наш Мордхе-Носн. Автор настоящей истории не может удержаться, чтобы не набросать портрет этой четы и, таким образом, познакомить с нею весь мир.

Мордхе-Носн — высокий, сухой длиннорукий человек, у него широкие скулы, отчего его лицо, едва обросшее жидкой бороденкой, кажется четырехугольным, как у китайца. Лоб его покрыт множеством морщин, губы сжаты, рот несколько перекошен, кажется, будто он всегда хранит про себя какой-то секрет; говорит Мордхе-Носн, не повышая голоса, он всегда серьезен и на слова скуп. Зато в обществе начальства это совсем не тот Мордхе-Носн: морщины на лбу расходятся, исчезают, лицо светлеет, размыкаются губы, и Мордхе-Носн начинает говорить. Нет, положительно это не тот, это уже совсем другой Мордхе-Носн. И знаете, почему он столько якшается с начальством? Только из тщеславия, в погоне за почетом — неминуемо когда-нибудь кому-нибудь из касриловцев что-нибудь понадобится, и явится он к Мордхе-Носну с поклоном: «Как же так, реб Мордхе-Носн, кто у нас еще так уважаем начальством, как вы?..» Ради одного этого «уважаем» он готов платить собствен-

ным унижением, даже деньгами,— странный человек Мордхе-Носн!

Жена Мордхе-Носна, богачка Теме-Бейля — в отличие от мужа — низенькая и толстая, похожая на медную ступку или на пузатый самоварчик с маленьким остроконечным чайником на конфорке. Насколько она толста и кругла у основания, настолько мала и остроконечна ее головка. И вечно кипит он, этот пузатый самоварчик, кипит и шумит — Теме-Бейля зла на мужа, зла на прислугу, зла на касриловских коз, зла на касриловских женщин, зла на весь мир! Все счастье только в том, что и муж, и прислуга, и касриловские козы, и женщины, и весь мир обращают на нее внимания не больше, чем Аман на грохот трещоток. Муж погружен в общественные дела, всегда с начальством; прислуга все делает ей назло — и подгорает каша, и сгорает картошка, и выкипает молоко в печи; касриловские козы отравляют ей жизнь — прыгают на крышу, выдергивают всю солому из стрехи; касриловские женщины ее до смерти изводят, обставляя на базаре при покупке рыбы, в мясной лавке — при покупке мяса, в синагоге — при чтении «Техинес», и, да простится мне, что рядом помянул, даже в бане... Нет, мир не очень высоко ставит Теме-Бейлю! И, надо думать, не зря. Не сошел же целый мир с ума...

Теперь, довольно близко познакомившись с этой четой, мы, кажется, можем спокойно идти дальше, перейти к остальным персонажам, в кругу которых столь «уважаем» богач Мордхе-Носн.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«ВАЖНЫЙ ГОСПОДИН» ЯВЛЯЕТСЯ В ЛАВКУ И В ДОМ БОГАЧА

Другой частый гость богача Мордхе-Носна это — наш знакомый Макар, Макар Павлович. Но он не домашний гость, а завсегдатай лавки — он часто навещает Мордхе-Носна в его мануфактурном магазине. Мануфактурный магазин Мордхе-Носна, надо вам знать, лучшее суконно-торговое заведение в Касриловке, где, кроме демикотона, репса, люстрина, парусины, ситца, мадаполама и миткаля, вы найдете также и драп, и трико, и шевиот, и бархат, и атлас, и сатин, и муслин, и все, что душе угодно,— «по последним образцам, которых не найти даже в Егупце». Так говорит Мордхе-Носн, так говорит его жена Теме-Бейля, так говорят приказчики Мордхе-Носна, и подите

рискните сказать им, что это не так! Все господа Касриловки и округи являются клиентами Мордхе-Носна и в большинстве своем верят ему на слово. Стоит Мордхе-Носну произнести только одно слово «бенэмонэс» [1], и они тотчас перестают рядиться. Теме-Бейля может клясться всеми клятвами на свете, и все напрасно — ей веры нет, одно только слово Мордхе-Носна «бенэмонэс!» — это святая святых. Так обстоит дело, и задавать вопросы тут незачем.

И Макар принадлежит к числу тех клиентов Мордхе-Носна, которые ведут с ним дела на веру. Макар — его давнишний покупатель, еще с той поры, когда он был не Макаром Павловичем, а Макаркой, которому Мордхе-Носн, бывало, не хотел поверить и нитки в долг; он с ним не особенно церемонился и говорил просто:

— Дающий деньги берет хлеб — ваши гроши, наш товар.

Позднее, когда Макар приобрел кое-какой вес в управе, Мордхе-Носн открыл ему кредит, конечно, под расписку, под векселек, говоря при этом с улыбочкой и мешая русскую речь с древнееврейской:

— Не обижайтесь, панич, машкн [2] в кармане — шолом [3] в доме...

Еще позднее, когда у Макара появилась кокарда и пелерина, Мордхе-Носн открыл ему широкий кредит. И теперь, когда Макар Павлович входит в мануфактурный магазин, Мордхе-Носн пододвигает ему скамейку и наделяет его титулом «ваше высокоблагородие». Макар сидит, широко развалившись, заложив ногу на ногу, курит папиросу и беседует с Мордхе-Носном запросто, на «ты», но вполне дружелюбно:

— Эй, послушай, Мордхай-Нос!

А Мордхе-Носн стоит перед ним с притворным благодушием, с лицемерной почтительностью, в то же время думая про себя: «Большой господин», и откуда ты только взялся такой?» А этот «большой господин» заводит разговор о евреях, о еврейских махинациях, о шахер-махерстве, то и дело прерывая себя громким смехом, сопровождаемым каким-то странным кашлем, который отдается у Мордхе-Носна как удар железного аршина под самое седьмое ребро. Но внешне богач сдержан и улыбается поганой деланной улыбочкой, такой, что посмотри в эту минуту Мордхе-Носн в зеркало,— он стал бы сам себе противен.

---

[1] Честное слово *(еврейск.)*.
[2] Залог *(еврейск.)*.
[3] Мир *(еврейск.)*.

Разговоры «большого господина» обычно вертятся вокруг таких вещей, которые занимают Мордхай-Носна, как прошлогодний снег,— в одно ухо вошло, в другое вышло; но понемногу Макар переводит разговор на такое, что Мордхе-Носну уже и слушать невмоготу. Правда ли, спрашивает Макар, что евреи каждую субботу проклинают в синагоге все иные народы и призывают на них погибель, что они сплевывают, упоминая церковь, что по выходе христианина из еврейского дома за ним вслед выливают помои? Говорит он и всякий иной вздор, ни с чем не сообразные глупости.

Мордхе-Носн пытается уклониться от этих разговоров, перебивает Макара расспросами — об управе, о коробочном сборе, о свечном сборе. Какое там! Макар ни в какую не дает себя заговорить, хоть кол на голове теши! Он подступает к Мордхе-Носну — пусть раз навсегда скажет, пусть признается. Мордхе-Носн пробует отделаться шуткой и спрашивает: «Где это его высокоблагородие штудировал такие еврейские законы?» Макар глядит ему прямо в глаза и прибегает к уловке: задает вопрос вдруг, неожиданно, так сказать, припирает к стене:

— Ну, а кровь?

— Какая кровь?

— В пасху?.. На мацу?.. А?..

В ответ и Мордхе-Носн отыскивает верное средство — легонько трогает господина за плечо, гладит его пелерину и с гаденьким смешком заискивающе говорит: господин, мол, большой шутник, хе-хе-хе! И когда господин поднимается и уходит, Мордхе-Носн в похвалу ему высказывает соображение, что «важный господин» — трудный господин, то есть нельзя про него сказать, что он головорез, боже упаси! Он просто собака, собачий сын...

Однажды — было это в субботу днем — богач Мордхе-Носн сидел у себя дома, углубленный в «Поучения отцов»; вдруг открылась дверь и вошел... Макар Холодный! Вначале наш богач сильно удивился, вроде даже испугался: с чего это «важный господин» нагрянул после обеденного сна? Однако тут же изобразил на лице дружелюбную мину, с улыбкой попросил гостя сесть, а сам снял с себя субботнюю шапку, остался в ермолке, и крикнул жене:

— Теме-Бейля! Где ты там? Подай-ка нам чего-нибудь пожевать!

Макар отмахнулся:

— Не нужно. Меня привело к тебе дело. Это — секрет...

Услышав слово «секрет», Мордхе-Носн вскакивает и намеревается замкнуть дверь, но Макар берет его за руку:

— Не надо, это не такой секрет, чтобы нужно было запираться. Хочу тебя спросить об одной вещи — ты человек умный и честный, от тебя я узнаю истинную правду.

Мордхе-Носн самодовольно гладит свои пейсы, комплимент так ему по вкусу, что глаза застилает масленистая пелена, он тает от удовольствия и очень жалеет, что никого при этом нет.

— Ты слышал, вероятно, об истории с девушкой? — спрашивает Макар и глядит ему прямо в глаза, как следователь.

Мордхе-Носн, точно заяц, настораживает уши.

— С какой девушкой?

— С девушкой, которую евреи зарезали, отцедили ее кровь и спрятали на пасху.

Сначала Мордхе-Носн закатывается своим дробным смехом — хе-хе-хе! Потом лицо его бледнеет, зеленеет, а глаза загораются огнем.

— Ложь и клевета! — говорит Мордхе-Носн, трясет головой, и пейсы его качаются.

— Позволь, в газетах пишут! — говорит Макар и не сводит с него глаз.

— Газеты брешут, как собаки! — выкрикивает Мордхе-Носн.

— Газеты пишут, что имеется протокол,— настаивает на своем Макар,— я сам читал, что имеется протокол.

— Наглая ложь! — кричит истошно Мордхе-Носн, трясет головой в ермолке, и пейсы у него дрожат.

— Что подлая ложь? — спрашивает Макар, багровея от злости.— То, что я рассказываю? Или то, что написано в протоколе?

— Все ложь и клевета! Все! От начала до конца! Ни на волос правды!

Мордхе-Носн при этом машет руками, кривит лицо, моргает глазами, трясет пейсами и весь дрожит от негодования. Макар никогда не видел его таким злым, и сделал окончательный вывод: не зря этот еврей так возбужден; по-видимому, то, что о них говорят,— действительно правда; иначе почему он кричит, почему выходит из себя? Но какова, скажите, наглость еврея — назвать все, что написано, подлой ложью! И Макар Холодный в великом гневе встает, напяливает на себя фуражку с кокардой и говорит:

— За свои слова ты ответишь, я тебе их припомню!

Макар устремляется к двери. Мордхе-Носн тотчас встает

и бежит следом за ним,— он уже жалеет о случившемся и хочет ублаготворить, вернуть назад Макара.

— Пан!.. Ваше высокоблагородие!.. Макар Павлович!.. Макар Павлович!..

Дело — дрянь! Макар Павлович ушел, и богач Мордхе-Носн вне себя от огорчения. Его грызет сомнение — а не сказал ли он и в самом деле чего-либо лишнего? Черт занес сюда этого Макара! А тут еще, словно назло, явилась Теме-Бейля и пристала к нему — пусть скажет: что здесь делал «важный господин»? Почему он так скоро ушел? Почему он так сильно хлопнул дверью?

— Поди спроси его! — раздраженно ответил Мордхе-Носн.

— Полюбуйтесь-ка! Как это он, скажите на милость, злится! С какой ноги ты сегодня встал и что за сон тебе приснился?

— Кочан капусты!!! — Богач Мордхе-Носн рявкнул так, что жена чуть в обморок не упала, да и сам он испугался своего голоса, а служанка, чернявая женщина, прибежала из кухни, ни жива ни мертва, с воплем:

— Погибели на вас нет! Вы же меня насмерть перепугали!

Теме-Бейля налетела на нее, размахивая кулаками, Мордхе-Носн накинулся на них обеих, и дело завершилось таким скандалом, который описывать здесь вовсе ни к чему.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАСРИЛОВКА СПЕШИТ В ПУТЬ

Началась для Касриловки пора бедствий, страданий и напрасных страхов. Никто не мог понять, почему Макар Холодный стал еще большим евреененавистником, чем был, и почему он перестал бывать в магазине богача? Сам богач, видимо, стыдился об этом рассказывать, он проглотил эту историю молча, а Макар продолжал пакостить евреям, сколько мог, издевался над касриловцами, при всяком удобном случае огорошивал их все новыми известиями — недолго им осталось, мол, здесь хозяйничать; скоро от них потребуют отчета: откуда взялось к ним все их добро? Они не трудятся, не пашут, не сеют и не жнут, а приходят на готовенькое. Чем они заслужили это? Говорил он и многое другое в том же роде, повторял все, что вычитал в газете «Знамя». Именно в то время у него и случился конфуз

с Гапкой, из-за которого он чуть не испортил себе карьеру, чуть не попал в большую беду, о чем мы уже упомянули мимоходом в предыдущей главе. Когда же Макар, с божьей помощью, вышел чист из этого дела, он с новой силой принялся досаждать касриловским евреям, осыпать их угрозами — вот-вот, мол, как следует, возьмутся за них... Тогда же как раз и прибыло то «милое» письмецо от резникова зятя, которое по всему городу переходило из рук в руки; к тому же еще Зейдл со своими газетами поддавал жару, подливал масла в огонь, и по городу поползли слухи один другого страшней, и наконец прошла молва, что вскоре и здесь, в Касриловке, произойдет «то же самое»...

Откуда все это взялось? Кто был первый, пустивший слух? Никто этого по сей день не знает, и не узнает никогда, до скончания века! Если ученый когда-нибудь возьмется за описание истории касриловских евреев, подойдет к этому периоду и станет изучать бумаги, документы, газеты,— он, конечно, застынет в раздумье с пером в руке, мысли унесут его далеко-далеко...

Как оно началось, откуда взялось, неведомо, но по городу вдруг разнеслось, что на Касриловку идут... Три деревни сразу идут... И в одно утро вся Касриловка поднялась, как один человек; упаковывали перины, подушки, одеяла, детей, тряпье — весь нищенский скарб касриловской бедноты; спасали, как от пожара, свои жалкие пожитки и собирались в путь — куда? Куда глаза глядят! Матери держали на руках своих малюток, прижимали к груди и со слезами на глазах целовали, обнимали, ласкали, словно кто-то намеревался, упаси бог, отобрать их, словно они и впрямь кому-нибудь были нужны...

Одна за другой запирались в Касриловке лавчонки; один поглядывал на другого, один от другого таился, каждый старался опередить соседа, все спешили — скорее бы! Хведора в то утро чуть не разорвали на части. Каждый тащил его к себе, помочь укладываться. Со всех сторон совали ему — да тайком один от другого — кто гривенник, кто пятачок. Никогда еще Хведор не был таким уважаемым лицом в Касриловке, как в тот день, и никогда еще Хведор не имел такой кучи денег; и стал он до того богат, что наконец плюнул: «Нехай ему сто чертив и одна видьма!» — и отправился туда, куда следовало, основательно выпил в честь отъезжающих касриловских хозяев и, нализавшись в полную меру, вовсю разошелся — стал махать кулаками и кричать, что давно уже пора избавиться от касриловских евреев; а в это самое время — козни сатаны! — проходили мимо Макар Холодный с господином почтмейстером и услы-

шали разглагольствования Хведора об евреях. Оба господина остановились и увидели, что евреи укладываются и что-то уж очень поспешно собираются в путь; это показалось им странным, и они принялись подсматривать: куда же бегут евреи?

Слежка этих господ усилила переполох среди касриловцев, и они бросили увязывать узлы — пропади пропадом все это добро! Жизнь надо спасать, жизнь всего дороже!.. Наняли, где что смогли — повозку, лошадку, пару быков,— и без задержки, не мешкая, двинулись в путь. Шли быстро, быстро, почти с такой же поспешностью, как их предки при исходе из Египта.

Впереди всех, разумеется, летели, как орлы, касриловские фурманы со своими высокими фурами и кибитками; в них сидели богач реб Мордхе-Носн со своей семьей и все остальные богачи со своими семьями. За ними тянулись нанятые крестьянские подводы, на которые взобрались женщины, дети, больные, а сзади шагали мужчины — хозяева среднего и малого достатка, так называемое простонародье; они, бедняжки, шли, извините, пешком, торопились и боялись оглянуться — а вдруг за ними гонятся, а вдруг потребуют, чтобы они, упаси боже, вернулись назад...

Тихо стало в Касриловке, пусто и тоскливо, как на кладбище. На улицах ни души. Из живых существ в городе остались только козы — все богатство касриловских евреев, рябая Ганка, банщик с банщицей и, тысячу тысяч раз да простится мне, что посмел рядом помянуть, старый раввин реб Ийзефл.

Об этих живых существах мы и будем говорить — о каждом в отдельной главе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОСВЯЩЕНА ФИЛОСОФСТВОВАНИЮ

Ученые, посвятившие себя изучению природы, те, что наблюдают и знают сущность каждого ее создания, каждой травинки, доказывают на фактах, что никакая вещь в мире не уничтожается, не пропадает, не умирает. Мы, к примеру, говорим: дерево росло, ветви его цвели, давали плоды, потом ветви отцвели, плоды мы сорвали и съели, листья осыпались, дерево мы вырубили, пустили на топливо — кажется, конец? Не стало дерева? Нет, говорят ученые, дело обстоит не так! Дерево, говорят они, только распалось на свои составные части; плоды,

говорят они, давали нам питание, листья дарили нам аромат, древесина согревала нас — дерево жило, и мы жили. Но вот, скажем, мы умерли и наше тело положили в землю — мы также распались на наши составные части; на нашей могиле выросла травинка, травинку съела коза, и у нее появилось молоко; молоко пило малое дитя, и оно набиралось жизненных сил, росло, вырастало в человека, который, отживая свой век, умирал и опять распадался на свои составные части — снова травинка, снова козы, снова молоко, снова малые дети и так далее, и так далее, до бесконечности.

Вы, надо думать, уже догадываетесь, куда ведет эта философия? Она ведет на разбросанные древние могилы старого касриловского кладбища. И эти могилы, и эти козы, и эти касриловские евреи — все они вместе составляют такую цепь, которая тянется уже долго, долго, и кто знает, сколько она еще будет тянуться...

Если вы захотите узнать, как давно Касриловка стала еврейским городом, вам не следует листать ветхие страницы истории,— там вы ответа не найдете. Вам придется немного потрудиться и побывать на старом касриловском кладбище, осмотреть древние могилы, над ними старые выветрившиеся надгробия, простые деревянные памятники, грубые серые камни, которые, словно коленопреклоненные, стоят уже много, много лет; кое-где проступают на них полустершиеся, едва заметные буквы: «Здесь похоронен раввин, праведник, такой и такой-то», «Здесь покоится благочестивая и смиренномудрая такая и такая-то». Год смерти разобрать трудно — но не трудно понять, что все это было очень и очень давно, так как многие памятники рассыпались, многие могилы заросли травой; и козы, касриловские козы, которым нечего есть, перепрыгивают через повалившийся забор, щиплют эту траву и приносят домой вымя, полное молока, и у детей касриловской еврейской бедноты появляется еда — источник жизненной силы. И как знать, кто они такие, эти козы? Быть может, живет в них душа какого-нибудь человека, и даже совсем близкого человека? Кто знает, как тесно связаны между собой эти три вида — старое касриловское кладбище, пасущиеся на нем козы и, наконец, они сами — да не будет сие умалением их чести — мои касриловские евреи?

Вот к каким размышлениям привел меня вид касриловских коз в тот день, когда их хозяева разбежались и поручили милости божьей все свое состояние.

На дворе стояла послепасхальная весна, снег давно освободил землю, предоставив молодым травкам пробиваться, тянуться

к горячему солнцу, озеленить и украсить божий мир в любом его месте, где только люди дают им расти. Но Касриловка — увы, увы! — не уголок свежих трав и не край благоухающих деревьев. Касриловка — страна грязи, песка, пыли, густого зловонного воздуха — задохнуться можно! — и еще многих таких же милых, чарующих красот. Зеленую траву можно найти только на кладбище, поэтому и унесло меня туда мое воображение, моя фантазия, в тот день, день великого переполоха; там обозревал я стадо покинутых осиротевших коз, и у меня защемило сердце — стало больно как за бедняжек коз, так и за маленьких еврейских детей, оставшихся в этот день без капли молока. Я смотрел на бедных коз, на то, как они стоят, жуют, трясут бородками, глядят недоуменно-удивленно, глуповато-задумчиво, и все мне казалось, что они меня спрашивают: «Дяденька! Вы, может, знаете, куда девались наши хозяева и хозяйки? С какой такой радости они вдруг разбежались?..»

Покинем святое место, касриловскую божью ниву, и направимся с вами в город, чтобы увидеть остальные живые существа, оставшиеся в Касриловке после великого переполоха.

Я имею в виду банщика с банщицей и призреваемого ими немощного, престарелого раввина реб Иойзефла.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПОВЕСТВУЕТ О РАВВИНЕ РЕБ ИОЙЗЕФЛЕ

Много раз упоминал я и выводил в моих правдивых, невыдуманных рассказах одного из любимейших моих персонажей — касриловского раввина реб Иойзефла, и ни разу не остановился я на нем, чтобы как должно вас с ним познакомить. Знаю, с моей стороны это большая несправедливость, постараюсь же хоть тут исправить мое упущение.

Реб Иойзефл — человек весьма преклонных лет, дряхлый старец — особым здоровьем никогда не отличался, но и поныне в его немощном теле живет душа здоровая, чистая, нетронутая; именно в этом хвором теле бог поселил вечно юную, вечно живую душу и наказал, чтобы она там держалась, долго держалась, пока не наступит положенный срок, пока сам бог ей не скажет: «Идем, приспело время, в рай пора...»

И, конечно, в рай — никакого нет сомнения! Ибо ад с его пытками, муками и всеми прочими прелестями, которые нас

ждут там, на том свете, наш реб Ийзефл, слава богу, уже пережил здесь, на этом свете. Нет такой беды, такого несчастья, такого горя, какого господь бог не сподобил бы изведать реб Ийзефла. Предвечный хотел, видимо, испытать своего верного раба реб Ийзефла, вот он и сыпал на него всякие злосчастья щедрой рукой, как осыпают, например, жениха орехами. Одного за другим отобрал он у него детей, предварительно, разумеется, основательно помучив их; потом — жену, раввиншу Фруме-Тему, праведницу, которая была ему как бы верным ангелом-хранителем; потом он и его самого немного пригнул к земле, осчастливил к старости несколькими славными болезнями и бросил на произвол судьбы, одинокого, обездоленного, больного. И дабы вкусил он истинные муки ада, бог подал касриловским евреям мысль — взять себе нового раввина, молодого раввина, а его, старого реб Ийзефла, на склоне лет попросить удалиться и поселиться где-то у банщика с банщицей — пусть доживает там остаток дней. Так что всевышний мог быть уверен, что теперь-то реб Ийзефл, уж конечно, согрешит словом, как библейский Иов, который подвергался испытаниям так долго, что наконец не выдержал и проклял день своего рождения.

Но не такой человек был наш старый реб Ийзефл. Многое, очень многое постиг реб Ийзефл своим умом. Собственным умом дошел он и до того, что все горести и муки, которых всевышний удостоил его, это — одно из двух: либо они — только испытание, ниспосланное его святой волей, лишения, предначертанные ему на этом глупом грешном свете, дабы на том свете было ему по заслугам воздано тысячекратно; либо он эту кару честно заслужил; и если не сам — за собственные грехи, то — за грехи его бедных братьев, чад Израиля, которые в ответе один за другого и обязаны принять страдания один за другого, как в некоей артели, где, к примеру, если уличат в краже одного, то должна отвечать вся артель — каждый в той мере, какая полагается на его долю... Вот до чего дошел собственным умом реб Ийзефл и никогда не жаловался на свою судьбу. Отрешился от мира со всеми его утехами, которые он обесценил со снисходительной улыбкой великого философа, заслужив этим самым глубокую любовь касриловцев. И хотя реб Ийзефл уже не был у них раввином, и поступления, принадлежавшие ранее ему, получал уже новый раввин, он тем не менее пользовался тем же почетом, что всегда, занимал то же почетное место в синагоге, даже имя «ребе» по-прежнему осталось за ним. Плохо было только то, что одним лишь званием «ребе» невозможно жить; плоть требует свое, хоть что-нибудь, да в рот

положить, чтобы поддержать душу... И касриловских верховодов осенила идея: так как касриловская баня является достоянием общественным, пусть доход от этой бани поступает старому раввину, заодно пусть он и живет там. То есть не в самой бане; при бане есть халупа, где живут банщик с банщицей, там имеется каморка, в ней-то реб Ийзефл и сможет спокойно сидеть за Талмудом.

Сидеть за Талмудом? Это так только говорится. Реб Ийзефлу незачем и заглядывать в Талмуд — он зрением, не про вас будь сказано, стал так плох, что едва различает дневной свет! И тем не менее не расстраивайтесь. Человек, приобщенный к мудрости, как бы стар он ни был, находит себе занятие. И если реб Ийзефл не в силах продолжать изучение Талмуда по писаному, он изучает его изустно, читает что-нибудь на память вслух, произносит молитву, а то и просто размышляет. А поразмыслить есть над чем! О вселенной размышляет старый реб Ийзефл, и о творце вселенной, создателе, который всегда во всем прав и чьи деяния непогрешимы. И об Израиле — его народе, который он карает, как любимое дитя, и обо всех остальных народах, обо всех живых тварях на земле, от гигантского дракона до мельчайшей букашки, до самого крохотного червячка под камнем, которого он кормит своей щедрой рукой. Отсюда и следует поучительный вывод: «Ежели таково от бога букашке, червячку, то каково же от него человеку, а тем более еврею!..» Так размышляет реб Ийзефл, и он очень доволен богом, вселенной, народом Израиля, самим собой и своими мыслями, которые неоднократно высказывает вслух, громко, так, чтобы все слышали. А в Касриловке, как и всюду, имеются любители пофилософствовать, доискаться до сути вещей, задавать вопросы; они пробуют иногда пошутить со старым ребе и коварно спрашивают у него:

— Вы, значит, говорите — букашка? Червячок — говорите вы? Объясните же нам, ребе, вот что: если всевышний и впрямь такой великий бог, и такой добрый бог, и такой милосердный бог, что кормит даже червячка под камнем, почему же не кормит он своих касриловских евреев? Неужели же мы ничтожней букашки, ничтожней крохотного червячка под камнем?

— Ну и дети же вы, право! — отвечает им с улыбкой старец.— Приведу вам притчу о царе. Представьте себе, царь пригласил вас на трапезу; пришли вы в переднюю и увидели, что в ней не очень просторно, не очень светло, повернулись и ушли назад... Так и тут. Спрашиваю вас: разве не стоит перетерпеть немного мук и позора здесь, в тесной прихожей, в передней

комнате ради того, чтобы оказаться потом в огромном, прекрасном, великолепном чертоге будущей жизни, в котором стены из золота, полы из чистого серебра, а камни — сплошь брильянты? Там, где жизнь вечна, души праведников занимают почетные места, доставляют себе всякие удовольствия, наслаждаются лучезарностью духа божьего, а тот, чье имя вечно и свято, самолично прислуживает им, подносит в золотых чашах заветное вино, на золотых тарелочках — куски рыбы Левиафана и жареного мяса быка-великана...

Последние слова о «заветном вине», «Левиафане-рыбе» и «быке-великане» реб Иойзефл добавляет, разумеется, от себя, в качестве, так сказать, придачи для простого народа, который не довольствуется одной только пищей духовной и не питает особого пристрастия к духу божьему. Простому человеку — подай простой кусок рыбы, вкусное жаркое — а это в Касриловке очень редкие удовольствия, их можно разрешить себе разве только в субботу или в праздник, и то не всякий раз. За эти сердечные добрые речи касриловцы всей душой любят старого раввина; больше всех любит его простой народ, а больше всего народа — знаменитая чета, банщик и банщица касриловской общественной бани, которым мы и посвятим отдельную главу в нашем повествовании.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПРАОТЕЦ АДАМ С ПРАМАТЕРЬЮ ЕВОЙ В РАЮ

Если не лишено смысла, что Шмайе, или Фишл-корреспондент,— тот, что посылает во все газеты корреспонденции, которых не печатают,— говорит про касриловскую баню, что она — земной рай, вам не должно показаться диким и то, что касриловские насмешники прозвали банщика Берку «Праотцем Адамом», а банщицу Еву наделили прозвищем — «Праматерь Ева». Почему их так назвали, сказать трудно. Быть может, потому, что если банщицу звать Евой, то само собой ее мужу пристало называться Адамом? А может быть, потому, что эта славная чета находилась в этом раю многие и многие годы и, огражденная от всего мира, блаженствовала тут, точно в подлинном раю? И наконец, может быть, и потому, что касриловские мужчины и женщины удостаивались лицезреть этих супругов чаще всего в том самом костюме, который Адам и Ева носили до того, как вкусили от древа познания? Так или иначе, но одно

мы обязаны признать — если касриловские насмешники прилепят кому-нибудь прозвище, оно словно вместе с ним родилось, по нему скроено, по нему сшито, проутюжено, напялено и — «носи на здоровье!». Каждому казалось, что никаких других имен у банщика и банщицы и быть не может. Да и в самом деле, как иначе называть супружескую чету, которая проводит все свои дни и годы вдали от непросыхающего касриловского болота, далеко за городом, под горой, возле самого берега реки, где зеленые вербы, наклонясь, глядятся в воду, там, где в летнюю пору квакают лягушки и так оглушительно трещат, что ошалеть можно? Такое место и вправду иначе не назовешь, как только раем, а такая супружеская чета, как банщик и банщица, это — воистину Адам и Ева в этом раю. Оба они словно созданы друг для друга с первых дней творения: он — широкий в кости, высокий, здоровенный отставной солдат с всклокоченной бородой, на нем лоснящийся ватный кафтан и всегда подвязанные сапоги, а она — высокая, дебелая, тучная женщина с изрытым оспою лоснящимся лицом, но с добрыми серыми глазами, всегда в клетчатом платке и всегда с подоткнутой юбкой, из-под которой видны ее крупные ноги, обутые в большие мужские сапоги. Эти супруги ничего на свете не знают, кроме своей бани. Они всегда находят себе занятие в бане: либо топят баню, либо чистят баню, либо чинят баню — никогда без дела не сидят, разве только ночью; тогда Адам и Ева усаживаются за миску с вареным картофелем — зимой забираются с ней на широкую печь, а летом устраиваются во дворе на завалинке — и никому, никому в Касриловке недоступно блаженство, испытываемое этой четой.

Никто, никто не имеет такого постоянно обеспеченного дохода, как Адам и Ева; и в самом деле, за аренду платить не надо, а в посетителях недостатка нет — как ни беден город, но без бани еврею не обойтись. Правда, большого богатства тут не сколотить, капиталов не нажить, а собственных домов и подавно не приобрести, потому что много ли платит он, касриловский еврей, когда заявляется накануне субботы в баню? А сколько топлива поедает баня! Котел-то ведь уже основательно стар, камни рассыпаются, стены насквозь светятся, с потолка каплет. Каждая капля, падающая на голую человеческую спину, опаляет, обжигает, выжигает в теле дыру — моющийся подпрыгивает, вскрикивая «уф-ой», совсем как злодей в аду, когда его гонят по раскаленным гвоздям. Посетители обрушивают всю свою злость на банщика, клянут его на чем свет стоит, а он, банщик, делает свое — льет воду на раскаленный камень и ворчит себе в бороду: «Мыслимое ли дело? Баню строили еще во

времена царя Гороха, а хотят, чтобы не капало!» И сам он своими руками каждый раз чинит старую баню, затыкает щели в стенах, латает крышу, подпирает ее горбылем, часто чистит «микву», дабы касриловские остряки не уверяли ехидно, что своими ушами слышали там кваканье лягушек... Праотец Адам поднимается пораньше, когда и сам бог еще спит, натруженными крепкими руками таскает воду, ведро за ведром, и попутно шпарит наизусть, да еще и нараспев длинные отрывки из псалтыря. Голос его звенит, гремит, вырывается из бани наружу, несется вместе с ветром по берегам реки и пропадает где-то далеко-далеко, там, на той стороне, где птица, забравшись на ветку, тихонько шуршит среди листвы, чистит клюв и, покачиваясь, думает о предстоящем завтраке...

А внутри хаты, что при бане, еще темным-темно. При свете коптилки сидит там банщица Ева и чинит белье, что вчера для ребе постирала, обнаружит дырку — положит заплату, где нужно — пришьет пуговицу, пусть ребе переоденется, когда встанет ото сна.

Ото сна? Какой уж там у старого реб Йойзефла, с позволения сказать, сон, когда совсем недавно, кажется, он встречал молитвой полночь, вот-вот, не успеешь оглянуться, он встанет, совершит омовение ногтей и примется за утреннее богослужение, начнет «говорить»... Что он такое говорит, Ева в точности не знает, но нет для нее большего наслаждения, чем слушать его! Каждое слово ощутимо проникает в самое сердце и растекается по всем жилочкам!

И банщица осторожно встает, проходит по комнате на цыпочках, бесшумно замешивает тесто в корыте — предстоит спечь халу к субботе.

«Ку-ка-ре-ку!» — звонко протягивает белый петух с красноватыми крыльями, спрыгнув ради этого с насеста прямо на порог; он, видимо, считает, что совершил бог весть какое благодеяние, разбудив людей к труду.

— Киш в преисподнюю! — сердится Ева и с позором прогоняет его, осыпав потоком брани.— Киш, киш ко всем чертям! Надо ли, не надо ли — ему бы только кукарекать! Погоди, погоди, ты у меня немного только подкормишься, отнесу тебя к резнику, тогда тебе и будет кукареку! Ты у меня покукарекаешь!

Но слова Евы, отчитывающей наглого петуха, ни к чему, ребе уже все равно на ногах, совершил омовение ногтей и принялся за богослужение, он уже «говорит»... Что он такое говорит, Ева в точности не знает, но нет для нее большего наслаж-

дения, чем слушать его! Каждое слово ощутимо проникает ей в самое сердце, растекается по всем жилочкам! Она с глубокой почтительностью подносит ему горячий, вкусный цикорий в горшке, и клубится пар, и аромат стоит истинно райский.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

У РАВВИНА РЕБ ИОЙЗЕФЛА — ХОРОШАЯ СТАРОСТЬ

Идея содержать старого раввина реб Иойзефла на доходы от касриловской общественной бани была одной из тех счастливых идей, какие могут родиться только в Касриловке. Банщик Берка, который по договору был обязан, собственно, за свой счет отапливать также и синагогу,— да простится мне, что рядом помянул,— этого условия не выполнял, всю зиму оставлял молящихся мерзнуть, находя каждый раз новую отговорку: то слишком сильный мороз, то сырые дрова, то на улице туман, и городил всякий иной вздор, несусветную чепуху. И все, конечно, примирились с тем, что банщик не отапливает синагогу, только бы он содержал раввина реб Иойзефла на старости лет! Да и много ли, по правде говоря, нужно старому человеку, раввину, и тем более такому человеку и такому раввину, как реб Иойзефл, который даже в хорошие времена был не слишком привередлив. Сама раввинша, светлой памяти Фруме-Тема, говорила о своем муже, что он готов мириться со всем на свете. Подайте ему, к примеру, горящих угольев, он будет есть, будет обжигаться, но будет есть. Такой уж знал он толк в еде! Тем более теперь, в старости... Нехорошо только одно — ему будет тесновато. Но и тут нашелся выход: Адам и Ева прекрасно могут спать в бане, а ребе — в хате. Ведь баня и хата — это одно здание: стоят под одной крышей. И еще одно достоинство имеет баня — зимой там тепло, ничего не скажешь, точно в раю. Правда, это только зимой достоинство, когда приходит лето, это достоинство становится недостатком — в эту пору так жарко, что не только в бане, но и в хате растаешь от жары. Но выход найден и тут: они спят во дворе. Ведь летом во дворе в тысячу раз лучше, чем в хате, тем более тут, близ реки, в самом деле рай подлинный. Правда, и здесь имеется своя дурная сторона — у берега реки лягушки не дают уснуть. Но и на это есть свой ответ: ну, а в хате? Разве у них в хате нет лягушек? Разве не случалось с банщицей Евой, что лягушки прыгали ей в лицо

либо из кровати, либо из дежи, либо прямо из печи?.. Короче говоря, ребе устроили в хате, а Адам и Ева обжились в раю, то есть в бане, и присматривали за ребе, стараясь, чтобы ему было хорошо, чтобы все у него было ко времени — и поесть ко времени, и попить ко времени. С годами они очень к нему привязались, полюбили как родного.

Старый реб Ийзефл называл их «детки», а они его — «ребе». И по заслугам называли его так, потому что за всю свою жизнь они не слышали столько притч и поучений, сколько от старого раввина реб Ийзефла за один день. И все, что он им говорил, было для них открытием. Он представлялся им человеком, который только что прибыл из очень далекой страны и рассказывает столько дивного, такого, о чем они отродясь не слыхивали, чего даже во сне не видывали. С бьющимся сердцем сидели супруги зимой на лежанке, а летом возле дома на завалинке — глядели на ребе и разинув рты слушали его речи о мире духовном, о чудесах божьих, о людях на этом свете, об ангелах на том свете, о земле и обо всех тварях на земле, о небе с солнцем, луной, звездами и всеми прочими планетами. И не раз Праотцу Адаму и Праматери Еве, когда они сидели на дворе возле бани в теплые прозрачные летние ночи, чудилось, что этот старец с согбенной спиной, с маленькой белой бородкой и добрыми, добрыми глазами — и сам какой-то светлый дух, который вот-вот поднимется с земли и начнет парить в воздухе, парить до тех пор, пока не исчезнет где-то там, среди планет... И сами они тоже чувствовали, будто что-то тянет их туда, ввысь, к тем серебристым полосам, к тем маленьким звездочкам — к душам, блуждающим там и не находящим себе покоя...

Один бог знает, было ли еще кому-нибудь на белом свете так хорошо, как нашей чете, Адаму и Еве, в раю, и имел ли еще кто-нибудь такую счастливую старость, какую имел здесь, у них в раю, старый раввин реб Ийзефл из Касриловки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЧУТЬ ЛИ НЕ ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ РАВВИН РЕБ ИЙЗЕФЛ СЕРДИТСЯ

Небо и земля поклялись, чтобы ничего вечного под луною не было; неизменно хорошо не должно быть никому, нигде! Существует демон-разрушитель, который всегда торчит у нас за

плечами, во все вмешивается, подстерегает нашу душу, следит, чтобы мы, упаси бог, не забыли о боге... Этот самый сатана заглянул и сюда, в описанный нами выше рай, чуть не изгнал отсюда Адама и Еву, а с ними вместе — и одинокого дряхлого старца; чуть не разорил это гнездо, чуть не разлучил любящих и преданных, чуть не разрушил их счастье навеки.

Это произошло тогда, когда банщица Ева вернулась с базара, где она хотела купить плотвы, а — не было, хотела купить картофеля, а — не было, пучка луку — и того не было, ни живой души на базаре не было. Вначале она решила, что пришла слишком рано, и немного подождала. Но вот уже и ясный день разыгрался, а на базаре и пса бродячего не видать! Только и видит она — то там, то сям евреи мечутся, увязывают пожитки, куда-то спешат. В чем дело? Бегут! Куда бегут? Куда глаза глядят!..

И пока Ева успела прийти домой и рассказать обо всем этом Праотцу Адаму, и пока Праотец Адам рассказывал обо всем этом ребе, больше половины касриловских евреев уже было по ту сторону кладбища.

Вначале реб Ийзефл и поверить не хотел, что это правда. Они бегут? Как так бегут? Потом взял он свою самшитовую палку с гнутым железным набалдашником — этой палке почти столько же лет, сколько сам он пребывал раввином в Касриловке,— и не почел за труд, невзирая на свою старость, отправиться в город, где еще успел застать нескольких собирающихся в путь евреев. Старец остановил их и с кроткой улыбкой стал укорять, поучать.

Отставшие евреи выслушали его с глубоким вздохом и с горькой усмешкой ответили:

— Да, вы бесконечно правы, но все-таки, ребе, садитесь и поедемте с нами! Послушайтесь нас, ребе, поедемте с нами, и как можно скорее!

— Ехать? Куда? Зачем? Чего ради?

Но все было напрасно, никто его слов не слышал — уже и эти, отставшие евреи, были за пределами города.

Вернувшись домой, в рай, то есть к банщику и банщице в баню, он застал Адама и Еву сильно встревоженными, чуть ли не в слезах, и обратился к ним:

— Чем вы, детки, так удручены?

— Как так,— отвечают они,— вы разве не знаете, что творится? Здесь только что была Гапка.

— Какая Гапка?

— Гапка, та самая Гапка, что гасит свечи по субботам.

Она понарассказала такие страшные вещи, что волосы дыбом встают!

И Адам с Евой, оба разом, перебивая друг друга, пересказывают ему все то страшное, что стало им известно от Гапки, все, что на свете делается, а раввин реб Ийзефл сидит, опираясь на палку, и слушает, вдумчиво слушает. Сидит, слушает, размышляет и ни слова не говорит. Затем он поднимает голову, озирается по сторонам, кладет возле себя свою старую самшитовую палку, снимает шапку и, оставшись в ермолке обращается к Адаму и Еве:

— Выслушайте же, детки, что я вам скажу. Все, что вы мне тут рассказали, сущие пустяки, не стоящие выеденного яйца! Сим знайте — не ведает покоя, не дремлет страж Израиля, бог не спит. Расскажу вам притчу о царе. Жил когда-то царь...

— При чем тут царь? Какой там царь? Послушайте лучше, что рассказывает Гапка! — вырывается невольно у Праотца Адама, и тут же его охватывает стыд: он чувствует, что это грубовато, весьма грубовато с его стороны. Но ничего он уже исправить не может. Реб Ийзефл отвернулся от него, надел на себя талес, надел филактерии, взял в руки священную книгу, пододвинул поближе к себе свою старую самшитовую палку, уселся за стол — на самое почетное место и, подобно царю в ратное время, он, вооруженный с головы до ног, с великой гордостью огляделся, словно говоря: «А ну, посмотрим. Пусть кто-нибудь отважится подступить сюда!..»

И от старых черных его глаз, и от седых его волос веяло таким спокойствием и силой, что Адам и Ева почувствовали: ничего страшного! — у них есть на кого опереться.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ДВА ГОРОДА ВСТРЕЧАЮТСЯ, РАССТАЮТСЯ НИ С ЧЕМ И — КОНЕЦ

Люди устремились на тракт, ведущий в Мазеповку, что в округе Егупца, и первая остановка предстояла им в Козодоевке — тоже еврейском городе, славящемся своими козами, о чем свидетельствует само его название. Козодоевские козы дают совсем особенные удои и отличаются от касриловских коз своими рогами, то есть тем, что у них вовсе нет рогов. На месте рогов у них спереди какая-то необыкновенная загогулина, подо-



«Мальчик Мотл»

бие наголовного филактерия, прости господи за сравнение; по своей натуре они не очень пугливы, то есть гораздо степенней и глупей, чем касриловские козы. Козодоевская коза — если вы ее встретите посреди улицы, покажете ей пучок соломы и скажете: «Коз-коз-коз!» — остановится, расставит копытца и — хоть возьмись доить ее...

И люди там, не будь рядом помянуто, совсем не те люди, что в Касриловке. То есть они там точно такие же, как здесь, — с такими же сердцами, с желудками такими же, и даже голытьба такая же, как здесь. Вся разница лишь в молитве «Благословен», то есть в том, что касриловские евреи читают сначала молитву «Славьте», потом «Благословен», а козодоевские евреи, наоборот, сначала читают «Благословен», а уже потом — «Славьте». Казалось бы, какая, собственно, разница: это раньше или то раньше? И та и другая — молитвы богу. Нет, не говорите так! В давние добрые времена, когда касриловские и козодоевские евреи имели солидные доходы и не было у них недостатка ни в чем, разве только в головной боли, из-за этих «Благословен» и «Славьте» лилась, можно сказать, кровь. Сколько раз случалось, что козодоевец приходил молиться в касриловскую синагогу, а кантор становился к аналою, натягивал на голову талес, раскачивался и нараспев начинал:

— Славьте господа, призывайте имя его...

А в это время раздавался голос козодоевца на самой высокой октаве:

— Благословен, по чьему слову сотворен мир!

И обратно же, когда касриловец приходил в козодоевскую синагогу, а тамошний кантор, загоревшись вдохновением, только-только закрывал глаза, поднимал сжатую в кулак руку и начинал это самое «Благословен, по чьему слову сотворен мир», касриловец врывался, возглашая во весь голос:

— Славьте господа, призывайте имя его, возвещайте в народах дела-а-а-а-а-а-а-а его!

Само по себе «Славьте» было козодоевцам не столь неприятно и приторно, как «дела», которое касриловец растягивал чуть ли не на полторы сажени. Скажем, так и быть, хочешь читать: «Славьте господа, призывайте имя его, возвещайте в народах дела его» — стань тихонько в уголок и говори себе там: «Славьте господа, призывайте имя его, возвещайте в народах дела его». Но какой блажи ради понадобилось тебе так долго тянуть во весь голос слово «дела-а-а-а-а-а-а»? Ты делаешь это, по-видимому, назло? А раз ты любитель делать назло, то не миновать тебе битым быть! И касриловцу тогда доставалось, да

еще как. И возникла между касриловскими и козодоевскими евреями вражда, и тянулась она долгие, долгие годы. Началась она с оплеух, а кончилась ябедами, подсиживанием, всяческой гнусностью — ну, и было тогда у мира возни с ними! Посторонние люди вмешивались в их тяжбы, сделали их посмешищем, с их еврейскими обычаями и глупыми выходками, называли милым именем «фанатики». Короче говоря, все это было — фу! — отвратительно и до тошноты безобразно!

Правда, те глупые, но счастливые годы уже давным-давно ушли, и, бог весть, вернутся ли они когда-нибудь; у этих людей уже иным голова забита, их мучают горести посерьезнее, чем «Славьте» и «Благословен»; но вражда между касриловцами и козодоевцами осталась враждой, и никоим образом невозможно разумно объяснить ее постороннему человеку... Поди, к примеру, помоги постигнуть смысл того, что касриловский христианский мальчик при виде еврея обязан, захватив зубами свой картуз, трясти его и петь при этом песенку: «Жид, жид! Халамид! Загубив черевик! А я шов! Тай нашов! Тай пидняв! Тай пишов»! Или, наоборот, будьте настолько мудры и помогите уразуметь, откуда берется, к примеру, такое, что касриловский еврей, заговорив о нееврее, начинает изо всех сил пересыпать свою речь древнееврейскими словами: «Дай человеку шкалик водки, но не молэй [1], с куском лэхем [2], потому что он сегодня еще совсем не ел, уплати ему два гроша и пусть уйдет, только не спускай с него эйнаим [3], как бы он чего-нибудь не унес...» Это — из числа тех явлений, которые постигнуть здравым рассудком невозможно, это надо чувствовать... Но вернемся к касриловским и козодоевским евреям.

Бывают в жизни человека такие обстоятельства, когда все прежнее предается забвению, все вычеркивается, как бы никогда его и не было; и — счастье, что это так; иначе мир не мог бы существовать! Глубоко правы были наши мудрецы, когда установили, что накануне Судного дня, во время покаянной порки, все должны прощать друг друга.

И вражда между касриловцами и козодоевцами мгновенно улетучилась, когда они встретились в пути, в «веселую» пору переполоха и бегства; ее, словно дым, унесло — не стало вражды! А встретились Касриловка с Козодоевкой точно на полпути, в поле, неподалеку от того места, где когда-то стояла

---

[1] Полный *(еврейск.)*.
[2] Хлеба *(еврейск.)*.
[3] Глаз *(еврейск.)*.

еврейская корчма «Дубовая», которая из-за монополии была вынуждена закрыться — ничего ей не помогло!

Когда Касриловка с Козодоевкой встретились, обе остановились, и между ними состоялся такой разговор:

Касриловка. Куда это, любопытно знать, едут евреи?

Козодоевка. А вы куда едете?

Касриловка. Мы? Мы едем просто так. Каждый по своему интересу, по делу, значит...

Козодоевка. Целый город едет по делу?

Касриловка. А вы-то что? Вы разве не целый город!

Козодоевка. Мы — нечто другое; мы не едем — мы бежим.

Касриловка. Откуда же вам известно, что мы не бежим?

Козодоевка. Так бы сразу и сказали! Куда же бегут евреи?

Касриловка. А вы куда бежите?

Козодоевка. Мы? Мы бежим... к вам.

Касриловка. А мы — к вам.

Козодоевка. Что же вы будете у нас делать?

Касриловка. То же самое, что вы у нас.

Козодоевка. Вот так так! Ради чего же нам бежать к вам, а вам — к нам?

Касриловка. Ради того, по-видимому, чтобы нам обменяться местами.

Козодоевка. Шутки в сторону! Растолкуйте-ка нам лучше, почему вы бежите?

Касриловка. А почему бежите вы?

. . . .
. . . .

Только теперь, когда оба города разговорились, как следует разглядели друг друга и увидели себя, как говорится, сторонними глазами, им открылось, что за зрелище представляют они собой...

— Виданное ли дело? Нашло на нас — разогнались, бежим! Почему бежим? Куда бежим? Понесла нас нелегкая!

Люди стали вытирать глаза, плакать и вздыхать:

— Горе, горе нам, ну и доля нам досталась!

И разговорились, вдоволь наговорились, душу отвели... Потом обменялись рукопожатиями, весьма чувствительно распрощались, сердечно расцеловались, как настоящие добрые друзья, как семьи, которые только что породнились, или как супруги, которые было развелись и теперь заново вступили в брак. Затем они щедро раскошелились на самые страшные проклятия и об-

рушили их на головы врагов, а друг другу пожелали, чтобы на том и кончились их злоключения, добавив с горькой усмешкой: «Да будет воля его...» И подмигнули возницам, чтобы те, дескать, соблаговолили повернуть назад оглобли.

И оба города разъехались по своим местам: Касриловка — в Касриловку, Козодоевка — в Козодоевку. Тихо, без слов, люди крадучись разбрелись по домам, как птички,— каждый в свое гнездо. Тихо, без слов, каждый вернулся к своему занятию, и еще долго после этого они все возвращались к пережитому, еще и еще раз вспоминали «веселый» переполох, который вдруг охватил их. И дабы позднейшие поколения, потомки детей наших, тоже знали о том, взяли мы на себя труд и описали эту прекрасную эпопею на нашем простом еврейском языке и издали отдельной книгой, чтобы осталась память о нас на долгие века.

ИОСИФ

Рассказ «джентльмена»

Можете смеяться надо мной, можете посвятить мне фельетон и даже написать книгу, если хотите. Говорю вам заранее, я вас не боюсь, потому что я, видите ли, не из пугливых. Меня не очень-то испугает писатель, я не сробею перед доктором, не растеряюсь перед адвокатом и не растаю от восторга, когда мне сообщат, что такой-то учится на инженера. Я и сам, если хотите знать, учился когда-то в гимназии. Правда, окончить гимназию мне не удалось: вышла история с девушкой.

Влюбилась в меня девушка (я, видите ли, всегда был недурен собой) и заявила, что, если я не женюсь на ней, она примет яд. А мне так же хотелось взять ее в жены, как вам. Она, понимаете ли, была у меня не единственная. Однако зашло у нас с ней слишком далеко, и тогда вмешался ее брат, провизор. Он пригрозил мне, что, если его сестра отравится, он меня обольет — уж он знает чем... И я вынужден был жениться на ней и года три промаяться. Она требовала от меня только двух вещей — чтобы я сидел дома и чтобы не заглядывался на других женщин... Как вам это нравится? Ну, что я могу поделать, если бог одарил меня такой внешностью, что все женщины и все девушки помирают по мне. Думаете, почему? Так просто. Любят — и только. Куда бы я ни пришел, куда бы ни приехал, на меня сразу набрасываются, точно пчелы. Шадхены прямо голову мне отгрызли. Почему, думаете? Я, видите ли, молодой человек из современных, недурен собой, здоров, пользуюсь хорошей репутацией, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! и тому подобное. Вот почему они и сулят мне золотые горы. Я, конечно, отмахиваюсь. «Отвяжитесь, говорю, я уже один раз ошпарился». А они свое: «Да что с вами станется, если поглядите еще одну невесту?» Ну, кто же откажется от такой штуки! Вот я и смотрю невест, а невесты — меня. Ссорятся

из-за меня, прямо на шею вешаются, честное слово. Всем я желанен, ну, буквально всем. Но что мне с того, что они меня желают, если я их не желаю. А ту, о которой я мечтаю, никто не знает, кроме меня. И это мое больное место, и об этом я как раз хочу вам рассказать. Но, прошу вас, пусть это останется между нами. Я не о себе забочусь,— я ведь сказал, что писаний ваших не боюсь,— но вообще к чему это?.. Вот вам, значит, мое вступление, а теперь и самую историю изложу.

Вы сами, конечно, понимаете, что я не стану рассказывать вам, *кто* она, *что* она собой представляет и *откуда* она. Женщина она, девушка, и весьма красивая девушка, бедна, правда, горемычная сирота. Живет с матерью, молодой вдовой; эта тоже весьма недурна. Содержит еврейскую ресторацию — кошерная пища. А я, должны вы знать, хотя и из современных, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! и тому подобное,— кушаю все же кошерное. Не потому, что я уж такой праведник и боюсь хрюкающего, но просто оберегаю свой желудок — это во-первых, а во-вторых, еврейские блюда просто вкуснее...

Итак, значит, она содержит ресторацию, вдова эта; сама варит, сама жарит. А дочь ее подает к столу. Но *как* там готовят! *Как* подают! Все блестит, говорю я вам, все поет, все играет. Кушать там — истинное наслаждение. Собственно, не так уж еда, как мамаша и ее дочка,— одна прелестней другой. Посмотрели бы вы эту вдовушку! Стоит у печки, варит, жарит, и так свежа, так чиста! Лицо белее снега! Ручки — золото! Глаза — огонь! Уверяю вас, в нее еще тоже можно влюбиться. Теперь представьте себе ее дочку. Не знаю, разбираетесь ли вы в таких вопросах,— я говорю о женской красоте. Личико — кровь с молоком, щеки — пышечки, глаза — вишенки, волосы — шелк, зубки — жемчуг, шейка — алебастр, ручки — каждый пальчик расцеловал бы, верхняя губка слегка вздернута, как у ребенка. Видали вы что-нибудь подобное? Одним словом, все, все в ней изящное, точеное, ну, прямо модель для выставки. Будто говорит вам: «Любуйтесь! Сходите с ума!» А улыбка, смех, ямочки на щеках! Только за одно это отдал бы все! Когда она смеется, смеется все вокруг: смеетесь вы, столы, смеются стулья, стены смеются. Весь мир смеется! Вот какой у нее смех! Попробуйте поглядите на нее и не влюбитесь!

Одним словом, чего тут долго тянуть? Почти с первого обеда я почувствовал, что спекся. Спекся — и кончено! Хотя вы сами уж должны понять, что девица для меня — не бог весть какое событие. А в «любовь», «романы» и всякие такие штуки я вообще никогда не верил. Так просто приударить — почему нет?

Но стреляться из-за этого — фи! Это — для гимназиста шестого класса, не для мужчины. Не так ли?

Почувствовав, что влип, я отозвал мамашу в сторонку, ну конечно, не для того, чтобы, как это говорят, «просить руки». Нет, я не из торопливых! Но так просто. Пощупать, что на возу, никогда не мешает. Стал вкручивать ей: «Как да что?.. То да се». Наконец спрашиваю: «Как у вас обстоит с дочерью?» — «Как, говорит, может обстоять с дочерью?» — «Я о цели в жизни толкую».— «Конечно, говорит, об этом надо заботиться. Но о ней уже позаботились». У меня даже сердце упало. «Что значит, говорю, о ней позаботились?» — «Да вы ведь сами видите, какая она у меня озабоченная!» И как раз в этот момент входит дочь, и тут сразу во всех уголках засияло.

— Мама, Иосиф еще не приходил? — спрашивает она.

И как мелодично прозвучало в ее устах это имя! Только невеста может так певуче произносить имя своего жениха. Так мне представляется, то есть я уверен, что это так. И не только в тот раз, о котором я рассказываю, но всякий раз, когда она произносила это имя, «Иосиф» звучало в ее устах как песня. «Иосиф»! Вы понимаете? Это не просто Иосиф, а Иосиф!..

И так везде и всюду, постоянно и всегда я слышал здесь — Иосиф, Иосиф. Бывало, садятся за стол, и первый вопрос: «А где Иосиф?..», «Будет сегодня Иосиф?..», «Иосиф сказал...», «Иосиф писал...», «Пришел Иосиф?..», «Это Иосиф взял...», «Это Иосиф дал...» Иосиф-Иосиф, Иосиф-Иосиф! Хотел бы я уже видеть этого Иосифа, какой он из себя.

Само собой разумеется, что я возненавидел этого Иосифа, как какого-нибудь паука. Хотя, в сущности, что он мне сделал? Не знаю. Наверно, мальчишка мальчишкой, из тех молодчиков, или «яшек», как она их с улыбкой называет. «Яшки»! Имя это точно специально для них придумано. Это действительно всего лишь только «яшки», какие-то мелкие людишки, большей частью из того сорта, которые носят длинные волосы и черные косоворотки — как раз то, чего я не люблю...

Простите, у вас, кажется, тоже большая шевелюра и черная косоворотка. Если вы думаете, что это очень красиво, то жестоко ошибаетесь. Честное слово, смокинг с белым жилетом куда красивей! Когда я вижу черную косоворотку, мне представляются, извините за выражение, протертые штаны. Вы думаете, я им этого не сказал? Сказал. Я человек прямой, подлизываться и кривить душой не могу. Имеете что-либо против, говорите прямо в глаза. Не люблю только, когда меня обзывают «буржуем». За слово «буржуй» я и в морду заехать могу. Какой

я буржуй? Я такой же человек, как все,— все понимаю, все знаю, потому что всякие книжки и модные газеты читаю наравне со всеми. Какой же я после этого буржуй? Только потому, что ношу смокинг и белый жилет, а вы — черную косоворотку? Я говорю не о вас, я имею в виду этих самых «яшек», Иосифа, о котором здесь речь идет...

Несколько раз у нас за столом возникали такие разговоры, из которых мне стало ясно, что они меня любят точно так, как я их. Как говорится, сердце сердцу весть подает. Однако раскрывать душу, показывать, что у меня там внутри, я вовсе не обязан. К тому же я немножко подделался к ним, хотел втереться в компанию, не столько для них, сколько ради Иосифа, и не столько ради Иосифа, сколько ради нее. Досадно было, понимаете, что его имя у нее с уст не сходит. И я дал себе слово: так или иначе, пусть небо поливает меня камнями, пусть земля вверх тормашками летит,— я должен познакомиться с этой личностью. И я добился своего. Если я чего-нибудь захочу, меня уж ничто не остановит. О деньгах нечего и разговаривать. Ведь я, как уже говорил вам, коммерсант, у меня приличные доходы, деньги для меня — тьфу! и тому подобное.

Вполне понятно, что втереться в доверие к этим молодчикам было не так-то просто. Я приближался к этому осторожно, взвешивая каждый шаг. Время от времени я стал закидывать словцо, так, со стороны, о страданиях народных; охал, вздыхал, давал понять, что на такое дело я и денег не пожалею: всегда готов бросить рубль-другой.

Вы понимаете, что значит «бросить» рубль-другой? Один достает рубль, а другой бросает его. Тут большая разница. «Бросить» — это значит выхватить кошелек, вынуть несколько кредиток — извольте! — и, не считая, понимаете. Вот как я люблю! Не всегда, конечно, но в тех случаях, когда это требуется. Когда нужно выбросить четвертной, полсотни или даже сотню, рука не должна дрогнуть. Вот, например, сидите вы с компанией в ресторане, обедаете или ужинаете. И вот подают счет — пла́тите вы. Вы должны лишь взглянуть на итог внизу, разговаривая при этом о чем угодно. А когда принесут сдачу, вы не пересчитываете ее, как какая-нибудь баба при покупке лука, но берете в пригоршню и суете в карман — и все тут. Жизнь, скажу я вам, хорошая школа, и ее нужно пройти. Жить надо умеючи. Могу сказать про себя, что я жить умею, потому что знаю, что к чему, что можно, чего нельзя. Будьте уверены, я уж никогда не пересолю, и по мне вы не узнаете, ел я только что молоко или мясо.

Поглядели б вы на меня, когда я был среди «яшек», и сказали бы, верно, что я и сам такой же «яшка». То есть длинных волос я не отпустил и косоворотки не надел,— в том же смокинге и белом жилете, что сейчас. Но что же? Очень просто, я интересовался всем тем, чем они интересуются; я говорил так, как они говорят. «Пролетариат», «Бебель», «Маркс», «реагировать» и тому подобные словечки, бывало, сыплются у меня, как из рукава. Но странное дело, чем больше я к ним подделывался, тем больше они меня сторонились. Начну, бывало, повторять вот эти слова: «Пролетариат... Бебель... Маркс... реагировать»...— гляжу, мои «яшки» притихли, странно переглядываются, ковыряют в зубах. И еще более странно: деньги они у меня всегда брали. Чуть ли не каждый понедельник и четверг, понимаете, устраивали концерты, и каждый раз я у них был первой жертвой. «Джентльмен», вероятно, и сегодня возьмет билет первого ряда за три рубля?»

И «джентльмен» — другого имени я у них не имел — вынужден был каждый понедельник и четверг брать билет за трояк. Что же оставалось делать? Зато если этот «джентльмен» появлялся среди «яшек» даже в самый разгар спора, становилось сразу тихо, точно здесь никто никогда не говорил. Немые — и только! Можете себе представить, как это бесило «джентльмена»! Но что ему оставалось делать? Я вам, однако, сказал, что если я захочу, то своего добьюсь. И вот я все-таки втерся к ним, по крайней мере настолько, что мне было однажды разрешено присутствовать у них на «дискуссии». Там, сказали мне, будет выступать Иосиф. Вы, верно, понимаете мою радость: дожил, буду наконец иметь честь лицезреть этого Иосифа и даже слушать его.

Где будет эта «дискуссия» и когда, этого вы у них не узнаете, дудки! Я даже не пытался спрашивать: я знал, в свое время придут и скажут. У этих «яшек», понимаете ли, все секреты. На их языке это называется «конспирация». Я хорошо запомнил это слово. Оно записано у меня в книжке. Когда я слышу красивое слово, я его сразу записываю в книжку. Пригодится не пригодится — не знаю, во всяком случае не повредит.

И вот в один прекрасный летний день, в субботу это было, заявились ко мне двое «яшек», в черных рубахах, понятно, и зовут меня: «Идемте!» — «Куда?» — «Не все ли равно? Пойдемте с нами...» Что ж, надо пойти. И мы двинулись, далеко куда-то за город, затем в лес. По дороге все время встречались «яшки» — сидят под деревом, смотрят как будто бы в другую сторону, а сами буркнут: «Вправо!», «Влево!..» Сказать, чтобы я

боялся,— нет, конечно, глупости: чего мне бояться евреев? Просто не по мне вся эта история, оскорбляло все это: коммерсант, с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное,— дает себя вести каким-то мальчишкам, «яшкам» каким-то! Вы понимаете?

Ну ладно, что там говорить! Мы шли-шли, шли-шли, лесом да по лесу, по лесу да лесом, добрались наконец до высокой горы. И вот когда мы взобрались на нее, а потом спустились, я вдруг увидел перед собой море голов — черным-черно. Это все «яшки» примостились здесь,— пареньки в черных рубашках, девушки в блузках и просто так молодые люди. Но сколько их было! Боюсь соврать, верно тысячи три их, если не больше. А тишина-то какая: муха пролетит — услышишь! Тихонько, на цыпочках подошли мы к толпе и уселись на землю, и я стал разыскивать глазами, где же здесь «Иосиф». И я увидел... Угадайте, кто это был? Я увидел знакомое лицо, одного из тех «яшек», которые вместе со мной обедали у вдовы. Вот тебе раз!

«И только-то! — подумал я.— Вот это — тот самый Иосиф?» А я-то думал, что он бог весть какой. Скажу вам по правде, я был почти доволен, нет, я был очень доволен, что он оказался именно таким. Я мысленно сравнил его с собой, не потому, что я считаю себя каким-то красавцем, которому нет равного. Я вовсе не обманываюсь, знаю, что есть и получше меня. Но по сравнению с ним... Вы понимаете? Вот я вам обрисую его таким, каким я его увидел тогда. Прислонившись к дереву, стоял маленький, бледный, сухопарый человечек, узкогрудый, с впалыми горящими щеками, густыми бровями и короткими светлыми волосами. Но лоб у него действительно большой, высокий, белый; серые, как у кошки, глаза горят огнем. А речь его! Как он говорит! Накажи меня бог, до сих пор не понимаю, откуда у этого существа такая сила! Как это ему удается говорить так громко, так быстро, так много, так долго и с таким воодушевлением, с таким задором, с таким огнем?! Должен сказать, это была не обыкновенная речь. Так люди не говорят. Это был дьявол, заведенная машина или кто-то свыше сыпал словами, поливал огнем. А может, это вовсе дерево говорило? Мне все казалось, вот-вот это маленькое существо с болезненным румянцем на щеках и откровенными серыми глазами воспарит вслед за своим словом куда-то ввысь. Нет! Говорите что хотите,— я слыхал на своем веку знаменитых адвокатов, но такой речи я еще никогда не слыхал и, наверно, никогда не услышу.

Как долго он говорил, я не знаю — забыл про часы. Я глядел только на него и на эти головы, на рассевшихся на земле

людей, которые глотали каждое его слово, точно изголодавшиеся или истомленные жаждой...

Но кто в это время не видел «ее», тот ничего прекрасного не видел. В море голов я заметил — она сидит, поджав под себя ноги, скрестив руки на груди. Лицо сияет, щеки горят, верхняя губка вздернута, а прелестные глаза-вишенки улыбаются ему, только ему. Нечего скрывать, в эту минуту я завидовал Иосифу. Не столько его красноречию, восторженному шуму и аплодисментам, которыми его наградили потом,— нет, совсем не этому. Я завидовал тому взгляду, которым она одарила его. За один такой ее взгляд я бы отдал неведомо что. Этот взгляд был красноречивее слов. Мне казалось, я слышу звук ее голоса, ее напевное: «Ио-сиф!»

Я вам уже говорил, что для меня девушка — не бог весть что. Я девушек повидал немало, потому что я, можно сказать, человек из современных, недурен собой, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! и тому подобное. Но так на меня не глядела даже жена в блаженные дни, когда изнывала по мне. Я не поленился подойти поближе, усесться почти рядом, я вертелся у нее перед глазами, как муха, звенел, как комар над ухом. Куда там! Никакого внимания! Ее глаза, как пиявки, впились в его глаза, а его глаза тянулись к ней. И мне казалось, эти двое ничего не видят вокруг,— только друг друга: он ее, она его, а дальше им ни до кого дела нет. Муки ада, говорю вам, ничто в сравнении с тем, что я переживал. Злоба пылала в моей груди, и я не знал, против кого это — против нее, против него, против их обоих или даже против самого себя...

В тот вечер я пришел домой со страшной головной болью. В постель лег с твердым решением: пока жив, ноги моей не будет там, у вдовы. На черта они мне все сдались! Какая у меня нужда в них? Что, разве не верно? А утром я с трепетом ждал мгновенья, когда пробьет наконец два и наступит время обеда. Потом я безо всяких отправился туда и застал за столом, как обычно, всю компанию «яшек». Был здесь и «он».

Не знаю, как вы, но я, когда вижу артиста, министра или вообще знаменитого человека, то, хотя и знаю прекрасно, что это человек, как все мы: кушает, пьет, как все,— все же каждый раз, когда мне укажут на такого, то есть на артиста, министра или вообще большого человека, он мне представляется каким-то особенным, будто в нем есть нечто, чего не различишь сразу. И так вот было со мной, когда я увидел Иосифа после его речи; как будто тот же «яшка», и все же что-то в нем есть такое... И в лице у него что-то такое... А что именно — я и сам

не знаю. Но за это «что-то» я бы все отдал. Не потому, что это мне нужно. Зачем оно мне сдалось? На кой черт оно мне! Это мне нужно только ради нее. Ведь она не отходила от него ни на шаг. Даже когда она обращалась ко мне, разговаривала со мной, я видел, что в голове у нее только он. Будьте уверены, я уж кое-что смыслю в этих делах, можно сказать, тут я все науки превзошел. Мне это не дешево досталось.

И новый ад разверзся предо мной. Раньше, когда я не знал, кто такой Иосиф, и он мне представлялся высоким, интересным, здоровым, настоящим мужчиной, я спокойно не мог вспомнить о нем, я завидовал ему и ненавидел его одновременно, как только можно ненавидеть. Но теперь, когда я увидел этого «мужчину», когда я убедился, что это такой же «яшка», как и все, меня зло взяло. Не знаю, на кого я злился: на нее ли, за то что она боготворит его (что боготворит — это и слепому видно), на него ли, за то что бог наградил его даром речи, или на себя, за то что я не обладаю такой способностью... Не потому, что это мне очень нужно. На что оно мне сдалось? И не потому, что я какой-нибудь безъязыкий. Не думайте! Если захочу, я тоже могу говорить. Я уже один раз говорил на заседании, да еще где — в Купеческом клубе. Люди передавали потом, что я говорил неплохо, очень даже неплохо...

Нет, мое состояние, боль мою словами не выразить! Это надо понять, нет, это надо почувствовать, надо побыть на моем месте — приходить каждый день в столовую, видеть эту чудную головку, слышать ее пленительно-сладкий голос, ловить ее смех, который растекается по всем жилкам, и в то же время видеть тут его и понимать, что все это для него, только для него и ни для кого другого. Нет, его нужно убрать с дороги! Нужно избавиться от него! Но как? Ведь не пойду же я его травить, не стану и стрелять: не злодей же я какой-нибудь, и опять же еврей. Вызвать на дуэль? Фу! Только в романах вызывают на дуэль, да и то не верю, что это правда. Это просто так пишут — для красоты. Так я думаю. И тут мне пришла замечательная мысль: дай-ка я с ним самим потолкую! Отдам-ка ключи самому вору!.. Славно, не правда ли? И, не долго думая — не люблю долго думать,— я обращаюсь к нему однажды после обеда:

— Знаете, у меня к вам важное дело. Мне нужно с вами поговорить.

А он? Хоть бы шелохнулся! Ни-ни. Только уставился в меня своими простодушными серыми глазами, точно спрашивал: «Ну, слушаю».

— Нет,— говорю ему,— не здесь. Я хотел бы с глазу на глаз.

— Пойдемте,— говорит он мне, выходит со мною на улицу, становится против меня и ждет, как бы спрашивая меня: «Что же вы молчите?»

— Не здесь,— отвечаю я.— Когда вас можно дома застать?

— Я мог бы к вам зайти...— начал было он, но сразу осекся.— Если хотите... будьте у меня завтра (он вынимает часы) между половиной десятого и половиной одиннадцатого утра. Вот мой адрес.

Потом он долго пожимал мне руку, глядел мне в глаза, точно напоминал о конспирации.

— Конспирация, не беспокойтесь! — отвечаю я, и мы расходимся в разные стороны.

Конечно, я в ту ночь не спал: понимаете, лежал и мучился — все думал: что я ему скажу? С чего начну? И хорош я буду, если он вдруг скажет мне: «Господин «джентльмен», что это вы суетесь не в свои дела? С каких это пор, господин «джентльмен», вы записались в родню к девушке, которую один из «яшек» уже с давних пор называет своей невестой?»

Что ему ответишь на это? Или что я сделаю, если он, скажем, схватит меня за шиворот, да трах — со всех ступенек? То есть бояться мне нечего. Чего мне, в самом деле, его бояться! Ведь я пришел к нему по делу. Да — да, нет — нет! А швыряться тут нечего.

Так в мучительных думах прошла ночь. А назавтра в половине десятого я уже взбирался к нему на чердак, куда-то к черту на кулички; пересчитал, может, две с половиной сотни ступенек. Я застал его дома. У него были еще двое «яшек», которые при виде меня с недоумением переглянулись, точно спрашивали друг друга: «Что здесь нужно этому «джентльмену»?» Но мой молодчик мигнул им, чтобы они исчезли, и те сразу поняли, чтó от них требуется,— схватили шапки и испарились.

Оставшись с Иосифом наедине, как говорится, с глазу на глаз, я закатил такую речь: «Так, мол, и так. Я вот человек коммерческий, с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, а деньги для меня — тьфу! и тому подобное. Это не мешает мне знать, что на свете делается. Потому что я, надо вам сказать, из современных, читаю все новые газеты, журналы...» Тут я как сыпану этими модными словечками: «Пролетариат... Бебель... Маркс... реагировать... конспирация» и тому подобное.

Выслушав меня, Иосиф совсем просто и мягко спросил:

«Чем же я вам могу служить?» — «Да совсем пустяком, отвечаю, советом...» — «Я?.. Вам?.. Советом?..»

И он уставился на меня своими простодушными серыми глазами, точно хотел сказать: как это можно мне, молокососу, давать советы такому «джентльмену»? Вы понимаете, ему самому все это казалось несуразным. А мне и подавно. Но что поделаешь! Начал, значит, надо доводить до конца. Взял я да и выложил все, что меня гнетет. Открыл я перед ним всю душу, рассказал все — от первой минуты, когда я ее увидел, до сегодняшнего дня. Мне, мол, теперь жизнь не мила. Сгубила она меня. Я вовсе не привык, говорю, из-за девушки, будь она даже царской крови, так «реагировать», потому что хоть я и человек из современных, все же коммерсант с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! и тому подобное.

Выслушал он меня и снова говорит мягко и просто: «Мой совет таков — поговорите с ней самой».— «Ну, а вы?» — спрашиваю. «Я не хочу...— говорит. И осекся.— Я не могу... Мне некогда заниматься такими делами».— «Нет, говорю. Я об этом и не думал. Я вовсе не требую, чтобы вы с ней говорили. Как могу я это требовать? Я только хочу знать, что вы скажете...» — «Что же я могу сказать, если ее чувства таковы же, как и ваши...» — говорит он мне просто и деликатно. Потом вынул часы, точно хотел напомнить, что разговор, собственно, совершенно окончен... Смысл поглядывания на часы мне совершенно ясен. Когда я хочу от кого-нибудь избавиться, я тоже так поступаю. Вся беда в том, что не каждый догадывается, чего от него хотят. Но я сразу поднялся, тут же попросил, чтобы все осталось между нами,— «конспирация», так сказать, и помчался домой.

Что вам сказать! Радость — это не то слово. Восторг? Вот это то. Я был на седьмом небе от счастья! Каждого встречного я был готов обнять и расцеловать. Все казались мне теперь прекрасными. Об Иосифе и говорить нечего: в тот день я полюбил его, как родного брата. Не стыдись я, вернулся бы и расцеловал его, а если б не боялся обидеть, преподнес бы ему хороший подарок: золотые часы с хорошей цепочкой и массивным брелоком.

С большой радости я отправился в клуб. Понимаете, я иногда захаживаю в клуб, как говорят, между ночью и днем. Вовсе не потому, что я люблю карты. Я сам не играю. Люблю лишь смотреть, как играют, да иногда, и то очень редко, «мазать»... Тут одно из двух: либо ты забираешь, либо тебя забирает. На этот раз мне везло — карта шла, как никогда до сих пор. Я сорвал порядочный куш, кликнул «босую братию» (так

называют в нашем клубе проигравшихся дотла) и закатил ужин с шампанским «редерер».

А когда я добрался домой, было уже совсем светло. Тут я нашел у себя на столе телеграмму. Меня вызывали срочно по важному делу. Вы, вероятно, знаете, что наш брат, когда он получает деловую телеграмму, бросает все. Тут уж пропадай корова вместе с веревкой! К черту все! Сел и поехал.

Уезжал я, собственно, на два дня, а задержался, как водится, три недели. Вернувшись, конечно, немедленно помчался в столовую. Там был полный переворот. От моих «яшек» и следа не осталось. А те, которые появлялись, были совсем непохожи на прежних — что-то очень уж они были обеспокоены, возбуждены, озабочены. Наскоро проглотив обед, как говорится, стоя на одной ноге, они сразу же расползались с опущенными головами, точно собаки после дождя — один туда, другой сюда.

Но больше всего меня удивило — где Иосиф, почему его не видно? Присматриваюсь ближе к моим «яшкам» — что-то они слишком уж сдержанны, все таятся — шу-шу да шу-шу! Не просто конспирация, а конспирация на конспирации. Приглядываюсь к «ней», и она молчит, задумчива и очень уж «конспиративна». Прекрасные щечки уже не пылают, глазки-вишенки не улыбаются. Куда девались ямочки на щеках, которые сами звали: поцелуй меня! Не слышно веселого смеха, который заставлял смеяться все кругом: и стол, и стулья, и стены, и все живое.

Вы, конечно, понимаете, что особенно сильно я по Иосифу не скучал. Я ломал лишь голову: куда он мог деться? Надолго ли это он? Навсегда ли? Пишет ли он ей письма? Спросить у этих «яшек»? Но разве они ответят? Они глядят вам в глаза, ковыряют в зубах и молчат, точно хотят сказать: молодой человек, будете все знать, скоро состаритесь...

В одно прекрасное утро захожу в столовую и застаю ораву «яшек» за столом. Один читает газету, остальные слушают. Это, должно быть, об Иосифе,— не иначе. Откуда я знаю? По ней вижу. «Она», в белом передничке, сложив руки на груди, стоит тут же в сторонке, а лицо ее сияет, щечки горят, верхняя губка вздернута,— все точно, как тогда в лесу. Разница лишь в том, что тогда эти красивые вишенки-глаза смотрели на него, а теперь они блуждали где-то в пространстве, верно, искали все его, все Иосифа.

Что тут говорить? Я еле дождался, когда они положат газету; заглянув в нее, я сразу получил ответ на все мои недоуменные вопросы: *моего Иосифа взяли как следует в оборот*. Знал я, однако, что он плохо кончит, что не сегодня-завтра

обязательно попадется. Что там такое, собственно, с ним — было не ясно, но совершенно очевидно, что по щечке его там не потреплют, медом он не полакомится и благовониями тоже наслаждаться не будет...

Что творилось на душе у меня — передать я не в состоянии. Сказать, чтобы все это очень волновало меня, не могу — ведь он у меня все-таки стоял поперек горла. И опять-таки если скажу, что меня это радовало, будет тоже неверно. Такого ведь и злейшему врагу не пожелаешь. Наоборот, я от всей души желал, право, можете мне поверить, чтобы бог явил чудо, и его бы... Совсем, так сказать, оправдали?.. Нет, этого ведь не может быть... Пусть бы его наказали не так сильно... Вы понимаете?

Несколько дней, говорю вам, я ходил как в чаду, места себе не находил. А когда я узнал, что вся эта канитель, слава тебе господи, кончена и завтра уже выносят приговор, клянусь жизнью,— а я все-таки дорожу ею,— я ночь не спал, так-таки и не смыкал глаз: ворочался с боку на бок и в конце концов вскочил и пошел в клуб, не для игры, конечно, я надеялся здесь хоть на минуту забыться. Слишком уж тяжело было на душе. Я чувствовал, почти знал, что дела Иосифа плохи.

Так оно и случилось. Шагаю в обычное время в столовую, вижу, выскакивают оттуда двое «яшек», всклокоченные, расстроенные, не дай господи! За обедом я застал несколько посторонних человек. К столу подает уже не «она», а мать; сама мать тоже, как говорится, не в своей тарелке, я бы поклялся, что она плакала.

Не долго думая, отозвал я ее в сторону:

— Где ваша дочь?

— У себя,— отвечает мать и показывает глазами на маленькую клетушку с дверкой.

Должен вам признаться, мы вели с матерью своеобразную игру. Напрямик я с ней никогда не говорил, но понимал, что мое сватовство было бы ей по душе. В самом деле, молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное... почему бы ей не хотеть? Я не раз намекал, что ее дочь меня очень интересует. Доказательство: не нравится мне, что девушка сама подает к столу... Угадайте, что мне ответила мать: «Не нравится, что она подает? Подавайте сами!»

Ну, что тут поделаешь?

Да, на чем же мы остановились? На маленькой комнатке. Каким манером вошел я в эту комнатку, каковы были мои первые слова — режьте меня, ничего не помню. Помню лишь, она

сидела у окна, все в том же белом передничке, сложив руки на груди. Бледная, ни кровинки в лице, верхняя губка вздернута, а глазки-вишенки, подернутые легкой дымкой, глядели задумчиво куда-то вдаль. И ни единой слезинки, ни намека на слезы! Только немая печаль лежала на чуть-чуть наморщенном белом лобике.

Клянусь жизнью,— а жизнью своей я дорожу,— в эту минуту она была так хороша, так божественно прекрасна, что я готов был упасть к ее ногам, целовать следы ее ног.

Увидев меня, она не всполошилась, не вскочила с места, не спросила, что мне нужно. Я сам взял стул, уселся против нее и стал говорить, говорить — без конца, без краю. Фонтан красноречия забил из моих уст, и я говорил, говорил, говорил. Что я там говорил, я ведь вам сказал,— не знаю. По-видимому, смысл был все тот же: я хотел открыть перед ней душу, утешить ее; намекал, что ей ни к чему так сильно «реагировать». На нашем языке это означает: пусть не принимает слишком близко к сердцу, для этого она еще слишком молода, слишком свежа, слишком хороша. Я ей внушал, что еще неизвестно, где ее счастье обретается. Вот, например, я — молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное... Да пусть только слово скажет, пусть скажет, что она готова забыть прошлое: не было никакого Иосифа, никаких «яшек» и никакой «конспирации»...

Понимаете, я и сам не знаю, откуда у меня взялся дар слова. А она, думаете, что-нибудь ответила? Ничего. Она сидела молча и глядела, глядела, глядела... Что мог означать этот взгляд? Он мог означать: «Вы это на самом деле? Не верится что-то». Или: «Я подумаю». Или: «Оставьте меня в покое». А может быть, вовсе: «Ио-сиф!» Понимаете, не просто Иосиф, а Ио-сиф!

Какими глазами смотрел я потом на самого себя! Врагам пожелаю это испытать. Несколько дней подряд мне стыдно было на людях показаться. На душе у меня было мрачно, я чувствовал себя так, точно я сам в какой-то мере виноват в несчастье, свалившемся на них. Сколько я ни старался выбить из головы, забыть его, вот этого Иосифа,— никак не мог.

Надо вам сказать, что снам я не придаю значения, покойников не боюсь, в колдовство не верю. Но, клянусь вам честью, не проходило ночи, чтобы Иосиф не явился мне во сне: он будил меня и показывал рукой вокруг шеи,— не про меня будь сказано,— там у него осталась синяя полоса. Как вы думаете, можно придавать какое-нибудь значение снам? Вот я знаю факт... Приключилось это давно с моим дядей... Но ведь это глупости!

Какое мне дело до снов! Просто я немного расстроился, потерял аппетит, лишился сна. От страха, думаете? Нет! Но вы понимаете: знакомый человек, сколько раз за одним столом сидели... Тут я решился. Была не была. Собрался с духом и отправился снова туда, в столовую.

Прихожу. Где там столовая, какая столовая? Как и не бывало — даже место высохло. «Куда девалась столовая?» — «Уже несколько дней как выехала».— «Что значит выехала?» — «Очень просто: выехала — значит, выехала». Бегу во двор, звоню домовладельцу: «Куда девалась столовая? Куда переехала?» Ищи ветра в поле. Никто не знает, никто не может ответить, куда она девалась. Начинаю шуметь, вламываюсь в амбицию. А я если вламываюсь в амбицию, тут упаси господи. Клянусь вам, я бегал как сумасшедший, кидался из конца в конец. А «яшки»? Как назло, никого! Хоть бы на развод одного оставили.

Тогда я отправился в полицию «расследовать», то есть навести справку.

Явился. И тут меня взяли в оборот: «Что надо?» Говорю: «Так, мол, и так, куда девалась столовая?» — «Какая столовая?» Отвечаю: «Такая-то и такая».— «Зачем она вам понадобилась?»

Вы понимаете, поди расскажи им, зачем она мне понадобилась. Я молчу. Тогда они спрашивают снова и снова.

Что и говорить, доставил же я себе удовольствие!.. Уж меня там погоняли! Черт меня понес туда! Хотя, с другой стороны, чего мне, собственно, бояться? Молодой человек — коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное. В подобные дела я не впутываюсь. Как говорят, не евши чесноку... чего же тут бояться? Но я просто не люблю таких дел, понимаете, не люблю,— и все тут. Я проклял самого себя... Вот так столовая! Вот так девушка! Вот так Иосиф!

Я и сам бы рад забыть «ее», да не тут-то было. Из головы нейдет. До сих пор стоит предо мной в сверкающем беленьком передничке; горят глазки-вишенки, губка вздернута, ямочки на щеках зовут: поцелуй меня! А в ушах все еще звенит ее смех. Частенько во сне я слышу ее голосок. Она зовет: «Ио-сиф! Иосиф!» Я просыпаюсь в холодном поту. Потому что чуть вспомню о ней, как на ум приходит он...

Видите, я не жду, чтобы вы достали часы. Я сам знаю, что все на свете должно кончаться. Извините, что я отнял у вас слишком много времени. Дайте, прошу вас, руку и пообещайте, что все рассказанное здесь останется между нами, как говорится,— «конспирация».

Адье!

МЕЛАМЕД БОЙАЗ

1

То, что я пережил в тот день, когда мать взяла меня за руку и отвела в хедер к меламеду Бойазу, чувствует, вероятно, малый цыпленок, когда его несут к резнику. Бедный цыпленок весь дрожит, трепещет. Понимать-то он не понимает, но чувствует, что тут дело пахнет не просом, а чем-то другим... Недаром мать утешала меня, говорила, что добрый ангел сбросит мне грош с потолка, недаром подарила она мне целое яблоко и поцеловала в лоб, недаром просила Бойаза, чтобы он обращался со мной помягче, бога ради помягче, потому что «дитя лишь недавно болело корью».

Так сказала мать, показав на меня рукой, словно передавала Бойазу дорогой хрустальный сосуд, с которым надо обращаться очень осторожно, не то он разобьется.

Довольная, счастливая, она ушла домой, а «ребенок, недавно болевший корью», остался. Сначала я немного поплакал, но потом вытер глаза и возложил на себя иго «прилежания и благочестия», поджидая доброго ангела, который вот-вот сбросит мне грош с потолка.

Ох уж этот добрый ангел! Ну и добрый же ангел! Лучше бы уж мать и не поминала его. Потому что, когда Бойаз подошел ко мне, схватил меня своей жесткой волосатой рукой и толкнул к столу, мне тошно стало чуть не до обморока. Когда же я задрал потом голову к потолку, то сразу же получил изрядную нахлобучку от меламеда. Он дернул меня за ухо и крикнул: «Негодяй, куда смотришь?»

Ребенок, только «недавно болевший корью», конечно, расплакался: «Ма-ма!» — и тогда лишь по-настоящему узнал вкус учительской розги: «Не смотри куда не следует!», «Не реви, как теленок,— ма-ма!»

2

Метод учителя Бойаза был очень прост: розги. Почему именно розги? Он объяснял это с помощью логики, приводя в пример лошадь. «Почему лошадь бежит? Потому что боится. Чего лошадь боится? Кнута. Точно так же с детьми. Ребенок должен бояться: бояться бога, бояться меламеда, бояться родителей, бояться греха, бояться дурной мысли... А для того, чтобы ребенок всегда боялся, надо ему отстегнуть штанишки, положить его как полагается и всыпать десятка два горяченьких: березовая каша — пища наша! Да здравствует розга! Да здравствует плеть!»

Так говорит Бойаз и берет в руки плетку, он берет ее медленно, не спеша, осматривает со всех сторон, словно священный цитрус, потом серьезно, с толком принимается за работу; при этом подпевает, покачивая головой:

Березовая каша —
Пища наша.

Чудеса, да и только! Бойаз никогда не считает розог и никогда не ошибается. Бойаз порет и никогда при этом не сердится. Бойаз вообще человек не сердитый; он сердится только тогда, когда мальчик не дает себя пороть, рвется из рук, дрыгает ногами. Тогда дело другое. Тогда глаза у ребе наливаются кровью, и он порет без счета и без обычного припева: «Мальчик должен лежать спокойно, когда ребе его порет. Мальчик должен вести себя прилично, даже когда его порют...»

Сердится еще Бойаз, когда мальчик смеется над розгами (есть такие ребята, которые смеются, когда их порют; говорят, это болезнь такая). Смех для Бойаза самое нестерпимое. Бойаз сам никогда не смеялся и не терпит, когда другие смеются. Можно смело обещать самую крупную награду человеку, который заверит честным словом, что видел, как Бойаз смеялся. Бойаз не из тех людей, что смеются. Его лицо и не приспособлено к этому. Если бы Бойаз вздумал смеяться, лицо у него выглядело бы хуже, чем у человека, который плачет (бывают же такие лица на свете!). Да и в самом деле, что это за занятие — смех? Смеются одни пустоголовые бездельники, шуты гороховые, шалопаи. Но люди, занятые добыванием хлеба насущного,

возложившие на себя иго «прилежания и благочестия»,— им некогда смеяться! Бойазу всегда некогда. Он либо учит, либо порет,— вернее, он учит, не переставая пороть, и порет, не переставая учить; вообще трудно отделить одно от другого и указать, где у него кончается учение и где начинается порка.

А порол нас Бойаз, да будет вам известно, всегда по заслугам. Причина всегда находилась: за то, что не учились прилежно, за то, что не желали молиться, за то, что не слушались родителей или ребе, за то, что не смотрели в книжку, отвлекались от книжки, за то, что слишком торопливо молились, слишком медленно молились, слишком громко говорили, слишком тихо говорили, за оборванный лацкан, за пуговицу, за дыру, за царапину, за грязные руки, за пятно в молитвеннике, за лакомство, за бегство, за озорство и так далее и так далее, без конца.

Это он порол за грехи, «содеянные на виду у всех». Но он порол еще и за грехи, «содеянные втайне»; так, например, он порол всех каждую пятницу, в канун праздников и перед каникулами и пояснял это так: «Если вы этих розог еще не заслужили, то, с божьей помощью, заслужите в будущем». А то выпорет потому, что кто-либо, свой или чужой, хотел вам услужить и пожаловался ребе; или порол и намекал при этом: «Ты, верно, и сам знаешь, за какие добрые дела тебя порют». А то выпорет из любопытства: «Ну-ка, посмотрим, как ведет себя мальчик под розгой...» Одним словом, розги, плетка, страх и слезы — вот что властвовало тогда в нашем маленьком глупом детском мирке, и не было ни способа, ни средства, ни луча надежды на выход из этого ада.

А добрый ангел, о котором говорила мать? Где же он, этот добрый ангел?

3

Должен признаться: по временам у меня закрадывалось сомнение в существовании доброго ангела. Искра неверия слишком рано закралась в мою детскую душу. Слишком рано стал я подумывать о том, что, видимо, мать обманула меня. Слишком рано я познакомился с чувством, имя которому «ненависть». Слишком, слишком рано возненавидел я своего ребе Бойаза.

Да и как было не ненавидеть его? Как тут не ненавидеть ребе, который не дает и головы поднять: «Этого нельзя!», «Там не стой!», «Туда не ходи!», «С тем не говори!» Как не ненавидеть человека, у которого нет ни капли жалости, который испытывает удовольствие при виде чужих страданий, купается в чу-

жих слезах, пьянеет от чужой крови? Что уж, кажется, может быть позорнее порки? Что может быть унизительней, чем стоять в углу раздетым догола, в чем мать родила? Но Бойазу этого мало. Бойаз требует от тебя, чтоб ты сам разделся, сам скинул штанишки, сам, извините за выражение, задрал рубашонку на голову, сам лег, тысячу раз прошу извинения, лицом вниз, а остальное уж сделает Бойаз:

Березовая каша —
Пища наша.

Бойаз порол не один, ему помогали «певчие»,— так он называл своих помощников. Конечно, под наблюдением Бойаза, чтоб они, упаси бог, как-нибудь не пропустили ни одной розги. «Поменьше науки, побольше плетей,— говорил Бойаз и объяснял эту теорию с помощью логики: — От излишних занятий тупеют способности, а лишняя розга вреда не принесет. Ибо, говорил Бойаз, давайте рассудим: наука, преподаваемая ребенку, направляется прямо в мозги, посему она вызывает смятение в мыслях и дурманит голову; а плети — наоборот: пока удары передаются от задней части через все тело в голову, они очищают кровь и проясняют мысли,— теперь вам понятно?..»

И Бойаз не переставал очищать нашу кровь и прочищать нам мозги.

Увы! Мы больше не верили в доброго ангела, который приходит с неба. Мы уже уразумели, что это была выдумка, сказка, чтоб заманить нас к Бойазу в хедер, и мы уже начали вздыхать и сокрушаться над нашими муками, негодовать и изыскивать средства, как избавиться от этого тяжкого ига.

4

В сумеречные минуты, между днем и ночью, когда красное огненное солнце на целую ночь прощается с темной остывшей землей; в сумеречные минуты, когда веселый, звонкий день уходит и на его место тихими шагами приближается грустная, тихая ночь со своей печальною, тихою тайной; в сумеречные минуты, когда тени взбираются по гладким стенам, растут вдоль и вширь; в сумеречные минуты, когда наш ребе уходил в синагогу, а его жена возилась с козой, с кувшинами, полными молока, или была занята у котла с борщом,— тогда мы, детвора, собирались все вместе в хедере, за печью, усаживались на полу, поджав под себя ноги, сбивались в кучу, как стадо невинных

ягнят, и там, в темноте, толковали о нашем страшном губителе, об этом злом духе — Бойазе. Мальчики повзрослее, из старшей группы, которые учатся у Бойаза уже не первый год, рассказывают о нем ужасные вещи, клянутся всеми клятвами, что Бойаз не одного ученика запорол насмерть, что Бойаз трех жен в гроб вогнал, уморил своего единственного сына и тому подобные страшные истории, от которых волосы становятся дыбом.

Старшие мальчики рассказывают, а младшие слушают, слушают со вниманием. Черные глазки блестят в темноте, детские сердца трепещут, и мы приходим к выводу, что у нашего меламеда Бойаза нет души, а человек без души подобен хищному зверю, уничтожить которого сам бог велел... Тысячи планов, тысячи наивных детских планов рождаются в наших головах, как избавиться от этого изверга. Глупенькие дети! Эти наивные детские планы лежали глубоко затаенные у каждого в душе. Мы молили бога о чуде: сгорел бы, например, хедер, унес бы нечистый плетку... или ребе. Но эту последнюю мечту мы боимся высказать. Воображение у ребят работает, фантазия разгорается, и мечтания, чудесные, сладостные мечтания возникают наяву: вырваться бы на волю, побежать с горы вниз, поболтать босыми ногами в воде, поиграть в лошадки, перескочить через плетень — добрые, сладостные, глупые мечтания, которым не суждено осуществиться, потому что вот уже слышен знакомый кашель знакомого нам человека, стук знакомых каблуков, шлепанье знакомых штиблет, и у нас стынет кровь, цепенеет, замирает все тело. Мы снова садимся за Священное писание, за служение всевышнему, за уроки и молитву, с такою же точно охотой, с какой идут на эшафот или на виселицу. Мы занимаемся, а наши уста шепчут: «Господи, владыка мира, придет ли желанный конец этому фараону, этому Аману, этому Гогу и Магогу? Придет ли когда-нибудь время, когда мы будем избавлены от этого тяжкого, мрачного ига? Нет, никогда! Никогда! Никогда!»

Вот к каким мыслям приходили мы — невинные, глупые дети.

5

— Ребята! Хотите выслушать отличный план, как нам избавиться от этого изверга?

Так обратился к нам однажды в тяжелую минуту мальчик из старшей группы, известный сорванец, Велвл, и глаза его блеснули в сумраке, как у волка. Вся детвора окружила его, чтобы выслушать план, придуманный им,— как избавиться от нашего

изверга. И Велвл, сын Лейб-Арьи, приступил к изложению своего прекрасного плана. Он начал целою речью о том, что нам уже невмоготу переносить этого Бойаза, что этот дьявол купается в нашей крови, а нас он считает чем-то хуже собак, потому что собака, когда ее ударят, поднимает визг, а нам и этого не разрешается. И так далее, и так далее...

А затем Велвл обратился к нам:

— Послушайте, ребята, что я вам скажу: я вам задам один вопрос.

— Спрашивай! — говорим все мы в один голос.

— Что будет, если один из нас захворает?

— Что же, нехорошо это,— отвечаем мы.

— Нет, я не про то... Я вот о чем: если кто-либо из нас захворает, придет он в хедер или останется дома?

— Конечно, дома останется,— кричим мы все в один голос, а Велвл продолжает:

— Ну, а как быть, если двое из нас захворают?

— Тогда оба сидят дома.

— Ну, а если трое? — не перестает спрашивать Велвл, а мы не устаем отвечать.

— Тогда трое сидят дома.

— Что же будет в том случае, если мы все вдруг захвораем?

— Тогда мы все будем сидеть дома.

— Пусть же хворь одолеет нас всех сразу,— заявляет довольный Велвл, а мы отвечаем ему сердито:

— Сохрани господь, что ты, спятил?

— Я-то не спятил, пока в своем уме, а вот вы ослы — это уж ясно. Разве я предлагаю захворать всерьез? Ведь я предлагаю прикинуться больными, чтоб не ходить в хедер. Поняли наконец?

Так говорит нам наш товарищ Велвл, и мы начинаем понимать его план, и план этот нам приходится по душе, и мы начинаем гадать, какую бы это болезнь придумать? Один предлагает зубную боль, другой — головную, третий — боль в животе, а четвертый — глистов. И в конце концов мы решаем, что болеть у нас будут не зубы, и не голова, и не живот, и глистов не нужно. А что же? У всех у нас сразу должны заболеть ноги, потому что во всех других болезнях доктор тотчас разберется, а если мы пожалуемся ему: ноги болят, ногой шевельнуть не могу, — попробуй разгадай такую болезнь!

— Помните, ребята, завтра не встаем с постели. А чтобы никто не подвел, дадим друг другу руку и поклянемся, что завтра никто не приходит в хедер!

Так воскликнул наш товарищ Велвл, и мы даем друг другу слово и клянемся всем святым, что есть на свете.

В тот вечер мы шли домой веселые, оживленные, пели песни, как богатыри, которые придумали средство победить врага, выиграть бой.

Ребята! Мы приближаемся к самому интересному месту в нашей истории, и я понимаю, вам хочется знать, чем кончился этот простодушный детский план, эта ребячья забастовка? Я понимаю, вы хотите знать, сдержали ли мы слово? Как выглядели мы все, когда целым хедером внезапно захворали, и притом одной и той же болезнью? Что сказали родители? Что сделал наш ребе? И добились ли мы того, к чему стремились?

Жаль, дети, что я не могу вам рассказывать дальше, ведь сейчас канун праздника, и я вынужден прервать свой рассказ на самом интересном месте, отложив конец до другого раза... И так как нам пора распрощаться, я хочу вам сообщить лишь вкратце, что Бойаз жив и поныне. Но что это за жизнь! Он давно уже не меламед. Что же он делает, чем живет? Просит милостыню. Если случайно встретите его (его нетрудно узнать: он хромой), подайте ему милостыню; жаль беднягу, его песенка спета.

ТРИ ВДОВЫ

Повествование холостяка, закоренелого,
к тому же вспыльчивого

1

ВДОВА НОМЕР ОДИН

— Ошибаетесь, уважаемый,— не все старые девы несчастны, не все старые холостяки эгоисты. Вы сидите в кабинете с сигарой в зубах, с книжкой в руках, и вам кажется, что вы проникли в самые глубокие тайники души, все уже знаете, что нет для вас больше неразрешенных вопросов. И особенно, когда вы, с божьей помощью, отыскали такое словечко, как «психология»... Штука ли — пси-хо-ло-гия!.. А знаете ли вы, что такое психология? Есть растение такое — петрушка... На вид неплоха и пахнет приятно, приправишь ею кушанье — вкусно. Вот и психология — та же петрушка. Но попробуйте жевать одну петрушку!.. Не хотите? Так что же вы мне навязываете «психологию»? Ежели хотите знать по-настоящему, что такое психология, то садитесь, пожалуйста, и слушайте внимательно, что я вам расскажу. Потом будете высказывать свое мнение насчет того, откуда берутся всякие несчастья, где кроются причины эгоизма и так далее.

Вот я — старый холостяк и старым холостяком умру. Почему? Тут особые обстоятельства... Коль скоро вы спрашиваете, почему, и готовы выслушать меня, то вот это и есть по-настоящему психология! Главное, не перебивайте меня вопросами — как, да что, да почему... Не люблю, когда меня перебивают. Я, как вы знаете, не без капризов, а в последнее время и нервы пошаливают... С ума я не сошел, не пугайтесь! Терять рассудок — это больше подходит вам, вы человек женатый. А мне

нельзя, мне полагается быть в здравом уме и твердой памяти. Я обязан быть здоровым. Это вы и сами подтвердите. Короче говоря, вопросов прошу не задавать. Когда я расскажу всю историю и что-нибудь вам покажется непонятным, тогда можете предъявлять ко мне претензии. Ну? Все? Так вот, садитесь сюда, на мое место, а я, с вашего позволения, сяду в качалку. Я тоже, знаете, люблю помягче и поудобней... Да и вам здесь лучше будет,— не уснете...

Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни.

Звали ее Пая, а прозвали — «молодой вдовой». Почему? Начинается история: почему да отчего? Что ж тут непонятного? Раз называли «молодой вдовой», значит, она была молодая и была вдовой. Я был моложе ее. На сколько? Не все ли равно? Говорю — моложе, значит — моложе. Словом, нашлись люди, у которых язык не на привязи, и стали поговаривать о том, что я, мол, холостяк, а она — молодая вдова... Поняли? Иные меня даже поздравляли, желали счастья. Поверьте мне, а не верите — тоже беда не велика. Хвастать мне перед вами ни к чему. Я был с ней близок так же, как вы близки со мной... Просто мы были добрые друзья, любили друг друга. Да и что тут удивительного? Я был знаком еще с ее мужем. И не только знаком, но и дружил. Я не говорю, что мы были друзьями. Я говорю, что мы были дружны. Это — разные вещи: можно дружить, но не быть друзьями, и, наоборот, быть очень близкими друзьями, но не дружить. Таково мое мнение. Вашего мнения я не спрашиваю! Итак, у нас с ее мужем велась дружба, мы играли в преферанс, иной раз в шахматы. Говорят, я первоклассный шахматист. Не хвастаю перед вами! Возможно, что есть игроки получше меня. Передаю только то, что говорят... Муж ее был человек молодой, способный и развитой, к тому же знающий, очень даже знающий. Самоучка, в гимназии и в университетах не учился; дипломов никаких не получал. Ломаного гроша не стоят все ваши дипломы! Что? Вы не согласны? Не надо! Не стану спорить! Он был богат, очень богат. Хотя я не знаю, что, по-вашему, называется быть богатым. У нас человека, у которого свой дом, свой выезд, да еще прибыльное дело к тому же, принято считать богатым. Мы не шумим, не гремим, до небес не возносимся, двигаемся потихонечку да полегонечку. Так вот. Были у него дела, и жилось ему хорошо. Приходить к ним доставляло большое удовольствие: когда бы ни пожаловали, вы всегда желанный гость. Не то что у других: в первый раз придете, не знают, где и посадить вас; в следующий раз вас принимают уже не так ра-

душно, а в третий раз встретят так холодно, что простудиться можно... Нечего улыбаться: речь идет не о знакомых... Туда, бывало, попадешь, тебя накормят, напоят, примут как родного. Чего больше? Вот к примеру,— прошу извинить меня,— пуговица на жилетке оборвется, ее тут же пришьют! Смеетесь? По-вашему, это смешно. Пуговица! Что такое пуговица? Пуговица, друг мой, для нашего брата холостяка — великое дело! Целый мир! Из-за пуговицы однажды скверная история приключилась: молодой человек пришел на смотрины, а ему кто-то с усмешкой показал, что у него пуговицы не хватает... А тот вернулся домой и повесился... Однако не задерживаюсь на этом: не люблю припутывать посторонние вещи... А жили они — муж и жена — как голубки. Уважали друг друга гораздо больше, чем многие из нынешних, даже из самых что ни на есть «высокопоставленных». Я никого задевать не собираюсь. А если вы другого мнения, меня это ничуть не трогает. Итак, продолжаю свой рассказ.

Однажды Пиня, муж Паи, приехал домой. Слег в постель, прохворал дней пять, а на шестой день нет Пини! Что? Как? Почему? Не спрашивайте! У него чирий на шее вскочил, надо было вскрыть, а его не вскрыли. Почему? Потому! На то и врачи на белом свете! Привел я к нему двух врачей, и стали они спорить. Один настаивает вскрывать, другой возражает — не надо. А больной тем временем скончался. Что тут скажешь! Подумаешь иной раз, сколько людей они на тот свет отправили,— волосы дыбом встанут. Родную сестру мою отправили! Думаете, дали ей яду? Я ведь не сумасшедший, чтобы говорить такие глупости! Отравили — значит, не дали того, что нужно. Дали бы ей вовремя хинину, она, может, и осталась бы в живых... Не беспокойтесь, я знаю, на чем остановился. Итак, потеряли мы нашего друга Пиню. Как выразить свое горе? Брата, отца родного не так было бы жалко! Шутка ли — Пиня! Точно годы, многие годы жизни отняли у меня. Боль какая! Несчастье какое! А вдова! Осталась с крошечным ребенком на руках,— Розочка, ангел... Единственное наше утешение! Если бы не ребенок, я не знаю, как бы мы все это пережили,— и она и я! Я не женщина и не мать, чтобы ни за что ни про что расхваливать ребенка. Но если уж я говорю, что ребенок был на редкость удачный,— можете поверить мне на слово. Глядишь на него — не наглядишься. Ну, словом,— плод любви двух замечательно красивых людей. Не знаю, кто из них был лучше — он или она? Пиня был красив, Пая была прелестна. Глаза у ребенка были отцовские — голубые. Любили мы этого ребенка оба, но я и сам не знаю, кто больше — она или я? Скажете, как это возможно? Она — мать,

а я — чужой? Ничего не значит. Надо смотреть глубже: моя привязанность к дому, жалость к вдове, сочувствие к бедной сиротке, очаровательному ребенку, и то, что я одинок, как пень,— все это, вместе взятое, и есть то, что вы называете психологией. Не петрушка, а настоящая психология в чистом виде. А может быть, скажете вы, все это потому, что я любил мать? Не отрицаю, очень любил. Знаете, как любил? Мучился, изнывал от любви, но намекнуть ей об этом — ни за что! Ночи напролет, бывало, не спишь, лежишь и думаешь о том, как бы это сказать ей. Встанешь утром, готов, кажется, пойти к ней и прямо заявить: «Да будет вам известно, Пая, так, мол, и так... А дальше — решайте сами...» Но придешь, а слов-то и нет! Скажете, я трус? Пожалуйста, говорите. Но попытайтесь глубже вникнуть: Пиня был моим другом, я любил его сильней, чем брата. «А Пая? — спросите вы.— Ведь вы, мол, только что сказали, что изнывали по ней?» Вот именно, отвечу я вам, именно потому, что изнывал, именно потому, что мучился,— не мог, не решался! Боюсь, однако, что вы меня не поймете. Конечно, сошлись я на вашу пресловутую «психологию», вы бы, конечно, поняли, а когда рассказываешь просто, без выкрутасов, от чистого сердца, это начинает казаться диким. Впрочем, думайте, как вам угодно! Я продолжаю. Ребенок рос. Это, конечно, только так говорится «рос». Ребенок растет, и дерево растет, и редька тоже растет. Разница все-таки. Дождаться, покуда ребенок начнет сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить! Но вот наконец он уже сидит, и стоит, и ходит, и бегает, и разговаривает. А дальше? Не хватало еще, чтобы я, как баба, стал вам перечислять: оспа, корь, зубки и тому подобное! Я не баба, и глупостями занимать вас не стану, и о детских проделках рассказывать не буду. Девочка росла, и выросла, и расцвела — «как нежная роза», сказал бы я, если б захотел изъясняться на языке ваших романистов, которые столько же смыслят в цветении розы, сколько свинья в апельсинах... Они, знаете ли, большие мастера сидеть у себя в кабинете, греть ноги у печки и описывать природу, зеленый лес, бушующее море, песчаные горы, прошлогодний снег, вчерашний день... Противны мне такие писания. С души воротит!.. И не читаю их! А как возьму книжку и вижу, что солнце сияло, что луна прогуливалась по небу, что воздух был напоен ароматом, что птички щебетали,— швыряю книгу на пол. Смеетесь? По-вашему, я психопат? Ну и ладно!

Итак, выросла она, Роза, и воспитание получила надлежащее, как полагается в интеллигентном доме. Мать за этим присматривала, и я малость следил за ее образованием, да что там —

не малость, а по-настоящему; можно сказать, почти все свое время отдавал ребенку, заботился, чтобы ее учили, воспитывали лучшие учителя, чтобы она не опаздывала в гимназию, чтобы играла на рояле, чтоб училась танцевать,— за всем этим следил я, я один. Кто ж еще? И делами вдовы к тому же занимался, не то все ее состояние растащили бы! Ее и так здорово обобрали...

После смерти Пини к вдове ринулись всяческие людишки, благодетели, советчики и стали ее обирать, как полагается... Хорошо, что я вовремя спохватился: «Стоп, машина»,— и прибрал к рукам все дела. Она, правда, хотела, чтобы я стал компаньоном, но я решительно отказался. Домов своих не продам и голову себе морочить не стану. Она возражала: не обязательно продавать дома, я и так, мол, могу быть компаньоном. Что же, вы думаете, я на это ответил? Я попросил больше мне таких предложений не делать, потому что в противном случае я рассержусь. «Он, говорю, царство ему небесное, не заслужил того, чтобы я заставил вас платить мне за труды,— а за время, уделяемое вашим делам, говорю, я денег не беру. У меня, говорю, достаточно времени, хоть бейся головой об стенку...» Говорю это я ей, вдове, а она — ни слова. Опустила глаза — и молчок. Если вы что-нибудь соображаете, то вам должно быть понятно, что́ именно я хотел сказать!.. Почему же я прямо не сказал? Не спрашивайте почему! Стало быть, не пришлось. Могу вас только уверить, что это было так же просто, как вот эту папиросу закурить. Одно лишь слово — и мы сосватаны... Но я подумал: «А Пиня? Ведь мы такими друзьями были!..» Я знаю, что вы хотите сказать: между нами, по-видимому, не столь горячая была любовь... Ошибаетесь. О том, что я по ней изнывал, я уже говорил вам, а о том, что и она — по мне, не хочу рассказывать: подумаете, чего доброго... А впрочем, не все ли мне равно, что вы подумаете? Прикажите-ка лучше подать чаю, а то у меня в горле пересохло.

Итак, уважаемый, на чем мы остановились, не помните? На делах. Ну и дела! На всю жизнь запомню. Мало сказать — эксплуатировали,— вокруг пальца обводили! Погодите радоваться! Не меня — ее! Меня вокруг пальца не обведешь. Знаете почему? Потому что я не дамся. Однако давайся не давайся, ничего не попишешь, когда сталкиваешься с аферистами, жуликами, бандитами, которые кого хочешь обманут. Они из кожи вон лезли, чтобы отобрать у нас последнее. Но вы можете себе представить, не так-то просто забрать у меня деньги. Они, будьте покойны, достаточно намаялись. Они у меня, черт бы

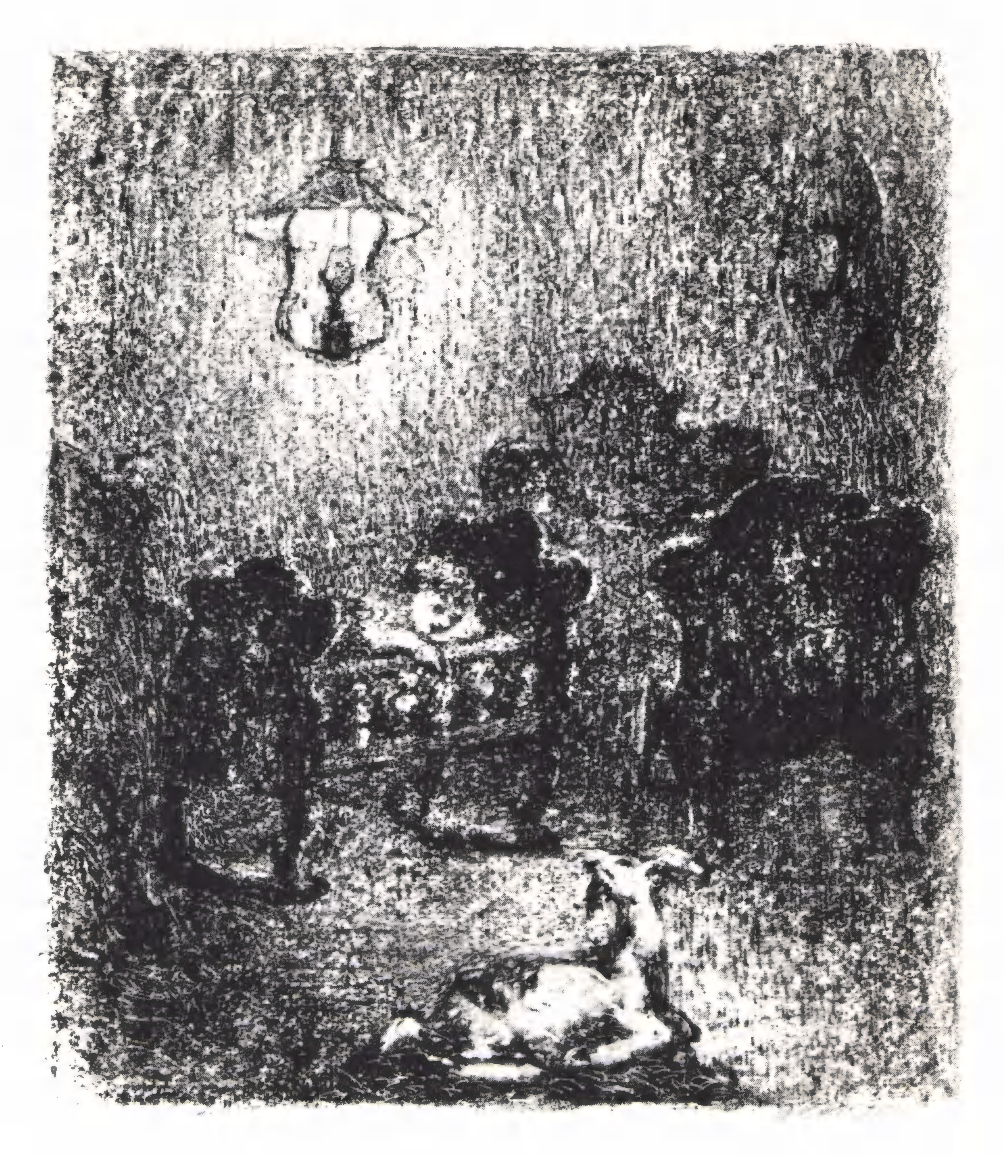
их побрал, кровью харкали, пока удалось им выманить и выкачать знаете сколько? Сколько смогли! Счастье, что я вовремя спохватился и сказал вдове: «Довольно! Хватит!» И, насколько это было в моих силах, я как ножом отрезал. Тем не менее она здорово погорела. Спросите, как же это я допустил? Хотел бы я посмотреть, как бы вы извернулись при таких обстоятельствах. Возможно, у вас лучше получилось бы. Не спорю. Обо мне, может, скажут: не ахти какой коммерсант! Подумаешь, несчастье какое! Лишь бы не бандит! Думаете, мне это не влетело в копеечку? Но я не собираюсь перед вами хвастать. Я хочу только рассказать, как все складывалось, как все вело к тому, чтобы вдова не осталась вдовой, а я — старым холостяком. Скажи я ей одно слово, одно лишь слово... но этого слова я и не произнес! Почему? В том-то и заковыка. Тут-то и начинается настоящая психология. Новая глава под названием «Роза»!.. Вы только слушайте внимательно, ни слова не упустите, потому что это не выдуманный роман, понимаете ли,— это сама жизнь, подлинная, горячая, трепетная...

Не знаю, какая-то особенная сила таится в душе каждой матери... Чуть девочка из коротких платьиц вырастает, как матери уже не терпится: скорей бы увидеть свою дочь помолвленной. А приметит мать, что вокруг ее дочери увиваются молодые люди,— она волнуется, от радости себя не помнит. В каждом молодом человеке она видит жениха. А что жених этот, может, пустельга, шарлатан, картежник, черт его знает что,— это ее не интересует! Конечно, можете себе представить, пустобрехи и шарлатаны к нам не ходили, потому что, во-первых, Роза была не из тех, что знаются с каждым плясуном, умеющим извиваться, крутиться по паркету, сгибать руку калачиком, шаркать ножкой и отвешивать поклоны. А во-вторых, я на что? Допущу ли я, чтобы какой-нибудь повеса на три шага приблизился к Розе? Да я бы ему, кажется, все кости переломал! Был я с нею однажды на балу в клубе, среди отменных аристократов, тех, кого вы называете буржуазией... И вот подходит к нам какой-то франт, ручка кренделем, головка набок, на личике медовая улыбочка, шаркает ножкой, этаким визгливым девичьим голоском говорит... Черт его знает, что он наговорил. Пригласил танцевать. Ну и показал же я ему танец! Запомнит он меня! Посмеялись мы потом над злополучным кавалером! С тех пор все кавалеры знали: прежде чем познакомиться с Розой, надо обратиться ко мне, выдержать, если можно так выразиться, экзамен и лишь потом убраться подобру-поздорову. Они меня прозвали цербером, то есть сторожевым псом у входа в рай.

Беда какая! А знаете, кто по этому поводу сердился? Мать! «Вы,— говорит она,— отпугиваете людей, не подпускаете близко».— «Каких людей? — спрашиваю я.— Это собаки, говорю, а не люди!» Так случилось раз, и два, и три. Однажды чуть было не кончилось катастрофой. Думаете, мы поссорились? Вы, правда, человек умный, но на сей раз не угадали! Вот послушайте, что было.

Прихожу я однажды к вдове и застаю гостя, молодого человека лет двадцати или тридцати. Есть такие молодые люди, возраст которых никак не определишь. Молодой человек, не отрицаю, оказался очень славным. Бывают такие симпатичные люди — хорошее лицо, хорошие глаза, ни к чему не придерешься. Понравился он мне с первого взгляда. Знаете почему? Потому, что я терпеть не могу людишек с сахарными личиками, с медовыми улыбочками. Ненавижу эти противные существа, которые умильно заглядывают вам в глаза и поддакивают каждому вашему слову: скажите им, что в июле снег выпал или рыба на вербе росла,— они и против этого не возразят... Когда я вижу такое создание, меня так и подмывает, на радость пчелам, вымазать его медом... Хотите знать, как звали этого молодого человека? Что вам до этого? Допустим, его фамилия Шапиро. Удовлетворены? И был он бухгалтером винокуренного завода, и не только бухгалтером, но и полновластным хозяином; можно сказать, что на заводе он пользовался бóльшим авторитетом, чем даже сам хозяин. А хозяин, который не доверяет своим подчиненным, недостоин быть хозяином... Можете быть другого мнения на этот счет,— это не так уж важно.

Словом, представили мне молодого человека по фамилии Шапиро, бухгалтера, управляющего, порядочного человека, к тому же замечательного шахматиста. В шахматы он играет не хуже, а, пожалуй, даже лучше меня. Ведь я же вам говорил, что не считаю себя крупным шахматистом. И вот, поди будь пророком и угадай, что здесь завязывается роман, да какой еще роман! Отчаянный! И надо же мне быть таким ослом и не заметить этого с самого начала! Представьте себе, ведь я же собственными руками подливал масла в огонь, всячески расхваливал этого человека, превозносил его до небес! Чтоб они сгорели, эти шахматы, а заодно с ними и все шахматисты на свете! Играли мы с ним, а он тем временем замышлял совсем другое. Я у него брал «королеву», а он у меня Розу отнял! Я давал ему «мат» в десять ходов, а он мне — в три хода, потому что на четвертом ходу, то есть когда он явился в четвертый раз, вдова



«Три головки»

отозвала меня в сторонку и с особенным огоньком в глазах сообщила мне, что Розочка стала невестой этого самого Шапиро и что она на седьмом небе от счастья. Словом, поздравьте меня, и себя, и нас обоих.

Что со мной сделалось, когда я услышал эту добрую весть, рассказывать не стану. Скажете еще, что я злодей, сумасброд, помешанный? Она, вдова то есть, сказала то же самое. Вначале смеялась, потом раскричалась на меня, а кончилась эта история слезами, истерикой и прочими такими вещами,— словом, конфликт! Лопнул, понимаете ли, волдырь... Мы объяснились и за полчаса наговорили друг другу столько беспощадной правды, сколько не было высказано за все двадцать лет нашего знакомства! Я откровенно заявил ей, что она мой злой гений, что она погубила меня, отняла единственное утешение мое, Розу, и отдала ее другому. На это она мне ответила, что если кто-нибудь из нас и покушался на душу другого, то это я покушался, понемножку, на протяжении восемнадцати с лишним лет!.. Что это значит, мне вам объяснять незачем, это и дурак поймет. А что я ей на это ответил, я вам рассказывать не стану. Скажу только, что обошелся я с ней не по-джентльменски, можно сказать грубо, очень грубо! Я схватил шапку в охапку и, хлопнув дверью, выбежал как сумасшедший... И дал себе слово не переступать ее порога до конца жизни!.. Ну, что скажете? Ведь вы же человек мыслящий? Что по этому поводу говорит ваша «психология»? Что я должен был сделать — утопиться? Или купить револьвер? Или повеситься на первой осине? Что я не утопился, не застрелился и не повесился, вы, слава богу, сами видите. А что было дальше? Об этом в следующий раз. Ничего с вами не станется, если немного и подождете. Я должен идти к моим вдовам. Они ждут меня к обеду.

Вот и все о вдове номер один.

2

ВДОВА НОМЕР ДВА

Почему я заставил вас так долго ждать? Да уж так мне хотелось. Если что-нибудь рассказывать, то, конечно, тогда, когда самому хочется... А что вы не прочь послушать,— это видно: до историй, да еще интересных,— каждый охотник. И правда, чем плохо: я, к примеру, сижу себе после обеда в

своей комнате, в своем кресле, с сигарой в зубах, а вы надрываетесь, рассказывая... А что рассказчику, может быть, это крови стоит, так вам до этого что? Только бы интересную историю послушать! Я не вас имею в виду, не пугайтесь! Вы только слушайте внимательно. И хотя то, что я расскажу вам сейчас, не имеет никакого отношения к предыдущей истории, мне все же хочется, чтобы вы помнили то, о чем я рассказал вам в прошлый раз, ибо кое-какая связь между всем этим все-таки есть, и даже не кое-какая, а большая! А если вы что-нибудь забыли, я вам напомню. В двух словах повторю вам прежнюю историю.

Был у меня товарищ Пиня. Были у него жена Пая и дочка Роза. Товарищ мой помер, а Пая осталась молодой вдовой, я же был ее близким другом, секретарем, братом. Я томился, изнывал по ней. Но сказать ей об этом у меня не хватало духу. Так проходили лучшие годы. Дочь выросла, Роза расцвела, и я потерял покой, окончательно растерялся. Принесла нелегкая молодого человека, бухгалтера Шапиро, неплохо играющего в шахматы, и Роза в него влюбилась. Все, что накипело на сердце, я выместил на матери, поссорился, хлопнул дверью и поклялся, что ноги моей там не будет до конца моей жизни. Ну, довольны?

Теперь, догадываюсь я, вам очень хочется знать: сдержал я слово или нет? Но ведь вы, кажется, психолог. Скажите, должен был я сдержать свое слово или нет? Молчите? А почему? Потому что сами не знаете... Вот как это произошло.

Всю ночь я шагал по городу как ошалелый, раза три измерил все улицы вдоль и поперек, вернулся домой на рассвете, пересмотрел все свои бумаги, многие порвал — терпеть не могу старые бумаги,— упаковал свои вещи, написал несколько писем знакомым,— друзей и родственников у меня, слава тебе господи, нет, один как пень... Оставил распоряжения относительно моих домов и магазинов и, проделав все это, сел на кровать, склонил голову и думал, думал, думал, пока не наступило утро. Тогда я честь честью умылся, оделся и пошел к моей вдове. Позвонил, вошел, велел подать кофе, стал ожидать, когда вдова проснется. Вдова вскоре встала. Увидев меня, она остановилась на минуту. Глаза у нее припухли, лицо побледнело. Неужели и она всю ночь не спала?

— Как Роза? — спросил я.

В эту минуту в комнату вошла Роза. Прекрасна, как божий день, ласкова, приветлива, как ясное солнышко. Увидав меня, она слегка покраснела, потом подошла, погладила меня ручкой по голове, как гладят ребенка, и, заглянув мне в глаза, рассмеялась. Да как, думаете, рассмеялась? Не так, чтобы вас, упаси

господи, обидеть, а так, чтобы вам самому захотелось смеяться, чтобы все, все вокруг, и даже стены, улыбалось. Да, господин мой любезный, этакой силой Роза обладает и по сей день! Я и сейчас за ее смех готов отдать все, что имею. Беда только, что сейчас она уже больше не смеется. Не до смеха ей! Но я не намерен забегать вперед. Люблю, начав что-нибудь, продолжать по порядку.

Знаете ли вы, что значит выдавать дочь замуж? Нет? Не знаете? Ну, и не приведи господи узнать! Я это на себе испытал. Хоть и чужую дочь выдавал, но испытал. Надолго запомню это. Да и что, скажите на милость, оставалось мне делать, когда моя вдова, Пая то есть, привыкла, чтобы ей все готовенькое домой приносили? А кто в этом виноват, как не я сам? Я приучил их — и мать и дочь,— чуть что в доме потребуется, всегда обращаться ко мне. Хоть свет перевернись вверх дном, все должно быть доставлено, и не позднее, чем через два часа! Нужны деньги — ко мне. Доктор — ко мне. Кухарка — ко мне. Учитель танцев — ко мне. Платье, ботинки, портной, мясник, перо, задвижка — ко мне, ко мне и ко мне! Думаете, я не укорял их: «Что с вами будет? Ведь вы же тряпкой станете!» Говорю, а они смеются. Им все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Всю жизнь так. Есть такие люди на свете. Немного, но есть. И кому должны были попасться такие? Мне! Кому нянчиться с чужими детьми? Мне. Кому терзаться из-за чужих несчастий? Мне. Кому плясать на чужих свадьбах? Мне. Кому плакать на чужих похоронах? Мне. Вы спросите, кто меня принуждает? На это я вам отвечу: а кто велит вам бросаться в огонь — спасать чужое дитя? Кто велит вам страдать, когда другому больно? Скажете, что вы ни того, ни другого не делаете? Стало быть, вы зверь! А я не зверь, я человек. Я не корчу из себя идеалиста, я простой, обыкновенный человек и старый холостяк к тому же. Хотя ваша «психология» утверждает, что старые холостяки — эгоисты. Впрочем, может, все это и есть своего рода эгоизм? Что? Не любите копаться, философствовать? Я тоже этого не люблю.

Итак, нужно было выдавать замуж дочь моей вдовы, Розу, и корчить из себя свата. Что еще мне оставалось делать? А так как вы меня уже немного знаете, то вам нетрудно понять, как это мне было по душе! От одного слова «сват» меня тошнит! Зовите меня «человеком», зовите «лакеем», зовите «шутом гороховым», «приказчиком», лишь бы не «сватом»! А вот она, вдова то есть, ужасно рада новому званию: «сватья». Скажешь ей «сватья» — она прямо-таки тает. «Скоро тещей будете!» — говорю ей. А она улыбается: «Дожить бы уж!» Хороша теща!

Посмотрели бы на нее в день венчания дочери! Загляденье! Красавица! Не скажешь, что это мать и дочь! Сестры! Залюбовался я на нее, когда дети стояли под венцом. Я думал про себя: «Эх, дурень ты! Пень одинокий! Сейчас для тебя самый подходящий момент... Стоит тебе одно слово сказать, один взгляд бросить — и конец твоему одиночеству... Строишь дом свой... Возделываешь виноградник... Вступаешь в собственный рай... Живешь спокойной жизнью, среди своих близких и любимых... Забудь, забудь о Розе!.. Роза не для тебя... Она тебе в дочери годится... Не обманывай себя... На мать гляди! Скажи ей одно лишь слово, дикарь этакий!.. К ней обратись, ни к кому больше! Чего ты за душу тянешь? Не замечаешь, какими глазами смотрит она на тебя?..»

Размышляя так, я встречаюсь с ее взглядом: я чувствую, что сердце у меня разрывается от жалости к ней... Слышите? От жалости!.. Уже ничего больше, кроме жалости... Раньше, помню, мной владело совсем иное чувство... А теперь — только жалость... А раз жалость, то, может быть, и меня жалко? И, может быть, больше, чем ее? Кто же виноват? Почему она до сих пор молчала? Почему молчит сейчас? Почему же мне надо сказать ей это слово, а не ей — мне?.. Стыдно, скажете вы? Так уж на свете заведено? Начхать мне на ваш свет! Не вижу разницы: «он» ли раньше скажет, «она» ли... Люди — это люди! Раз она молчит, то и я молчу! Вы это назовете упрямством? Амбицией? Дурью? Называйте, как угодно! Я вам уже говорил, что мне это безразлично... Я только изливаю перед вами душу и хочу вместе с вами проанализировать, разобраться, в чем тут загвоздка? Может быть, в том, что мы с Паей никогда и двух минут наедине не оставались? Возле нас всегда было существо, поглощавшее все наше время, все наши мысли и чувства; наши горести и радости все принадлежали кому-то другому,— не нам. Для нас самих ни одной свободной минуты! Черт побери! Оба мы как бы созданы для того, чтобы заботиться о других! Раньше был Пиня. Потом господь помог — родилась Розочка, теперь бог послал новую радость: зятек на иждивении! Зятек, однако, был на редкость удачный. Такого зятя мог бы себе пожелать каждый. Вы отлично знаете, я не из тех, что сразу приходят в восторг, и не имею привычки превозносить кого бы то ни было. Пустых слов, дифирамбов, притворных комплиментов я не расточаю. Скажу вам только, что слово «ангел» в данном случае прозвучало бы оскорблением. Понятно? Если существует небо, и если ангелы витают в нем, и если те ангелы не хуже вот этого Шапиро, тогда, уверяю вас, стоит умереть и быть лучше с ними, чем с

двуногими животными, снующими по нашей планете и оскверняющими землю. Вы скажете — я мизантроп, человеконенавистник. Если бы люди причинили вам то, что они причинили нам, если бы они поступили с вами так же, как с нами, вы стали бы не только мизантропом, но и злодеем. С ножом в руках кидались бы на людей, резали бы их, как овец! Кстати: что это у вас за манера заставлять человека говорить часами, даже не спросив, не хочет ли он стакан воды? Велите подать чаю!

Итак, на чем же мы остановились? На нашей утехе, на нашем зяте Шапиро.

Кажется, я вам уже говорил, что он был главным управляющим на винокуренном заводе, и не только управляющим, но и полным хозяином всего предприятия. Все было в его руках. Владельцы питали к нему безграничное доверие, и любили они его, как родного сына. На свадьбе хозяева — два компаньона (воры, каких мало,— да простят они мне,— оба они уже по ту сторону, в Америке) — держали себя, как близкие родственники. Они преподнесли жениху ящик с разными серебряными вещицами и вообще были щедры и любезны, как истые филантропы. А я, знаете, не люблю филантропов, да еще хозяев-филантропов, когда они заявляются на торжество и демонстрируют свою филантропию, чтобы все видели и знали, что вот они — хозяева-филантропы, умеющие ценить «человека»!.. А что, если благодаря именно этому человеку они разбогатели? А что, если, не будь этого человека, они, быть может, не стали бы ни хозяевами, ни филантропами?.. Зря улыбаетесь! Я, уважаемый, социалистом не прикидываюсь. Но хозяина-филантропа ненавижу. Что мне за это полагается? А впрочем, сейчас услышите, на что способен хозяин-филантроп. Казалось бы, владеешь, с божьей помощью, предприятием, которое приносит добрых несколько тысяч годового дохода, и в твоем распоряжении человек, на которого можно положиться, ну и спи себе спокойно дома или поезжай за границу и живи в свое удовольствие. Но им этого мало! Они любят делать дела, греметь, трещать — чтобы все видели! Чтобы все слышали!.. Короче говоря, преуспевающие хозяева не довольствовались тем, что владели таким доходным предприятием, которым успешно руководил Шапиро. Затевая новые дела, они чем дальше, тем больше влезали в «торги», в «откупа», в куплю и продажу пшеницы, отрубей и, наконец, домов... В общем, дела вихрем закружились, завертелись... Почва из-под ног ускользнула и... все пошло прахом. Втянув в свои аферы нашего Шапиро, они опутали его векселями, а сами успели захватить всю наличность и укатили в Америку. Похоже, что у них там, как

американцы говорят, все «ол райт», а его, Шапиро то есть, оставили по уши в долгах, связали по рукам и ногам обязательствами и расписками. Словом, разразился большой скандал, дошло до того, что никто и смотреть не захотел, «человек» он или хозяин,— пусть, мол, платит по векселям, а так как платить ему нечем, то он банкрот! Но он не может доказать, что банкротство вызвано несчастным случаем. А такой человек считается у нас, как вам известно, а может быть, и неизвестно, «злостным банкротом», то есть он негодяй, а банкрота-негодяя сажают в долговую тюрьму, таких у нас не любят. Можете десять раз обанкротиться, десять раз повторить то же самое, но если все это проделано ловко и гладко, как полагается, то вы всему свету покажете, извините за выражение, кукиш, да еще купите себе дом со всеми онерами. Вы снова порядочный человек: выгодно выдаете замуж или жените своих детей, с вашим мнением считаются в городе, вы командуете, распоряжаетесь, метите в великие мира сего, в воротилы, которые всех за нос водят... Вам начинает казаться, что вы и в самом деле бог весть кто, пыжитесь, как индюк, людей не узнаете и убеждаете себя в том, что вам сам черт не брат! Извините, вы понимаете, что я не вас имею в виду... Словом, к чему все эти разговоры? Шапиро не смог вытерпеть позора, да и душа у него болела за обездоленных вдов и сирот (его хозяева никого не щадили, брали, где только можно было), и он отравился!..

Думаю, что вам неинтересно, как и чем он отравился. И какое письмо он оставил мне. И что он мне говорил. И как прощался с Розой. И с матерью и со мной. Все это сантименты, которыми пользуются романисты, чтобы выжать из глупого читателя слезу. Скажу вам в нескольких словах: не себя этот человек отравил,— он отравил всех нас! Горе наше было беспредельно, боль так глубока, что у всех у нас даже слезы высохли. Мы застыли, окаменели, замерли, мы были бы счастливейшими из счастливых, если бы явился кто-нибудь и отрубил всем нам головы!.. Можете говорить что угодно, но я ненавижу всех тех, которые выражают соболезнование. Их притворно-печальные физиономии, на каждой из которых написано: «Слава богу, что не я...», их бездушные слова, лишенные всякого смысла, фальшивые восхваления, невнятное бормотанье себе под нос вместо обычного прощания при уходе... Чего уж больше? Даже книга Иова, в которую, как это принято в таких случаях, каждый невежда заглядывает, хоть ни черта в ней не смыслит,— и та мне противна! Кощунство, скажете? Это, по-вашему, кощунство? Ну, а подставить ножку ни в чем не повинному человеку, принуж-

дать его подписывать векселя, а самому с деньгами удрать в Америку, оставить «доверенного» человека в безвыходном положении и тем самым толкнуть его на самоубийство, бросить на произвол судьбы три невинные души, загубить их,— это вы как назовете? Какое вы этому имя придумаете? Это ли не кощунство? И сам господь бог, скажете вы, здесь тоже ни при чем? Ибо как можно роптать на бога? А вы посмотрите, что по этому поводу говорит тот самый праведный Иов, в книгу которого люди заглядывают, но ни слова не понимают. Молчите? Я тоже молчу, потому что разговаривать можно до хрипоты,— все равно никто не ответит! Будете жевать и пережевывать все те же приевшиеся слова: «Господь дал, господь и взял», да при том и останетесь... Что вы говорите? Философствовать — значит, жевать солому? Я то же самое говорю.

Итак, возвращаюсь к вдове... Впрочем, что я говорю — к вдове? К двум моим вдовам! Роза тоже вдова! Ха-ха-ха! Это очень грустно, это оскорбительно, это противоречит всем законам природы... Что же остается, как не смеяться горьким смехом! Роза — вдова! Посмотрели бы вы на нее: Роза — вдова! Но вдова — это еще не все! Роза — мать! У Розы — ребенок! Через три месяца после кончины Шапиро послышался голосок новорожденной девочки. Им заполнился весь дом. Назвали ее Фейгеле — и властительницей всего дома стала одна только Фейгеле, все делалось ради одной только Фейгеле, и где бы вы ни стояли, и где бы вы ни сидели, и чтобы вы ни делали, всюду вы слышали только Фейгеле, Фейгеле, Фейгеле. Будь я верующим, верь я в провидение, я бы сказал, что господь бог вознаградил нас за все наши страдания и ниспослал нам утешение. Но вы знаете, что я не шибко верующий, да и на ваш счет крепко сомневаюсь... Что? Хотите убедить меня, что вы веруете? На здоровье! Никаких претензий к вам не имею, лишь бы вы сами были убеждены в том, что вы не ханжа и не лицемер. Терпеть не могу ханжей и лицемеров, как правоверный еврей — свинину! Будьте набожны, как десять тысяч чертей, но только искренне! Но если вы лицемер, ханжа, прикидывающийся фанатиком, то вы мне нужны, как пятое колесо телеге! Такой уж я человек!

Итак, кто же у нас на очереди? Фейгеле! С первой минуты, как только Фейгеле появилась на свет, все словно ожило, все и вся улыбалось и радовалось. Лица засияли, глаза засветились и заблестели. Мы все как бы заново родились вместе с этим ребенком. Роза, на лице у которой столько времени не появлялось улыбки, и та снова начала смеяться своим прежним зарази-

тельным смехом, заставляющим вас смеяться даже тогда, когда плакать хочется.

Вот что с нами сделала крошечная Фейгеле, когда она раскрыла свои, как нам показалось, понимающие глазки и стала разглядывать нас троих. А уж когда на губках Фейгеле впервые показалась улыбка, обе вдовы чуть не ошалели от восторга.

Они встретили меня так шумно, что я даже испугался.

— Господи! Где вы были одной минутой раньше? — налетели на меня обе вдовы.

— А что такое? Что случилось? — встревожился я и услышал в ответ:

— Помилуйте! Только что, полторы минуты тому назад, Фейгеле улыбнулась в первый раз!

— И это все? — говорю я довольно холодно, а сердце мое радуется не столько, конечно, тому, что Фейгеле улыбнулась, сколько тому, что обе мои вдовы так счастливы. Теперь можете себе представить, что творилось, когда прорезался первый зубок! Это обнаружила, естественно, младшая вдова — мать! Она подозвала старшую вдову, Паю то есть, и обе стали проверять зубик у девочки, осторожно приложив к нему стакан. А когда услыхали, что зубок звякает о стекло, они подняли такой шум, что я прибежал из соседней комнаты ни жив ни мертв.

— Что такое?

— Зубок!

— Вам показалось! — сказал я нарочно, чтобы их немного подразнить. Тогда обе вдовы взяли мой палец и заставили меня нащупать в горячем ротике Фейгеле какой-то острый кончик, нечто вроде зуба.

— Ну? — спрашивают обе и ждут моего подтверждения.

Но я притворяюсь непонятливым. Люблю их подразнить. Переспрашиваю:

— Что «ну»?

— Зубок? Не правда ли?

— Зубок. Чему же еще быть?

И вы, конечно, понимаете, что раз зубок, то, значит, Фейгеле умница, равной которой во всем свете не сыщешь! А раз Фейгеле такая умница, то надо ее целовать до тех пор, пока ребенок не расплачется. Тогда я вырываю ее у них из рук и успокаиваю, потому что ни у кого ребенок так быстро не успокаивается, как у меня, и можно сказать, что ничьи волосы Фейгеле не любит так, как мои, и ничьего носа она с таким удовольствием не теребит своими крошечными пальчиками, как мой нос. А ощущать на своем лице эти крошечные пальчики — просто

наслаждение! Хочется тысячу раз целовать каждый суставчик этих маленьких бархатных пальчиков! Вы смотрите на меня и думаете: «Бабья душа у этого человека! Иначе он не любил бы так детей...» Угадал, не правда ли? Видите ли, я не знаю, какая у меня душа, но что я люблю маленьких детей — это факт! А кого же и любить, если не маленьких? Взрослых, что ли? Эти гадкие морды, упитанные, с брюшками, вся жизнь которых — вкусный обед, хорошая сигара и преферанс? Или тех прикажете любить благодетелей, которые кормятся за счет общества, а сами кричат, шумят, трезвонят на весь мир, что единственная их цель — общественное благо?.. Или вы хотели бы, чтобы я любил молодых цуциков, которые хотят переделать мир, называют меня «буржуем» и хотят меня заставить продать дома и поделиться с ними во имя экспроприации? Или, может, прикажете любить откормленных дам, единственный идеал которых — жрать, наряжаться в шелка и брильянты, таскаться по театрам и нравиться чужим мужчинам? Или — стриженых старых дев, которых когда-то называли «нигилистками», а сейчас зовут «эсеровками», «кадетками» и тому подобными замечательными именами? Вы говорите, что я старый холостяк, брюзга и мизантроп и что именно поэтому мне никто не нравится? Ну хотя бы и так, кому от этого легче? Итак, на чем же я остановился? На ребенке, на Фейгеле, на том, как мы ее любили. Всю свою жизнь мы отдавали ребенку,— все трое,— потому что ребенок этот скрашивал наше существование, давал нам силы и энергию переносить тяготы глупой и грубой жизни. А для меня лично ребенок этот был источником тайных надежд. Вы легко поймете каких, если вспомните, чем была для меня Роза. Ребенок рос, и с каждым днем в моем сердце расцветала надежда, что кончится наконец мое одиночество и мне тоже когда-нибудь приведется вкусить сладость жизни... И не один я носился с этой мечтой — ту же надежду питала в сердце своем и Пая. И хотя мы никогда об этом не говорили, всем было ясно, как божий день, что так обязательно будет... Вы, пожалуй, спросите, как могут люди понимать друг друга без слов? Но это значит, что вы знаете психологию, но не знаете людей... Вот я для примера нарисую вам картину, и вы увидите, как люди понимают друг друга с полуслова.

Летняя ночь. Небо исчерчено молочно-белыми полосами. Хотел было сказать: звезды горят, сверкают, мерцают... Но вспомнил, что так в какой-то книжке написано, а я не желаю пережевывать чужие слова. Я говорил вам, что терпеть не могу описаний природы, которые так же похожи на природу, как я на турецкого пашу. Словом, была летняя ночь, одна из тех уди-

вительных, теплых, прекрасных ночей, когда сердце даже самого черствого в мире человека преисполняется поэзией и его тянет куда-то в неведомую даль. Он погружается в священный покой, глядит в опрокинутую синюю чашу, именуемую небом, и чувствует, что небо и земля о чем-то шепчутся, ведут тихую беседу о вечности, о бесконечности, о том, что люди называют божеством...

Ну? Как вам нравится мое описание природы? Не нравится? Ну и не надо! Погодите, это еще не все. Я забыл вам рассказать о жуках — странных, тяжелых, коричневых жуках, которые носятся в темноте, жужжат, гудят, то шлепаясь о стены, об окна, то падая на землю с полураспластанными крыльями. Не огорчайтесь, пожалуйста, они немного поползают по земле, затем поднимутся, расправят крылья и снова начнут кружить на свету, гудеть, жужжать, снова шлепаться об окна и снова падать на землю... Мы сидим на крылечке, выходящем в сад, все четверо: я, Пая, Роза и Фейгеле. Фейгеле уже большая, осенью ей исполнится четыре года, а разговаривает она, как взрослая. И все время задает вопросы. Тысячи вопросов! Почему небо — небо, а земля — земля? Когда бывает день и когда ночь? Почему ночью — ночь, а днем — день? Почему мама называет бабушку «мамой», а бабуся маму называет не «мама», а Роза? Почему я ей дядя — не папа? Почему дядя смотрит на бабусю, а бабуся на маму, и почему мама так покраснела?.. Это, конечно, вызывает общий смех. Фейгеле спрашивает, почему мы смеемся, а мы еще громче заливаемся, и кончается все это тем, что мы трое переглядываемся, отлично понимая, что означает наш взгляд. Слов не надо. Слова ни к чему. Слова созданы только для болтунов, для женщин и адвокатов. Или, как выразился однажды Бисмарк, слова нам даны для того, чтобы скрывать наши мысли. Ведь вот звери, птицы и прочие создания обходятся без слов! Растет дерево, распускаются почки, пробивается травка,— какой у них язык? Глаза, господин мой любезный, глаза человеческие — великое дело! То, что глаза скажут вам иной раз в одно мгновение, языку и за день не передать. Взгляды, которыми мы с обеими вдовами обменялись в ту ночь, выражали многое, многое. Незабываемые взгляды — поэма нашей жизни, если хотите, песнь, печальная песнь о трех потерянных жизнях, о трех искалеченных душах, которым будничная жизнь, сутолока помешала пить из источника, именуемого счастьем, вкусить от родника, называемого любовью... Слово «любовь» вырвалось у меня нечаянно. Поверьте, меня так и воротит от него. Почему? Потому, что ваши писатели чересчур часто пользуются этим

священным словом, оно становится у них слишком будничным. Слово «любовь» в устах ваших писателей — кощунство. Слово «любовь» должно звучать как молитва всевышнему или как мелодия без слов, песнь чистой поэзии, хотя бы и без таких рифм, как бежать — покупать, хапать — лапать, гнаться — драться и тому подобных, при чтении которых мне кажется, что я глотаю горох и закусываю бумагой... Примеры мои, может быть, вам и не нравятся, но потерпите немножко. Сейчас я закончу историю о вдове номер два, потому что терпеть не могу, когда зевают... Скажите, не случалось ли с вами такого: нестерпимо болит зуб, его во что бы то ни стало надо удалить, а вы откладываете со дня на день визит к врачу. Наконец вы набрались духу и отправились. Приходите и читаете на дверях табличку: «Зубной врач такой-то принимает от 8 до 1 и от 1 до 8»... Смотрите на часы и думаете про себя: «От восьми до часу и от часу до восьми? Куда же мне торопиться?»

Возвращаетесь домой и опять мечетесь от боли... То же самое было со мной и с Розой. Каждый день я утром выходил из дому с твердым намерением — сегодня же объясниться без всяких отговорок! Сначала переговорю с вдовой номер один, с матерью то есть, так, мол, и так... Она чуть покраснеет, опустит глаза и скажет: «Я не возражаю, переговорите с Розой...» Тогда я пойду от вдовы номер один к вдове номер два и скажу ей: «Послушай, Роза, так, мол, и так...» И вот прихожу к моим вдовам, а навстречу мне выбегает Фейгеле, бросается ко мне на руки, обнимает за шею, целует в очки и просит, чтобы сегодня, непременно сегодня, я сказал мамочке и бабусе,— меня они послушаются, чтобы ей разрешили не учиться, не играть, не танцевать, а пойти с дядей в зоологический парк! «Привезли туда,— говорит она,— таких обезьян, таких обезьян, что можно со смеху лопнуть!..» Ну вот, попробуйте откажитесь пойти с ребенком в зоологический парк смотреть смешных обезьян.

«Что станется с этим ребенком?» — ворчит вдова номер один. «Окончательно испортит ребенка»,— подтверждает вдова номер два.

А дядя не обращает внимания на упреки и недовольство обеих вдов: он отправляется с ребенком в парк знакомиться с уморительными обезьянами... И так вот каждый раз какая-нибудь другая причина. День проходит за днем, неделя за неделей, год за годом, ребенок растет, начинает понимать такие вещи, о которых говорить не полагается, и мы втроем приходим к молчаливому соглашению, что надо выждать, ребенок вырастет, а там видно будет. Когда Фейгеле станет взрослой, найдет себе

жениха, тогда, мол, у нас развяжутся руки и мы перестроим нашу жизнь, заново возведем наш дом. И каждый про себя строит планы, как мы будем жить все вместе: молодая чета — Фейгеле со своим суженым, старая чета — я и Роза, а вдова-бабушка (Пая) будет властвовать над всеми нами... То-то будет жизнь! Одна беда: как бы дожить до того времени, как дождаться, покуда Фейгеле вырастет, станет взрослой и найдет себе жениха? Живучи, до всего доживешь! Так, кажется, гласит поговорка? Не люблю я шаблонных поговорок! А вы разве любите? Ну и прекрасно. На здоровье! Итак: кто живет, тот доживает! Фейгеле выросла. Стала взрослой и нашла себе жениха,— но вот тут-то и вся загвоздка! Тут-то и начинается «психология», как вы это называете.

Зря вы на часы поглядываете. Я все равно сегодня больше рассказывать не буду. Мне пора: мои вдовы невесть что подумают. А захотите послушать историю вдовы номер три,— ничего с вами не случится, если вы пожалуете ко мне. За полы я вас тащить не стану! Сами придете... До свиданья!

Вот и все о вдове номер два.

3

ВДОВА НОМЕР ТРИ

Хорошо, что вы пришли как раз в такое время, когда я дома. То есть дома-то я всегда, но для себя, а не для других. У каждого человека свои привычки. Я, например, привык, чтобы против меня, когда я ем, сидела кошка. Без кошки я и есть не стану. Кис-кис-кис! Как вам нравится моя кошка? Умница! Сама ничего не возьмет, хоть золото кладите! А шерстка! Как вам нравится ее шерстка? Что? Вы не любите кошек? Это вам еще в хедере внушили... Знаем мы эти истории! Не оправдывайтесь. Чай пьете с молоком? Или так? Я пью с молоком... Брысь... Ко всем чертям! Ничего так не любит, как молоко! Масло не тронет, а молоко непременно лизнет.

Вы знаете, я не люблю предисловий, но на сей раз без него не обойдется... Терпеть не могу, когда улыбаются. Смейтесь сколько угодно, только, прошу вас, не улыбайтесь. Вы помните все, что я вам рассказывал? Может, забыли, скажите, не стесняйтесь. Люди покрупнее нас с вами и то, случается, забывают. Боюсь, что придется вкратце повторить все сначала.

У меня был товарищ Пиня, у него была жена Пая, была у них дочь Роза. Товарищ мой умер. Пая осталась вдовой. А я был ей близким другом. Она была мне по сердцу, да и я ей. Но мы об этом не говорили. Так прошли лучшие годы. Тем временем Роза, дочь ее, выросла, и я полюбил ее. Подвернулся молодой человек — Шапиро, хороший бухгалтер и прекрасный шахматист, и Роза в него влюбилась. Тогда я поссорился с ее матерью и ушел с намерением больше туда не являться до конца жизни. Слова своего я не сдержал и тут же, на следующий день, явился снова и по-прежнему оставался близким человеком; справили свадьбу Розы с этим Шапиро, который был полновластным хозяином в делах своих принципалов и даже подписывал за них векселя. Но они разорились и удрали в Америку, а его оставили в долгах. Шапиро покончил с собой, и Роза осталась вдовой. Итак, вот вам две вдовы. И точно так же, как ее мать Пая — вдова номер один, дочь Роза — вдова номер два — осталась с маленьким ребенком Фейгеле, которая родилась через три месяца после смерти Шапиро. И все мы крепко любили эту девочку, целиком посвятили себя ей, и нам было некогда думать о себе и о моем романе с вдовой номер два, с Розой, о романе, который тянулся долго-долго; пусть, мол, Фейгеле подрастет, станет взрослой, а там видно будет. А когда Фейгеле подросла и стала взрослой... Очень прошу вас, когда я что-нибудь рассказываю, не заглядывать в книгу — противная манера! Прошу вас, внимательно слушайте, что вам рассказывают, потому что тут начинается новая история.

Думайте обо мне что угодно, но ни фанатиком, ни строптивцем я никогда не был. Я всегда шел в ногу с эпохой. Никогда не отставал, не тянул назад, как те, что сетуют на молодое поколение с его новыми стремлениями.

Терпеть не могу этих старых умников с их вечными претензиями: как же это яйца курицу учат? Кто старше — яйцо или курица?.. Глупцы! Именно потому, что яйцо моложе, оно и ценнее! Оно способнее! Умнее! И конечно же, мы, старое поколение, должны хорошенько прислушиваться к тому, что говорят нам молодые, потому что они молоды, свежи, они учатся, исследуют, ищут, находят, открывают. А как же? Так, как вы, что ли, плесенью и мохом поросшие мудрецы, которые сидят над своими древними фолиантами и с места двинуться не желают? Сержусь я, правда, на молодых, на нынешних, за то, что они нас уже и вовсе не признают, ни во что не ставят, говорят не только, что мы ослы,— мы даже не ослы, а попросту ничто. Мы не существуем! Нас нет! Нету — и дело с концом!.. Представьте себе, при-

ходят к нам, то есть к моим вдовам, или, вернее, к нашей Фейгеле, трое молодых цуциков. Студенты они или не студенты — черт их знает! Носят черные рубашки, волос не стригут, кто они такие — не говорят, языки у них острые, а Карл Маркс — у них бог, не Моисей Пророк, а сам бог! Ну что же,— бог так бог! Рук я на себя из-за этого не наложу. Тем более что и сам я не чужд социалистических идеалов, я и сам знаю, что такое капитал, что такое пролетариат, классовая борьба и тому подобные вещи... А если хотите, то и сам я... Не радуйтесь, не бундовец, упаси бог, но и не хромоногий сапожник!

Итак, приходят они к нам каждый день, эти три парня, о которых я рассказываю. Одного зовут Финкель, второго — Бомштейн, а третьего — Грузевич. А ходят они к нам, как к себе домой, потому что обе мои вдовы, и мать и дочь, когда к ним кто-нибудь приходит, не знают куда усадить гостя, готовы душу ему отдать! А тем более такие три сокровища, из которых один, несомненно, кандидат в женихи для Фейгеле. То есть кандидаты они все трое, но не может же Фейгеле иметь трех женихов, должен же быть кто-нибудь один. Вот и угадай, кто же этот единственный, когда о нем даже заикнуться нельзя, упаси бог! Спрашивать они тоже никого не спрашивают. Да и кого спрашивать? Мать? Но что им мать? Молодая женщина с красивым лицом, да и только. Бабушку? А что для них бабушка? Бабушка для них —это хозяйка, ее обязанность следить за тем, чтобы гостям было что поесть и попить, и не только поесть и попить, но и наесться и напиться... Ну, а обо мне и говорить не приходится. Что я для них? Лишний стул за столом, и больше ничего. Хоть бы словом со мной когда-нибудь перекинулись! Разве что за столом солонку, сахарницу или спичку попросят — и то без слов, без «пожалуйста»; махнут рукой, как глухонемому, или надуют губы, когда вы папиросу закурите,— и все! Иной раз застанут меня одного. Тогда они усаживаются втроем и начинают беседовать. Хоть бы слово мне сказали из вежливости, что ли! Ничего! Как будто нет меня! Ну, а я, вы сами понимаете, и подавно первый не начну с ними разговора, я к ним подлаживаться не стану и угождать им, как иные, льстивыми словечками да сладкими улыбочками не буду. Не родился еще на свет божий человек, перед которым я бы унижался, и не потому, что я гордец... А если, скажем, и гордец... Называйте, как хотите — меня ваше мнение не интересует! Однако я не люблю, когда говорят о себе. Я рассказываю вам об этих троих щелкоперах, что это за звери такие. Однажды я как-то спросил, кто из них играет в шахматы,— надо было вам видеть их лица! Послу-

шали бы вы, как они расхохотались! Казалось бы, что тут такого? Можно быть социалистом и играть в шахматы. Карл Маркс, я думаю, не обиделся бы! А вот поговорите с ними... Впрочем, дело не в них... Меня возмущает она, наша Фейгеле: она смеется с ними заодно! Почему все, что они говорят, для нее «святая святых», будто сам господь изрек это на горе Синайской? И что это за кумиров нынешняя молодежь себе создала, что за фанатизм такой? Карл Маркс — учитель, а мы его верные последователи. А кроме Маркса, никого больше на свете нет? А где Кант? Где Спиноза? Куда девался Шопенгауэр? Где Шекспир, Гейне, Шиллер, Спенсер и еще сотни великих людей, которые тоже, быть может, ненароком умным словом обмолвились? Пусть не столь мудрым, как Карл Маркс, но ведь и глупостей особенных они не болтали. Я, надо вам сказать, не из тех, что позволяют наступать себе на мозоли, я не люблю, когда задирают нос, и поэтому мне иногда нравится делать наперекор. Ты так, а я этак! Ты говоришь одно, а я — другое, и делай со мной что хочешь! Услыхал я однажды их разговор о том, что граф Толстой — ничтожество. Я не принадлежу к горячим приверженцам Толстого, я не поклонник его философии и нового учения о Христе. Но как художник Толстой для меня не ниже Шекспира. Если вы со мной не согласны — пожалуйста! Вы ведь меня знаете... Вот я нарочно приношу книгу Толстого и даю ее Фейгеле почитать. Посмотрели бы вы, с какой гримасой она оттолкнула книгу! В чем дело? Ни Финкель, ни Бомштейн, ни Грузевич Толстого не признают.

Тут уж я не стерпел (я, когда надо, могу и упрямцем быть) и ополчился... на всех троих!..

Ну-ну! Как они вспыхнули! Задень самого святого из святых, его приверженцы спокойней отнеслись бы к этому!

Вмешались в спор обе вдовы,— иначе дошло бы до крупного скандала! Потом, однако, я понял, что сглупил, потому что в конечном счете мне же пришлось перед ними извиняться. А знаете почему? Потому что этого хотела Фейгеле! А когда Фейгеле захочет чего-либо, то ее желание во что бы то ни стало будет исполнено. Вот скажет она сегодня, к примеру, чтобы я этот дом на другое место перенес, значит, никаких разговоров быть не может!

Эта девушка меня не только зачаровала — она меня поработила, подавила мою волю, превратила в раба, в автомата. И не только меня, но всех нас она ошеломила своим замужеством... Избранником ее оказался Грузевич, химик третьего курса, паренек неплохой, то есть звезд с неба не хватал, но ничего!

Бывает и хуже! Во-первых, он был из порядочной семьи. Это весьма существенно. Говорите что хотите, но это само по себе не лишено смысла. Успокойтесь, я не о знатности говорю. Я указываю только на то, что происхождение тоже кое-что да значит. Если вы происхождения сомнительного, скажем — из невежественной семьи, то будь вы образованны, как сам творец мирозданья, все равно останетесь грубияном. Об остальных достоинствах Грузевича я не говорю. А вообще эти ребята, надо правду сказать, покуда держатся своего — и честны по-настоящему, и порядочны, и благородны. Но как только выбьются в люди и становятся «бывшими», их не узнаешь, они, эти самые «бывшие», в тысячу раз хуже простого смертного! Потому что простой смертный, если вас одурачит, постарается скрыться, а «бывший» если обжулит вас, то приведет тысячу доказательств, что жулик вы, а не он...

Однако не будем терять времени на пустую философию. Наша Фейгеле стала госпожой Грузевич в семнадцать лет, и я не стану забивать вам голову подробностями о том, какая это была свадьба, кто эту свадьбу справлял, кому это стоило денег и какая была радость в нашем доме. Мать, Роза, дождалась — повела к венцу свою единственную дочь, бабушка Пая была счастлива — внучку замуж выдала! А я, дурак... Я-то чему так радовался? Младшенькую замуж выдал?.. Впрочем, радость продолжалась всего-то от субботы до воскресенья. На третий день после венчания нашего Грузевича кое-куда пригласили по пустяковому делу: где-то был обнаружен склад бомб и динамита, а так как парень был химиком, да еще выдающимся к тому же, то подозрение пало на него. Кстати, нашли несколько его писем... Словом, забрали и увели...

Вот тут-то и началась для меня работа — беготня, хлопоты, взятки... И все напрасно! Уж раз попался, да еще по такому делу, прости-прощай! А видеть горе семнадцатилетней Фейгеле! А страдания матери — Розы! А бабушки Паи! Гнев божий обрушился на этот дом! К тому же, надо вам знать, и дела пошли неважно, в кармане начало таять, я стал комбинировать, дома свои заложил. Но деньги ушли, пришлось магазины продать... Я вам не о изворотливости своей говорю и не хвастаю перед вами. Я только хочу дать вам характеристику моих вдов: хоть бы поинтересовались, на какие средства живут, откуда деньги берутся, как будут жить дальше? Ничуть — это их не касается! Я должен заботиться обо всем! Я должен обо всем думать. Напрягать все свои силы! Кто мне велит? А я знаю? Наконец, что бы вы стали делать на моем месте с людьми, о которых не

знаешь, кто из них лучше? Ни обижаться, ни сердиться, ни досадовать на них невозможно. А если и закрадется в сердце недоброе чувство и вы уйдете домой насупившись, то стоит вам прийти снова и встретиться с ними взглядом, услышать от них первое слово, как все это испарится и вы мгновенно забудете, что еще совсем недавно были настроены против них. И опять вы готовы ринуться ради них в огонь и воду. Вот такие это создания! Ну, что поделаешь? А уж о Фейгеле и говорить не приходится. Она точно магнитом притягивает. Достаточно ей взглянуть на вас своими прекрасными, глубокими, близорукими глазами, чтобы черт побрал вашу душу!.. Вы меня простите, я говорю это не вам, а самому себе, потому что она меня окончательно с ума свела своей свадьбой с этим Грузевичем. Мишей звали его. И весь дом заполнил он собой. Только о нем и слышишь, только о нем и говорят, только о нем и заботятся. Никто не должен есть, никто не должен спать, никто не должен жить. Что такое? Миша! Забрали Мишу! Посадили Мишу! Будут судить Мишу! Надо спасать Мишу! Но не тут-то было. Как его спасать? К нему никого не допускают. Ни меня, ни ее — никого! Я понял, что дело пахнет «матерью сырой землей», что в лучшем случае ему грозит вечная каторга, если не повешение!.. Вам, вижу, тут не сидится, пересядьте вот сюда, к окну. А может быть, я вам немного наскучил? Невелика беда. Я больше вашего терплю. Вам-то что? Выслушаете мою историю (я сейчас кончаю) и пойдете домой, а для меня — это тяжкое бремя на всю жизнь.

На чем бишь мы остановились? На приговоре: присудили к повешению. Вы, наверно, не раз читали в газетах, что вот сегодня там-то и там-то повесили двоих, а вчера там-то и там-то — троих. Нынче что вешать людей, что резать кур — одно и то же. А вы в это время что делаете? Покачиваетесь в кресле и курите ароматную гаванскую сигару, либо пьете в это время чашку вкусного кофе со свежими булочками с маслом. А то, что там висит человек, то, что в последних судорогах, в предсмертной агонии дергается знакомый, близкий вам, родной человек, который еще совсем недавно был полон жизни, полон сил, как вы сейчас? А то, что там лежит еще не остывшее тело человека, которого палачи лишили жизни? А то, что там мучается человек, который хотел бы поскорее умереть, а смерть нейдет, потому что палач плохо затянул веревку или она, не выдержав тяжести тела, оборвалась, и человек упал ни жив ни мертв и взглядом угасающих глаз молит поскорее покончить с ним?.. Что? Не любите, когда об этом говорят? Вы избалованы. Я так

же избалован, как и вы. И представьте себе, что я побывал, где только можно было, точно знал минуту и секунду его казни, читал потом в газетах о том, как один из троих (повесили всех троих) долго боролся со смертью, потому что он был грузный (это Бомштейн), и его пришлось вешать дважды... Так писали потом в газетах, а мы это читали, то есть не все,— читали об этом только я и Роза: от бабушки и внучки мы эти газеты прятали...

В доме нашем прибавилась еще одна молодая вдова: вдова номер три!.. И на дом опустилась тоска, тихая, мертвая, такая тоска, для выражения которой нет ни красок, ни слов. Такая тоска, которую описать нельзя, потому что описывать — значит осквернять ее. Тоска, которая в изображении кого-либо из ваших писателей прозвучала бы кощунством. Тоска, о которой невозможно, нельзя говорить. Все в прошлом, в воспоминаниях. Три вдовы — три жизни. Не полноценные жизни, а полужизни, и даже не полужизни, а клочья, обрывки. Каждая из них начиналась так хорошо, так поэтично, сверкнула на мгновение и — погасла!.. О себе я не говорю. Меня нет. То есть я хожу туда каждый день, просиживаю с ними ночи напролет, мы говорим о промелькнувших счастливых днях, вспоминаем разные разности: о моем дорогом друге Пине, о честном и таком благородном Шапиро, о герое Мише Грузевиче, о котором газеты потом писали, что в своей области, в химии, он был гений... Я ухожу от них каждый раз с наболевшим сердцем и сам себя спрашиваю с досадой: почему я так глупо проиграл свою жизнь? Где и когда совершил я первую свою ошибку и когда наконец свершится последняя? Люблю я их всех троих, и дороги они мне все трое, и каждая из них могла быть моей. Может, еще и сейчас... И каждой из троих я и мил — и ненужен, и необходим — и навязан. Стоит мне один день не прийти, как разразится скандал, а засижусь лишних полчаса, меня бесцеремонно выпроваживают, попросту предлагают убираться. Ничего не делают, не спросив меня, но если я в чем-нибудь упрекну, скажут, что я во все вмешиваюсь... Я вспыхиваю, убегаю домой, запираюсь у себя со своей кошкой, прислуге наказываю, если будут ко мне звонить, отвечать, что меня нет, что я уехал. Опять принимаюсь за свой дневник, который веду тридцать шесть лет подряд. Интересный дневник, будьте уверены. Веду я его для себя, не для других. Подождет еще ваша литература, покуда удостоится такой книги! Вам я, может быть, когда-нибудь и покажу этот дневник, другим — ни за какие блага...

Однако не проходит и получаса, как ко мне стучатся.

«Кто там?» — «Девушка от вдов пришла звать вас к обеду. Что сказать?» — «Скажите, что сейчас приду».

Ну, что вы теперь скажете, господин мой любезный? Как насчет вашей «психологии»?.. Торопитесь уходить? Идемте, я с вами. Мне надо к моим трем вдовам. Одну минуту, скажу только, чтобы кошке дали поесть, а то я там, чего доброго, засижусь до утра. Мы играем в «ералаш», иногда в преферанс. Играем на деньги. И каждому хочется выиграть! А сделает кто-либо неудачный ход — пощады нет ни мне от них, ни им от меня. Всякий неправильный ход, когда в карты играем, меня в ярость приводит: я готов уничтожить того, кто промахнулся.

Ну, что означает ваша улыбка? Поверьте, знаю, о чем вы сейчас думаете. Я ведь вас насквозь вижу. Но мне наплевать. Вы сейчас думаете обо мне: «Старый, старый холостяк, брюзга...»

Вот и вся история о трех вдовах.

НОВОСТЕЙ НИКАКИХ...

Два поздравительных письма к Новому году:
1. От портного из Америки — другу на родину.
2. От портного с родины — другу в Америку.

1

Май дир фрэнт Исролик! [1]

Да будет предначертан новый счастливый год тебе, жене твоей и детям! Дай бог, чтобы вы и весь наш народ были ол райт, аминь!

Нас очень огорчает, что ты не пишешь нам писем. Потому что с тех пор, как начались у вас все эти революшн, конститушон и погромы, мы тут ужасно расстроены, просто головы потеряли. Если то, что пишут наши газеты, не блеф, то ведь у вас уже, наверное, половину народа уложили! Каждый день слышишь о вас какую-нибудь новую сенсейшн. Вчера я читал телеграмму, будто мистера Крушевана — президента Четвертой думы — повесили... Напиши мне, правда ли это? И еще напиши мне про твой бизнес: работаешь ли ты в мастерской, или ты сам себе босс? И как поживает твоя Ханe-Рикл? И что поделывает Гершл? И как живет мой кузен Липе? И Иосл-Генех? И Бенце со своей Рохл? И Златка? И Мотл? И что с остальными портными? И думаешь ли ты перебираться в Америку? Обо всем напиши мне подробно в своем письме.

А о себе — что тебе писать, дорогой мой друг? И я, и жена, и дети мои — ол райт. Все мы, слава богу, «делаем здесь жизнь». Работаем как проклятые, но жизнь налаживаем. Денег не копим, но занимаем две комнаты с кухней. Целый день работаем, а вечером выходим на прогулку, или на митинг социалистов или сионистов, или в еврейский театр. Всю жизнь горе мыкаем, но

[1] Дорогой мой друг Исролик! *(англ.)*

зато мы свободны. Я могу быть членом какого угодно общества. А если пожелаю, приму гражданство и могу быть допущен к выборам.

Одно только нам здесь покоя не дает — родина! Ох, как мы тоскуем по родине! Моя Дженни (ее уже больше не называют Блюмой) житья мне на дает! Требует, чтоб мы поехали в Россию — покойников наших навестить. Посмотрел бы ты на мою Дженни — ее не узнать. Леди — в шляпе и перчатках. Посылаю тебе фотографию моей Дженни и всей семьи. Как тебе нравится мой старший бой? Это — Мотл. Теперь его называют Майк. У него все в порядке: работает на фабрике и зарабатывает от десяти до двенадцати долларов в неделю. Если бы не играл в карты, он был бы и вовсе ол райт. Второй, Джек, раньше был на работе. Теперь он немного подучился английскому языку и служит бухгалтером в парикмахерской. Третий байструк — Бенджамен — служит в трактире. Жалования не получает, но приносит домой иной раз шесть, а иной раз и восемь долларов. Четвертый бойчик, который в шапочке, хороший сорванец: ходить в школу не желает, день и ночь болтается на улице и играет в мяч. Дочери мои тоже ол райт. Работают в мастерских и прикапливают деньги. Беда только, что их в глаза не видишь. Гуляют — когда, где и с кем вздумается. Америка — свободная страна. Здесь никому не укажешь, даже собственной дочери. Вот, к примеру, старшая моя дочь — ее звали Хая, теперь у нее другое имя — Френсис... Ох, и натерпелся же я с ней! Влюбилась и без моего ведома вышла замуж за какого-то лоботряса из тех, что путаются с ворами. Он удрал из какого-то исправительного заведения, а ей наговорил, будто он известный фабрикант готового платья и торгует домами. В конце концов оказалось, что он троеженец: у него всего-навсего три неразведенных жены. Натерпелся я немало, пока избавился от него! Сейчас она вышла замуж за лотошника и живет ол райт. Остальные дочери мои замуж еще не вышли, а если и выйдут,— меня не спросят. Америка — свободная страна, каждый делает свой бизнес, как ему нравится, и все тут! Ну вот, дорогой мой друг, написал я тебе обо всем, что у меня делается, и прошу тебя, ради бога, обязательно напиши мне немедленно так же подробно обо всем, что у тебя. Сердечно кланяюсь каждому в отдельности и еще раз желаю вам счастливого и благополучного года. Гуд бай!

От меня, твоего лучшего друга

Джейкоба (в прошлом Янкла).

2

Дорогой друг Янкл!

Твое поздравление я получил как раз накануне Нового года. Благодарю за милое письмо и желаю тебе также доброго и счастливого года. Дай бог свидеться в радости. Аминь!

Теперь я хочу ответить на твое письмо. Чудной ты все-таки человек! Уж если выбрался один раз за два года написать поздравительное письмо, то писал бы хоть по-человечески! Кто это обязан понимать такие слова, как «блеф», «ол райт», «сенсейшн» и тому подобное? Зачем ты просишь, чтобы тебе писали и писали? О чем я могу тебе писать? Новостей никаких. Сейчас у нас, слава богу, все благополучно. Богачам живется хорошо, как всегда, а бедняки мрут с голоду, как везде. Мы, ремесленники, сидим без работы. Об одном только мы можем сейчас не беспокоиться — о погроме. Погрома мы вообще больше не боимся, потому что он уже был, а дважды одно и то же только в Кишиневе могло случиться. Погром, правда, произошел у нас с опозданием, но зато мы имели погром по всем правилам. Словом, много писать я не могу и не хочу, да и не о чем,— могу только сообщить тебе, дорогой Янкл, одно: я жив! Трижды смотрел смерти в глаза, но — чепуха! Как говорит дамский портной Геце,— помнишь его? — «кто погибнет в бурю, а кто в чуму»,— ежели суждено мучиться, так господь бог и умереть не даст...» Болела у меня душа только за жену и детей. Сам послал их на погибель... Забрались они честь честью к одному доброму человечку на чердак и пролежали там в большом почете два дня и две ночи — не евши, не пивши, не спавши... И лишь на третий день, когда уже нечего было грабить и некого было бить, у нас, слава богу, стало благополучно. Тогда потихоньку слезли с чердаков. Из нашего семейства, слава богу, никто не пострадал, если не считать Липе, которого убили вместе с обоими сыновьями — Нойахом и Мейлахом — чудесными мастерами, и Мойше-Герша, которого с почестями сбросили с чердака, да еще Перл-Двойре, которую нашли уже потом у них же в погребе мертвой с крошечным младенцем (Рейзеле) у груди... Так что кругом, считая маленьких детей, из нашего семейства убито всего-навсего семь человек... Но, как говорит Геце: «И то благо! Могло быть и хуже, а хорошему конца-краю нет!» Ты спрашиваешь о Гершле? Не беспокойся. Он уже больше полугода как сидит один-одинешенек, без всякого дела, в тюрьме. За что? Наверное, за то, что в синагоге смотрел, куда не положено... Его, говорят, собираются щедро наградить: либо

повесят, либо расстреляют,— уж это как ему посчастливится, потому что во всем, как говорит Геце, нужна удача... Вот, к примеру, Иосл, сын Генеха, умер еще до того, как его доставили в тюрьму... А больше у нас новостей никаких. Ну, а о Нехемье, сыне столяра, ты даже не спрашиваешь? Помнишь его? Был как будто никудышным парнем, не правда ли? «Лейб-Дрейб Обдирок» его называли. Нынче он, как граф, отлеживается в Петропавловской крепости. Вот кого действительно жаль, так это Златку. Она, говорят, тронулась от всех этих бед... Шутка ли, потерять за одну неделю двоих детей! А сын Авром-Мойши уже, наверное, в Америке. Увидишь его, кланяйся и скажи, что отец у него молодец: умер, не дождавшись конституции! А наш Мотл вообще пропал, никто не знает, где он... Многие у нас таким образом исчезли... Одни бежали, другие убиты, третьи по тюрьмам отдыхают, гуляют по сибирским снегам, работают, прикованные к тачке... И все им нипочем! Заупрямился народ: раз навсегда — конституцию, и никаких гвоздей! С нашим братом, рабочим человеком, шутки плохи... Как Геце говорит: «Ни яда твоего, ни меда твоего не надо...» — то есть: «Не зовись моим дядькой и не шей мне сапог!» Удивительный человек этот Геце! Одного сына на войне уложили, другой — сидит, сам он тоже бедствует на славу, а как дойдет до острого словца,— ему сам черт не брат! А больше писать не о чем, новостей нет. Все, слава богу, благополучно, все мы совершенно здоровы, только что моя Хане-Рикл жалуется, бедная, на сердце... Удивительно ли, сколько страхов натерпишься от одних экспроприаций. Ты, наверное, не знаешь даже, с чем это едят? Сейчас опишу тебе. Являются к тебе в дом с готовенькой бомбой, начиненной отнюдь не пасхальной мукой, а порохом и гвоздями, и говорят тебе: «Руки вверх!» (Геце называет это: «Возденьте длани!») Потом расстегивают на тебе кафтан, забирают все, что имеешь,— и жалуйся господу богу! Недавно заявились ко мне двое молодцов, произнесли свой стих и забрали машину. А еще была у меня корова, так та сама подохла. Броха моя сейчас еще беднее, чем раньше, да и Алтеру до богача далековато... А Лейзера недавно выслали из-за паспорта. Поделом,— кто виноват? Пусть не будет дураком. А Мендл и вовсе отличился: взял да и помер,— кто говорит, что от чахотки, а кто — от голода... А я думаю, что и от того и от другого... Сын Биньомина в солдатах, и о холере у нас сильно поговаривают... Этого еще не хватало! А больше писать не о чем, новостей никаких. А что твоя Блюма, или, как ее там теперь называют, Дженни, хочет приехать навестить покойников, то я считаю, что сейчас не время, Янкл! Отложите

это до будущего года, даст бог у нас потише станет, люди перестанут резать друг друга, тогда приедете... Пойдем вместе на кладбище: там, слава тебе господи, немало наших родственников прибавилось, не говоря о знакомых. Еще и сейчас что ни день — прибавляются!

Больше новостей нет. Будь здоров и кланяйся сердечно каждому в отдельности. В Америку я не собираюсь. Не нравится мне твоя Америка! Страна, в которой газета называется «пейпер», в которой Блюма превращается в Дженни, а жених оказывается троеженцем,— из такой страны, прости меня, бежать надо! Из твоего письма я вижу, что, будь у нас настоящая конституция, как мы понимаем,— нам бы никакой Америки не надо было! Тогда бы у нас была «Америка» получше, чем у вас... Не горюй, Янкл,— такой бы кусок золота мне и такую бы болячку Крушевану, какую конституцию мы еще, даст бог, будем иметь!..

Да пошлет нам господь счастливый год — нам здесь, а вам у себя!

Твой друг
Исроел.

МАЛЬЧИК МОТЛ

I. СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК — ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ!

1

Я готов поспорить с вами на что угодно, что никто во всем мире не был так рад теплому, яркому предпасхальному дню, как мы,— я, Мотл, сын кантора Пейси, и соседский теленок по имени Мени (это я, Мотл, дал ему такое имя — Мени).

Оба вместе почувствовали мы первые лучи весеннего солнца в первый теплый предпасхальный день, оба вместе ощутили мы запах первой зеленой травки, пробивающейся из обнаженной земли, и оба вместе мы выбрались из мрачной тесноты навстречу первому, сладостному, светлому, теплому весеннему утру.

Я, Мотл, сын кантора Пейси, вылез из ямы, из холодного, сырого подвала, пропахшего кислым тестом и аптекой. А Мени, соседского теленка, выпустили из еще более зловонного места: из маленького, темного, грязного, загаженного хлева с искривленными полуразрушенными стенами, сквозь которые зимой врывается ветер и снег, а летом хлещет дождь.

Вырвавшись на вольный божий свет, мы оба — я и Мени,— преисполненные благодарности к природе, стали выражать свою радость. Я, сын кантора Пейси, поднял обе руки, раскрыл рот и втянул в себя столько свежего воздуха, сколько мог, и показалось мне, что я расту и расту, что меня тянет все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда, где скользят редкие перистые облака, туда, где ныряют белые птицы, то показываясь, то исчезая, с чириканьем и писком. И из моей перепол-

ненной груди, помимо воли, вырвалась песня,— более прекрасная, чем та, что мы с отцом певали по праздникам у амвона, песня без слов, без нот, без мелодии, как напев падающей воды, набегающих волн, «Песнь Песней», божественная радость: «Отец небесный! Боже милосердный!»

Так выразил свою радость в первый день весны мальчик Мотл, сын кантора Пейси. Совсем по-иному проявил ее Мени, соседский теленок.

Мени, соседский теленок, прежде всего уткнулся черной влажной мордой в мусор, раза три поскреб передней ножкой землю, задрал хвост, затем подпрыгнул всеми четырьмя ногами и издал глуховатое «ме-е-е-е». Это «ме-е» показалось мне таким забавным, что я не мог не расхохотаться и не издать такого же «ме-е-е», в точности подражая Мени. Теленку, видно, это понравилось: он, не долго думая, повторил мычание, сопровождая его таким же прыжком. Само собой разумеется, что и я не замедлил со всей возможной точностью проделать то же самое и голосом и ногами. И так несколько раз: я — прыг, теленок — прыг, теленок — «ме-е-е», и я — «ме-е-е».

Кто знает, сколько длилась бы эта игра, если бы мой старший брат Эля не огрел меня всей пятерней по затылку.

— Провались ты сквозь землю! Парню уже почти девять лет, а он пускается в пляс с теленком! Домой пошел, паршивец ты эдакий! Погоди, отец тебе задаст!

2

Вздор! Ничего мне отец не задаст! Отец болен. Он не молится у амвона уже с самого праздника симхес-тойре. Ночи напролет кашляет. К нам ходит доктор, черный, толстый, с черными усами и смеющимися глазами — веселый доктор. Меня он называет «пузырь» и щелкает пальцами по животу.

Он всякий раз наказывает матери, чтобы меня не перекармливали картошкой, а больному велит давать лишь бульон и молоко, молоко и бульон. Мать внимательно выслушивает его, а когда доктор уходит, она прячет лицо в передник и плечи ее вздрагивают... Затем она вытирает глаза, отзывает в сторону моего брата Элю и о чем-то с ним шепчется. О чем они говорят, я не знаю. Но мне кажется, они ссорятся. Мать его куда-то посылает, а он не хочет идти.

— Чем у них просить,— говорит он,— лучше в могилу! Лучше помереть мне, не сходя с места!

— Откуси себе язык, законопротивец этакий! Что ты говоришь?

Так отвечает ему мать вполголоса, стиснув зубы, и машет на него руками; она, кажется, готова его растерзать. Однако скоро она смягчается и говорит:

— Что же мне делать, сын мой? Жалко отца... Надо же его спасти...

— Продай что-нибудь! — отвечает мой брат Эля, поглядывая на застекленный шкаф.

Мать тоже смотрит на шкаф, вытирает глаза и тихо говорит:

— Что продать? Душу? Нечего уже продавать. Разве что пустой шкаф?

— А почему нет? — отвечает мой брат Эля.

— Разбойник! — шепчет мать, глядя на него покрасневшими глазами.— Откуда только у меня дети такие разбойники?

Мама возмущается, кипятится, но, выплакавшись, вытирает глаза и идет на уступки. Так же было и с книгами, и с серебряной каймой от отцовского талеса, и с двумя позолоченными бокалами, и с ее шелковым платьем, и со всеми прочими вещами, распроданными поодиночке и каждый раз кому-нибудь другому.

Книги купил книгоноша Михл, человек с редкой бороденкой, которую он постоянно почесывает. Мой брат Эля ходил к нему, бедняга, трижды, покуда удалось привести его к нам домой. Мать очень обрадовалась, когда увидала книгоношу, и, приложив палец к губам, просила говорить тихо, чтобы не услыхал отец. Михл понял, задрал голову к полке, почесал бородку и произнес:

— Ну-ка, покажите, что у вас там такое?

Мать кивнула мне, чтобы я влез на стол и достал книги. Вторично просить меня не пришлось. Одним прыжком я очутился на столе, но от восторга тут же растянулся во всю длину, да еще в придачу получил нахлобучку от моего брата Эли, чтобы я не прыгал как сумасшедший. Брат Эля взобрался на стол и передал книгоноше книги.

Михл одной рукой листал книги, другой почесывал бородку и во всех книгах обнаруживал недостатки. У каждой книги свой изъян: тут переплет нехорош, у той корешок сильно изъеден, а эта книга вообще не книга... Когда же Михл пересмотрел все книги, все переплеты и все корешки, он почесал бороденку и сказал:

— Будь это «Мишнаэс», полный комплект, я бы, пожалуй, купил...

Мать побелела как полотно, а брат Эля, наоборот, покраснел как рак. Он набросился на книгоношу:

— Что ж вы не могли сразу сказать, что покупаете только «Мишнаэс»! Чего же вы пришли голову морочить и время отнимать?

— Пожалуйста, тише! — упрашивает его мать.

А из соседней комнаты, где лежит отец, уже слышен хриплый голос:

— Кто там?

— Никого нет! — отвечает мать и отсылает брата Элю к больному, а сама тем временем торгуется с книгоношей, продает ему книги, видно, очень дешево, потому что, когда Эля возвращается из отцовской комнаты и спрашивает: «Сколько?» — она его отстраняет и говорит: «Не твое дело!»

А Михл хватает книги, наскоро сует их в мешок и поспешно исчезает.

3

Из всех вещей, распроданных нами, ни одна мне не доставила столько удовольствия, сколько застекленный шкаф.

Правда, когда пришлось отпарывать серебряную кайму от отцовского талеса, мне тоже не было скучно. Прежде всего — торг с ювелиром Иоселем, изможденным человеком с красным пятном на лице! Три раза он уходил и, конечно, поставил на своем. Затем он, заложив ногу за ногу, уселся к окошку, взял отцовский талес, достал маленький ножик с желтым черенком из оленьей кости, согнул средний палец и стал отпарывать кайму так искусно, что, умей я так отпарывать каймы, я, кажется, был бы самым счастливым человеком на свете. И все же, посмотрели бы вы, как моя мать тогда расплакалась! Даже мой брат Эля, уже взрослый парень, жених, и тот вдруг отвернулся лицом к двери, делая вид, что сморкается, скривил лицо и, издав горлом какой-то странный звук, вытер полою глаза.

— Что там? — спрашивает отец из своей комнаты.

— Ничего! — отвечает мать, вытирая красные глаза, а нижняя губа и вся половина лица у нее так трясутся, что, право же, нужно быть крепче железа, чтобы не рассмеяться.

Но куда веселее было, когда дело дошло до шкафа.

Во-первых, как его заберут? Мне всегда казалось, что наш шкаф прирос к стене,— как же его возьмут? Во-вторых, куда мать будет запирать хлеб, халу, тарелки, оловянные ложки и вилки (у нас были две серебряные ложки и одна серебряная

вилка, но мать их уже давно продала), и где мы будем держать мацу на пасху?

Все эти мысли приходили мне на ум, когда столяр Нахмен стоял у шкафа и измерял его огромным красным ногтем большого пальца измазанной руки. Он все время уверял, что шкаф не пройдет в дверь. Смотрите сами: вот вам ширина шкафа, а вот вам дверь — никак не вынести!

— Как же он попал в дом? — спрашивает мой брат Эля.

— А ты его спроси! — сердито отвечает Нахмен.— Почем я знаю, как он попал в дом? Внесли его, он и попал!..

Была минута, когда я очень боялся за наш шкаф. То есть я думал, что он останется у нас. Однако вскоре столяр Нахмен пришел с двумя сыновьями — тоже столярами, и подхватили наш шкаф, как черт меламеда.

Впереди шел Нахмен, за ним оба сына, а позади — я. Отец командовал: «Копл, в сторону! Мендл, вправо! Копл, не торопись! Мендл, держи!..» Я помогал. Мать и брат Эля не хотели помогать. Они стояли, смотрели на пустую стену, покрытую паутиной, и плакали... Удивительные люди: только и делают, что плачут!.. Вдруг — тррах! У самой двери в шкафу треснуло стекло. Столяр и его сыновья стали ругаться, сваливать один на другого вину.

— Повернулся! Оловянная птичка!

— Косолапый медведь!

— Черт его побери!

— Провались ты ко всем чертям!..

— Что там? — слышится хриплый голос из комнаты больного.

— Ничего! — отвечает мать и вытирает глаза.

4

Самая большая радость была у меня, когда дело дошло до кушетки брата Эли и до моей кроватки. Кушетка брата раньше была диваном, на котором сидели. Но с тех пор как брат Эля стал женихом и начал спать на диване, а я на его кровати, диван превратился в кушетку.

Раньше, в добрые времена, когда отец был здоров и вместе с четырьмя певчими распевал молитвы в синагоге, в диване были пружины. Теперь пружины мои. Я проделывал с ними всякие фокусы: покалечил руки, чуть не выколол себе глаза, а однажды надел на шею и едва не задохся. Кончилось это тем, что брат

Эля отдубасил меня, забросил пружины на чердак и убрал лестницу.

Кушетку и кровать купила Хана. До того как она купила эти вещи, мать не позволяла чересчур тщательно разглядывать их.

— Вот, что видите, можете купить, а смотреть там нечего!

Но когда Хана уже сторговалась и дала задаток, она подошла к кушетке и к кровати, приподняла постель, осторожно заглянула во все потайные места и стала неистово отплевываться... Мать рассердилась и даже хотела вернуть задаток, но вмешался брат Эля:

— Купили — пропало!

Постелив себе на полу, мы оба — я и мой брат Эля — растянулись, как графы, накрылись одним одеялом (его одеяло продали), и мне было очень приятно услышать от моего старшего брата, что спать на полу вовсе не так плохо.

Я дождался, пока он прочел молитву на сон грядущий и заснул. Тогда я стал кататься по всему полу. Места теперь, слава богу, вдоволь. Раздолье! Простор! Рай земной!

5

— Как дальше-то быть? — говорит однажды утром мать, обращаясь к моему брату Эле, и, наморщив лоб, оглядывает голые стены.

Я и брат Эля помогаем ей осматривать все четыре стены. Брат смотрит на меня озабоченно и с жалостью.

— Ступай во двор! — говорит он мне строго.— Нам нужно кое о чем посоветоваться...

На одной ноге я выскакиваю на улицу, и, конечно, сразу же — к соседскому теленку.

За последнее время Мени подрос, похорошел, черная мордочка стала миловидной, круглые глаза — умней, совсем как у человека, как у разумного существа: глядит, не дадут ли ему чего-нибудь, и очень любит, когда ему двумя пальцами почесывают шею.

— Уже? Опять с теленком возишься? Никак расстаться не можешь со своим дорогим другом?

Это говорит мой брат Эля, но на этот раз не ругается. Он берет меня за руку и рассказывает, что мы пойдем к кантору Герш-Беру. У кантора Герш-Бера, говорит он, мне будет хорошо. Во-первых, меня там будут кормить. А дома сейчас скверно: отец болен, надо его спасать.

— Мы — говорит Эля,— спасаем его, как можем...

При этом он расстегивает свой кафтан и показывает на жилет.

— Вот... Были у меня часы... подарок от будущего тестя... пришлось продать. Если бы он узнал, творилось бы бог знает что! Светопреставление!

Я благодарю бога за то, что будущий тесть Эли ничего не знает о часах, что светопреставления не будет. Подумать только,— если бы дело дошло до светопреставления! Что бы тогда было с Мени, с соседским теленком? Бессловесное существо!..

— Вот мы и пришли! — говорит брат Эля, который с каждой минутой становится все добрее и ласковее ко мне.

Герш-Бер слывет знаменитым кантором. Собственно, сам он не поет — у него, бедняги, голоса нет. Так говорит отец. Но он знает толк в пении. Певчих у него десятка полтора, а сам он страсть какой сердитый!

Он прослушал меня. Я с выкрутасами спел «Защити отцов наших» — одну из субботних молитв. Кантор провел рукой по моим волосам и заявил брату, что у меня сопрано.

Брат Эля добавил:

— Не просто сопрано, а всем сопрано сопрано!..

Брат Эля поторговался с ним, получил задаток и сказал, что я уже остаюсь здесь, у кантора Герш-Бера. Мне надо его во всем слушаться и не скучать...

Легко ему говорить — не скучать! Лето,— а мне не скучать? Солнце печет, небо как хрусталь, грязь уже давно просохла. На улице возле нашего дома свалены бревна. Это не наши, это бревна богача Иоси. Он собирается строить дом, приготовил бревна, но некуда было их сложить,— он и бросил их возле нас. Большое спасибо ему, богачу Иосе! Ведь я из бревен могу строить для себя «крепость», а между бревен растет репейник и хлопушка. Колючками репейника можно швыряться и колоть, а хлопушки надувают и хлопают ими себе по лбу — они лопаются. Мне хорошо! И Мени, соседскому теленку, тоже хорошо. Я и Мени здесь единственные хозяева. Так как же мне не скучать по соседскому теленку Мени?!

6

Вот уже скоро три недели, как я живу у кантора Герш-Бера, но петь мне почти не приходится. У меня другая забота. Я по целым дням таскаю на руках его дочку Добцю. Она горба-

тая. Ей еще и двух лет не исполнилось, но она тяжеленькая,— пожалуй, тяжелее меня. Я надрываюсь, таская ее на руках. Добця меня любит. Она обнимает меня тощими ручонками и цепляется тоненькими пальчиками. Зовет она меня «Кико». Почему Кико,— не знаю. Добця меня любит. Не дает мне спать ночи напролет: «Кико, ки!» Это значит: укачивай ее. Добця меня любит. Когда я ем, она вырывает у меня кусок изо рта: «Кико, пи!» Это значит: отдай мне!..

Меня тянет домой... Кормят здесь тоже не ахти как. Нынче праздник. Канун швуэс. Хочется выйти из дому, посмотреть, как небо раскалывается. Но Добця не пускает. Добця меня любит: «Кико, ки!» — качай ее. Я качаю, качаю ее и засыпаю. И приходит ко мне гость, Мени — соседский теленок, смотрит на меня понимающими глазами и говорит: «Идем!» Мы спускаемся с горы к реке. Не долго думая, я засучиваю штанишки: «Гоп!» — и я уже в воде. Плыву, а Мени за мной. На том берегу хорошо. Нет ни кантора, ни Добци, ни больного отца... Просыпаюсь — это лишь сон...

Бежать! Бежать! Бежать! Но как бежать? Куда? Домой, конечно... Но кантор Герш-Бер уже встал раньше меня. У него большой камертон, он пробует его зубами, подносит к уху. Он велит мне наскоро одеться и следовать за ним в синагогу. Сегодня во время предобеденной службы будут петь «исключительную вещь».

В синагоге я встречаю своего брата Элю. Как он сюда попал? Ведь он всегда молится в той синагоге, где отец служит кантором! Что это значит? Брат Эля говорит о чем-то с Герш-Бером. Мой хозяин недоволен. Он говорит:

— Так помни же, ради бога, сейчас же после обеда!..

— Пойдем! С отцом повидаться! — говорит мне брат Эля, и мы вместе идем домой.

Он идет, а я прыгаю, бегу, лечу.

— Погоди! Куда ты летишь? — говорит брат и сдерживает меня.

Ему, видно, хочется со мной поговорить.

— Знаешь? Отец болен, очень, очень болен... Бог знает, что с ним будет... Надо его спасать, а спасать нечем. Никто не хочет помочь... А в больницу мать ни за что не отдает. Она лучше умрет, говорит, чем отдаст его в больницу... Тише, вот мама идет!..



«Самый счастливый человек в Кодне»

7

С распростертыми руками идет нам навстречу мать, бросается ко мне на шею, и я чувствую на своих щеках ее слезы. Брат Эля уходит к больному отцу, а я с матерью остаюсь на улице. Нас окружили со всех сторон: тут и жена нашего соседа, Песя-толстая, ее дочь Миндл, ее невестка Перл и еще две женщины.

— У вас гость к празднику? С гостем вас!..

Мать опускает опухшие глаза.

— Да, гость, гость. Ребенок! Пришел проведать больного отца... Как-никак дитя родное,— отвечает она собравшимся женщинам и добавляет тихо, обращаясь к одной соседке Песе, сочувственно кивающей головой: — Ну и город! Хоть бы кто-нибудь обратил внимание... Двадцать три года отбарабанил у амвона... Здоровье загубил... Я бы, может быть, и спасла его, да нечем... Все, с божьей помощью, продала... До последней подушки... Сына в певчие к кантору отдала... Все ради него... Все ради больного.

Так жалуется мама соседке Песе. Я оглядываюсь во все стороны.

— Кого ты ищешь? — спрашивает мать.

— Кого ему, шалуну, искать? Теленка, верно...— отвечает наша соседка Песя и обращается ко мне как-то особенно дружески: — Эх, мальчик! Нет уже теленка! Пришлось продать мяснику. Ничего не поделаешь. Одну скотину едва прокормишь,— где уж там о двух думать!..

Вот как — и теленок, значит, у нее уже «скотина»?

Чудная эта Песя. Всюду сует свой нос. Ей обязательно нужно знать, есть ли у нас к празднику молочная трапеза?

— Это вы к чему? — спрашивает мать.

— Просто так! — отвечает Песя и, достав из-под шали горшок со сметаной, сует его матери.

Мать обеими руками отталкивает от себя горшок.

— Господь с вами, Песя! Что вы делаете? Что вы? Разве мы бог весть кто? Вы меня разве не знаете?

— Вот именно,— оправдывается Песя,— потому что я вас знаю... Коровка — не сглазить бы — за последнее время поправилась... Есть, слава богу, и сыр и масло. Я вам даю взаймы. Вы мне, даст бог, вернете...

И соседка Песя еще долго о чем-то говорит с матерью, а меня тянет к бревнам, к теленку, к теленку! Если бы не стыдно было, я бы расплакался.

— Если отец будет тебя о чем-нибудь спрашивать, говори: «Слава богу!» — наказывает мне мать, а брат Эля объясняет подробнее:

— Ты не вздумай жаловаться, басни рассказывать, выдумки разные!.. Отвечай только: слава богу. Слышишь, что тебе говорят?

И брат Эля вводит меня в комнату отца. Стол уставлен склянками, коробочками, баночками. Пахнет аптекой. Окно закрыто. Ради праздника комната убрана зеленью, на стенке у изголовья висит «могин-довид», сплетенный из любистики. Это, верно, Эля смастерил. Пол устлан пахучей травой.

Увидев меня, отец делает мне знак длинным тонким пальцем. Брат Эля подталкивает меня. Подхожу поближе. Я едва узнал отца. Лицо землистое. Седые волосы блестят, торчат поодиночке, будто нарочно воткнутые чужие волосы. Черные глаза сидят глубоко, как вставные, чужие глаза. Зубы тоже выглядят, как вставные, чужие зубы. Шея до того исхудала, что голова на ней еле держится. Хорошо еще, что он сидеть может... Губы издают какой-то странный звук, как при плавании: мпфу!.. Отец кладет мне на лицо горячую руку с костлявыми пальцами и криво улыбается, как мертвец.

В комнату входит мать, а следом за нею доктор, веселый доктор с черными усами. Он встречает меня как старого приятеля, угощает щелчком по животу и весело говорит отцу:

— У вас гость к празднику? С гостем вас!

— Спасибо! — отвечает мать и кивает доктору, чтобы тот осмотрел больного и прописал ему что-нибудь.

Доктор с шумом распахивает окно и сердится на брата Элю за то, что окно постоянно закрыто.

— Я вам уже тысячу раз говорил: окно любит, чтобы его держали открытым!

Брат Эля кивает в сторону матери: это она виновата, не дает открывать окно, все боится, как бы отец, упаси бог, не простудился. Мать знаком просит доктора, чтобы он скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь. Доктор достает часы, большие золотые часы. Брат Эля впивается в них глазами. Доктор замечает это.

— Вы хотите знать, который час? Без четырех минут половина одиннадцатого. А на ваших?

— Мои остановились,— отвечает брат Эля и как-то странно краснеет при этом от кончика носа до ушей.

Матери не терпится. Ей бы хотелось, чтобы доктор скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь... Но доктор не торо-

пится. Он расспрашивает о посторонних вещах: когда свадьба моего брата? Что говорит кантор Герш-Бер по поводу моего голоса? У меня, вероятно, говорит он, хороший голос. Голос, говорит он, передается по наследству. Матери невтерпеж! Доктор вместе со стулом поворачивается к больному и берет его сухую, горячую руку.

— Ну, кантор, как справляем нынешние праздники? Как молимся?

— Благодарение богу! — отвечает отец с мертвой улыбкой на губах.

— А именно? Меньше кашляли? Хорошо спали? — спрашивает доктор, наклонившись к нему совсем близко.

— Нет! — отвечает отец, едва переводя дыхание.— Наоборот... Кашлять — кашляем... А спать — как раз не спится... Но, слава богу... праздник... такой день... Да и гость... на праздники...

Глаза всех устремлены на «гостя», а «гость» стоит потупившись, и мысли его витают где-то далеко отсюда,— возле сваленных бревен, где растут колючий репей и щелкающие хлопушки, возле соседского теленка, такого понятливого и превратившегося уже в «скотину», возле речки, шумно сбегающей вниз, или еще дальше — в необъятной шири лазурного свода, который называют небом...

8

Сметана, которую наша соседка Песя-толстая дала нам «взаймы», пришлась очень кстати. Я и брат Эля справили молочную трапезу: оба макали свежую булку в холодную сметану. Это было совсем не плохо.

— Плохо только, что так мало,— заметил мой брат Эля, который в этот день был так настроен, что позволил мне даже не торопиться к кантору Герш-Беру и поиграть немного дома.

— Ведь ты у нас гость на праздники! — сказал он и позволил мне играть на бревнах, правда, с условием, чтобы я не слишком шалил и не порвал, чего доброго, единственную пару штанишек.

Ха-ха-ха! Не порвать единственную пару штанишек! Смеяться некому, честное слово! Вы бы видели эту пару штанишек,— ну и ну! Давайте лучше о штанишках не говорить! Поговорим лучше о бревнах богача Иоси. Ах, бревна, бревна! Богач Иося думает, что бревна принадлежат ему. Вздор! Бревна —

мои! Я из них сделал дворец и виноградник. Я — принц. Принц разгуливает у себя в винограднике, срывает хлопушку и — щелк по лбу, еще хлопушку — и снова щелк по лбу... И все мне завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех Кривой. Он проходит мимо в новом люстриновом костюмчике, показывает на мои штаны, хохочет, щурит свой кривой глаз и говорит:

— Смотри, как бы ты чего не потерял...

— Уходи лучше подобру-поздорову,— отвечаю я,— не то брата позову!

К моему брату Эле мальчики питают уважение, и Генех Кривой убирается восвояси, а я снова остаюсь один, я — снова принц у себя в винограднике... Жаль только, что Мени нет! Наш соседский теленок уже больше не теленок, он уже «скотина». Так говорит наша соседка Песя. Что это значит «скотина»? И зачем его продали мяснику? Неужели на убой? Для того ли он родился, чтобы его потом зарезали? Для чего рождается теленок, для чего рождается человек?

Вдруг я слышу из дома страшные крики и плач... Узнаю мамин голос... Подымаю глаза,— возле нашего дома толпа. Мужчины... Женщины... Входят, выходят... Я лежу на бревне ничком, мне хорошо! Погодите! Вон идет богач Иося! Он староста синагоги, в которой мой отец двадцать три года служит кантором. Иося когда-то был мясником. Теперь он торгует скотом и кожами и богат, очень богат. Иося машет руками, сердится на мать и толкует:

— Сто знацит? Сто знацит? Поцему мне не сказали, сто кантор Пейся так серьезно болен? (Он не выговаривает «ш» и «ч».) Поцему вы молцали?

— А зачем мне кричать? — оправдывается мать, обливаясь слезами.— Весь город видел, как я мучаюсь, хочу его спасти... Он сам все время так просил, чтобы его спасли...

Мать не может больше говорить, она заламывает руки, запрокидывает голову. Брат Эля подхватывает ее.

— Мама! Зачем ты оправдываешься? Мама! Не забывай, мама, сегодня праздник, сегодня плакать нельзя! Мама!

А богач Иося горячится:

— Сто вы мне рассказываете — весь город! Кто это — город? Мне надо было сказать! Обязательно — мне! Все на мой сцет! Погребение, саван — все, все на мой сцет! А если нужно сто-нибудь для сирот, обращайтесь ко мне без стеснения!

Но слова богача мало успокаивают мать. Она все время плачет и виснет на руках у брата без чувств. А мой брат Эля, не переставая плакать, все напоминает ей:

— Сегодня праздник, мама! Сегодня праздник! Мама, нельзя плакать, мама!

Вдруг мне все становится ясным. Сердце сжимается, хочется плакать, сам не знаю по ком... Мне жаль матери, смотреть не могу, как она плачет, как убивается, как она трепещет у брата на руках. Я покидаю свой дворец, свой виноградник, подхожу к ней сзади и со слезами на глазах говорю ей то же, что и брат Эля:

— Мама! Сегодня праздник! Мама, сегодня швуэс! Мама! Нельзя плакать, мама!..

II. МНЕ ХОРОШО — Я СИРОТА!

1

С тех пор как я себя помню, я никогда не был в таком почете, как сейчас. За что мне, собственно, такой почет? Отец мой, кантор Пейся, как вы уже знаете, умер в первый день праздника швуэс, и я остался сиротой.

С первого же дня после праздника я и мой брат Эля стали читать Кадиш. Эля и научил меня этой молитве.

Мой брат Эля — преданный и любящий брат, но учитель он плохой. Он вспыльчив, дерется! Он раскрыл молитвенник, уселся со мной и стал учить: «Да возвеличится, да святится великое имя его...»

Он хочет, чтобы я сразу все запомнил. Повторяет раз и второй от начала и до конца, а потом велит мне говорить одному. Я пытаюсь, но дело не идет.

До второй строфы еще кое-как, а дальше — стоп... Тогда Эля толкает меня локтем и говорит, что голова у меня, видно, где-то на улице (угадал ведь!) или занята теленком (точно в голове у меня побывал!)... Он не ленится и повторяет со мной молитву еще раз. Кое-как добрались до середины, а дальше ни с места! Эля хватает меня за ухо и говорит:

— Если бы отец воскрес и увидел, какой у него сын!..

— Мне бы тогда не нужно было читать Кадиш! — отвечаю я и получаю здоровенную оплеуху левой рукой по правой щеке.

Мать, заслышав, обрушивается на брата, кричит, чтобы он не смел меня бить, потому что я сирота.

— Господь с тобой! Что ты делаешь? Кого бьешь? Ты забыл, видно, что он — сирота?

Сплю я теперь вместе с мамой в отцовской кровати — это единственное, что осталось в доме из мебели. Почти все одеяло она отдает мне.

— Укройся,— говорит она,— спи, сиротинушка мой дорогой! Кушать-то нечего...

Я укрываюсь, но заснуть не могу. Все повторяю наизусть слова молитвы. В хедер я не хожу, не учусь, не молюсь, не пою. Свободен от всего.

Мне хорошо — я сирота!

2

Можете меня поздравить! Я уже знаю все наизусть. В синагоге я становлюсь на скамью и отбарабаниваю Кадиш на славу. Голос у меня тоже неплохой,— наследство от отца: настоящее сопрано.

Мальчишки выстраиваются возле меня и завидуют. Женщины плачут. Состоятельные хозяева дарят мне копейку. Сынишка Иоси Богача, Генех Кривой (он ужасный завистник!), показывает мне язык, изо всех сил старается меня рассмешить. Но, ему назло, я смеяться не стану. Однажды это заметил синагогальный служка Арн,— он ухватил Генеха за ухо и потащил к дверям. Поделом!

Так как читать поминальную молитву приходится и утром и вечером, то я уже к кантору Герш-Беру больше не хожу и не таскаю на руках Добцю. Я свободен. Целые дни я провожу на реке — ловлю рыбу или купаюсь. Ловить рыбу я научился сам. Если хотите, могу и вас научить. Снимают рубаху, завязывают узлом рукава и медленно бредут по горло в воде. Идти нужно долго-долго. Когда почувствуете, что рубаха стала тяжелая,— значит, она полна. Тогда вы выходите из воды и как можно скорее вытряхиваете из рубахи всю грязь и водоросли и хорошенько присматриваетесь. В водорослях часто попадаются лягушата, бросьте их обратно в воду — жалко их. А в густой грязи можно иной раз найти пиявку.

Пиявки — это деньги. За десяток пиявок вы можете получить три гроша — полторы копейки. На улице такие деньги не валяются!.. А рыбы не ищите. Когда-то водилась рыба, а нынче нет. Да я за ней и не гонюсь. Я рад, когда попадаются хотя бы пиявки. Их тоже не всегда найдешь. Нынешним летом не было ни одной!

Каким образом мой брат Эля узнал, что я занимаюсь рыбной ловлей, ума не приложу! Он однажды чуть мне ухо не оторвал за эту рыбу. На счастье, это заметила наша соседка Песя-толстая. Родная мать не заступилась бы так за своего ребенка.

— Разве можно так обижать сироту!

Брату Эле стало стыдно, и он отпустил мое ухо. Все за меня заступаются. Мне хорошо — я сирота!

3

Наша соседка Песя-толстая влюбилась в меня. Пристала к моей матери, как клещ, чтобы я покуда жил у нее, у Песи то есть.

— Что вам сделается? — толковала она.— У меня за стол садится двенадцать человек. А уж где двенадцать, там и тринадцатый.

Мать почти согласна. Но тут вмешивается мой брат Эля:

— А кто будет смотреть, чтобы он вовремя ходил читать Кадиш?

— Я буду смотреть. Чего вам еще надо?

Песя совсем не богата. Муж ее — переплетчик, звать его Мойше. Он славится как лучший мастер. Но этого мало. Нужно к тому же и счастье. Так говорит Песя моей матери. Мать соглашается и добавляет, что даже в несчастье тоже нужно счастье. И приводит в пример меня. Вот я — сирота, а все хотят взять меня к себе. Есть даже охотники, готовые взять меня навсегда. Но не дождаться ее врагам, чтобы она согласилась отдать меня навсегда!

Так говорит мама и плачет. Она советуется с моим братом Элей:

— Как ты думаешь? Остаться ему покуда у Песи?

Мой брат Эля уже большой. Иначе с ним не стали бы советоваться. Он поглаживает рукой еще чистое, не заросшее лицо, как если бы у него уже была борода, и говорит, как взрослый:

— Пожалуй... Лишь бы не озорничал...

На том и решили: я поживу пока у нашей соседки Песи, но при условии, что не буду озорничать. Все у них называется озорством! Нацепить кошке бумагу на хвост, чтоб кошка вертелась,— озорство! Постучать палкой по частоколу поповского двора, чтобы все собаки сбежались,— озорство! Вытащить у Лейбки-водовоза затычку из бочки, чтобы больше половины воды вытекло,— озорство!

— Счастье твое, что ты сирота! — говорит Лейбка-водовоз.— Не то я бы тебе руки и ноги перебил! Можешь мне поверить на слово!

Я верю ему на слово. Я знаю, что сейчас он меня не тронет, потому что я сирота.

Мне хорошо — я сирота!

4

Наша соседка Песя — да простит она меня! — здорово соврала. Она говорила, что за стол у нее садится двенадцать человек. По-моему, я четырнадцатый. Она, видно, забыла о слепом дяде Борухе. А может быть, она его не считала в числе едоков потому, что он уже очень старый, беззубый и не может жевать? Не стану спорить, жевать он действительно не может, но глотает он, как гусь, и все норовит схватить лишний кусок. Да и все они за столом хватают совсем не как люди. Я тоже хватаю. За это меня бьют. Бьют ногами под столом. Больше всех колотит меня «Вашти». У всех здесь клички и прозвища: «Колодка», «Кот», «Буйвол», «Пе-те-ле-ле», «Черногус», «Давай еще», «Смажь маслом»...

Будьте покойны, прозвища даны не зря. Пиню называют «Колодкой» за то, что он толстый и круглый, как колодка. Велвл — черный, и потому его зовут «Котом». Хаим — увалень, и его прозвали «Буйволом». У Мендла — острый нос, поэтому он «Черногус». Файтла назвали «Пе-те-ле-ле» за то, что он говорить не умеет. Берл — ужасный лакомка: дадут ему кусок хлеба с гусиным жиром, а он просит: «Давай еще!» Зороха наградили позорной кличкой «Смажь маслом»: у него неприятная история, в которой он не виноват. Виновата, может быть, его мать, которая в детстве плохо следила за ним и слишком редко мыла ему голову. А может быть, и она не виновата? Спорить из-за этого не стану. А драться — подавно!

Словом, в этом доме у всех прозвища. Чего уж больше, даже кошка, бессловесное, невинное существо, и та у них имеет прозвище: «Фейге-Лея Старостиха». А знаете, за что? За то, что она такая же толстая, как Фейге-Лея, жена старосты Нахмена. Сколько, по-вашему, все они получили затрещин и оплеух за то, что кошку называют человеческим именем! Ничего не помогает! Как горохом об стенку! Раз дали кому-нибудь прозвище,— пропало!

5

Меня тоже прозвали — угадайте как? «Мотл Губастый». Видно, не понравились им мои губы. Когда я ем, говорят они, я шевелю губами. Хотел бы я видеть человека, который при еде не шевелит губами. Я не такой уж гордец и недотрога. Но — не знаю почему — прозвище это мне страшно не нравится! А раз оно мне не нравится,— они меня назло только так и зовут. Ужасные приставалы — вы таких в своей жизни не видали! Сначала меня называли «Мотл Губастый», затем просто «Губастый», а потом «Губа».

— Губа! Где ты был?

— Губа! Вытри нос!

Мне досадно, обидно, и я плачу. Однажды их отец, муж Песи, Мойше-переплетчик, увидел меня в слезах и спрашивает, отчего я плачу?

Я говорю:

— Как же мне не плакать, если меня зовут Мотл, а они меня называют «Губа»!

— Кто?

— Вашти.

Мойше хочет побить Вашти, а тот говорит:

— Это не я, это — Колодка.

Отец — к Колодке, а тот говорит!

— Это не я, а Кот!

Один сваливает на другого, другой на третьего — конца не видно!

Тогда Мойше-переплетчик, не долго думая, разложил всех по очереди и отшлепал переплетом от большого молитвенника, приговаривая:

— Байструки! Я вам покажу, как насмехаться над сиротой! Черт бы вашего батьку драл!

Так-то! Никто меня в обиду не дает. Все, все за меня заступаются.

Мне хорошо — я сирота!

III. ЧТО ИЗ МЕНЯ ВЫЙДЕТ?

1

Ну-ка, отгадайте, где находится рай? Вам не отгадать. А знаете почему? Потому что для каждого он в другом месте. Например, мама уверяет, что рай — там, где находится мой отец,

кантор Пейся. Там, говорит она, пребывают все праведные души, исстрадавшиеся на земле. За то, что у них не было радости на земле, им полагается райское блаженство. Это же ясно как день. Лучшим доказательством может служить мой отец. Ибо где же ему быть, как не в раю? Мало он настрадался при жизни...

Так говорит мать, вытирая при этом глаза, как всегда, когда она вспоминает об отце.

Но спросите моих товарищей,— они вам наговорят с три короба: рай находится где-то на горе из чистого хрусталя, высокой, до самого неба. Мальчишки там свободны как ветер, ничего не делают, не учатся, купаются по целым дням в молоке и едят мед пригоршнями... Думаете — это все? А вот переплетчик заявляет, что настоящий рай — в бане в пятницу. Я сам слыхал это от мужа нашей соседки, переплетчика Мойше. Честное слово! Вот и добейся тут толку!

Если бы меня спросили, я бы сказал, что рай — это сад лекаря Менаше. Никогда в жизни вы такого сада не видали! Это единственный сад не только на нашей улице, не только у нас в городе,— пожалуй, на всем свете нет другого такого сада. И не было и не будет! Все вам скажут!

Но что описать вам раньше? Самого лекаря Менаше и жену его Менашиху? Или расписать вам раньше самый рай, то есть их сад? Полагаю, что прежде всего нужно рассказать вам о Менаше и его жене. Они хозяева, им и честь.

2

Лекарь Менаше и зимой и летом ходит в пелерине. Он подражает черному доктору. Один глаз у него меньше другого, а рот у него,— не про меня будь сказано,— слегка съехал набок. То есть не слегка, а здорово, здорово съехал. Его как-то ветерком продуло. Так говорит сам Менаше. Я никак не пойму, как может ветерок своротить рот на сторону? Сколько ветров — и слабых и сильных — продувало меня за мою жизнь! Всю голову должно было бы мне своротить задом наперед... Я думаю, что это просто привычка — привык человек, и все. Вот, к примеру, есть у меня товарищ Берл,— он моргает глазами. Или, скажем, другой товарищ, Велвл,— тот, когда говорит, будто суп с лапшой хлебает. Все на свете — только привычка. Однако, хоть рот у него набоку, Менаше обделывает свои дела почище всех докторов. Во-первых, он из себя не корчит такого барина, как

другие доктора. Как только его позовут, он тут же прибегает запыхавшись. А во-вторых, он не прописывает рецептов. Лекарство он изготовляет сам. У меня как-то вдруг появились озноб и лихорадка, начало колоть в боку (наверное, от слишком долгого купания),— мать сразу же помчалась и привела лекаря Менаше. Он осмотрел меня и сказал своим кривым ртом, обращаясь к маме:

— Нечего пугаться. Пустяки. Сорванец простудил легкие.

При этом он достал из кармана синий пузырек и насыпал в шесть бумажек чего-то белого. «Порошки» называется это. Один порошок он велел мне принять сейчас же. Я, конечно, стал ломаться и вертеться во все стороны. Чуяло мое сердце, что это горько как смерть. Так оно и было. Я угадал! Но горечь горечи рознь. Вы пробовали когда-нибудь свежую кору с молодых кустов? Вот такой вкус имели его порошки. Вообще имейте в виду: уж ежели порошки, значит, горькие. Однако не помог мне никакой господь бог. Я принял порошок и света белого невзвидел... Остальные пять, наказал он маме, я должен принимать через каждые два часа. Нашел охотника желчь глотать! Только мать отвернулась на минутку,— пошла рассказать моему брату Эле, что я заболел,— я все пять порошков высыпал в помойное ведро, а в бумажки насыпал муки.

Ну и работа же досталась матери: каждые два часа бегать к соседке Песе смотреть на часы. После каждого принятого мною порошка, замечала она, мне становится лучше. А после шестого порошка я встал совершенно здоровым.

— Вот это доктор! — сказала мать.

Она не пустила меня в хедер, держала целый день дома и кормила сладким чаем с белой булкой.

— Менаше — всем докторам доктор! Дай ему бог здоровья и долголетия! У него есть порошки, которые воскрешают мертвых, возвращают жизнь...

Так потом хвасталась мать перед всеми, вытирая, по своему обыкновению, глаза.

3

Жену Менаше называют по мужу Менашихой-лекарихой. Она вредная женщина. Это все говорят! Знаете почему? Потому что она очень злая. Лицо у нее, как нарочно, мужское, голос мужской, сапоги носит мужские, а когда говорит, всегда кажется, что она сердится. Вообще, слава о ней идет неважная.

Ни разу в жизни она нищему куска хлеба не подала. А дом у нее полон добра. Вы можете найти у нее варенье и прошлогоднее, и трехлетнее, и даже десятилетнее. К чему ей, скажите, столько варенья? Спросите у нее,— она и сама не знает. Такой уж у нее характер. Пропащее дело — ее не переделаешь! Она знает одно: чуть наступило лето, только и делает, что варенье варит! Думаете, она варит на углях? Как бы не так! На колючках, на шишках, на опавших листьях. Такого дыму напустит на всю улицу, что задохнуться можно. Если вам случится как-нибудь попасть к нам летом и вы почувствуете, что горелым пахнет, не пугайтесь — это не пожар. Это Менашиха-лекариха варит варенье — собственноручно, из собственных фруктов, в собственном своем саду.

Итак, мы добрались до сада, о котором я обещал рассказать.

4

Чего-чего только нет в этом саду! Яблоки, и груши, и черешни, и сливы, и вишни, и крыжовник, и смородина, и персики, и шпанка, и абрикосы, и малина, и шелковица... Чего уж больше — даже виноград к Новому году можно получить у лекарихи Менашихи. Правда, когда попробуешь этот виноград, глаза на лоб лезут — до того он кислый. И все же она за него получает хорошие деньги! Из всего она умеет делать деньги. Даже из подсолнуха. Упаси вас бог попросить у нее подсолнух! Не даст. Она скорее даст вырвать себе зуб изо рта, нежели подсолнух из огорода. А уж яблоко, грушу, вишню или сливу — и говорить нечего! Не дай бог! Я знаю этот сад, как богомольный еврей слова молитвы. Знаю даже, где какой кустик находится, и что на нем растет, и уродится ли на нем что-нибудь в этом году. Откуда я все это знаю? Не пугайтесь, я там еще никогда не бывал. Да и как я мог бы там быть, когда сад огорожен высоким забором с ужасными колючками наверху? Вы думаете, это все? В самом саду есть еще собака. Не собака — волк лютый. На длинной веревке он привязан, этот треклятый пес, и пусть кто-нибудь отважится пройти мимо или пусть этому дьяволу только померещится, что кто-то идет мимо,— он начинает рваться с привязи, прыгать и лаять так свирепо, как будто сам черт его за душу хватает!

Спрашивается: как же я мог попасть в сад?

А вот послушайте — я вам расскажу.

5

Мендла, сына нашего резника, вы не знаете? Стало быть, где он живет, вы и подавно не знаете. А дом его — рядом с домом лекаря Менаше и окнами глядит прямо в сад. Если сидеть у Мендла на крыше,— видно все, что делается в саду у лекаря. Весь фокус в том, чтобы взобраться к Мендлу на крышу. Мне это нипочем. Знаете почему? Потому что дом Мендла — рядом с нашим и гораздо ниже нашего. Стоит только вскарабкаться к нам на чердак (я это проделываю без лестницы; при случае я, быть может, расскажу вам, каким образом) и просунуть ноги в слуховое окошечко,— и вы уже на крыше у резника. Там вы можете улечься как вам угодно: лицом кверху или лицом книзу. Во всяком случае, лежать вам придется обязательно, иначе вас могут, не дай бог, увидеть: а что вы там делаете у Мендла на крыше?.. Я обыкновенно выбирал для этого сумерки, когда надо было идти в синагогу читать поминальную. И день еще не кончился, и вечер не наступил — самое лучшее время. Если смотреть с этой крыши, то, клянусь вам, сад не сад, а рай земной!..

В начале лета, когда деревья начинают цвести, покрываться белыми пушинками, знаете — не сегодня-завтра на низеньких колючих кустах покажется зеленый крыжовник. Это первый плод, который вам хочется попробовать. Есть люди, которые дожидаются, пока крыжовник станет красным. Глупцы! Уверяю вас, когда крыжовник еще зелен, он гораздо вкуснее и приятнее. Скажете — кислятина? Оскомину набивает? Ну и что же! Кислое так приятно, а против оскомины есть средство — соль. Насыпать на зубы соли, держать с полчаса рот открытым,— и можете снова есть тот же крыжовник...

После крыжовника поспевает красная смородина. Пунцовые, с черными точечками, с желтыми зернышками ягоды десятками висят на каждой веточке. Проведите одной только веточкой между губ, и у вас полон рот ягод, кисленьких, душистых — объедение! Когда они поспевают, мать покупает мне на грош кружечку смородины, и я ем ее с хлебом.

У лекарихи в саду два ряда маленьких приземистых кустов, усыпанных смородиной. Она так и рдеет на солнце, сверкает, и так хочется хоть веточку, хоть одну смородинку ухватить двумя пальцами, сорвать и — прямо в рот! Поверите ли, даже когда говорю о зеленом крыжовнике и красной смородине, я уже чувствую оскомину на зубах.

Поговорим лучше о черешне. Черешня недолго остается зеленой. Она быстро поспевает. Могу поклясться чем угодно —

я сам видал, лежа у Мендла на крыше: несколько черешен утром были зеленые, как трава. Я их хорошо приметил. Днем у них на солнце зарумянились щечки. А к вечеру они уже были ярко-красные, как огонь!

И черешню мне мать иногда приносила. Но сколько? Пять штук на нитке. Что делать с пятью штуками? Играешь с ними, играешь, а там и сам не заметишь, куда они девались...

6

Черешни у Менаше-лекаря в саду — что звезд на небе. Вы понимаете, конечно, что я не прочь был подсчитать, сколько ягод на одной ветке. Напрасный труд. Считал, считал и никак не мог сосчитать. Черешня крепко держится на прутиках. Редко-редко какая черешня упадет с дерева — разве что перезреет, станет черной, как слива. Вот персики, видите ли,— те падают, как только хорошенько пожелтеют. Ах, персики! Персики! Люблю их больше всего. За всю свою жизнь я съел только один персик, но вкус его до сих пор чувствую во рту. Это было несколько лет тому назад, мне тогда и пяти еще не исполнилось. Отец был жив, и в доме у нас тогда еще было все — и стеклянный шкаф, и кушетка, и книги, и постель. И вот однажды приходит отец из синагоги и, сунув руку в задний карман сюртука, где лежит носовой платок, обращается ко мне и к моему брату Эле:

— Дети! Персики будете кушать? Я принес вам персики. Два персика.

Он вынимает руку из заднего кармана, где лежит носовой платок, и подносит мне и брату Эле два больших, желтых, круглых, пахучих плода. Брату Эле не терпится. Он вслух произносит молитву «Благословен созидающий плоды»,— и сразу засовывает весь персик в рот. Я предпочитаю раньше всласть наиграться, нанюхаться, налюбоваться и только потом принимаюсь есть. И то не весь сразу, а по кусочкам и — с хлебом. Персики хороши с хлебом.

С тех пор я больше персиков не пробовал, но вкуса того персика я никак забыть не могу. Сейчас передо мною целое дерево, унизанное персиками, а я лежу у Мендла на крыше, гляжу и гляжу, как они один за другим отрываются и падают. Один из них желтый, даже чуть красноватый, треснул, раскрылся, видна пузатая косточка. Что она будет делать, лекариха, с такой уймой персиков? Снимет, наверное, и наварит варенья. Варенье

запрячет глубоко в печь, а зимой поставит в погреб, и будет оно там стоять, пока не засахарится и не покроется плесенью.

За персиками поспевают сливы. Не все сразу. У меня есть два сорта слив в саду Менаше-лекаря. На одном дереве у меня чернослив. Это круглая, сладкая, жесткая черная слива. На другом дереве растет слива попроще. Этот сорт называют «ведерной сливой»: ее продают на ведро. У нее тонкая кожица, она скользкая, липкая и водянистая на вкус. И все же она вовсе не так плоха, как вы думаете. Давали бы ее только! Но Менашиха не больно щедра... Она лучше сварит из слив повидло на зиму. И когда только она съест такую уйму повидла?

7

Когда кончаются черешня, персики и слива, приходит пора яблок. Яблоки, надо вам знать, это не груши. Груши, даже самые лучшие на свете («бергамоты»), если они только не созрели как следует, никуда не годятся. Точно дерево грызешь. А яблоки, даже зеленые, даже с белыми зернышками,— и то уже яблоки. Вы запускаете зубы в зеленое яблоко, и во рту становится кисло-кисло. Знаете, что я вам скажу? Я не променяю половины зеленого яблока на два спелых. Спелых надо дожидаться невесть сколько, а зелеными можно поживиться, лишь только яблоня отцвела. Дело только в величине. Яблоко, чем дольше оно зреет, тем оно становится больше, как, скажем, человек. Но это вовсе не значит, что большое яблоко всегда хорошее. Бывает, что маленькое яблочко куда вкуснее самого крупного. Взять, к примеру, райские яблочки. Они кисленькие, но вкусные. Или, например, кислицы, винные яблоки — чем плохи? Нынешним летом на них такой урожай! Будет столько, что придется возами возить. Это я слышал от самой Менашихи-лекарихи. Так она сказала яблочнику Рувину, когда яблони были еще в цвету.

Рувин осматривал сад. Он уже сейчас хотел купить у нее все яблоки и груши. Рувин — большой знаток в этих делах: стоит ему только одним глазом взглянуть на дерево, и он сразу скажет, сколько прибыли ждать от него. Он никогда не ошибается ни на столечко. Разве что будут сильные ветры и яблоки опадут до времени, или червяк, гусеница сядет на дерево. Но это все такие вещи, которые человек знать наперед не может. Ветер ведь от бога, и гусеница — тоже. Хотя я, право, не знаю, зачем богу черви и гусеницы? Разве для того, чтобы лишить яб-

лочника Рувина куска хлеба?.. Рувин говорит, что он от дерева ничего больше не требует, кроме куска хлеба. У него, говорит он, жена и дети, и ему нужен для них кусок хлеба. Менашиха сулит ему не только хлеб, но хлеб с мясом.

— Такого бы мне счастья,— говорит она,— какие деревья я вам сдаю! Разве это деревья? Золото, а не деревья! Вы знаете, ведь я вам, упаси бог, не враг,— говорит Менашиха, обращаясь к Рувину,— мне бы такого счастья, какого я вам желаю.

— Аминь! — отвечает Рувин с улыбкой на добром, красном, шелушащемся от солнца лице.— Дайте мне расписку, что не будет ветров, червей и гусениц,— я уплачу больше, чем вы просите.

Менашиха смотрит на него как-то странно, снизу вверх, и говорит мужским своим голосом:

— Дайте-ка мне расписку, что на обратном пути вы не поскользнетесь на ровном месте и не сломаете себе ногу.

— Уж это как кому на роду написано! — отвечает Рувин и смотрит на нее добрыми улыбающимися глазами.— Это может случиться с богачом еще скорее, чем с бедняком, потому что богачу есть на что хворать.

— Вы очень умный человек! — отвечает, свирепея, Менашиха.— Но у человека, который желает другому сломать себе ногу, может отсохнуть язык, да так, чтобы он даже не знал, откуда что взялось.

— Ну что ж! — отвечает Рувин все с той же усмешкой.— И язык не худо, лишь бы, упаси бог, не у бедняка...

8

Жаль, что сад не перешел к яблочнику Рувину! Мне бы это было гораздо больше по душе. Вы еще такой ведьмы, как лекариха, не видывали! Упадет какое-нибудь червивое яблоко, высохшее, как лицо у старенькой бабушки,— она не поленится, нагнется, подымет его, положит в подол и унесет. Куда она их таскает? Наверное, на чердак, а может быть, в погреб. Скорее — в погреб. Я слышал, что в прошлом году у нее сгнил полный погреб яблок. Ну, разве не сам бог велел рвать у нее в саду яблоки? Да, но как их рвать? Забраться в сад ночью, когда все спят, и набить полные карманы было бы, конечно, самым разумным делом. Но что скажет пес? А яблоки нынешним летом, как назло, одно к одному. Так и просят, умоляют, чтобы их сорвали! Что делать? Знать бы такое слово, заклинание, чтобы яблоки сами ко мне шли! Я долго-долго думал и придумал. Не слово,

не заклинание, а нечто совсем иное. Палку, длинный шест с гвоздем на конце. С этой палкой, лишь бы попасть гвоздем в яблоко у самого хвостика и потянуть к себе,— яблоко ваше. Держите только палку так, чтобы яблоко, не дай бог, не упало наземь. Но если и упадет, невелика беда. Она подумает, что ветер сорвал. Разумеется, яблоко гвоздем не задевайте, а то она догадается... Клянусь вам честным словом, что я ни одного яблока не попортил. И не падало у меня ничего! У меня яблоки не падают! Я знаю, как держать шест, когда рвешь яблоки. Главное — не торопиться. Куда вам спешить? Заполучили яблочко,— съешьте его потихоньку, отдохните немного и продолжайте свое дело. Уверяю вас, никто на свете знать не будет!

Но поди угадай, что эта ведьма знает, сколько у нее яблок на дереве. Видно, она их сосчитала днем, а наутро заметила, что нескольких штук не хватает. Спряталась у себя на чердаке и стала подглядывать, авось удастся поймать вора. Так я предполагаю. Как же иначе она могла догадаться, что я лежу у Мендла на крыше и орудую шестом? Добро бы она меня поймала одна, без свидетелей,— я бы ее как-нибудь умилостивил. Как-никак я сирота,— может, она бы и сжалилась надо мной? Так нет же! Она пошла за моей мамой, за соседкой Песей, за резничихой, взяла их всех с собой, вскарабкалась вместе с ними к нам на чердак (этакая ведьма!). А с чердака им уже нетрудно было увидеть через окошко, как я управляюсь со своим инструментом.

— Ну, что вы скажете? Хорошо сокровище? Теперь верите?

Слова эти принадлежали лекарихе. Я узнал ее мужской голос. Повернув голову к чердаку, я увидел всех четырех женщин. Я не бросил шеста с яблоком. Он сам выпал из рук. Счастье, что я сам удержался на ногах. Я не мог никому в глаза смотреть. Если бы не пес в саду, я бы спрыгнул и убился со стыда. Хуже всего для меня были мамины слезы. Она, не переставая, плакала, рыдала и причитала надо мной:

— Горе мне! Горе мне! До чего я дожила! Я думала, мой сиротинушка ходит в синагогу, а он, оказывается, лежит на чердаке и рвет чужие яблоки.

А ведьма стоит с ней рядом и гремит своим басом:

— Пороть его надо, самовольника этакого! Полосовать до крови! Чтоб мальчишке неповадно было, чтоб он знал, как во...

Мать перебивает, не дает ей договорить слово «воровать».

— Он сирота! Несчастный! — твердит мать и целует у лекарихи руки, умоляет ее, чтоб она простила меня.— Больше этого никогда не будет! — Она клянется всеми клятвами на

свете, что это — в последний раз! Не то умереть ей самой, либо меня, сохрани бог, похоронить!..

— Пусть поклянется, что он никогда больше даже не взглянет на мой сад! — требует лекариха своим мужским голосом, без капли жалости к сироте.

— Чтоб у меня руки отсохли! Чтоб у меня глаза вылезли! — говорю я и иду с мамой домой.

По дороге я выслушиваю ее правоучения и, глядя на ее слезы, плачу и сам горько-горько.

— Скажи мне только, что из тебя выйдет? — говорит мать со слезами на глазах и жалуется на меня моему брату Эле.

Брат выслушивает всю историю с яблоками и бледнеет. Вероятно, от гнева. Видя это, мать пугается, как бы он меня не побил. И шепотом просит его не трогать меня, потому что я сирота.

— Кто его трогает? — говорит мой брат Эля.— Я только хотел бы знать, что из него выйдет? Что из него выйдет?!

Так говорит мой брат Эля и скрежещет зубами. Скажи ему, что из меня выйдет? А я знаю? Может, вы знаете, что из меня выйдет?

IV. МОЙ БРАТ ЭЛЯ ЖЕНИТСЯ

1

Поздравляю вас! Знаете? Мой брат Эля женится!

Батюшки, что творится! Весь город котлом кипит! Весь мир ходуном ходит! Так говорит наша соседка Песя-толстая. Она уверяет, что свадьба будет на славу! Такой свадьбы, по ее словам, давно уже не было у нас в городе!

Из-за чего такой шум! Из-за того, что все нас жалеют: мать — вдова, жених — сирота. А отчасти — из уважения к памяти отца. Отец, царство ему небесное, оставил по себе доброе имя! При жизни, правда, что-то не слыхать было, чтобы о нем говорили много. Но сейчас, после смерти, кантор Пейся возвеличен и увенчан славой. Спасения нет! Послушать только, что говорят моей маме люди! Они говорят, что отец невесты не хвор взять на себя все расходы, да еще и приплатить кое-что. Он не должен забывать, говорят они, что мужем его дочери будет сын кантора Пейси!

Мой брат Эля слышит такие разговоры и смущается. Он стыдливо поглаживает свою бородку, как большой, как мужчина. Он и в самом деле уже мужчина. Совсем недавно у него стала пробиваться бородка. Это у него, наверное, от курения. С тех пор как отец умер, он начал курить. В первое время он мучился, захлебывался от кашля. Но сейчас он уже затягивается и умеет пускать дым через нос. Подумаешь, какой фокус! Я тоже умею. Беда только в том, что не имею табака. Курю что попало: бумагу, солому и еще черт знает что. Узнал об этом мой брат Эля. Ну и задал же он мне! Ему, видите ли, можно, а мне нельзя! Потому что мне еще неполных девять лет. Ну и что же? Чем я виноват? Я дал ему слово, поклялся на Пятикнижии, что — кончено, больше я не курю.

Как вы думаете, долго я держал слово свое? Скажите на милость, кто в наше время не курит?

2

Сейчас будет светопреставление. Так заявляет наша соседка Песя. Она вернулась от будущего тестя моего брата Эли ужасно взволнованная. Скверная история. Невестин отец узнал, что у жениха (моего брата Эли) нет часов. Это были хорошие, настоящие серебряные часы. Ийона купил их ему в подарок. Куда же они делись? В карты он их, упаси бог, не проиграл. Он продал их, а деньги израсходовал на докторов и лекарства. Хотел спасти своего отца — что ему за это полагается? Так толковала Песя.

Но тот — человек простецкий. Он спрашивает, какое отношение имеет чужой отец к его часам? Он, говорит, не обязан своими часами содержать чужих отцов... Из одних часов уже стало много, а отец превратился в «отцов»... На это ему Песя отвечает, что из поросячьего хвоста раввинской шапки не сошьешь... Это она намекает на нашего будущего родственника. Невежда! Он пекарь, и зовут его Ийона-бараночник. Он печет баранки. «Печь бы вам баранки на том свете!» — говорит ему Песя, видно, в шутку. А может, и всерьез? Я не понимаю, зачем на том свете печь баранки: кто их там покупать будет?

Он состоятельный человек, этот Ийона. Песя считает, что он богач. Она ему в глаза говорит, что если бы у нее была хотя бы половина его состояния, она бы с ним не породнилась. Она свиней не любит. Ему приходится отмалчиваться: чем попасть к ней на язык, лучше помолчать. Он уже готов простить жениху

историю с часами, лишь бы положить конец этому делу. Но Песя заявляет, что она ему не прощает. Она хочет, чтобы он купил жениху другие часы. Неприлично, говорит она, чтобы жених шел к венцу без часов. Тогда Ийона начинает допытываться, какое отношение имеет она к его жениху?

— Очень даже большое! — отвечает Песя.— Потому что жених — сын кантора Пейси, а он, Ийона-бараночник,— и то и другое: и богач и свинья.

Его это, конечно, задевает, он хлопает дверью и говорит:

— Провались все это сквозь землю!

— Провалиться сквозь землю,— отвечает Песя,— ваша первая очередь,— на то вы и пекарь...

Мать очень боится, как бы он не вернул тноим. Но Песя уверяет, что мать может спать спокойно: сироте тноим не возвращают. И как вы думаете, кто поставил на своем? Мы! Невестин отец купил жениху (моему брату Эле) новые часы, тоже серебряные. Еще лучше тех. Он их сам принес. Ах, если бы у меня были такие часы! Как вы думаете, что было бы? Прежде всего я вытащил бы из них все внутренности и добрался бы до секрета, отчего они идут. А потом? А потом я знаю, что было бы...

Мать желает Ийоне дожить до покупки будущему зятю золотых часов. И Ийона отвечает моей маме пожеланием дожить до свадьбы младшего сына, то есть моей. Я был бы рад хоть сегодня жениться, лишь бы получить часы. Мать гладит меня и говорит, что много еще воды утечет до того времени, и глаза у нее при этом становятся влажными. Я не понимаю, почему должно утечь так много воды, пока я женюсь, и почему при этом надо плакать? Но плакать — это для нее обычное дело, плачет она каждый день. Для нее это все равно, как для вас, например, молиться или кушать. Портной принес жениху костюм, который заказал невестин отец,— она плачет. Песя испекла к свадьбе пирог,— как тут не поплакать? Завтра в это время состоится венчание — опять слезы! Не понимаю, откуда у человека берется столько слез?

3

Выдастся же иной раз денек — рай земной! Уже половина элула, и в воздухе чувствуется осень. Солнце не печет до пота, так чтобы хотелось купаться. Оно греет, ласкает и целует, как мать. Небо по-субботнему умыто. Сама природа радуется тому, что мой брат женится. С утра в местечке открылась ярмарка.

А уж раз ярмарка, я там обязательно должен быть! Люблю ярмарку — страсть! Все носятся, как травленые мыши, обливаются потом, галдят, ссорятся, таскают покупателей за полы, до полусмерти хотят выручить сколько-нибудь,— театр, да и только!

А покупатели не торопятся. Они ходят степенно, шапки на затылке, поглядывают, пощупывают, почесываются, торгуются, хотят купить подешевле. Крестьянки ходят в диковинных головных повязках, с широко раскрытыми пазухами, так что груди видны. За пазуху, когда никто не следит, кое-кто пытается сунуть кусок материи. Торговцы знают об этом и глядят в оба. Если увидят,— вытряхивают, и тогда начинается представление! Случается, что крестьянка купит в церкви свечку и воткнет ее в складку головной повязки. Парням делать нечего, хочется им устроить развлечение,— они и зажигают потихоньку свечку. Все смотрят на крестьянку и смеются. Та не знает, почему смеются, и сыплет страшными проклятьями. А люди еще сильнее смеются. Бывает, что такие шутки кончаются дракой... Говорю вам,— не надо никакого театра!

Но лучше всего — конный базар. Там покупают и продают лошадей. Тут и лошади, и цыгане, и кнутовища, и барышники, и крестьяне, и помещики. Шум здесь несусветный — оглохнуть можно. Цыгане божатся, барышники хлопают по рукам, помещики щелкают бичами, а лошадки носятся стрелой туда и обратно. Люблю смотреть, как лошадки бегают, а уж о жеребятах и говорить нечего. Обожаю жеребят! И не только жеребят — я все маленькое люблю: щенят, котят. Знаете? Даже огурчики маленькие, картошечку маленькую, луковички, чесночок — все, что мало,— мило! Кроме поросят: свиней не люблю даже маленьких...

Однако возвращаюсь к лошадкам. Они бегут, жеребята за ними, а я за жеребятами. Все вместе бежим. Бегать я мастер. Ноги у меня легкие, хожу к тому же босиком и очень легко одет: рубашонка, штанишки и ситцевый арбеканфес поверх рубашки. Когда я бегу под гору, а встречный ветерок раздувает мой арбеканфес, мне представляется, что за плечами выросли крылья и я лечу.

— Мотл! Бог с тобой! Остановись на минутку!

Это кричит муж Песи, Мойше-переплетчик. Он бежит с ярмарки домой со свертком оберточной бумаги. Я боюсь, как бы он не рассказал маме, как бы мне не влетело от моего брата Эли. Подхожу медленно, опустив глаза. Мойше кладет свой сверток, вытирает полой пот и начинает меня отчитывать:

— Как это не стыдится мальчик, сирота, болтаться среди цыган и бегать как угорелый за всеми лошадьми? Да еще в такой день! Ведь скоро уже венчание твоего брата — знаешь об этом? Идем домой!

4

— Где ты был? Гром меня разрази!

Так встречает меня мать, всплескивая руками и осматривая мои изодранные штаны, исцарапанные в кровь ноги и пылающее потное лицо. Дай бог долголетия Мойше-переплетчику! Он ни словом не обмолвился. Мама умывает меня, одевает мне новые штанишки и картуз, купленные специально к свадьбе брата. Штаны сделаны — я и сам не знаю из какого материала: поставишь их — они стоят, а ходишь — они шумят. Удивительные штаны!

— Если ты и эти штанишки порвешь, тогда уж свету конец...— Так говорит мама. Я и сам так думаю: штаны не порвешь, разве что поломаешь их. Картуз у меня замечательный, с черным блестящим козырьком. Когда он тускнеет, на него можно поплевать, и козырек снова блестит.

Мать смотрит на меня и радуется, а слезы так и катятся по ее морщинистым щекам. Ей очень хочется, чтобы я на свадьбе всем понравился. Она говорит жениху:

— Эля! Как ты думаешь? Мне как будто не придется краснеть за него? Мальчик одет, не сглазить бы, как сын монарха!

Мой брат Эля внимательно разглядывает меня, поглаживает бородку и смотрит на ноги. Я знаю, что означает его взгляд: «сын монарха» ходит босиком... Мать тоже понимает, в чем дело, но притворяется, будто ничего не замечает. Сама она одета в какое-то странное желтое платье, которого я на ней никогда не видел. Платье невероятно широко. Готов побожиться, что видел его однажды на нашей соседке Песе... Зато у мамы на голове платок — шелковый, совершенно новый, еще со всеми складками. Цвет этого платка очень трудно описать. Можно сказать, что он белый, можно сказать, что он желтый, а то и розовый. Это зависит от времени: днем он светло-розовый, в сумерки он выглядит желтоватым, а ночью — белым. Рано утром он кажется зеленоватым, а иной раз, если хорошенько присмотреться, платок и вовсе отливает светом «антик-маре», то есть светло-красновато-сине-темно-зелено-пепельным. Ничего плохого о таком платке не скажешь, потому что платок замечательный! Беда только в том, что на маме он выглядит чужим,

совсем чужим, как-то не вяжется этот платок с ее лицом. Платок сам по себе, а лицо само по себе. А ведь женский головной платок — это то же, что, к примеру, мужская шапка. Шапка должна сливаться с лицом. Вот, например, мой брат Эля носит картуз,— он точно вырос у него на голове. Пейсы ему начисто отрезали, даже не отрезали, а сбрили. Он надел белую манишку с крахмальным воротником, с отложными уголками. Галстук он купил себе белый с красными, зелеными и синими горошинами. Богатый галстук! Сапоги — с глянцем, со скрипом и на очень высоких каблуках. Это — чтобы казаться немного выше. Поможет ему это, однако, как мертвому припарки: он очень маленького роста. Собственно, дело даже не в том, что он мал, а в том, что *она* очень уж велика, очень высока и смахивает на мужчину. Лицо у нее красное, рябоватое, а голос мужской. Я говорю о невесте, о дочери Иойны-бараночника. Ее зовут Броха.

Удовольствие было смотреть на эту парочку, когда они стояли под венцом. Но мне некогда разглядывать жениха и невесту. Я должен разглядеть музыкантов. И не столько музыкантов, сколько их инструменты. Главным образом — контрабас и барабан. Замечательные инструменты! Скверно только, что к ним невозможно близко подойти и потрогать. Музыканты почему-то тут же шлепают по рукам или хватают за ухо. Подумаешь, бес их возьмет, если вы пальцем дотронетесь! Откусите вы их инструменты, что ли? Ах, если бы моя мама была хорошей мамой, она сделала бы меня музыкантом! Но я знаю, что она этого не захочет, и вовсе не оттого, что она нехорошая, а оттого, что весь свет не допустит, чтобы сын кантора Пейси был музыкантом. Ни музыкантом, ни ремесленником! Уж не раз говорили, какой из меня будет толк — мама, мой брат Эля, наша соседка Песя и ее муж, переплетчик Мойше. Он бы не прочь взять меня к себе на работу. Но Песя не позволяет. Она говорит, что кантор Пейся, царство ему небесное, не заслужил, чтобы сын его был каким-то ремесленником...

Однако я заболтался и забыл о свадьбе. Венчание уже окончилось. Накрывают на стол. Женщины и девушки танцуют кадриль. Я со своими деревянными штанами втерся в самую середину. Те, кто глазел на танцы, стали швырять меня от одного к другому, как мячик.

— Это еще что за напасть? — говорит один.

— Какой-то растяпа! — говорит другой.

— Тебя еще не хватало тут! — говорит третий.

Наша соседка увидела и раскричалась (она уже хрипит от крика):

— С ума вы сошли, или спятили, или рехнулись, или не все у вас дома? Ведь это женихов братик!

Ага! Взяло за живое! Меня, конечно, тут же усадили за стол с невестиной родней. И знаете, с кем еще меня посадили? Будь вы о восемнадцати головах,— все равно не отгадаете! С невестиной сестренкой, младшей дочкой Иойны-бараночника. Ее зовут Алта. Она старше меня всего на один год, и у нее две косички, перевязанные сзади ленточкой и похожие на витые бублики. Я и Алта едим из одной тарелки, неподалеку от молодых. Жених, мой брат Эля, поглядывает на меня, следит, чтобы я прилично сидел, ел с вилки, не хватал и чтобы нос у меня был в порядке.

Знаете, что я вам скажу? Никакого удовольствия мне этот ужин не доставил. Не люблю, когда на меня смотрят. А тут еще принесла нелегкая нашу соседку Песю.

— Дай вам бог здоровья! — кричит она изо всех сил, обращаясь к маме.— Посмотрите-ка сюда! Чем не пара?.. Прямо-таки чета, самим небом предназначенная!

На ее хриплый крик подходит Иойна, одетый по субботнему, и начинается разговор о том, что я и Алта — жених и невеста. Иойна-бараночник как-то кисло улыбается: верхняя губа смеется, а нижняя — плачет. Все разглядывают нас. А мы оба, я и Алта, опускаем глаза и чувствуем, что нас душит смех. Чтобы не прыснуть, я зажимаю нос и надуваюсь, как пузырь. Еще секунда, пузырь лопнет и будет скандал. К счастью, музыка заиграла грустную свадебную песню. Гости умолкли. Я поднимаю глаза и вижу маму в чужом желтом платье и в шелковом платке. Она занята обычным своим делом — плачет. Вы не знаете, перестанет она когда-нибудь плакать?

У МЕНЯ ВЫГОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

1

Мама сообщила мне новость: у меня есть должность. Не у ремесленника какого-нибудь,— ее враги, говорит она, не дождутся, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником. У меня, говорит она, должность богатая и легкая. Днем я буду ходить в хедер, то есть в талмудтору, а спать я буду у старика Лурье.

Старик Лурье очень богат, говорит мама. Но он болен. То есть вообще он здоров, ест и пьет, но не спит по ночам. Ночью он спать не может. Глаз не смыкает. Вот его дети и боятся оставлять старика на ночь одного. Нужно, чтобы с ним был кто-нибудь. Хотя бы ребенок, лишь бы человек. Посадить к нему пожилого человека — неудобно. А ребенка — ничего, все равно что кошку.

— Они обещали пять рублей в неделю и ужин каждый вечер, как только ты будешь приходить из талмудторы,— говорит мама.— Хороший ужин, барский. Нам всем хватило бы того, что они оставляют на тарелках. Иди, дитя мое, в хедер, а вечером, когда придешь, я отведу тебя к ним. Работы у тебя не будет никакой. Барский ужин и постель хорошая. И пять рублей в неделю. Я сошью тебе кое-что из одежды, сапожки куплю...

Казалось бы, неплохо, правда? Почему же нужно плакать? Но она, моя мама, иначе не может. Обязательно должна поплакать.

2

В талмудтору я пока что хожу зря. Я еще не учусь. Нету для меня подходящей группы. Поэтому я помогаю жене учителя по хозяйству и играю с кошкой. Работа у учителя легкая: подмести в комнате, помочь натаскать дров, сбегать куда-нибудь — чепуха, не работа. Учиться хуже. Зато кошка — это гораздо приятнее. Говорят, что кошка — нечисть. А я говорю: неправда! Кошка — опрятное животное, ласковое. Собака подлизывается, хвостом виляет. Кошка ласкается, а когда ее гладят по головке, она прикрывает глазки и урчит. Я люблю кошек — что в этом плохого? Но потолкуйте с моими товарищами,— они вам чего только не наговорят! После кошки надо руки мыть. Оттого что возишься с кошкой, ослабевает память. Сами не знают, что придумать. У них манера: как только подойдет кошка, трахнуть ее ногой в бок. Я видеть не могу, как бьют кошку. А они смеются надо мной. Нет у них жалости к животным.

Я говорю о мальчишках, которые вместе со мной учатся в талмудторе. Это — головорезы. Надо мной они смеются, прозвали меня «деревянные штаны», а мою маму — «плаксой», потому что она всегда плачет.

— Вон идет твоя мама-плакса! — говорят они мне.

Это она пришла забрать меня из хедера и отвести на мою прибыльную должность.

3

По дороге мать жалуется, что ей больно и горько (одной боли ей недостаточно). Бог, говорит она, дал ей двоих детей, а она должна жить в одиночестве. Мой брат Эля, говорит она, женился, не сглазить бы, очень удачно, попал, можно сказать, прямо на золотое дно. Беда только, что тесть — человек грубый. Пекарь — что с него возьмешь?

Так толкует со мной мама, и мы приходим в дом старика Лурье, на мою выгодную должность. Старик Лурье, по словам мамы, живет в царском дворце. Я, конечно, не прочь побывать в царском дворце! Пока что мы находимся в кухне. Я и мама. Здесь тоже неплохо. Сверкает белая печь, сверкает посуда, и вообще все сверкает. Нас просят присесть. Входит женщина, одетая как барыня. Она говорит с мамой и показывает на меня. Мать кивает головой, вытирает поминутно губы и не хочет садиться. А я сижу. Мать собирается уходить и наказывает мне, чтобы я вел себя как следует. При этом она, конечно, проливает слезы. Завтра она придет за мной и отведет меня в хедер. Мне дают кушать. Бульон с булкой (в будни — булка!) и мясо — уйма мяса! После еды велят мне идти наверх. Я не знаю, что значит «наверх». Тогда кухарка меня отводит. Ее зовут Хана. У нее черные волосы и длинный нос. Меня ведут по лестнице. Ступеньки устланы чем-то мягким. Очень приятно ступать босыми ногами. Еще не поздний вечер, а у них уже лампы горят. Бесконечное множество ламп! Стены оклеены рисунками и человечками. Стулья обиты кожей. Потолок разрисован, как в синагоге. Меня вводят в большую комнату. Она так велика, что, будь я в ней один, я бы бегал от стены к стене или повалился бы и катался по бархатному одеялу, разостланному по всему полу. Кататься по такому одеялу, должно быть, неплохо. Да и спать на нем, я думаю, недурно.

4

Красивый, высокий, с седой бородой, с широким лбом — таков старик Лурье. На нем шелковый халат, ермолка из настоящего бархата, домашние туфли, расшитые гарусом. Он сидит над большим толстым фолиантом. Ничего не говорит, только жует кончик бороды, заглядывает в книгу, покачивает ногой и что-то тихо бормочет про себя. Странный человек этот Лурье! Я смотрю на него и думаю: видит он меня или не видит? Похоже, что не

видит. Он в мою сторону не глядит, а ему ничего не сказали. Меня только ввели сюда и заперли снаружи.

Вдруг старик Лурье произносит, все еще не глядя на меня:

— Подите-ка сюда, я прочту вам несколько строк из Рамбама.

К кому это он обращается? Ко мне? Это он мне говорит «вы»? Я оглядываюсь по сторонам. Никого, кроме меня, здесь нет. Старик Лурье снова говорит хриплым голосом:

— Подите сюда, посмотрите, что говорит Рамбам.

Я решаюсь подойти поближе.

— Вы меня зовете?

— Вас, вас, кого же еще?

Так говорит старик Лурье, смотрит в свою большую книгу и, взяв меня за руку, тычет пальцем в страницу и втолковывает мне слова Рамбама. Чем дальше, тем громче и с большим жаром. Он до того разгорячился, что даже покраснел, вертит большим пальцем, а локтем ежеминутно толкает меня в бок и спрашивает:

— Ну, что вы скажете? Хорошо, не правда ли?

Чтобы очень хорошо было,— не могу сказать. И потому молчу. Я молчу, а он горячится. Он горячится, а я молчу. Со звоном повертывается ключ в дверях с той стороны. В комнату входит та самая, что одета как барыня. Она подходит к старику Лурье и говорит, наклоняясь к самому его уху. Он, видно, глухой — иначе зачем кричать? Она говорит, чтобы он меня отпустил, потому что мне уже пора спать. Высвободив из рук старика, она укладывает меня на мягком диване с пружинами. Постель бела как снег. Одеяло шелковое, мягкое — наслаждение! Женщина, одетая как барыня, укрывает меня, уходит и запирает дверь с той стороны. Старик Лурье расхаживает по комнате, заложив руки за спину, смотрит на свои красные туфли, напевает, бормочет и как-то странно поводит бровями. У меня глаза слипаются, хочется спать.

Вдруг он подходит ко мне и говорит:

— Знаешь? Я тебя съем.

Смотрю на него и не понимаю.

— Вставай, я тебя съем.

— Кого? Меня?

— Тебя! Тебя! Я должен съесть! Иначе быть не может!

Так говорит старик Лурье. Он шагает по комнате, опустив голову, заложив руки за спину и морща лоб. Но говорит он все тише и тише, обращаясь к самому себе. Я прислушиваюсь к каждому слову. Еле дух перевожу. Он о чем-то спрашивает и сам себе отвечает. Вот что он говорит:

— Рамбам утверждает, что мир не мог быть сотворен без бога. Чем это доказывается? Тем, что не может быть явления без того, кто это явление вызывает. Как я могу это доказать? Своей волей. Каким образом? Вот я хочу его съесть, и я его съедаю. А жалость? Одно другого не касается... Я творю свою волю. Воля — это не конечная цель. Я его съедаю. Я хочу его съесть. Я должен его съесть!..

5

Веселую весть сообщил мне этот старый Лурье — он должен меня съесть! А мама что скажет? Меня охватывает ужас... Дрожь пробегает по телу. Диван, на котором я лежу, отодвинут от стены. Я понемногу двигаюсь к краю и соскальзываю на пол, между диваном и стеной. У меня зуб на зуб не попадает. Прислушиваюсь и жду, когда он начнет меня есть. И как? Тихонько призываю маму и чувствую, что соленые капли текут у меня по щекам прямо в рот. Я никогда еще так не тосковал по маме, как сейчас. По брату Эле я тоже скучаю, но не так. Вспоминаю отца, по которому я читаю поминальную молитву. А кто будет читать ее по мне, когда старик Лурье меня съест?

. . . .

Видно, я крепко спал. Просыпаюсь и никак не могу понять, где я нахожусь? Ощупываю стену. Ощупываю диван. Высовываю голову — просторная, светлая комната. Бархатные одеяла на полу. Стены оклеены фигурками. Потолок, как в синагоге. Старик Лурье все еще сидит над той же большой книгой, которую он называет «Рамбам». Мне нравится это название — «Рамбам»! У меня получается вроде «бим-бам».

Вдруг вспоминаю, что только вчера старик Лурье хотел меня съесть. Я боюсь, что он меня увидит и опять захочет есть. Прячусь обратно в промежуток между стеной и диваном и молчу. Со звоном отпирают дверь с той стороны. Входит все та же барыней одетая женщина. Следом за ней входит кухарка, которую зовут Хана, с большим подносом. На подносе кувшинчики с кофе и горячим молоком и свежие сдобные булочки.

— А где же паренек? — спрашивает Хана, оглядываясь по сторонам, и замечает меня между стеной и диваном.— Ты, вижу я, порядочный сорванец! Что ты тут делаешь? Идем со мной на кухню. Там тебя мама дожидается.

Я выпрыгиваю из своего убежища, бегу по мягко устланной

лестнице и подпеваю в такт: «Рамбам! Бим-бам! Бим-бам! Рамбам!» — вплоть до самой кухни.

— Не торопитесь! — говорит кухарка моей маме.— Пускай он выпьет хотя бы стакан кофе с булочкой! Да и вы тоже можете выпить стаканчик кофе. Черт их не возьмет! Им хватит.

Мать благодарит и садится, а Хана подает нам горячий пахучий кофе со свежими сдобными булочками.

Вы когда-нибудь ели яичные коржики с сахаром? Таковы на вкус сдобные булки у богачей. А может быть, даже лучше! Вкус кофе просто не могу вам описать. Райский вкус! Мама прихлебывает из стакана, наслаждается и отдает мне большую часть своей булки. Но Хана, заметив это, подымает скандал, будто ее режут:

— Что вы делаете? Кушайте, кушайте! Хватит! Есть еще!..

И кухарка Хана дает мне еще одну булочку. Так что у меня уже две с половиной. Прислушиваюсь к их беседе. Знакомый разговор. Мать жалуется на свою долю. Вдова, двое детей, один, правда, на «золотом дне», а второй, бедняжка,— так... Хотел бы я знать, как это мой брат Эля живет на «золотом дне»?

Хана выслушивает маму, кивает головой, потом сама начинает говорить, жалуется на свою судьбу, на то, что ей приходится жить у чужих. Отец у нее был состоятельный человек, потом он погорел. Потом стал хворать. Потом умер. Если бы ее отец, говорит она, встал из гроба и посмотрел на свою дочь и увидел бы, что она стоит возле чужой печи!.. Хотя жаловаться не приходится: и на том слава богу! У нее хорошая должность. Беда только, что старый хозяин немного того...

Чего «того», я не знаю. Хана шевелит пальцами у лба. Мать выслушивает Хану, кивает головой, затем снова начинает говорить. Хана слушает и тоже кивает головой...

На дорогу она дает мне еще одну булочку, и я показываю ее мальчикам в талмудторе. Они окружают меня и во все глаза смотрят, как я ем. Им это, наверное, в диковинку. Я всем даю по маленькому кусочку. Мальчишки облизывают пальцы.

— Где ты взял такую вкусную штуку?

Запихнув куски булочки за обе щеки, я стою, заложив руки в глубокие карманы моих деревянных штанов, жую, глотаю и приплясываю босыми ногами, не отвечая, но будто говоря:

«Эх вы! Гольтепа несчастная! Подумаешь, экая невидаль, сдобные булки! Ха-ха-ха! Вы бы попробовали их с кофе, вот тогда бы вы только узнали, что такое рай на земле!..»

VI. ЗОЛОТОЕ ДНО

1

Единственное утешение, поддерживающее мою мать, это удача моего брата Эли. «Напал человек на золотую жилу»,— говорит мама и от избытка счастья вытирает, по своему обыкновению, глаза. Его, говорит мама, она уже обеспечила на всю жизнь. Невестка, правда, не ахти какая (я тоже так думаю!), но зато бог послал ему богатство тестя. Он — пекарь, Йойна-пекарь. То есть сам не печет. Пекут другие. Он же только покупает муку и продает хлеб. К пасхе он печет мацу на весь город. Он по своей части человек горячий и к тому же страшный злюка! Я же могу сказать, что он прямо-таки разбойник!

Однажды он меня поймал, когда я, будучи в гостях у моего брата Эли, решил полакомиться яичным бубликом. Бублик был свежий, тепленький, только что из печи. Но нелегкая принесла пекаря Йойну. Видели бы вы, какое у него было злодейское лицо и разбойничьи глаза! С тех пор я туда больше не хожу, ноги моей там больше не будет, даже если бы я знал, что в пекарне золото валяется! Манера у человека — хватать за шиворот и выбрасывать за дверь, да еще подзатыльниками на дорогу угощать!

Я рассказал об этом маме, она тут же помчалась туда, хотела устроить ему основательный скандал, но брат Эля не позволил. Он считает, что тесть прав. Ему, говорит он, постоянно приходится краснеть за меня: каждый раз, когда бы я ни пришел, я ем бублики. Он, говорит, лучше будет давать мне копейку, чтобы я купил себе бублик где-нибудь в другом месте. На это мама отвечает, что ему меня не жалко, его не трогает, что ребенок — сирота. Но брат говорит, что можно быть сиротой, а хватать бублики из чужой печи — нельзя. Мама просит его говорить потише. А Эля отвечает, что он нарочно будет говорить громко,— пускай все знают, что я вор. Слово «вор» мама не может слышать. Она то краснеет, то бледнеет и говорит моему брату Эле, чтобы он не забывал, что есть бог на свете. С богом не шутят! Бог не смолчит! Он покровитель сирот. Он заступится за сироту. Бог велик. Он все может. Если бог захочет, то у пекаря Йойны не останется и того, что бублик стоит!..

Так отчитала мама брата Элю и, взяв меня за руку, хлопнула дверью.

Мы пошли домой.

2

Знаете, что я вам скажу? С богом, как видно, и в самом деле шутки плохи. Если бы вы знали, как кончил пекарь Иойна! Ведь я же вам говорил, что сам он не печет. Пекут другие: двое каких-то черных мужчин и три женщины, оборванные, грязные, в красных теплых платках на голове (хотя на дворе стоит невыносимая жара!).

И вот случилась однажды история. Даже не одна, а несколько сразу. Покупатели жаловались, что в бубликах попадаются нитки, тесемки, тараканы, куски стекла. Один русский покупатель принес пекарю целый клок черных волос. Русского пекарь Иойна испугался. Тем более что тот пригрозил полицией. Принялись за пекарей, чтобы узнать, чьи волосы. Мужчины сваливали на женщин, женщины — на мужчин. Женщины твердили, что у всех у них рыжие волосы. А пекари спрашивали: «Где это вы видели такие длинные волосы у мужчин?» Так и нельзя было добиться толку, пока женщины не перессорились. Тогда только раскрылись интересные вещи: одна уронила в тесто подвязку, другая нечаянно замесила бинт с больного пальца, третья клала себе на ночь в изголовье тесто, приготовленное для халы. Она клялась всеми клятвами на свете, что это вранье и ложь. Случилось это всего один или, самое большое, два раза. Подушки не было...

Весь город ходуном ходил! Пришлось-таки пекарю Иойне побегать. Не помогал никакой владыка небесный. Никто его изделий в руки брать не хотел. Хоть собакам выбрасывай!

Поделом, так ему и надо!

3

Но пекарь Иойна тоже не лыком шит! Он разогнал своих пекарей, мужчин и женщин, и набрал других. В субботу он велел огласить во всех молельнях, что он нанял новых пекарей, что отныне он сам будет наблюдать, чтобы все было чисто и аккуратно. Он отвечает штрафом в десять рублей, если в его булках найдут хотя бы один волос. С этих пор он стал выручать уйму денег. Люди начали искать волосы в булках, но больше не находили. Впрочем, если даже находили и приносили к нему, Иойна попросту выгонял. Он говорил, что это положили нарочно, чтобы получить десять рублей. Знаем, мол, такие фокусы!

Хорош гусь этот пекарь Иойна! Но господь бог захотел посчитаться с ним и навлек на него новое несчастье. Однажды,

в одно прекрасное утро, все его пекари встали, собрали свои пожитки и ушли. Не будут они больше работать у него ни за какие деньги! Разве что он прибавит им по рублю в неделю, будет отпускать на ночь домой и перестанет тыкать кулаками прямо в зубы. А у Иойны-пекаря такая манера: чуть что — прямо в зубы! Иойна вскипел. Он хозяин уже не первый год, но такого еще не случалось, чтоб рабочий указывал ему, как нужно драться! О повышении платы и говорить нечего. Он найдет десятерых других на их место. Подумаешь, невидаль какая — рабочие! Мало ли людей с голоду помирает?

Пошел искать пекарей. А пекарей-то и нет! Никто не хочет идти. В чем дело? Все пекари устроили стачку. Не пойдут они к нему до тех пор, пока он не примет обратно прежних пекарей и не выполнит все три условия: 1) рубль в неделю, 2) на ночь отпускать домой, 3) не тыкать кулаками в зубы... Ох, и потеха была смотреть, как Иойна кипятился, брызгал слюной, колотил руками по столу и ругался. Ну и рад же я был! Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось потом.

4

Знойный летний день. Только что поспели дыни и арбузы. Это — лучшее время года. Немного позднее начинаются уже слезливые дни. Да не накажет меня бог за такие речи, но не люблю я слезливых дней! Я больше люблю, когда весело. А что может быть веселее, чем базар, ломящийся от дынь и арбузов? Всюду, куда ни глянь, либо арбузы, либо дыни. Дыни желтые и пахнут, как лимоны. Арбузы внутри огненно-красные, зернышки в них черные, а сами они сладкие, как мед. Моя мама арбуз ни во что не ставит. Она говорит, что дыня выгоднее. Когда она покупает дыню, ее хватает для нас обоих на завтрак, на обед и на ужин. А арбуз, по ее словам,— лакомство: от него полон живот воды. По-моему, она ошибается... Будь я царем, я бы круглый год ел арбуз с хлебом. Это ничего, что в нем много зерен. Хороший арбуз достаточно как следует встряхнуть, и все зерна выпадут, а там ешь, сколько душе угодно!

Однако я так разговорился об арбузах, что забыл, с чего начал. Так вот, насчет тестя моего брата Эли, бараночника Иойны. Пришла-таки на него погибель! Такого конца никто не ожидал. Представьте себе,— сидим мы однажды с мамой за столом и обедаем: едим дыню с хлебом. Вдруг отворяется дверь и входит мой брат Эля с Пятикнижием в руках, с отцовским Пя-



«Песнь Песней»

тикнижием. За ним плетется его жена Броха. В одной руке она держит меховой воротник с хвостиками, а в другой — шумовку. Вы не знаете, что такое шумовка? Это такая ложка с дырками, которой отцеживают лапшу.

Брат Эля бледен как смерть. А золовка Броха пылает как огонь.

— Свекровь, мы пришли к вам,— заявляет золовка Броха.

— Мама, мы еле живы остались! — говорит мой брат Эля.

И оба начинают плакать, а мама им помогает. Что случилось? Погорели? Выгнали? Ничего подобного! Тесть моего брата Эли «приостановил платежи». По-нашему это значит обанкротился. Тогда пришли кредиторы и описали его с головы до ног. Забрали все до нитки. Все, что было в доме, да еще сам дом, да еще с каким позором! Попросили очистить помещение. Иначе говоря, выгнали в три шеи!

— Горе мне! — восклицает мать, заламывая руки.— Куда же девались его деньги? Ведь он был так богат!

На это отвечает мой брат Эля, что, во-первых, он вовсе не был таким богачом. А во-вторых... Но тут вмешивается моя золовка Броха: отец ее и в самом деле был богат. Иметь бы ей хотя половину! Но в чем же дело? Ее свадьба стоила отцу целого состояния!..

Она любит поговорить о своей свадьбе. Когда бы она ни пришла, вы только и слышите что о ее свадьбе. Такой свадьбы, как у нее, говорит она, на всем свете никогда не было! Такого печения, такого жаркого, таких тортов и пряников, таких штруделей и царских хлебцев, таких варений, как на ее свадьбе, нигде не было!..

Но так или иначе,— сейчас она осталась в чем есть, с меховым воротником и шумовкой. Нечего и говорить, что приданое, обещанное ее отцом, пропало. Брат тоже вышел из этого дела не без «прибыли»: его субботнюю одежду, талес и постель описали. Часы — тоже. Остался гол как сокол.

Мать ужасно убивалась. Подумать только — такое несчастье! Кто мог ожидать? Ведь ей все завидовали. Видать, люди сглазили, либо сама она тогда накликала на него беду. Как бы там ни было, удар по ней пришелся, говорит она, сильнее, чем по кому бы то ни было. «Золотого дна» ей захотелось? Деньги уплыли, а дно осталось!

— Оставайся у меня, дитя мое, пока господь смилостивится...

Так говорит мама и уступает невестке кровать, единственное, что осталось у нас в доме из мебели.

VII. НАПИТОК МОЕГО БРАТА ЭЛИ

1

«За один рубль — сто рублей! Сто рублей в месяц и больше может заработать всякий, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящей всего один рубль с пересылкой. Налетайте! Покупайте! Ловите! Спешите! Не то — опоздаете!»

Такое объявление вычитал мой брат Эля где-то в газете вскоре после того, как перестал жить на содержании у своего тестя. А перестал он не потому, что срок кончился. Обещано ему было, собственно говоря, целых три года, а кормили его три четверти года, да и то неполных. С его богатым тестем случилось несчастье. Пекарь Иойна обанкротился и превратился из богача в нищего. Каким образом все это произошло, я уже вам рассказывал. Дважды одно и то же я никогда не рассказываю,— разве что попросят.

Но на этот раз и просьбы не помогут, потому что я очень занят. Я зарабатываю деньги. Я разношу напиток, который мой брат Эля приготовляет собственными руками. Научился он этому по книжке, которая стоит всего один рубль, а может принести заработка сто рублей в месяц и даже больше.

Как только мой брат Эля прочел о том, что есть на свете такая книга, он сейчас же послал по почте рубль (последний рубль) и сообщил маме, что больше ей горевать нечего.

— Мама! Слава богу, мы спасены! Заработком мы уже обеспечены вот так (он провел рукой по шее)!

— А что такое? — спрашивает мать.— Ты получил должность?

— Это получше должности! — отвечает брат, и глаза у него светятся. Видно, от большой радости. Он просит ее подождать еще несколько дней, пока прибудет книга.

— Какая книга? — спрашивает мать.

— Уж это книга так книга! — отвечает Эля и спрашивает, хватит ли ей ста рублей в месяц?

Мать смеется и говорит, что она рада была бы ста рублям в год, лишь бы верным. На это брат отвечает, что у нее слишком скромные требования, и отправляется на почту. Каждый день он ходит на почту — справляется о книге. Уже больше недели, как он отослал рубль, а книги все еще нет! А пока что надо жить.

— Душу не выплюнешь! — говорит мама.

Не понимаю, как это можно выплюнуть душу?

2

Но вот и книга! Не успели мы распаковать ее, как мой брат Эля принялся читать. Батюшки, и чего только он там не вычитал! Сколько средств делать деньги по различным рецептам! Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением лучших чернил. Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением хорошей черной ваксы. Можно зарабатывать сто рублей в месяц уничтожением мышей, тараканов и прочей нечисти. Сто рублей и больше можно зарабатывать изготовлением ликеров, сладкой водки, лимонада, содовой воды, кваса и других еще более дешевых напитков.

Мой брат Эля остановился на последнем рецепте. Во-первых, потому, что он сулит заработок свыше ста рублей в месяц. Ведь буквально так и написано в книге. Во-вторых, не нужно пачкаться с чернилами, ваксой, иметь дело с мышами, тараканами и прочей гадостью. Вопрос только в том, за какой напиток приняться? Для ликеров и сладких водок требуется состояние Ротшильда. Для приготовления лимонада и содовой воды нужна машина, какой-то камень, который бог весть сколько стоит. Остается, значит, одно — квас. Квас — это такой напиток, который и стоит дешево, и расходится хорошо. Особенно в такое жаркое лето, как нынче. От кваса, надо вам знать, у нас Борух-квасник разбогател. Он изготовляет бутылочный квас, который славится по всему свету. Квас этот стреляет из бутылки, как из пушки. В чем тут фокус, никто не знает. Это — секрет Боруха. Говорят, что он кладет туда что-то такое, что стреляет. Кто говорит — изюминку, кто говорит — хмель. Как только наступает лето, Боруху рук не хватает. Так бойко идет торговля!

Наш квас, который мой брат Эля приготовляет по рецепту, не бутылочный и не стреляет. Наш квас — это совсем особенный напиток. Каким образом его приготовляют, я не могу вам сказать. Мой брат Эля к себе никого не допускает, когда работает. То, что он льет воду, это все видят. Но когда идет самое приготовление, он запирается в маминой комнате. Ни я, ни мама, ни моя золовка Броха — никто не удостаивается присутствовать при этом. Но если вы пообещаете мне хранить тайну, то я могу вам сказать, из чего состоит напиток. Я ведь знаю, что мой брат изготовляет. Туда входят лимонные корки, жидкий мед, какая-то штука, которая называется «криметартерум» — кислее уксуса, а остальное — это вода. Воды там больше всего. Чем больше воды, тем больше квасу. Все это хорошенько размешивается обыкновенной палкой,— так сказано в книге,— и напиток готов.

Затем его вливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Лед — это главное! Без льда весь напиток ни к черту не годится. Это я вам говорю уже не по книге,— однажды я попробовал немного квасу без льда и подумал, что жизни моей конец!

3

Когда приготовили первую бочку квасу, было решено, что продавать его на улице буду я. Кто же, как не я? Моему брату Эле такое дело не пристало. Ведь он уже женатый. Маме — и подавно. Да мы и не допустим, чтобы мама расхаживала с кувшином по базару и выкрикивала: «Квас! Квас! Кому квас!» Все решили, что это работа для меня. Я и сам так думал. Я прямо-таки был счастлив, когда услыхал такую новость. Мой брат Эля начал меня поучать: кувшин я должен держать в одной руке на веревочке, стакан — в другой, а для того, чтобы народ останавливался, мне нужно кричать громко и нараспев вот так:

Евреи, напиток!
Копейка — стакан!
Холодно и сладко,
Освежительно!

Голос у меня, как я вам давно говорил, хороший, сопрано, по наследству от отца, царство ему небесное. Я и запел во весь голос, нарочно перепутав слова:

Сладкого квасу стакан!
Копейка — еврей!
Глоток — холодок!
Пей — захлебывайся!..

Не знаю: то ли пение мое так понравилось, то ли напиток был и в самом деле хорош, а может быть, оттого, что день выдался такой знойный,— первый кувшин я распродал за полчаса и вернулся домой, наторговав чуть ли не семьдесят пять копеек! Мой брат Эля отдал матери деньги и сейчас же наполнил еще кувшин. Он сказал, что если я смогу обернуться таким образом пять-шесть раз в течение дня, то мы заработаем как раз сто рублей в месяц.

Теперь вычтите, будьте любезны, четыре субботы, которые приходятся на месяц, рассчитайте, сколько этот напиток нам стоит, и тогда вы сами поймете, какой процент мы на нем зарабатываем. Напиток обходится нам очень дешево. Можно сказать, почти задаром. Все деньги уходят на лед. Поэтому надо ста-

раться как можно скорее распродать кувшин с напитком, чтобы куска льда хватило на второй кувшин, на третий и так далее. Вот и приходится с кувшином двигаться быстро, вернее, бегать. За мной следом носятся целой ватагой мальчишки. Они передразнивают мое пение. Но я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь как можно быстрее опорожнить кувшин и бежать домой за следующим. Сколько я наторговал в первый день, я и сам не знаю. Знаю только, что мой брат Эля, золовка Броха и мама меня очень хвалили. На ужин мне дали кусок дыни, кусок арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего. Квас мы все пьем, как воду.

Перед сном мама постелила мне на полу и спрашивает, не болят ли у меня, упаси бог, ноги? Брат Эля смеется и говорит, что я такой мальчик, у которого никогда ничего не болит.

— Конечно! — говорю я.— Хотите, я сейчас, среди ночи, пойду с кувшином.

Все смеются над моей прытью. Но на глазах у мамы я замечаю слезу. Ну, это старая история — мама должна обязательно плакать. Я хотел бы знать: все мамы так, не переставая, плачут, как моя?

4

Везет нам здорово — не сглазить бы! Дни стоят один другого жарче. Печет. Люди изнывают от зноя. Если бы не стаканчик квасу,— сгореть можно! Я оборачиваюсь со своим кувшином, не преувеличивая, раз десять на дню! Мой брат Эля заглядывает одним глазом в бочку и говорит, что мы уже добираемся до дна. Тогда ему приходит в голову блестящая мысль, и он доливает в бочку еще пару ведер воды.

Премудрость эту я постиг еще раньше него. Должен вам признаться, что этот фокус я уже несколько раз проделывал. Почти каждый день я забегаю к нашей соседке Песе и даю ей отведать нашего собственного напитка. Ее мужу, переплетчику Мойше, я даю два стакана — он хороший человек. Детям тоже даю по стаканчику квасу. Пускай и они знают, какой напиток мы умеем делать. Слепому я тоже подношу стаканчик. Жалко его, он ведь калека. Всех моих знакомых я угощаю квасом. Даром, без копейки денег. А для того чтобы не было убытка, я в кувшин доливаю воды. На каждый стакан квасу, который раздаю даром, два стакана воды.

То же самое делают и у нас дома. Например, когда мой брат Эля выпьет стакан квасу, он сейчас же подливает воды. Он прав:

жаль копейку! Золовка выпьет пару стаканов (она страсть как любит квас моего брата!), сейчас же доливает водой. Иной раз и мама попробует стаканчик (ее надо упрашивать, сама она не возьмет) — и опять-таки сразу же доливают. Одним словом, ни одна капля зря не пропадает, и мы, слава богу, совсем неплохо зарабатываем. Мама уже уплатила много долгов, выкупила самое необходимое, постель. В доме появилось кое-что из мебели — стол, стулья. На субботу у нас бывает рыба, мясо и белая булка. Мне обещали на праздник новые сапоги! Никому, кажется, не живется так хорошо, как мне!

5

Поди, однако, будь пророком и угадай, что стрясется такая беда, и наш напиток вдруг сделается противен людям, хоть выливай его на помойку! Счастье еще, что меня самого не забрали в полицию. Послушайте, как дело было.

Однажды я со своим кувшином забрел к нашей соседке Песе. Вся публика выпила по стаканчику квасу, да и я с ними за компанию. Подсчитав, что мне не хватает стаканов двенадцать — тринадцать, я выскочил в сени, где у них обыкновенно стоит вода. Но вместо бочки с водой я, видно, попал в бадью, в которой стирают белье, плеснул в кувшин стаканов пятнадцать — двадцать и побежал на улицу, распевая новый куплет, который я сам придумал:

Люди добрые! Напитком
Райским вас напоим!
Мне б такую жизнь
И вам — и нам обоим!

Останавливает меня один прохожий, дает копейку и велит налить себе стакан квасу. Выпил его залпом и сморщился:

— Мальчик! Что это у тебя за напиток?

Но я не обращаю на него внимания. Тут же стоят еще двое и дожидаются, чтобы я им налил. Один отпил полстакана, другой — треть. Уплатили, сплюнули и ушли. Еще один поднес стакан ко рту и, не попробовав, сказал, что пахнет мылом и как будто солоно. Следующий только взглянул на стакан, вернул мне его и спросил:

— Что это у тебя?

— Напиток такой,— отвечаю,— водичка!

— Водичка? — переспросил он.— Воничка, а не водичка!

Еще один подошел, попробовал и выплеснул весь стакан прямо мне в лицо. Минуту спустя меня окружили со всех сторон мужчины, женщины, дети. Все говорят, размахивают руками, горячатся.

Увидал городовой, что собираются в кучку, подошел и спрашивает, в чем дело. Рассказали ему. Он подошел, заглянул в кувшин и велел дать ему на пробу. Я налил стакан квасу. Городовой отхлебнул, сплюнул и рассвирепел.

— Где ты взял такие помои?

— Это по книге,— отвечаю я,— работа моего брата. Мой брат его сам делает.

— Кто твой брат?

— Мой брат Эля...

— Какой такой Эля?

— Не болтай, дурья голова, про брата! — заговорили несколько человек сразу, примешивая древнееврейские слова, чтобы городовой не понял.

Поднялся шум, крики, скандал. Все время прибывают новые люди. Городовой держит меня за руку и хочет нас (меня и напиток) отвести прямо в полицию. Шум усиливается: «Сирота! Несчастный сирота!» — слышу я со всех сторон. Чует мое сердце, что дела мои плохи. Я оглядываюсь по сторонам: «Люди, пожалейте!» Пытаются сунуть городовому в руку монету. Но он не берет. Тогда один старик с вороватыми глазами говорит мне по-древнееврейски:

— Мотл! Вырви руку, ноги на плечи и — драла!

Я вырываюсь, смазываю пятки и — бегом! Ни жив ни мертв вваливаюсь в дом.

— Где кувшин? — спрашивает мой брат Эля.

— В полиции! — отвечаю я и с плачем припадаю к маме.

VIII. МЫ НАВОДНЯЕМ МИР ЧЕРНИЛАМИ

1

Ах, каким же я был дураком! За то что я продавал немножко нехороший квас, я думал — мне голову снимут! Оказалось — ерунда. Зря перепугался. А Ента может продавать свечное сало вместо гусиного? А мясник Гедалья не кормил круглый год весь город трефным мясом? Так убеждала мою маму наша

соседка Песя. Беда с моей мамой! Она все так близко принимает к сердцу.

Зато я люблю своего брата Элю. Мой брат Эля не унывает от того, что мы обожглись на квасе. Была бы у него книга — все будет хорошо! Он купил книгу за рубль. Книга называется: «За один рубль — сто рублей». Брат сидит и заучивает ее наизусть. В ней бесконечное количество рецептов добывания денег. Он уже знает почти все рецепты. Знает, как приготовлять чернила, ваксу, как выводить мышей, тараканов и прочую пакость.

Прежде всего он намерен заняться чернилами. Чернила, говорит он, ходкий товар. Все учатся писать. Эля нарочно справлялся у писца Юделя, сколько он расходует на чернила. Тот ответил: «Состояние!» Писец обучает письму чуть ли не шестьдесят девочек. Мальчики у него не учатся. Его боятся. Он дерется. Колотит линейкой по рукам. А девочек бить нельзя, а тем более пороть.

Мне очень досадно, что я не родился девочкой. Во-первых, мне не нужно было бы молиться ежедневно. Надоело: изо дня в день одно и то же. Затем я был бы свободен от талмудторы. Я провожу там полдня, учусь на грош, а оплеух получаю сверх всякой меры! Думаете, от учителя? Нет, от его жены. Ее, видите ли, трогает, что я кормлю кошку! Вы бы видели, какая у нее кошка,— смотреть жалко! Вечно голодная. Мяукает потихоньку, со слезой в голосе, совсем как человек. Сердце надрывает! Но у них к ней ни капли жалости. И чего им от нее нужно? Только подойдет она к кому-либо, понюхает — на нее уже кричат: «Брысь!» Кошка удирает куда глаза глядят. Голову поднять не дают. Недавно она где-то пропадала несколько дней подряд. Я уже думал, что кошка, упаси господи, издохла. В конце концов оказалось, что она окотилась... Однако возвращаюсь к чернилам моего брата Эли.

2

Мой брат Эля говорит, что времена теперь совсем не те, что прежде. Когда-то, говорит он, для приготовления чернил нужно было покупать чернильные орешки, крошить их, затем варить на огне черт знает сколько времени, потом добавлять медного купороса. А для того чтобы чернила блестели, нужно было класть в них кусок сахару — канитель! Нынче, говорит брат, удовольствие! Купишь в аптеке этакий порошок и пузырек глицерина, смешаешь все это с водой, вскипятишь — и чернила

готовы! Так уверяет мой брат Эля. Он пошел в аптеку, купил уйму порошков и целую бутыль глицерина. Затем он заперся у мамы в комнате и что-то там делал. Что именно, я не знаю. Это — секрет. У него сплошь секреты. Если ему, например, нужно попросить у мамы пестик, он отзывает ее в сторону и шепчет: «Мама, пестик!»

Порошки и глицерин он смешал в большущем горшке (купил новый горшок). Горшок со смесью он задвинул в печь и шепотом попросил маму запереть двери на крючок. Мы все думали, произойдет невесть что! Мама ежеминутно заглядывала в печь. Должно быть, боялась, как бы печь не разлетелась на куски. Затем в дом вкатили бочку из-под кваса. Вылили в нее смесь из горшка. Потом стали лить воду. Когда бочка наполнилась больше чем наполовину, мой брат Эля сказал: «Довольно!» — и кинулся к своей книге «За рубль — сто».

Посмотрел и тихонько приказал принести новое перо и лист белой бумаги. «Для прошений»,— добавил он шепотом маме на ухо. Обмакнув перо в бочку, он написал что-то на белом листе, сделал закорючку и росчерк. Написанное он показал сначала маме, потом моей золовке Брохе. Они посмотрели и сказали:

— Пишет!

Тогда снова принялись за прежнюю работу: влили еще пару ведер воды, брат поднял руку: «Довольно!», снова обмакнул перо в бочку, снова написал что-то на белом листе и опять показал написанное сначала маме, затем моей золовке Брохе.

Они еще раз посмотрели и сказали:

— Пишет!

Так несколько раз, пока бочка не заполнилась до краев. Больше некуда было лить воду. Тогда мой брат Эля поднял руку: «Довольно!» И мы вчетвером сели за стол.

3

После еды мы начали разливать чернила в бутылки. Бутылок мой брат натаскал со всего света. Всякого рода бутылки и пузырьки, большие и маленькие — из-под пива, из-под вина, кваса, водки. Наконец просто бутылки. Пробок он накупил старых, чтобы дешевле стоило. Кроме того, он купил новую воронку и жестяную кружку для того, чтобы разливать чернила из бочки в бутылки. Затем он шепотом попросил маму запереть двери на крючок, и мы вчетвером принялись за работу.

Работа была распределена хорошо. Моя золовка Броха полоскала бутылки и передавала их маме. Мама заглядывала в каждую бутылку и передавала их мне в руки. Я должен был только вставлять воронку в горлышко и держать ее одной рукой, а другой — бутылку. А мой брат Эля черпал кружкой из бочки и наливал чернила.

Работа эта очень славная, веселая. Нехорошо только, что имеешь дело с чернилами: пачкаются руки, лицо, нос... Мы с братом перемазались как черти. Впервые я увидел свою маму смеющейся. О моей золовке Брохе и говорить нечего: та чуть не лопнула со смеху. Мой брат Эля не любит, когда над ним смеются. Он сердится на свою жену и допытывается, чего она смеется. А она смеется пуще прежнего. Он все сильнее сердится, а та еще больше смеется. Каждую минуту с ней судороги. Того и гляди, лопнет! Наконец мать стала упрашивать, чтобы перестали смеяться, а нам с братом велела умыться.

Но брату некогда. Ему не до умывания. Он с головой ушел в бутылки. Все бутылки уже заняты, больше нет! Где взять еще? Он отзывает в сторону мою золовку, дает ей денег и шепотом велит пойти за бутылками. Она выслушивает, потом взглядывает на него и снова прыскает. Брат злится и обращается с тем же секретом к маме. Мама уходит за бутылками, а мы начинаем доливать воду в бочку. Конечно, не сразу, а понемногу.

После каждого ведра брат поднимает руку и говорит, ни к кому не обращаясь: «Хватит!» — затем обмакивает перо и чиркает по бумаге:

— Пишет.

Это он проделывает несколько раз, пока не приходит мать с новым запасом бутылок. Снова разливаем чернила — до тех пор, пока все бутылки не наполнены.

— До каких пор это будет продолжаться? — спрашивает моя золовка Броха.

— Не сглазить бы! — говорит мать, а брат сердито поглядывает на жену, будто говоря: «Хоть ты мне и жена, но и дура же ты, господи помилуй!..»

4

Сколько у нас чернил, я и сказать не могу. Чуть ли не тысяча бутылок! Но что толку, когда их девать некуда.

Мой брат Эля уже везде побывал. Продавать в розницу, бутылками, не имеет смысла. Так говорит мой брат Эля мужу

нашей соседки, переплетчику Мойше. Когда он зашел к нам и увидел столько бутылок, он даже перепугался и шарахнулся назад. Мой брат Эля заметил это, и между ними завязался странный разговор. Передаю его слово в слово.

Эля. Чего это вы так испугались?

Переплетчик. Что у тебя в бутылках?

Эля. Чему там быть? Вино!

Переплетчик. Какое вино? Ведь это чернила!

Эля. Зачем же вы спрашиваете?

Переплетчик. Что ты будешь делать с такой массой чернил?

Эля. Пить буду!

Переплетчик. Нет, кроме шуток! Будешь и в розницу продавать?

Эля. Что я — с ума сошел? Уж если продавать, то десять бутылок, двадцать, пятьдесят... Это называется «оптом». Вы знаете, что значит «оптом»?

Переплетчик. Я знаю, что значит «оптом». Но кому ты будешь продавать?

Эля. Кому? Раввину!

И мой брат Эля пошел по лавочникам. Пришел к одному крупному оптовику. Тот попросил принести ему бутылку. Он хочет посмотреть. Брат принес ему бутылку чернил, но тот и в руки ее брать не желает, потому что нет этикетки. На бутылке, говорит он, должна быть красивая этикетка с рисуночком. «Я рисуночков не делаю,— отвечает ему мой брат Эля,— я делаю чернила».— «Ну и делай на здоровье!» — сказал лавочник.

Тогда брат сунулся к писцу Юделю. Но Юдель сказал ему что-то неприятное. Он уже, говорит, закупил чернил на все лето.

— Сколько же бутылок вы закупили? — спрашивает Эля.

— Бутылок? — переспросил Юдель.— Купил бутылку чернил... Хватит, пока не выйдут, а там еще бутылку куплю...

Вот тебе раз! На что способен писаришка! То говорил, что у него уходит целое состояние на покупку чернил, а то оказывается, что ему одной бутылки на все лето хватит!.. Мой брат Эля, бедняга, вне себя! Он не знает, что делать с таким количеством чернил! Раньше он говорил, что в розницу торговать не намерен, только оптом. Сейчас он смирился. Начнет, говорит, продавать в розницу. Я бы очень хотел знать, что это значит «в розницу»?

А «в розницу» значит вот что. Послушайте.

5

Мой брат Эля принес большой лист бумаги, сел и написал крупными, как в молитвеннике, буквами:

> ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ ЧЕРНИЛА
> ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
> ХОРОШО И ДЕШЕВО.

Оба слова «в розницу» и «дешево» были такие громадные, что занимали чуть ли не весь лист. Когда написанное просохло, он повесил лист на дверях, с наружной стороны. Прохожие останавливались и читали. Я видел это в окно. Мой брат Эля тоже смотрит в окно и ломает пальцы. Это значит, что он расстроен. Он говорит мне:

— Знаешь что? Выйди-ка, постой у двери и послушай, что говорят.

Меня упрашивать не надо. Я встал у дверей, смотрю, кто останавливается, слушаю, что говорят. Простоял почти полчаса и захожу в дом. Брат Эля подходит ко мне и тихо спрашивает:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что они говорили?

— Кто?

— Люди, которые шли мимо.

— Говорили, что красиво написано.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Мой брат Эля вздыхает. Чего он вздыхает? Мама тоже спрашивает:

— Чего ты вздыхаешь, глупенький? Подожди немного. В один день ты хочешь распродать весь товар?

— Хоть бы почин был...— говорит брат со слезами в голосе.

— Ты большой дурень, уверяю тебя. Погоди, дитя мое, будет еще, с божьей помощью, и почин.

Так говорит мама и накрывает на стол. Мы умываем руки и садимся кушать. Нам четверым приходится сидеть рядышком: из-за бутылок в доме стало так тесно — деваться некуда. Только

принялись за еду, прибегает паренек. Занятный такой. Он уже жених. Я его знаю. Его зовут Копл. У него отец портной. Дамский портной.

— Здесь продают чернила в розницу?

— Да. А что такое?

— Я хочу немного чернил.

— Сколько тебе нужно?

— Дайте мне на копейку.

Мой брат Эля вне себя. Если бы не стыд перед матерью, он бы этого жениха Копла раньше отшлепал, а потом вышвырнул бы из дому. Однако он сдерживает себя и наливает парнишке чернил на копейку.

Не проходит и четверти часа, прибегает девочка. Ее я не знаю. Она ковыряет в носу и обращается к моей маме:

— Здесь делают чернила?

— Да. А что такое?

— Сестра просила, не можете ли вы ей одолжить немного чернил? Ей нужно написать письмо жениху в Америку.

— Кто твоя сестра?

— Бася, швейка.

— А! Смотри пожалуйста, как она выросла! Не сглазить бы! Я тебя совсем не узнала. Чернильница есть у тебя?

— Откуда у нас чернильница? Моя сестра просила... Может быть, у вас и перо есть... Она только напишет письмо в Америку и вернет вам перо и чернила.

Моего брата Эли нет за столом. Он в маминой комнате. Медленно шагает из угла в угол, опустив голову, и грызет ногти.

6

— Зачем ты наделал столько чернил? Ты хотел, видно, обеспечить весь мир чернилами,— вдруг наступит чернильный голод? — говорит моему брату Эле муж нашей соседки, Мойше-переплетчик.

Странный человек этот переплетчик! Манера у него — сыпать соль на чужие раны. Вообще, он как будто неплохой человек, только нудный и страшно въедливый. Но мой брат Эля его здорово отчитал! Он посоветовал переплетчику лучше следить за самим собой, не делать каши из книг, не переплетать вместе «Агоде» и «Слихес»...

Мойше-переплетчик знает, на что намекает брат. Однажды он взял у одного извозчика заказ — переплести «Агоду». И вот

случилось несчастье: по ошибке Мойше переплел вместе с «Агодой» несколько листов из чужой «Слихес». Извозчик, может быть, и не заметил бы, но сосед услыхал, как он вдруг вместо пасхального гимна читает покаянную молитву... Поднялся хохот. А на следующий день извозчик прибежал к нашему соседу и хотел растерзать его в клочья.

— Разбойник! Что я тебе сделал? Зачем ты в мое пасхальное «Сказание» всучил предновогоднюю мольбу о всепрощении! Вот я тебе все кишки вымотаю!

Да, веселая была у нас тогда пасха!

Однако не взыщите, что я отвлекся посторонним рассказом. Возвращаюсь к нашим блестящим делам.

IX. ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНИЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ

1

Мой брат Эля ходит сам не свой. Что делать с чернилами?

— Опять чернила? — укоряет его мама.

— Я не о чернилах! — отвечает брат.— Черт с ними, с чернилами! Я говорю о бутылках. В бутылки вложен капитал. Нужно опорожнить их и получить деньги...

Он все превращает в деньги! И мы решаем, что чернила нужно вылить ко всем чертям! Плохо только, что мы не знаем, куда девать столько чернил. Ведь это же просто позор!..

— Ничего не поможет! — говорит мой брат Эля.— Придется ждать ночи. Ночью темно, никто не увидит.

Еле дождались ночи. Как назло, луна сияет фонарем. Когда нужно, чтобы было светло, она прячется. А вот теперь она тут как тут, будто посылали за ней!.. Так говорит мой брат Эля, и мы выносим бутылку за бутылкой и выливаем прямо на улицу. Оттого, что лили в одном и том же месте, получилась целая река. Не нужно лить в одном и том же месте, говорит брат Эля, и я следую его совету. Я выискиваю каждый раз новое место. Вот соседкина стена — плюх! Соседский забор — плюх! Лежат две козы и жуют жвачку при лунном свете — на них!

— На сегодня хватит! — говорит брат Эля, и мы отправляемся спать.

Тихо и темно. Заводит свою песенку сверчок. Из-под печи слышится урчание кошки. Вот соня! И днем и ночью только и делает, что греется и дремлет. В сенях, за дверью, слышны чьи-то шаги. Может быть, домовой?.. Мама еще не спит. Я всегда слышу, как она ломает пальцы, вздыхает, кряхтит и говорит, обращаясь к себе самой. Такая уж у нее манера. Каждую ночь она отводит душу. Рассказывает о своих горестях. С кем она разговаривает? С богом? Каждую минуту она повторяет со вздохом:

— Ах, боже, боже!..

2

Я еще не встал со своей постели на полу, как уже сквозь сон слышу шум и гам. Доносятся знакомые голоса. Постепенно открываю глаза — поздний час. Солнечный свет ворвался в окна, манит из дому, зовет на улицу. Пытаюсь вспомнить, что было вчера... Ага! Чернила!.. Вскакиваю и наскоро одеваюсь. У мамы заплаканы глаза (когда, впрочем, они у нее не заплаканы?). Моя золовка Броха ходит сердитая (а когда она не сердитая?). Мой брат Эля стоит посреди комнаты понурив голову, как дойная корова. В чем дело? Оказывается, не одно, а несколько дел! Соседи наши проснулись утром: и пошла кутерьма — прямо зарезали их! У одного всю стену забрызгали чернилами. У другого облили забор, новенький забор! У третьего была пара белых коз, а ему их покрасили в черный цвет,— не узнать их. Но все было бы терпимо, если бы не резниковы чулки. Новенькую пару чулок, белых чулок, резничиха повесила на заборе у нашей соседки, а их испортили вконец. Просили ее вешать чулки на чужой забор! Мама обещала купить ей пару новых чулок, лишь бы все было тихо. Но что делать со стеной? С забором? Решено было, что мама и моя золовка Броха возьмут щетки и затрут пятна белой глиной.

— Ваше счастье, что вы напали на порядочных соседей. Вот напоролись бы с вашими чернилами на Менаше-лекаря, тогда бы вы почувствовали, как велик наш бог! — говорит маме соседка Песя.

— Что же вы думаете? И в беде нужна удача! — говорит мама и смотрит на меня.

Что она этим хочет сказать?..

3

— Теперь уж я буду умнее! — говорит мне брат Эля.— Как только наступит ночь, отнесем бутылки на речку.

Он прав, честное слово! Ничего умнее придумать нельзя! Все равно в речку льют всякую пакость. Там и белье стирают, там и лошадей купают, там и свиньи полощутся. Мы с рекой — близкие друзья. Я вам как-то рассказывал о моей рыбной ловле. Так что вы без труда поймете, с каким нетерпением я ждал минуты, когда мы отправимся на речку.

Как только стемнело, мы уложили бутылки в корзины и стали таскать их к речке. Выльем чернила, порожние бутылки домой отнесем и беремся за следующую партию. Всю ночь работали таким образом.

Давно уже не было у меня такой славной, веселой ночи. Представьте себе: город погрузился в сон, небо усыпано звездами. Луна светит и отражается в речке. Тишина. Хорошо. А речонка у нас бойкая. После пасхи, как только растает лед, она начинает озорничать. Надувается, разбухает, выходит из берегов. А чем дальше, тем она становится меньше, уже и мельче. К концу лета и совсем замолкает. Впадает в дрему. И только на самом дне, в иле, слышится: «буль-буль». С противоположной стороны отзываются лягушки: «ква-ква». Срам, а не река! Можете себе представить, если я могу перейти ее вброд от берега к берегу, даже не засучив штанишек!

От наших чернил речка немного раздалась вширь. Шутка ли, чуть ли не тысяча бутылок чернил! Зато и наработались же мы, как волы. Уснули как убитые. Разбудила нас мама:

— Горе мне! Разнесчастная моя жизнь! Что вы там натворили, на реке?

Оказалось, что мы обезводили город: прачкам негде белье стирать. Извозчикам негде лошадей поить. Водовозы... Вот они соберутся все вместе и придут рассчитаться с нами.

Все это сообщила мама. Но у нас нет никакого желания дожидаться их. Нам вовсе не интересно, как водовозы будут рассчитываться с нами. Я и мой брат Эля наспех собираемся и отправляемся к его товарищу Пине.

— Пускай они нас поищут, если им нужно! — Так говорит мне брат Эля, берет меня за руку, и мы быстро спускаемся под гору к его товарищу Пине. Если мы с вами еще увидимся, я вас как-нибудь познакомлю с товарищем моего брата. С ним стоит познакомиться: ему тоже приходят в голову удачные мысли.

X. УЛИЦА ЧИХАЕТ

1

Знаете, что у нас теперь на очереди? Мыши!

Целую неделю мой брат Эля изучал свою книгу, при помощи которой делают деньги, «За рубль — сто». Он уже научился, говорит, выводить мышей, тараканов и прочую нечисть. Крыс тоже. Пусть только его куда-нибудь пустят с его порошком,— ни одной мыши не останется. Они удирают. Многие дохнут. Нет больше мышей! Как он это делает, я не знаю. Это секрет. Секрет этот знают только он да книга, больше никто. Книгу он носит в боковом кармане. Порошок — в бумаге. Порошок какой-то красноватый, тонко растертый, как нюхательный табак. Называется он «шемерица».

— Что это значит «шемерица»?

— Турецкий перец.

— А что значит «турецкий перец»?

— Я тебе сейчас такое «что значит» задам, что ты у меня головой двери откроешь!

Так говорит мне брат Эля. Он не любит, когда ему надоедают с расспросами во время работы. Я смотрю и молчу. Вижу, что, кроме красноватого, у него есть еще какой-то порошок.

— Тоже от мышей. Но с этим нужно быть осторожным! Смертельный яд! — чуть ли не сто раз подряд повторяет Эля маме, Брохе и мне. Особенно — мне, чтоб я не смел и притрагиваться к этому. Яд!

Первый опыт мы произвели на мышах нашей соседки Песи. Мышей там чертова пропасть. Вы ведь знаете, что муж ее — переплетчик. У него вечно дом полон книг. А мыши любят книги. Не столько самые книги, сколько клейстер, которым книги склеивают. А с клейстером заодно они уже и сами книги едят, причиняют огромные убытки. Недавно они продырявили молитвенник, и как раз в том месте, где большущими буквами напечатано «Царь-вседержитель». Как дорвались до этого места, так оставили только кончик одной буквы.

— Пустите меня к вам на одну ночь! — упрашивает переплетчика мой брат Эля.

Но переплетчик не соглашается.

— Я боюсь,— говорит он,— что ты все книги перепортишь.

— Чем я испорчу ваши книги?

— Я и сам не знаю чем. Но боюсь. Чужие книги...

Толкуй с переплетчиком! Еле уломали его, чтобы он пустил нас на одну ночь.

2

В первую ночь нам не повезло. Не поймали ни одной мыши. Впрочем, мой брат Эля говорит, что это хороший признак. Мыши, по его мнению, почуяли порошок и разбежались. Переплетчик качает головой и криво усмехается: видно, не верит. Тем не менее по городу распространился слух о том, что мы выводим мышей. Слух этот пустила наша соседка Песя. Рано утром она отправилась на рынок и разбарабанила по всему городу, что никто так не выводит мышей, как мы. Она нас прославила. Раньше она всем и всякому твердила о нашем квасе. Затем она на всех углах рассказывала, что мы изготовляем такие чернила, каких свет не видал. Но что толку от ее рассказов, когда в чернилах никто не нуждается? Мыши — это не то, что чернила. Мыши имеются всюду, почти в каждом доме. Конечно, каждый хозяин держит кошку. Но где одной кошке справиться со столькими мышами? А особенно с крысами! Крысам наплевать на кошку. Говорят даже, что крыс сама кошка побаивается.

Так уверяет сапожник Бере. Он такие истории рассказывает о крысах, что мороз по коже дерет! Правда, считают, что он малость преувеличивает. Но если даже половина того, что он рассказывает, правда, то и этого вполне достаточно. Он говорит, что крысы съели у него пару новых сапог. Бере клянется при этом такими клятвами, что не только ему — выкресту поверить можно. Он, говорит, сам видел, как две большие крысы выползли из своих нор и у него на глазах съели пару сапог. Это было ночью. Подойти близко он боялся: крысы огромные, как телята! Издали он их гнал, свистел, топал ногами, кричал: «Киш-киш-киш!» Ничего не помогло. Швырнул в них сапожной колодкой, но крысы только взглянули на него и продолжали свое дело. Тогда он бросил прямо на них кошку. Но они и на нее налетели и слопали! Никто не хотел ему верить. Но когда человек так клянется!..

— Пустите-ка меня к вам на одну ночь,— говорит мой брат Эля,— я вам выведу всех крыс.

— С большим удовольствием! — отвечает сапожник Бере.— Я вам еще спасибо скажу!..

3

Ночь напролет просидели мы у сапожника Бере. И он сидел с нами. Каких только удивительных историй мы от него не наслушались! Он рассказывал о турецкой войне. (Бере был когда-то солдатом.) Ему пришлось быть в таком месте, которое называется «Плевна». Там стреляли из пушек. Вы знаете, какой величины бывает пушка? Представьте себе, что одно только ядро больше, чем целый дом, а пушка каждую минуту выбрасывает чуть ли не тысячу таких ядер! Довольно с вас? Но ядро, когда вылетает из пушки, так ревет, что оглохнуть можно. Однажды, рассказывает Бере, он стоял на посту. Вдруг он слышит грохот, его подняло в воздух и понесло чуть ли не выше облаков... А там ядро разорвалось на тысячу кусков. Его счастье, говорит Бере, что он упал на мягкое место, не то бы расшиб себе голову.

Мой брат Эля слушает, а брови у него улыбаются. То есть сам он не смеется, смеются только брови. Странный какой-то смех. Но сапожник ничего не замечает. Он не переставая рассказывает свои удивительные истории. Одна другой страшнее. Так мы просидели до утра. А крысы? Хоть бы одна!

— Вы прямо-таки волшебник! — говорит сапожник моему брату Эле.

После этого он отправляется в город и рассказывает чудеса о том, как мы при помощи заговора вывели у него в доме крыс в течение одной ночи. Он клянется, что сам видел, как мой брат Эля что-то прошептал,— тогда крысы вылезли из своих нор и пустились под гору, к речке, переплыли ее и ушли куда-то далеко... Куда, он не знает...

4

— Здесь выводят мышей?

С таким вопросом к нам каждый раз приходят и просят, чтобы мы потрудились и пожаловали выводить мышей при помощи нашего заговора...

Но мой брат Эля — человек справедливый. Он не терпит лжи. Он говорит, что изгоняет мышей не заговором, а порошком. Есть у него такой порошок, от которого мыши разбегаются.

— Пускай будет порошок, пускай будет черт-дьявол, лишь бы избавиться от мышей!.. Сколько это будет стоить?

Мой брат Эля не любит торговаться. Он говорит, что за порошок ему причитается столько-то, а за труд — столько-то и

столько-то. С каждым разом он, конечно, просит дороже. Он каждый день повышает цену. То есть не он, а моя золовка повышает.

— Если уж на то пошло,— говорит она,— если уж жрать свинину, так пускай по бороде течет. Уж если ты крысомором заделался, так загребай хоть денежки.

— Ну, а справедливость где же? А бог где? — вмешивается в разговор моя мама.

Но золовка Броха отвечает:

— Справедливость? Вот она где — справедливость! — и указывает на печку.— А бог? Вот где бог! — и хлопает себя по карману.

— Броха! — восклицает мать, заламывая руки.— Что ты сказала? Опомнись, господь с тобой!!

— Ну что ты разговариваешь с коровой?! — говорит мой брат Эля, расхаживая по комнате и теребя свою бороду.

У него уже изрядная бородка. Растет она, как на дрожжах. Он теребит ее, вот она и растет. Странно как-то растет. Вся борода почему-то на шее. Лицо чистое, а шея вся в волосах. Видали вы когда-нибудь такую бороду?

В другое время моя золовка Броха задала бы брату за «корову» такую взбучку, что у него бы в глазах потемнело. Но на этот раз она промолчала, потому что он сейчас зарабатывает деньги. Каждый раз, когда мой брат зарабатывает деньги, она начинает его уважать. Да и я становлюсь ей дороже, потому что помогаю брату зарабатывать деньги. Обычно она называет меня «голодранец», или «растяпа», или «гольтепа». Сейчас она обращается со мной ласково. Сейчас я у нее уже «Мотеле».

— Мотеле! Подай мне ботинки.

— Мотеле! Набери мне кружку воды.

— Мотеле! Вынеси мусор.

Совсем другое дело, когда зарабатываешь деньги!

5

У моего брата Эли есть один недостаток — он любит всего помногу: квасу — целая бочка, чернил — тысячи бутылок, порошка от мышей — полный мешок! Муж соседки, переплетчик Мойше, уже говорил ему: «К чему так много?» Но брат здорово отчитал его за такие слова.

Хоть бы запирали этот мешок куда-нибудь в шкаф. Так нет же! Все уходят и оставляют меня дома одного с мешком. Что

же такого, что я на минуту сел на него верхом, как на лошадку? Мог ли я думать, что мешок лопнет и оттуда посыплется что-то желтое? Это и есть тот самый порошок, которым мой брат Эля выводит мышей. Он издает такой острый запах, что можно в обморок упасть. Я нагибаюсь, хочу собрать то, что просыпалось, но меня вдруг одолевает чихание. Мне кажется, если бы я втянул в нос полную табакерку нюхательного табаку, я и то не стал бы так чихать. Выбегаю на улицу — может быть, на воздухе перестану чихать? Куда там! Приходит мама и видит, что я чихаю. Спрашивает, что случилось. Но я не могу сказать ни слова в ответ, только «чхи!», и еще раз «чхи!», и снова «чхи!».

— Горе мне! Где это ты схватил такой насморк? — говорит мама, ломая руки.

Не переставая чихать, я указываю ей на дверь в дом. Она входит и тут же выбегает обратно, чихая еще сильнее, чем я. В это время приходит мой брат Эля и видит, как мы оба чихаем. Спрашивает, в чем дело. Мать указывает ему на дверь. Брат бежит в дом и сразу же выскакивает с криком:

— Кто это рас... Чхи! Чхи! Чхи!..

Я давно уже не видел моего брата Элю в таком бешенстве, как сейчас. Он бежит прямо на меня. Счастье, что он чихает... Не то он бы меня искалечил. Приходит моя золовка Броха и застает нас троих держащимися за бока и чихающими.

— Что с вами? Чего это вы вдруг расчихались?

Но что мы можем сказать? Мы не в состоянии слова выговорить. Указываем на дом, на дверь. Она бежит в дом и тут же вылетает обратно, красная как огонь, и нападает на брата:

— Что я тебе го... Чхи! Чхи! Чхи!..

Приходит наша соседка Песя-толстая. Она обращается к нам, но никто не может ответить ни слова. Указываем ей руками на двери. Она входит в дом и сейчас же выбегает:

— Что это вы такое сде... Чхи! Чхи! Чхи!..

Соседка размахивает руками. Приходит ее муж, переплетчик. Он смотрит на нас и смеется.

— Что это на вас вдруг напало такое чихание?

— Потрудитесь ту... Чхи! Чхи! Чхи! — говорим мы, указывая на двери.

Переплетчик входит к нам в дом и выскакивает обратно со смехом.

— Я уже знаю, что это такое! Я понюхал! Это — чеме... чеме... Чхи! Чхи!..

Он тоже хватается обеими руками за бока и чихает всласть. После каждого чихания он подпрыгивает, стоит минуточку на

кончиках пальцев, снова чихает, подпрыгивает, снова чихает и так далее. Не проходит и получаса, как все наши соседи и соседки, все их дяди и тетки, все троюродные братья и сестры и их знакомые,— вся улица от края до края беспрерывно чихает.

Чего это мой брат Эля так испугался? Он, наверное, боится, как бы все чихающие не выместили на нем свою злобу. Он берет меня за руку, и мы, оба, чихая, бежим под гору, к его товарищу Пине.

Прошло не менее полутора часов, пока мы пришли в себя и смогли говорить по-человечески. Мой брат Эля рассказал всю историю своему товарищу. Пиня выслушал внимательно, как доктор выслушивает больного. Когда брат кончил, Пиня говорит ему:

— А ну-ка, давай сюда свою книгу!

Брат достает из бокового кармана книгу и передает Пине. Пиня читает на обложке: «За один рубль — сто. Способ из ничего, при помощи пяти пальцев, зарабатывать сто рублей в месяц и больше...»

Он берет книгу и швыряет ее в печь, прямо в огонь. Мой брат Эля вскакивает с места и тянется руками к огню. Но Пиня его останавливает:

— Спокойно! Не торопиться!

Минута-другая — и от книги моего брата Эли, помогающей зарабатывать «сто рублей в месяц и больше», остается лишь горсточка пепла. Только с одной стороны белеет клочок не успевшей сгореть бумаги. На этом клочке едва можно прочесть: «Че-ме-ри-ца...»

XI. НАШ ДРУГ ПИНЯ

1

Помните, я как-то обещал познакомить вас с товарищем моего брата Эли, с Пиней? Обещал потому, что ему приходят в голову удачные мысли. Но прежде, чем говорить о Пине, я должен рассказать вам о его дедушке, затем об отце и дяде и только потом о нем самом.

Не пугайтесь, я расскажу вкратце. Начинаю с деда.

Слышали ли вы когда-нибудь о реб Гесе-стекольщике? Это и есть дед Пини. Он и стекольщик, он и зеркальщик, он и табак

умеет делать. Сейчас он забросил все свои дела и занимается только тем, что растирает табак и продает его. Покуда, говорит он, человек жив, он должен работать и не прибегать ни к чьей помощи. Человек он высокий, тощий, с красными глазами и с огромным носом, внизу широким, вверху узким, изогнутым, как бараний рог. Боюсь, что это у него от нюхательного табака. Он очень стар, ему, наверное, лет сто, но он еще в здравом уме. Он и сейчас еще, пожалуй, мудрее двух своих сыновей — Герш-Лейба-механика и Шнеера-часовщика.

Механик Герш-Лейб так же худощав и высок, как и реб Геся. У него тоже большущий нос, но табака он не нюхает. Может быть, еще будет нюхать, но пока — нет. Он печной механик. Кладет печи. Все говорят, что он человек башковитый. У него и в самом деле большой лоб. Если бы его, говорит он, обучали ремеслу, он был бы единственным в мире. Нет такой вещи на свете, до которой он не дошел бы собственным умом. Так он сам о себе говорит. Он все улавливает с первого взгляда. Печи складывать он тоже научился сам. Видел несколько раз, как работает Иван-печник, и хохотал до упаду. Он уверяет, что печник Иван даже не представляет себе, что такое печь.

Однажды он пришел домой, развалил печь и из тех же кирпичей сложил новую. Поначалу печь дымила так, что можно было задохнуться. Тогда он снова разобрал ее и опять сложил. И так несколько раз до тех пор, пока не стал знаменитым механиком. Он собственным умом додумался до такой печи, которую достаточно топить один раз в восемь дней. Беда только в том, что у него нет таких кирпичей, какие для этого требуются. Если бы, говорит он, ему дали «кафельные» кирпичи, он сложил бы печь, какую свет не видал.

Он уверяет, что сложить печь — дело более мудреное, чем собрать часы. Это уж он говорит в пику своему брату Шнееру.

Шнеер моложе его, выше ростом, тоже длинноносый, он часовых дел мастер. Вообще-то ему следовало быть раввином, резником или меламедом. Такие у него были способности к наукам. Но он захотел быть часовщиком. Каким образом он дошел до часового мастерства? А вот послушайте.

Когда он был еще мальчишкой и учился в хедере, рассказывает о себе Шнеер, у него голову распирало от больших мыслей. Ему, например, хотелось разгадать секрет замка. Почему, если повернешь ключ направо, замок открывается, а если повернешь налево,— запирается? Или — каким образом идут часы? Почему они бьют как раз тогда, когда большая стрелка стоит на двена-

дцати? Когда он впервые увидал часы с кукушкой, он чуть с ума не сошел. Часы эти старый реб Геся получил в подарок от отставного полковника, который давал ему работу. Каждый раз, когда часы должны были бить, отворялась дверца, выскакивала птичка и куковала! Птичка была до того похожа на живую, что даже кошка ошибалась. Как только появлялась птичка, кошка настораживалась и норовила ее поймать.

Шнеер дал себе слово, что он обязательно разгадает секрет этой птички. Однажды, когда никого дома не было, он снял часы со стены, развинтил все винтики, вытащил механизм. Подоспевший к тому времени отец избил его так, что никто даже не надеялся видеть Шнеера живым. До сих пор, говорит Шнеер, у него остались следы на теле. Но он своего добился — он часовых дел мастер. Не знаю, из лучших ли он, но берет он недорого и держит работу недолго.

Мой брат Эля уже много раз чинил у него свои часы. Чуть ли не каждые две недели он чинит их. Они у него какие-то странные: то спешат как угорелые, то отстают часа на четыре, то остановятся — и делай что хочешь. Мой брат Эля, может быть, и обратился бы к другому мастеру, но ему неловко перед своим товарищем Пиней. А Пиня говорит, что дело тут, наверное, в самих часах, а не в его дяде, Шнеере, потому что одно из двух: если часы действительно часы, то их каждый часовой мастер может починить; если же часы не часы, так чем же тут поможет часовой мастер?

Скажите, что он не прав!

2

Пиня, товарищ моего брата Эли, тоже человек с головой, как и отец его — Герш-Лейб-механик и дядя — Шнеер-часовщик. Нос у него тоже длинный, как и у них. Все они носатые, вся семья. Есть у них тетя Крейна, а у нее есть дочь Малка. Так вот у этой дочери такой нос, что на него можно специально ходить смотреть. И не столько на нос, сколько на все лицо. Совсем какое-то нечеловеческое лицо. Выглядит не то как птица, не то как диковинный зверь. Она стесняется на улицу выходить. Прямо-таки жалко человека! Пиня немного похож на нее, но он — мужчина, а для мужчины это не так важно. Правда, выглядит он как-то странно. Когда посмотришь на него, нельзя не рассмеяться. Мало того что он высокий и худой,— у него еще и уши длинные, шея как у гусака, и к тому же он близорук. Куда бы он ни пошел, он обязательно с кем-нибудь столкнется.

Если остановится, то непременно кому-нибудь на ногу наступит. Одна штанина у него всегда задрана. Один чулок спущен. Рубаха обязательно расстегнута. Галстук вечно набоку. Он картавит и любит всякие лакомства. Когда бы вы его ни встретили, он что-нибудь держит во рту и причмокивает. Зато он очень способный человек. Нет ничего на свете, чего бы он не знал. Своей ученостью он, говорят, затмил даже раввина. Своим почерком он за пояс заткнет всех писцов. Помимо того что у него замечательный почерк, он еще большой мастер писать рифмой. Он уже описал весь город: раввина, резника, всех старост, мясные лавки, свою семью — всех описал, и всех рифмой. Его стихи одно время ходили по рукам, люди хохотали до упаду, кое-кто выучил их наизусть. Я тоже помню несколько строчек:

У нашего габе
Реб Шмуел-Абе
Большой и пухлый живот.

Он сидит у стола
И тащит из котла —
Прямо-таки дым идет!

Жена его Нехама —
Благочестивая дама;
Говорить о ней много не стоит...

Она умна,
Как раввина нашего коза,—
Черт побери их обоих!..

Весь город ходуном ходил от этих стихов. Кто-то еще приладил к ним мотив субботнего застольного песнопения. И все распевали эту песенку. Дошла она и до самого габе и его жены. Послали за отцом, Герш-Лейбом-механиком, и со слезами на глазах допытывались, что против них имеет его сын Пиня. Придя домой, Герш-Лейб-механик позвал Пиню, запер двери и ворота и основательно всыпал ему. Он порол его до тех пор, пока Пиня не дал честного слова, что, покуда жив будет, никогда не сочинит ни одной рифмы.

3

С тех пор Пиня рифм больше не пишет. Ему не до рифм. Пиня и сам о себе говорит, что он в беде. Жениться ему вздумалось. Собственно, не ему, а его отцу, Герш-Лейбу, захотелось, чтобы Пиня женился и стал «человеком». Пиня женился на дочери мельника. Тесть открыл мучную лавку и посадил в ней

зятя. Мой брат Эля завидует Пине, потому что у того теперь есть свое дело. А Пиня смеется. Он говорит, что это, может быть, и дело, но не для него. Что это, говорит он, за работа — пачкаться с мукой? Это хорошо для неуча, для мельника... Чем он, говорит, виноват, что не может сидеть в лавке? Не может! У него голову распирает, просто разносит... У них, говорит он, вся семья такая — у всех головы распирает...

Так говорит Пиня и не хочет сидеть в лавке. Лучше, говорит, посидеть над книгой, по крайней мере удовольствие получишь. Тесть его, мельник, очень сердится на него, но помалкивает, боится, как бы зять не расписал его в стихах, а кроме того, он трясется над своей дочерью. Она у него единственная. Ее зовут Тайбл. Она немного косит на один глаз, но вообще-то она очень добрая. Мама говорит, что это человек без желчи. Я не понимаю, что значит «без желчи»? Куда же она девалась, ее желчь? Она по целым дням торчит в лавке, а Пиня отсиживается дома. Мы с братом почти каждый день к нему приходим. Он нам рассказывает о всех своих горестях. Когда бы мы ни пришли, он вздыхает, стонет и жалуется на несчастную свою долю. Ему здесь, говорит он, тесно и душно. Он чувствует, что задыхается.

Ему бы в другом городе жить, тогда бы все было по-иному. Если бы его выпустили отсюда хотя бы на один год, он бы свет перевернул! Так говорит он моему брату Эле. Пиня показывает письма, которые ему пишут «большие люди». «Большие люди» пишут ему, что у него внутри что-то есть. Пиня говорит, что он и сам чувствует, что в нем что-то есть. Я смотрю на него и думаю: «Господи боже мой! Что там у него внутри?»

4

Однажды Пиня пришел к нам и вызвал брата Элю, чтобы сообщить ему что-то по секрету. Раз секрет,— я непременно должен знать. Я люблю знать все секреты. Пошел за ними следом, стал прислушиваться. То говорит Пиня, то мой брат Эля. Передаю вам их разговор:

Пиня. Что мы тут высидим?

Эля. Я то же самое говорю.

Пиня. Вот я читал, что один поехал туда с голыми руками, полгода ночевал под открытым небом, улицы подметал за кусок хлеба...

Эля. Ну, а теперь?

Пиня. Дай бог нам обоим не хуже.

Эля. Серьезно?

Пиня. Серьезно, очень серьезно! Что ж, я обманывать тебя стану? Я уже говорил об этом своей Тайбл.

Эля. Ну, и что же она?

Пиня. Что ей говорить? Она едет.

Эля. Едет? Ну, а тесть?

Пиня. Кто его слушать станет? Если я уеду один, ему лучше будет? Ведь он видит, что мне на месте не сидится, что не могу я тут оставаться!

Эля. А я, думаешь, могу здесь оставаться?

Пиня. Так давай вместе поднимемся и поедем.

Эля. Подняться и поехать? А с чем?

Пиня. Шифскарты ведь нам дают бесплатно, глупенький!

Эля. Что значит — бесплатно?

Пиня. На выплату. Когда-нибудь выплатим. А пока что мы получаем их бесплатно.

Эля. Ну, а до парохода? Расходы? А билеты? Железная дорога?

Пиня. Сколько нам нужно билетов, чудак?

Эля. А ну-ка, скажи сам, сколько?

Пиня. Считай: я и моя Тайбл — два, ты и твоя Броха — два. Значит, четыре.

Эля. И мама... пять.

Пиня. Значит, пять.

Эля. А Мотл?

Пиня. С него хватит полбилета. А может быть, и того меньше... Скажем, что ему еще и трех лет нет...

Эля. Ты с ума сошел?..

* * *

Что мне делать? Больше не могу терпеть. От восторга издаю визг. Оба оборачиваются ко мне:

— Пошел, постреленок! Что за манера подслушивать, когда взрослые разговаривают?

Я убегаю, подпрыгиваю и хлопаю себя по бедрам. Шутка ли — я еду! Пароход!.. Поезд!.. Билет... Полбилета... Куда, собственно, мы едем? А мне какое дело?.. Не все ли равно куда? Я еду — этого достаточно! Знаете, что я вам скажу? Если подсчитать хорошенько, то я еще в жизни своей ни разу никуда не ездил. Я даже не знаю, что значит ехать. Однажды, правда, мне

довелось испытать это удовольствие. Я проехался верхом на козе нашего соседа... Дорого мне это стоило! Помимо того что я упал и расквасил себе нос, я еще получил несколько затрещин. Так что я это и за поездку не считаю.

Весь день я сам не свой. Потерял аппетит. Ночью мне снится, что я еду. Даже не еду — лечу! У меня крылья, как у голубя, и я лечу. Дай бог здоровья нашему другу Пине! Он стал мне в тысячу раз милее, чем раньше. Если бы не было стыдно, я бы его расцеловал. Что за чудесный человек Пиня! Ну, не говорил я вам, что ему приходят в голову замечательные мысли?

XII. МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ!

1

Ура, мы едем в Америку! Где она, эта Америка? Не знаю. Знаю только, что это далеко, ужасно далеко! Туда нужно ехать и ехать до тех пор, пока не приедешь. А по приезде попадают в «Кестл-Гартл». Там, в этом «Кестл-Гартл», вас раздевают догола и осматривают глаза. Если глаза здоровы — хорошо. Если нет — извольте ехать обратно! У меня как будто глаза здоровые. Один только раз мне пришлось повозиться с глазами. Мальчики из школы однажды сцапали меня, разложили и запорошили мне глаза табаком. Ох и колотил же их мой брат Эля! А сейчас у меня глаза ясны, как хрусталь. Вот с моей мамой, знаете, дело обстоит гораздо хуже. Так говорит мой брат Эля. Но кто виноват? Она по целым дням и ночам плачет. С тех пор как умер отец, она не переставая плачет.

— Ради бога! — толкует мой брат Эля.— Тебе нас, наверно, совсем не жалко! Ведь нам же из-за тебя придется, упаси бог, ехать обратно!

— Глупенький! — отвечает мать.— Разве это я плачу? Само по себе плачется, помимо меня!..

Мать вытирает передником глаза и принимается за постель, за подушки. Нужно все подушки пересыпать. В Америке нет подушек. Там все есть, кроме подушек. Как там люди спят, не понимаю. Ведь им, должно быть, очень жестко. Моя золовка Броха помогает маме пересыпать перья. А подушек у нас, слава тебе господи, порядочно. Три большие перины, шесть подушек

больших, четыре маленьких. Их называют «думками». Из них мама делает одну подушку. Я маленькие подушки люблю больше всего. По утрам я иногда затеваю с ними игры, делаю из них треугольные пироги, шляпы...

— Приедем, бог даст, благополучно туда, и опять пересыплем их в маленькие.

Так говорит мама мне и моей золовке Брохе, намекая ей на то, что и она должна поступить так же. Броха делает так же, хотя поездка ее вообще не радует. Ей тяжело расставаться с родителями. Если бы кто-нибудь в прошлом году сказал ей, что она поедет в Америку, она бы, говорит, тому в глаза наплевала.

— Если бы мне в прошлом году сказали, что я останусь вдовой...— говорит моя мама и начинает плакать.

Увидев это, мой брат Эля поднимает крик:

— Опять плакать? Ты, видно, хочешь нас погубить?!

2

Тут еще нелегкая принесла нашу соседку Песю. Увидев нас за пересыпкой подушек, она остановилась и начала душу изливать, причитать над нами:

— Едете, стало быть, в Америку? Дай вам бог приехать благополучно и счастливо устроиться. Бывает, конечно, если богу угодно... Вот в прошлом году уехала одна моя родственница, ее зовут Ривл, со своим мужем Гиле. Пишет, что мучаются, но все-таки «делают жизнь»... И сколько ни просишь их, чтобы написали по-человечески: что, и как, и каким образом? А они отвечают: Америка — страна для всех. Каждый мучается и кое-как устраивает свою жизнь... Вот и пойми как хочешь... Хорошо еще, что вообще пишут. В первое время они совсем ничего не писали, будто забыли обо всех. Мы уже тут думали, что они, упаси бог, в море утонули. И только потом, когда миновало бог знает сколько времени, пришла весточка, что они уже, слава богу, в Америке. Мучаются и «делают жизнь»... Что и говорить, очень стоит затевать всю эту кутерьму, ломать всю свою жизнь, пересыпать подушки, ехать по морю и все такое!..

— Скажите на милость, может быть, вы перестанете наконец донимать нас своими причитаниями? — налетает на нее мой брат Эля и тут же получает отповедь.

— Донимать? Смотри пожалуйста, какой умник выискался! Он едет в Америку мучиться и «делать жизнь»! А давно ли я

тебя на руках таскала, нянчилась с тобой, возилась? А ну-ка, спроси свою мамашу, сколько я натерпелась с косточкой, которую ты однажды проглотил в пятницу вечером, когда кушал рыбу! Если бы я тогда не хватила тебя сзади раза два-три, ты бы сейчас не ехал в Америку мучиться и «делать жизнь»...

Наша соседка Песя еще долго говорила бы. На счастье, вмешалась мама и стала ее упрашивать по-хорошему:

— Умоляю вас, Песинька, душенька, сердце, любочка, дай вам бог здоровья!..

Больше мама не в силах говорить и начинает плакать. Завидев слезы на глазах у мамы, мой брат Эля вскипает. Он бросает работу, выбегает из дому и хлопает дверьми:

— Провались все это сквозь землю!

3

В доме у нас уже пусто — разгром. Мамина комната набита узлами с подушками и перинами. Узлов этих навалено чуть ли не до потолка. Когда никого нет, я забираюсь на самый верх и соскальзываю вниз, как на салазках. Кажется, никогда еще мне не было так хорошо, как сейчас. Готовить перестали уже давно. Мой брат Эля приносит с базара сушеную рыбу, и мы едим ее с луком. Рыба с луком — что может быть вкуснее! Наш друг Пиня ест вместе с нами. Он вообще очень рассеянный человек. Голова его вечно чем-то занята... А с тех пор как мы стали собираться в Америку, он и вовсе голову потерял. Так говорит мама. Одна штанина у него задрана, чулок опущен. Галстук чуть ли не на спине. И каждый раз, когда входит к нам, он обязательно стукается лбом о перекладину. Мать твердит ему одно и то же:

— Ты же сам видишь, как тебя вытянуло. Значит, надо немного нагнуться.

— Он же близорукий! — оправдывает своего товарища мой брат Эля, и они оба отправляются, чтобы покончить с нашей половиной дома. Надо расписаться. Мы уже давно продали нашу половину. Купил ее портной Зиля. Но легко сказать — купил. Не так-то просто портной покупает дом! Нудный человек этот портной Зиля! Сначала он один приходил трижды в день осматривать нашу квартиру. Обнюхивал стены, ощупывал трубу, лазил на чердак, осматривал крышу. Затем он привел свою жену. Ее зовут Мени. Стоит мне только взглянуть на нее, как меня начинает смех разбирать. Теленка нашей соседки тоже

звали Мени. Оба «Мени» на одно лицо. У теленка была белая морда с круглыми глазами, и у жены портного — тоже... Потом Зиля стал приводить знатоков — осматривать квартиру. Главным образом — портных. Каждый из них отыскивал в нашем доме какой-нибудь недостаток. Наконец решено было привести отца Пини, Герш-Лейба-механика. Герш-Лейб-механик — знаток по части домов. Он — честный человек. На него можно положиться. Он осмотрел нашу половину дома со всех сторон. Потом он закинул голову, сдвинул шапку на затылок, почесал под бородой и сказал:

— Этот дом может простоять, без преувеличения, лет сто, если не больше!

— Конечно! — перебил один из приглашенных портным Зилей знатоков.— Стоит его только пересыпать кирпичом, подпереть парочкой крепких бревен, смастерить четыре новые стены и присобачить железную крышу,— тогда он может стоять и стоять, с божьего соизволения, до самого пришествия мессии!

Если бы Герш-Лейба-механика выругали, помянув родителей, или, скажем, окатили кипятком, он и то, кажется, не мог бы сильнее вспылить. Он хотел знать только одно: «Как это у паршивого портняжки, у ворюги и прощелыги, хватает наглости разговаривать с ним, с Герш-Лейбом-механиком, в таком тоне, такими словами, на таком наречии и таким языком?!»

Я зря порадовался: думал, вот-вот начнется потасовка. А тут вмешались люди (везде и всюду, откуда ни возьмись, вырастают «люди»!), их разняли, помирили и начали торговаться. Сошлись в цене, послали за бутылкой водки и спрыснули сделку. На нас со всех сторон посыпались пожелания счастливого пути, благополучного прибытия, успеха в делах, больших заработков и счастливого возвращения...

— Полегче! Из Америки не так-то скоро возвращаются! — говорит мой брат Эля.

Завязался разговор об Америке. Герш-Лейб-механик даже не сомневался, что мы вернемся обратно: дай ему бог такой кусок золота... Если бы не призыв, говорит он, ни за что не позволил бы своему Пине ехать в Америку. Америка, говорит он, это — фи! Портной Зиля просит его извинить и спрашивает, чем же это Америка — «фи»? А тем, отвечает Герш-Лейб, что Америка — паскудная страна! Тогда Зиля снова просит не обижаться на него и объяснить, откуда Герш-Лейб, собственно, знает, что Америка — паскудная страна? Герш-Лейб отвечает, что до этого он дошел своим умом. Зиля просит объяснить это и ему. Тогда Герш-Лейб начинает мямлить и доказывать. Но

слово со словом не клеится, потому что он уже слегка под мухой. Да и все уже навеселе. Все чувствуют себя прекрасно. Я тоже. И только мама поминутно прячет лицо в передник и вытирает слезы. Мой брат Эля смотрит на нее и говорит тихо:

— Разбойница! Не жалко тебе глаз! Ты губишь нас!..

4

Теперь началась новая история — прощание. Мы ходим из дома в дом прощаться. Перебывали уже у всех наших родственников, соседей, знакомых. У нашего свата устроили обед, созвали всю родню, подали пиво к столу. Меня усадили отдельно с сестренкой моей золовки. Ее зовут Алта. Я уже как-то рассказывал о ней. Она старше меня на год и носит две косички, заплетенные бубликом. Когда-то мне ее сватали. С тех пор всегда, когда мы вместе, нас называют «жених и невеста». Все же мы не стесняемся разговаривать друг с другом. Она спрашивает, буду ли я скучать по ней? Ну конечно, я буду скучать! Затем она спрашивает, буду ли я писать ей письма из Америки? Разумеется, буду!

— Как же ты будешь писать? Ведь ты не умеешь!

— Подумаешь, большое дело — в Америке научиться писать! — говорю я, заложив руки в карманы.

Алта смотрит на меня и улыбается. Я знаю, почему она улыбается. Она крепится. Она завидует тому, что я еду, а она нет! Мне все завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех Кривой, и тот, если бы мог, утопил бы меня в ложке воды! Он останавливает меня и подмигивает своим кривым глазом:

— Слышь ты! Ты едешь в Америку?

— Да! Я еду в Америку.

— Что ты там будешь делать? Побираться?

Счастье его, что при этом не было моего брата Эли. Он бы показал ему, что значит «побираться»! Но я не хочу затевать историй с таким лоботрясом. Я только показываю ему язык и удираю к соседке Песе — попрощаться с ее оравой. Орава порядочная — я уже однажды рассказывал о ней. Восемь душ — один к одному. Все меня окружают, расспрашивают, доволен ли я, что еду в Америку? Тоже вопрос! Все они, конечно, здорово завидуют мне. Но больше всех завидует мне Гершл, тот, которого прозвали Вашти, за то, что у него желвак на лбу. Он с меня глаз не сводит. Вздыхает и говорит: «Ох, и повидаешь же ты белый свет!»

Да! Повидаю! Но как уже дождаться этого!..



«Берл-Айзик»

5

Подкатил уже Лейзер со своими «орлами». Тройка огненных коней! На месте не стоят. То переминаются с ноги на ногу, топают, то фыркают и брызгают слюной прямо мне в лицо. Не знаю, что делать раньше: то ли на лошадей смотреть, то ли помогать узлы таскать. Впрочем, я могу делать и то и другое: я стою возле лошадей и смотрю, как таскают узлы и подушки. Полон воз узлов и подушек. Целая гора подушек и перин. Пора уже усаживаться и ехать. Нам предстоит ехать сорок пять верст до железной дороги. Все уже на месте. Я, мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня, его жена Тайбл, вся их родня: отец Пини — Герш-Лейб-механик, часовщик Шнеер, тесть и теща Пини, мельник с мельничихой, дочь тети Крейны, с птичьей физиономией. Даже старый дедушка, реб Геся, и тот пришел, чтобы сказать напутственное слово своему внуку Пине, как он должен вести себя в Америке. Из нашей родни были только пекарь Иойна со своими сыновьями. Жаль, что я до сих пор не познакомил вас с ними. Сейчас уже не время: уезжаем в Америку. Все суетятся, смотрят на нас, советуют нам остерегаться воров.

— В Америке нет никаких воров! — говорит мой брат Эля и щупает карман, который мать пришила ему в таком месте, что ни одному вору во всем мире и в голову не могло бы прийти, что там может быть карман. Там лежат все деньги, которые мы получили за нашу половину дома. Видно, там порядочная сумма, потому что все спрашивают, хорошо ли припрятаны деньги.

— Хорошо! Хорошо! Не беспокойтесь! — говорит мой брат Эля.

Ему уже попросту надоело перед каждым отчитываться в этих деньгах. Все говорят, что пора прощаться. Приготовились. Хвать — нет мамы! Где мама? Никто не знает. Мой брат Эля вне себя. Наш друг Пиня уже окончательно потерял свой галстук. Лейзер торопит. Он говорит, что мы можем опоздать к поезду.

Тише! Вон идет мама. Лицо у нее красное. Глаза распухли. Мой брат Эля обрушивается на нее.

— Что с тобой? Где ты была?

— На кладбище. С папой прощалась...

Брат отворачивается. Все останавливаются в безмолвии. С тех пор как мы собираемся в Америку, я впервые вспомнил об отце. Щемит сердце. Я думаю: «Все уезжают в Америку,

а папа, бедный, остается здесь, на кладбище, один-одинешенек...»

Но долго раздумывать мне не дают. На меня прикрикивают, велят лезть в телегу. Но как я могу взобраться на такую гору подушек и перин? Есть, правда, выход: Лейзер подставляет мне свои широкие плечи. Внезапно начинается целование, плач, рыдание. Хуже, чем в тишебов. Больше всех плачет мама. Она бросается на шею к нашей соседке Песе и говорит: «Вы были мне сестрой, даже лучше сестры!..» Песя плачет навзрыд, только ее полный подбородок трясется, а по жирным лоснящимся щекам катятся крупные, как горошины, слезы. Все уже расцеловались, кроме Пини. Смотреть, как Пиня целуется,— не надо никакого театра. По близорукости он никак не может попасть, куда следует. Либо целует в бороду, либо в кончик носа, либо стукается лбом в лоб. К тому же у него манера, когда он ходит, цепляться за собственные ноги. Уверяю вас, что от Пини можно умереть со смеху.

Слава тебе господи — все уже в телеге. Вернее сказать, на телеге. На самом верху на подушках и среди подушек сидят мама, Броха и Тайбл. По другую сторону — мой брат Эля и наш товарищ Пиня. Я с Лейзером — на облучке. Мама, правда, хочет, чтобы я сидел возле нее, но мой брат Эля говорит, что на облучке мне будет лучше. Конечно, лучше! На облучке я вижу перед собою весь мир и весь мир видит меня! Лейзер берется за свой кнут. Прощание продолжается. Женщины плачут.

— Будьте здоровы!

— Счастливого пути!

— Пишите о своем здоровье!

— Будьте счастливы!

— Не забывайте нас!

— Пишите каждую неделю! Ради бога — каждую неделю!

— Кланяйтесь Мойше, и Басе, и Мееру, и Злате, и Хане-Перл, и Соре-Рохл с детьми!..

— Сердечно! Будьте здоровы! Будьте здоровы!

Так кричим мы все и — я готов поклясться, что мы уже едем!

Лейзер хорошенько вытянул кнутом своих «орлов». Одного угостил сверх того кнутовищем. Колеса катятся. Мы качаемся и подпрыгиваем. Я подскакиваю на облучке и чуть не скатываюсь вниз от радости.

Щекочет в горле. Петь хочется. Едем, едем, едем в Америку!

XIII. МЫ НАРУШАЕМ ГРАНИЦУ

1

Ехать по железной дороге — сплошное удовольствие! Лошадьми тоже неплохо, но трясет так, что потом бока болят нестерпимо. Кони Лейзера, хоть и летят, как орлы, однако мы порядком тащились, покуда прибыли на станцию. А когда прибыли, не могли вылезть. Мне было легче всех. Ведь я с Лейзером сидел на облучке. Правда, было жестко, все кости ныли, но зато спрыгнуть можно было за одну минуту. А вот они прыгать уже не могли. Вы знаете кто: мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня со своей женой Тайбл и моя мама. Хуже всех пришлось женщинам. Они, где сидели, там и застряли! Пришлось сначала сбросить все узлы и всю постель и лишь потом вытаскивать наших женщин поодиночке. Все это сделал Лейзер. Он хотя и сердитый и проклинает всех и вся на чем свет стоит, но человек порядочный и извозчик честный. Жаль, что он оставил нас с узлами на станции, а сам пошел искать обратных пассажиров. Без него мы остались одни, словно среди моря. Во-первых, нам причинил немало огорчений служитель на станции. Он цеплялся к нам за то, что у нас много узлов, и не столько из-за узлов, сколько из-за постели. Дело ему большое, что мы везем много подушек! Мама пыталась говорить с ним по-хорошему, объяснила, что мы едем в Америку. А он рассвирепел и послал нас в такое место, что даже стыдно сказать.

— Надо с ним поладить, дать ему сколько-нибудь...— говорит мой брат Эля нашему другу Пине.

Пиня — наш командир, голова. Он хорошо говорит по-русски. Беда только, что он уж чересчур горяч. Мой брат Эля тоже порядочная заноза, но он не так горячится, как Пиня. Тот немедленно вспыхивает и начинает ругаться. Он подошел к служителю и заговорил с ним по-русски. Передаю вам слово в слово его русскую речь:

— Слухай-но, чоловику! Черт тоби не взяв, как мы поехали в Америку с множественное число подушки и подушечки, которые мы тоби дал на водку, и молчи, свинья!

Служитель, конечно, не остался в долгу. Он обозвал его по-всячески: «жид-халамейз», «собачья морда», «свиное ухо», «поганая вера»...

Мы боялись скандала, полиции. Мама уже заламывала руки, плакала и говорила Пине:

— Кто тебя просил язык распускать, хвастать своим умением?

— Не пугайтесь! Возьмет полтинник и помирится.

И действительно. Помирились. Пиня не переставал сыпать по-русски. А служитель, не переставая ругаться, перетаскал все узлы и все подушки в большое помещение с высокими окнами, которое называется «вокзал». Но тут история только еще начинается. В чем дело? Служитель говорит, что нас не пустят в вагон с таким количеством подушек и тряпья (это он, видно, имеет в виду одеяла: немножко порвана подкладка, вата торчит,— а для него это уже тряпье!). Решено пойти к начальнику. Кому идти? Конечно, Пине! И вот Пиня вместе со служителем отправляется к начальнику. Я иду следом за ними. С начальником Пиня объясняется совсем по-другому: он уже не так сердится, что-то говорит и размахивает руками. Произносит какие-то странные слова, которых я никогда не слыхал: «Колумбус», «Цивилизация», «Александр фон Гумбольдт», «Математика». Остальные слова я уже забыл. Начальник его слушал, поглядывал и молчал. Пиня, видно, здорово ему задал! Однако не помогло и это. Пришлось всю постель сдать в багаж и получить квитанцию. Мама была вне себя: на чем же мы будем спать?

2

Мама зря беспокоилась: на чем мы будем спать? Какой там сон! Было хотя бы где сидеть. Как назло, в вагоне до того тесно, что задохнуться можно. Кроме нас, едет множество пассажиров — евреев и русских,— и все дерутся за скамейки. Из-за нашей постели мы опоздали, все лучшие места были уже заняты. Кое-как поместили наших женщин с узлами на полу. Маму — в одном конце вагона, Броху и Тайбл — в другом. Когда они хотят поговорить, им приходится кричать на весь вагон. А пассажиры смеются над нами. Мой брат Эля и наш друг Пиня точно повисли в воздухе — ни туда ни сюда. Пиня слепой, он поминутно стукается обо что-нибудь лбом. А я? Обо мне не беспокойтесь. Мне хорошо. Замечательно! Правда, жмут меня со всех сторон, но зато я стою у окна. И то, что я вижу, вы, конечно, никогда не видали. У меня перед глазами пробегают дома, версты, деревья, люди, поля, леса — описать это невозможно! А как мчится поезд! Как стучат колеса! Как та-

рахтит! Как свистит! Как визжит! Мама боится, чтоб я не выпал в окно, она поминутно кричит мне: «Мотл! Мотл!..» А какой-то барин в синих очках ее передразнивает и повторяет следом за ней: «Мотл! Мотл!»

Пассажиры смеются. Евреи притворяются, будто ничего не слышат. А мама и вовсе не обращает на них внимания и не переставая кричит: «Мотл! Мотл!» Что такое? Она хочет, чтобы я закусил. У нас с собою много всякого добра: редька, лук, чеснок, зеленые огурчики и крутые яйца — на каждого по одному яйцу. Давно уже еда не доставляла мне такого удовольствия. Правда, помешал нашей трапезе сам Пиня. Он решил заступиться за евреев. Ему досадно, что пассажиры смеются над тем, что мы едим лук и чеснок. Он вытягивается во весь рост и обращается к тому барину, что в синих очках, на своем «русском» языке:

— А как вы кушаете, свинья?

Это, как видно, задело наших попутчиков. Один из них как встанет да как закатит нашему Пине оплеуху,— даже зазвенело! Пиня не из тех, что остаются в долгу. Он хотел дать две оплеухи сдачи. Но сослепу попал в другого... Хорошо, что в эту минуту вошел кондуктор с обер-кондуктором. Шум, суматоха... Все говорят, евреи жалуются на русских. Одному отдавили палец на ноге чемоданом, у другого сорвали шапку и выкинули за окошко. Русские кричат: «Вранье! Клевета!» А евреи ссылаются на свидетелей. Один из этих свидетелей — священник. Священник врать не станет. Пассажиры говорят, что евреи подкупили священника. Тот произносит длинную проповедь. Пока суд да дело, промелькнуло несколько станций. На каждой станции из вагона уходят пассажиры. С каждым разом становится свободнее. Наши женщины сидят уже, как барыни, на скамьях, со своими узлами. Мой брат Эля и наш друг Пиня ожили: у них лучшие места. Но только сейчас замечает Тайбл, что у ее мужа вздулась щека, что на ней видны следы пальцев. Тайбл вне себя от огорчения, ей жаль мужа. А Пиня клянется, что ничего не чувствует. Только щеку саднит. Пройдет! Он не любит говорить о таких вещах. Он заводит беседу с оставшимися пассажирами, спрашивает, куда они едут. Оказывается, многие из них едут в Америку. Нас это очень радует.

— Помилуйте, чего же вы до сих пор молчали? Ведь мы тоже в Америку едем!

Это говорит Пиня, и мы со всеми знакомимся, узнаем, кто, откуда и к кому едет.

— Вы — в Нью-Йорк, а мы — в Филадельфию!

— А что это за Филадельфия?

— Тоже город, как и Нью-Йорк.

— Ну, положим! Филадельфия в сравнении с Нью-Йорком то же, что Эйшишки против Вильно, Деражня против Одессы, Отвоцк против Варшавы, Семеновка против Петербурга, Козелец против Харькова...

— Эге, да вы, видать, весь свет объездили...

— Иметь бы мне столько!.. Хотите, я назову вам все города, в которых побывал...

— Оставим это до другого раза. Скажите-ка лучше, как мне быть с границей?

— Будете делать то же, что и мы, что и все делают...

Попутчики усаживаются друг к другу поближе, и начинается разговор о «нарушении границы». Я никак не пойму, что значит «нарушить границу»? Спросить некого. Мама — женщина. А что может знать женщина? Мой брат Эля не любит, когда ему морочат голову. Мальчик вроде меня, говорит он, не должен вмешиваться в дела взрослых. Пиня занят. Он разговаривает. Все говорят, что лучше всего нарушать границу в Новоселице. А другой уверяет, что самое надежное — это Броды. Но тут вмешивается третий и заявляет, что Унгены — тоже неплохо. Его поднимают на смех: «Унгены — тоже мне граница! Румыния — тоже страна! Нехай их черт возьмет с такой страной и с такой границей!..»

Тише! Мы уже на границе!

3

«Граница»! Я думал — она с рогами. Оказывается, ничего особенного: те же дома, те же люди, что и у нас. Даже рынок с лавками и рундуками — все, как у нас. Моя золовка Броха и жена нашего друга Пини — Тайбл пошли на рынок за покупками. Я хотел пойти с ними, но мама не отпускает меня от себя ни на минуту: боится, как бы меня не украли у самой границы. Брата Эли и Пини нет. Они ходят с какими-то чужими людьми, которых я не знаю. Мама говорит, что это — агенты. Агенты будут с нами нарушать границу. Один из них выглядит настоящим жуликом: зеленый кафтан, белый зонтик, вороватые глаза. Второй, видно, порядочный человек — в шляпе. И еще какая-то женщина толчется тут же. Женщина, видать, очень набожная и честная. Она носит парик и все время беседует с богом. Она

спрашивает у мамы, где она свершит обряд зажигания свечей, если мы здесь проведем субботу? Мама отвечает, что на субботу мы здесь не останемся. В субботу, говорит она, мы уже, с божьей помощью, будем по ту сторону. Женщина делает смиренное лицо и произносит: «Аминь! Дай-то бог!» Однако она боится, что нас за нос водят. Агенты, с которыми мы сговариваемся, просто воры. Они выманят у нас деньги, говорит она, и заведут невесть куда. Если мы хотим тайком перейти границу, то это надо сделать только при ее помощи — тогда все обойдется прекрасно и благополучно!.. Вот как? Стало быть, и она занимается тем же? Зачем же она носит парик и разговаривает с богом?

Но вот вернулись мой брат Эля и наш друг Пиня. Оба очень расстроены. Видно, поссорились. Один упрекает другого в том, что по его милости нам придется оставаться здесь на субботу. Но это бы еще с полгоря,— мы узнаем, что оба агента хвастают, что донесут на нас, как на нарушителей границы. Покуда что — мама уже плачет. Мой брат Эля сердится на нее за то, что она губит свои глаза. Из-за ее глаз, говорит он, нас всех в Америку не пустят! Эля и Пиня больше не разговаривают с агентами. Они заявляют: «Кончено! Не поедем в Америку и не будем нарушать границу!» У меня сердце обрывается. Я думаю, что это всерьез. Но оказывается, что это только для отвода глаз Пиня придумал! Нарочно так говорят, чтобы отвязаться от агентов. Мы начали сговариваться с женщиной, что в парике. Она взяла задаток и сказала, чтобы мы были готовы сегодня к полуночи. Ночи сейчас темные. Конец месяца. Самое лучшее время нарушать границу. Хотел бы я дождаться, увидеть наконец, что это такое «граница» и как это мы будем ее «нарушать»?

4

Весь день возились с вещами. Надо было все упаковать и сдать этой женщине. Вещи она переправит потом. Главное для нее, говорит она,— это души живые, люди! И наказывает, как нам вести себя. Когда настанет полночь, мы должны выйти за город. Там, говорит она, есть холм. Холм этот надо миновать, свернуть влево и идти, идти, пока не дойдем до второго холма. От этого холма надо повернуть направо и идти вперед и вперед, до кабака. В кабак должен войти один из нас, не все. Там, говорит, мы найдем двух мужиков, пьющих за столом водку. К ним надо подойти и сказать: «Хаимова»,— этого достаточно. Как только они услышат слово «Хаимова» (это ее имя), то

встанут и пойдут с нами до рощи. В роще нас будут ждать еще четверо мужиков. Лесом, говорит она, мы должны идти молча, без звука, чтобы, упаси бог, не услышали и не выстрелили. Там, говорит она, на каждом шагу стоит солдат с ружьем и стреляет... Из рощи мужики выведут нас на дорогу, под гору, и тогда мы уже на другой стороне...

Мне вся эта история с холмами, кабаком и рощей очень по душе. Мама побаивается. Броха и Тайбл тоже. Мы подтруниваем над ними. Известное дело — женщины даже кошки боятся!..

Еле дождались ночи. Помолились, поужинали, подождали, пока совсем стемнеет. Ровно в двенадцать часов мы все, вшестером, отправились в путь. Впереди шли мы, мужчины. За нами, как полагается, женщины. Все было так, как предсказала та женщина. За городом мы увидели холм, свернули от него налево и шли, шли, пока не увидели второй холм. От этого холма мы, как нам было сказано, пошли направо и добрались до кабака. В кабак вошел один из нас. Кто? Разумеется, Пиня. И вот ждем полчаса, час, два — нету Пини! Женщины говорят,— надо зайти посмотреть, куда девался Пиня? Кому идти? Моему брату Эле. Но мама не хочет.

— А вот я пойду! — заявляю я.

Но мама говорит, что она боится.

— Погодите-ка! Вот и Пиня.

— Где ты был так долго?

— В кабаке.

— Где мужики?

— Спят.

— Что ж ты их не разбудил?

— Откуда вы знаете, что я их не будил?

— Почему ты им не сказал «Хаимова»?

— Откуда вы знаете, что я не сказал?

— Ну?

— Ну и ну!

— Так ведь очень скверно!

— А кто говорит, что хорошо?..

5

Мой брат Эля — умница! Он советует пойти в кабак вдвоем и еще раз попытаться разбудить мужиков. И действительно, не прошло и получаса, глядим, идут с обоими мужиками. Те еще заспаны, под хмельком, отплевываются и ругаются страшно.

Слово «черт» повторяется чуть ли не сто раз. Наши женщины, кажется мне, начинают трусить. Я это чувствую по вздохам, по стонам, по «господу богу», которого мама каждую минуту поминает потихоньку. Громко она боится. Мы не произносим ни звука. Идем, идем, но других, четвертых мужиков не видим. Где же они?

Вдруг наши два мужика останавливаются и велят нам сказать, сколько у нас денег. Нас такой страх обуял, что мы ни слова вымолвить не можем. Тогда выступает мама и говорит, что денег у нас нет. «Врешь! — отвечают они.— У всех евреев деньги есть!» При этом они достают два длинных ножа, подносят их нам к лицу и говорят: «Не отдадите все, что у вас есть, зарежем!»

Все стоят молча и дрожат, как овечки. И тут мама говорит моему брату Эле, чтобы он развязал карман и отдал деньги (это то, что мы получили за нашу половину дома). Но в эту минуту моей золовке Брохе вздумалось упасть в обморок. Увидав, что Броха упала, мама подняла крик, а глядя на нее, закричала и Тайбл...

И вдруг — трах-тарарах!! Выстрел! Эхо разнеслось по всей роще. Мужики наши словно сквозь землю провалились. Броха очнулась. Мама одной рукой схватила меня, другой — моего брата Элю.

— Дети! Бежим! С нами бог!

Не знаю, откуда у нее взялись силы столько времени бежать? Мы поминутно цепляемся за деревья, падаем, встаем и бежим дальше. И каждый раз мама оборачивается и спрашивает тихо:

— Пиня, бежишь? Броха, бежишь? Тайбл, бежишь? Бегите, бегите! С нами бог!

Сколько времени мы так бежали, не могу вам сказать. Рощу мы давно уже миновали. Светать начинает. Дует прохладный ветерок. Но нам страшно жарко! И вот видим перед собой улицу, другую, белую церковь, огороды, дворы, домишки. Видно, это местечко, о котором нам пророчила та женщина. Но в таком случае мы уже «по ту сторону»! Встречаем еврея с такими пейсами, каких я в жизни не видывал. Кафтан на нем длинный, рваный, на шее зеленый шарф. Он ведет козу. Останавливаем его и здороваемся. Он оглядывает нас с головы до ног. Пиня затевает с ним разговор. Еврей с козой говорит както странно: как будто по-нашему, но только акает. Пиня спрашивает, далеко ли до границы? Тот смотрит на него с удивлением:

— До какой границы?

Интересная история! Оказывается, что мы уже давно на той стороне, далеко от границы.

— Чего же мы в таком случае бежим как сумасшедшие?

И всех нас одолевает смех. Женщины чуть не падают от хохота. И только мама поднимает руки кверху:

— Благодарю тебя, господи!

И разражается плачем.

XIV. МЫ УЖЕ В БРОДАХ

1

Знаете, куда нас занесло! Аж в Броды! Я полагаю, что мы уже недалеко от Америки. Красивый город Броды! И улицы и люди здесь совсем не такие, как у нас. Даже евреи здесь какие-то другие. То есть вообще-то они такие же самые, даже больше того, пейсы у них длиннее, чем у наших, кафтаны чуть что по земле не волочатся, носят какие-то странные шапочки, пояса, ботинки и чулки, а женщины — парики. Но язык у них! Что за язык! Это называется «немецкий». Совсем не то, что у нас. То есть слова такие же, как и у нас, но все на «а». Например: мы говорим «вос», а они — «вас» [1], мы говорим «дос», а они — «дас» [2], у нас — «Меер», у них — «Маер». А говорят! Поют, будто все время Тору читают. Однако мы тут же уловили эту манеру. Первым был наш друг Пиня. Он стал говорить по-немецки чуть ли не с первого дня по приезде. Ему это было легче, потому что немецкий язык он учил еще дома. Мой брат Эля говорит, что он хоть и не изучал немецкого, однако понимает не хуже Пини. Я прислушиваюсь к немецкому говору и тоже учусь. В чужой стране надо знать язык. Так уверяет Пиня. Его жена Тайбл уже разговаривает наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски. Моя золовка Броха тоже не прочь была бы говорить по-немецки, но не может, бедная. Голова у нее непонятливая! А вот мама и слышать не хочет о немецком языке. Она заявляет, что будет говорить так, как

[1] Что *(нем.)*.
[2] Это *(нем.)*.

говорила дома. Ломать язык из-за немцев она не обязана. Мама вообще на них сердита. Она думала, что немцы — честные люди. А они, оказывается, не ахти какие праведники. Намедни она была на рынке, а там ее обвесили: она просила свесить фунт, а ей дали бог знает сколько...

Так рассказывает мама и приходит к заключению, что и среди немцев, видно, встречаются воры. Услыхала это моя золовка Броха, загорелась и стала размахивать руками:

— Встречаются, говорите вы? Вор на воре! Один другого чище! Их остерегаться надо,— здесь еще хуже, чем у нас! У нас, по крайней мере, знаешь, кто вор...

— У нас, глупенькая, тот, кто крадет, сам знает, что он вор.

И мама рассказывает о Химке. Была у нас когда-то такая работница, Химка. Отец, царство ему небесное, был еще жив в ту пору. Химка была очень славная девушка, только немножко на руку не чиста. И вот, когда все уходили из дому, она, бывало, не хотела оставаться одна. Самой себя боялась, как бы она чего-нибудь не утащила...

2

У немцев все по-иному. Даже деньги у них не как у нас. Тут и не знают, что такое копейка, гривенник, двугривенный. Тут знают только крейцеры. Здесь все продается на крейцеры. За наш рубль дают целую груду этих крейцеров. Мама находит, что это не деньги — пуговицы. Мой брат Эля говорит, что они расползаются между пальцев, тают как снег. Каждый день он забирается в уголок, вспарывает карман, достает рубль и опять зашивает. Назавтра снова вспарывает карман, достает рубль и зашивает. И так каждый день. Между тем дни уходят, а наших узлов и постели все еще нет. Женщина, которая помогла нам перебраться через границу, видно, здорово околпачила нас. Мало того что на нас в лесу напали ее же люди, мы еще, пожалуй, и без вещей останемся. Мама не переставая ломает руки и оплакивает наши вещи: «Постель! Подушки! Как мы двинемся в Америку без постели, без подушек?..» Пиня каждый раз придумывает новый план. Он подаст «заявление» железной дороге, обратится с «прошением» к начальнику границы... Он проберется туда, к той женщине, и устроит ей скандал. Он спросит у нее: «Как это понимать?!» Однако все это ерунда! Не помогут ни «заявления», ни «прошения». Пробраться обратно ему Тайбл не позволит, хоть дай ей мешок

золота. Она так и заявила. Ей еще памятен наш переход через границу. Мы все его хорошо помним и рассказываем всякому и каждому, как та женщина дала нам своих людей, чтобы переправить нас, как они нас водили, завели в лес и хотели зарезать. Счастье, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик. Услыхали солдаты и начали стрелять. Тогда мужики разбежались, и мы спаслись. Так рассказывает мама. Мой брат Эля рассказывает ту же историю, но немного иначе. Его перебивает Броха и рассказывает опять-таки то же самое, но по-другому. Тогда ее перебивает Тайбл и говорит, что Броха не может помнить всего, потому что она упала в обморок. И Тайбл начинает рассказывать сызнова, но тут вмешивается Пиня и говорит, что она ничего не знает. Вот сейчас он расскажет все с самого начала и до конца. Каждый день и каждому в отдельности мы рассказываем нашу историю. Люди слушают, покачивают головами, причмокивают и говорят, что мы счастливцы, что мы должны благодарить судьбу!

3

По эту сторону границы нам хорошо, лучше, чем дома. Мы ничего не делаем, палец о палец не ударяем. Либо сидим в гостинице, либо ходим гулять, осматривать Броды. Красивый город! Не знаю, что против него имеет моя золовка Броха. Каждый день она отыскивает новый недостаток. То ей не нравится, что грязно. То, говорит она, воняет хуже, чем у нас. Однажды ночью она проснулась с криком: на нее напали! Мы все соскочили с кроватей.

— Кто на тебя напал? Разбойники?

— Какие там разбойники! Клопы!..

Утром рассказываем хозяину гостиницы, а тот даже не знает, с чем это едят. Пиня объясняет ему по-немецки. Но хозяин говорит, что у них даже не знают, что это такое. У них, в немецкой стране, этого нет. Это мы, говорит он, верно, привезли с собою из дому... Ох, и сердилась же на него Броха! Она, говорит, терпеть не может этого человека! Я не знаю за что. Он, кажется, очень порядочный. При разговоре он держит рот немного на сторону и улыбается. Кроме того, он любит давать советы: куда пойти, у кого покупать, у кого — нет. А когда мы отправляемся покупать что-нибудь, он идет с нами. Покупаем мы главным образом платье. Начали понемногу одеваться. Наш друг Пиня говорит, что неприлично ходить обор-

ванцами. В чужом городе, говорит он, надо выглядеть по-человечески. Особенно за границей, где все чуть ли не даром. Ведь это же всему миру известно! Прежде всего он купил себе шляпу, какую носят немцы, короткий — по колено — пиджак и новый галстук. Видеть Пиню в немецком платье — мочи нет! Долговязый, тощий, близорукий, ходит вприпрыжку. А какой вид у нас! Мама говорит, что Пиня выглядит как цыган или как шарманщик. А Пиня говорит: он не знает, что лучше — цыган, шарманщик или оборванец? Это он на нас намекает. Мой брат Эля говорит, что если бы он захотел, он тоже мог бы вырядиться немцем. Невелик фокус — потратить деньги, растранжирить рубли. А рубли надо приберечь для Америки... Но Пиня отвечает, что в Америке деньги не нужны. Там, говорит он, мы сами — деньги! Он так долго уговаривает нас, что мой брат Эля покупает себе шляпу и пиджак, и мне тоже — шапочку и куртку. И вот мы втроем ходим по улицам и говорим по-немецки. Я уверен, что все принимают нас за немцев. Беда только, что следом за нами ходят женщины, то есть мама, золовка Броха и Тайбл. Они ни на шаг не отстают от нас. Мама боится, как бы я не затерялся среди немцев, не заблудился, а Броха и Тайбл просто тащатся за мужьями, как телята. Чего они боятся, я не знаю. А так как мы все время бродим вшестером, на нас глядят во все глаза. Экую невидаль нашли!

— Самые глупые люди на свете — это немцы! — говорит мой брат Эля.— Что ни скажешь, всему верят на слово.

— Только денег никому не доверяют. Деньги для них дороже всего. Душу за крейцер отдадут. За крону отца продадут, а за гульден — самого бога!

Так говорит Броха, а Тайбл ее поддерживает. Все три женщины, как я уже говорил вам, что-то недовольны немцами. Не знаю почему. А мне они нравятся. Если бы не Америка, я остался бы здесь навсегда. Где еще такие дома, как здесь? А люди! Такие добрые люди! Все продают! Даже коровы здесь не такие, как у нас; может быть, они и не умнее наших, но вид у них солиднее. Тут все выглядит по-иному. А поговорите с женщинами, они скажут, что у нас лучше. Ничего им здесь не нравится, даже гостиница. И не столько гостиница, сколько хозяева. Они шкуру дерут, говорит Броха. За стакан кипятку деньги требуют, щепотки соли даром не дадут. Если мы вовремя не уедем отсюда, нам придется по миру ходить.

Так говорит моя золовка Броха. Но мало ли что она может сказать? Вот она о моем брате Эле говорит, что он — баба! А о нашем друге Пине и вовсе бог знает что говорит. Другая на

месте Тайбл показала бы ей, где раки зимуют, но Тайбл, как уверяет мама, человек без желчи. Она не перечит. Да и никто не перечит. Я тоже. Меня Броха не выносит. Называет меня «Поскребыш» или «Мотл Мордастый». Она говорит, что за время нашей поездки я отъел себе пару здоровенных щек. Меня это ничуть не трогает. Но мама не может вытерпеть,— зачем она говорит о моих щеках? Мама начинает плакать. А мой брат Эля не любит, когда мама плачет. Он говорит, что она портит себе глаза, а с больными глазами не пускают в Америку.

4

Могу сообщить вам новость. Мы уже имеем весточку о наших вещах. Женщину, которая переправляла нас через границу, посадили в тюрьму. Пиня очень доволен. Он говорит, что поделом ей. «Позволь, а мои вещи?» — спрашивает мама. «А мои?» — спрашивает, в свою очередь, Пиня. Теперь мы уже знаем наверное, что наши вещи пропали. Что же делать? Надо ехать дальше. Другого выхода нет. Мой брат Эля совсем голову потерял. Мама его успокаивает:

— А что бы мы стали делать, глупенький, если бы у нас отобрали деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, да еще бы зарезали?

Наш друг Пиня считает, что мама права. Еврей, по его мнению, должен всегда твердить: «Все к лучшему!» Броха язвит: недаром она своего мужа прозвала «бабой».

В общем, мы собираемся в путь. Расспрашиваем, как ехать в Америку. Люди выслушивают и дают советы,— каждый посвоему. Один говорит — через Париж. Другой — через Лондон. Третий утверждает, что через Антверпен ближе. Нам так закрутили голову, что мы уже и сами не знаем, как быть.

Парижа мама побаивается: там, говорят, чересчур шумно. Антверпен не нравится Брохе. Странное какое-то название,— она такого и не слыхивала. Остается, таким образом, Лондон. Пиня говорит, что Лондон лучше всего. Он много раз читал в географии (это книга такая), что Лондон город хоть куда. Кроме того, это родина Мойше Монтефиоре, да и Ротшильд, говорит он, тоже из Лондона.

— Ротшильд — ведь он из Парижа! — отвечает мой брат Эля.

Но уж это всегда так: что бы один ни говорил, другой скажет наоборот. Стоит одному сказать — день, другой скажет —

ночь. Они, правда, не ссорятся, но спорят. И могут спорить часами, пока их не разнимут. Недавно заспорили они из-за немецкого слова «хрен». Один утверждал, что «хрен» по-немецки — «хран», второй настаивал на том, что «хрен» по-немецки будет «хрон». Часа два подряд ругались и, наконец, решили купить корешок хрена и показать его хозяину гостиницы. Принесли хрен и обратились к нему:

— Господин немец! У нас к вам просьба. Но только скажите нам всю правду. Как на вашем языке называется вот этот фрукт: «хран» или «хрон»?

А хозяин и говорит:

— На нашем немецком языке этот фрукт называется не «хран» и не «хрон», а «меретих».

Сумасшествие! Ведь это же придумать надо... Немец — он вообще спорщик порядочный. Сказанет иной раз словечко,— только послушать! Недаром говорят — немчура!

5

Извините меня, разговорился о глупых немцах и об их сумасшедшем языке и совсем забыл о том, что мы едем в Америку. То есть не прямо в Америку,— пока только в Лондон. И не прямо в Лондон, а во Львов. Там, во Львове, есть, говорят, комитет для эмигрантов. Авось он чем-нибудь нам поможет. Чем мы хуже других эмигрантов? Тем более что мы потерпели такой убыток — потеряли все наши узлы и постель. Мама уже готовится поговорить и поплакать перед комитетчиками. Мой брат Эля упрашивает ее:

— Только не плакать! Надо помнить о глазах. Без глаз Америка не впускает...

Так говорит мой брат Эля и идет расплачиваться с хозяином. Спустя несколько минут он возвращается бледный как смерть. В чем дело? Хозяин, говорит он, представил такой счет, что у него в глазах потемнело. За все надо платить. За подсвечники, которыми мы пользовались в субботу, он считает — за шесть подсвечников — шесть крейцеров. За молитву — четыре крейцера. Что за молитва? Оказывается он, хозяин, читал в субботу вечером молитву, а мы слушали,— значит, с нас причитается четыре крейцера.

— Почему четыре? — спрашиваем мы.

— Хотите пять? Можно и пять! — отвечает он.

Затем он записывает в счет нечто такое, что называется

«комиссион». Это что еще за напасть? А это, говорит он, ему причитается за то, что он ходил с нами покупать одежду.

Услышав это, моя золовка Броха всплеснула руками:

— Ну, свекровь, что я вам говорила? Разве эти немцы не хуже ночных разбойников в лесу? Разве наши хулиганы не праведники в сравнении с ними? В Бродах мы, по-вашему? Мы — в Содоме!!!

Сравнение с хулиганами не так задело хозяина, как сравнение Бродов с Содомом. Он загорелся! Сказал, что погромы нам устраивают за дело. Он находит, что этого еще мало. Будь он русский «кайзер», он приказал бы вырезать нас — всех до единого!..

Я, кажется, говорил уже вам, что наш друг Пиня — человек горячий. Пока его не задевают, он может молчать и молчать. Но уж если кто обмолвится не угодным ему словом, тому несдобровать! Пиня вскочил, вытянулся во весь свой рост, подошел вплотную к хозяину и прокричал ему прямо в лицо:

— Немчура проклятая! Черт бы твоего батьку взял!

Правда, это дорого стоило нашему Пине. За «немчуру» хозяин отвесил ему пару таких пощечин, что искры посыпались. Но все это было здорово интересно. Все Броды сбежались поглазеть. В общем, было весело. Я люблю, когда весело.

В тот же день мы удрали во Львов.

XV. КРАКОВ И ЛЬВОВ

1

Львов, видите ли, это уже совсем не то, что Броды. Во-первых, сам по себе город — чистота, ширина, красота! Не наглядишься. То есть, конечно, есть и во Львове улицы такие же, как в Бродах, по которым и среди лета можно пройти только в глубоких галошах и заткнув нос. Зато посреди города имеется сад, в котором разрешается гулять всем, даже козам. Свободная страна! В субботу евреи разгуливают по всем улицам, и никто им и слова не скажет. А какие люди! Чистое золото! Мама говорит, что от Бродов до Львова, как от земли до неба. Мой брат Эля жалеет о том, что после границы первыми идут Броды, а за ними Львов. Следовало бы наоборот. Но Пиня ему

растолковывает, что Львов потому-то и лучше, чем Броды, что он расположен дальше от границы и ближе к Америке.

— Ничего себе «ближе»! — отвечает Эля.— Где Львов, а где Америка!

Что касается городов, говорит Пиня, то Эля может еще у него поучиться, потому что он, Пиня, учил географию.

— Если ты учил географию,— отвечает на это Эля,— скажи мне, где находится комитет?

— Какой комитет?

— Эмигрантский!

— Сказал тоже! Какое это имеет отношение к географии?

— Кто знает географию, должен знать все!

Так говорит мой брат Эля, и мы расспрашиваем всех о комитете. Но никто этого не знает. Странный какой-то город.

— Знают, только сказать не хотят! — решает моя золовка Броха.

Ей ничего не нравится. Львов, по ее мнению, тоже нехорош: слишком широки улицы. «Беда,— невеста чересчур хороша!» У жены нашего друга Пини, у Тайбл, другая претензия к Львову. А именно? Почему у нас, когда едят что-нибудь кислое, говорят: «Такая кислятина, что Львов и Краков увидишь!» Или, если закатят кому-нибудь оплеуху, говорят, что «он Краков и Львов увидал».

Словом, беда с этими женщинами. На них не угодишь!..

2

Мы уже разузнали, где комитет. Это высокий дом с красной крышей. Прежде всего надо немного постоять на улице. То есть не немного, а порядочно. Потом отворяют двери. Надо подняться по лестнице. А когда поднимаешься наверх, встречаешь много людей. В большинстве это наши, русские. Их называют эмигрантами. Почти все они голодные и с грудными детьми на руках. А те, кто без грудных детей, тоже голодные. Им велят приходить завтра. А завтра снова велят прийти завтра. Моя мама познакомилась уже со многими женщинами. У каждой из них свое горе.

— Если сравнить их горести с моими,— говорит мама,— выходит, что я счастливая!

Многие из них бежали от погромов. То, что они рассказывают, страшно! Все едут в Америку, и всем не на что ехать. Многих отослали обратно. Одним предлагают работу. Других

посылают в Краков. Там, говорят, настоящий комитет. А здесь что же? Сами не знают. Велят приходить завтра, они и приходят. Где же комитет? Да вот он, комитет. А что это за комитет? Они понятия не имеют! Входит какой-то высокий дяденька с конопатым лицом и добрыми смеющимися глазами.

— Вот один из членов комитета. Он — доктор.

Доктор, с добрыми, улыбающимися глазами, усаживается на стул. К нему поминутно подходят эмигранты и о чем-то толкуют, размахивая руками. Доктор выслушивает и говорит, что он один. Он ничем помочь не может. Есть, говорит он, у нас комитет, состоящий из тридцати с лишним человек, но никто не хочет сюда приходить. Что же он один может сделать?

Но эмигранты знать ничего не хотят. Они здесь больше жить не могут. Они уже проели все, что имели. Пусть, говорят они, им дадут билеты до Америки либо отошлют обратно. Доктор твердит, что он может отослать их только в Краков, если им угодно. Там есть комитет,— может быть, он им чем-нибудь поможет. Эмигранты выслушивают и заявляют, что, пока суд да дело, им и дня прожить не на что. Доктор достает кошелек и дарит им монету. Эмигранты смотрят на монету и уходят. Но приходят другие. Они заявляют, что валятся с ног.

— Чего же вы хотите? — спрашивает несчастный доктор.

— Мы есть хотим! — говорят эмигранты.

— Вот принесли мне завтрак, ешьте! — предлагает доктор, указывая на кофе с булочками, которые ему принесли.

Он предлагает серьезно и отдает свой завтрак. Что он один может поделать? Эмигранты благодарят и добавляют, что просят не для себя, а для детей.

— Ну, приведите сюда детей! — говорит доктор и обращается к нам: — А вы чего хотите?

3

Тогда выступает мама и начинает рассказывать все сначала: о том, что был у нее муж — кантор, что он долго болел. Потом он умер и оставил ее, вдову, с двумя детьми — одним постарше, а другим совсем еще младенцем (это обо мне). Старшего она женила, попал он было в денежный ящик... Да деньги уплыли, а ящик остался... Тесть обанкротился, а сын должен призываться...

— Мама, куда ты заехала? — говорит мой брат Эля и начинает всю историю рассказывать сызнова, но по-другому: —

Призываться не призываться, мы едем, стало быть, в Америку. То есть я, и мама, и моя жена, и маленький братишка (это я), и вот этот молодой человек (он указывает на Пиню) тоже, стало быть, едет с нами. Надо было перебираться через границу. И вот мы, стало быть, приехали на границу. Но так как паспортов у нас нет, потому что оба мы должны призываться...

— Погоди-ка, я расскажу! — перебивает Пиня и, оттолкнув моего брата, начинает ту же историю, но только немного поиному.

Хотя Эля мне брат, я все же должен признать, что Пиня говорит гораздо красивее его. Во-первых, у него нет этих «стало быть», как у моего брата. А во-вторых, он здорово говорит по-русски. У него много слов русских и вообще замечательно красивых слов. Многих из них я не понимаю, но они красивые. Вот как начал наш друг Пиня:

— Я хочу дать вам краткий обзор всего положения, тогда вы будете иметь точку зрения. Мы едем в Америку не из-за воинской повинности, а ради самостоятельности и цивилизации, потому что мы очень стеснительны не только в рассуждении прогресса, но и в смысле воздуха, как говорит Тургенев... А во-вторых, с тех пор как начался у нас еврейский вопрос с погромами, конституцией и тому подобное, как говорит Бокль в своей «Истории цивилизации»...

Эх, жаль! Тут только и начинались красивые слова. Пиня только было раскачался, собрался говорить и говорить... Но доктор оборвал его посредине, отхлебнул из стакана и обратился к нему с улыбкой:

— Скажите, что вам нужно?

Тогда снова выступил мой брат Эля и сказал, обращаясь к Пине:

— Что у тебя за манера говорить ни к селу ни к городу?

Пиню это, видно, задело, он отошел в сторонку, зацепился за собственные ноги и ответил сердито:

— Ты лучше говоришь? Говори ты!

Брат Эля подошел к столу и стал рассказывать вкратце нашу историю.

4

— Приехали мы, стало быть, на границу. Приехали и начали, стало быть, с агентами разговаривать. А агенты, сами знаете, ужасные жулики. Начали они нас друг у друга отбивать, подкапываться, доносить, ябедничать... Тем временем под-

вернулась, стало быть, одна женщина, порядочная, честная, набожная, святая душа. Сговорилась она, стало быть, с нами о цене и взялась всех нас переправить, раньше нас, а потом вещи. И вот дала она нам, стало быть, двух мужиков, провожатых, стало быть...

— Ишь ты, как скоро! Скажи пожалуйста! У него уже до провожатых дошло...

Это не вытерпела моя золовка Броха, оттолкнула брата и стала сама рассказывать все ту же историю, но только посвоему: как эта женщина наказала нам идти до холма, оттуда свернуть направо и опять идти и идти до второго холма. От второго холма пойти влево и идти и идти до кабака. В кабак должен был войти один из нас, встретить там мужиков, пьющих водку. Мужикам надо было сказать только одно слово: «Хаимова»,— тогда они поведут нас лесом... Счастье, что у нее манера падать в обморок...

— Знаете, что я вам скажу, дорогие мои женщины? — перебил доктор.— У меня тоже манера падать в обморок. Скажите коротко, что вам надо?

Тут снова выступила мама, и между ней и доктором произошел такой разговор:

Мама. Хотите вкратце? У нас украли вещи.

Доктор. Какие вещи?

Мама. Постель: две перины, четыре подушки большие, и еще две большие подушки, и три маленькие — думки.

Доктор. Это все?

Мама. И три одеяла, два старых, одно новое. И несколько платьев, и платок шелковый, и...

Доктор. Я не об этом. Других несчастий не случилось?

Мама. Какие еще несчастья нужны вам?

Доктор. Я спрашиваю, чего вам не хватает?

Мама. Постели.

Доктор. Это все?

Мама. Мало вам?

Доктор. А билеты у вас есть? Деньги есть?

Мама. Грех жаловаться. У нас есть шифскарты, есть на билеты.

Доктор. Так чего же вам еще нужно? И слава богу. Я вам завидую. Готов поменяться. Я не шучу, я это серьезно говорю. Возьмите себе мой завтрак, нате вам моих эмигрантов, мой комитет, а вы дайте мне ваши шифскарты и билеты,— и я сегодня же уеду в Америку. Что я тут могу сделать, один, с такой уймой нищих, не сглазить бы?

Доктор какой-то... мы и сами не знаем, какой! — решили мы. В общем, нечего медлить. Эля говорит, жалко деньги расходовать. Поедем лучше в Краков. Многие эмигранты едут в Краков. Пусть нам кажется, что и мы — эмигранты.

— Побывали во Львове, надо и в Кракове побывать! — говорит Пиня.

— Чтоб по поговорке было: «Краков и Львов»? — спрашивает Тайбл.

Итак, до свиданья! Едем в Краков.

XVI. С ЭМИГРАНТАМИ

1

Если хотите ехать в Америку, езжайте только с эмигрантами. С ними хорошо. Приезжайте в город, — вам незачем искать гостиницу. Она приготовлена для вас заранее. На то и комитет устроен. Он следит за тем, чтобы все для вас было приготовлено. В первую ночь по приезде в Краков нас загнали в какое-то помещение, не то камеру, не то сарай. Там мы пробыли до утра. Утром к нам пришли от комитета и переписали всех по имени. Мама, правда, не хотела называть наших имен, — боялась призыва. Мало ли что может случиться? Но эмигранты подняли ее на смех: какое отношение имеет немец к русскому призыву? Затем всех нас привели в большую гостиницу. Это большой дом со множеством кроватей и бесконечным количеством эмигрантов. «Совсем вроде нашей богадельни!» — находит моя мама. А золовка Броха говорит:

— Давайте лучше дальше поедем.

Я как-то говорил уже вам, что нашим женщинам ничего не нравится. Во всем они находят недостатки. Краков им с первой же минуты пришелся не по душе. Впрочем, мой брат Эля тоже недоволен этим городом. Краков, говорит он, это не Львов. Во Львове, по крайней мере, есть евреи, а в Кракове — нет. То есть евреи имеются, но какие-то дикие — наполовину поляки: закрученные усы и «проше, пане!»... Так говорит мой брат Эля. Пиня ему возражает. Он говорит, что здесь больше «цивилизации». Хотел бы я знать, что это такое «цивилизация», без которой наш друг Пиня не может обойтись?

2

В гостинице, которую для нас приготовил комитет, замечательно хорошо. То есть не столько хорошо, сколько весело. Здесь каждый раз знакомишься с новыми эмигрантами. Усаживаются, едят все вместе, рассказывают истории. А какие истории! Чудеса в решете! Чудеса, случившиеся во время погромов, при явке к призыву, при переходе через границу. Каждый рассказывает о своем агенте. Спрашивают друг у друга: «Кто был вашим агентом — рыжий или черный?» И следует ответ: «Не рыжий и не черный, а просто жулик».

Рассказываем, конечно, и мы о нашем чуде: как мы перебирались через границу, как познакомились с одной женщиной, как она выманила у нас вещи, как ее люди завели нас в лес, спросили, сколько у нас денег, и вытащили ножи, чтобы нас зарезать. Счастье, что у нашей Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик,— тогда раздался выстрел, мужики удрали, а мы тем временем перебрались на другую сторону... Все внимательно слушают, покачивают головами, причмокивают. Один эмигрант, высокий, с сердитыми глазами и с клочьями ваты в ушах, спрашивает:

— Как она выглядит, эта женщина? Набожная, святоша, с париком на голове?

Услыхав, что наша женщина как раз такая и есть, высокий эмигрант вскакивает и обращается к своей жене:

— Сора! Слышишь? Ведь это та же самая!

— Холера на нее и на всех агентов, господи! — отвечает Сора и рассказывает, как эта самая женщина обманула ее, обобрала с головы до ног и хотела всучить им шифскарты до Америки.

При слове «шифскарты» вскакивает другой эмигрант, портной, с черными глазами на бледном лице, и говорит:

— Шифскарты? Разрешите, я расскажу вам историю о шифскартах.

Портной хочет начать свой рассказ, но его перебивает другой эмигрант по фамилии Тополинский. Он, говорит, знает более интересную историю о шифскартах. У них в местечке имеется компания, которая продает якобы шифскарты от Либавы до Америки. И вот подцепили они одного молодого человека, выманили у него шестьдесят с лишним рублей и всучили ему какую-то бумагу с красным орлом. Приехал молодой человек в Либаву, хочет сесть на пароход, достает и показывает свою бумагу с красным орлом. Куда там! Ничего похожего! Сущий обман! Это не шифскарта, а филькина грамота!

3

Истории с шифскартами начинают мне надоедать. Мне нравятся эмигранты. В вагоне я познакомился с одним мальчиком-эмигрантом. Он одних лет со мной, зовут его Копл, и у него рассечена губа. Он как-то лазил на лестницу, свалился и упал на полено. Копл клянется, что ему не было больно, только крови много вытекло. Мало того что он губу рассек, он, говорит, получил еще вдобавок от отца. Вот тот, высокий, с злыми глазами и с ватой в ушах — и есть его отец. А женщина по имени Сора — его мама. Они, говорит он, были когда-то очень богатые. То есть не когда-то, а совсем недавно, до погрома. Я спрашиваю у него, что это такое — погром? Все время слышу от эмигрантов: «погром, погром». Но что это такое, я не знаю.

— Не знаешь, что такое погром? — удивляется Копл.— Эге! Стало быть, ты совсем еще сосунок! Погром это такая штука, которая теперь бывает повсюду. Начинается это с пустяков, но уж если начнется, то тянется дня три подряд...

— Но что ж это такое? Ярмарка?

— Ярмарка! Хороша ярмарка! Вышибают стекла! Ломают мебель! Вспарывают подушки! Пух летит, как снег!

— А зачем это?

— Вот те и здравствуй! Зачем? Громят не только дома,— громят и лавки. Выбрасывают на улицу товар, топчут, грабят, рассыпают, потом обливают керосином и жгут.

— Да брось ты!

— А ты как думал? Что же я, выдумывать, что ли, стану? А потом, когда грабить уже нечего, ходят по домам с топорами, ломами и дубинами. А полиция ходит следом. Поют, свистят, кричат: «Эй, ребята, бей жидов!» Бьют, убивают, режут, штыками колют...

— Кого?

— Что значит «кого»? Евреев!

— За что?

— Что значит «за что»? На то и погром!

— Ну и что, если погром?

— Убирайся! Ты теленок! Не желаю с тобой разговаривать!

Копл отстраняет меня и засовывает руки в карманы, как взрослый. Мне обидно, что Копл так кочевряжится передо мной. Однако молчу. «Погоди, зазнайка! И у меня еще чего-нибудь спросишь!..» Спустя несколько минут я снова подхожу к Коплу

и затеваю с ним разговор. Уже не о погромах,— о другом. Я спрашиваю, умеет ли он говорить по-немецки. Копл смеется:

— А кто же это не умеет говорить по-немецки? Немецкий ведь это еврейский!

— Вот как? Если ты знаешь по-еврейски, скажи мне, как будет по-немецки «хрен»?

Копл еще пуще смеется, слова вымолвить не может.

— Что значит, как будет «хрен»? Хрен — это хрен!

— Значит, не знаешь!

— А как же?

Но, как нарочно, я и сам забыл, как по-немецки «хрен». Знал и забыл. Иду к брату Эле и спрашиваю. Но он говорит, что задаст мне такого «хрена», что тошно станет... Эля, видно, злится. Каждый раз, когда ему надо доставать деньги из зашитого кармана, он злится. Наш друг Пиня смеется над ним. Они затевают спор. А я отыскиваю местечко среди узлов на полу и ложусь спать.

4

Ничего мы в Кракове не добились. В комитете мы не были. Эмигранты сказали, что это напрасный труд. Приходите в комитет, говорят они, и начинается канитель. Прежде всего записывают ваши лета. Потом посылают к врачу на осмотр. Затем велят ждать. Затем велят прийти еще раз. А когда приходите, спрашивают, зачем вы пришли.

Вы отвечаете, что пришли, потому что велели прийти. Тогда вас начинают уговаривать: «И к чему вам ехать в Америку?» — «А куда же нам ехать?» — спрашиваете вы. «Где это сказано, что вы обязательно должны ехать?» — отвечают вам.

Вы рассказываете о погроме. Но они говорят: «Вы сами виноваты. Вот вчера какой-то мальчик из ваших эмигрантов украл на базаре булку!» — «А может быть, он был голоден?» — говорите вы. «А вот вчера один из ваших эмигрантов посреди улицы подрался со своей женой. Пришлось жандармов вызывать».— «Жена была права. Она узнала мужа, который бросил ее и хотел удрать в Америку. Она его неожиданно увидела здесь и застукала на месте. Он хотел вырваться и бежать. А она подняла крик...» — «А почему большинство ваших эмигрантов ходят оборванцами?» — спрашивают они. «У них ничего нет! — отвечаете вы.— Пусть им дадут одежду, они не будут ходить оборванцами».

Словом, читают мораль, а денег не дают.

Так жалуются нам эмигранты. Они считают нас счастливцами, потому что нам до сих пор не приходилось прибегать к милостям комитета. Мама говорит, что она и сейчас не стала бы обращаться к ним, если бы не постель. Если бы у нее не забрали вещей на границе, она была бы «королевой». Я вспоминаю мамин желтый шелковый платок, в котором она действительно выглядела «королевой». Но мама говорит, что ничего ей так не жалко, как постель. Что мы будем делать в Америке без постели?

Мама заламывает руки и начинает плакать. Брат Эля, заслышав это, кричит на нее:

— Опять? Опять плакать? Ты, видно, забыла, что мы уже недалеко от Америки и что надо беречь глаза?

Вы думаете, мы в самом деле недалеко от Америки? Куда там! Надо еще ехать и ехать. Куда ехать, я точно не знаю. Я слышу от эмигрантов названия городов: Гамбург, Вена, Париж, Лондон, Ливерпуль... О Гамбурге все говорят, что он мог бы сгореть хотя бы сегодня. Гамбург, говорят они, это Содом! Там эмигрантов гоняют в баню, как арестантов. Таких злодеев, как в Гамбурге, нигде нет.

Так говорят эмигранты, и мы пока что собираемся в Вену. Там, говорят, есть комитет, но — настоящий!

Комитет не комитет, а я знаю одно: мы едем в Вену. Слыхали вы когда-нибудь о таком городе? Погодите немного, вот приедем в Вену, тогда я расскажу вам все, что там творится.

XVII. ВЕНА — ВОТ ЭТО ГОРОД!

1

— Вена — вот это город!

Так решил мой брат Эля, а наш друг Пиня добавил:

— Да и какой еще город! Всем городам город!

Даже женщины, которым ничего на свете не нравится, и те согласились, что Вена — это город. Ради такого города мама достала субботний шелковый платок. Моя золовка Броха вырядилась, как на свадьбу. Надела субботнее платье и в парике, с длинными болтающимися сережками, с красным лицом выглядит, как рыжая кошка в черном повойнике. Видали вы когда-нибудь рыжую кошку в черном повойнике? Я видал.

Ребята нашей соседки Песи любят вытворять с кошкой всякие штуки. Кошка у них, как я уже вам рассказывал, носит странное прозвище: «Фейге-Лея Старостиха». Однажды они надели ей на голову ермолку. Ермолку, конечно, завязали тесемками, и пустили кошку бегать. Кроме того, они, видимо для красоты, прицепили ей к хвосту гусиное крыло. Ермолка, очевидно, была великовата и сползала на глаза, а крыло выводило кошку из себя. И Фейге-Лея Старостиха стала метаться как сумасшедшая, бросаться на стены и причинила соседям ужасные убытки...

Ох, и влетело же тогда Песиным ребятам! Больше всех колотили Вашти, то есть Гершла, у которого желвак на лбу. Странный мальчик этот Вашти! Сколько его ни бей, а он как стенка! Скучаю я по нему больше, чем по другим! Но может быть, что мы еще увидимся с ним в Америке. Мы получили весточку, что наша соседка Песя, ее муж Мойше-переплетчик и вся орава едут в Америку. Раньше она причитала по поводу того, что мы едем в такую даль, а теперь и сама туда едет. Все нынче едут в Америку. Так пишет нам наш родственник Иойна-пекарь. Он тоже едет в Америку. Он уже на границе. Не на той, где мы переправлялись. Наша граница не годится. Тут крадут постели. На других границах тоже крадут постели, но зато не нападают в лесу с ножами, как напали на нас. Эмигранты рассказывают, что есть границы, на которых раздевают догола и отбирают все, что имеешь. Но не бьют. Нас тоже не били, но собирались. Мы чуть не умерли от страха. К счастью, выстрелили из ружья. Но я уже рассказывал вам, как мы переправлялись через границу. Мы уже давно позабыли об этом. Неохота помнить о таких вещах. Правда, женщины и сейчас еще рассказывают о чудесах, случившихся с нами. Но их перебивают мужчины, то есть мой брат Эля и наш друг Пиня, и не дают им рассказывать. Пиня говорит, что он должен написать об этом в газетах. Он уже даже начал писать нашу историю в стихах. Я вам, кажется, уже рассказывал, что Пиня пишет стихами. Стихи о границе начинаются так:

Радзивилов — городишко. Нечем похвалиться...
Здесь перебираются украдкой за границу.
Здесь людей обкрадывают с головы до ног...
Все, что есть, отдашь и скажешь: «Милостив мой бог!»
Счастливо отделался! Спасибо и на том,
Что не угостили на прощанье кулаком,
Что без мордобоя дело обошлось,
Что не пробуравили тебя ножом насквозь...

Это только начало, говорит Пиня. Дальше, по его словам, гораздо интереснее. Он, говорит, и Броды описал, и Львов, и Краков. И все в рифму. Пиня по этой части мастак! У него все складывается в рифмы. Он даже про собственную жену свою написал стихи. Я помню их наизусть:

Есть у меня жена —
Тайбл зовется она.
Миловидна, хороша.
Раскрасавица-душа,—
Нет на свете краше!
Да беда не столковаться —
Не желает возвращаться
К своему папаше...

Как вам нравятся стихи? Хороши, не правда ли? А посмотрели бы вы, как дуется Тайбл! (У нее такая манера — дуться.) Моя золовка Броха заступается за нее. Она называет Пиню «язвой». Мама называет его «недотепа». Они терпеть его не могут за то, что он сочиняет стихи. А вот мой брат Эля ему завидует. Он говорит, что в Америке рифмы и стихи — ходкий товар. Он уверен, что в Америке товар этот пойдет нарасхват. В Америке, говорит он, Пиню озолотят. Там много журналов, много еврейских газет. Пиня говорит, что он и сам уверен в своем успехе в Америке. Он, говорит, чувствует, что создан для Америки и что Америка создана для него. Он ждет не дождется, как бы уже сидеть на пароходе и плыть по морю. Но пока что мы еще на суше и торчим в Вене.

2

Что мы делаем в Вене? Ничего. Гуляем по улицам. Ох, и дома! Посмотрели бы вы, какие окна! Зеркала! А какие вещи! Игрушки! Одежда! Посуда! Украшения! Почти у каждой витрины мы останавливаемся и начинаем оценивать все, что видим. Мы, мужчины, оцениваем, а женщины высказывают пожелание иметь хотя бы половину того, что стоит этот город, с домами, магазинами и товарами. Пиня смеется и говорит:

— Хватит вам и десятой доли!..

— А тебе жалко? — говорит мой брат Эля и теребит свою бородку.

За время нашей поездки в Америку бородка у него здорово подросла. И очень странно подросла. Вроде веника. Я както нарисовал его на бумаге. Недавно я и Пиню нарисовал на

бумаге, а мою золовку Броху — мелом на столе. Ну и влетело же мне! Она сама, Броха то есть, увидела и узнала себя, как в зеркале. Подозвала она моего брата. Вот он мне и задал! Если бы не мама, он бы меня прикончил. Каждый раз, как увидит, что я рисую, он меня колотит. А рисовать я люблю с детства. Раньше я рисовал углем на стенах. Меня за это били. Потом стал рисовать мелом на дверях — опять били. Теперь я рисую уже карандашом на бумаге — все равно побить хотят.

— Опять за своих человечков принялся?..

Но за рисование меня бьют не так, как за лепку. Я люблю мять хлеб и делать из него поросяток. Увидит это мой брат и колотит меня по пальцам. Наш друг Пиня заступается за меня. Он говорит:

— Чего ты от него хочешь? Пусть мнет, пусть рисует! Может, суждено ему быть художником!

Брат, как заслышит, начинает сыпать:

— Что? Художником? Мазилой? Церкви мазать? Стены белить? Крыши красить? Ходить с измазанными руками, как извозчик в дегте? Нет, пусть лучше будет певчим у кантора. Вот приедем, даст бог, в Америку, устрою его у кантора. У него сопрано.

— А почему не у мастера? В Америке все мастеровые. В Америке все работают!

Так заявляет Пиня, и тут же на него налетает мама:

— Вот как? Ремесленник? Не дождутся мои враги, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником!

Вижу, что мама уже собирается плакать. Пиня оправдывается.

— Странная вы женщина! — говорит он.— А вот мы из Талмуда знаем, что раби Иоханан был сапожником, а раби Ицхок — кузнецом. Да и зачем далеко ходить? Вот мой дядя — часовщик, а мой отец — механик!

Пиня думает, что поправил дело. Оказывается, он только напортил. Мама не перестает плакать:

— Действительно, стоило моему мужу быть духовным лицом, кантором, умереть молодым, чтобы его младший сын был, упаси бог, портным или сапожником, да еще в Америке!..

— Опять? Снова плачешь? Забыла, что в Америке нужны глаза?

Так говорит мой брат Эля, и мама тут же перестает плакать.

3

Кем бы ни быть в Америке,— быть бы уже там! Тянет туда,— никакого терпения! Про себя я решил выучиться в Америке трем вещам: плавать, писать и курить папиросы. Все это я умею уже и сейчас, но не так хорошо, как следовало бы в Америке. Плавать я, наверное, был бы мастер, да негде было плавать. У нас на реке это невозможно. У нас, если ляжешь животом в болото, ноги болтаются на поверхности. Тоже река! А в Америке, говорят, море. Там, если ляжете на воду с пузырем, вас унесет к черту на кулички! Писать я тоже умею, хотя никто меня этому не учил. Я списываю печатные буквы из молитвенника. Пишу я так, что прочесть трудно. Я рисую, а не пишу. Мне хотелось бы писать быстро, да я не умею. А в Америке, говорят, пишут быстро. Там, говорят, все делают быстро, второпях. Там всем некогда. Так в дороге рассказывали эмигранты. Мне известно почти все, что делается в Америке, хотя я еще там не был. Там, говорят, ездят под землей и «делают жизнь». Как ее делают, я еще не знаю. Но скоро буду знать. Я переимчивый. Увижу человека и с первого же раза подражаю ему во всем. Однажды я представил нашего друга Пиню, показал, как он ходит вприпрыжку, как смотрит близорукими глазами, как он говорит быстро, будто горячую лапшу глотает... Моя золовка Броха покатывалась от хохота, а мама даже плакать начала от смеха. Но мой брат Эля не любит этого. Он не дает мне головы поднять. Странная история с моим братом Элей! Он любит меня и колотит до полусмерти. Мама не позволяет ему бить меня.

— Вот будут у тебя свои дети,— говорит она,— тогда ты их и бить будешь...

Но стоит кому-нибудь чужому пальцем тронуть меня,— Эля ему глаза выцарапает. Недавно как-то мальчик одного из эмигрантов мне «губернатора показал». Вы не знаете, что это значит? Сейчас расскажу вам, как это делается: намусоливают большой палец и ударяют вас в бок между ребрами и животом, так что вам свет божий в копеечку кажется. Мальчик, который мне «губернатора показал», был парень лет одиннадцати с пухлыми щеками. Ручищи у него,— отсохнуть бы им! Захотелось ему познакомиться со мной, подошел он ко мне и спросил, как меня зовут. Я говорю: «Мотл». А он отвечает: «Мотл-капотл, дробл-дротл, Иосиф-сотл, арц-анотл...» Я спрашиваю, что это

значит? А он говорит: «Это значит, что ты балда, хотя меня тоже зовут Мотл. Губернатора хочешь?» — «Хочу».— «Поди-ка сюда поближе. Сейчас покажу».

Вот я и подошел. А он «показал». Я с ног свалился. Увидала это мама и подняла крик. Тогда прибежал мой брат Эля и задал ему!

С тех пор мы с Мотлом подружились. Кроме «губернатора», он научил меня многому. Например, говорить животом. Вы умеете? Научить вас этому невозможно. С этим родятся. Надо держать рот закрытым, не двигать ни одним мускулом и лаять, как собака, или хрюкать по-свинячьему, да так, чтобы все принялись заглядывать под стол. Я здорово напугал наших. Вы знаете, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок. Все бросились под стол, под кровати. Я и сам нагнулся — искать собаку — и продолжал лаять. Ох, и комедия была! Однако мой брат Эля в конце концов догадался, где «собака зарыта», и отдубасил меня как следует. С тех пор я забросил искусство чревовещания.

4

Мы бы уже давно уехали из Вены, если бы не «Ольянц». Кто такой этот «Ольянц», я не могу точно сказать. Слышу только, что говорят о нем: «Ольянц! Ольянц!» Все эмигранты злятся на него. Говорят, что «Ольянц» ничего не делает, что ему людей не жаль, что он евреев не терпит. Каждый день ходят к этому «Ольянцу» мой брат Эля и наш друг Пиня, и приходят они оттуда распаренные, как из бани.

— Загореться бы ему! — говорит Эля.

— Сгореть бы ему, как свече! — говорит Пиня.

— Дайте-ка лучше мне поговорить с «Ольянцем»! — говорит мама и берет меня за руку.

Мы все идем к «Ольянцу»: мама, и я, и Эля, и Пиня, и Броха, и Тайбл. Мне представляется, что «Ольянц» — с бородой, с поясом на животе и с красным носом. Почему с красным носом, я и сам не знаю.

Ох, и таскались же мы! Моя золовка Броха пожелала «Ольянцу», чтобы у него так кололо в правом боку, как у нее в левом,— тогда он, может быть, не забирался бы к черту на рога, на самый край города!

Наконец-то добрались кое-как до «Ольянца». Живет он в шикарном доме,— дай бог всякому! Но двора при доме нет.

Вена вообще дворов не признает. Вена любит широченные окна и огромные двери. Но двери здесь держат на запоре. «Боятся, видно, чтоб их не украли?» — говорит Броха. Ей уже и Вена не по душе! Ей не нравится, что перед тем, как войти в дом, надо звонить. Меня это не трогает. Лишь бы открывали. Но «Ольянц» не торопится открывать. Можете звонить сколько влезет,— он и с места не трогается. Думаете, мы здесь одни? Кроме нас, здесь еще много эмигрантов. Всем нужно попасть к «Ольянцу». Эмигранты смотрят, как мы звоним. «Позвоните еще немного, авось откроют на ваше счастье!» — говорят они и смеются. У них, видать, легко на душе.

Все время прибывают новые люди. Собралось уже довольно много мужчин, женщин и детей. Я люблю, когда много народу. Если бы малыши не ревели, а мамаши не проклинали их и не затыкали им рты, здесь было бы довольно весело. Но вот, слава богу, отворили двери. Все ринулись в дом, началась давка. Хорошо еще, что в дверях показался какой-то тип без шапки с красной бритой рожей и стал вышвыривать нас всех поодиночке, как поленья. Одну женщину с ребенком он так толкнул, что, если бы не мы с братом Элей, она бы зубов не собрала. Она и так трижды перекувырнулась.

Прошло много времени, пока мы все поодиночке вошли в дом. И вот тут-то и началась кутерьма — батюшки! Все хотят говорить первыми, все лезут к столам. А за столами сидят люди с обнаженными головами, с бритыми бородами, хохочут и курят сигары. Кто из них «Ольянц», не знаю. Мама тоже не знает.

— Скажите, пожалуйста,— говорит она,— кто из вас «Ольянц»? Я потерпела убыток, у меня на границе отобрали всю постель и чуть не убили меня и моих детей... Вот они, бедные сироты, муж мой умер молодым, был всю жизнь кантором...

Но ей не дают продолжать. Кто-то тащит ее за платок и указывает на двери. Говорит он так, что ничего понять нельзя. Мама не хочет уходить, покуда не добьется своего.

— Зачем вы говорите со мной по-немецки? — спрашивает она.— Говорите со мной на нашем родном языке,— я вам всю душу выложу. Скажите, кто здесь из вас «Ольянц»?

— Свекровь! Послушайте меня, идемте отсюда! Обходились мы по милости божьей без «Ольянца» и без Вены,— авось и дальше хуже не будет... Господь не выдаст...

XVIII. АНТВЕРПЕНСКИЕ ЧУДЕСА

1

Слыхали вы когда-нибудь, чтобы город назывался Антверпен? Есть такой город на свете, и вот мы туда едем. Почему вдруг — в Антверпен? Потому что наш родственник, тесть моего брата Эли, пекарь Иойна, едет в Америку через Антверпен. Услыхав, что отец ее в Антверпене, моя золовка Броха засуетилась и потребовала, чтобы и мы ехали туда. Раньше она об этом городе и слышать не хотела. Ей не нравилось название. Теперь она влюбилась в Антверпен! Наш друг Пиня говорит, что ему придется отделиться от нас. Он хочет ехать из Вены прямо в Лондон. Тянет его, говорит он, в Лондон. В Лондоне, говорит он, уже пахнет Америкой: англичане... рыжие волосы... клетчатые штаны... Совсем другой мир!..

— Езжай себе на здоровье к твоим англичанам с клетчатыми волосами и рыжими штанами, а мы поедем в Америку через Антверпен.

Так говорит моя золовка Броха, а жена Пини, Тайбл, дуется, как индюшка. Я уже говорил вам, что она чуть что начинает дуться и перестает разговаривать. Пиня спрашивает, чего она сердится. Она отвечает, что не любит англичан. «А ты их знаешь? — говорит Пиня.— Видела ли ты когда-нибудь хотя бы одного англичанина?» — «А ты где видел хотя бы одного англичанина?» — спрашивает она, в свою очередь.

Словом, решено, что мы все едем в Америку через Антверпен. Мне безразлично — хоть через тартарары, лишь бы в Америку. Я и наш друг Пиня рвемся в Америку сильнее всех. Мы чувствуем, что нам будет там хорошо. Пиня в претензии к моему брату Эле:

— Едем, едем, а с места не двигаемся!

— Кто тебя держит? — отвечает Эля.— Езжай! Беги! Лети!

— Как же я полечу, когда твоей мамаше хочется познакомиться со всеми комитетами на свете?..

Услыхала эта мама и говорит, обращаясь к Пине:

— Если ты такой умный, посоветуй, как нам ехать в Америку без постели?..

На это Пине отвечать нечего, и они снова мирятся. Наш друг Пиня не может расстаться с нами. Женщины тоже одна

без другой жить не могут. Правда, они частенько ссорятся, говорят друг другу колкости. Иной раз чуть до драки не доходит. Но очень скоро они мирятся. Если бы не мама, Броха и Тайбл дружили бы недолго. Каждый день летели бы повойники... Особенно моя золовка. Она сама себя называет «спичкой». Подвернешься ей под руку в недобрый час,— с грязью смешает. А пройдет минута — и она снова мягка, как вытяжной пластырь. Со мной она воюет чуть ли не с первой минуты со дня свадьбы. Она знает, что я ее не люблю. Но пуще всего она не выносит, что я смеюсь над ней. Ей всегда кажется, что я ее высмеиваю. Стоит мне посмотреть на нее,— она считает, что я уже смеюсь.

Я уже рассказывал вам, что люблю рисовать и что мой брат Эля колотит меня за это. Недавно я нарисовал ногу — огромную ногу. Мелом на полу нарисовал. Посмотрели бы вы, что творилось! Она, Броха то есть, пристала ко мне, якобы это я ее ногу нарисовал! Почему именно ее? Потому что ни у кого нет таких больших ног, как у Брохи. Она тринадцатый номер калош носит! Вы бы видели эту пару калош!.. И пошла ябедничать к моему брату Эле. Тот, как всегда, раскричался:

— Человечки? Опять за старые штучки принялся? Человечков малевать?

Вот вам! Нога уже превратилась в человека! А человек — в «человечков»!.. С ума можно сойти! Должен признаться, что чем дальше, тем сильнее становится моя страсть к рисованию. Я заполучил цветной карандаш. Мне подарил его тот самый мальчик, который однажды «показал губернатора» и научил меня говорить животом. Я уже о нем рассказывал. Его тоже зовут Мотл. Мы называем его «Мотл Большой», а меня называют «Мотл Маленький». Подружились мы с ним крепко! За то что он подарил мне цветной карандаш, я в вагоне нарисовал его на бумаге, всего как есть, с пухлыми щеками. Я взял с него слово, что он никому не покажет, а то, если узнает мой брат Эля, мне здорово влетит. И что же вы думаете? Он тут же отнес мой рисунок и ткнул его прямо под нос моему брату.

— Мотелева работа! Где он, этот мазила?

Так сказал мой брат Эля и стал меня разыскивать. А я уселся за маминой спиной, чтобы меня не было видно, и давлюсь от смеха. Лучшего места, чем у мамы за спиной, на всем свете нет!

2

Слава тебе господи — мы уже в Антверпене. Порядком потряслись и намыкались, но приехали! Ну и город, доложу я вам! То есть до Вены ему далеко. Вена гораздо больше и, пожалуй, красивее. Да и людей там больше. Зато в Антверпене какая чистота! Да и что за диво? Улицы здесь моют, тротуары начищают, а дома купают. Я сам видел, как их мылом намыливают и обмывают. Правда, не везде. Например, там, где находятся гостиницы, в которых живут эмигранты, все как полагается. То есть грязно, дымно, сыро, скользко, тесно, суматошно и шумно. Весело! Замечательно. Так, как мне нравится.

Нашего родственника, пекаря Иойны, еще нет. Соседки Песи с ее оравой — тоже нет. Они еще едут. Тащатся где-то по Германии. «Германия — это Содом!» — говорят эмигранты и рассказывают страшные истории. Наша беда с потерей постели — детские игрушки в сравнении с тем, что рассказывают эмигранты.

В гостинице мы познакомились с женщиной из Межбижа. Она как раз не вдова. У нее есть муж, он уже в Америке. Вот она и едет к мужу. Скоро уже год, как она тащится с двумя детьми. Перебывала везде и всюду. Нет такого города, в котором бы она не была. Перессорилась со всеми комитетами. Кое-как с трудом добралась сюда, до Антверпена, и хочет сесть на пароход, а ей не разрешают. Думаете, у нее больные глаза? Ничего подобного! Глаза здоровые. Но она немножко тронулась. То есть вообще-то она говорит все как полагается. Но иной раз сказанет вдруг что-нибудь такое,— умереть со смеху можно. Спрашивают у нее, например:

— Где ваш муж?

— В Америке.

— Чем он занимается?

— Он там — царь...

— Как же это еврей может быть царем?

А она отвечает, что в Америке все возможно... Ну, что ты будешь делать? И еще одно вбила она себе в голову: она не ест! И нам есть не велит. Говорит, чтобы мы не притрагивались к молочным продуктам, потому что все молочное здесь мясное.

— А мясное? — спрашивает мама.

— Мясное здесь не мясное и не молочное...

Мы, конечно, смеемся. Все, кроме мамы. Маме не смешно. Ей плакать хочется.

— Хорош смех! — говорит она и действительно начинает плакать.

— Уже! Давно не плакала? Хочешь, чтобы нас отослали обратно из-за твоих глаз?

Так говорит мой брат Эля, и у мамы тут же высыхают глаза. Но еще больше, чем эту женщину, мама жалеет ее несчастных детей. Не знаю, почему мама их оплакивает? Детям как будто весело! Начнет их мама говорить глупости, они смеются. Я познакомился с ними. Они рассказали мне, что их отсылают обратно домой, но их мама не хочет ехать. Она хочет в Америку, к их отцу, к царю (хи-хи-хи!)... Ее обманывают, говорят, что посылают поездом в Америку (хи-хи-хи!)... Уговорили ее, что поезд идет отсюда прямо в Америку (хи-хи-хи!)...

3

Каких только удивительных вещей не насмотришься в этом Антверпене,— даже описать невозможно! Ежедневно приезжают новые люди. Большинство с больными глазами. Это называется «трахома». В Америку с трахомой не пускают. У вас может быть тысяча всяких болезней, можете быть хромым и немым, каким вам хочется, только бы не трахома. Откуда берется трахома? От заразы. Иной раз и сам не знаешь, откуда она взялась. Так рассказывают здесь, в Антверпене.

Я это слышал от одной девочки. Зовут ее Голделе. Она одних лет со мной, а может быть, старше на год. С ней приключилась интересная история. Рассказать? Познакомился я с ней в «Эзре». Надо вам объяснить: «Эзра» в Антверпене то же, что «Ольянц» в Вене. Это тоже устроено для нас, для эмигрантов. Но только «Ольянц» — мужского рода, а «Эзра» — женского. Так что сами понимаете, какая между ними разница... Словом, сразу же по прибытии в Антверпен мы пошли прямо в «Эзру». «Эзра» не то, что «Ольянц». «Ольянц» вышвыривает людей, как поленья, а «Эзра» никого не гонит. Можете приходить когда угодно, можете душу изливать сколько вам вздумается. Все, что вы говорите, заносится в книгу. Сидит девушка, которую зовут фрейлейн Зайчик, и записывает. Очень славная девушка. Она спросила, как меня зовут, и подарила мне конфетку. Но о фрейлейн Зайчик я расскажу в другой раз. Сейчас надо познакомить вас с Голделе.

Она из Кутно. Приехала сюда в прошлом году с родителями, сестрами и братьями. Было это в осенние праздники. Справили они праздники, говорит она, как дай бог всякому. То есть счастья они не искали, а медом их не баловали,— валялись, как и все эмигранты. Зато у них были шифскарты до Америки на всю семью, и одеты они были по-царски: у каждого по паре рубах и ботинки целые. Теперь она осталась с одной только рубахой и без обуви. Если бы не фрейлейн Зайчик, она бы босиком ходила. Фрейлейн Зайчик, говорит Голделе, подарила ей свои ботинки, совсем еще хорошие. Голделе показала мне эти ботинки. Они совсем еще целые, только великоваты...

Словом, миновали праздники, пришло время садиться на пароход. Предложили им показаться врачу. Пошли. Врач осмотрел их и нашел, что все здоровы и могут ехать в Америку. И только она, Голделе, ехать не может, потому что у нее трахома... Сначала они даже не поняли, что это означает. И лишь потом раскусили как следует. Это означало, что все едут в Америку, а она, Голделе, остается здесь, в Антверпене. Поднялся плач, вопли, стоны... Мама трижды в обморок падала... Отец хотел остаться здесь, но нельзя было: пропадала вся шифскарта... Тогда решили, что они поедут, а она, Голделе, останется, пока вылечит глаза... И вот уже больше года, как она лечится, а все еще не вылечилась. Фрейлейн Зайчик говорит, что это оттого, что Голделе постоянно плачет. Но Голделе уверяет, что ее глаза не вылечиваются по другой причине. Из-за синего камня! Каждый раз, когда она приходит к доктору, он натирает ей глаза тем самым камнем, которым пользует других больных. Если бы она, Голделе, была в состоянии купить собственный синий камень, она давно бы уже вылечилась.

— Ну, а твои родители? — спрашиваю я.

— Они в Америке. Делают жизнь. Я получаю от них письма. Почти каждый месяц присылают письмо. Вот посмотри, читать умеешь? Почитай мне.

Она достает из-за пазухи целую пачку писем и просит, чтобы я читал вслух. Я бы, конечно, прочел, но не умею читать по писаному. Печатное я бы прочел. Она смеется и говорит, что мальчик — это не девочка, мальчик должен уметь все на свете! А ведь она, пожалуй, права! Хотелось бы мне уметь читать по писаному! Ох, и завидую я Мотлу Большому: он умеет читать и писать (я уже вам рассказывал о нем)! Голделе дала ему прочесть свои письма. Мотл Большой прочел без за-

нинки. Почти все эти письма написаны одинаково, теми же словами:

«Дорогая Голделе, милая Голделе, дай бог тебе здоровья! Когда мы в Америке вспоминаем, что дитя наше вырвали у нас из рук, что ты там одна на чужбине, среди незнакомых людей, нам жизнь не мила! Дни и ночи мы грустим и плачем по светлой нашей звездочке, отнятой у нас...» И так далее.

Мотл Большой читает и читает, а Голделе плачет и трет глаза. Это замечает фрейлейн и сердится на нас за то, что мы расстраиваем Голделе, а ей она говорит, что ей самой себя не жаль. Она окончательно губит свои глаза! В ответ Голделе смеется, а слезы так и текут.

— Губит мои глаза доктор своим синим камнем, хуже чем я своим плачем...

Мы прощаемся с Голделе, а я обещаю ей, что завтра в это же время мы снова увидимся.

— Если богу будет угодно! — отвечает Голделе со смиренным лицом, как старуха. И мы вдвоем — я и Мотл Большой — отправляемся гулять по Антверпену.

4

Мы, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, здесь не одни. Есть у нас еще товарищ. Это мальчик лет тринадцати, звать его Мендл. Он тоже застрял в Антверпене, по пути в Америку. Не из-за глаз, а по другой причине. Его потеряли в дороге, где-то в Германии. Всю дорогу, рассказывает Мендл, они кормились одной селедкой. У него была изжога. И вот на одной станции он выскочил воды напиться и отстал от поезда, остался без билета, без гроша в кармане и без рубахи на теле. А так как языка он не знал, Мендл притворился немым. Возили его по всему свету, пока наконец он не увидал партию эмигрантов — евреев. Он рассказал им всю историю, те сжалились над ним и привезли его в Антверпен. Здесь он пробился до «Эзры». «Эзра» написала письмо в Америку,— авось отыщутся его родители. Вот он и ждет ответа и шифскарты. То есть не целой шифскарты, а половины, потому что он еще маленький. Собственно, он не такой уж маленький,— он притворяется. Похоже на то, что ему уже исполнилось тринадцать лет, хотя тефилин он еще не надевает. У него его нет. Узнали эмигранты, что Мендлу уже тринадцать лет, а «тефилин» он не имеет, и подняли ужасный шум: «Почему не достанут для него

тефилин?» А Мендл отвечает: «Почему вы не достанете мне обуви?»

Тогда один из эмигрантов с колючими глазами раскричался: «Ах, сорванец! Мало того что о тебе заботятся, ты еще и нахал к тому же!»

Эмигрант с колючими глазами старался изо всех сил и добился того, что остальные эмигранты купили вскладчину пару тефилин для Мендла.

Все можно раздобыть в Антверпене. Думаете, здесь нет синагог и молелен? Ого, какие еще синагоги! Одна из них турецкая. Думаете, что там молятся турки? Нет! Там молятся евреи, такие же, как и мы, но по-турецки. То есть все шиворот-навыворот. Ни одного слова понять нельзя! Водил нас туда наш новый товарищ Мендл. Мы втроем, я — Мотл Маленький, Мотл Большой и Мендл, стали друзьями. Целыми днями мы разгуливаем по городу. В Бродах, в Кракове и Львове или в Вене мама боялась отпускать меня от себя. Здесь она не боится. Там, говорит она, сплошь отъявленные немцы, а здесь, в Антверпене, мы, по ее мнению, среди людей, среди своих. Тут и еврейскую речь услышишь. Она имеет в виду эмигрантов.

Да здравствуют эмигранты! Среди них я чувствую себя как дома. Особенно среди родных! Скоро будут у нас гости. На будущей неделе приезжает пекарь Иойна с семьей. Не сегодня-завтра должна приехать наша соседка Песя со своей оравой. Вот тогда-то будет весело! Я вам, бог даст, все опишу.

XIX. ОРАВА

1

Ведь вы уже знакомы с нашей оравой. Это соседка Песя с ее мужем — переплетчиком (его зовут Мойше), с восемью ребятами, из которых каждый, как я уже вам рассказывал, имеет свое прозвище. Младший в одних летах со мной (девять лет, десятый). Зовут его Вашти. То есть настоящее его имя Гершл, но так как у него желвак на лбу, старшие прозвали его Вашти. Мне нравится Вашти. Я люблю его за то, что он не плачет. Сколько бы вы его ни колотили, он переносит все, как резиновая губка. Никакая пуля его не берет.

Однажды он разорвал чужой молитвенник. За это отец бил его доской, на которой режут бумагу. Вашти после этого прохворал два дня кряду. Можете себе представить, он даже от булки отказывался! Думали, что он не выживет. Мать, наша соседка Песя, его уже оплакивала, а отец ходил потеряв голову. Все были уверены, что это конец, что нет больше Вашти. Оказывается, ничего подобного! На третий день он попросил хлеба и ел, как после долгого поста. Покушать они все большие охотники. «Голодное стадо»,— так называет их сама Песя. Песя очень славная женщина, только слишком уж толста. У нее три подбородка. Уже несколько раз я рисовал ее на бумаге. Увидал однажды Вашти, выхватил у меня рисунок и показал своей маме. Она рассмеялась. Но узнал об этом мой брат Эля и хотел задать мне за «человечков». Счастье, что сама Песя за меня заступилась: «Ребенок,— сказала она,— дурачится... Право же, не стоит огорчаться!» Дай ей бог здоровья, этой Песе! Я люблю ее. Не терплю только, когда она меня целует. Как приехала в Антверпен, тут же бросилась меня целовать, как родного. Она со всеми целовалась. Больше всего, конечно, с мамой. Мама встретила ее, словно отца с того света увидела: она так расплакалась, что мой брат Эля налетел на Песю и стал говорить, что из-за нее мама погубит свои глаза и не сможет пойти к доктору...

Ходить к доктору обязан каждый приезжающий в Антверпен. Это первое, о чем спрашивают друг друга: «Были уже у доктора? Что сказал вам доктор?..» Даже «Эзра» всех приходящих сейчас же отсылает к доктору.

Когда мы впервые пришли туда, мама хотела было рассказать всю историю: о том, что муж ее был всю жизнь кантором в мясницкой синагоге, но простудился и заболел... Что она все продала, чтобы спасти мужа... Что муж умер, а она осталась с двумя детьми-сиротами... Одного, слава богу, женила... Попал он в «денежный ящик»... Но деньги уплыли, а ящик остался... Затем мы продали последнее, что имели — нашу половину дома, и отправились в Америку... Перебирались через границу под Бродами, чуть не были убиты темной ночью, потеряли все наше имущество, постель... Что мы теперь будем делать без постели в такой дальней стороне?

Мама рассказывала, «Эзра» слушала, а девушка, что сидит за столом (фрейлейн Зайчик), все записывала в книгу. Мама только еще собралась было рассказывать и рассказывать, но тут перебил ее один из «Эзры»:

— Итак, вы едете в Америку?

— Ну конечно,— отвечаем мы,— не в Егупец. В Америку.

— А у доктора вы уже были? — спросил тот, что из «Эзры».

— У какого доктора?

— Вот вам адрес,— говорит он.— Сходите прежде всего к доктору. Он осмотрит ваши глаза.

Услыхав слово «глаза», мой брат Эля взглянул на мать и побелел как полотно...

Чего он так испугался?..

2

Слава богу, мы все, кроме мамы, уже побывали у доктора. Мама пойдет попозже. Мой брат Эля боится: в последнее время она слишком много плакала...

Доктор осмотрел наши глаза, написал что-то на бумаге и запечатал в конверт. Вначале мы перепугались, думали, что он прописал нам лекарство для глаз. Спрашиваем, что он нам прописал? А он в ответ указал на дверь. Мы сообразили, что нам велят уходить... Пришли в «Эзру» и показали то, что написал доктор. Девушка (фрейлейн Зайчик) вскрыла конверт, прочла и говорит:

— Могу вам сообщить добрую весть: доктор говорит, что глаза у вас здоровые.

Конечно, это для нас добрая весть! Но что делать с нашей мамой? Она не переставая плачет. Мы твердим ей:

— Что ты делаешь? А вдруг доктор забракует твои глаза?

— Вот об этом-то я и плачу!..— отвечает мама и прикладывает к глазам примочку.

Примочку эту дал ей один эмигрант-фельдшер. Он ужасно некрасивый, у него какие-то дикие зубы. Однако он франтит: носит медные часы на серебряной цепочке и золотое кольцо. А фамилия у него некрасивая — Бибер! Приехал он в Антверпен вместе с оравой. Они познакомились в пути. Вместе перебирались через границу. Чудес, как с нами, у них никаких не было. Убивать их не собирались, постели не отняли, но все же они порядком намытарились. Хлебнули, говорят, горя. Им пришлось пройти через парную баню в Гамбурге. Чего только они не рассказывают об этом Гамбурге! Волосы дыбом встают! Содом, говорят они, щенок в сравнении с Гамбургом! Там с эмигрантами обходятся гораздо хуже, чем у нас с арестантами. Если бы не вот этот фельдшер, они бы погибли. Он хлопотал

за них. Бибер — ужасно храбрый! Он рассказывает, как он объяснялся с немцами,— прямо-таки страх! Он нарочно говорил с ними по-русски. А русский, по его словам, он знает хорошо. Возможно, что даже лучше, чем наш Пиня. Пиня утверждает, что все, что рассказывает этот Бибер, было бы очень интересно, если бы это была правда. С первого взгляда он невзлюбил фельдшера. Он даже стихи про него сочинил. Пиня, если кого невзлюбит, сочиняет о нем стихи. Если хотите, могу их вам пересказать:

Наш фельдшер Бибер,—
Скажу без утайки,—
Мастер рассказывать
Всякие байки.
Но бывает подчас
(На дню сорок раз),
Что он и соврет —
Недорого возьмет...

3

Бибер — фельдшер, о котором я вам рассказываю, взялся привести в порядок мамины глаза. Он говорит, что ни один доктор в мире не отыщет в них изъяна. Во-первых, он знает это искусство еще издавна. Он — фельдшер, а фельдшер — ведь это же наполовину доктор. Кроме того, он побывал в Германии и видел, что там делают с эмигрантами для того, чтобы у них были здоровые глаза. Он говорит, что там слепых зрячими делают.

— А может быть, наоборот? — спрашивает Пиня.

Бибер вспыхивает (он ужасная злюка). И начинает сыпать: Пиня, говорит он, чересчур умен! Больно хитер для Америки! А в Америке хитрецов не любят! Америка, говорит он, страна, в которой хитрость не в почете. Там что подумал, то и сказал, что сказал, то и подумал. Там слово — это слово! Америка, говорит он, держится на правде, на справедливости, на уважении, на честности, на совести и человечности, на доверии и жалости...

— А еще на чем? — спрашивает Пиня.

Бибер еще пуще сердится!

Да жаль! Помешали. Пришли сообщить, что кто-то спрашивает нас. Кто бы это мог быть? Выходим — гости! Гости! Наши родичи приехали. Пекарь Иойна со своей семьей. Снова радость, торжество! Броха целуется с родителями, мой брат Эля

целуется со своим тестем и шуринами. На него глядя, Пиня тоже целуется с нашими родичами, а глядя на Пиню, целуется с ними и фельдшер...

— Кто это такой? — спрашивают они.

— Я — Бибер! — отвечает фельдшер.

Пиня разражается смехом... А мама? Мама делает свое дело: плачет! Мой брат Эля вне себя. Смотрит на нее и теребит свою бородку. Но сказать он ничего не может: ведь это же свои, не чужие, земляки... Как не дать маме немножко поплакать?

— Как вы перебирались через границу? Где вас обобрали?

Это первое, о чем мы спросили наших свояков. А у тех рассказов с три короба! Но меня эти рассказы не интересовали. Я забрался в уголок с сестренкой моей золовки. Я как-то уже рассказывал вам о ней. Ее зовут Алта, она носит косички, заплетенные как витой бублик. Вы, наверное, помните, что мне ее прочили в невесты (на свадьбе у моего брата Эли). Тогда ей было девять лет. Теперь ей уже десять — одиннадцатый, в одних летах с Голделе, которая застряла в Антверпене из-за глаз. Я рассказываю Алте об этой девочке, о моем товарище Мотле Большом, о Мендле, об «Эзре», о барышне Зайчик, которая записывает в книгу, о докторе, который осматривает глаза. Потом рассказываю о Вене, об «Ольянце», о Кракове и Львове, о том, как мы переходили границу и чуть живыми выскочили. Я ничего не пропускаю. Алта слушает, широко раскрыв глаза. Потом она рассказывает мне об их делах. Ее отец давно уже собирался ехать в Америку, но мать не хотела. И не столько мать, сколько родня. Родня говорила, что в Америке работать надо, а мама к этому не привыкла. У ее матери была ротонда. Это отец подарил ей еще в те добрые времена, когда у них было много денег. И вот, когда стало скверно, а кредиторы стали наседать, решено было продать все и ехать в Америку. Когда дошло дело до ротонды, мать заявила: она готова продать все, только не ротонду!

— На что тебе ротонда? — спрашивает отец.— В Америке ротонда не нужна!

А мать отвечает:

— Как это на что мне ротонда? Столько лет бога молила, добивалась ротонды, еле дождалась ее, а теперь — продать?

День и ночь только и разговору было что о ротонде! Вся родня (по материнской линии) собралась. Ссорились, ругались. Дело доходило до развода, то есть, чтобы папа развелся с мамой, и все это из-за ротонды. А кто поставил на своем? Конечно,

мама! Ротонду так и не продали! Взяли ее с собой, отдельно запаковали... И не успели добраться до границы, как ротонда исчезла...

Так рассказывает Алта, но дальше мне уже слушать не хочется. Мне только и надо было знать, сохранилась ли ротонда? Коль скоро ее нет, я очень доволен.

Беру с собою Алту и отправляюсь гулять. Я показываю ей город Антверпен. Но она не в восторге. Она, говорит, видала города покрупнее. Скажите пожалуйста! Вожу ее по заезжим домам, в которых живут эмигранты, знакомлю ее со своими товарищами. Но Алта ничему не удивляется: зазнается. Всегда она такая...

Потом мы все вместе — наша орава и их орава — идем в «Эзру». Там встречаем нашу соседку Песю с ее оравой. Встречаем также Голделе. Она хочет поближе познакомиться с Алтой. Но та держится в стороне. Голделе отводит меня в угол и спрашивает, по какому случаю та девочка задирает нос, почему ей не пристало разговаривать с ней? Я рассказываю, что в прошлом году, на свадьбе у моего брата, мне ее сватали. Голделе вспыхивает, краснеет, отворачивается и трет глаза...

4

Что вы скажете о постигшем нас несчастье? Мы были с мамой у доктора — проверяли глаза. Доктор осмотрел мамины глаза и ничего не сказал. Написал записочку и положил в конверт. Пошли мы с конвертом в «Эзру». Никого не застали, кроме фрейлейн Зайчик, которая всех эмигрантов в книгу записывает. Встретила она меня смехом,— она всегда смеется, когда меня видит. Каждый раз передает мне привет от Голделе и смеется. Раскрыла она конверт, прочла записку и, перестав смеяться, заломила руки.

— Что хорошего? — спрашивает мама.

— Что уж там хорошего! — отвечает Зайчик.— Скверно, милая моя! Доктор пишет, что вы не можете ехать в Америку...

Моя золовка Броха, по своему обыкновению, тут же упала в обморок. Брат стоит без кровинки в лице. Мама и сама оцепенела, даже плакать не может... Барышня Зайчик бросилась за водой. Привела в чувство золовку, стала утешать Элю, поговорила по душам с мамой и велела прийти завтра.

По дороге мой брат Эля упрекал маму в том, что она все время плачет, и напомнил, сколько раз он говорил, чтобы она

не плакала! Мама хотела ответить, но не нашла слов... Подняла глаза и проговорила:

— Господи! Окажи свою милость, пожалей детей моих, возьми меня к себе!..

Наш друг Пиня утверждает, что виноват во всем этот лгун — фельдшер Бибер. Весь день и всю ночь они не переставая грызли друг друга. Наконец настало утро. Снова пришли в «Эзру». «Эзра» посоветовала нам попытаться проехать через Лондон. Авось Лондон пропустит нашу маму с ее заплаканными глазами в Америку. А если не в Америку, то хотя бы в Канаду... Где Канада, мы не знаем. Говорят, что это еще дальше Америки. Моему брату Эле и нашему другу Пине есть пока что о чем поспорить. Эля спрашивает:

— Пиня, скажи-ка, где это Канада? Ведь ты же был мастак по части географии...

Пиня отвечает, что Канада в Канаде, то есть не в Канаде, а в Америке. То есть он хочет сказать, что Канада это то же, что и Америка, но все же не Америка.

— Как это может быть? — спрашивает Эля.

— Ну, сам видишь!..

А между тем надо идти к пароходу — проводить наших друзей, нашу соседку Песю, ее мужа — переплетчика Мойше и всю ее ораву. Бог ты мой, что творится на пристани! Мужчины, женщины, дети, узлы, подушки, мешки с постелью... Все бегут, кричат, плачут. Один обливается потом, другой ест, третий проклинает...

Вдруг раздается рев дикого зверя: «Гу-у-у-у-у!..» Это гудит пароход, чтобы скорее прощались. Начинаются поцелуи, беготня, плач, театр, да и только! Все прощаются. Мы тоже. Целуемся со всей оравой. Мама целуется с Песей. Та утешает маму, просит ее не горевать: они, даст бог, вскоре увидятся в Америке... Мама машет рукой и проглатывает слезы... За последнее время она плачет гораздо меньше. Наверное, приняла что-нибудь, чтобы не плакать...

Все уже на пароходе. Мы — на пристани. Ох, и завидуем же мы им! А как я завидую Вашти! Когда-то он мне завидовал, теперь я ему. А Вашти в рваном картузе стоит на пароходе и показывает мне язык. Это он дразнится: он, мол, едет, а я нет.

Мне, конечно, очень обидно. Но я креплюсь и показываю ему кукиш. «На тебе!» Это должно означать: «Врешь! Все равно я скоро буду в Америке!»

О, пожалуйста, не беспокойтесь! Скоро и я буду в Америке!..

XX. ОРАВА РАСПОЛЗАЕТСЯ

I

Со дня на день орава эмигрантов становится все меньше и меньше, и Антверпен превращается в пустыню. В субботу уезжает масса эмигрантов, и все в Америку. Уезжает с ними и мой товарищ Мотл Большой, тот самый, который научил меня «показывать губернатора», говорить животом и тому подобным вещам.

Не знаю, что такого увидел в нем мой брат Эля, но он его терпеть не может. Я думаю, что виновата Броха. У моей золовки манера подслушивать, когда говорят, подсматривать, когда смеются. Ей надо знать, почему мы смеемся! А может быть, мы смеемся над тем, что Пиня все время таскает из карманов пряники и конфеты и жует? А может быть, над фельдшером Бибером, который хвастается перед эмигрантами и так врет, что можно со смеху умереть?

Однако на этот раз она была права. Мы устроили настоящую комедию, представили ее мамашу — пекарку Ривеле — с ее ротондой. Днем и ночью она только и говорит, что о своей ротонде, которую украли на границе, рта не закрывает.

Можете себе представить, что даже моя мама не выдержала и сказала:

— Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о моей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

А пекарка Ривеле отвечает своим басом:

— Сравнили тоже!..

— Что же, у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

— Не понимаю,— говорит мама,— что это за разговор?

— Как аукнется, так и откликнется! — отвечает Ривеле.

— Сватушка! Я чем-нибудь задела вашу честь? — спрашивает мама.

— Кто говорит, что вы задели мою честь?

— Что же вы говорите «сравнили»?

— А разве можно сравнивать? — возмущается Ривеле.— Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей периной, с вашими подушками!..

— А у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.
— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...
И снова то же самое и опять то же самое!
Комедия, да и только!

2

Разумеется, мы вдвоем, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, в тот же вечер и договорились:

— Знаешь что? Я буду пекарка Ривеле, а ты будешь твоя мама... Будем представлять... Но только говорить надо теми же словами и теми же голосами. Я буду говорить басом, как пекарка Ривеле, а ты — плаксивым голосом, как твоя мама.

И вот оба Мотла нарядились. Один надел парик, а другой — платок. Созвали всю ребятню: тринадцатилетнего Мендла, сестричку золовки — Алту, Голделе с больными глазами и других эмигрантских мальчиков и девочек.

И мы принялись за работу.

Мотл Маленький (плаксивым голосом). Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о моей перине и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

Мотл Большой (басом). Сравнили тоже!..

Мотл Маленький. Что же, у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

Мотл Маленький. Не понимаю, что это за разговор!

Мотл Большой. Как аукнется, так и откликнется!

Мотл Маленький. Сватушка, я чем-нибудь задела вашу честь?

Мотл Большой. Кто говорит, что вы задели мою честь?

Мотл Маленький. Что же вы говорите «сравнили»?

Мотл Большой. А разве можно сравнивать? Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью!

Мотл Маленький. А у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

3

Но поди угадай, что как раз в эту минуту отворятся двери и на пороге окажутся гости: моя золовка Броха с ее мамашей, пекаркой Ривеле, с отцом — пекарем Иойной, и их сыновьями, моя мама, мой брат Эля, Пиня со своей женой, желтозубый фельдшер Бибер и еще какие-то мужчины и женщины!

Первым делом моя золовка Броха доложила, что я передразниваю всех на свете. Ей хотелось, чтобы весь свет со мной разделался.

Однако весь свет разделываться со мной не пожелал. С меня было довольно одного брата Эли. Рука у него сухая и костлявая. Если он отпустит вам сегодня вечером пощечину, у вас следы на щеке будут видны и послезавтра утром.

— Надо этих обоих Мотлов разлучить! — решила Броха.

И мой брат Эля сказал строго, что, если только увидит нас вдвоем, он из меня котлету сделает! Хотел бы я видеть, как он из меня котлету сделает! Он забывает, что есть на свете мама, которая скорее даст выцарапать свои больные глаза, чем допустит, чтоб из меня котлету сделали.

4

С мамиными глазами дело обстоит неважно. То есть скверно, очень скверно! Говорят, что ее не пустят на пароход ни за миллион! Надо бежать из Антверпена. Здесь врачи — злодеи! Смотрят прямо в глаза и чуть заметят у вас трахому,— кончено! Нет у них ни к кому ни уважения, ни жалости! Придется нам ехать в Америку другим путем. Каким,— еще не знаем. Путей-то много, было бы с чем ехать. Похоже на то, что в кармане у моего брата Эли уже «тает». Весь капитал, который мы выручили за нашу половину дома, ушел на врачей и фельдшеров — все из-за маминых глаз. Я подслушал однажды, как мой брат Эля сказал, обращаясь к Пине:

— Дотащиться бы нам как-нибудь до Лондона!

Я, конечно, предпочел бы ехать прямо в Америку, а не в Лондон. Наша соседка Песя-толстая со всей своей оравой давно уже в Америке. Они уже «делают жизнь». Вашти небось уже разгуливает по улицам, заложив руки в карманы, и грызет орешки. Наши родичи — пекарь Иойна с женой, с сыновьями и с моей невестой Алтой — не могли дождаться маминых глаз и уехали в Америку одни.

Ох, что творилось в тот день в Антверпене! Мы не позволили маме идти к пароходу, потому что при расставании с родственниками она будет плакать и вконец погубит свои глаза.

Но что толку? Она еще сильнее плакала. Она твердит, что мы лишаем ее единственного утешения — хотя бы выплакать свое горе, сердце облегчить!.. Но кто ее слушает?

5

Знаете, кто рад отъезду наших родичей? Ни за что не угадаете,— Голделе! Та самая девочка с больными глазами, родители которой уже больше года в Америке, а она все еще лечит глаза в Антверпене. Услыхав, что наши родственники собираются уезжать, она чуть в пляс не пустилась. В чем дело? Она терпеть не может Алту, которую мне когда-то прочили в невесты. Не любит она ее за чванство. Голделе ненавидит зазнаек.

— Твою невесту с рыжими косичками я видеть не могу: она гордячка! — сказала мне однажды Голделе. При этом лицо у нее пылало как огонь.

— Откуда у Алты взялись рыжие косички, когда они вовсе черные? — удивился я.

Но Голделе еще пуще рассердилась, расплакалась и сказала:

— Рыжие! Рыжие! Рыжие!

Когда Голделе сердится, ее лучше всего оставить в покое, пока она отойдет. Уляжется гнев,— ее узнать нельзя. Со мной она совсем как сестра. Рассказывает мне обо всем: как она работает в гостинице, подметает комнаты, кормит кур, нянчит ребят (хозяйка, у которой она живет, долгое время не имела детей; сейчас господь подарил ей сразу двойню). Затем Голделе рассказывает, как она ежедневно ходит лечить глаз и как доктор делает ей прижигание тем же синим камнем, что и другим больным.

— Эх, был бы у меня свой собственный камень, может быть, я увидела бы когда-нибудь своих папу и маму...

Так говорит Голделе, и на ее больные глаза навертываются слезы. У меня сердце разрывается. Не могу я слышать, как она говорит о своих родителях. Не могу видеть, как она плачет.

Я говорю ей:

— Знаешь, Голделе. Вот я еду в Америку. Я там сделаю жизнь и пришлю тебе оттуда синий камень.

— Не обманешь? Поклянись святой правдой! — отвечает Голделе.

Я клянусь верой и правдой, что не забуду о ней. Как только господь мне поможет, как только начну «делать жизнь» в Америке,— сейчас же вышлю ей синий камень.

6

Я уже знаю наверное, что в субботу утром мы едем в Лондон. Мы уже готовимся в путь. Моя мама, золовка Броха и Тайбл ходят из гостиницы в гостиницу прощаться с эмигрантами. И не столько прощаться, сколько излить свою душу перед другими людьми.

Что же оказывается? Нам еще грех жаловаться! Есть среди эмигрантов такие злосчастные, которые нам завидуют. Об их горестях даже не расскажешь. Все они у себя дома были зажиточными людьми, у всех был дом — полная чаша. У всех столовались нищие. Все они желают иметь столько, сколько у них отобрали. Все удачно выдали замуж и женили своих детей... А теперь все они нищие.

Странные люди! Мне уже приелись все эти истории. Раньше, бывало, как услышу про погром, я сразу настораживаюсь. Теперь я удираю. Мне больше нравятся веселые истории. Был у нас один веселый человек, хоть и лгун ужасный,— фельдшер Бибер, но и он уже в Америке.

— Небось врет там почем зря! — говорит Пиня.

— Долго ему врать не дадут. Не беспокойтесь. В Америке таких не любят... Там лгун хуже вора! — отвечает Эля.

— А почему ты знаешь? — спрашивает Броха.

И начинается канитель: я и Пиня поддерживаем брата Элю, а Тайбл держит сторону Брохи. Одни говорят одно, другие — наоборот.

Мы, мужчины: Америка — страна сплошной правды!..

Они, женщины: Америка — страна сплошных лгунов!

Мы, мужчины: Америка зиждется на правде, справедливости и сострадании!

Они, женщины: воровство, разбой, шарлатанство!..

К счастью, вмешивается мама.

— Детки,— говорит она,— к чему вам ссориться из-за Америки, когда мы еще в Антверпене?

Она, конечно, права. Мы все еще в Антверпене. Но уже не надолго. Скоро-скоро мы уезжаем в Лондон. Все разъезжаются, все эмигранты, вся орава.

Что станется с Антверпеном?!

XXI. ПРОЩАЙ, АНТВЕРПЕН!

1

Ни один город мне не было так жалко покидать, как Антверпен. И не столько город, сколько людей. И не столько здешних людей вообще, сколько ораву эмигрантов. И не столько саму ораву, сколько моих товарищей и подруг. Многие уехали раньше нас. Вашти, Алта, Мотл Большой давно уже в Америке — делают жизнь. Остался один Мендл (Броха прозвала его «лошаком»), да еще Голделе — девочка с больными глазами. И больше никого. Что будет делать «Эзра», которая помогает эмигрантам? Кому она будет помогать? Затем жаль мне и сам Антверпен. Я буду скучать по Антверпену. Славный город, славные люди! Все торгуют брильянтами. Все носятся с камнями. Все знают одно дело: резать, гранить, шлифовать камни. Кого ни встретишь,— либо камнерез, либо гранильщик, либо шлифовщик. Многие мальчики из нашей оравы остались здесь и стали камнерезами. Если бы мы не рвались так в Америку, меня бы тоже отдали учиться, сделали бы камнерезом. Моему брату Эле нравится это дело. Нашему другу Пине — тоже. Будь они помоложе, они, говорят, и сами принялись бы за работу — камни шлифовать. Броха смеется над ними. Она говорит, что драгоценные камни хорошо носить, а не шлифовать. Жена Пини тоже такого мнения. Тайбл и сама не прочь носить камни. Каждый день они ходят разглядывать витрины и налюбоваться не могут на брильянты и алмазы, которые валяются, как мусор.

У женщин голова кругом идет, в глазах все мелькает. Выдержать не могут! Пиня смеется над ними. Он говорит, что все эти камни для него выеденного яйца не стоят. А те, что гонятся за ними, кажутся ему сумасшедшими. Думаете, он стихов про них не сочинил? Вот как они начинаются:

Антверпен — город камней!
Знает об этом весь свет.
Кругом полно богачей,—

Нищих в Антверпене нет!
Замечательная страна!
Алмазам — грош цена.
Брильянтов здесь больше всего!
Драгоценностей? Уйма различных!
Не хватает им лишь одного —
. . . . . . Наличных...

Дальше не помню.

2

Запомнить все стихи, которые сочиняет Пиня,— надо иметь министерскую голову! Мой брат Эля ругается с ним из-за этого. Он говорит, если в «Эзре» узнают, что мы сочиняем стишки про Антверпен, нас выгонят из города. А мы и перед отъездом крепко надеемся на то, что «Эзра» нам чем-нибудь поможет.

Мы ходим туда каждый день. Мы там свои люди. Девушка, которая записывает в книгу, фрейлейн Зайчик, знает всех нас по именам. Меня она любит как родного, с мамой она как сестра. Можете представить, какова она, если даже Броха считает, что у барышни Зайчик добрая, еврейская душа. Вся орава эмигрантов в нее влюблена. И особенно за то, что она разговаривает с ними не по-немецки, а по-еврейски. Остальные все говорят только по-немецки, хоть ты им кол на голове теши! Пиня заявляет, что страна эта немцам не принадлежит и что евреи могли бы здесь говорить по-еврейски. Ничего бы им от этого не сделалось. Но все евреи по эту сторону границы не любят еврейского языка. Даже нищие, и те говорят здесь по-немецки. С голоду помирать будут, лишь бы по-немецки! Так говорит Броха и торопит, чтобы мы скорее ехали в Лондон. Ей уже надоел Антверпен и здешний язык. На каждом шагу только и слышишь: «Брильянты! Алмазы!» Все таскают полные карманы камней. А нам хоть бы один брильянтик перепал!

— Потерял бы кто-нибудь парочку алмазов, а я бы их нашла! — говорит Броха, и глаза у нее при этом горят.

Не знаю, почему Броха так тоскует по алмазам и брильянтам? Я отдал бы вам все камни на свете за один ящик с красками и с кисточкой для рисования. Недавно я нарисовал пароход, битком набитый эмигрантами, и подарил этот рисунок Голделе. Она показала его барышне Зайчик, а та

показал всем в «Эзре». Увидал это брат Эля, и опять мне досталось.

— Человечки?! Перестанешь ты когда-нибудь человечков малевать?

Давно уже Эля не колотил меня так. Я рассказал об этом Голделе, а она — барышне Зайчик. Тогда барышня Зайчик поймала моего брата и стала выговаривать ему за то, что он меня бьет. Брат Эля выслушал, вернулся домой и тогда только задал мне по-настоящему. Он говорит, что должен выбить из меня эту дурь — малевать человечков.

3

Сегодня мы в последний раз были в «Эзре». Что мы там делали, я не знаю. Брат Эля о чем-то толковал. Пиня размахивал руками. Броха вмешивалась в их разговор, мама плакала. «Эзровцы» тоже что-то говорили, по-немецки, разумеется. Их было трое, и каждый из них щеголял своим немецким языком... О чем они говорили, я понятия не имею! Мысленно я уже на корабле, на море, в Лондоне, в Америке... Но в эту минуту прибегает Голделе и единым духом:

— Едешь?

— Еду!

— Когда?

— Завтра.

— Куда?

— В Лондон.

— А оттуда?

— В Америку.

— А я остаюсь здесь с больными глазами, а мои родители, бог весть, увижу ли я их когда-нибудь!

Голделе плачет. У меня сердце щемит. Хочу ее утешить,— нет слов. Смотрю на нее и думаю: «Господи боже мой! Чего ты хочешь от этой девочки? Что она тебе плохого сделала?»

Беру ее за руку, ласкаю:

— Не плачь, Голделе! Вот увидишь, приеду я в Америку, устроюсь и первым делом вышлю тебе синий камень для глаз. А потом я вышлю тебе шифскарту, то есть половину шифскарты,— ведь тебе еще десяти лет нет. Приедешь в Америку, а там в «Кестл-Гартл» тебя будут ждать папа и мама. Я тоже буду там. Как будешь подъезжать к Америке, смотри на «Кестл-

Гартл» в оба и ищи меня глазами. Я буду держать в руках вот этот карандаш! Видишь? Увидишь в Америке мальчика с таким карандашом в руках,— так и знай, что это я, Мотл. Потом, когда выйдешь на берег, поцелуешься с папой и мамой. Но домой ты с ними не пойдешь. Ты отдашь им свои вещи, а сама пойдешь со мной — Америку смотреть. Я покажу тебе всю Америку, потому что буду уже знать там все вдоль и поперек. Потом приведу тебя домой к твоим родителям, будешь с ними ужинать, свежий бульон...

Голделе не стала слушать дальше. Она бросилась ко мне на шею и начала меня целовать. А я — ее.

4

Манера, доложу я вам, у этой Брохи: появляется где не надо. Принесла ее нелегкая как раз в ту минуту, когда я прощался с Голделе! Она ничего не сказала, ни полслова не проронила. Протянула только своим басом на целые три версты:

— Во-о-о-о-т оно что-о-о-о!..

Потом как-то по-особому поджала губы и покрутила носом. Да еще кашлянула при этом: «К-хм!» И отправилась прямо к моему брату Эле.

Что она ему говорила, я не знаю. Знаю только, что, когда мы вышли из «Эзры», он закатил мне пощечину, да такую, что у меня в обоих ушах зазвенело.

— За что? — спросила мама.— Что случилось?

— Он знает за что! — ответил Эля, и мы все пошли в гостиницу.

А там — шум, сутолока. Надо укладываться. Я люблю смотреть, как укладываются. Мой брат Эля мастер по упаковке. Он снимает кафтан и начинает командовать:

— Давайте сюда грязное белье! Мама, чайник! Броха! Шляпу давай! Скорее! Калоши! Пиня, слепая курица, не видишь, что ли? Вот они, калоши, у тебя под самым носом! Мотл, чего стоишь как истукан? Помогай! Только человечков умеешь малевать!

Это уже относится ко мне. Я бросаюсь со всех ног, начинаю швырять все, что под руку подвернется. Эля вспыхивает, хочет меня побить. Но за меня заступается мама:

— Чего ты хочешь от ребенка?

Брохе не нравится, что мама называет меня «ребенком», и

она с нею ссорится. Но мама ей напоминает, что я сирота, и хочет начать плакать.

Тогда говорит Эля:

— Плачь! Плачь! Выплачь все, что осталось от твоих глаз!..

Сейчас покидаем Антверпен.

Прощай, Антверпен!

XXII. ЛОНДОН, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СГОРИШЬ?

1

С тех пор как живу на свете, я не бывал на такой ярмарке, как в Лондоне. То есть не в Лондоне есть ярмарка, а сам по себе Лондон — ярмарка. Стук, звон, свист, грохот... А людей — будто маку насыпали, будто мошкара налетела! Откуда берется столько людей и куда они все спешат? Не то голодные, не то уезжать собираются... Иначе непонятно, зачем так толкаться, орудовать локтями, опрокидывать людей и топтать их? Это я говорю о Пине. Наш друг Пиня, как вы помните, очень близорук. К тому же он всегда задирает кверху голову и ходит, как стреноженный. Человек он рассеянный, мысли у него витают в облаках.

Первое приветствие он получил на станции. Не успели мы вылезть из вагона, как случилось несчастье. Первым выскочил Пиня. Одна штанина задрана, чулок спущен, галстук, как всегда, на спине.

Никогда я не видал Пиню в таком состоянии. Он был как в жару. Начал, по своему обыкновению, сыпать непонятными словами: «Лондон! Англия! Дизраэли! Бокль! «История цивилизации!..» Успокоить его было невозможно. И не прошло и двух минут, как наш друг Пиня лежал уже на земле, а люди шагали через него, как через полено. К счастью, жена его, Тайбл, подняла крик:

— Пиня, где ты?

Мой брат Эля бросился в толпу и вытащил его помятого и потертого, как поношенная шляпа. Это было первое происшествие. Второе случилось в тот же день, в городе, и как раз на еврейской улице, которая носит странное название «Уайтчепл».

Здесь продают рыбу и мясо, молитвенники, яблоки, квас, торты и пряники, нарезанные куски селедки, талесы, лимоны, шерсть, яйца, рюмки, горшки, калоши, лапшу, веники, свистульки, перец, веревки, точь-в-точь, как у нас. Даже грязи здесь ничуть не меньше. И пахнет так же, а порой — и хуже. Мы ужасно обрадовались, когда увидели этот Уайтчепл.

А Пиня даже чересчур обрадовался.

— Бердичев! — раскричался он.— Помилуйте, друзья мои! Мы не в Лондоне, мы в Бердичеве!

Ну и показали же ему «Бердичев»! Я думал, что его в больницу отвезут. С тех пор Тайбл не отпускает его от себя ни на шаг.

Я смотрю на Уайтчепл и думаю: «Господи! Если в Лондоне такая кутерьма, то что же тогда в Америке?»

Однако поговорите с Брохой,— она вам скажет, что Лондон мог бы сгореть до того, как мы сюда приехали. С первой минуты она возненавидела этот город!

— Разве это город? — говорит она.— Это же сущий ад! Огонь мог бы пожрать его еще в прошлом году!

Мой брат Эля пытается оправдать Лондон, найти в нем достоинства. Но ничего не помогает. Броха мечет громы и молнии и желает этому городу сгореть. Тайбл ее поддерживает.

Мама говорит:

— Авось бог смилостивится, и Лондон будет нашим последним испытанием.

И только мы втроем — я, Эля и Пиня — самого высокого мнения о Лондоне. Нам нравится именно эта сутолока, этот шум и грохот.

Что нам этот грохот? Пускай грохочет! Не нравится нам то, что мы околачиваемся без дела. Ищем комитет и не можем его найти.

Кого ни спросишь,— либо не знает, либо не желает отвечать. Всем некогда, все заняты. Бегут! Но комитет нам нужен обязательно! Без комитета нам не обойтись. Нам не на что добраться до Америки. Карман моего брата Эли опустел. Деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, расползлись, как дым.

— Что ты будешь делать со своим карманом? — шутит Пиня.

Эля сердится. Он шуток не любит. Он полная противоположность своему товарищу Пине. Эля — плаксивая душа. Пиня называет его «Замороченный хозяйчик»...

Пиню я люблю за то, что он всегда весел. А с тех пор как мы приехали в Лондон, он повеселел еще больше. Он говорит, что там, в Кракове, во Львове, в Бродах, в Вене, в Антверпене, приходится объясняться по-немецки. А здесь, в Лондоне,— удовольствие. Здесь можно говорить по-еврейски, как дома, то есть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски.

Но здешний язык еще хуже немецкого. Броха говорит, что она одного немца на трех англичан не променяет.

— Где это,— говорит она,— слыхано, чтобы улица называлась «Вайтчепл», а деньги — «айпени», «тапени», «трипени»?

Есть еще одно слово, означающее деньги: «файф». С этим словом связана целая история, случившаяся с нами. Если хотите, расскажу.

2

Вы уже знаете, что мы в Лондоне разыскиваем комитет. Отыскать в Лондоне комитет — все равно что иголку в стоге сена найти. Есть, однако, бог на свете. Идем мы однажды по Уайтчеплу. Было это в сумерки. То есть не в сумерки, а днем. Но в Лондоне не бывает ни дня, ни утра,— здесь всегда сумерки.

И вот встречает нас человек в короткой куртке, в какой-то чудной шапке, с любопытными глазами.

— Готов побожиться,— говорит он,— что вы евреи...

— Конечно! Разумеется! Да какие еще евреи! — отвечает Пиня.

— Не хотите ли богоугодное дело сделать? — спрашивает он.

— Например?

— У меня сегодня йорцайт. Уйти из дому в синагогу я не могу. А чтобы помолиться дома, не хватает нескольких человек для миньена. Этому пареньку уже исполнилось тринадцать?

Это он — обо мне. Я доволен, что он назвал меня пареньком и думает, что я уже взрослый.

Взобрались мы с ним в темноте по лестнице и вошли в темную комнатушку, битком набитую мордастыми малышами, пропахшую жареной рыбой. Миньена еще не было. Не хватало семерых. Наш новый знакомый попросил нас посидеть, а сам выскочил на улицу — ловить желающих помолиться. Не-

сколько раз пришлось ему бегать на улицу, пока он сколотил миньен. Тем временем я успел познакомиться с мордастыми ребятишками и заглянуть в печь. Там жарилась рыба. Слово «жарить» здесь говорят так, что по-нашему получается «радоваться». Не понимаю! Рыба, что ли, очень радуется тому, что ее жарят? Так или иначе, но «радующаяся» рыба вовсе не так плоха, как это хочет представить моя золовка Броха. Во всяком случае, если бы мне сейчас предложили кусок этой рыбы, я бы очень обрадовался. Думаю, что и сама Броха тоже не отказалась бы. Мы все целый день ничего не ели. Уже несколько дней, как мы кормимся только селедкой и редькой. Наш хозяин поступил бы очень разумно, если бы предложил нам остаться и закусить. Но он, видать, и не догадывался о том, что мы голодны. Откуда я знаю? Очень просто: как только кончилось моление, а хозяин отхватил Кадиш, он поблагодарил нас за труд и сказал, что мы свободны.

Однако мой брат Эля захотел воспользоваться случаем. Он завел разговор о комитете, поглядел при этом на жареную рыбу и проглотил слюну.

Хозяин, держась за двери одной рукой и размахивая второй, стал рассказывать о комитете невеселые вещи. Сначала он заявил, что вообще никакого комитета нет. То есть имеется комитет и даже не один, но лондонские комитеты не так-то просто выдают деньги. Чтобы получить помощь от лондонского комитета, вам придется основательно побегать, представить документы и свидетельства, что вы действительно эмигрант и действительно едете в Америку. Потому что имеется много эмигрантов, которые только говорят, что едут в Америку. А затем, когда вы все предъявите, комитет может выдать вам некоторую сумму только на обратный путь, то есть на проезд обратно домой. Потому что лондонские комитеты относятся к Америке очень холодно.

Услыхав такие речи, мой брат Эля рассердился (вы же знаете, что он вспыльчив). А о Пине и говорить нечего. Он загорелся и пошел сыпать по-своему:

— Как можно? Какое полное право они имеют посылать нас обратно! Как им не стыдно? Здесь, в стране цивилизации?..

Но хозяин перебил его, отворил двери и сказал:

— Говори не говори... Все равно. Вот вам адрес комитета, съездите туда, тогда сами убедитесь, что все ол райт!

3

Когда мы вышли на улицу, нас преследовал запах жареной рыбы. Все мы думали о ней, хотя никто, кроме Брохи, ни слова не сказал об этом. Зато Броха не поскупилась на добрые пожелания:

— Чтоб они подавились, господи боже мой, своей жареной рыбой, от которой несет за версту!..

— Чего ты хочешь от них? — возражает мама.— Порядочные люди! Живут, несчастные, в таком аду... И все же в поминальный день заботятся о миньене...

— Свекровь! — не перестает возмущаться Броха.— Пусть они сгорят вместе с их йорцайтом и их жареной рыбой! Останавливают незнакомых людей, зазывают их к себе в дом, а нет того, чтобы дать ребенку кусок жареной рыбы, хотя бы из приличия...

Это она меня имеет в виду. Только что наш новый знакомый принял меня за тринадцатилетнего, а сейчас я для Брохи стал «ребенком»... «Да и вообще, хороши времена, если Броха стала заступаться за меня!» — подумал я.

Вшестером отправляемся в комитет. Наш негостеприимный хозяин посоветовал, чтобы мы не шли пешком, а сели в трамвай и поехали прямо туда. Но беда с этими лондонскими трамваями: они не любят останавливаться. Как ни маши им руками, они делают свое дело — бегут. Бежать за ним следом — напрасный труд: не догонишь. К счастью, над нами сжалился какой-то англичанин с бритыми усами. (Если увидите человека с бритыми усами, знайте,— это англичанин.) Англичанин, увидев, что мы машем руками, а трамвай пробегает мимо, отвел нас к какой-то церкви и знаками объяснил, что тут надо подождать. И действительно! Не прошло и минуты, как подошел трамвай и остановился. Мы все вошли и поехали.

В ту же минуту к нам подошел кондуктор и потребовал, чтобы мы взяли билеты. Пиня вышел вперед и спросил:

— Сколько?

— Файф! — ответил кондуктор.

Пиня еще раз спросил:

— Сколько?

— Файф! — повторил кондуктор уже с раздражением.

Тогда Пиня обращается к нам:

— Что такое? Вы слышите? Он велит нам свистеть!..

Мой брат Эля подошел к кондуктору и при помощи рук переспросил, сколько стоит проезд.

Кондуктор рассвирепел:

— Файф!

Пиня расхохотался, а Эля тоже вскипел и крикнул кондуктору:

— Сам свисти!..

Тот не выдержал и дернул за веревку, остановил трамвай и вышвырнул нас с такой злобой, как если бы мы намеревались зарезать его и отобрать сумку с деньгами.

А на поверку оказалось, что «файф» по-ихнему это пять.

— Ну, посудите сами, не должен ли сгореть такой город? — спрашивает Броха, и мы отправляемся в комитет пешком.

4

В лондонском комитете весело, как и во всех других комитетах. Во дворе валяются эмигранты, словно кучи мусора, а в комнате сидят люди, курят сигары и говорят один другому: «Ол райт!»

Разница в том, что немецкие комитетчики носят усы, закрученные кверху, и говорят по-немецки, а лондонские комитетчики сбрили наголо усы и бороды и говорят: «Ол райт!» Комедия, да и только.

Мужчины ходят бритые, а женщины носят парики. И не только женщины, даже девицы носят накладные волосы с буклями, у всех у них огромные зубы, и безобразны они до того, что с души воротит.

Тем не менее они смеются над нами, указывают на нас пальцами и так визжат, что слушать совестно.

Две девицы остановили нас посреди улицы и пристали к моему брату Эле, чтобы он пошел в «барбер-шап». Тогда мы не знали, что это значит. Теперь мы знаем: идти в «барбер-шап» — значит остричься и побриться.

Странные существа! Сами ходят забрызганные грязью по самую шею, жрут на улице жареную рыбу, от которой разит за версту, и терпеть не могут волос. Пьют они тоже основательно, только на улицах не валяются, как у нас. Им не позволяют.

— Вообще,— говорит Броха,— страна неплохая, только что гореть не хочет.

— Какая тебе польза будет от того, что она сгорит? — спрашивает Эля.

В ответ Броха обрушивается на моего брата. Она, если захочет,— может. Бывает так, что она молчит, слова ни с кем не

вымолвит, но иной раз прорвет ее,— тогда либо уши ватой затыкай, либо беги куда глаза глядят. Передаю вам ее речь слово в слово:

— Что ты заступаешься за этот хваленый Лондон с черным небом, с бритыми мордами, с замечательным Уайтченлом, с радующейся рыбой, со старыми девами в буклях и в задрипанных юбках, с нищими, которые пьют джинджер — пиво, с кондукторами, которые приказывают свистеть, с праведниками, которые справляют поминальные дни и скупятся на глоток воды? Такой город обязательно должен сгореть!

Броха выпаливает все это единым духом и, сложив, как на молитве, руки, добавляет:

— Лондон, почему ты не сгоришь?!

Боже мой, когда же мы будем в Америке?..

ТРИ ГОЛОВКИ

1

Если бы перо писателя могло превратиться в кисть художника или хотя бы в аппарат фотографа, то я бы, друг мой, подарил тебе в честь пятидесятницы картину с изображением редкостной группы: три хорошенькие юные головки, трех бедных, разутых и раздетых еврейских детей. У всех трех головок черные вьющиеся волосы, большие сияющие глаза, которые смотрят на вас, как бы чему-то удивляясь, и спрашивают: «Почему?» А вы восхищаетесь, глядя на эти головки, и чувствуете какую-то вину перед ними: как будто вы виноваты в том, что они появились на свет божий, появились на свет три лишних существа.

Три хорошенькие головки принадлежат двум братьям — Абрамчику и Моисейчику — и их маленькой сестренке Двойрке. Абрамчик и Моисейчик — так, на русский лад, назвал мальчиков их отец, переплетчик Пейся. Если б он не стеснялся своей жены Песи и не был бы таким отчаянным бедняком, он бы и себя переименовал из Пейси-переплетчика в Петю-переплетчика. Но так как он слегка побаивается жены и так как он, не про нас будь сказано, гол как сокол, он пока остался при старом имени — Пейся-переплетчик — в ожидании лучших времен, тех счастливых времен, когда все переменится, как Бебель говорит, и как Карл Маркс говорит, и как все хорошие умные люди говорят. Вот тогда-то, вот тогда все будет по-другому!.. А пока наступят эти добрые, счастливые времена, надо стоять с рассвета до поздней ночи за верстаком, резать картон и клеить коробки и коробочки... И Пейся-переплетчик целые дни проводит на ногах, и режет картон, и клеит коробочки. Помогает он себе старыми

и новыми еврейскими и нееврейскими песнями. Большей частью это песни полугрустные-полувеселые с полугрустными-полувеселыми мелодиями.

— Перестанешь ты когда-нибудь петь эти песенки? И надо же так влюбиться в иноверцев! С тех пор как переехали в большой город, настоящим православным стал, прости господи...

2

Все трое — Абрамчик, Моисейчик и Двойрка — родились и выросли в углу между стеной и печью. Все трое каждый день видят одно и то же: веселого отца, который режет картон, клеит коробки и поет песни, и озабоченную, высохшую мать, которая варит и печет, убирает и метет, и всегда торопится, и никогда не успевает. Оба всегда заняты: мать — у печки, отец — за верстаком. Кому нужны все эти коробки, зачем столько картона? Папиных коробок, наверно, на весь мир хватило бы. Так размышляют три хорошенькие головки, с нетерпением дожидаясь, когда же у отца снова накопится много-много коробочек, тысяча коробочек, и он, наполнив ими корзины, поставит одну на голову, а другие две возьмет в обе руки и пойдет на базар; а домой он вернется без коробок, но с деньгами для мамы и с баранками, крендельками или конфетами для детей. Какой же у них хороший отец, до того хороший, ну просто замечательный! Мама тоже хорошая, но сердитая. Только и жди от нее шлепка, пинка или оплеухи. Мама не любит, когда в доме беспорядок, она не хочет, чтобы дети играли в папу и маму, она не хочет, чтобы Абрамчик кромсал падающие со стола куски картона, чтобы Моисейчик таскал клей у отца и чтобы Двойрка пекла хлеб из песка и воды. Мама хочет, чтобы дети сидели тихо, спокойно. Мама, видно, не знает, что три головки работают, что юные души куда-то влечет, влечет... Куда же их влечет? К свету, конечно, к свету — к окну.

3

Всего лишь одно окно, одно-единственное окошечко. Три головки спорят из-за места у этого окна. Что же видят они в окно? Стену, высокую, широкую, серую и сырую стену. Никогда не просыхает эта стена, даже летом. А навещает ли детей когда-нибудь солнце? Конечно, навещает. Не полное солнце, разумеется, а солнечный луч. Тогда в доме праздник. Все три хоро-

шенькие головки припадают к окну и смотрят вверх и видят высоко-высоко длинную узкую синюю полосу, похожую на длинную узкую синюю ленту.

— Смотрите, смотрите, это небо!

Так говорит Абрамчик, Абрамчик знает. Абрамчик ходит в хедер. Он там учится складывать буквы. Хедер помещается неподалеку, в соседнем доме, даже не в соседнем доме, надо только войти в соседнюю дверь. Ах, каких только чудес не видит Абрамчик по пути в хедер! Абрамчик рассказывает, что он сам видел,— видеть бы ему так всякое добро,— большой каменный дом, сплошь из окон, сверху донизу; Абрамчик клянется, что он сам видел,— видеть бы ему так всякое добро,— высокую трубу, а из высокой трубы валил дым; Абрамчик рассказывает, что он сам видел,— видеть бы ему так всякое добро,— машину, на которой шьют без рук; Абрамчик рассказывает, что он сам видел,— видеть бы ему так всякое добро,— телегу, которая ездит без лошадей. Много еще чудес рассказывает Абрамчик и божится при этом точь-в-точь, как мама: «Видеть бы мне так всякое добро». А Моисейчик и Двойрка слушают его, и вздыхают, и завидуют ему: все на свете знает Абрамчик, все, все.

Например, Абрамчик знает, что дерево растет. Правда, сам он тоже никогда не видел, как растет дерево. Нет у них на улице деревьев, нету. Абрамчик, однако, знает (он слышал об этом в хедере), что на деревьях растут фрукты. Поэтому, прежде чем отведать какой-нибудь фрукт, произносят благословение «Сотворившему древесные плоды». Абрамчик знает (чего он только не знает!), что картошка, например, или огурцы, или лук, или чеснок растут на земле, и поэтому, прежде чем есть их, произносят благословение «сотворившему плоды земли». Все знает Абрамчик. Не знает он только, где и как все это растет, потому что так же, как Моисейчик с Двойркой, он никогда ничего подобного не видел: ведь у них на улице нет поля, нет огорода, нет деревьев и травки нет, нет и нет... У них на улице есть большие каменные дома, серые стены, высокие трубы, из которых валит дым, и много-много окошек в каждом большом доме, тысячи окошек у них на улице, и машины, которые шьют без рук, и телеги, которые ездят без лошадей, а больше ничего, ничего. Даже птичку здесь редко увидишь. Если и залетит когда-нибудь воробушек, так и он сер, как эта серая стена. Ткнется в серый камень: «пипи...» — вспорхнет и улетит. Что касается птиц, то иногда по субботам дети видят четверть курицы с бледной вытянутой ножкой. Сколько ножек у курицы? Само собой разумеется, четыре. Так же, как у лошади. К такому решению приходит старший,

Абрамчик, а ведь Абрамчик все знает!.. Иногда мама приносит с базара куриную головку с закатившимися глазами, подернутыми тонкой белой пленкой. «Она мертвая»,— говорит старший. Абрамчик. И все трое смотрят друг на друга большими черными глазами и вздыхают...

Рожденные и выросшие в большом городе, в каменном доме, в тесноте, заброшенности и бедности, они не имели возможности увидеть живого зверя, птицу, даже коровы никогда не видели, никого, никого, кроме кошки. Кошка у них своя, живая, настоящая серая кошка, серая, как высокая серая сырая стена. Кошка — их единственная радость. С кошкой играют они часами, повязывают ей голову платком, называют ее сватьей и смеются, смеются без конца! Завидит эти игры мама и всыплет детям: кого пинком наградит, кого оплеухой, а кому и уши надерет. И дети уходят на свое место, за печку. Старший, Абрамчик, рассказывает что-то, а младшие, Моисейчик и Двойрка, слушают, смотрят на старшего брата большими глазами и слушают. Абрамчик говорит, что мама права, Абрамчик говорит, что с кошкой нельзя играть, потому что кошка — нечистая тварь и пакостница. Все знает Абрамчик, все, все. Нет такой вещи на свете, которой бы Абрамчик не знал.

4

Все знает Абрамчик. Абрамчик знает, что есть страна, далекая страна, очень далекая страна, которая называется Америкой. Там, в этой Америке, у их родителей много друзей и знакомых. Туда, в эту Америку, вся семья переедет, с божьей помощью, в будущем году, когда получит шифскарты. Без шифскарт нельзя ехать в Америку, потому что надо плыть через море, а на море буря, и буря швыряется, и это опасно для жизни. Все, все знает Абрамчик.

Все, все. Даже, что делается на том свете. Он, например, знает, что на том свете есть рай, специально для евреев, конечно. В раю много деревьев с самыми лучшими плодами, в раю текут молочные реки, алмазы и брильянты валяются на улицах, только не ленись набивать карманы. Благочестивые евреи сидят там день и ночь за молитвой и наслаждаются божьей благодатью...

Абрамчик рассказывает, а у Моисейчика и Двойрки загораются глаза, они завидуют старшему братишке, который знает все на свете. Все он знает, даже то, что делается на небе. Абрам-

чик божится, что два раза в год: ночью хошанараба и в ночь на пятидесятницу, раскалывается небо. Правда, он сам никогда еще не видел, как раскалывается небо, потому что у них на улице нет неба, но зато видели его товарищи. Да, они клянутся, что видели собственными глазами,— видеть бы им так всякое добро,— как раскалывается небо, не будут же они клясться в том, чего не видели, ведь это грех! Как жалко, что на этой улице нет неба! Есть только длинная узкая синяя полоса, похожая на длинную узкую синюю ленту. Что можно разглядеть на таком клочке, кроме двух-трех маленьких звездочек и кусочка луны? Чтобы убедить своего младшего братишку Моисейчика и свою младшую сестренку Двойрку в том, что небо действительно раскалывается, Абрамчик теребит за платье мать.

— Мама, правда, сегодня, в пятидесятницу, около полуночи расколется небо?

— Голову я тебе расколю!

Такую отповедь получает Абрамчик от матери. Теперь ему остается только поджидать отца. Отец отправился на базар с целой горой коробочек.

— Ну-ка, угадайте, какой подарок принесет нам сегодня отец?

Так говорит Абрамчик, и все три головки принимаются гадать, какие же гостинцы принесет им с базара отец. Они загибают пальцы, перечисляя все, что есть на базаре, все, что глаз человека может увидеть и сердце человека может пожелать: баранки, крендельки, конфеты... Но на сей раз ни один из них не угадал. Боюсь, что и вы не угадаете. Пейся-переплетчик не принес ни баранок, ни крендельков, ни конфет. А принес он траву, целую охапку травы — длинной, зеленой, пахучей, удивительной травы.

Три хорошенькие головки окружают отца.

— Папа, что это?

— Это зелень.

— А что такое зелень?

— Зелень на праздник. Евреям в праздник нужна зелень.

— А где ее берут, папа?

— Как так где берут? Хм... на базаре покупают, на базаре...

Так говорит отец и разбрасывает по свежевыметенному полу зеленую пахучую траву и радуется, что в комнате зелень и что зелень пахнет, и говорит маме весело, как всегда:

— Песя, с праздником тебя!

— Поздравляю, мусору в доме не хватало, будет выродкам твоим чем сорить!

Так отвечает мама, как всегда недовольная, и, по своему обыкновению, награждает детей: одного — пинком, другого — шлепком, третьего — оплеухой. Чудна́я у них мама! Ничего-то ей не нравится, вечно она невеселая, вечно озабоченная, совсем не похожа на отца!

И три хорошенькие головки смотрят на мать, смотрят на отца, смотрят друг на друга, а когда родители отворачиваются, бросаются на пол, припадают к пахучей траве, целуют пахучую траву, которая называется зеленью, которая нужна евреям на праздник и которую покупают на базаре...

Все есть на базаре, даже зелень. Все покупает папа, все нужно евреям, и все есть у евреев, даже зелень, даже зелень!

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОДНЕ

— Знаете, когда приятней всего путешествовать в поезде? Осенью, примерно после праздника кущей.

Не холодно и не жарко. Вы не видите ни заплаканного неба, ни лежащей в трауре омраченной земли. Капли дождя стучат в окно и скатываются вниз по запотевшему стеклу, точно слезы. А вы сидите, как барин, в вагоне третьего класса между такими же родовитыми, как и вы сами, и время от времени поглядываете в окно. Вы видите, там вдалеке плетется возок, вязнет в грязи. На возке, согнувшись в три погибели и накрывшись мешком, сидит этакое божье создание и вымещает свою злобу на бедной лошадке, тоже божьем создании. И вы славите господа бога за то, что вы сами под крышей и среди живых людей... Не знаю, как вы, но я очень люблю ездить по железной дороге осенью,— примерно после праздника кущей.

Главное для меня — это место. Если я захватил место, к тому же с правой стороны у окна, я чувствую себя королем. Достанешь, это, портсигар, закуришь и, потягивая папиросу за папиросой, смотришь между тем, кто же едет с тобой, с кем тут можно перекинуться словцом о деле. Пассажиров, слава богу, словно сельдей в бочке. Бороды, носы, шапки, животы — все как у людей. А человека нет. Но погодите, вон там в уголке в одиночестве сидит какое-то странное существо. Человек этот не походит на остальных. У меня на этот счет острый глаз. Необычного человека я среди сотни найду.

То есть на первый взгляд это заурядный человек, как у нас говорят: «обыкновенный еврей»,— из тех, которых идет двенадцать на дюжину. Но одет он действительно странно: кафтан не кафтан, халат не халат; не то шапка на голове, не то ермолка.

а в руках зонтик не зонтик, веник не веник. Странное облачение!

Но дело не в наряде, а в самом человеке. Человеку этому не сидится,— он ерзает, поглядывает по сторонам, а лицо у него сияет, прямо лучится радостью и счастьем.

Не иначе, человек выиграл в лотерее, либо дочку в добрый час замуж выдал, а может быть, сына в гимназию определил. Он поминутно вскакивает, смотрит в окно и говорит сам себе: «Станция? Нет еще!» Снова садится и с каждым разом все ближе ко мне, сияющий, веселый, счастливый.

Должен вам сказать, что я по натуре такой человек: не люблю, как иные, другому в душу влезать, выспрашивать — что да как. Я иду своим путем: *если у человека есть что-либо на душе, он сам это выложит.*

И действительно. Проехали мы две станции, и беспокойный человек подсел ко мне поближе, то есть весьма даже близко,— рот его очутился у самого моего носа.

— Куда едем?..

Однако по его вопросу, по почесыванию в голове, по всему его виду я понял, что ему не столь важно знать, куда я еду, сколько хочется рассказать, куда он сам направляется. И я сделал ему одолжение, ничего не ответил на его вопрос, но, в свою очередь, спросил его: «А вы куда?»

И пошло.

— Куда я еду? В Кодню. Слыхали про Кодню? Я тамошний, колненский. Недалеко отсюда. Третья остановка. Это значит, отсюда еще три станции... Ну да! А там в Кодню надо еще часа полтора на лошадях добираться. Положим, это только говорится так — полтора, на самом деле это целых два, битых два часа с гаком, и то, если дорога хорошая и ехать в фаэтоне. Я уже заказал по телеграфу, послал депешу, чтобы выслали фаэтон на станцию. Для себя, думаете? Не беспокойтесь, я могу и шестым пассажирским на обыкновенной подводе прокатиться. А если нет, беру зонт в руку, узелок в другую и — наилучшим манером прямо в город пешечком. На фаэтоны, видите ли, нам не хватает. По моим замечательным делам мне можно было бы и вовсе дома сидеть. А? Что вы сказали?

Тут мой собеседник делает паузу, вздыхает, потом снова заговаривает, но уже потише, прямо в ухо мне, предварительно поглядев по сторонам, не подслушивает ли кто.

— Я не один... С профессором еду... Какое я имею отношение к профессору? А история такова. О Кашеваровке вы когданибудь слыхали? Местечко есть такое, Кошеваровкой назы-

вается. И вот живет там богатый еврей, выскочка, может слыхали, Бороденко, Ицик Бороденко. Как вам нравится эта фамилия? Настоящее русское прозвище! Но что из того, русское ли, еврейское ли имя — деньги-то у него! И много денег, очень много. Одним словом, у нас в Кодне этого человека оценивают в полмиллиона. А если вы будете сильно настаивать, я соглашусь, пожалуй, что он владеет и целым миллионом. Если же, извините, судить по его свинству, то он может владеть и двумя миллионами. Вот вам доказательство. Хотя я вижу вас первый раз, я все же понимаю, что ездите вы чаще моего. Так вот скажите мне по правде: слыхали вы когда-нибудь, чтобы этот Бороденко проявил себя как сущий еврей, пожертвовал бы крупно или еще что? У нас в Кодне об этом что-то не слыхивали пока. Впрочем, в господних стряпчих я не числюсь, а на чужой карман благодетелей много. Но я не говорю о благотворительности и пожертвованиях, я говорю о человечности. Господь тебе помог, ты так богат, что можешь себе позволить выписать профессора; что же приключится, если благодаря тебе еще кто-нибудь воспользуется этим случаем? Денег у тебя не просят, доброго слова только просят, чего же тебе черт мордует? Так вот послушайте...

Должно же ведь случиться такое! Проведали у нас в Кодне (у нас в Кодне все знают), что у кашеваровского богача, у этого самого Ицика Бороденко, о котором я вам рассказываю, заболела дочка. И чем бы, вы думаете, она заболела? Чепуха какая-то — любовь! Влюбилась она в русского парня, а парень отказался от нее, она и отравилась (у нас в Кодне все знают). Это случилось только вчера. Сейчас же помчались, приставили к ней профессора, самого известного профессора. Такому богачу разве трудно? Вот и мелькнула у меня мысль: ведь профессор-то не навсегда там останется, не сегодня, так завтра поедет обратно. А ехать ему обязательно мимо нашей станции, это значит — мимо Кодни. Почему бы ему не заскочить от поезда до поезда к нам, ко мне, значит? У меня, видите ли, не про вас будь сказано, ребенок слег. Что, вы думаете, у него? Я и сам не знаю. Внутри что-то неладно. Кашлять он, слава богу, не кашляет, сердце тоже не болит. Что же, однако, у него? Ни кровинки в лице и слаб, слаб, как муха... И все потому, что не ест. Ничего! Так-таки ничего. Ну, куска в рот не берет. Выпьет иногда стакан молока, да и то через силу; приходится упрашивать, чуть не плакать. А больше не ест ничего: ни ложки супу, ни крошки хлеба. О мясе и говорить нечего. Мясо он терпеть не может, прямо не переваривает... Началось у него это с того времени, когда кровь горлом пошла. Нынешним летом. Один раз, правда,

но сильно. А больше, слава богу, не показывается. Но как он ослабел, вы и представить не можете, еле-еле на ногах держится. Шутка ли, человека лихорадит, как в огне горит. С самой пятидесятницы у него — тридцать девять и пять десятых, и ничем не поможешь! Не раз уже у доктора с ним бывал. Но что они знают, наши доктора? Побольше кушать, говорят, да побольше воздуху. Но куда там кушать, когда о еде он и слышать не хочет. А воздух? Откуда у нас воздух? В Кодне воздух! Ха-ха! Славное местечко Кодня, настоящее еврейское местечко. Есть у нас, слава богу, евреи, есть синагога, молитвенный дом, раввин и все прочее. Только от двух вещей избавил нас бог: от заработков и от воздуха. Ну, о заработках нечего говорить. Зарабатываем мы, слава тебе господи, один у другого... А насчет воздуха... Если нам нужен воздух, мы отправляемся в помещичий «двор». Во «дворе», видите ли, воздуху действительно много. Раньше, когда Кодня принадлежала польским панам, нельзя было и носа сунуть во «двор». Паны и близко не подпускали. Не так паны, как панские псы. Но с тех пор как кодненский «двор» перешел в руки евреев, собаки перевелись, да и сам «двор» стал совсем другим. Приятно зайти туда. Теперь там тоже паны, помещики, но еврейские помещики... Говорят по-еврейски, как мы с вами. Придерживаются еврейских обрядов и уважают еврея. Одним словом, настоящие евреи. Не скажу, чтоб они были большие праведники. Слава богу, в синагогу к нам они не очень спешат. А в баню к нам — и подавно. Нарушить субботний покой и закон они не особенно боятся. И зажарить цыпленка на коровьем масле — тоже для них грех небольшой. Ну, а стричь бороду, ходить с непокрытой головой и тому подобное — тут уж и говорить не приходится: это теперь везде привычное дело. Даже у нас в Кодне водятся молодчики, которым шапка на голове тяжела... Да, Кодне нечего жаловаться на своих помещиков. Наши еврейские паны хорошо обходятся с местечком, стараются показать себя с наилучшей стороны. К осени они пришлют сотню-другую мешков картофеля для бедных, зимою дадут соломы на топливо, перед пасхою — денег на мацу. Недавно они подарили кирпич для синагоги. А как же! Хорошо, благородно, честь честью, как и полагается. Кабы еще вот этого цыпленка в масле не было! Ох, уж этот цыпленок! Вы не подумайте, я их вовсе не хочу оговорить. Наоборот, я против них ничего не имею. Да и они меня на котелок борща не обменяют. Ведь реб Алтер (это мое имя, меня зовут Алтер) у них, можно сказать, целая шишка. Как только у них какая нужда в городе — календарь, скажем, нужен к Новому году или маца к пасхе, вербы к празднику кущей и тому

подобные вещи, необходимые в обиходе у евреев, так сразу посылают за реб Алтером. И у жены моей в лавочке (моя жена содержит лавочку) они на большие деньги покупают: соль берут, перец, спички, всякую всячину. Это сами помещики! А их дети, студенты,— эти души не чают в моем сыне. Приедут на лето из Петербурга и давай обучать «моего» всему; сидят с ним целые дни над книжками. А «мой» за книжку, надо вам сказать, жизнь отдаст, отца с матерью не пожалеет. Боюсь сказать, но мне кажется, что книжка его и погубила. От книжки-то все несчастье и пошло... Жена, положим, уверяет, что это у него от призыва. Но при чем тут призыв? О призыве мы уже давно и думать забыли. Ну да ладно, как бы там ни было, книги ли, призыв ли,— а сын мой лежит и чахнет, избави бог всякого, тает, бедный, как свечка. Ах, смилостивился бы господь!..

На минуту его сияющее лицо как бы заволокла тучка, но не больше чем на одну минуту. Вскоре выглянуло солнышко, прогнало тучку, и вновь засияло лицо, зажглись глаза, заулыбался рот. И вот он уже снова рассказывает:

— Итак, на чем мы остановились? Да! И вот я поразмыслил — дай-ка слетаю в Кашеваровку, к Ицику Бороденко, к богачу этому. Понятно, я пустился в дорогу не просто так, с пустыми руками, как говорится. Понимаете, письмом я запасся, письмом. От раввина нашего (про кодненского раввина слава на весь свет стоит!). Письмо замечательное! «Так как господь бог благословил дом ваш достатком, и вы в состоянии выписать себе профессора, и так как у нашего реб Алтера, не приведи господи, сын лежит на смертном одре, то не пробудится ли в сердце вашем искра милосердия, не снизойдете ли вы с высот вашего благополучия и не войдете ли в его положение; может быть, вам удастся добиться у профессора, чтобы он на обратном пути,— ведь он все равно проезжает мимо Кодни,— заехал бы к нам хотя бы на четверть часа, от поезда до поезда, осмотреть больного. За каковую милость господь благословит вас...» Ну и так далее. Замечательное письмо!

Внезапно донесся гудок, и мы остановились. Мой спутник сорвался с места:

— Ага! Станция! Я заскочу в первый класс только на минутку. Взгляну лишь на моего профессора и вернусь, тогда уж и кончу свой рассказ.

Возвратился мой спутник еще более сияющий. Я бы сказал, если можно так выразиться, что божья благодать покоилась на нем. Нагнувшись, он тихо прошептал мне на ухо, точно боясь кого разбудить:

— Спит мой профессор. Дай бог, чтобы он хорошо выспался, чтобы со свежей головой приехал к нам... Одним словом, на чем же мы остановились,— на Кашеваровке?

Приезжаю, значит, в Кашеваровку и направляюсь прямо к дому, звоню у двери раз, другой, третий. И вот высовывается какая-то морда, откормленная, скобленая, облизывается, как кот, и спрашивает по-русски: «Что надо?» А я по-еврейски: «Значит, надо. Если бы не «надо», я бы не притащился сюда аж из Кодни». Он слушает меня, жует, облизывается и мотает головой. «Наши сейчас не принимают. У них профессор...» — «Это-то и хорошо, что у них профессор, говорю, ради этого профессора я сюда и приехал». А он мне говорит: «Какие у вас дела с профессором?..» Поди расскажи ему! Тогда я подаю ему письмо: «Хорошо, говорю, тебе разглагольствовать там, по ту сторону двери, а каково мне здесь, под дождем? Вот этот документ, говорю, передай, будь добр, сейчас же хозяину, в собственные руки». И вот я остаюсь на улице, жду, когда меня позовут. Жду полчаса, час, жду два. Дождь льет как из ведра. Меня не зовут. Мне становится обидно. Не столько за себя, сколько за нашего раввина. Ведь письмо-то не от мальчишки какого-нибудь, как-никак пишет раввин (про кодненского раввина слава на весь свет стоит!)... Я дергаю звонок еще и еще раз. Выскакивает та же самая рожа, рассвирепела, кричит: «Это нахальство так трезвонить!» — «Это нахальство,— говорю я,— заставлять человека стоять два часа под дождем». И подвигаюсь к двери, хочу войти. Куда там! Как хлопнет дверью перед самым моим носом — и делу конец. Что же все-таки предпринять? Невесело как-то. Ехать обратно ни с чем очень уж неприятно. Во-первых, самому за себя стыдно. Ведь я какой-никакой, а все же хозяин в Кодне, не нищий... А потом душа разрывается: бедное дитя мое...

Но всемогущ бог в небесах. Гляжу — подъезжает карета, запряженная четверкой, и прямо к крыльцу. Я к кучеру: «Что за карета, чьи лошади?» Узнаю, карета Бороденко и лошади Бороденко. Для профессора. На станцию повезут. «Если так, думаю, значит, хорошо. Замечательно!» Не успеваю оглянуться, как открывается дверь и появляется он сам, профессор, махонький, старенький, с лицом — ну, как бы вам сказать — ангела, небесного ангела. Провожает его сам богач Ицик Бороденко, кстати, без шапки. А совсем позади то самое существо с бритой мордой несет чемоданчик профессора. Посмотрели бы вы на богача, чуть ли не миллионера! Да простит меня господь за эти речи! Пиджак на нем из обыкновенной диагонали, такие и у

нас в Кодне носят, руки он держит в карманах и смотрит куда-то в сторону, косит. Я стою и думаю: «Владыка небесный! Вот у этого создания — миллионы!» Но пойди потолкуй с богом! Увидел меня миллионер и давай шпынять косыми глазами. Затем спрашивает: «Что вам нужно?» — «Так, мол, и так, говорю, это я вам привез письмо от раввина». А он мне: «От какого раввина?!» Как вам это нравится, он уже не знает, от какого раввина. «От кодненского раввина, говорю. Я и сам тамошний, из Кодни, значит. Я специально приехал к господину профессору — просить, не потрудится ли он заехать к нам в Кодню, от поезда до поезда, и всего-то на четверть часа, к моему сыну? У меня дитя, не приведи господи, при смерти». Вот так прямо и сказал ему. Я ни капельки не преувеличиваю, ни на волос! На что я рассчитывал? Думаю: «Человека постигло несчастье — дочка отравилась. Авось, думаю, смягчится у него сердце, пожалеет бедняка отца...» Ничего подобного! Не сказал и полуслова в ответ. Только взглянул косыми глазами на краснорожего детину, как бы говоря: «Убрал бы ты с дороги этого еврея». А профессор мой тем временем забрался с чемоданчиком в карету. Еще минута — и прощай, профессор! Что же делать? Вижу, вся игра к дьяволу, решаюсь: эх, была не была!.. Нужно спасти дитя! Набрался смелости и бух — прямо лошадям под копыта. Чтобы очень хорошо было лежать под копытами — этого сказать не могу. Не помню, долго ли мне пришлось так лежать и лежал ли я вообще. Может быть, и не лежал. Знаю лишь, что длилось это не дольше мгновенья, в какое я рассказывал вам об этом, а старичок профессор уже стоит надо мной: «Что такое?» Потом: «Голубчик!..» — чтоб я ему, значит, все рассказал, выложил без всякого стеснения и боязни, чего я, собственно, хочу. Богач стоит в стороне и разглядывает меня своими косыми глазами, а я говорю. Вы должны знать, что я далеко не мастер говорить по-русски. Но на этот раз господь помог мне, и я заговорил. Я ему все рассказал, выложил все, что было на душе. «Так и так, господин профессор, может быть, суждено, чтобы вы были посланцем неба и спасли мое дитя, моего сына, единственного из шести, оставшегося у меня на долгие годы... И если,— говорю я,— это должно стоить денег, то, пожалуйста, у меня есть целая четвертная, двадцать пять рублей. Не мои, боже упаси! Откуда у меня такие деньги? Четвертная эта моей жены. Она собиралась съездить в город за товаром. Но бог с ней, с четвертной, и со всей лавочкой жениной, только бы дитя спасти!» Говорю вот так и расстегиваю кафтан, хочу достать свои двадцать пять рублей. Но старичок профессор кладет мне

руку на плечо: «Ничего!» — и велит мне лезть в карету. Чтоб я так увидел своего сына здоровым, как говорю вам правду! Ну вот я вас спрашиваю: стоит ли Ицик Бороденко и мизинца моего профессора? Ведь чуть не зарезал меня без ножа этот Бороденко! Хорошо, что все обошлось благополучно. А если бы, не дай бог, наоборот? Что тогда? А?..

В вагоне вдруг засуетились, и мой собеседник кинулся к кондуктору:

— Кодня?

— Кодня.

— Будьте здоровы! Счастливого пути! Прошу вас, никому не говорите, с кем я еду. Я не хочу, чтобы у нас в Кодне знали, что я привез профессора. Все сбегутся.

Так сказал мне по секрету мой спутник и, пожав мне руку, исчез.

Через несколько минут, когда поезд уже тронулся, я увидел в окно: от станции, покачиваясь, отъезжает старый тарантасик, запряженный парой облезлых, угрюмых серых лошадок. В тарантасике сидит маленький, старенький человек, в очках, с юношескими красными щечками и седой бородкой. Против него в фаэтоне сидит мой знакомец, вернее, висит, точно на ниточке, подпрыгивает на ухабах и заглядывает старичку в глаза, а лицо у него сияет, и глаза вот-вот выпрыгнут от радости.

Жаль, что я не фотограф и не везу с собой фотографического аппарата. Следовало бы запечатлеть моего знакомца в это мгновенье. Пусть все знают, что такое счастливый человек — самый счастливый человек в Кодне.

КОНКУРЕНТЫ

В самую горячую минуту, когда люди вкатываются и выкатываются из вагона и внутри идет жестокая борьба за место, как — не будь рядом помянута — в синагоге в дни большого праздника,— они тут как тут. Он и она.

Он — черный, грубоватый, растрепанный, с бельмом на глазу. Она — рыжая, худая, рябая. Оба — оборванные, помятые, в заплатанных башмаках; у обоих один и тот же товар. Он с корзиной и она с корзиной; он с плетеными калачами, крутыми яйцами, сельтерской водой и апельсинами, и она с такими же плетеными калачами, крутыми яйцами, сельтерской водой и апельсинами.

Бывает, что в корзине у него красные вишни, черные черешни или зеленый, кислый, как уксус, виноград. Тогда и она приходит с такими же вишнями, черешнями и кислым, как уксус, виноградом.

Оба являются в одно время, проталкиваются в одну дверь и говорят на одном языке, только выговор у них разный. Он слегка задыхается, картавит мягко и липко, словно у него нет языка; она шепелявит, словно рот у нее набит языками.

Вы думаете, пожалуй, что они конкурируют, сбивают цены? Ничего подобного. У них одна цена. Конкуренция заключается в том, что они одновременно умоляют вас пощадить пятерых сирот (у него пять сирот и у нее пять сирот). Оба смотрят вам в глаза, тычут вам в лицо свой товар и кричат до тех пор, пока — нужно вам или не нужно — вы чего-нибудь не купите.

От их жалоб, просьб и слез у вас кружится голова, вы не знаете, у кого купить: у него или у нее? Наконец вас осеняет счастливая мысль: вы хотите купить у обоих, но они не разрешают...

— Если вам надо купить, то берите у одного. На двух свадьбах сразу не пляшут.

Вы хотите быть благодетелем, и сегодня покупаете у нее, а завтра у него. Тогда вас клянут на чем свет стоит.

— Господин! Почему я вам не понравилась сегодня?

Или так:

— Господин, на прошлой неделе вы, кажется, покупали у меня и не отравились, не подавились?

Вы читаете им мораль, вы объясняете, что все хотят жить. Тогда они отвечают на простом еврейском языке, немного аллегорически, но очень понятно: с одним задом одним разом на две ярмарки не поспеешь...

Да, таковы дела, милый друг! Никогда не заботься о других, все равно ничего не выйдет. И не пытайтесь даже быть благодетелем: боком выйдет. Я это знаю по собственному опыту. Я мог бы рассказать вам интересную историю о том, как однажды я сглупил, собрался помирить чету, а кончилось тем, что мне крепко попало от моей жены. Однако боюсь смешать одну историю с другой и отвлечься в сторону, хотя в жизни случается и так: предлагаешь одно, а несешь при этом такую чушь несусветную... В общем, возвращаемся к нашему рассказу.

Дело было осенью, в дождливый день. Небо слезилось, земля почернела, станция была полна народу, тьма пассажиров. Все бегут, толкаются, и евреи, конечно, больше всех. Мчатся, лезут друг на друга с чемоданами, узлами и подушками. Крик, шум, содом! И в самой гуще — он и она, оба нагруженные снедью. Вместе прут в вагон. И вдруг... Что случилось? Обе корзины оказались на земле. Калачи, и яйца, и сельтерская вода с апельсинами — все это валяется в грязи. Бурная смесь из шума, визга, слез и проклятий сливается с хохотом кондукторов и гвалтом пассажиров. Звонок и свисток. Одна минута — и мы едем. В вагоне весело, публика наша перебрасывается словами, проветривает языки. Как бабы в молельне или гуси на базаре. Трудно уловить содержание или смысл, только обрывки какие-то:

— Суд над плетеными калачами...

— Яичный погром...

— Чем провинились апельсины?

— Что тут спрашивать? Подлец!

— Во сколько вы цените убыток? Так и надо! Пусть не лезут, не въедаются в душу!

Что же им делать, беднягам? Еврей ищет кусочек хлеба.

— Ха-ха-ха,— отзывается густой бас,— еврейские заработки...

— Еврейские заработки? — слышен молодой визгливый голосок.— У вас есть лучшие? Давайте-ка их сюда.

— Молодой человек! Не с вами говорят! — гудит бас.

— Не со мной? Зато я говорю с вами. У вас есть лучшие заработки? Вы молчите? Почему же вы молчите?

— Что он хочет от меня, этот молодой человек?

— Чего я хочу? Вы говорите: еврейские заработки? Если у вас есть лучшие, давайте-ка их сюда!

— Как вам понравится этот банный лист?!

— Тише, евреи! Замолчите. Вот она!

— Кто?

— Она сама, бабочка с закуской...

— Где она, красавица, где?

— Вот она, здесь.

Рябая, красная, с опухшими от слез глазами, пробирается она с пустой корзиной, ищет место, садится на пол, на опрокинутую корзину, прячет воспаленные глаза в изодранную шаль и тихо плачет. Неожиданная тишина настала в вагоне. Выдохлись все разговоры, отнялись языки. Только один вскочил с места и прокричал густым басом:

— Евреи! Почему вы молчите?

— А зачем кричать?

— Надо ей собрать что-нибудь.

— Хорошенькое дело!

Знаете, кто это говорит? Тот самый, который сейчас только смеялся над еврейскими заработками. Странное существо с странной шапкой. Какая-то фуражка с прямым, блестящим козырьком. К тому же он носит синие очки, глаз его не видно. Нет глаз, один нос, мясистый, жирный, картофельный нос. Не долго думая, срывает он с головы фуражку, первый бросает туда пару серебряных монет и обходит всех, гремя своим густым басом:

— Бросайте, народ честной, сколько можете. Даровому коню в зубы не смотрят, как в Талмуде сказано...

Публика полезла в карманы, распахнула кошельки, зазвенели монеты, разные монеты, серебряные и медные. Сидел среди пассажиров русский человек в высоких сапогах и с серебряной цепью на шее. Он тоже бросил монету, зевая и крестясь. Один только пассажир отказался, не хотел ничего дать. И это как раз тот самый, кто вступился за еврейские заработки. Интеллигентный молодой человек, с пухлыми щечками, желтой, острой бородкой и в золотом пенсне. Один из тех сынков, у ко-

торых есть богатые папаша и мамаша, богатые тесть и теща, и сами они тоже набиты деньгами, но ездят в третьем классе — жаль денег.

— Молодой человек, бросьте сколько-нибудь! — обращается к нему субъект в синих очках с картофельным носом.

— Я не даю,— отвечает интеллигент.

— Почему?

— Потому! У меня принцип.

— Я знал это раньше.

— Откуда?

— Выдать по щекам, что не по вкусу зубам. Как в Талмуде сказано: видно пана по холяве...

Интеллигент вскипел, даже пенсне потерял, и набросился на картофельный нос с визгом:

— Невежа, мужик, нахал! И наглец к тому же!

— Слава богу, что не свинья, как некоторые другие...

Так отвечает картофельный нос ласковым, густым басом. Он подходит к плачущей женщине с опухшими глазами.

— Тетенька, не хватит ли слез? Вы можете испортить прекрасные свои глаза. Протяните ваши ладони, и я высыплю вам эту мелочь.

Удивительная женщина! Я думал, что, увидев такую кучу денег, она расползется в благодарностях и пожеланиях. Ничего подобного! Вместо пожеланий из уст ее посыпались проклятия. Брызнул фонтан, фонтан проклятий!

— Все он, чтоб он окривел и околел и вывихнул себе ногу, милый боже! Все от него, чтоб его лихоманка взяла! Домой ему не вернуться, чуме этакой! Погибель на него, холера, оспа, пожар, землетрясение, сухотка, белая горячка! Чтоб он высох! Чтоб он распух! Чтоб его скрючило!..

Боже всевышний, кто начиняет человека такими проклятиями? Хорошо еще, что субъект в синих очках перебил ее:

— Довольно молиться, бабочка! Расскажи-ка лучше, чего хотели от тебя кондукторы?

Женщина подняла свои воспаленные глаза.

— Из-за него, разрази его гром! Он боялся, что я перехвачу всех покупателей, и начал толкаться. Тогда я забежала вперед, а он схватил мою корзину. Тогда я закричала «караул», тогда подошел жандарм и подмигнул кондукторам, тогда кондукторы выбросили нам весь товар в грязь, чтоб душу его выбросило, милый боже! Верьте мне, что, сколько я ни торгую этим товаром на этой линии, меня никто не тронул еще, волоса не тронул... Вы думаете, из-за доброты душевной не тронули?

Пусть столько болячек выскочит у него, сколько калачей и яиц это стоит мне! Каждому нужно заткнуть глотку, от мала до велика. Что ни день — то дележка. Этому — язву, тому — болячку и третьему — лихоманку. Старший кондуктор берет себе на завтрак все, что он хочет, другим кондукторам тоже надо раздать. Кому калачик, кому яичко, кому апельсин. Чего вам еще? Истопника тоже надо накормить. Он грозит, что если я не дам ему, он донесет жандарму. Он не знает, холера ему в бок, что жандарм тоже подмазан. Жандарма надо каждую неделю, по воскресеньям, мазать порцией апельсинов. И то он выбирает еще самые лучшие, красивые, большие апельсины...

— Тетенька! — перебивает человек в синих очках.— Насколько я вижу, вы купаетесь в золоте.

— Что вы говорите? — спохватывается женщина, словно оправдываясь.— Еле на хлеб хватает. Бывает, что и докладываешь. Разоряешься дотла.

— На кой же черт вам тогда ваша торговля?

— Что же, воровать я должна, если у меня пятеро детей, пять болячек ему в бок, и сама я больная, болеть ему не переболеть! А что он сделал из торговли, окаянный! Такая торговля, такая чудная торговля, такая хорошая торговля!

— Хорошая торговля?

— Золотая. Заработка было по горло, считать не пересчитать...

— Только что вы сказали, тетенька, что одно разоренье?

— Что же можно заработать, если больше половины отдаешь кондуктору, и старшему кондуктору, и жандарму? Разве у меня колодец, рудник, краденые деньги?

Субъект в синих очках и с картофельным носом выходит из себя:

— Тетенька, вы бросаете меня в жар и холод!..

— Я вас бросаю? Горе мое бросает, пусть лихорадка бросает его! Он погубил меня, окаянный! Был он портняжкой, штопал иглой и кое-что добывал, как говорится, на воду, чтоб кашу заварить, увидел он, чтоб глаза у него вылезли, что я ем хлеб, пусть его черви едят, и содержу этой вот корзиной, чтоб не сглазить, целую семью, пятеро сирот. Пошел он себе и купил корзину, пусть ему саван покупают, милый боже! «Что это?» — спрашиваю. «Корзина»,— отвечает он. «Что ты, говорю, станешь делать с этой корзиной?» — «То же самое, отвечает, что и ты».— «Как это так?» — «Я тоже,— говорит он,— имею пятеро ребят, которые хотят кушать... Ты, говорит, их не накормишь...» Что вы на это скажете? И так вот тащится он за мной с корзи-

ной и забирает у меня всех покупателей, душу пусть у него заберут, и вырывает у меня последний кусок, пусть бы его рвали на том свете, милый боже!..

Субъекту в синих очках приходит в голову блестящая идея. Об этом подумал и каждый из нас.

— Зачем же вам обоим топтаться на одном месте?

Женщина уставилась на него опухшими глазами.

— А что же нам делать?

— Поищите другое место. Линия велика.

— Ну, а он?

— Кто?

— Муж мой...

— Какой муж?

— Второй.

— Какой второй муж?..

Ее красное, рябое лицо становится еще красней.

— Что значит, какой второй муж? Да неудачник этот, мой второй муж, горе мое!

Все вскакивают с мест.

— Этот конкурент — ваш второй муж?

— А вы что думали — мой первый муж? Э-э-э! Если б мой первый муж, мир праху его, жил сейчас...

Женщина вздыхает и собирается, видно, рассказать нам, кто был ее первый муж и какой он был. Никто, однако, не слушает. Все говорят, все шумят, все острят и хохочут, хохочут, хохочут!

Скажите мне — почему они хохочут?

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Юношеский роман

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

БУЗЯ

1

Бузя — сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе. Но я думаю, что это не важно. Лучше я расскажу вам вкратце ее биографию.

Мой старший брат Беня жил в деревне, арендовал мельницу. Он отлично стрелял из ружья, ездил верхом и плавал, как рыба. Однажды летом он купался в реке и утонул. На нем сбылась поговорка: «Все хорошие пловцы тонут».

Он оставил нам мельницу, пару лошадок, молодую вдову и ребенка. От мельницы мы отказались, лошадей продали, молодая вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко, а ребенка привезла к нам.

Это и была Бузя.

2

Что отец мой любит Бузю, как родное дитя, а мать моя дрожит над нею, как над единственной дочерью,— это легко понять. В ней они нашли утеху после тяжкого потрясения. Но я? Когда я прихожу из хедера и не застаю Бузи, почему у меня кусок застревает в глотке? А стоит Бузе показаться — и сразу светло становится во всем доме. А когда Бузя говорит со мной, я опускаю глаза. А когда Бузя смеется надо мной, я плачу. А когда Бузя...

3

Я с нетерпением поджидал, когда придет милый, славный праздник пасхи. Я буду свободен. Буду играть с Бузей в орехи, бегать по двору, мчаться с горы вниз, к речке. Там я покажу ей, как пускают «уточек» по воде. Когда я говорю ей об этом, она не верит мне, смеется. Бузя вообще не верит ни единому моему слову. Она, правда, ничего мне не говорит, но она смеется. А я не люблю, когда надо мной смеются. Бузя не верит, что я могу вскарабкаться на самое высокое дерево (стоит мне только захотеть!). Бузя не верит, что я умею стрелять (было бы только из чего!). Вот пусть наступит пасха, милая, славная пасха, когда можно будет играть на улице, на вольном воздухе, не на виду у родителей,— я ей покажу такие штуки, что она ахнет от удивления.

4

Наступил милый, славный праздник пасхи.

Нас обоих нарядили к празднику во все новое. Все, что надето на нас, блестит, сияет, шуршит. Я гляжу на Бузю и вспоминаю «Песнь Песней», которую я перед пасхой учил в хедере. Вспоминаю строфу за строфой:

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои как два голубя под кудрями твоими, волосы подобны козочкам, спускающимся с горы, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из купальни, один к одному, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, и речь твоя слаще меда».

Скажите мне, почему, глядя на Бузю, невольно вспоминаешь «Песнь Песней»? Почему, когда учишь «Песнь Песней», на ум приходит Бузя?

5

Чудесный предпасхальный день. Ясный, теплый день.

— Пойдем, Шимек?

Так спрашивает меня Бузя, и я чувствую, что весь горю. Мать не пожалела нам орехов. У нас полные карманы орехов. Но она взяла с нас слово, что мы до трапезы не будем их есть. Играть — сколько душе угодно. Мы отправляемся, орехи гремят в кармане. На улице хорошо. На улице славно. Солнце уже где-то далеко на небе, спускается вниз за городом. Кругом широкая, вольная, мягкая даль. Местами на горке, что за синагогой, пробивается травка, зеленая, свежая, трепещущая. Со свистом и

щебетаньем проносится над нашими головами ровная ниточка маленьких ласточек, и снова я вспоминаю «Песнь Песней»: «Травка показалась на земле, наступило время соловья, и ранний голос певца весны уже слышен в наших местах». Я чувствую себя странно легким, мне кажется, у меня выросли крылья: вот я поднимусь ввысь и полечу.

6

Из города доносится приглушенный шум. Суета, беготня, галдеж. Канун пасхи! Чудесный предпасхальный день. Ясный, теплый день.

Весь мир в моих глазах предстал сейчас в новом облике. Наш двор — замок. Наш дом — дворец. Я — принц. Бузя — принцесса. Бревна, что свалены возле нашего дома,— это кедры и буки, которые упоминаются в «Песни Песней». Кошка, которая лежит у дверей и греется на солнце,— одна из «полевых ланей», про которых упоминается в «Песни Песней». Гора, что за синагогой,— это гора Ливанская, которая упоминается в «Песни Песней». Женщины и девушки, которые сейчас на дворе моют, гладят, чистят к пасхе,— дщери иерусалимские, что упоминаются в «Песни Песней». Всё, всё из «Песни Песней».

Иду, засунув руки в карманы, потряхиваю орешками. Орехи гремят. Бузя идет рядом со мною. Я не могу идти медленно, меня тянет ввысь. Мне хочется лететь, парить, нестись, подобно орлу. Я бросился бежать, Бузя бежит за мной. Я прыгаю по сложенным бревнам, с бревна на бревно, Бузя прыгает за мной. Я вверх — она вверх, я вниз — она вниз. Кто скорее устанет? Я угадал.

— До каких же это пор? — спрашивает меня Бузя, и я отвечаю ей словами из «Песни Песней»:

— «Пока день дышит прохладою и не исчезнут тени с земли». Та-та-та! Ты устала, а я нет!

7

Я счастлив, что Бузя не умеет того, что я умею. И в то же время мне жалко ее. Сердце мое сжимается от жалости. Мне кажется, что она грустна. У Бузи всегда так: весела, весела, а вдруг забьется в уголок и плачет тихонько. Как бы ее тогда ни утешала мать, как бы ее ни ласкал отец — ничего не поможет. Бузе нужно поплакать. О ком она плачет? Об отце ли, что так

рано умер? Или о матери, которая вышла замуж, уехала и забыла о ней? Ах, эта мать! Когда при Бузе вспоминают о матери, она меняется в лице. Она не уважает своей матери, она не скажет дурного слова о ней, но она ее не уважает. Я это знаю наверное. Я не переношу, когда Бузя грустна. Я сажусь рядом с нею на бревнах и стараюсь рассеять ее грустные мысли.

8

Я держу руки в карманах, громыхаю орехами и говорю ей:

— Угадай, что мог бы я сделать, если бы захотел?

— А что мог бы ты сделать?

— Захочу, и все твои орехи перейдут ко мне.

— Ты их выиграешь у меня?

— Нет, я и не подумаю играть.

— Что же, ты их силой отберешь?

— Нет, они сами ко мне перейдут.

Она поднимает на меня свои большие глаза, прекрасные голубые глаза из «Песни Песней».

Я говорю ей:

— Ты, наверно, думаешь, что я шучу? Я знаю, глупенькая, такой заговор. Скажу слово такое...

Она еще шире раскрывает глаза. Я чувствую себя великим героем, я объясняю ей, как большой, как герой:

— Мы, мальчики, все умеем. У меня в хедере есть товарищ, Шайка Слепой (он слепой на один глаз), он все знает. Нет такой вещи в мире, которой Шайка не знал бы, даже каббалу. А ты знаешь, что такое каббала?

Нет, откуда ей знать? Я чувствую себя на седьмом небе оттого, что могу ей прочесть лекцию о каббале.

— Каббала, глупенькая, эта такая вещь, которая может пригодиться. С помощью каббалы я могу устроить так, чтобы я тебя видел, а ты меня — нет. С помощью каббалы я могу добывать вино из камня и золото из стены. С помощью каббалы я могу устроить так, чтобы мы оба, вот как сидим здесь, поднялись бы ввысь до самых облаков, даже выше облаков!..

9

Подняться с Бузей с помощью каббалы ввысь до самых облаков и даже выше облаков и улететь с ней далеко-далеко за океан — это было одним из заветнейших моих мечтаний. Там,

за океаном, начинается страна карликов, потомков богатырей времен царя Давида. А карлики ведь очень славные человечки. Питаются они одними сластями и миндальным молоком, по целым дням играют на маленьких свирелях, пляшут и водят хороводы, ничего не боятся и очень гостеприимны. Заедет к ним кто-либо из «наших», они его кормят, и поят, и дарят ему лучшие одежды и множество золотой и серебряной утвари, а перед отъездом набивают ему полные карманы алмазов и брильянтов, которые валяются у них, как у нас, скажем, мусор на улицах.

— Как мусор на улицах? Неужели? — спрашивает меня однажды Бузя, когда я ей рассказываю о карликах.

— Ты не веришь?

— А ты веришь?

— А почему бы нет?

— Где ты слыхал об этом?

— Как это где? В хедере.

— А! В хедере...

Все ниже и ниже опускается солнце и окаймляет небо багряной полосой чистейшего золота. Золото отражается в глазах Бузи — они купаются в золоте.

10

Мне очень хочется, чтобы Бузя пришла в восторг от могущества Шайки и от тех фокусов, что я могу сделать с помощью каббалы. Но Бузя и не думает восторгаться. Наоборот, мне кажется, она смеется. А иначе — почему же она показывает мне свои жемчужные зубки? Меня это начинает сердить, и я говорю ей:

— Ты, может, не веришь мне?

Бузя смеется.

— Ты, может, думаешь, что я хвастаю? Что я сочиняю?

Бузя смеется еще громче. А! Если так, я ее проучу! Уж я знаю чем. Я говорю:

— Как жаль, что ты не знаешь, что такое каббала. Знай ты, что такое каббала, ты не смеялась бы. С помощью каббалы я могу, если захочу, привести сюда твою мать. Да, да. И если ты будешь очень просить, я приведу ее к тебе сегодня же ночью, верхом на палке.

Разом обрывается смех. Облачко пронеслось по ее прекрасному, светлому личику. И мне кажется, будто солнце вне-

запно скрылось. Нет солнца. День ушел. Боюсь, что я слишком увлекся. Не надо было затрагивать больное место — мать. Я жалею об этом. Надо загладить свою вину. Надо с ней помириться. Я придвигаюсь к Бузе поближе; она отворачивается от меня; хочу взять ее за руку, хочу сказать ей словами «Песни Песней»: «Оглянись, оглянись, Суламифь...»

— Обернись ко мне, Бузя!..

Вдруг слышу голос из дома:

— Шимек! Шимек!

Шимек — это я. Это мать зовет меня идти с отцом в синагогу.

11

Отправиться с отцом в ночь под пасху в синагогу — есть ли бóльшая радость! Уж одно это чего стоит, что ты одет с головы до ног во все новенькое и тебе есть чем похвастать перед товарищами! Или взять молитвы! Первая пасхальная «Вечерняя»! Первое праздничное «Да святится»! Ах, сколько удовольствий милостивый бог уготовил для нашего народа!

— Шимек! Шимек!

Матери моей некогда. «Иду, иду, уже иду! Мне только два слова сказать Бузе, всего лишь два слова...»

И я говорю ей свои два слова. Я сознаюсь ей в том, что сказанное мною только что — неправда. Заставить с помощью каббалы кого-либо летать — невозможно. Сам полететь — это я могу, и это я ей покажу. Вот только пройдут праздники, и я сделаю первую пробу. На ее глазах я поднимусь вверх, вот с этого самого места, где бревна лежат, и в одну минуту буду выше облака. Оттуда я возьму вправо, туда — видишь! Там кончается все, и начинается Ледовитый океан.

12

Бузя внимательно слушает. Солнце посылает свои последние лучи, целует на прощание землю.

— А что такое Ледовитый океан? — спрашивает Бузя.

— Не знаешь, что такое Ледовитый океан? Ледовитый океан — это застывшее море. Вода там густая, как студень, и соленая, как селедочный рассол. Корабли по тому морю не ходят, а люди, которые туда попадают, обратно уже никогда не возвращаются.

Бузя смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

— Зачем тебе идти туда?

— Разве я пойду, глупенькая? Я ведь лечу. Лечу по поднебесью, как орел. В несколько минут я ведь снова на суше. А там начинаются двенадцать высоких гор, которые пышут огнем; на двенадцатую гору, у самой вершины, я спущусь, пройду пешком семь миль и доберусь до дремучего леса. Иду все лесом да лесом, пока не приду к маленькому ручейку. Ручеек переплыву и отсчитаю семь раз по семь. Тогда предстанет передо мной древний старичок с длинной бородой и спросит меня: «Скажи, чего ты желаешь?» И я скажу ему: «Отведи меня к царевне».

— К какой царевне? — спрашивает меня Бузя, и мне кажется, что она испугалась.

— Царевна — это прекрасная принцесса, которую украли из-под венца, околдовали и посадили в хрустальный замок, вот уже семь лет...

— А тебе-то что до нее?

— Как это, что мне до нее? Ведь я должен ее освободить.

— Ты должен ее освободить?

— А кто же?

— Не надо лететь так далеко. Послушай меня, не надо...

13

Бузя берет меня за руку, и я чувствую, что ее маленькая белая ручка холодна.

Я смотрю ей в глаза и вижу, как в них отражается золотое солнце, которое прощается с днем, с первым ясным, теплым предпасхальным днем. Мало-помалу день умирает. Точно свеча, гаснет солнце. Шум, стоявший весь день, смолкает. На улице уж не видать ни живой души. В окнах домов показываются огоньки праздничных свечей. Странная торжественная тишина окружает нас, меня и Бузю, и мы чувствуем себя крепко слившимися с этой праздничной тишиной.

— Шимек! Шимек!

14

Уже в третий раз мать напоминает, что мне пора в синагогу. Да разве я сам не знаю, что мне пора в синагогу. Посижу еще минуту, одну минуту, не больше. Но Бузя услыхала, что меня зовут, она вырывает руку, поднимается и торопит меня.

— Шимек, это тебя зовут, тебя! Иди, иди, пора уже! Иди, иди!

Я собираюсь уходить. День улетел. Погасло солнце. Золото превратилось в кровь. Ветерок подул, легкий, прохладный. Бузя торопит меня — иди!

Я бросаю на нее последний взгляд. Совсем не та Бузя. Иной вид, иную прелесть приобрела она в моих глазах в этот зачарованный вечер. «Заколдованная принцесса»,— проносится у меня в голове. Но Бузя не дает мне долго думать. Она торопит меня, торопит меня. Я иду и оглядываюсь на заколдованную принцессу, которая целиком слилась с этим волшебным пасхальным вечером. И я останавливаюсь, зачарованный. Но она машет мне рукой: «Иди, иди!» И мне кажется, я слышу ее голос, она говорит мне словами «Песни Песней»: «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических...»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ЗА ЗЕЛЕНЬЮ

1

— Скорее, Бузя, скорее! — говорю я Бузе в канун праздника швуэс, беру ее за руку, и мы быстро взбираемся на гору.— День не ждет, глупенькая. Нам надо пройти вон какую гору, а за горой еще речка. Через речку положено несколько бревен — это мостик. Река течет, лягушки квакают, бревна под ногами качаются, и лишь там, за мостиком, начинается настоящий рай, Бузя! Там начинаются мои владения.

— Твои владения?

— Нет, левада. Большой луг, который тянется, тянется без конца без краю, покрытый зеленым ковром, расшитый желтыми ромашками, красными цветочками расцвеченный. И какие там запахи, тончайшие в мире благоухания! И деревья там есть у меня: и нет им числа, высокие, ветвистые деревья. Там есть у меня горка, на которой я сижу. Хочу — сяду, захочу — скажу волшебное слово и полечу, подобно орлу, выше тучи, над полями, лесами, через моря и пустыни, пока не перелечу за Черные горы.

— А оттуда? — перебивает меня Бузя.— Ты пройдешь пешком семь миль и придешь к ручейку...

— Нет, к дремучему лесу... Раньше я иду все лесом да лесом и лишь потом приду к ручейку...

— Ручеек переплывешь и отсчитаешь семь раз по семь...

— Предстанет предо мной древний старичок с длинной бородой...

— Он спросит тебя: «Скажи, чего ты желаешь?»

— И я скажу ему: «Отведи меня к царевне...»

Бузя вырывает свою руку из моей и мчится вниз с горы. Я бегу за ней.

— Бузя, чего ты так бежишь?

Бузя не отвечает, Бузя сердита. Она не любит царевны. Все сказки она любит, только не про царевну...

2

Кто такая Бузя — вы, должно быть, помните. Я вам уже однажды рассказывал о ней. Но если вы забыли, я повторю еще раз.

У меня был старший брат Беня. Он утонул. Он оставил водяную мельницу, молодую вдову, пару лошадок и ребенка. От мельницы мы отказались. Лошадок продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко. А ребенка забрали к нам.

Это и была Бузя.

Ха-ха-ха! Все думают, что мы с Бузей брат и сестра: моего отца она зовет отцом. Мою мать — матерью. И мы живем, словно брат и сестра, и любим друг друга, как брат и сестра.

Как брат и сестра? Почему же Бузя меня стыдится?

Однажды произошло у нас вот что. Мы остались одни, совершенно одни во всем доме. Дело было перед вечером, уже стемнело. Отец ушел в синагогу читать поминальную молитву по покойному брату Бене, а мать пошла куда-то за спичками. Мы с Бузей забрались в уголок, и я рассказывал ей сказки. Прекрасные сказки из хедера, сказки из «Тысячи и одной ночи». Она придвинулась ко мне совсем близко. Ее рука в моей руке.

— Говори, Шимек, говори!

Тихо спускается ночь. Медленно взбираются по стенам тени, дрожат, ползут по земле и расплываются. Мы едва видим друг друга, но я чувствую — ее ручка дрожит, слышу — сердечко стучит, вижу — глазки блестят в темноте. Вдруг она вырывает

свою руку из моей. «Что такое, Бузя?» — «Нельзя».— «Чего нельзя?» — «Нельзя нам держаться за руки».— «Почему? Кто тебе сказал?» — «Сама знаю».— «Разве мы чужие? Разве мы не брат и сестра?» — «Ах, если бы мы были брат и сестра!» — тихо говорит Бузя, и в ее словах мне слышится отзвук «Песни Песней»: «О, если бы ты был мне брат!»

Вечно вот так: когда я говорю о Бузе, мне вспоминается «Песнь Песней».

3

На чем мы остановились? Канун швуэс. Мы мчимся с горы. Впереди Бузя, за нею я. Бузя сердится на меня за царевну. Все сказки она любит, только не про царевну. Не беспокойтесь, однако, гнев Бузи длится недолго. Вот она уже снова смотрит на меня своими большими, ясными, задумчивыми глазами. Она отбрасывает волосы назад и говорит мне:

— Шимек! Ой, Шимек! Посмотри-ка, посмотри! Небо-то какое! Посмотри, как чудесно кругом!

— Я вижу, глупенькая, конечно, вижу! Вижу небо, чувствую теплый ветерок, слышу, как птички поют и щебечут и носятся над нашей головой. Это наше небо, наш ветерок, наши птички — все наше, наше, наше! Дай свою руку, Бузя!

Нет, она не дает мне руки, она стыдится. Почему Бузя стыдится меня? Отчего она покраснела?

— Там,— говорит мне Бузя и убегает вперед,— там, когда будем за мостиком.

И мне кажется, она говорит словами Суламифи из «Песни Песней»: «Приди, возлюбленный мой! Выйдем в поле, побудем в селах! Ранним утром пойдем в виноградники. Посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки?»

И вот мы у мостика.

4

Река течет, лягушки квакают, бревна качаются, и Бузя дрожит.

— Ах, Бузя, какая ты... чего ты боишься, глупенькая? Держись за меня, или давай я тебя обниму. Я тебя, а ты меня. Видишь? Вот так.

Мостик кончился.

И так, обнявшись, мы идем вдвоем, одни по этому раю. Бузя держится за меня крепко-крепко. Она молчит. Но мне кажется, она говорит мне словами «Песни Песней»: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне...»

Левада обширна, она тянется без конца, без краю, зеленым ковром покрыта, желтыми ромашками расшита, красными цветочками расцвечена. И какие здесь запахи слышатся — тончайшие в мире бальзамы! И мы идем, обнявшись, одни по этому раю.

— Шимек! — говорит мне Бузя, смотрит мне прямо в глаза и придвигается ко мне еще ближе.— Когда же мы будем рвать зелень для праздника?

— День еще велик, глупенькая! — говорю я ей и весь пылаю. Я не знаю, на что мне раньше глядеть: на голубой купол неба, или на зеленый ковер широкого луга, или туда, на край света, где небо сливается с землей? Или на светлое личико Бузи глядеть, в ее милые большие глаза, которые кажутся мне глубокими, как небо, и задумчивыми, как ночь? Ее глаза всегда задумчивы. Глубокая печаль затаилась в них. Тихой грустью подернуты они. Я знаю ее печаль, мне знакома ее грусть. Великое горе затаила она в груди — обиду на мать, которая вышла замуж за чужого человека и уехала от нее навсегда, навеки,— будто никогда у нее и не было матери. Моя мать — ее мать, мой отец — ее отец. И они любят ее, как родное дитя, дрожат над нею, потворствуют всем ее прихотям. Нет у них ничего слишком дорогого для Бузи. Бузя сказала, что хочет пойти со мною нарвать зелени на праздник (это я ее натолкнул на эту мысль). Отец посмотрел поверх своих серебряных очков, погладил серебряные нити своей серебряной бороды и спросил у матери: «Как ты думаешь?» И вот начинается разговор между родителями о нашей прогулке за город.

Отец. Как ты думаешь?

Мать. А ты как думаешь?

Отец. Отпустить их погулять?

Мать. Отчего б и не отпустить?

Отец. Гм... Разве я говорю?

Мать. А что же ты говоришь?

Отец. Я лишь спрашиваю, стоит ли их отпускать?

Мать. Отчего бы им не пойти?

И так дальше. Я знаю, в чем тут заминка: раз двадцать напоминает мне отец, а за ним и мать, что там есть мостик, а под мостиком — вода, речка, речка, речка...

5

Мы, я и Бузя, давно уже забыли про мостик, про воду, про речку... Мы мчимся по широкому, вольному лугу, под широким, вольным небом. Мы бежим по зеленому лугу, падаем, кувыркаемся в душистой траве. Встаем, падаем, кувыркаемся снова и снова. А зелень для праздника мы еще и не начинали рвать.

Я веду Бузю вдоль и поперек луга, расхваливаю перед ней свои владения:

— Видишь вот эти деревья? Видишь этот песочек? Видишь эту горку?

— И все это твое? — говорит мне Бузя, и глаза ее смеются.

Мне досадно, что она смеется. Вечно она смеется надо мной. Я надулся и отворачиваюсь. Бузя догадывается, что я сержусь. Она заходит спереди, заглядывает мне в глаза, берет меня за руку и говорит мне: «Шимек!» Обида исчезает, и все забыто. Я беру ее за руку и веду к моей горке, туда, где я сижу каждый год. Хочу — сижу, хочу — скажу колдовское слово и лечу, как орел, выше тучи, над полями и лесами, через моря и пустыни...

6

Там, на горке, сидим мы, я и Бузя (зелень к празднику мы все еще не нарвали), и рассказываем сказки.

То есть я рассказываю, а она слушает. Я рассказываю ей о том, что будет когда-то с нами, когда я буду большой, и она большая, и я ее засватаю... Мы тогда поднимемся, с помощью колдовского слова, выше тучи и облетим весь мир. Прежде всего мы полетим в те земли, где побывал Александр Македонский. Потом мы полетим в святую землю, побываем там на всех горах бальзамических, во всех виноградниках, набьем карманы рожками, винными ягодами, финиками, оливами и улетим оттуда еще дальше, дальше. И везде мы выкинем какую-нибудь штуку, потому что никто ведь нас не увидит...

— Никто нас не увидит? — спрашивает Бузя и хватает меня за руку.

— Никто, никто! Мы всех будем видеть, а нас никто не увидит!

— В таком случае, Шимек, у меня к тебе просьба...

— Просьба?

— Небольшая просьба...

Я заранее знаю ее просьбу. Она хочет, чтобы мы полетели туда, где живет ее мать, и проучили бы ее отчима...

— Отчего бы и нет? — говорю я ей.— С большим удовольствием! Можешь на меня положиться, глупенькая. Я их так проучу, что они запомнят!

— Не их, а его, одного его,— просит меня Бузя.

Но я не так-то легко соглашаюсь на это. Меня если рассердишь, то уж держись! Как это я прощу ей такую штуку? Подумать только, что женщина может себе позволить — выйти замуж за чужого, уехать бог весть куда и бросить ребенка, даже письма не написать! Разве так можно? Слыхано ли такое злодейство?

7

Напрасно я так погорячился. Я уже раскаиваюсь, совесть меня грызет, как собака. Но пропало. Бузя закрыла лицо обеими руками. Она плачет. Я бы сам себя в куски изорвал! Зачем было бередить ее рану? Зачем я задел ее мать? И глубоко в душе я всячески ругаю себя: «Дурак! Осел! Олух! Баранья голова! Болтун!» Я придвигаюсь к ней, беру ее за руку: «Бузя! Бузя!» Мне хочется сказать ей словами «Песни Песней»: «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой...»

Вдруг... Откуда же взялись здесь отец и мать?

8

Серебряные очки отца сверкают издали. Серебряные нити его серебряной бороды распустились по ветру. А мать издали машет нам платком. Мы оба, я и Бузя, сидим оторопелые. Зачем приплелись сюда отец с матерью? Они пришли нас проведать, не случилось ли с нами чего. Мало ли какое несчастье может случиться?.. Мостик, вода, речка, речка, речка.

Чудные люди — мои родители!

— А где ваша зелень?

— Какая зелень?

— Зелень, что вы обещали нарвать к празднику?

Мы оба, я и Бузя, переглядываемся. Я понимаю ее взгляд. Мне кажется, я слышу, как она говорит словами «Песни Песней»:

«О, если бы ты был брат мой! Почему ты мне не брат?..»

. . . .

— Ладно уж, зелень к празднику мы как-нибудь достанем,— говорит с улыбкой отец, и серебряные нити его бороды поблескивают в светлых лучах золотого солнца.— Слава тебе господи, дети здоровы, и с ними ничего не приключилось.

— Слава тебе господи! — отвечает мать и вытирает платком красное, вспотевшее лицо свое. И оба довольны. Улыбка расплывается на их лицах.

Чудные люди — мои родители!

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

В ЭТУ НОЧЬ

1

«Дорогому сыну нашему имярек...

Посылаю тебе 00 рублей и прошу тебя, сын мой, окажи нам милость и приезжай на пасху. Стыдно мне перед людьми на старости лет. Один-единственный сын — и того не можем повидать. И мать также молит тебя непременно приехать на пасху. И еще могу сообщить тебе, что Бузю надо поздравить. Она стала невестой. С божьей помощью, в субботу после швуэс свадьба.

Твой отец...»

Это пишет мне отец — впервые так ясно. В первый раз с тех пор, как мы разошлись. А разошлись мы с отцом тихо, без ссоры. Я восстал против его заветов. Не хотел идти по его стопам. Я пошел своей дорогой, уехал учиться. Раньше он сердился, говорил, что никогда не простит мне, разве на смертном одре. Потом он простил меня. Потом он стал посылать деньги: «Посылаю тебе 00 рублей, а также шлет тебе сердечный привет мать». Короткие, сухие письма. Мои письма к нему также были сухие, короткие: «Твое письмо и 00 рублей получил, шлю сердечный привет матери».

Холодны, мертвенно холодны были наши письма. До того ли мне было в том мире мечтаний, в котором я жил? Но теперь письмо отца меня разбудило. Сознаюсь, что не столько жалобы отца, что ему стыдно перед людьми, и не столько просьбы и мольбы матери, ничто меня не тронуло так (сознаюсь чистосердечно), как эти несколько слов: «И еще могу сообщить тебе, что Бузю надо поздравить...»

Бузя — та Бузя, равной которой нет нигде, разве только в «Песни Песней». Та Бузя, с которой так неразрывно связаны мое детство и юность. Та Бузя, которая была заколдованной царевной всех моих чудесных сказок, прекраснейшей принцессой моих золотых мечтаний — эта Бузя теперь невеста? Чья-то невеста — не моя?!

2

Кто такая Бузя? Ах, вы не знаете, кто такая Бузя? Вы забыли? Я должен еще раз рассказать вам вкратце ее биографию, теми же словами, которыми я рассказывал когда-то, много лет тому назад.

У меня был старший брат Беня. Он утонул. Он оставил мельницу, молодую вдову, пару лошадок и ребенка. Мельницу мы бросили, лошадок продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко, а ребенка мы забрали в наш дом. Это и была Бузя.

И красива Бузя, как прекрасная Суламифь из «Песни Песней». Всякий раз, когда я видел Бузю, я невольно вспоминал Суламифь из «Песни Песней». И всякий раз, когда я в хедере учил «Песнь Песней», перед моими глазами вставала Бузя.

Имя ее сокращенное: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. С нею вместе я рос. Моего отца она зовет отцом, мою мать она зовет матерью. Все думали, что мы брат и сестра. И мы любили друг друга, как брат и сестра.

Как брат и сестра, мы, бывало, заберемся в уголок, и там я ей рассказывал сказки, слышанные в хедере от моего товарища Шайки, который знал все, даже каббалу. С помощью каббалы, говорил я ей, я могу делать фокусы: добывать вино из камня и золото из стены. С помощью каббалы, говорил я ей, я могу устроить так, чтоб мы оба поднялись до тучи и даже выше тучи. Ах, как она любила слушать мои сказки! Только одну сказку Бузя не любила слушать: о царевне, о принцессе, которую заколдовали, украли из-под венца и посадили в хрустальный дворец на семь лет, а я лечу ее выручать... Все любила слушать Бузя, кроме сказки о заколдованной принцессе, которую я должен лететь выручать. «Не надо лететь так далеко, послушайся меня, не надо!» Так говорила мне Бузя, уставившись на меня своими прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней».

Это и была Бузя.

Теперь мне пишут, что ее надо поздравить. Она стала невестой. Чьей-то невестой, не моей!

Я сел к столу и ответил отцу письмом:

«Моему достопочтенному отцу имярек...

Твое письмо и 00 рублей я получил. Через несколько дней, как только улажу свои дела, я приеду. На первый день пасхи или на второй — но приеду наверное. Привет сердечный маме. А Бузе — мои поздравления, желаю ей счастья...

От меня, твой сын...»

3

Это неправда. Мне не надо было улаживать никаких дел, мне не надо было «ждать несколько дней». В тот же день, когда я получил от отца письмо и ответил ему письмом, я помчался домой и примчался как раз в канун пасхи. В теплый, ясный предпасхальный день.

Я нашел свой городок точно таким же, каким я его оставил когда-то, много лет тому назад. Все здесь по-старому, не изменилось ничего. Те же дома, те же люди. Та же предпасхальная ширь и тот же предпасхальный шум.

Одного только не стало: «Песни Песней». Нет, все кругом уже не пахнет «Песнью Песней», как когда-то, много лет тому назад. Наш двор уже не виноградник царя Соломона, что в «Песни Песней». Бревна и доски, которые лежат возле нашего дома, уже больше не кедры и буки. Кошка, которая лежит у дверей и греется на солнце, уже больше не полевая лань, про которую упоминается в «Песни Песней». Гора, что за синагогой, уже не гора Ливанская. Женщины и девушки, которые стоят во дворе, моют, гладят и чистят к пасхе, уже больше не дщери иерусалимские, о которых говорится в «Песни Песней»... Куда девался мой юный, свежий, ясный и светлый благоухающий мир, мой мир из «Песни Песней»?..

4

Я нашел наш дом точно таким же, каким я оставил его много лет тому назад. Все осталось по-старому, не изменилось нисколько. Отец — такой же, как был. Но его серебряная борода серебрится еще больше. На широком белом лбу прибавилось несколько морщинок. По-видимому, от забот.

И мать — такая же, как была, только румяное лицо ее немного пожелтело. И еще мне кажется — она стала ниже

ростом. А может, мне так показалось, потому что она немного ссутулилась, пригнулась к земле? И глаза ее покраснели, как будто припухли. Неужто от слез?..

О чем плакала моя мать? О ком? Обо мне, ее единственном сыне, который не захотел слушаться отца, восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, а пошел собственною дорогой, поехал учиться и так долго не был дома? Или Бузю оплакивает мать. Бузю, которая выходит замуж? Через неделю после швуэс свадьба...

Ах, Бузя! И она ни капли не изменилась. Не изменилась нисколько. Только выросла. Выросла и стала прекрасна. Еще прекраснее, чем когда-то. Высокая и стройная, статная, голубые глаза из «Песни Песней». Только более задумчивые, чем когда-то, задумчивые, углубленные, озабоченные, прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И улыбка на губах. И мила, и приветлива, и любезна, и тиха, как голубица, скромна и тиха.

Когда я гляжу на Бузю, я вспоминаю ту Бузю из милого прошлого. Я вспоминаю ее новые праздничные платья, которые мать сшила ей тогда на пасху. Вспоминаю ее новые праздничные башмачки, которые отец ей купил тогда на пасху. И когда я вспоминаю о былой Бузе, мне невольно вновь приходит на память давно забытая «Песнь Песней», строфа за строфой: «Глаза твои как два голубя под кудрями твоими, волосы подобны козочкам, спускающимся с гор, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из купальни, один в один, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, и речь твоя слаще меда».

Я смотрю на Бузю, и вновь все становится, как в «Песни Песней», как когда-то, много лет тому назад.

5

— Бузя, тебя можно поздравить?

Она не слышит. Почему она опустила глаза? Почему покраснели ее щечки? Нет. Я должен ее поздравить.

— Поздравляю тебя, Бузя!

— Спасибо.

И больше ничего. Спросить ее невозможно. Поговорить с ней негде. Не дает отец. Не дает мать. Не дают родственники, вся родня, соседи, которые пришли повидаться со мной. Один уходит, другой приходит. Все стоят вокруг меня. Все оглядывают меня, как медведя, как странного пришельца из другого

мира. Все хотят меня видеть и слышать,— как я поживаю и что поделываю,— сколько лет не видались!

— Расскажи же нам что-нибудь новенькое. Что видал, что слыхал?

И я рассказываю им, что видел и слышал, и смотрю в это время на Бузю. Я ищу ее глаза и встречаюсь с ее глазами. С ее большими, глубокими, озабоченными, прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней». Но ее глаза немы, как ее губы, как она сама. Ничего не говорят мне ее глаза. Решительно ничего. И мне приходит на ум, как в былые годы, «Песнь Песней», строфа за строфой. «Сад запертый — сестра моя, невеста. Колодезь заключенный, источник запечатанный».

6

И буря разрастается у меня в груди, и огонь пылает в моем сердце, гнев — не против других, а против самого себя. На себя негодую и на те мечты, глупые, детские, золотые мечты, ради которых я покинул отцовский дом. Ради них я забыл о Бузе. Ради них я пожертвовал частью своей жизни, проиграл свое счастье, проиграл, проиграл навеки!

Проиграл? Нет. Не может быть! Не может быть! Ведь вот я приехал. Приехал вовремя... Только бы мне остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей два-три слова. Но где мне сказать Бузе эти два-три слова, когда кругом столько людей? И они окружают меня со всех сторон. Все оглядывают меня, как медведя, как пришельца из другого мира. Все хотят меня видеть и слышать,— как я поживаю и что поделываю,— столько лет не видались!

Внимательнее всех слушает меня отец. Он сидит над старым фолиантом, как всегда, морщит свой широкий лоб, как всегда, и смотрит на меня поверх своих серебряных очков, гладит серебряные волосы своей серебряной бороды. Но мне кажется, что он смотрит на меня не так, как всегда. Нет, это не тот взгляд, не тот. Я чувствую это. Он оскорблен. Я восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, пошел своей дорогой.

Мать также стоит возле меня, бросила кухню, предпраздничные хлопоты и слушает меня со слезами на глазах. Кончиком передника она украдкой вытирает слезы, хотя лицо ее улыбается; и она слушает, как я рассказываю, и она смотрит на меня и глотает, глотает каждое мое слово.

Бузя также сидит против меня, сложив руки на груди, и слушает меня, как и все. Как и все, она смотрит на меня. Как

и все, она глотает каждое мое слово. Я смотрю на Бузю. Я читаю в ее глазах и ничего не могу прочитать. Ничего.

— Да рассказывай же, чего ты замолчал? — говорит мне отец.

— Оставь ты его в покое! — спохватывается мать.— Мальчик устал, мальчик голоден. А он: рассказывай да рассказывай! Рассказывай да рассказывай!

7

Понемногу народ начинает расходиться, и мы остаемся одни: отец, мать, я и Бузя. Мать уходит в кухню и скоро возвращается с красивой пасхальной тарелкой, знакомой тарелкой, расписанной большими зелеными листьями.

— Ты закусил бы, Шимек! До трапезы еще далеко,— говорит мне мать с любовью и душевной теплотой.

Бузя подымается, идет своим тихим, спокойным шагом и приносит мой прибор — знакомый пасхальный прибор. Все это мне знакомо. Все здесь осталось по-старому, не изменилось нисколько. Та же тарелка с большими зелеными листьями, та же вилка и нож с белой костяной ручкой. Тот же чудесный запах пасхального гусиного жира. Тот же сладостный вкус пасхальной поджаренной мацы.

Все здесь по-старому. Не изменилось нисколько...

Но тогда, в канун пасхи, мы оба ели, я и Бузя... Из одной тарелки, помнится мне, мы ели. Вот из этой самой пасхальной, красиво разрисованной тарелки, расписанной зелеными листьями. И орехов дала нам мать тогда, помнится мне. Полные карманы орехов. И мы взялись тогда за руки, помнится мне, я и Бузя, и мы полетели, помнится мне, как орлы. Я мчусь — она за мной. Я через колоду — она за мной. Я вверх — она вверх; я вниз — она вниз.

«Шимек! До каких же пор бежать, Шимек?» — говорит мне Бузя. А я отвечаю ей словами «Песни Песней»: «Пока день дышит прохладою и не исчезнут тени с земли...»

8

Это было когда-то, много лет тому назад. Теперь Бузя выросла, стала большая. И я вырос, стал большой. И невестой она стала, Бузя, чьей-то невестой, не моей... Я хочу остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей несколько слов. Хочу

услышать ее голос. Словами «Песни Песней» я хочу сказать ей: «Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой...» И мне кажется, ее глаза ответят мне словами «Песни Песней»: «Пойдем, дорогой мой, выйдем в поле, не здесь, в поле... в поле... Там я тебе скажу. Там я тебе расскажу. Там мы будем говорить. Там...»

Я выглядываю в окно на улицу. Ах, как хорошо, как чудесно там! Совсем как в «Песни Песней»! Жаль только, день уже на исходе. Низко-низко опускается солнце и окрашивает небо в багрянец и золото. Золото отсвечивает в глазах Бузи. Глаза ее купаются в золоте. Скоро и дню конец. Не успею даже словечком перемолвиться с Бузей. Весь день ушел на пустую болтовню с отцом, с матерью, с родней — о том, что я слышал, о том, что я видел... Я встаю, поглядываю в окно на улицу и мимоходом говорю Бузе:

— Не пойти ли нам погулять? Так долго дома не был. Хотелось бы поглядеть на наш двор, посмотреть город...

9

Но что это с Бузей? Лицо ее вспыхнуло, оно горит огнем. Как солнечный шар перед самым закатом, так покраснела она. Она кидает взгляд на отца. Видимо, она хочет знать, что скажет отец? А отец смотрит на мать поверх своих серебряных очков. Он поглаживает серебряные нити своей серебряной бороды и говорит просто так, не обращаясь ни к кому:

— Солнце садится. Пора уже одеваться, скоро и в синагогу идти. Свечи пора зажигать. Как ты полагаешь?

Нет, сегодня мне, видно, не обменяться с Бузей ни словом.

Мы идем одеваться. От матери уже пахнет праздником. Она надела свое праздничное шелковое платье. Ее белые руки блестят: ни у кого нет таких белых красивых рук, как у моей матери. Вот скоро она будет зажигать свечи. Своими белыми руками она закроет глаза и будет тихо-тихо плакать, как когда-то. Последний луч заходящего солнца будет играть на ее красивых, благородных белых руках. Ни у кого нет таких красивых, благородных белых рук, как у моей матери.

Но что с Бузей? Лицо ее погасло, как солнце перед закатом, как уходящий день. Красива она, однако, и прелестна, как никогда. И глубоко печальны ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И задумчивы ее глаза.

О чем думает теперь Бузя? О милом госте, которого она так долго ждала и который примчался так неожиданно после

долгой отлучки в родной дом? Или о своей матери, которая вторично вышла замуж и уехала куда-то далеко и забыла, что у нее есть дочь, которую зовут Бузей? Или о своем женихе думает Бузя, которого отец и мать, конечно, навязали ей против ее воли? Или о свадьбе, которая должна состояться через неделю после швуэс, с человеком, которого она не знает и не ведает, кто он и что он... А может быть, наоборот, может быть, я ошибаюсь? Может, она ведет счет дням — от пасхи до швуэс, потому что это ее избранник, потому что он ей мил, он ей дорог? Он поведет ее под венец, и ему подарит она свое сердце и любовь. А мне? Мне она, увы, всего только сестра. Была сестра и осталась сестрой... И мне кажется, она смотрит на меня с состраданием и с досадой и говорит мне, как говорила когда-то, словами «Песни Песней»: «О, если бы ты был брат мой! Ах, почему ты не брат мне?!» Что мне ей ответить на это? Я уж знаю, что я ей отвечу. Только бы удалось сказать ей несколько слов. Несколько слов.

Нет. Сегодня мне с Бузей не обменяться ни единым словечком, ни полсловом. Вот она встает, идет тихими, легкими шагами к шкафу, приносит матери свечи в серебряных подсвечниках. Старые, знакомые высокие серебряные подсвечники. Эти серебряные подсвечники занимали когда-то почетное место в моих золотых мечтаниях о заколдованной царевне в хрустальном дворце. Эти золотые мечты, и эти серебряные подсвечники со свечами, и красивые, белые благородные руки матери, и прекрасные голубые глаза Бузи из «Песни Песней», и последние золотые лучи заходящего солнца — разве все это не переплелось крепко-накрепко, не связалось в нечто единое?..

— Ну,— говорит мне отец, глядя в окно и намекая на то, что нам пора одеваться и идти в синагогу.

Мы одеваемся, я и отец, и уходим в синагогу.

10

Наша синагога, наша старая-престарая синагога тоже не изменилась, не изменилась нисколько. Только стены чуть почернели. Чуть сгорбился аналой, несколько постарела трибуна для чтения Торы, да и притвор со святынями потерял свой былой блеск.

Как маленькое святилище выглядела когда-то в моих глазах наша синагога. Ах! Куда девались былая краса и блеск нашей старой синагоги? Где те ангелы, которые витали здесь под разрисованным потолком в канун субботы и во все праздники, когда я бывал здесь?

И прихожане тоже мало изменились. Только чуть постарели. Черные бороды поседели. Плечи согнулись. Атласные праздничные кафтаны посеклись. Виднеются белые нитки, желтые полосы. Кантор Мейлах и теперь поет так же красиво, как когда-то, много лет тому назад. Только голос у него чуть приглушен. А в молитве у него слышится новый тон: в ней больше плача, чем пения, больше жалобы, чем мольбы. А наш раввин? Старый раввин? Тот вовсе не изменился. Был бел как снег и остался таким же белым. Одна только мелочь: руки у него теперь трясутся, да и весь он трясется. Должно быть, от старости. Служка Азриел, мужчина без признака бороды, был бы тем же, что и когда-то, если бы не зубы. Он потерял все зубы, и со своими впалыми щеками он скорее похож теперь на женщину, чем на мужчину. Однако он и теперь еще может стукнуть рукой по столу, когда дело дойдет до молитвы «Восемнадцать благословений»!.. Правда, удар уже не тот, что когда-то. Когда-то, много лет тому назад, можно было оглохнуть от его удара; теперь уже не то. Видно, не стало былой силы. А был когда-то богатырской силы человек.

Здесь, помнится, много лет тому назад, мне было хорошо, безгранично хорошо. Здесь, в этом маленьком святилище, моя детская душа когда-то витала вместе с ангелами высоко под разрисованным куполом. Здесь, в этом маленьком храме, я много лет тому назад молился горячо и торжественно вместе с моим отцом и всеми прихожанами.

11

И вот я вновь в нашей старой-старой синагоге. И я молюсь вместе со старыми давнишними прихожанами. И я, как когда-то в детские годы, слушаю того же кантора, который поет тем же голосом, что и когда-то. И весь народ горячо и торжественно молится напевно, как в старые, былые годы. И я молюсь вместе со всем народом. Но мои мысли далеки от молитвы. Я листаю свой молитвенник страницу за страницей, и — я неповинен в том — открывается мне «Песнь Песней», глава IV: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими...» Я хотел бы молиться наравне со всеми, как молился когда-то, но не дается мне молитва. Я листаю свой молитвенник, страницу за страницей, и — я неповинен в том — опять открывается «Песнь Песней», глава V: «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста...»

И далее: «Нарвал мирры моей, с ароматами моими; поел сотов моих с медом моим, напился вина моего...»

Что это я говорю? Что я болтаю? Сад не мой. Я не буду рвать мирры, не буду обонять ароматов, не отведаю меда, не буду пить вина. Бузя не моя невеста. Бузя чья-то невеста. Чья-то, не моя!.. Ад бушует во мне. Гнев мой не против Бузи, не против кого-то. Нет. Против самого себя. Как мог я допустить, чтобы у меня отобрали Бузю и отдали другому? Не писала ли она мне писем, не намекала ли, что «надеется в скором времени свидеться»?.. Не откладывал ли я свои ответы ей от праздника к празднику, пока она наконец не прекратила писать мне?..

12

— С праздником! Это мой сын.

Так отец представляет меня после молитвы прихожанам, которые оглядывают меня со всех сторон, здороваются со мной и принимают приветствия, как должное.

— Это мой сын...

— Это ваш сын? Здравствуй...

В словах отца «это мой сын» есть много оттенков: и радость, и гордость, и обида. Можно их истолковать как угодно. «Видите? Это мой сын!..» Или: «Представьте себе, это мой сын!»

Я понимаю его. Он оскорблен. Я восстал против его заветов. Я не пошел по его стопам. Я пошел собственной дорогой и прежде срока состарил его. Нет, он еще не простил меня. Он не говорит этого. Ему и незачем мне это говорить. Я сам это чувствую. Об этом говорят его глаза, которые смотрят сквозь серебряные очки прямо мне в душу. Об этом говорит его тихий вздох, который время от времени вырывается из его старой, слабой груди... Мы идем вдвоем из синагоги домой и молчим. Мы вышли позже всех. Ночь распростерла свои крылья под небом, и тень ее опустилась на землю. Тихая, теплая, торжественная пасхальная ночь. Ночь, полная тайн и загадок. Ночь, полная чудес. Торжественность этой ночи разлилась в воздухе, она глядит из глубины темно-синего неба. О ней тихо шепчутся звезды вверху. Исход из Египта слышится в эту ночь.

Быстрыми шагами иду я домой этой ночью. Отец с трудом поспевает за мной. Как тень, следует он за мной. «Чего ты так мчишься?» — спрашивает он меня, с трудом переводя дыхание.

Ах, отец, отец! Разве ты не видишь, что я подобен серне

или оленю на горах бальзамических!.. Много, слишком много времени уходит, отец, долог, слишком долог мой путь теперь, когда Бузя стала невестой. Чьей-то невестой. Чьей-то, не моей!.. Я подобен серне или оленю на горах бальзамических.

Так хотел бы я ответить отцу словами «Песни Песней», и я не чую земли под ногами. Я шагаю быстро-быстро в эту ночь. А отец еле поспевает за мной. Как тень, следует он за мной в эту ночь...

13

С тем же праздничным приветствием, с каким мы приходили в эту ночь домой когда-то, много лет тому назад, вошли мы и сейчас — я и отец.

Тем же ответным приветствием, которым мать и Бузя встречали нас в эту ночь когда-то, много лет тому назад, они нас встретили и теперь.

Мать, «королева», одета в свое королевское шелковое платье, а «принцесса», Бузя,— в свое белоснежное платье,— та же картина, что и когда-то, много лет тому назад, ничто не изменилось, нисколько, все здесь по-старому.

Как и много лет тому назад, в эту ночь наш дом полон очарования. Какая-то несбыточная красота, волшебная, таинственная красота снизошла на наш дом в эту ночь. Священный праздничный блеск разлился по всему нашему дому в эту ночь. Белые скатерти на столе блестят, как белый нетронутый снег. Мамины свечи торжественно поблескивают в серебряных подсвечниках. Приветливо поглядывает на нас пасхальное вино из бутылок. Ах, с каким наивным благочестием смотрит с разубранного блюда маца! И как мило улыбается прегорький пасхальный хрен и сложно приготовленный харойсес с соленой водой. Торжественно и гордо стоит «королевский» престол, пасхальное ложе. На лице «королевы» сияет благодать, как всегда в эту ночь. А «принцесса» (Бузя) вся, с головы до ног, как из «Песни Песней». Нет, что я говорю,— она сама — «Песнь Песней»!

Жалко только, что «принца» посадили так далеко от «принцессы». Когда-то, мне помнится, они сидели не так. «Принц» задавал отцу, так помнится мне, четыре традиционных вопроса, а «принцесса» крала у «его величества» из-под подушки афикоймен. Ах! Как мы тогда смеялись! Когда-то, бывало, после трапезы, когда «король» снимал уже с себя свое белое одеяние, а «королева» — свое королевское шелковое платье, мы, я и

Бузя, сидели, бывало, вдвоем в уголке, играли в орешки, которыми нас оделила мать, или я рассказывал ей сказку, одну из волшебных сказок, слышанных в хедере от моего товарища Шайки, который все знал. Сказку о заколдованной принцессе, которая сидела в хрустальном дворце семь лет подряд и ждала, чтобы кто-нибудь, с помощью колдовского слова, поднялся выше тучи, полетел над горами и долами, над реками и пустынями, и выручил, освободил бы ее.

14

Но все это было давным-давно, много лет тому назад, а теперь «царевна» выросла, стала большая, и «царевич» вырос большой. И усадили их за столом так безжалостно, что они не могут даже хорошенько видеть друг друга. Представьте себе: по правую руку «его величества» — «царевич», по левую руку «ее величества» — «царевна»! И мы читаем пасхальное сказание, я и отец, громко, как когда-то, много лет тому назад, нараспев, страницу за страницей. А мать и Бузя тихонько повторяют вслед за нами, страницу за страницей. И вот мы доходим до «Песни Песней». И мы читаем с отцом «Песнь Песней», как когда-то, много лет назад, особым напевом. Строфа за строфой. А мама и Бузя тихо повторяют за нами строфу за строфой. Но вот «король», утомленный от долгого чтения истории исхода евреев из Египта, охмелевший от выпитых бокалов, начинает понемногу дремать; подремлет с минуту, проснется и снова громко поет «Песнь Песней»: «Большие воды не могут потушить любовь...», а я подхватываю тем же напевом: «...и реки не зальют ее». Чтение идет у нас все тише и тише, пока «его величество» не засыпает уже по-настоящему. «Королева» трогает его за рукав белого одеяния. С милой деликатностью она будит его и отправляет спать,— а мы с Бузей можем тем временем перекинуться несколькими словами. Я встаю из-за стола и подхожу близко к ней, мы стоим друг против друга — в первый раз так близко в эту ночь. Я показываю ей на чудесную, прекрасную ночь. «В такую ночь,— говорю я,— хорошо погулять...» Она поняла меня и, чуть заметно улыбаясь, ответила мне вопросом: «В такую ночь?..» И мне кажется, она смеется надо мной. Так она смеялась надо мной когда-то, много лет тому назад,— мне это досадно. Я говорю ей: «Бузя, нам надо поговорить, о многом надо поговорить».— «О многом поговорить?» — повторяет она мои слова, и мне кажется, она смеется надо мной... Я говорю: «А может быть, я ошибаюсь? Может быть, нам не о чем теперь говорить?..»

Это сказано было с такой горечью, что Бузя перестает улыбаться, и лицо ее становится серьезным. «Завтра,— говорит она мне,— завтра поговорим...» И радостно становится мне. Радостно, хорошо и весело. Завтра! Завтра уж поговорим! Завтра! Завтра!.. Я подхожу к ней еще ближе и чувствую благоухание ее волос, благоухание ее платья. Милое, прелестное благоухание.

И мне приходят на ум слова «Песни Песней»: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим. И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!»

Остальное мы говорим уже так, без слов, больше глазами. Глазами...

15

— Бузя, покойной ночи,— говорю я ей тихо. Мне трудно расстаться с ней. Ох, как трудно!

— Покойной ночи,— отвечает мне Бузя, стоя неподвижно на месте, и с глубокой тоской смотрит на меня своими прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней».

Я снова желаю ей покойной ночи. И она снова отвечает мне тем же. Приходит мать и уводит меня в мою комнату. Там она разглаживает своими прекрасными белыми руками белое покрывало моей постели, и губы ее шепчут: «Спи спокойно, дитя мое, спи спокойно...»

В этих немногих словах излилось все то море любви, что скопилось у матери за годы, когда меня не было дома. Я готов припасть к ней, расцеловать ее красивые белые руки. Но я этого недостоин. Нет, я этого недостоин, я знаю... Тихо желаю ей покойной ночи и остаюсь один, один-одинешенек в эту ночь.

16

...Один-одинешенек в эту ночь. В эту тихую, мягкую, теплую ночь ранней весны.

Я раскрываю окно, выглядываю из него, смотрю на темно-голубое небо, на сверкающие брильянты-звезды, и спрашиваю самого себя: «Неужели? Неужели?»

Неужели я проиграл свое счастье, проиграл навеки?

Неужели я сам, своими собственными руками, сжег свой

чудесный дворец и выпустил прекрасную волшебную царевну, которую я когда-то заколдовал?.. Неужели? Неужели? А может быть, нет? Может быть, я прибыл вовремя? «Я пришел в свой виноградник, сестра моя, невеста...»

И я сижу еще долго у раскрытого окна в эту ночь. И я делюсь своими тайнами с этой тихой, теплой и мягкой ранней весенней ночью, которая и сама полна, удивительно полна тайн и загадок...

И в эту ночь я узнал нечто новое для меня.

Что я люблю Бузю.

Что я люблю ее той священной, пламенной, адской любовью, которая так прекрасно описана в «Песни Песней». Огромные пламенные буквы вспыхивают, не знаю откуда, и витают перед моими глазами; слова из только что прочитанной «Песни Песней», буква за буквой: «Сильна, как смерть, любовь. Свирепа, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Пламень божий».

И я сижу в эту ночь у раскрытого окна и вопрошаю у этой ночи тайн и загадок, прошу раскрыть мне тайну: «Неужели? Неужели?» Но она молчит, эта ночь тайн и загадок. Тайна остается для меня тайной. До завтра.

«Завтра,— так обещала мне Бузя,— мы будем говорить...» Только минула бы уж эта ночь. Только бы промчалась эта ночь.

Эта ночь... Эта ночь...

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

СУББОТА ПОСЛЕ ШВУЭС

1

И был вечер, и было утро.

Прекрасное, свежее утро, какое бывает иногда в начале лета, между пасхой и швуэс.

В это утро я проснулся первым в доме. День только рождался. Наш маленький сонный городок лишь начинал пробуждаться от сладкого сна. Ясное, теплое, ласкающее солнце готовилось выйти из своего шатра и пуститься по своей великой небесной дороге в этот ранний летний день, между пасхой

и швуэс. Легкий, прохладный ночной ветерок еще носился по свету и еле-еле, словно крылом ангела, касался тихо просыпающейся земли.

Когда я проснулся, первой моей мыслью было: Бузя.

Снова Бузя?

Да, снова Бузя. Снова и опять Бузя. Все мои мысли настолько прикованы к Бузе, что мне не надоест говорить вам о ней еще и еще раз. Еще и еще раз передать вам ее биографию вкратце. Тот, кто слышал меня, вероятно, простит. Кто еще не слышал, тому это нужно услышать: он должен знать, кто была Бузя.

2

У меня был брат Беня. Он утонул в реке. Он оставил сироту, по имени Бузя. Ее имя сокращенное: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. И прекрасна она была, как Суламифь из «Песни Песней». И мы росли вместе, как брат и сестра. И мы любили друг друга, как брат и сестра. Вот кто была Бузя.

Промчались годы. Я оставил свой дом против воли отца и матери. Я восстал против их заветов, не захотел идти по их стопам, пошел своей собственной дорогой, уехал учиться. Вот однажды перед пасхой получаю письмо от отца с поздравлением: Бузя стала невестой, в субботу после швуэс свадьба, и меня просят приехать домой. Я ответил поздравлением и примчался на пасху домой.

И я нашел Бузю выросшей и красивой, еще красивее, чем она была. И в памяти моей проснулась былая Бузя. Суламифь из «Песни Песней». Буря разрослась у меня в груди, и гневный огонь запылал в моем сердце. Гнев не на кого-нибудь, а на самого себя. На себя и на свои детские золотые глупые мечтания, ради которых я покинул отца и мать, восстал против их заветов, уехал учиться и таким образом проиграл свое счастье. Допустил, чтобы Бузя стала невестой, чьей-то — не моей!..

С раннего детства Бузя была мне мила и дорога — это верно, но, когда я приехал домой и увидел Бузю, я понял, что люблю ее.

Что я люблю ее той святой, пламенной, сжигающей любовью, которая так прекрасно описана в «Песни Песней»: «Сильна, как смерть, любовь, свирепа, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Пламень божий».

3

Я ошибся. Я не встал первым в то утро. Моя мать поднялась раньше меня. Она уже одета. Она уже занята чаем, завтраком.

— Отец еще спит. Девочка тоже спит (так зовут у нас Бузю). Что ты будешь пить, Шимек?

Мне все равно. Что она мне даст, то и буду пить. Мать наливает мне чаю и подает мне его своими прекрасными белыми руками. Ни у кого нет таких красивых белых рук, как у моей матери. Она садится против меня и говорит со мной тихо, чтоб отец не услышал. Она говорит об отце. Он стареет, не молодеет. Стареет, слабеет и кашляет. Кашляет большей частью по утрам, когда просыпается. А иногда случается и ночью,— проснется и прокашляет целую ночь, а иногда и днем. Она просит его зайти к врачу — он не хочет. Упрямец. Его упрямство ведь непереносимо! Упаси бог, она не жалуется на него. Так просто, пришлось к слову, она и сказала...

Так мать тихонько жалуется мне на отца. И о Бузе мать рассказывает мне тихим голосом, а глаза у нее сияют. Она наливает еще чаю и спрашивает, как мне понравилась Бузя. Правда ведь, выросла, слава богу, как деревце. Сохрани ее бог от дурного глаза. В субботу после швуэс свадьба, по воле божьей, в субботу после швуэс. Хорошая партия, удачный жених, приличная семья, почтенный, богатый дом. Дом — полная чаша...

— Однако,— продолжает мать свой рассказ,— сколько же, однако, пришлось ее уламывать, пока убедили дать согласие на смотрины. Теперь, слава богу, довольна! А переписка какая! Почти каждый день. (Лицо матери сияет. Глаза у матери блестят.) А чуть письмо запоздает — беда, да и только!.. Это теперь. Но раньше? Чуть душу из нее не вытянули, пока выжали это слово «да»... Бузя тоже порядочная упрямица. Такая уж семья. Коли заупрямится... Упаси бог, никого я не упрекаю. Но так уж, пришлось к слову...

4

«Кто она, глядящая, как заря? Прекрасная, как луна? Светлая, как солнце?»

Это вышла из своей комнаты Бузя.

Вглядываюсь в Бузю — я поклялся бы, она либо плакала, либо не спала эту ночь!

Моя мать права: как стройное деревце, выросла Бузя. Как роза, расцвела она. Ее глаза, ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней», в это утро подернуты нежною дымкою. И все лицо ее в это утро покрыто грустною тенью.

Бузя вся — тайна для меня. Скорбная тайна. Многое хотел бы я узнать. Почему Бузя не спала в эту ночь? Я хотел бы знать, кого она видела во сне: меня — милого гостя, которого она так долго ждала и который примчался так нежданно, или другого видела она во сне? Другого — того, кого отец и мать навязали ей против ее воли?

«Сад запертый — сестра моя, невеста, колодезь заключенный, запечатанный источник...»

5

Бузя — тайна для меня. Скорбная тайна. Несколько раз за день меняется у нее настроение, как погода в летний облачный день: то тепло, то прохладно, то солнце выглянет из-за облаков,— и кругом все становится прекрасно. Но вот надвигается новая туча — и снова кругом все грустно и сумрачно.

Не проходит и дня, чтоб Бузя не получила письма от «кого-то». Не проходит и дня, чтобы не отвечала «кому-то».

Я знаю отлично, кто этот «кто-то», и я ее не спрашиваю. Я не говорю больше с Бузей о «нем». Я считаю, что «он» здесь лишний, навязанный. Но Бузя сама говорит о «нем». Не слишком ли много говорит она о «нем»? В те считанные минуты, когда мы остаемся с ней наедине, Бузя говорит мне о «нем» и хвалит его. Расхваливает его изо всех сил.

Не слишком ли много хвалит она его?

Она говорит мне:

— Хочешь знать, кто он? (Она опускает глаза.) Он благородный. О! Очень благородный. Он славный. Но... (Она подымает глаза на меня и смеется.) Ему далеко до тебя... Где ему до тебя!..

Что хочет Бузя этим сказать? Она хочет меня задобрить? Или она подшучивает надо мной?

Нет, она не хочет меня задобрить, она не подшучивает надо мной. Она изливает свое сердце...

Это ясно, как дважды два.

После чая мать и Бузя ушли в кухню хлопотать о завтраке, а мы с отцом встали на молитву. Я быстро отделался. А отец,

закутавшись в талес, еще стоял лицом к стене и славил бога своего. Вдруг вошла Бузя, одетая, с зонтиком в руке, и говорит мне:

— Пойдем.

— Куда?

— За город, погуляем немного. Чудесный день. Прекрасный день.

Отец поворачивает к ней голову, смотрит поверх своих серебряных очков. А Бузя натягивает перчатки на руки и говорит:

— Ненадолго, отец, ненадолго. Мы скоро придем домой! Мать знает, что мы идем. Идем, Шимек! Ты идешь?

Дивная музыка, прекраснейшая симфония не звучала бы так чарующе, как эти слова прозвучали в моих ушах. В них послышался отзвук «Песни Песней»: «Пойдем, друг, выйдем в поле, побудем в селах! Ранним утром пойдем в виноградники. Посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки?..»

Вне себя от радости я отправляюсь с Бузей и не чую земли под ногами. Что это с Бузей? В первый раз с тех пор, как я дома, случилось такое, чтоб Бузя позвала меня гулять. Что это с Бузей?

6

Бузя права. Прекрасный день. Чудесный день.

Почувствовать очарование такого летнего дня в нашем маленьком, бедном городке можно, лишь выбравшись из его узких уличек на вольный прекрасный мир. Земля облеклась в свою зеленую мантию, разукрасилась всем великолепием своих многокрасочных полевых цветов. Она окаймлена здесь серебристой речонкой — с одной стороны, и низкорослой, но густою рощей — с другой. Серебристый ручеек кажется серебряною каймой нового талеса из голубой шерсти. Густая роща похожа на пышную шевелюру кудрявых волос; время от времени ветер колеблет ее.

На Бузе было голубое платье, легкое, как дым, прозрачное, как воздух, как небо. Зонтик с кружевами зеленого цвета и белые ажурные перчатки на руках. Многоцветной она была, многоцветной, как поле.

В последний раз, говорит мне Бузя, она отпросилась у матери... В последний раз она хочет распроститься с городом, с околицей, с кладбищем, с мельницами, с речкой, с мостиком.

Ради этого последнего раза мать ей уступила. Невесте надо уступать, ха-ха... Невеста всегда добьется... Как ты думаешь, Шимек?

Шимек ничего не думает. Шимек слушает. Мне кажется, Бузя сегодня излишне весела. Неестественно весела. И смеется она как будто принужденно. А может быть, мне только кажется?

— Помнишь, Бузя, когда мы тут были?

Я напоминаю ей, когда мы тут были. Давно-давно. Много лет тому назад это было. Мы пошли вдвоем нарвать зелени на праздник — помнит ли она? Тогда мы тоже шли этой самой дорогой, мимо этих же мельниц, через эту речку, по этому самому мостику.

— Но по-иному гуляли мы тогда, Бузя. Тогда мы бежали, как юные серны, прыгали, как олени на горах бальзамических. А теперь?

— А теперь? — говорит Бузя и наклоняется, чтобы сорвать цветок.

— Теперь мы идем спокойно, как подобает таким порядочным людям, как мы... Помнишь, Бузя, когда мы тут были в последний раз?

— В канун праздника швуэс это было,— отвечает Бузя и дарит мне букет душистых цветов.

— Это мне, Бузя?

— Это тебе, Шимек,— говорит мне Бузя и смотрит своими прекрасными голубыми глазами из «Песни Песней». И взгляд этот проникает мне прямо в душу.

7

Мы уже далеко за городом. Мы уже на мостике. Там я подаю ей руку (в первый раз с тех пор, как я приехал домой). Мы идем оба, рука об руку, по мостику. Бревна качаются. Вода бежит под нашими ногами, переливается и падает вниз, тихо поплескивая, легко шумя, так, что я даже слышу «тик-так» Бузиного сердца, которое так близко, так близко около меня (в первый раз с тех пор, как я приехал домой).

Мне кажется, Бузя наклоняется ко мне все ближе и ближе, я чувствую знакомое благоухание ее красивых волос, я ощущаю нежность и теплоту ее чудесной руки, теплоту ее тела. И мне кажется, я слышу из ее уст слова «Песни Песней»:

«Я принадлежу возлюбленному моему, и мне — возлюбленный мой...» И солнце, и небо, и поле, и речка, и лес приобретают новый блеск, новую прелесть в моих глазах. Жаль, очень жаль, что мостик так короток! Минута — и мы уже прошли мостик, мы уже на леваде. Минута — и гладкая, нежная рука Бузи выскользнула из моей руки,— и солнце, и небо, и поле, и речка, и лес потеряли весь свой прежний блеск и прелесть в моих глазах.

— Странное дело,— говорит мне Бузя, и ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней» в это мгновение глубоки, как небо, и задумчивы, как ночь,— странное дело: всякий раз, когда я перехожу или переезжаю через реку, какая бы река ни была, я вижу своего отца — и всякий раз...

Я перебиваю ее:

— Ты говоришь глупости, Бузя.

Бузя думает с минуту, потом говорит мне:

— Глупости? Ха-ха-ха, ты прав. Я говорю глупости, потому что я глупенькая. Я глупая девушка, правда ведь, глупая девушка? Скажи правду, Шимек. Правду скажи мне, ха-ха-ха!

Бузя смеется, запрокидывает голову и показывает свои красивые зубы. На сияющем солнце лицо ее сияет, и все краски поля отсвечивают в ее глазах, в ее прекрасных голубых глазах из «Песни Песней».

8

Напрасно! Я не могу убедить ее, что она далеко не так глупа, что она вовсе не глупа. Она знает, говорит она мне, она знает, что есть люди глупее ее. Она знает. Но по сравнению со мной она глупенькая. Представьте себе — она верит снам.

— Правда, Шимек, ты не веришь? А я верю. Вот вчера лишь мне приснился отец, пришел из загробного мира, одетый, веселый, живой, с тростью в руке. И говорит со мной так приветливо, так ласково и вертит тросточкой: «Я пришел на свадьбу к тебе, дочь моя...» Ну, что ты скажешь, Шимек?

— Бузя, не надо верить снам. Сны — это чепуха.

— Чепуха, говоришь ты?

Бузя стоит минуту задумавшись, бросается бежать по многоцветному полю и останавливается.

Как цветок, как яркий, многокрасочный цветок, выглядит Бузя на этом многоцветном поле, которое простирается вокруг нас без конца без краю. Желтыми ромашками оно расшито. Красными цветочками оно расцвечено. Синий купол неба над головой Бузи. Серебристая речка у ног ее. Со всех сторон несутся нам навстречу одуряющие, пряные запахи бальзамов и трав. Я заколдован, я опьянен.

Как заколдованная, стоит и Бузя посреди многоцветного поля и смотрит на меня, задумавшись, задумавшись, как лес.

О чем думает теперь Бузя? Что говорят ее глаза, ее прекрасные голубые задумчивые глаза из «Песни Песней»?

«Я нарцисс Саронский, лилия долин...»

Вот что говорят мне ее глаза. И мне кажется, что никогда, никогда еще Бузя не напоминала так Суламифь из «Песни Песней», как в эту минуту.

9

Как цветок выглядит Бузя, лилия Саронская. Как цветущая роза выглядит Бузя, роза долин, в этом широком многоцветном поле, что простирается вокруг нас без конца и без краю. Желтыми ромашками оно расшито. Красными цветочками расцвечено. Голубой небесный купол над головой Бузи. Серебристая речка у ног ее. Со всех сторон несутся нам навстречу пряные, одуряющие, как бальзам, запахи трав. Я околдован, я опьянен.

Бузя идет. Я — за ней. Легко и быстро идет Бузя. Легко, как серна, как лань полевая, несется она по многоцветному полю, что простирается без конца и без краю. И на сияющем солнце лицо ее сияет, все цвета поля отсвечивают в ее глазах, в ее прекрасных голубых задумчивых глазах из «Песни Песней».

Никогда, никогда еще Бузя не напоминала так Суламифь из «Песни Песней», как в этот день.

— Узнаешь это поле, Бузя?

— Когда-то оно принадлежало тебе...

— А горка?

— Твоя горка. Когда-то все это было твое. Все, все твое,— говорит мне Бузя с легкой усмешкой на красивых губах.

Мне кажется, что она смеется надо мной так, как смеялась когда-то, много лет назад.

— Сядем?

— Сядем.

Я усаживаюсь на горке и устраиваю место для Бузи. Бузя садится против меня.

— Вот тут, Бузя, помнишь, я тебе когда-то рассказывал, как я...

Бузя прерывает меня:

— Как ты поднимешься с помощью колдовского слова и полетишь, как орел, к туче, выше тучи, над полями, над лесами, через горы, через воды, через моря и пустыни, и прилетишь туда, за Черные горы, к хрустальному дворцу. Там сидит твоя заколдованная царевна вот уже семь лет и ждет, чтобы ты над нею смиловался и прилетел, с помощью колдовского слова выручил ее, освободил — ха-ха-ха!

Нет. Бузя сегодня странно весела. Неестественно весела. Она смеется принужденно. Довольно. Всему свое время. Пора сказать ей несколько серьезных, точных, ясных слов. Пора уже раскрыть перед ней свое сердце, обнажить свою душу... И я кончаю свою мысль словами «Песни Песней»: «Пока день дышит прохладою и не исчезнут тени с земли...»

10

За все время, что я дома, я не высказал Бузе и десятой, и сотой доли того, что я излил перед нею здесь, в это утро. Я открыл ей свое сердце, обнажил свою душу. Рассказал ей всю правду,— что меня сюда привело...

Если бы не письмо отца с поздравлением, если бы не три слова: «Суббота после швуэс»,— меня не видела бы сейчас эта речка, что бежит там внизу по склону, и эта роща, что зеленеет тут недалеко...

И я клянусь ей этой речкой, что течет по склону, и той рощей, что зеленеет тут невдалеке, и этим голубым покрывалом неба, что над нашей головой, и золотым багряным солнцем, которое отсвечивает в ее глазах, и всем, что прекрасно, и чисто, и свято,— что я приехал сюда только ради нее, только ради нее, потому что... я люблю ее — наконец это слово сорвалось!

— Потому что я люблю тебя, Бузя, слышишь; я люблю тебя той святой, пылающей, адской любовью, которая описана в «Песни Песней»: «Сильна, как смерть, любовь, свирепа, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные...» Что с тобой, Бузя? Ты плачешь? Бог с тобой!..

11

Бузя плакала.

Бузя плакала — и весь мир облекся в печаль. Солнце перестало сиять. Речка перестала течь, роща — зеленеть, бабочки — летать, птички — петь.

Бузя плакала. Она спрятала лицо в руках. Плечи ее вздрагивали, и она плакала все сильнее и сильнее...

Так плачет малое дитя, когда почувствует, что потеряло родителей.

Так плачет любящая мать над ребенком, которого у нее отбирают.

Так плачет девушка, оплакивающая своего возлюбленного, отвернувшегося от нее.

Так плачет человек над своей жизнью, выскользнувшей из-под его ног.

Напрасны были мои утешения. Ни к чему были все эпитеты из «Песни Песней», ни к чему были мои речи. Бузя не хочет знать утешений. Бузя не желает слушать моих слов. Слишком поздно, говорит она, слишком поздно я вспомнил о ней... Слишком поздно я вспомнил, что есть какая-то Бузя на свете. Бузя, у которой есть сердце, тоскующее сердце, и душа, рвущаяся отсюда в другой мир... Помнишь ли ты, говорит она, те письма, что я тебе писала? Но, перебивает она сама себя, где тебе помнить о таких глупостях? Разве она не понимает? Это она, собственно, должна была давно предвидеть,— что наши пути разошлись. Что она мне не ровня. Куда ей до меня?.. Она наивная, провинциальная девушка, куда ей до меня?.. Теперь она понимает, что это было с ее стороны глупостью, что она мне морочила голову своими детскими письмами, своими глупыми намеками, будто бы родители тоскуют по мне... Нет! Ей надо было самой понять, что она мне не ровня... Куда ей до меня — бедной провинциальной девушке!.. Она сама должна была понять, что уж если я не послушался отца-матери, восстал против их заветов, не пошел по их стопам, а избрал свою собственную дорогу, значит, я, уж конечно, пойду далеко, взберусь высоко, так далеко и так высоко, что оттуда никого не увижу и никого знать не пожелаю.

— Никого, кроме тебя, Бузя!

— Нет, никого! Никого! Никого! Не видеть никого, не слышать никого, забыть всех...

— Всех, но не тебя, Бузя!

— Нет, всех! Всех! Всех!

12

Бузя перестала плакать — и все ожило. Солнце начало сиять, как раньше. Речка начала течь, роща — зеленеть, бабочки — летать, птички — петь.

Бузя перестала плакать, сухими стали ее глаза, ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И высохли слезы ее, как капли росы на жарком солнце.

И вдруг она стала оправдываться в своих слезах. Теперь она видит, какая она глупенькая. К чему был ее плач? Чего ей плакать? Чего ей не хватает? Другие девушки на ее месте сочли бы себя счастливыми. Счастливейшими из счастливых!.. И огонек загорелся в глазах у нее, в ее прекрасных голубых глазах из «Песни Песней». Никогда еще я не видел этого огонька в глазах Бузи. И красные пятна выступили на ее щечках, на ее красивых розовых щечках. Я никогда еще не видел, чтобы Бузя так гневалась, так пылала, как она пылала в эту минуту. Я хочу ее взять за руку и сказать ей словами «Песни Песней»:

«О, ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна, Бузя, когда щечки твои пламенеют и глаза твои пышут огнем...»

Напрасные речи! Бузя не слышит моей «Песни Песней». У Бузи своя «Песнь Песней». Она не переставая хвалит «кого-то», хвалит его изо всех сил. Она говорит мне:

— Друг мой бел и румян — суженый мой прекрасен и мил. Отличен от тьмы других — прекраснее многих-многих иных. Он, может быть, не столь учен, как иные, зато он добр. Зато он мне предан. Зато он любит меня. Почитал бы ты письма, которые он мне пишет, почитал бы ты письма!

— Пленила сердце мое ты, сестра моя, невеста,— продолжаю я, будто не слышу, что она мне говорит,— мое сердце ты пленила, сестра моя, невеста!..

А она:

— Уста его сладость, и весь он прелесть — почитал бы ты его письма, которые он мне пишет, почитал бы ты его письма!..

Слова эти она произносит странным тоном. Странный у нее голос.

Этот голос — так кажется мне — хочет пересилить другой голос, внутренний голос.

Для меня это ясно, как дважды два.

13

Быстро и неожиданно вскакивает Бузя с душистой травы, отряхивается, выпрямляется во весь рост, закидывает руки за голову, останавливается и смотрит на меня сверху вниз, гордая и прекрасная, величественно-прекрасная,— прекраснее, чем всегда, кажется она мне в эту минуту.

Боюсь сказать, но мне кажется,— если я назову Бузю истинной Суламифью, это будет честь и хвала для Суламифи из «Песни Песней».

Неужели на этом окончен наш разговор? Я поднимаюсь вслед за Бузей и подхожу к ней.

— Оглянись, оглянись, Суламифь, вернись ко мне, Бузя! — говорю я ей языком «Песни Песней» и беру ее за руку.— Вернись ко мне, Бузя, вернись ко мне, еще не поздно... Еще одно слово, одно только слово должен я тебе сказать.

Напрасно, напрасно! Бузя не хочет больше слушать.

— Довольно,— говорит она,— наговорились. Достаточно наговорили друг другу, может быть, больше, чем надо... Довольно, довольно. Уже поздно. Смотри, как поздно уже! — говорит мне Бузя и показывает рукой на небо, и показывает мне на солнце, которое обливает ее сверху донизу своими мягкими, нежными золотыми лучами. И Бузя, лилия Саронская, Бузя, роза долин, приобретает новый блеск, багряно-золотой блеск многоцветного поля, что простирается вокруг нас без конца и без краю.— Домой, домой! — говорит мне Бузя и торопится уходить, и торопит меня.— Домой, домой! Пора уже, Шимек, пора. Отец и мать подумают бог весть что. Домой, домой!

В ее последних словах — «домой, домой» — мне слышится знакомый отзвук давних лет, слова «Песни Песней».

«Беги, возлюбленный мой, беги, милый, и будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».

14

Проходят дни, бегут недели. Пришел милый, славный праздник швуэс. Пришла и первая суббота после швуэс. Прошла первая суббота после швуэс, и еще суббота, и еще суббота — а я все еще гость в своем городке.

Что я тут делаю? Ничего. Решительно ничего. Родители думают, что я, блудный сын, каюсь в былом, в том, что я вос-

стал против их заветов, не захотел идти по их стопам. И они рады, бесконечно рады.

А я? Что я делаю здесь? Что мне надобно здесь? Ничего, решительно ничего. Каждый день я выхожу один на прогулку, за город, туда — за мельницы, за реку, через мост. Туда — к тому многоцветному полю, что простирается без конца и без краю и окаймлено серебристою речкой с одной стороны и низкорослой, но густою рощей — с другой. Серебристая речка кажется серебряною каймой нового талеса из голубой шерсти. Густая роща похожа на пышную шевелюру кудрявых волос, время от времени ветер колеблет ее.

Там сижу я один на горке. На той горке, на которой мы лишь недавно сидели вдвоем, я и Бузя, лилия Саронская, роза долин.

На той горке, по которой мы когда-то, много лет тому назад, вдвоем, я и Бузя, мчались, как юные серны, и скакали, как лани на горах бальзамических. Там, на том месте, где таятся мои лучшие воспоминания о навеки утерянном юношестве, о моем навеки утерянном счастье, я могу сидеть долгие часы и оплакивать и вспоминать незабываемую Суламифь моего романа.

15

А что стало с Суламифью моего романа? Что с Бузей? Каков эпилог? Каков конец?

Не принуждайте меня рассказывать конец моего романа. Конец — пусть самый наилучший — это печальный аккорд. Начало, самое печальное начало, лучше самого радостного конца. Мне поэтому куда легче и куда приятнее снова рассказать вам эту историю с самого начала. Еще, и еще раз, и еще хоть сто раз. И теми же словами, что и раньше:

— У меня был брат Беня, он утонул в реке. Он оставил сиротку, ее звали Бузей. Сокращенное Эстер-Либа, Либузя, Бузя. И красива она была, Бузя, как Суламифь из «Песни Песней». Мы росли, я и Бузя, как брат и сестра. И мы любили друг друга, я и Бузя, как брат и сестра.

И так далее.

Начало, самое печальное начало, лучше самого радостного конца. Пусть будет начало концом, эпилогом моего невыдуманного, истинного, скорбного романа, который я позволил себе увенчать этим именем: «Песнь Песней».

НА-КОСЯ — ВЫКУСИ!

Против меня, у окна, сидит улыбающийся человек. Сияющие его глаза, кажется, проникают вам в самую душу. Человек этот давно уже поглядывает на меня, ждет одного только моего слова. Однако я молчу. Видать, тоскливо стало ему сидеть один на один со мной в пустом вагоне и молчать. И вот он ни с того ни с сего вдруг рассмеялся и обратился ко мне:

— Вы спрашиваете, чего я смеюсь? Мне вспомнилось, как я обманул Егупец. Ха-ха-ха. Да, да, какой я ни на есть Мойше-Нахмен из Конелы, человек с одышкой и кашлем, а выкинул я номер в Егупце. Да еще какой номер! Ха-ха-ха. Дайте срок, откашляюсь — Пуришкевичу бы такой кашель! — и расскажу, что я там натворил.

Приезжаю однажды в Егупец. Зачем может приехать такой человек, как я, с одышкой и кашлем, в город? Понятно, к профессору. Вы ведь понимаете, что с одышкой и кашлем я частый гость в Егупце, правда, не очень-то почетный гость. Куда мне, Мойше-Нахмену из Конелы, до Егупца, когда у меня нет правожительства! Но если у тебя одышка и кашель, едно с другим [1], и тебе нужно к профессору,— куда же деться? Прячешься, страдаешь; приедешь утром, уедешь вечером. А не то словишь «проходное», тогда заявишься в город через некоторое время. Только бы не идти по этапу! Пришлось бы шагать по этапу, я бы, наверно, не выдержал,— кажется, трижды скончался бы от одного стыда. Ведь я как-никак хозяин у себя в Конелах, у меня дом,

[1] Одно с другим *(польск.)*.

корова, две дочери — одна замужем, другая на выданье, едно с другим. Как же иначе!

Итак, приезжаю в Егупец к профессору, верней, не к профессору, а к *профессорам,* — на консилиум к трем профессорам сразу. Решил добиться какого-нибудь толку, раз и навсегда установить, чем именно я болен. Гож я или не гож? Что у меня одышка, это они все признают, но как от нее избавиться — это дело другое. Маются, бедняги, пробуют по-всякому, идут ощупью. Вот, к примеру, прихожу я к своему старому профессору Стрицелю, — скажу вам, замечательный профессор, — выписывает мне «кодеини сахари пульвери». Стоит недорого и сладковато на вкус. Являюсь к другому профессору. Этот выписывает «тинктуру опии», капли такие, на вкус большая гадость. Третий профессор тоже выписывает капли, такую же дрянь, но называются они не «тинктура опии», а «тинктура тебиака». Думаете, этим все кончается? Отправляюсь я к своему профессору. Этот дает мне какую-то горечь, которая называется «морфиум аква амигдалариум». Вы удивляетесь, что я знаю латынь? Я знаю латинский, как вы английский. Но когда у человека одышка, кашель, туберкулез, едно с другим, он поневоле научится латыни.

Итак, приехал я в Егупец на консилиум. Где же остановиться такому человеку, как я, когда он приезжает в город? Конечно, не в гостинице и не в отеле. Во-первых, там шкуру сдерут; во-вторых, как могу я остановиться в отеле, когда у меня нет правожительства? Заезжаю, по обыкновению, к своему шурину. Есть у меня в городе шурин, бедолага несчастный, меламед-неудачник, бедняк, каких мало, — Пуришкевичу бы его достаток! Детей полон дом, — упаси и помилуй! Но вот бог сжалился над ним и дал ему правожительство. Настоящее правожительство! Откуда у него это? Все дело в Бродском. Он служит у Бродского. То есть, боже сохрани, не директором заводов. Он чтец Торы в молельне для портных, в подвале синагоги Бродского. Выходит — «духовное лицо», или, как это там называется, — «обрядчик». Ну, а раз он «обрядчик», значит, имеет право жить на Мало-Васильковской, где когда-то жил полицмейстер. И вот живет он на Мало-Васильковской, поблизости от бывшего полицмейстера, а сам перебивается с хлеба на воду. Вся его надежда только на меня. Я считаюсь богачом среди родни. Приеду в Егупец, остановлюсь у них, возьму обед, ужин, сбегают они по моему поручению, едно с другим, — глядишь, рублик-другой им и перепадет. Пуришкевичу бы такие заработки!.. В этот раз приехал, гляжу — родственники мои ходят мрачные, совсем

головы потеряли. «В чем дело?» — «Плохо».— «А именно?» — «Облавы».— «Тьфу! — говорю.— А я думал бог весть что. Облавы — это старая болячка, еще с сотворения мира».— «Нет,— отвечают они,— облава облаве рознь. Теперь не проходит и ночи без облавы. А поймают еврея, так кто бы он ни был,— раз, два — и по этапу».— «Ну, а деньги?» — «Чепуха».— «Рублик?» — «Не помогает».— «Трешка?» — «Даже миллион».— «Если так, говорю, то действительно плохо».— «Бывает и того хуже,— отвечают мне.— Сначала штраф, а там уж — по этапу. К тому же опозоришься перед Бродским».— «Ну, ладно, говорю, Бродский! Не могу же я из-за Бродского лишиться здоровья. Я приехал на консилиум к профессорам. Не удрать же мне теперь обратно!»

Однако разговоры разговорами, а день уходит. Надо бежать к профессорам насчет консилиума. Но куда там консилиум? Какой консилиум? Один может явиться в среду до обеда, другой — в понедельник после обеда, а третий — не раньше как в будущий четверг. Вот и поди ты! История на три недели да еще с хвостиком. Какое им дело до того, что у Мойше-Нахмена из Конелы одышка и кашель — дай бог Пуришкевичу! — и он ночами не спит?! Между тем наступила ночь. Поужинали мы и легли спать. Только вздремнул, слышу — трах-тарарах! Раскрываю глаза: «Кто это?» — «Мы пропали!» — отвечает шурин-неудачник. Стоит подле меня ни жив ни мертв, дрожит как осиновый лист. «Что же теперь делать?» — спрашиваю я. «А это уж ты теперь скажи, что делать?» — отвечает он. «Ну, что станешь делать? Плохо. Горько».— «Горечь горечи рознь. Тут точно желчи налакался». А в дверь все: трах-тарарах! Малые ребята пробудились с ревом: «Мама!» А мать зажимает им рты, чтобы они смолкли. Веселая история! «Эх, думаю, Мойше-Нахмен из Конелы, здорово ты влип! Дай бог такое Пуришкевичу!» Вдруг в голову мне приходит одна комбинация, и я говорю шурину: «Вот что, Довид, будь ты мной, а я тобой!» Он смотрит на меня как козел: «То есть как?» — «А так, отвечаю, перепутаем все карты. Ты дашь мне свой паспорт, а я тебе свой. Ты станешь Мойше-Нахмен, а я Довид». Вот тупица! Смотрит на меня агнец этот и ничего не понимает. «Осел! — говорю ему.— Что ж тут непонятного? Кажется, простая комбинация. Малый ребенок и тот поймет. Ты покажешь им мой паспорт, а я твой, едно с другим. Ну, разжевал? Или тебе надо не только разжевать, но и в рот положить?»

Видно, дошло до него. И мы стали меняться: я ему дал свой паспорт, он мне — свой. А там уже двери трещат — трах-

тарарах! Трах-тарарах! «Чего вы там? — говорю.— Времени у вас нет, что ли? У нас не горит!» А шурину напоминаю: «Помни же, тебя зовут не Довид, а Мойше-Нахмен». После этого направляюсь к двери: «Добро пожаловать, дорогие гости!» Ввалилась целая ватага всяких чинов. Как говорится, гуляй и веселись!

Понятно, прежде всего взялись за шурина. Почему так? Потому что я держу себя как подобает порядочному человеку. Говорят ведь: хоть лупи себя по щекам, а кажись румяным! А он? Дай боже Пуришкевичу! Схватили его и давай выпытывать: «Откуда явились, господин еврей?» Молчит. Тут я выступаю в роли защитника и говорю ему: «Человече, чего ж ты молчишь? Говори! Скажи им, что ты Мойше-Нахмен из Конелы». А к ним обращаюсь с мольбой: «Так, мол, и так, ваше высокоправожительство! Бедный, несчастный родственник! Давно не видались. Приехал из Конелы». А сам чуть со смеху не валюсь. Ха-ха-ха! Вы понимаете? Я, Мойше-Нахмен из Конелы, умоляю за Мойше-Нахмена, то есть за самого себя... Ха-ха-ха!

Вся беда в том, что мои мольбы помогли как мертвому припарки. Схватили моего молодца и потащили его по всем правилам, со всем парадом, в участок, как сам бог велел. Хотели и меня забрать, даже забрали, но сразу и выпустили. Чего они в самом деле будут меня держать? Ведь у меня в бумагах черным по белому написано, что я человек с правожительством, «обрядчик» в синагоге Бродского. Ну и рублевка, конечно, тоже пошла в ход, едно с другим, понимаете ведь. «Ладно,— говорят они мне,— господин «обрядчик»! Ты поди пока домой, поешь кугл. Мы тебе уж потом покажем, как держать контрабанду на Мало-Васильковской!» Выходит, свежеиспеченным калачом да прямо по морде! Ха-ха-ха!

Рассказывать ли дальше? О консилиуме уж говорить не приходится. Какой там консилиум, когда шурина надо спасать. От чего, думаете? От этапа? Боже упаси! Тут уж ничего не помогло. Он шел по этапу как миленький. Еще как шел,— дай бог Пуришкевичу! Мы еле дождались прихода этого бедолаги в Конелу, все глаза просмотрели, дожидаясь. А когда его уж доставили на место, тут на него обрушилась новая беда: чужой паспорт, чужая фамилия, едно с другим! Уж и не спрашивайте! Пришлось мне с ним немало повозиться. Сколько мне все это стоило, я хотел бы зарабатывать каждые три месяца. Кроме того, я и поныне содержу его семью — жену и детей. Ведь он кричит, что я погубил его, сделал несчастным; из-за меня он

потерял правожительство и должность у Бродского. И, возможно, он здесь не так уж не прав. Но главное, ха-ха-ха, не в этом. Главное — это находка, это моя комбинация. Вы понимаете? Вы понимаете, что это такое? Человек из Конелы, с одышкой и кашлем да еще с туберкулезом, едно с другим,— Пуришкевичу бы такое! — и без всякого правожительства,— и все же, когда нужно, он приезжает в Егупец, останавливается на Мало-Васильковской, поблизости от дома полицмейстера и на-кося — выкуси!

«ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ»

Мне это рассказал в поезде еврей лет шестидесяти, весьма приличный человек, видно, такой же коммивояжер, как я, а то и купец. Передаю его рассказ слово в слово — таково мое правило в последнее время.

— В дороге, знаете ли, если рассчитывать только на пассажиров, с которыми можно завести знакомство и поболтать, с ума сойдешь от скуки.

Во-первых, пассажир пассажиру — рознь. Есть такие, которые любят много говорить, иногда даже слишком много, так что у вас голова кругом идет и в ушах звенит от этих разговоров. А бывают, наоборот, такие, которые вовсе не разговаривают. Ни слова! Почему они не хотят разговаривать — неизвестно. Может быть, у них неприятности, может быть, их мучает катар желудка, меланхолия или зубная боль. А может быть, у них в доме ад — сварливая жена, неудачные дети, злые соседи, к тому же и дела плохи,— как узнаешь, что у другого на душе.

Правда, вы скажете, есть выход: если не с кем поговорить, можно в книжку заглянуть, газету почитать. Ах, газеты! В дороге — не то что дома. Дома у меня *своя* газета. К *своей* газете я привык, ну, примерно, как к *домашним туфлям.* У вас, может быть, новые домашние туфли, а у меня старые, похожие, извините за выражение, на блин. Но у моих туфель есть одно достоинство, которого нет у ваших,— *они мои...*

С газетой, не будь рядом помянуто, точно так же, как с туфлями. У меня есть сосед, живет со мной в одном доме, на одном этаже, дверь против двери. Он выписывает газету, и я выписываю газету. Он — свою, я — свою. Вот я и говорю ему: «Зачем вам отдельно тратиться на газету и мне отдельно? Внесите свою долю, и выпишем вместе мою газету». Послушал он меня и отвечает: «Отлично, внесите вы свою долю на мою

газету». Тогда я говорю: «Ваша газета — дрянь, а моя газета — настоящая газета».— «Кто вам сказал, что моя газета — дрянь? А может быть, наоборот!» — «С каких это пор вы стали разбираться в газетах?» — говорю я. А он отвечает: «С каких это пор вы стали разбираться в газетах?» — «Э,— говорю я,— да вы просто нахал, с вами и разговаривать не стоит!»

Словом, он остался при своей газете, а я — при своей. На этом дело и кончилось.

Но однажды случилась история. Это было, не про нас будь сказано, во время холеры в Одессе. И у меня и у моего соседа дела в Одессе, у меня — свои дела, у него — свои. Как-то спускаемся вместе с лестницы и встречаем разносчика; я беру свою газету, сосед — свою. Идем, значит, и просматриваем на ходу газеты, я — свою, он — свою. Что прежде всего читаешь в газете? Конечно, телеграммы. Прочел я первую телеграмму из Одессы: «Вчера заболело холерой 230, умерло 160. Толмачев приказал вызвать к себе всех старост еврейских синагог...» — и так далее. Ну, что касается Толмачева и старост еврейских синагог — это понятно. Это для меня не новость. На то он и Толмачев, чтобы, так сказать, интересоваться синагогами. Меня же занимает холера в Одессе. Обращаюсь к своему соседу (он идет тут же, по тому же тротуару; нельзя ведь быть грубияном?!).

— Как вам нравится Одесса? — говорю.— Опять холера!

— Быть не может! — отвечает он.

Меня это задело: как это «быть не может»? Перечитываю ему телеграмму из Одессы, напечатанную в моей газете: «Вчера заболело холерой 230, умерло 160. Толмачев приказал вызвать к себе всех старост еврейских синагог...» — и так далее. Сосед выслушивает меня и отвечает: «А вот посмотрим...» И шмыг носом в свою газету. Меня это взорвало. «Что же вы думаете, говорю, в вашей газете другие телеграммы?» — «Кто его знает»,— отвечает он сквозь зубы.

Это меня, разумеется, еще больше задело.

«А может быть, в вашей газете другая Одесса, другая холера и другой Толмачев?» — говорю я.

На это он мне ничего не отвечает, только усиленно ищет в своей газете телеграмму из Одессы. Поди поговори с таким бревном!

Нет! В дороге есть лучший способ убить время — картишки, «шестьдесят шесть».

Карты, вообще говоря, большой соблазн. Это вы, конечно, знаете. Но в дороге карты — спасение. В поезде перекинешься в картишки и не заметишь, как время пролетит. Разумеется,

для этого нужна хорошая компания, иначе в беду попадешь, избави боже. Главное, не наскочить на шайку картежников, которые только и высматривают фраера, чтобы обобрать его как липку. Шулера обычно трудно отличить от порядочного человека. Напротив, эти молодчики выглядят большей частью невинными младенцами, прикидываются тихонями, составляют между собой «блат», горячатся при проигрыше, пока наконец не втянут вас в игру. Тогда они дают вам возможность выиграть и раз, и другой, и третий, а затем карта изменит вам, и вы начинаете проигрывать, и вот тогда вы становитесь жертвой. Будьте уверены, вы уж не уйдете от них, пока не проиграете часов вместе с цепочкой, всего, что имеет какую-нибудь ценность! Вы чувствуете, что имеете дело с шайкой шулеров, и все же, как овечка, лезете прямо волку в пасть. О, я знаю этих молодцов! Я дорого заплатил за эту науку!.. Я мог бы рассказывать и рассказывать об этом. Когда поездишь с мое, всего наслушаешься...

Знаю я, например, историю с кассиром, который вез с собой чужие деньги — и крупные. Уселся он с такой компанией и продулся в пух и прах так, что даже выброситься из вагона собирался.

А вот история с одним молодым человеком из Варшавы, до этого он жил на хлебах у тестя, и все приданое теперь было при нем; спустил он его до копейки и тут же на месте грохнулся без чувств.

Знаю я еще историю со студентом, который ехал на праздники домой в Черниговскую губернию, вез с собой жалких несколько рублишек, добытых в поте лица летними уроками. Дома его ждала старуха мать и больная сестра...

Как видите, все эти истории имеют одинаковое начало и одинаковый конец, и никто не знает их так хорошо, как я. Меня теперь не проведешь. Дудки! Один раз обжегся — довольно. За версту я вам узнаю эту братию, сразу определю, что это за птица. У меня уж такое правило: с незнакомыми в карты не играть. Озолотите меня, в дороге не сяду играть с компанией. Разве только вдвоем в «шестьдесят шесть». В «шестьдесят шесть», ах, с величайшим удовольствием! Вдвоем в «шестьдесят шесть» — пожалуйста, какая тут может быть опасность? Да к тому же — собственными картами, кого мне бояться? У меня всегда при себе колода карт. Как талес и филактерии у правоверного еврея, так у меня колода карт, прости господи за сравнение.

Признаюсь: люблю «шестьдесят шесть». «Шестьдесят шесть» — это еврейская игра. Не знаю, как вы, но я играю по-

старому — с двадцатью и сорока. Девятка меняется. Есть взятка — могу крыть, нет взятки — крыть не могу. Благородно, не правда ли? Так играют все евреи. Так мы играем дома, и так я играю в дороге. Что касается меня, то я могу засесть — в дороге, разумеется,— за «шестьдесят шесть» и просидеть так день и ночь, играть и играть без устали. Не люблю только, когда стоят за спиной и заглядывают мне в карты, не люблю, когда дают советы, как мне идти, крыть или не крыть. Еще скажу вам по совести, наши евреи, да простит мне господь, любопытный народ. При евреях трудно сыграть в «шестьдесят шесть»! Вас тотчас же окружат со всех сторон, начнут заглядывать вам в карты, давать советы, как пойти, и все они умеют играть в «шестьдесят шесть»! От них никуда не спрячешься, никак не избавишься. Ну, как мухи летом! Сколько их ни гони, как ни брани их: «Да кто вас, дядюшка, спрашивает?», «Послушайте, уважаемый, кто вас сюда звал?», «Сударь, не торчите над головой, ведь несет от вас!..» — ничего не помогает, как об стену горох!

Из-за одного такого советчика случилась с нами однажды беда; мы еще счастливо отделались. Не могу удержаться, должен вам рассказать.

Это было зимой, и тоже в дороге, вагон был битком набит. Жарко, как в бане. Мест мало, а пассажиров, не сглазить бы, уйма. Как звезд на небе. Сидят голова к голове, негде иголке упасть. И тут мне бог посылает партнера, можно составить «шестьдесят шесть». Это был простой еврей, неразговорчивый, но его так же тянуло сыграть в «шестьдесят шесть», как и меня. Мы ищем место, где бы положить колоду карт,— но места нет, хоть умри! Тут господь пришел нам на помощь. Как раз напротив нас на другой скамейке растянулся монах в смушковом тулупе; лежит лицом вниз и дрыхнет. Храпит — дай ему бог здоровья — на весь вагон. Взглянул я на моего партнера, партнер — на меня, словно сговорились. А монах был жирный, гладкий, откормленный, тулуп мягкий,— сам бог велел на таком сыграть в «шестьдесят шесть». Не долго думая, разложили колоду карт у монаха на этом самом месте — и пошла игра.

Как сейчас помню, козырем были пики: у меня валет, дама, козырный король, туз трефей, король бубен. Шестая карта, шестая карта... забыл, не то валет червей, не то дама червей — кажется, валет червей. А может быть, и дама червей. Впрочем, это не важно. Главное, у меня на руках прямо-таки божественные карты: чистых сорок,— верных три очка! Вопрос только в том, с какой карты пойдет мой партнер. «Сходи он с трефей,— думаю я,— вот был бы умница! Я бы его полюбил за это».

Так оно и вышло. Мой партнер думал, думал (господи боже мой, что он там придумает?) и пошел как раз с десятки трефей. Расцеловать бы его! Однако у меня такая манера, когда я играю в «шестьдесят шесть», не люблю пороть горячку, как другие. Лучше потихоньку да полегоньку! Времени хватит! Люблю иногда и позабавиться. Тру лоб, делаю недовольное лицо. А что мне, пусть партнер радуется, пусть думает, что мои дела плохи... Но поди знай, что за спиной у тебя стоит какой-то еврей — стать бы ему столбом! — и заглядывает в твои карты, чтобы у него глаза повылазили! Увидев десятку треф, он вырывает у меня из рук трефового туза, бьет десятку и, ударив ладонью по колоде карт, лежащей на спине у монаха, как заорет:

— Крыто!

. . . .

Десятью водами я от этого монаха отмыться потом не смог. Проклятья, которыми он нас осыпал, да обрушатся на его голову. Он угрожал, что на первой же станции сойдет и отправит телеграмму самому Пуришкевичу. Ну, что вы скажете?

Но не в этом суть. Я лишь, между прочим, хотел вам показать, что иногда приходится испытать в дороге такому заядлому игроку, как я, ради партии в «шестьдесят шесть». Сама же история, которую я хочу вам рассказать, только начинается. Послушайте-ка!

Дело было зимой, как раз в это время, в праздник хануки, тоже в поезде. Ехал я в Одессу и вез с собой деньги, порядочную сумму,— дай бог нам обоим зарабатывать столько каждый месяц. У меня такое правило: если у меня при себе деньги в дороге, я не сплю. Правда, воров я не боюсь, потому что деньги я держу, видите где, вот здесь, в боковом кармане, в хорошем бумажнике, завязанном двумя тесемками. Никакой вор туда не доберется. Черта с два! Но все же в наше время... бандиты, экспроприации. Кто его знает?.. Сижу я, значит, один, то есть не совсем один, есть еще пассажиры, но не евреи. Какое мне до них дело? Не с кем сыграть в «шестьдесят шесть»... И вот сижу это я, пригорюнившись, и мечтаю о партнере. Вдруг открывается дверь,— это было еще за много станций до Одессы,— и входят два пассажира. И, представьте себе, как раз наш брат — евреи. Я еврея сразу узнаю, пусть он хоть двадцать один раз оденется как настоящий русский и говорит не только по-русски, но даже по-турецки. Один из этих пассажиров был постарше, другой помоложе, и оба были в таких хороших шубах и хороших шапках, что просто загляденье! Поставили они чемоданы и, сняв шубы и шапки, закурили — предложили и мне папиросу — и

разговорились. Сначала, как водится, по-русски, а потом по-еврейски. «Откуда едете, куда?» — «А вы куда едете?» — «В Одессу».— «И я в Одессу». Стало быть, все втроем едем в Одессу. То — другое, завязался разговор. «А знаете, какой у нас сегодня праздник?» — «Какой?» — «Неужто забыли? Ханука!» — «Ах, ханука! Да в ханукy ведь сам бог велел в картишки перекинуться, в «шестьдесят шесть»!» — «Правильно!» Молодой человек встает, извлекает у старика из кармана колоду карт и говорит ему: «Папаша, в честь хануки — партию в «шестьдесят шесть».

Ага, значит, это — отец и сын! Интересно посмотреть, как отец с сыном играют в «шестьдесят шесть». Я бы и сам не прочь сыграть в «шестьдесят шесть», да ведь поддаваться соблазну нельзя. Достаточно и того, что я буду смотреть, как другие играют...

Перевернули чемодан, поставили его между колен и роздали карты. Итак, у отца первая рука, у сына вторая рука, играют в «шестьдесят шесть». Сижу в сторонке, заглядываю старику в карты. А старик, словно невзначай, спрашивает меня, играю ли я в «шестьдесят шесть». Я, конечно, рассмеялся: хорошее дело, я, можно сказать, сам игру эту выдумал, а он спрашивает, играю ли я в «шестьдесят шесть». И вот сижу я в сторонке и смотрю, как они оба, отец и сын, играют в «шестьдесят шесть». Смотрю — и едва сдерживаю себя: старый хрыч делает такие ходы, что можно помереть со смеху. Ну, представьте себе: у человека два козыря с девяткой — две большие пики и одна трефа,— пошел бы ты с трефей, прикупил бы еще козыря, чтобы иметь сорок, и, очень может быть, крыл бы игру. Нет, он пошел с младшей пики и остался, как болван, с голой десяткой пик! А сынок, сокровище это, прикрыл, разумеется, игру, козырнул раз и другой, как бог велел, забрал десятку пик, объявил «двадцать», и будьте здоровы. Три очка в кармане.

Ну и ходы у папаши!

В следующей партии он играл еще хуже, прямо возмутительно! Послушайте-ка: у человека есть уже шесть очков, только одного очка не хватает. А у партнера, то есть у сына, всего лишь два очка. На руках у старого хрена целых три козыря и «двадцать». И вот он кроет и не спешит отыграть поскорей козыри,— нет, он объявляет сразу «двадцать». Тогда партнер, то есть сын, забирает у него эти «двадцать» козырем и еще какой-то картой и сам объявляет «двадцать» — и три очка готовы! Меня это прямо взорвало: это называется сыграли в честь хануки! Нет, я больше не могу! «Простите, пожалуйста,— обращаюсь я к старому чудаку,— у меня правило не вмешиваться

в чужую игру, но все же хотелось бы знать, какой смысл был в том, что вы прикрыли игру? Нет, вы скажите мне, какой у вас был расчет? В самом деле, если у вашего партнера разные масти, то ведь ваше дело в шляпе. А вдруг у него золотая карта? Ну и пусть на здоровье! Чем вы тут рискуете — одним очком, но у вас их целых шесть, а у него только два! Нет, это прямо преступление!» Молчит старый пес, а сынок, наследничек, улыбается: «Да, папаша у меня, говорит, играет слабо, совсем слабо. Папа не умеет играть в «шестьдесят шесть».— «Вашему папаше,— говорю я,— нельзя играть в «шестьдесят шесть». Разрешите-ка мне сыграть в «шестьдесят шесть»!» Но это старое животное ни за что не хочет уступить и продолжает игру. И делает такие ходы, что можно лопнуть. С трудом удалось мне наконец упросить старого черта, чтобы он уступил мне место только на две-три партии. «Разрешите и мне, говорю, сделать доброе дело в честь хануки».

«Почем играем?» — спрашивает меня сынок. «Почем хотите».— «По одному?» — «Давайте по одному, но с условием,— говорю я шутя,— чтобы ваш папаша не заглядывал вам в карты и не давал, упаси боже, советов...» Расхохотались мы тут все и стали играть. Сыграли одну партию, другую, третью. Везет мне невероятно, не сглазить бы. Мой партнер горячится. Он хочет, говорит, учетверить ставку. Хочешь учетверить — давай учетверим! И опять сел. Тут уж он вовсе разошелся — хочет играть на четвертную. Тогда выскакивает папаша, «праведник» этот, и заявляет, что он этого не допустит. Но сынок на него, конечно, нуль внимания, и мы сыграли на четвертную. Опять он проиграл. Старик чудак рассвирепел, вскочил с места, но сейчас же опять сел, заглядывает мне в карты, напевает и все шмыгает носом. А партнер мой горит, как в лихорадке. Чем больше он проигрывает, тем сильней горячится, а чем сильней горячится, тем больше проигрывает. Старый индюк вне себя. Он кричит, ругается, заглядывает мне в карты, напевает и все шмыгает носом. А сынок — умница эта — проигрывает партию за партией, прогорает вконец. «Клянусь жизнью,— говорит ему отец,— ты больше не играешь!» — «Папа,— умоляет его сын,— еще только одну партию, не больше, вот с места не встать мне, только одну!» — «Только одну партию,— говорю я старому мерзавцу,— разрешите ему еще одну...»

Словом, карты розданы,— ну, слава богу, он выиграл. Я и сам рад, что он выиграл. Но он, оказывается, желает сыграть еще одну партию. Ну, что же! Нельзя ведь быть грубияном, когда он так проигрался... А после этой партии — еще одна, и еще одна, и еще одна. Что вам сказать,— счастье повернуло в

его сторону. «Ну,— говорю я старому злодею,— почему вы теперь не ругаете своего наследничка?» — «Я уж дома с ним посчитаюсь. Он меня попомнит!» — отвечает старый мошенник, а сам не перестает заглядывать мне в карты, напевать, покашливать и шмыгать носом. Мне с самого начала не понравилось его заглядывание в карты, пение, покашливание и шмыганье носом. Но покуда карта шла, я не придавал этому значения. «Пой себе, кашляй, шмыгай носом!» Теперь же, когда счастье повернулось ко мне спиной, я стал прислушиваться к этому пению, кашлю и шмыганью, нет ли здесь какого-нибудь подвоха. Тем временем карты опять розданы. Я все проигрываю и проигрываю. То и дело отхожу в сторону, отстегиваю боковой карман и вытаскиваю сторублевку за сторублевкой. Плохо дело, уже светает. Вдруг старый бандит хватает меня за руку. «Клянусь,— говорит он,— я вам не дам больше играть; ведь это ваши последние сто рублей!» Я, понятно, вскипел: «Откуда вы знаете, что последние?..» И, ему назло, ставлю целую сотню.

Лишь когда я спустил все до нитки и остался чистеньким, голеньким, как мать родила, так что больше ставить на карту было нечего, а партнер застегнулся на все пуговицы (щечки у него раскраснелись), только тогда я стал осматриваться — на каком же это я свете. Сердце мое чуяло, что я попал в болото, запутался в сетях. Мне уже сдавалось, что отец — вовсе не отец, и сын — не сын. Подозрительными показались мне взгляды, которыми они обменивались, не понравилось мне также, как сынок встал, отошел в сторону и как пошел за ним отец. Старик как будто шепнул что-то молодому, а молодой, я готов поклясться, что-то сунул старику в руку...

Первая моя мысль была: «Не выброситься ли мне из окна?» Но потом я подумал: «Нет, лучше уж им нож в горло или пулю в сердце, а не то просто броситься на них, схватить за глотку и душить, душить». Но что тут поделаешь, когда я один, а их двое? А поезд все идет, колеса стучат, голова у меня кружится, в груди огонь... Что теперь будет? Не успеешь оглянуться, и мы уже в Одессе. Что я буду делать? Куда пойду? Что скажу?.. Смотрю, мои молодчики берутся за чемоданы. «Где мы?» — «В городе, именуемом Одессой»,— говорят они. Хватаюсь за карман — даже носильщику нечем заплатить! Меня холодный пот прошиб. Слезы навернулись на глаза, руки затряслись. Подхожу к старому живодеру. «У меня к вам, говорю, просьба. Хоть двадцать пять рублей...» — «Почему же вы обращаетесь ко мне? Попросите у него!» — отвечает старый разбойник, показывая на молодого. А молодой жулик покручивает усы, делает вид, что

не слышит. Паровоз свистит. Стоп — мы в Одессе. Вы уже сами понимаете, что первым из вагона выскочил я. И крик там поднял тоже я. Я кричал, что было сил: «Жандарм! Жандарм!» Не прошло и секунды, как предо мной вырос жандарм, потом еще два жандарма, да еще три жандарма. Однако младший негодяй уже успел смыться, осталась только старая развалина, которого я крепко-крепко держал за руку, чтобы он не убежал. Ну, конечно, со всего вокзала сбежался народ, настоящее столпотворение! Пригласили нас обоих в отдельную комнату. Там я рассказал всю историю с начала до конца. Не пожалел и слез, излил всю душу. Мой рассказ, должно быть, всех тронул, и на старого фокусника сразу же насели, чтобы он выложил всю правду! Но где там! Он, оказывается, ничего знать не знает и ведать не ведает. Я не я и лошадь не моя! Что за «шестьдесят шесть»? Какие карты? Какой сын? У него сына никогда и не было. «Этот человек не в своем уме»,— говорит старый плут и показывает на голову, что я, мол, не совсем здоров... «Ах, вот как,— говорю я.— Тогда попробуйте-ка его хорошенько обыскать». И вот взяли его и раздели, простите, догола — нету ни карт, ни денег. Всего-то у него оказалось наличными двадцать два рубля и семьдесят копеек. И выглядел он таким несчастным, таким невинным агнцем, что я уж и сам начал сомневаться, в своем ли я уме. Может, мне приснилось, что они отец и сын, что я играл с ними в «шестьдесят шесть» и спустил целое состояние? Чем все это кончилось? Не спрашивайте. Давайте лучше, чтобы разогнать мрачные мысли, сыграем партию в «шестьдесят шесть», в честь хануки...

Так закончил свой рассказ пассажир — весьма приличный человек, может быть такой же коммивояжер, как и я, а то и купец. И вот уже колода карт у него в руках, и он уже тасует их, кому ходить первому. «Почем играем?»

Смотрю я на этого субъекта — что-то уж очень ловко он тасует карты, чересчур ловко и быстро. И очень уж у него белые руки, слишком белые и холеные. И недобрая мысль мелькает вдруг у меня в голове.

— С удовольствием,— говорю я,— сыграл бы с вами партию в «шестьдесят шесть» в честь хануки, но я, право, не знаю, с чем это едят. Что это, собственно, такое «шестьдесят шесть»?

Мой собеседник посмотрел мне прямо в глаза, едва заметно улыбнулся и, вздохнув, без звука опустил карты обратно в карман.

На первой же остановке его не стало. Я не поленился обойти два раза все вагоны из конца в конец, но его и след простыл.

СЛОВО ЗА СЛОВО

...Не теперь, упаси бог, а во время оно был я казенным раввином. То есть вроде как бы и раввин, но «казенный»...

Что представляет собой казенный раввин, незачем перед нашими людьми особенно распространяться... Они по личному опыту знают, что это за зверь такой. Выдать метрику, зарегистрировать брак или развод, записать новорожденного — его прямая обязанность... У него твердая такса для живых и мертвых. В синагоге ему отведено самое почетное место, на положении раввина. При молитве за царя он встает первый. По большим праздникам, в табельные дни он появляется в синагоге в новом цилиндре и обращается к прихожанам с речью на русском языке:

— Господа прихожане и благочестивые братья!..

Сказать, что у нас очень любят казенного раввина, было бы сильным преувеличением — его терпят!.. Примерно, как пристава или другой полицейский чин!

И все же он каждые три года избирается на этот пост, как своего рода президент...

И выбирает его, представьте, народ, то есть в адрес общины приходит такая бумага:

«На основании предписания Его превосходительства Господина губернатора... приказываю...»

На нашем простом языке это звучит приблизительно так: господин губернатор предлагает вам, проклятые евреи, собраться в синагоге и избрать себе казенного раввина...

После этого начинаются «выборы» — кандидаты, ругань, водка и взятки... За этим следуют ябеды, доносы в губернское правление. Выборы аннулируют и велят устроить новые, и опять «на основании предписания Его превосходительства», и

опять кандидаты, склоки, партии, вино и взятки... Живем — не тужим!

И я был — вот этот грех свой я вспоминаю и по сей час — казенным раввином в маленьком городке — это совсем не секрет! Могу даже указать где — в Полтавской губернии. Но мне хотелось быть передовым, исключением из правила, не таким, как другие казенные раввины, и я решил: «Долой чиновника!» Я стал заглядывать в общественный котел, занялся делами общины: школой для бедных, ссудами, арбитражем, давал добрые советы.

Улаживание конфликтов, советы — это я унаследовал от отца моего и от дядюшек... Они, мои дорогие покойники, тоже любили, чтобы люди им морочили голову своими делами.

Есть разные люди на свете. Есть такие люди, которых никогда в жизни не околпачишь. Вы бы их околпачили, да они не даются. И есть, наоборот, такие, которым вы смело можете сесть прямо на голову, не сразу, а постепенно: сначала на колени, потом на голову, а потом в глубоких калошах забраться в самое сердце на всю долгую зиму...

Вот такого типа казенным раввином я был и имел, могу этим похвастать, множество поклонников, весьма горячих патриотов, без всякого стыда приходивших ко мне каждый день, барабанивших без умолку и засиживавшихся далеко-далеко за полночь; они никогда не отказывались от стакана чаю, от папиросы, разумеется моей, о газетах и книгах и говорить нечего... Одним словом — свои люди, и все тут!..

И вдруг однажды открывается дверь, и ко мне заявляются краса и гордость нашего общества, четверо именитых купцов, самые, можно сказать, крупные богачи города. «Доброе утро, раввин!» Кто они такие? Трое из них прозваны были в местечке «тройкой» за то, что они постоянно торговали в долю, каждый раз ссорились между собой, всегда подозревали друг друга, смотрели друг другу в карман и все-таки не расходились из принципа: «Если дело прибыльное и компаньоны будут в выигрыше, почему и мне не воспользоваться лакомым куском?.. Если же дело провалится, то пропади ты тоже вместе со мной...»

Что же придумал наш всемогущий бог? Он свел с этими тремя четвертого. Поторговали они вместе без малого год и поссорились. «С тех пор как бог имеет дело с ворами, плутами и жуликами, он такого вора, плута и жулика еще не встречал». Так говорят три компаньона о четвертом. А тот, четвертый, говорит то же самое про них: «С тех пор как бог имеет дело с ворами, плутами и жуликами, он таких воров, плутов и жуликов еще не встречал». Что же представлял собой четвертый?

Это был человек тихонький, невинный, опрятненький, с приятным лицом, густыми черными бровями, из-под которых выглядывали хитро смеющиеся глаза, и звали его славным именем Нахмен-Локах, то есть имя его было Нахмен-Носн, но звали его Нахмен-Локах, потому что Локах означает — он брал, а Носн — он давал. А этот Нахмен-Носн никогда в жизни не давал, а только брал... И этот Нахмен-Носн имел привычку вставлять в разговор, кстати или некстати, два слова: «потому что».

Так вот эти господа обратились к казенному раввину с просьбой выслушать их претензии,— может, он разберется в запутанных делах и примирит их. «Что бы вы ни сказали и как бы вы ни решили, ваше слово для нас закон...»

Так заявили три компаньона, а их противник с жалостным лицом тихонько поддакивал: он, мол, тоже всецело полагается на меня, ибо знает, что ни сном ни духом не виноват...

И он присел в уголочке, сложив по-бабьи руки на груди, собрал свои густые брови на переносье и, глядя на меня своими хитрющими глазами, ждал, что скажут его компаньоны...

Когда же компаньоны выложили на стол все свои претензии, он встал, погладил свои густые брови, даже ни разу не поглядел на противников, но все время смотрел в упор на меня своими хитро смеющимися глазами и мастерски разбил все их претензии. Получилось, что плуты, жулики, воры и пройдохи — они, его трое компаньонов, а он, Нахмен-Локах,— человек честный и справедливый, горькая жертва их авантюр, и больше ничего! «Потому что все, что вы здесь выслушали, сплошная ложь, знать не знаю и ведать не ведаю...» И он привел тысячу фактов — все сказанное им честно и свято...

Все то время, пока Нахмен-Локах говорил, «тройка» места себе не находила... Каждый раз кто-нибудь из них вскакивал и хватался за голову или клал руку на сердце,— мол, слыханное ли дело, чтобы человек так подло лгал!..

Много труда стоило казенному раввину удержать троих компаньонов, чтобы они от обиды не вцепились противнику в бороду. И не меньше труда стоило ему вылезть из этой горькой путаницы,— было ясно, что он имеет перед собой славную компанию, что все четверо — жулики, воры, аферисты и доносчики в придачу... И все до единого заслуживают кары.

Что же делать в таком случае? Подумав хорошенько, я говорю:

— Выслушайте меня, любезные друзья! Мое решение по вашему спору почти готово! Но вот что! Я не хочу его откры-

вать вам, пока вы не внесете по двадцать пять рублей ассигнациями каждый в залог того, что мой приговор выполните полностью.

— Ах, извольте!..— отозвалась наша тройка и Нахмен-Локах за ними вслед. Все четверо взялись за карманы и выложили на стол по четвертной. Я собрал деньги и запер их у себя в ящике стола. После этого я обратился к нашей четверке и объявил свое решение:

— Выслушав претензии обеих сторон и глубоко вникнув в ваши счеты и дела, я нашел, согласно моему пониманию и глубокому убеждению, что несправедливы вы все четверо, и не только несправедливы,— это позор, чтобы люди так вели свои дела, предъявляли фальшивые счета, приносили ложные клятвы и даже доносили друг на друга!.. Поэтому я нашел благоразумным и справедливым, так как в городе масса бедных детей, оборванных и босых, а платить за их учение некому, потому что, прежде чем вырвешь у вас медный грош, глаза на лоб полезут, чтобы ваши сто рублей пошли на нашу народную школу, а вы идите домой, и будьте здоровы, и спасибо вам за славное подношение — бедные дети наши получат и штанишки и сапожки и будут богу молиться за вас и за ваших детей — аминь.

Слушая приговор, наша «тройка» только переглядывалась между собой. Обильный пот выступил у них на лбу, и никто из них не был в состоянии ни слова вымолвить. Видать, такого никто из них не ожидал. Дар речи сохранил только их противник Нахмен-Локах... Он встал, погладил свои густые брови, протянул мне руку и, глядя на меня плутовски улыбающимися глазами, заговорил:

— Благодарю вас, уважаемый раввин, от имени всех нас за разумное решение, которое вы нам предложили... Потому что так решить мог разве лишь Соломон Мудрый. Одно только забыл сказать наш славный раввин: сколько вам полагается платы за ваше умное и честное решение?

— Простите, но вы попали не по адресу!.. Я не из тех казенных раввинов, которые берут с живого и мертвого...— Так я ответил ему, как истый джентльмен, и, в свою очередь, получил ответ от Нахмен-Локаха:

— Коли так, вы не только умница, но еще и бессребреник! Не будете ли вы настолько любезны, чтобы выслушать историю. Нам будет приятно знать, что мы заплатили вам за труд хотя бы интересной историей.

— О, пожалуйста, хотя бы и двумя историями!

— Тогда сядьте, уважаемый казенный раввин, угостите нас

папиросами, и я вам расскажу интересную и правдивую историю, которая случилась со мною самим, потому что я не люблю чужих историй.

Мы закурили папиросы, расселись все вокруг стола, и реб Нахмен-Локах разгладил свои густые брови и, глядя на меня своими плутовски улыбающимися глазами, начал потихоньку рассказывать правдивую историю, которая приключилась с ним самим. Я передаю ее вам слово в слово его же языком.

— Это случилось, чтобы не солгать... словом, много воды утекло с тех пор. Я был тогда еще молодым человеком и жил недалеко от местечка, в селе, в одном пролете от поезда... Крутился, вертелся, содержал заезжий двор, недурно зарабатывал. Ротшильдом я не был, но ничего — на хлеб хватало... И, как водится, кроме меня, вертелся на вокзале добрый десяток разных перекупщиков, потому что, если человек в делах своих более или менее успевает, все другие завидуют ему... Все уверены, что он загребает золото лопатами...

Но не в этом суть дела!.. Я хочу вам только рассказать, что в самое горячее время, когда хлеб идет, вагоны мчатся, а цены поднимаются все выше и выше, моя хозяйка задумала вдруг родить мне сына... Что ж, в добрый час!

Что теперь прикажете делать? Нужно ведь справить обряд обрезания. Бросив на время дела, я срочно отправляюсь в город закупить все, что полагается, а также пригласить моэла со всеми его приспособлениями и синагогального служку... По моим расчетам, вместе с моэлом и служкой у меня вполне соберется миньен, может быть — еще с гаком. Что же оказывается? Один из деревенских старожилов вдруг тяжко заболел и не мог явиться на торжество, хоть принеси его вместе с кроватью... А другой ни с того ни с сего сорвался с места и, не говоря ни слова, срочно ускакал в город по случаю годовщины смерти родителей. И что тут долго рассказывать! Я остаюсь без миньена, хоть ложись да помирай! А тут еще, как назло, канун субботы (в пятницу, видите ли, моей жене вдруг да понравилось сына рожать), кроме того, и моэл с помощником не дают покоя... Синагогальный служка чуть слезами не обливается: «Зачем вы нас таскали в этакую даль?..» Беда, да и только! Вдруг меня осенила идея, и я побежал на вокзал: авось пошлет мне господь бог удачу,— ведь столько людей проезжает?!

И представьте, прибегаю на вокзал,— только что подкатил курьерский, вот-вот он готов дальше укатить... И вдруг смотрю, какой-то субъект, весьма плотный на вид, с брюшком, с солидным чемоданом в руках, летит запаренный — и прямо к бу-

фету!.. Видать, закусить на ходу. Но чем может поживиться еврей в трефном буфете?.. Ищет глазами, нет ли селедочки или, скажем, яичка, прямо слюнки у него текут. Смотреть жалко!

Взял я его тут за рукав, говорю: «Дяденька, вы хотите закусить?» Мой пассажир даже вздрогнул от неожиданности: «Кто вам сказал, что я хочу закусить?» Тогда я обращаюсь к нему. «Не то, уважаемый... Я хотел вам сказать,— говорю я,— что я желаю вам сто лет жить... Сам бог вас сюда прислал!..» Бедняга смотрит на меня, ничего не понимает. «Вы хотите, говорю, заслужить царствие небесное да еще в придачу поесть вкусное жаркое, которое тает во рту, и со свежей булкой, только что из печки?» А он все смотрит на меня, как на помешанного: «Кто вы такой и что вам надо от меня?» Тогда я уже прямо рассказываю ему всю историю, какое у меня горе. «Сын, говорю, у меня родился. Все уже есть — и мастер обрезания, и синагогальный служка, и хороший обед. Одна беда — нет десятого еврея для полного миньена».— «Какое же это имеет отношение ко мне?» — спрашивает пассажир. «А такое, говорю, что я прошу вас быть десятым. Вы заслужите царствие небесное и неплохо пообедаете».— «Да в своем ли вы уме? — говорит он.— Как это так? Поезд уйдет, а ведь канун субботы, и я еду по делу...» — «Что тут страшного? — говорю я.— Вы поедете следующим поездом. А пока что вы заслужите царствие небесное и вкусите от богоугодной трапезы — свежий бульон с лапшой, дай бог каждому такое знатное блюдо...»

Одним словом, зачем долго говорить, когда можно рассказать покороче? Я победил. Очевидно, жаркое и бульон с лапшой сделали свое дело... Пассажир прямо облизывался. Не долго думая, взял я у него из рук чемодан, и мы вдвоем отправились ко мне домой... И мы справили обряд обрезания, дай бог всякому.

Жаркое давало себя знать заранее, так как было заправлено чесноком. Такое жаркое, да со свежим пирогом, и соленые огурчики, и бутылка пива, да еще немного коньяку перед обедом, и стаканчик вишневки после обеда — что и говорить! Наш гость полностью выполнил обет «и подкрепите сердца ваши», аж лоб у него вспотел! Но вот беда. Пока то да се, не успели оглянуться — и день прошел. О горе! Наш гость вскочил на ноги и схватился за чемодан. «Куда же вы спешите? — говорю я.— Бог с вами!.. Во-первых, кто вас выпустит накануне субботы, во-вторых,— говорю я,— вы не из тех людей, что позволяют себе нарушить субботний покой. Чем справлять субботу в поле, так уж лучше, говорю, у меня». А он стонет и охает: «Помилуйте, зачем вы меня задержали? И что я вам плохого сделал? И по-

чему вы не сообщили мне об этом раньше?» Претензии да претензии! А я ему отвечаю: «Во-первых, не моя обязанность говорить вам, что наступает суббота, потому что вы и сами это знаете, а во-вторых,— говорю я,— почем знать? Может быть, вам судьба,— говорю я,— отпраздновать субботу именно у меня и попробовать рыбу моей жены... Уверяю вас,— говорю я,— что с тех пор, как рыба зовется рыбой, вы такой рыбы, как рыба моей жены, и во сне не видели...» Поверите ли? Я уже знал, чем можно взять этого человека. И в самом деле, только мы успели произнести вечернюю молитву, благословить наступающую субботу и отпить по глотку из рюмки, и моя хозяйка подала на стол рыбу,— у нашего гостя раздулись ноздри, глаза заблестели, и он набросился на рыбу, как после долгого поста, расхваливал ее до небес, отнюдь не отказался от доброй рюмки перед рыбой и от такой же рюмки после рыбы...

И когда следом за тем подали на стол субботний бульон с лапшой, то и лапша ему очень понравилась, а также и цимес, и мясо в цимесе, кусок грудинки, он также хвалил — пальчики облизывал!

«Знаете, говорит, что я вам скажу? Раз уж так случилось, то я весьма рад, что остался у вас на субботу, я,— говорит он,— давно так не был доволен субботой, как теперь».— «Очень рад,— говорю я,— но подождите, вы еще не то увидите завтра, потому что завтра суббота, а на субботние блюда,— говорю я,— моя хозяйка первоклассный мастер...»

И так оно и было. На завтрашний день, после молитвы и после того, как все чокнулись, начали подавать на стол закуски: печенье, рубленую селедку, лук с редькой с гусиным жиром, рубленые яички, печенку со шкварками. А потом еще холодную рыбу, и грудинку из вчерашнего цимеса, и студень с чесноком. Потом достали из печки тушеное мясо с картошкой и горячим жирным куглом, и наш гость не переставал восхищаться. «Это,— говорю я ему,— пустяки! Подождите немного, и вы отведаете наш валашский субботний борщ, лишь тогда вы поймете, что такое хорошее блюдо...» Смеется наш гость и говорит: «Эхма, улита едет, когда-то будет?! Где мы уже будем, пока ваш знаменитый борщ поспеет!..» Засмеялся и я, да еще повеселее нашего гостя. «Представьте, друг милый,— говорю я ему,— что вы глубоко ошибаетесь. Если вы собираетесь выехать к ночи,— говорю я,— то выкиньте это из головы, потому что известно, кто выезжает в субботу, тот сидит всю неделю дома».

И так оно и вышло. Сейчас же после ужина и торжественных песнопений, когда зажгли свечи, наш гость стал уклады-

вать свои вещи и готовиться к отъезду. «С ума вы сошли, что ли? Во-первых, кто вас отпустит на ночь глядя. Во-вторых,— говорю я,— где вы теперь возьмете поезд?» — «Помилуйте,— говорит он,— ведь вы меня просто убили». А я говорю: «Только и горя, что поезд ушел. Завтра чуть свет будет другой поезд. Вы,— говорю я,— лучше постарайтесь запастись пустым желудком и хорошим аппетитом, потому что наш борщ вот-вот да и придет на стол! Об одном я вас только прошу,— говорю я,— скажите, ели вы когда-либо такой замечательный борщ? Но чистую правду!» Что и говорить — ему, бедняге, пришлось признаться: сколько он себя помнит, такой борщ он ест первый раз! У него даже появилась охота тут же на месте узнать, как такие борщи готовят и почему, интересно, окрестили его таким знатным именем и тому подобное... А я говорю: «Чего ради вы интересуетесь этим? Лучше, говорю, попробуйте вот этот стаканчик вина и, пожалуйста, скажите мне свое мнение, но правду, чистую правду, потому что я не переношу комплиментов!..»

Одним словом, налили стаканчик и еще стаканчик и улеглись спать. И наш гость, будьте спокойны, проспал утренний поезд и встал ни жив ни мертв, страшно расстроенный, и налетел на меня, что я по-человечески был обязан его разбудить, из-за меня он окажется в большом убытке — даже неизвестно на какую сумму. Одним словом, я ему, несчастному, наделал много бед. Спокойно выслушав его речь, я говорю: «Скажите сами, не чудак ли вы? Во-первых, чего, собственно говоря, вам пороть горячку без толку? Долго ли, в самом деле, живет человек на белом свете? Это во-первых. Во-вторых, вы забыли,— говорю я,— что сегодня третий день после обряда обрезания, это, по-вашему, пустяки. У нас такой обычай,— говорю я,— что на третий день после обрезания задают пир намного богаче, чем на самом обрезании! Неужели, говорю, вы захотите ни за что ни про что расстроить наш праздник?»

И так оно и вышло. Наш гость дольше не мог уже удержаться и даже рассмеялся с горя. «Что нам долго толковать,— говорит он,— вы, видать, клещ из клещей».— «Хоть бы и так,— говорю я,— лишь бы гость сидел за столом».

За обедом, когда взяли по рюмочке, я говорю: «Послушайте, милый гость, теперь, может быть, и не стоило бы говорить о молочных блюдах, поскольку мы с вами заняты мясным, но мне все же хотелось бы услышать ваше мнение о варениках с творогом». Смотрит на меня гость во все глаза, не понимая, что, собственно, я хочу этим сказать. «Потому,— говорю я,— что

мне хотелось бы, чтоб вы попробовали наши вареники с творогом, сегодня вечером у нас молочный ужин». Тогда гость вне себя говорит: «Ай, как нехорошо. У, вижу, что вы снова хотите задержать меня на целые сутки. Это дурно с вашей стороны...» И по тому, как он горячится, я догадываюсь, что долго упрашивать его не придется, и ссора с ним мне не угрожает, потому что на аппетит он не может пожаловаться, любит человек покушать... И я говорю ему: «Даю вам честное слово, вот вам моя рука, что завтра я подниму вас на рассвете, прямо к утреннему поезду. Пусть весь мир перевернется, а вы, заверяю вас, уедете вовремя». Услышав такие речи, гость немного смягчился. «Помните, слово чести! — обращается он ко мне.— Этим не шутят!» А моя хозяйка, что вам сказать, приготовила такой молочный ужин, с такими варениками, что наш гость должен был признаться: хотя его жена тоже мастерица делать вареники, но до моей жены ей далеко, как небу до земли!

И так оно и вышло. Свое слово я сдержал, потому что слово есть слово!

Моего гостя я поднял рано утром, поставил самовар, а он тем временем, собираясь в дорогу, стал горячо прощаться со мной и моими домочадцами. А я и скажи ему: «Попрощаться мы успеем, надо вперед рассчитаться». Смотрит он на меня, не вполне понимая, в чем дело. «Что значит рассчитаться?» — «Рассчитаться,— говорю я,— значит, подвести итог. Я, говорю, покажу вам счет, сколько с вас причитается, а вы, говорю, будьте так добры уплатить по этому счету...» Гость покраснел: «Уплатить? За что мне платить?» — «То есть как за что,— говорю я,— за все: за питание, за вино, за ночлег».

Тут гость уже не покраснел, а побелел. «Я вас не понимаю,— говорит он.— Вы пригласили меня к себе на торжество по случаю рождения вашего сына. Перехватили меня на вокзале, вырвали чемодан из рук, даже царствие небесное обещали...»

«Правда, все правда! Какое это, однако, имеет отношение к делу? То, что вы были гостем на нашем празднике, мы вовеки не забудем. Но обеды, вино и ночлег — это, говорю, я не обязан давать даром. Вы ведь, насколько я догадываюсь, человек бывалый и сами понимаете, что рыба стоит денег, и вино вы пили самое лучшее, а также пиво и вишневку, цимес, и кугл, и борщ вы хвалили до небес, пальчики облизывали, и вареники с творогом вам тоже пришлись по вкусу. От всей души желаю, чтоб это пошло вам впрок. Но вы ведь, наверное, не захотите, чтобы ваше удовольствие стоило нам и труда и денег!»

Наш гость, вижу я, покрылся испариной. С ним чуть удар не случился. Он начал швыряться, шуметь, кричать и возмущаться... «Это же содом и гоморра! Еще хуже. Такого злодейства,— говорит он,— еще нигде в мире не бывало. Сколько вам следует?» Я поднимаюсь, беру бумагу и карандаш и подаю ему круглый счет за пищу и питье, за ночлег, за субботний обед, за вино и вишневку, и за пиво, и за отдельно заказанные вареники с творогом; одно к одному собралось тридцать с лишним рублей, точно не помню...

Увидев счет, наш гость и пожелтел и посерел, руки у него задрожали, а глаза чуть на лоб не полезли, и он принялся еще громче кричать: «Куда это я попал? К лесным разбойникам, что ли? Где же тут люди? Неужто уже и бога нет?» Тогда я говорю: «Знаете что, уважаемый, зачем вам кричать? Зачем вы принимаете это так близко к сердцу? Давайте лучше съездим в местечко, недалеко отсюда, там есть люди, там раввин... Давайте спросим раввина,— как раввин скажет, так оно и будет». Когда гость услышал такие речи, ему немного легче стало, и, что тут долго рассуждать, мы наняли подводу, покатили вдвоем в местечко и — прямо к раввину.

Приехали мы это к раввину, а он только что закончил молитву и складывал талес и тефилин. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте! Что скажете хорошенького?» И тут срывается наш гость с места и начинает с жаром рассказывать все с самого начала: как он случайно проезжал мимо нашей станции, как он заскочил на вокзал чего-нибудь перекусить,— у него и в мыслях не было, что он попадет на торжество. «И вдруг подскакивает ко мне этот человек (он показывает в мою сторону) и слезно молит меня быть десятым у него на торжестве, ибо сам бог так велел!» Потом гость рассказал, как я вырвал чемодан из его рук, как он пришел на семейное торжество и тут же хотел ехать дальше, а я задержал его на субботу, и на воскресенье, и на вареники с творогом. Одним словом, он ничего не пропустил и показал раввину счет, который я ему предъявил. Раввин выслушал его с большим вниманием до конца, а потом обратился ко мне: «Одну сторону, значит, мы выслушали, теперь послушаем другую сторону. Что вы скажете?» — «Мне нечего добавить,— отвечаю я,— все, что говорил вам этот человек,— сущая правда. Но пусть он скажет честно, когда и в какой день он появился, где он праздновал субботу, ел ли он рыбу, пил ли вино, пиво, коньяк и вишневку, и хвалил ли он борщ и вареники с творогом, которые приготовила моя жена?» Тут мой гость пуще прежнего разволновался, швыряется, трясется —

вот-вот его кондрашка хватит. Раввин просит его не волноваться и не злиться, потому что злость служит Молоху,— и еще раз спрашивает про рыбу, и про борщ, и про вареники, правда ли, что он пил вино, пиво, вишневку и коньяк. Потом раввин надевает очки, проверяет счет сверху донизу, подводит итог — так оно и есть, все сходится до последней копейки. Тогда он в кратких словах выносит свой приговор: что гость должен уплатить мне согласно счету тридцать рублей с копейками, а издержки на поездку туда и обратно и плата раввину за то, что он нас рассудил, это уж пополам,— каждый пусть внесет свою долю.

Выскочив от раввина, как из парной бани, гость достал кошелек, выхватил оттуда пятьдесят рублей и швырнул их мне в лицо: «Берите тридцать с лишним рублей, которые вам следует по счету, и дайте сдачи».— «Какая такая сдача,— говорю я,— какой такой счет? Какие тридцать с лишним рублей? Вы что, думаете, я и в самом деле разбойник с большой дороги или сумасшедший? Как это я возьму у вас деньги? Поймал на вокзале человека, совершенно чужого, не знаю его и не ведаю, забираю у него чемодан из рук, завлекаю против его воли к себе на торжество по случаю рождения сына и провожу с ним субботу, дай бог всякому, так неужели я у него потребую деньги за оказанную мне услугу и за удовольствие, которое он мне доставил?» Тут уж он посмотрел на меня вовсе как на помешанного: «Зачем же вы мне морочили голову и чего ради вы меня тащили к вашему раввину?» — «Странный вы человек! Я это сделал, говорю, для того, чтобы показать вам, какой умница наш раввин, ни для чего иного!..»

Рассказав эту историю, наш Нахмен-Локах весьма солидно поднялся с места, а за ним и его компаньоны стали застегивать сюртуки и совсем уж собрались уходить, когда я предложил им еще по папиросе и обратился к рассказчику.

— Итак, вы рассказали мне историю о раввине. Не будете ли вы так любезны выслушать и мою историю, тоже о раввине, но намного короче вашей?

И, не дожидаясь от них ответа, я приступил прямо к делу.

— Это было,— так начал я мою историю,— совсем недавно, и не в местечке, а в большом городе, как раз накануне Судного дня случилось. Появляется вдруг, словно с неба свалился, купец-путешественник, разъезжающий по белу свету. Продает товар и получает деньги. Прижав руки к груди, разгуливает он по школьному двору, что на Еврейской улице, и все интересуется раввином, спрашивает, где он проживает. «А зачем вам

раввин?» — «Это вас не касается...» Спросил одного, второго, третьего и дознался наконец, где проживает раввин. Вошел он к раввину, а руки по-прежнему на груди, попросил уединиться с ним в отдельной комнате и сообщил по секрету: «Ребе, так, мол, и так. Я купец-путешественник, везу с собой большую сумму денег. Не мне они принадлежат,— раньше богу, потом людям,— чужие они. Держать их при себе в Судный день я не могу, оставить в гостинице боюсь, слишком большая сумма! Окажите любезность, возьмите у меня эти деньги и спрячьте их у себя в сундуке до завтрашнего вечера...»

Не долго думая, купец расстегивает свой жилет и вытаскивает пачку за пачкой новенькие ассигнации, одни красненькие.

Увидев такую уйму денег, раввин говорит: «Простите, но вы же меня не знаете, вы меня первый раз видите».— «Что значит — я не знаю вас? Вы же не кто-нибудь, а раввин».— «Хорошо, я раввин. Но я ведь вас не знаю, кто вы такой...» Долго они спорили. Купец — раввину: «Вы ведь раввин!» А раввин в ответ: «Но я вас не знаю!» А время не ждет, приближается Судный день. Наконец раввин согласился взять у купца деньги, но с условием: при свидетелях. Кто же эти свидетели? Ведь не всякому можно доверить такую сумму! И раввин созвал самых богатых и именитых людей, отцов города, и говорит им: «Так, мол, и так, у этого человека большие деньги, не его, чужие. И вот он просит, чтобы я спрятал их у себя до завтрашнего вечера. Так будьте же свидетелями, сколько денег он мне передал, дабы не вышло... Вы меня понимаете?» И раввин дал себе труд три раза подряд пересчитать при свидетелях доверенные ему деньги, аккуратно завернул их в платок, запечатал платок сургучом, приложил печать и показал всем присутствующим. «Вот смотрите — здесь моя печать, и помните, что вы свидетели!» Платок с деньгами раввин передал своей жене, чтобы она заперла его в сундук, а ключи спрятала так, чтобы ни одна живая душа не знала... И все отправились в синагогу, славно там помолились, а на следующий день постились, потом, как водится, хорошо поужинали после поста; глядь, и купец уж здесь: «С неделей вас, с наступающей».— «И вас также. Садитесь. Что скажете?» — «Да ничего. Я за деньгами пришел».— «За какими деньгами?» — «За наличными».— «Какие такие наличные?» — «Я за деньгами пришел».— «За какими деньгами?» — «За моими деньгами. То есть деньги эти не мне принадлежат,— раньше богу, потом людям,— чужие они. Я их дал вам на хранение...» — «Вы мне дали деньги на хранение? Когда?!»

Смеется наш купец, думает, что раввин шуточки шутит. А раввин спрашивает его: «Чего вы смеетесь?» А тот отвечает: «Первый раз в жизни вижу я раввина-шута!» Тут уж наш раввин обиделся. До сих пор никто еще не смел обзывать его шутом. «Скажите, чего вам, собственно говоря, здесь надо?»

Услышал купец такие речи, и у него замерло сердце. «Что вы, ребе? Ради бога! Вы хотите погубить человека?! Я ведь отдал вам все мое достояние — не мое, чужое. Вот вам доказательство,— говорит он,— вы завернули мои деньги в платок, запечатали сургучом, заперли у жены в сундуке, а ключи велели ей спрятать так, чтобы ни одна живая душа не знала. Больше того, при этом, говорит, были свидетели, самые уважаемые люди вашего города...»

И тут же называет их всех по именам, от первого до последнего. А сам, бедняга, холодным потом обливается, спазмы его душат, и он просит стакан воды.

Не долго думая, раввин послал служку за самыми именитыми людьми города, за сливками общества. Те сразу явились: «Что случилось?» — «Несчастье! Навет! Вот назойливый человек, этот купец,— говорит раввин,— он утверждает, что передал мне якобы на хранение большую сумму денег накануне Судного дня и что вы все якобы были свидетелями этого...»

Уважаемые хозяева переглянулись между собой, как бы говоря: «Вот где можно будет поживиться! Шутка ли, такая сумма... Это ли не искушение?» И они дружно набросились на купца: «И не стыдно вам возводить на нашего раввина такой неслыханный поклеп?!»

Увидел купец, что дело принимает такой оборот, и руки у него опустились. Он задыхался, вот-вот потеряет сознание.

Тогда раввин встал, подошел к сундуку, вынул из него платок с деньгами и поднес купцу. «Бог с вами, не волнуйтесь! Вот ваши деньги! Только пересчитайте их как следует, на глазах у этих людей. Печать, как видите, не тронута, сургуч цел, все как полагается!»

Новую жизнь вдохнули в бедного купца. Руки у него задрожали и слезы выступили на глазах.

«Зачем вам понадобилось, ребе, так подшутить надо мной? Ну и шутка!» — «Я только хотел показать вам, каковы наши уважаемые хозяева...»

БЕРЛ-АЙЗИК

Американские чудеса

«Америка — страна блефа», «Американские блефмены...»

Так говорят там новоприбывшие. Еще зеленые, они, право, сами не знают, что мелют. Америка не годится Касриловке в подметки, и наш Берл-Айзик заткнет за пояс всех американских вралей!

О том, что за человек этот Берл-Айзик, можно судить по тому, что зарвавшегося враля, о котором обычно говорят *«он порет несусветную чушь»,* у нас в Касриловке обрывают словами: «Берл-Айзик тебе кланяется»,— и тот сразу замолкает.

Рассказывают у нас в Касриловке историю, которая дает довольно полное представление о Берл-Айзике. У христиан есть обычай: встречаясь на пасхальной неделе, один сообщает другому радостную весть, что Христос ожил,— «Христос воскрес», на что другой отвечает: «Воистину воскрес»,— то есть это подлинная правда, он действительно ожил... Должно же было случиться, что какой-то христианин встретился с неким находчивым евреем и обрадовал его доброй вестью: «Христос воскрес»... Еврею стало не по себе: как быть? Ответить христианину: «Воистину воскрес» — он не может, потому что это ложь, да и противно иудейской вере. Сказать ему: нет, он не воскрес,— за такие слова недолго и на неприятности напороться... Наш еврей нашелся и ответил христианину: «Воистину, я слышал это сегодня от нашего Берл-Айзика...»

Представьте же себе, что этот самый Берл-Айзик отправился в Америку, пробыл там несколько лет и вернулся назад, в Касриловку. Каких только чудес не рассказал он об Америке!

— Во-первых, о самой стране. Земля там сочится млеком и медом. Люди зарабатывают большие деньги, набирают их полными пригоршнями, прямо-таки загребают золото! А дел — по-тамошнему «бизнес» — там столько, что голова кругом идет!

Что пожелается, то и делаете. Хотите на фабрику — вот вам фабрика, желаете открыть лавчонку — откройте лавчонку, нравится толкать тележку — по-ихнему «пушкар» — толкайте тележку. Не нравится — возьмитесь за торговлю вразнос, а не то идите работать на завод — свободная страна! Вы там можете распухнуть от голода, свалиться посреди улицы — пожалуйста, никто вам не помешает, никто слова не скажет...

А какие города! А ширина улиц! А высота домов! Есть там «домишко», называется «волворт», трубой уходит он в облака и еще выше; домишко этот имеет, надо думать, несколько сот этажей. Хотите знать, как влезают на чердак? При помощи такой лестницы, которая называется «элевейтор». Если вам, скажем, нужно попасть на верхний этаж, вы садитесь рано утром внизу на элевейтор и под вечер, примерно к предвечерней молитве, прибываете на место.

Разобрала меня однажды охота, и прокатился я наверх — любопытно же взглянуть, что там творится,— я об этом не пожалел. Того, что я там увидел, мне уже больше никогда не увидеть, а то, что я испытал, не поддается никакому описанию. Представьте себе, стою наверху и гляжу вниз, вдруг чувствую на моей левой щеке какую-то странную прохладу, прикосновение чего-то гладкого, похожего на лед, ну, если не на лед, то на сильно застывший студень — что-то такое скользкое и тряское. Осторожно поворачиваю голову влево, гляжу — луна!

А живут они там! Всю свою жизнь только и знают, что спешить, мчаться, бежать. У них это называется «ари гоп»! Все они делают второпях, даже едят на ходу. Забегают в ресторан, велят подать себе вина, а на закуску... Я сам видел, одному подали на тарелке что-то такое свежее, трепещущее, и едва он успел это разрезать, одна половина улетела в одну сторону, другая половина — в другую сторону, и мой молодец, считается, уже позавтракал.

И тем не менее посмотрели бы вы, какие они здоровенные! Силачи! Богатыри! У них манера — драться на стрите, посреди улицы, значит. Ни бить вас, ни убивать, ни глаз подбить, ни пару зубов вышибить, как у нас бывает, они не собираются, упаси боже! Просто так, ни с того ни с сего, засучивают рукава и надают друг другу тумаков, любопытства ради — кто кого. У них это называется — *боксировать*. Гулял я однажды по Бронксу, нес с собой немного товару, подходят два молодчика и начинают меня задирать — хотят со мной боксировать. Говорю я: «Но, сэр, я не боксирую». Туда-сюда, они меня дальше не пускают. Меня разобрала злость — раз вы такие-сякие, я

покажу вам, почем фунт лиха, потом пеняйте на себя. Опустил я на землю свой узел, сбросил кафтан, да как начал... получать затрещины — насилу вырвался из их рук. Их-то ведь двое, а я один! С той поры я не боксирую, хоть озолотите.

А их язык! Все у них шиворот-навыворот, и, словно бы назло, все не как у людей. К примеру, если мы говорим — кухня, то они говорят — кичн, если у нас — мясник, то у них — бучер; по-нашему — сосед, по-ихнему — «нексдоригер», соседка — «нексдориге», хозяйка — «лендлориха». Все наоборот. Както накануне Судного дня обратился я к одной миссис: «Купите мне кура на «капорес». Она удивилась: «Почему вам кура? Ведь это мне, женщине, полагается кура». Я говорю: «Ну, конечно, себе купите куру, а мне — кура». Но попробуйте с женщиной договориться толком — я про кура, а она про куру — история без конца! Вдруг меня осенило, и я сказал: «Купите мне куриного джентльмена!» Тут она меня, конечно, поняла и облагодетельствовала прекрасным словом «ол райт!», означающим почти то же самое, что у нас — «так и быть!», «почему бы и нет?», «ах, с величайшим позором... то есть почетом».

А почет, который нам, евреям, там оказывают! Ни один народ так не почитаем, уважаем и возвышен в Америке, как еврейский. У них еврей — это самый цимес; то, что ты еврей, это — предмет гордости. Вы можете, к примеру, в праздник кущей встретить еврея на самой Пятой авеню, шествующим с лулевом и эсрогом в руках, причем он нисколько не боится, что его за это посадят в кутузку. Говорю вам — там любят еврея, можете не сомневаться. Вот чего там не любят — это еврейскую бороду и пейсы. На их языке это называется «вискес». Завидев еврея с вискес, они его самого не трогают, зато как возьмутся за его бороду и пейсы — дергают и щиплют так, что он вынужден в конце концов снять их, сбрить. Поэтому-то евреи там в большинстве без бород и усов. Лицо гладкое, как тарелка. А как ты узнаешь еврея, если у него ни бороды, ни еврейской речи?.. Разве только по проворной походке или по тому, как он при разговоре размахивает руками... Во всем же прочем они евреи. Евреи по всем приметам. Соблюдают все еврейские обычаи, любят все еврейские блюда, справляют все еврейские праздники. Пасха у них — пасха. Мацу пекут там круглый год, а харойсес изготовляет специальная фабрика, называется «фектори». Тысячи рабочих сидят в этом фектори и «мануфекчируют харойсес». На горьких приправах к пасхальной трапезе тамошние евреи устраивают себе недурную жизнь — вы шутки шутите с Америкой?..

— Конечно, Берл-Айзик, если все, что ты рассказываешь, — правда, это очень хорошо. Но нам хотелось бы узнать еще одну вещь: умирают там, в Америке, как и здесь, или там живут вечно?

— Умирают, почему бы не умирать? В Америке, если уж начнут умирать, так тысяча в день, десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч. Там разом валятся целыми улицами. Целые города, подобно Койраху, проваливаются сквозь землю!.. Вы шутки шутите с Америкой?

— Ша, но если так, чем они лучше других? Умирают они, значит, не хуже нас!

— Так-то оно так, умирать они умирают, но как умирают — вот в чем суть. Не в том дело, что умирают. Везде умирают одинаково — от смерти умирают. Главное в погребении, вот что! Во-первых, в Америке заведено, что каждый знает заранее, где он будет погребен. Еще при жизни человек отправляется на кладбище — там оно называется «сэмэтэрией» — сам выбирает себе место и торгуется до тех пор, пока не уладит дело с ценой. Потом он приезжает на сэмэтэрию с супругой и говорит ей: «Видишь, душа моя? Вот здесь будешь лежать ты, вот тут буду лежать я, а там будут лежать наши дети». После этого он идет в похоронное бюро и на далекое будущее (через сто двадцать лет!) заказывает себе похороны, какого класса ему захочется. Всего там, ни много ни мало, три класса: первый, второй и третий. Первый класс — для богачей, для миллионеров, стоимость похорон — тысяча долларов. Ничего не скажешь, это уж похороны так похороны! Солнце сияет, погода чудесная, погребальные носилки отделаны серебром и возвышаются на черном катафалке, лошади покрыты черными попонами и украшены белыми перьями. Реверенты — раввины, канторы, служки — тоже одеты в черное, только пуговицы белые, а карет следом видимо-невидимо! А дети из всех талмудтор идут впереди и протяжно во весь голос поют: «Правда пойдет пред лицом господа и поставит на путь стопы свои...» Звуки их пения разносятся по всему городу! Шутка ли — тысяча долларов?!

Второй класс — тоже приличные похороны, стоят они пятьсот долларов, но это уже не то. Погода уже не так хороша, так сказать — ничего особенного. Погребальные носилки на черном катафалке, но уже без серебряной отделки. Лошади и реверенты одеты в черное, но уже нет перьев и белых пуговиц. Кареты следом движутся, однако их не так уж много. Дети только из нескольких талмудтор идут впереди и поют уже не так голо-

систо: «Правда пойдет пред лицом господа и поставит на путь стопы свои!» Поют они тоскливо, соответственно, конечно, пятистам долларам...

Третий класс — это уже совсем бедняцкие похороны, цена всего-навсего одна сотня. На улице прохладно, пасмурно. Погребальные носилки без катафалка. Лошадок всего две, реверента тоже два, карет — ни одной. Дети из одной только талмудторы идут впереди и, глотая слова, уже не поют, а попросту бубнят без всякой напевности:

«Правда пойдет пред лицом господа и поставит на путь стопы свои... Правда пойдет пред лицом господа и поставит на путь стопы свои».

Сонно, тихо, их едва слышно,— всего-то навсего только сотню долларов, можно ли желать большего за одну сотню?

— Да... Но скажи, Берл-Айзик, что же делать тому, у кого и этой сотни нет?

— Его дела весьма плачевны! Без денег везде плохо! Бедняку и на земле, что в земле!.. И тем не менее не заблуждайтесь! В Америке и последнего бедняка не оставляют непогребенным. Ему устраивают похороны без всякой платы, они ему и в цент не обходятся. Конечно, это очень грустные похороны. Никаких церемоний, о лошадях и реверентах и помину нет. На дворе слякоть, льет как из ведра. Приходят служки — только двое. С обеих сторон служки, а в середине — покойник, так втроем они и тащатся, бедняжки, пешком до самого кладбища... Без денег, слышите ли, лучше не родиться — поганый мир... А нет ли у кого из вас, евреи, лишней папиросы?



ПРИМЕЧАНИЯ

Шолом-Алейхем (псевдоним Ш. Рабиновича, 1859—1916) начал писать с детских лет. «Страсть к писанию, как это ни странно,— говорит Шолом-Алейхем в своих автобиографических заметках,— началась у меня с красивого почерка... За красиво написанное задание отец давал... по грошу (первый гонорар). Я сшил себе тетрадь и красивыми буквами вывел в ней («сочинил») целый трактат по Библии и древнееврейской грамматике. Отец пришел в восторг от моего «произведения» и долго носил его у себя в кармане, показывая каждому встречному и поперечному, как прекрасно пишет его сын (было мне тогда лет десять)...»

Первый рассказ Шолом-Алейхема «Цвей штейнер» («Два камня») был опубликован в петербургской «Фолксблат» («Народная газета») в 1883 г. В продолжении последующих четырех лет он много писал. Среди его ранних художественных опытов были произведения, написанные и по-русски и на древнееврейском языке. «Мои писания, однако, в те времена,— подчеркивает Шолом-Алейхем,— были не более, чем забава». Начало «серьезного писания» он относил к весне 1887 г. Новеллами «Ди бесте ёрн» («Лучшие годы») и «Дос месерл» («Ножик») и одноактной пьесой «А доктер» («Доктор») открывается творческая биография выдающегося еврейского писателя.

Первое собрание сочинений Шолом-Алейхема в четырех томах было предпринято в 1903 г. варшавским издательством «Фолксбилдунг» («Народное просвещение») в связи с двадцатилетием литературной деятельности писателя.

Как бы подводя первые итоги, Шолом-Алейхем в письме от 27 апреля 1903 г. Л. Н. Толстому писал о себе: «Автор этих строк имеет честь не только принадлежать к... вечно гонимому, бесправному, презираемому, но по-своему великому народу, но и быть скромным выразителем его чувств, мыслей и идеалов. Короче — я еврейский народный бытописа-

тель, пишущий на еврейском разговорном наречии, именуемом жаргоном, вот уже двадцать лет...»

Свое первое издание «народный бытописатель» тщательно готовил. Из большого числа рассказов и новелл он отобрал: «Первый выезд», «Ножик», «Счастье привалило!», «Химера», «Нынешние дети», «Скрипка» (I том), «Рассказы для детей» (II том), «Маленькие люди с маленьким кругозором» (III том) и роман «Стемпеню» (IV том).

В последующие годы произведения Шолом-Алейхема издавались часто. Начиная с 1905 г. варшавское издательство «Книга для всех» распространяло отдельными небольшими книжками его новеллы и пьесы стотысячными тиражами.

По инициативе некоторых еврейских писателей и друзей Шолом-Алейхема в связи с 25-летием его творческой деятельности в 1908 г. был создан «Юбилейный комитет» для выкупа его произведений у частных издателей. Тот же комитет подготовил четырнадцатитомное юбилейное собрание сочинений, которое издавалось варшавским «Прогрессом» в течение 1908—1914 гг.

Шолом-Алейхем стилистически исправлял текст, нередко сокращал свои произведения. Некоторые и вовсе не были им включены в юбилейное издание. Собрание сочинений он построил по жанрово-хронологическому принципу.

Сразу же после смерти писателя нью-йоркский «Народный фонд им. Шолом-Алейхема» начал издавать полное собрание его сочинений. С 1917 по 1925 г. было опубликовано двадцать восемь томов. При расположении материалов по томам был частично нарушен как хронологический, так и жанровый принцип. Издание лишено какого бы то ни было литературоведческого аппарата.

Первое собрание сочинений на русском языке в восьми томах в переводе И. Пинуса было опубликовано московским издательством «Современные проблемы» в течение 1910—1913 гг. В советское время издательство «Земля и фабрика» опубликовало два тома избранных произведений (Л. 1926—1927) под редакцией И. Э. Бабеля, многие произведения Шолом-Алейхема выходили в издательстве «Пучина» в переводах дочери писателя Ляли Кауфман и Д. О. Гликмана.

В связи со столетием со дня рождения Шолом-Алейхема издательство «Художественная литература» в течение 1959—1961 годов выпустило в свет шеститомное Собрание сочинений. Это наиболее полное русское издание произведений Шолом-Алейхема.

Произведения Шолом-Алейхема переведены на многие языки народов СССР, а также на древнееврейский, польский, румынский, болгарский, чешский, английский, французский, немецкий, японский и другие.

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

«Тевье-молочник» объединяет серию монологов («Аз недостойный», «Счастье привалило!», «Химера», «Нынешние дети», «Годл», «Хава», «Шпринца», «Тевье едет в Палестину» и «Изыди!»), которые печатались в периодической еврейской печати на протяжении 1894—1914 гг.

АЗ НЕДОСТОЙНЫЙ

Впервые опубликован в сборнике «Дер хойзфрайнд» («Друг дома»), т. IV, Варшава, 1895.

Стр. 23. *Реб* — в смысле господин. Произносится при обращении к старшему или знатному.

Иаков, Исав — библейские мифические персонажи.

...в Бойберик на дачи съезжаются егупецкие богачи... — Егупец — так в произведениях Шолом-Алейхема называется Киев. Бойберик — дачная местность Боярка, неподалеку от Киева.

СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!

В письме (26/IX 1894) к М. Спектору, редактору сборника «Дер хойзфрайнд», Шолом-Алейхем писал: «20 октября Вы, с божьей помощью, получите от меня обещанное произведение под названием «Тевье-молочник» — история о том, как он неожиданно разбогател, рассказанная самим Тевье...»

Шолом-Алейхем свое слово сдержал: Спектор получил монолог «Счастье привалило!» и поместил его в том же сборнике, в котором был напечатан «Аз недостойный».

Стр. 25. *Пятидесятница* (швуэс).— Древний еврейский праздник, отмечался летом, «когда серп появлялся на жатве». Впоследствии трансформировался в праздник «дарования закона» в память о легендарном вручении богом на горе синайской «Закона» (Пятикнижия) пророку Моисею. Название праздника произошло от того, что он приходится на пятидесятый день после первого дня пасхи.

Стр. 26. *Бродский* — киевский крупный капиталист и сахарозаводчик.

«Поучение отцов» («Абот») — трактат Талмуда, содержащий изречения и афоризмы религиозно-нравственного характера.

Стр. 27. *Авраам, Исаак* — библейские мифические патриархи.

Стр. 28. *...в парике.*— Согласно иудейской религии, замужняя женщина не имела права показываться на людях с непокрытой головой, а должна была носить парик.

Стр. 32. *...им там жить не разрешается.*— При царском режиме евреи, за исключением некоторых привилегированных категорий, не имели права жительства в Киеве.

Стр. 33. *Казни египетские.*— Десять казней, которыми, согласно библейской легенде, бог Яхве (Иегова) наказал египетского фараона за то, что он не хотел освободить евреев.

«Рабами были мы».— Фраза из «Сказания на пасху» («Хагады»).

Стр. 34. *Лехаим!* — За жизнь! (здравица).

Стр. 37. *Соломон Мудрый* — библейский царь, X в. до н. э.

...счетом дважды по восемнадцать...— Числовое значение букв, составляющих древнееврейское слово «хай», то есть жизнь, равно восемнадцати. Поэтому восемнадцать и кратные ему считаются, по народному поверью, счастливыми числами.

Стр. 38. *...взять в откуп коробочный сбор...*— Налог на кошерное мясо (дозволенное иудейской религией к употреблению), который сдавался царским правительством на откуп.

ХИМЕРА

Впервые опубликован в еженедельнике «Дер юд» («Еврей»), Варшава, 1899.

Стр. 41. *Как в Притчах сказано...*— «Притчи Соломоновы», одна из библейских книг.

«Человек из праха создан».— Имеется в виду библейская фраза: «Ибо прах ты и в прах возвратишься».

Стр. 43. *«...все суета сует, как сказал царь Давид...*— Данное изречение взято из библейской книги «Екклезиаст», которая была составлена в III в. до н. э. Традиция приписывает ее царю Соломону, а не Давиду.

«Гос» и *«бес»* — специфические формы биржевой игры. *«Путилов»* (Тевье говорит «Потивилов»), *«Мальцев»* — акции Путиловского и Мальцевского заводов, бывшие предметом биржевой спекуляции.

Стр. 44. *«И пятнистые, и пегие, и пестрые...»* — эпитеты овец в Библии. У Тевье эти эпитеты ассоциируются с болячками, волдырями и т. п.

Стр. 45. *«Пришедший в одиночку, в одиночку и изыде».*— Библейское предписание: «Если раб пришел один, пусть один и выйдет» (то есть без жены и без детей).

Стр. 46. *Тора.*— Тора, или Пятикнижие — первый раздел Библии.

...как у праотца Авраама сказано...— Последующий стих заимствован из псалтыри, к Аврааму никакого отношения не имеет.

НЫНЕШНИЕ ДЕТИ

Впервые опубликован в «Дер юд» в 1899 г.

Стр. 54. *Трефное* — пища, запрещенная иудейской религией к употреблению.

«Аскакурдо демасканто декурносе дефарсмахто...» — Бессмысленный набор слов. По своему звучанию напоминает фразу из Талмуда.

...вы знаете толк в мелких буковках.— Имеется в виду знаток талмудической и раввинистической литературы, которая обычно печаталась мелким шрифтом.

Стр. 57. *«Песнь Песней»* — одна из библейских книг, в которой любовь объявлена единственной ценностью жизни.

Стр. 59. *Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет* — то есть если согрешить (свинину, согласно иудейской религии, есть запрещено), то по стоящему делу.

Стр. 64. *Шадхен* — посредник при заключении брака у евреев.

Стр. 67. *Меламед* — преподаватель в начальной религиозной школе (хедере).

Кантор — священнослужитель, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогального богослужения.

ГОДЛ

Впервые напечатан в газете «Дер фрайнд» («Друг»), СПб. 1904.

Стр. 70. *Раби Иоханан-Гасандлер* (башмачник) — талмудист II в.

Стр. 71. *Фефер* — по-еврейски: перец.

Стр. 75. *Мидраш* — сборник толкований Библии, притч и назидательных сказаний.

Свобода и избавление придут из другого места.— Фраза из библейской книги «Есфирь», к Мидрашу отношения не имеет.

Раши — комментарий к Библии и Талмуду.

Стр. 80. *Кущи* — древний осенний праздник жатвы; впоследствии трансформировался в праздник памяти о легендарном сорокалетнем странствовании евреев после исхода из Египта по пустыне и проживании ими в шалашах (кущах).

Стр. 83. *В эту ночь на небе решается наша судьба.*— Согласно иудейской религии, в последний день кущей бог подписывает решения, предопределяющие судьбы людей на год вперед.

ХАВА

Впервые напечатан в еженедельнике «Дос идише фолк» («Еврейский народ»), Вильно, 1906.

Стр. 86. *«Берешит бара элохим...»* — «В начале сотворил бог» (древнееврейск.). Начальный стих Библии.

Стр. 90. *«...а в субботу... сено тебе в молитвеннике покажу...»* — Непереводимая игра слов: сено по-еврейски — хей, пятая буква еврейского алфавита тоже — хей.

ШПРИНЦА

Редакции газеты «Унзер лебн» Шолом-Алейхем 30 апреля 1907 г. писал: «...посылаю вам новый рассказ «Шпринца»... это *шестой* рассказ моего друга Тевье из Бойберика, который впервые имел честь встретиться с еврейской публикой в газете Спектора «Хойзфрайнд». С тех пор Тевье дарит нам каждый год по новой истории. И сколько *дочерей,* столько историй. Как видите, Тевье не изменился нисколечко. То есть как сказать? Обстоятельства изменились, годы сделали свое, но Тевье остался тем же Тевье, с тем же мировоззрением, с теми же мыслями и принципами, и даже свой долг сохранил. Мне доставит живую радость, если мои братья и сестры в России, которые иногда интересуются еврейским словом, встретятся в праздник швуэс этого года со стариком Тевье и через него получат сердечный привет от их друга

Шолом-Алейхема».

«Шпринца» впервые опубликован в «Унзер лебн» («Наша жизнь»), Варшава, 1907, к празднику швуэс, как просил Шолом-Алейхем.

Стр. 96. *Кишинев, «коснетуция», погромы, беды да напасти...*— Имеется в виду кровавый погром против евреев в Кишиневе в 1904 г. и ряд жестоких еврейских погромов в других городах, учиненных царским правительством и черносотенными бандами в 1905—1907 гг. *«Коснетуция»* — конституция 1905 г., которую царское правительство вынуждено было дать народу для успокоения революционной бури.

Стр. 100. *...решили верхом прокатиться?* — Тевье упрекает молодежь в том, что она, нарушая праздничный покой и религиозный запрет, ездит в пятидесятницу верхом на лошади.

Стр. 108. *Иов* — главный персонаж одноименной библейской книги, в которой рассказывается о том, как бог, по уговору сатаны, желая испытать благочестие Иова, послал ему много страданий.

ТЕВЬЕ ЕДЕТ В ПАЛЕСТИНУ

Впервые напечатан в газете «Дер фрайнд» в 1909 г.

Стр. 110. *«Не гляди на сосуд».*— Талмудическое изречение: «Не гляди на сосуд, а на содержимое в нем».

Стр. 111. *«Либо как детей, либо как рабов»* — фраза из новогодней молитвы, в которой верующие просят бога смилостивиться над ними, как отец над детьми или как судья праведный над рабами. Тевье пронизирует по этому поводу и говорит о боге, который «выкинет... такую штуку, врагам бы моим такую долю».

Кадиш — заупокойная молитва, которую сын, согласно иудейской религии, должен читать по умершим родителям. В случае отсутствия сына принято было нанимать для чтения Кадиша набожного человека.

Стр. 112. *Аман* — персонаж библейской книги «Есфирь», ярый враг еврейского народа.

Стр. 116. *Как царь Соломон говорит: человек — что скотина.*— Тевье имеет в виду слова «Екклезиаста»: «Участь сынов человеческих и участь скотов — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и один дух у всех, и нет у человека преимущества пред скотом».

Стр. 120. *Поляков* — крупный капиталист, подрядчик по строительству железных дорог в царской России.

Ротшильд — магнат финансового капитала, владелец банкирских домов.

Стр. 121. *Все старые евреи едут в Палестину...*— Верующие евреи считали божьей благодатью смерть и захоронение в «святой земле», потому одинокие старики тянулись в Палестину.

Стр. 122. *Стена плача.*— Так называется, согласно преданию, одна из сохранившихся стен иерусалимского храма, разрушенного римскими легионерами в 70 г. н. э.

Стр. 125. *Падан-Арам* — библейское название Месопотамии.

Царица Савская — легендарная царица библейского племени савеев, якобы посетившая царя Соломона в Иерусалиме.

ИЗЫДИ!

Впервые опубликован в журнале «Ди идише велт» («Еврейский мир»), Вильно, 1914.

Стр. 128. *«Изыди»* — название раздела Пятикнижия, начинающегося словами: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца сво-

его». Потому «Изыди» (по-еврейски «лэх-лэхо») стало синонимом скитаний.

Стр. 130. *...как наши предки в Египте.*— Согласно библейской легенде, древние евреи находились в Египте в рабстве, сооружали города и крепости для египетского фараона.

«Делать жизнь» — специфическое еврейско-американское выражение, означающее «зарабатывать на жизнь».

Стр. 133. *...было в дни Бейлиса.*— Мендл Бейлис в 1911 г. был ложно обвинен царским правительством в ритуальном убийстве русского мальчика. «Дело Бейлиса» вызвало возмущение со стороны демократической и революционной России. На суде выявилась вся нелепость этого обвинения, и Бейлис был оправдан.

...на белой своей лошадке прискакать!— Согласно легенде, мессия (божий помазанник) по велению бога снизойдет с небес на белой лошади для избавления людей.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НОЖИК

Впервые опубликован в еженедельнике «Идишес фольксблат» («Еврейская народная газета»), СПб. 1887.

Шолом-Алейхем весьма критически относился к своим юношеским произведениям, не верил в свою писательскую судьбу, «пока,— как он отмечает,— не случилась история с «Ножиком», которая изменила характер моего творчества, как и мою жизнь». Под «историей» Шолом-Алейхем подразумевает доброжелательную рецензию С. Дубнова, которая была опубликована в журнале «Восход» (1887, №№ 7—8) и предвещала блистательную будущность таланту молодого писателя. Автор «Ножика», по его собственным словам, больше уже не принадлежал ни самому себе, ни своим домочадцам, а литературе «и той огромной семье, которая называется народ».

Стр. 144. *Талмуд* — многотомный памятник еврейской религиозной литературы, сложившейся с III в. до н. э. по IV в. н. э.

...бык забодал корову...— Начальные слова одного из трактатов Талмуда.

Стр. 145. *...настоящий «завьяловский».*— Фирма Завьялова считалась до Октябрьской революции лучшей в России по изготовлению ножей.

...ходил с непокрытой головой, брил бороду, не носил пейсов...— Признак вольномыслия, так как иудейская религия запрещает верующим

находиться где бы то ни было с непокрытой головой, брить бороду и волосы на висках (пейсы).

Стр. 146. *Болок* — Валак, царь маовитский, а также название одного из разделов Пятикнижия. В состав Пятикнижия входят пятьдесят два раздела, каждую субботу читают одну из них.

Стр. 150. *Ребе* — здесь: учитель хедера.

Стр. 151. *Меер Чудотворец* — один из законоучителей Талмуда, живший во II в. н. э. В честь его памяти в религиозных еврейских домах были специальные кру́жки, куда бросали мелкие монеты для благотворительных целей.

ЧАСЫ

Впервые опубликован в еженедельнике «Дер юд» в 1900 г.

Стр. 156. *...в женское отделение синагоги...* — Согласно иудейскому вероучению, женщина лишена равных прав с мужчинами даже перед богом, потому в синагогах имелось женское отделение.

НЕ ВЕЗЕТ!

«Не везет!» впервые опубликован в «Дер юд» в 1901 г. под названием «Дрейфус-второй», под настоящим названием — в первом издании книги «Менахем-Мендл».

Из серии писем «Менахем-Мендл», которые печатались в периодической еврейской печати в течение 1892—1903 гг. Серия была Шолом-Алейхемом отредактирована и издана отдельной книгой в 1909 г. «Готовя второе издание писем,— говорит Шолом-Алейхем,— я многое из них сильно сократил, а многое и вовсе выбросил. Потеряли при этом только наборщики, больше никто. Автор этой книги считает, что произведение, чем оно короче, тем лучше».

Стр. 163. *Просвещенец* — в смысле образованный.

Хасид — приверженец хасидизма, религиозно-мистического движения, возникшего в XVIII в. среди евреев Польши и Украины.

Стр. 164. *Приверженец Садагоры...* — В Садагоре (город, недалеко от Черновцов) обосновалась «династия» цадиков (цадик — глава хасидской паствы), пользовавшаяся славой в среде последователей хасидизма.

Наполовину хасид, наполовину немец... — Имеется в виду, что внешний облик и одежда его напоминают европейца.

Зачетная квитанция.— Имеется в виду денежный взнос, освобождавший от призыва.

Иосиф Прекрасный.— Библейский персонаж.

Стр. 176. *...штрафует* — искаженное «страхует».

РЯБЧИК

Впервые опубликован в «Дер юд» в 1901 г.

ГОРОД МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Этим очерком Шолом-Алейхем начал серию рассказов «В маленьком мире маленьких людей».

Впервые опубликовано в «Дер юд» в 1901 г.

Стр. 187. *«...черты».*— Царское правительство по религиозным и политическим мотивам установило для евреев «черту оседлости»: им разрешалось проживать лишь в строго определенных губерниях России, число которых в разное время колебалось от пятнадцати до двадцати пяти.

Касриловка.— Царское правительство запрещало евреям заниматься земледелием, работать в промышленных предприятиях, служить в государственных учреждениях. Гонимые и преследуемые, они сосредотачивались в маленьких городах и местечках, обобщенным образом которых стала в произведениях Шолом-Алейхема вымышленная Касриловка.

Стр. 189. *Алейхем шолом!* — Здравствуйте! (еврейск.)

Стр. 192. *Элул* — последний месяц иудейского календаря, канун религиозных праздников — Нового года и Судного дня. По представлению верующих, бог в эти дни определяет судьбы людей на наступающий год. Набожные евреи в эти дни усиленно постятся, чтобы покаянием и смирением умилостивить бога и заставить его предначертать им год добра и счастья.

РОДИТЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ

Впервые опубликован в еженедельнике «Дер юд» в 1901 г.

Стр. 193. *Пурим* — весенний иудейский праздник, отмечается, согласно библейскому сказанию, в честь избавления от козней злого Амана во времена персидского царя Артаксеркса.

Ребе — здесь: глава хасидской паствы.

Стр. 194. *Пророки* — книги, которые следуют за Пятикнижием и составляют второй раздел Библии.

...указ от третьего мая...— Имеется в виду «высочайшее» положение царского правительства, утвержденное Александром Третьим 3 мая 1882 г., «о порядках проведения в действие правил о евреях» («Временные пра-

вила»). Согласно «Правилам», евреям было категорически запрещено проживать в городах и селах вне «черты оседлости».

Стр. 196. *«Шулхан-арух»* — свод религиозных предписаний, составленный раввином Иосифом Каро (1488—1575).

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПОРТНОЙ

Впервые под названием «Повесть без конца» напечатана отдельным изданием в Варшаве в 1901 г.

Стр. 199. *Терех, Ишмоел* — библейские персонажи: Фарра и Измаил. Первый — отец Авраама, второй — сын Авраама, согласно преданию, патриарха еврейского народа.

«Приличествует бедность Израилю, як черевички красны дивке Хивре...» — Хивро — по-арамейски: белое, Хивря — украинское женское имя Феврония. Обыгрывая созвучие этих слов, Шимен-Эле построил фразу из талмудического поучения («Бедность так же к лицу Израилю, как красная сбруя белому коню») и украинской поговорки.

«...ему соответственна». — Имеется в виду библейское изречение: «И сказал господь бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственно ему».

Стр. 201. *«Аскакурдэ дебарбантэ»* — бессмысленное сочетание слов, напоминающее по звучанию талмудическое изречение.

Стр. 204. *Раби Пимпон* — вымышленное имя законоучителя Талмуда.

Стр. 205. *«Ни жала, ни кружала...»* — Искаженное талмудическое выражение: «Не хочу ни жала твоего, ни меда твоего».

Стр. 206. *...талескотн* (арбаканфес) — четырехугольное полотнище с круглым вырезом в центре и шерстяными кистями (цицес) по углам. Религиозные евреи носят его под верхней одеждой.

Стр. 207. *Цафро того, леморей дехайто, декупо демахто!..* — Слова, напоминающие талмудическое изречение, обозначающее: доброе утро хозяину (от) портного, (от) игольного ушка.

Рово — законоучитель Талмуда.

Стр. 211. *Эйн койцим бифройцим* — бессмысленный набор слов, который звучит, как талмудическая фраза.

Стр. 214. *Талес* — молитвенное облачение.

Стр. 214. *Филактерии* (тефилин) — кожаные коробочки с заключенными в них библейскими текстами. Во время молитвы филактерии одевают на лоб и левую руку.

Стр. 218. *Даен* — помощник раввина.

Стр. 225. *...акцизник* — откупщик налога на винно-водочные продукты.

Стр. 226. *...как говорит царь Давид в «Песни Песней».*— Автором библейской книги «Песнь Песней» традиция считает царя Соломона, а не Давида.

Стр. 228. *Шма, Исроэл!* — Начальные стихи одноименной молитвы, которые громко произносятся верующими в минуту опасности.

НЕМЕЦ

Впервые опубликован в еженедельнике «Ди юдише фолксцайтунг» («Еврейская народная газета»), Варшава, 1902.

СКРИПКА

Впервые опубликован в журнале «Ди юдише фамилие» («Еврейская семья»), Варшава, 1902.

Стр. 247. *...то ли Тувал-Каин, то ли Мафусаил...*— Эти персонажи на скрипке не играли, первым скрипачом, по Библии, был Иувал.

Паганини его звали, тоже еврей.— Паганини Николо (1782—1840) — прославленный итальянский скрипач и композитор.

БУДЬ Я РОТШИЛЬД...

Впервые опубликован в «Дер юд» в 1902 г.

Стр. 260. *Иешибот* — духовное училище, готовящее раввинов.

...все семь наук и все семьдесят языков.— Согласно талмудической классификации, существует только семь наук и семьдесят языков.

Стр. 261. *...тетя Рейзя.*— Имеется в виду Россия.

ГИМНАЗИЯ

Впервые опубликован в «Юдише фолксцайтунг», 1902.

Из серии «Железнодорожных историй», написанных Шолом-Алейхемом в продолжении 1902—1910 гг. Для юбилейного издания автор большую часть из них объединил под общим названием «Железнодорожные рассказы (записки коммивояжера)», предпослав вводное слово «К читателям».

Стр. 269. *Бармицве.*— Религиозное совершеннолетие для мальчиков, которые достигают тринадцати лет.

Стр. 270. *...имеются две кошки.*— Игра слов. По-еврейски кошка — кац.

Из-за процентов! — Царское правительство установило норму для приема евреев в средние и высшие учебные заведения.

...провалился, как Койрах.— Согласно библейской легенде, Койрах восстал против пророка Моисея и был наказан: земля его поглотила.

ГОРШОК

Впервые опубликован в «Дер юд» в 1902 г.

Стр. 278. *...и обет давала за него в синагоге, и «продавала» его, и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила...*— Суеверные родители считали, что ребенка можно исцелить, давая обет, пополняя кассу синагоги, жертвуя на благотворительные цели сумму, составляющую числовое значение букв имени больного («продавать» и «выкупать»), добавляя имя Хаим (по-еврейски — жизнь) к имени больного.

Стр. 282. *...горшок... придется выкинуть.*— Иудейская религия предписывает иметь раздельную посуду для мясной и молочной пищи. В случае если молочное попадает в мясную посуду и наоборот, она подлежит уничтожению.

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Впервые опубликован в «Ди юдише фолксцайтунг» в 1902 г.

Стр. 289. *...англичане и буры...*— Имеется в виду захватническая империалистическая война Англии 1899—1902 гг. против южно-африканских республик Оранжевая и Трансвааль.

Стр. 300. *«Ваше преподобие, як не псак, то псакец, нехай будэ яхлойку».*— Смесь украинских и еврейских слов; поговорка, означающая: «не по-нашему, не по-вашему — поделимся».

Стр. 301. *...кагал...*— община, сборище.

Стр. 308. *Коперников* — искаженное от Л. А. Куперник (1845—1905), киевский адвокат и публицист.

МАФУСАИЛ

Впервые опубликован в еженедельнике «Дер юд» в 1902 г.

Стр. 316. *Мафусаил* — библейский персонаж, олицетворяет долголетие; «всех дней» его, по рассказу Библии, «было девятьсот шестьдесят девять лет».

Стр. 321. *Талмудтора* — начальная еврейская религиозная школа, которая содержится на средства общины.

ЗА СОВЕТОМ

Впервые опубликован в газете «Дер тог» («День»), СПб. 1904.

Стр. 327. *И для города Кишинева он опять-таки дал больше всех.*— Имеются в виду пожертвования в пользу пострадавших от погрома в Кишиневе в 1904 г.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Впервые опубликован в «Дер фрайнд» в 1904 г.

Стр. 337. *«Море Небухим»* («Учитель заблудших») — сочинение еврейского философа и богослова Маймонида (1135—1204).

Стр. 345. *Габай* — староста в синагоге.

Милосердные из милосердных.— Характеристика евреев в Талмуде.

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ СРЕДИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Под названием «Великий переполох в Касриловке» впервые опубликована в «Дер фрайнд» в 1904 г.

Стр. 354. *...из-за дела Дрейфуса...*— Позорное судилище над офицером французского генерального штаба, ложно обвиненным в 1894 г. французской реакцией и военщиной в шпионаже и предательстве.

Стр. 359. *Маца* — лепешка из неквашеного теста, которую религиозные евреи употребляют на пасху вместо обычного хлеба.

Стр. 361. *Хомец* — мучные изделия из квашеного теста; иудейская религия запрещает употреблять хомец в дни праздника пасхи.

Стр. 362. *...как сыны Израиля удирают от филистимлян...*— Согласно библейским рассказам, древние евреи, проживавшие в Палестине, неоднократно страдали от нашествий и грабежей филистимлян.

Стр. 362. *Шабес* — суббота.

Кугл — субботнее сладкое блюдо.

Стр. 366. *Чолнт* — приготовленное в пятницу мясное блюдо для субботнего обеда и сутки сохраняющееся в вытопленной печи.

Стр. 367. *...чем Аман на грохот трещоток.*— При упоминании Амана во время чтения книги «Есфири» в праздник пурим гремят трещотки, что символизирует акт уничтожения врагов еврейского народа.

«Техинес» — сборник молитв для женщин.

Стр. 378. *...Левиафана и ...быка-великана.*— Легендарные рыба и бык, от которых, по религиозным верованиям, лишь набожные евреи удостоятся чести вкусить на «грядущем пиршестве» праведников.

ИОСИФ

Впервые опубликован в газете «Дер вег» («Путь»), Варшава, 1905.

Стр. 390. *...и боюсь хрюкающего.*— Имеется в виду свинина; правоверным евреям есть свинину не дозволено.

МЕЛАМЕД БОЙАЗ

Впервые опубликован в газете «Дер вег», Варшава, 1905.

Стр. 407. *Гог и Магог.*— Племена, упоминаемые в Библии, враждовавшие с древними евреями.

ТРИ ВДОВЫ

Впервые опубликован в «Дер фрайнд» в 1907 г.

Стр. 422. *Книга Иова* — одна из частей Библии, философская поэма, проникнутая пессимизмом, мыслью о безнаказанности и торжестве зла на земле.

Стр. 430. *Бундовец* — принадлежащий к «Бунду»,— еврейской рабочей партии меньшевистского толка.

Стр. 431. *Кант* Иммануил (1724—1804) — родоначальник классической немецкой философии, идеалист.

Спиноза Бенедикт (1632—1677) — великий амстердамский философ-материалист и атеист.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — реакционный немецкий философ-идеалист.

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ-идеалист и социолог.

НОВОСТЕЙ НИКАКИХ

Впервые под названием «Два поздравительных письма к Новому году» опубликован в «Дер фрайнд» в 1907 г.

Стр. 436. *Крушеван* Паволакий (1860—1909) — член Государственной думы, издатель реакционных газет «Бесарабец» и «Друг», черносотенец, представитель крайнего антисемитизма.

МАЛЬЧИК МОТЛ

Впервые повесть публиковалась частями в течение 1907—1908 гг. в еженедельнике «Дер юдишер фолк» и в газете «Дер фрайнд». Впоследствии была издана автором отдельной книгой «Мотл — сын кантора Пейси». В 1910 г. она впервые была переведена на русский язык под названием «Дети черты». Книга была послана А. М. Горькому. В ответ Шолом-Алейхему он писал:

«Искренне уважаемый собрат!

Книгу вашу получил, прочитал, смеялся и плакал. Чудесная книга! Перевод, мне кажется, сделан умело и с любовью к автору. Хотя местами чувствуется, что на русском языке трудно передать печальный и сердечный юмор оригинала. Я говорю — чувствуется.

Книга мне сильно нравится. Еще раз скажу — превосходная книга! Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни.

Искренне желаю Вашей книге успеха, не сомневаюсь в нем.

Крепко жму руку.

М. Горький.

Капри, 21.IV 1910 г.»

Горьковское письмо глубоко обрадовало Шолом-Алейхема. Но он тяжело болел, и ответ был продиктован дочери:

«Многоуважаемый Алексей Максимович!

Пишу Вам под диктовку моего отца, Шолом-Алейхема.

Ваше короткое, но выразительное и прочувствованное письмо застало его в постели, как раз во время сильного недомогания, постигшего его вследствие наступившей у нас неслыханной жары. Потребовались консультации врачей, вызов профессора и прочая бестолочь, которым, по мнению больного, грош цена. Братски выраженное Вами мнение подействовало на него, говорит он, лучше всяких велемудрых профессоров и хитропридуманных лекарств...

Примите рукопожатие от дочери Шолом-Алейхема, которая является Вашей, неведомой Вам, поклонницей.

Ляля Кауфман.

Нерви, 22.4.1910».

В советское время «Мотл — сын кантора Пейси» неоднократно издавался на русском языке под названием «Мальчик Мотл».

Стр. 442. *...симхес-тойре* (радость о торе) — название заключительного дня праздника кущей.

Стр. 443. *«Мишнаэс»* — сборник законоположений в шести частях, составляющий древнейшую основу Талмуда.

Стр. 450. *Могин-довид* («Щит Давида») — шестиконечная звезда, символ иудаизма, для правоверных евреев служит талисманом.

Стр. 453. *«Да возвеличится...»* — начальный стих заупокойной молитвы.

Стр. 456. *Вашти* (Астинь).— Согласно библейской книге «Есфирь», жена Артаксеркса.

Стр. 468. *Тноим* — брачный акт, который составляется до венчания и в котором оговорены материальные условия помолвки.

Стр. 475. *Рамбам* — рабби Моше бен Маймон, или Маймонид (см. примеч. к стр. 337).

Стр. 493. *«Агоде»* и *«Слихес».*— «Агоде» («Хагада») — книга сказаний и легенд об исходе евреев из Египта. «Слихес» — сборник предновогодних молитв о всепрощении.

Стр. 514. *Тышебов* — девятый день месяца Аба (июль), день поста и скорби в память разрушения иерусалимского храма.

Стр. 516. *Колумбус* — Колумб Христофор (ок. 1451—1506), мореплаватель, открывший Америку.

Стр. 516. *Гумбольд* Александр (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и географ.

Стр. 526. *Монтефиоре* Мойше (1784—1885) — английский банкир и филантроп.

Стр. 531. *Бокль* Генри Томас (1821—1862) — английский прогрессивный буржуазный социолог.

Стр. 542. *«Ольянц»* — искаженное «Альянс», комитет помощи эмигрантам.

Стр. 547. *«Эзра»* («Помощь») — благотворительный комитет.

Стр. 566. *Дизраэли* Бенджамин (лорд Биконсфилд, 1804—1881) — крупный английский политический деятель и писатель.

Стр. 568 *Йорцайт* — ежегодный обряд вспоминания души в день смерти близкого, сопровождаемый зажиганием свечей и чтением поминальной молитвы Кадиш.

Миньен — необходимый кворум (десять мужчин в возрасте старше тринадцати лет) для совершения синагогального богослужения.

ТРИ ГОЛОВКИ

Впервые опубликован в «Дер фрайнд» в 1908 г.

Стр. 577. *Хошанараба* — название седьмого дня праздника кущей.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОДНЕ

Из серии «Железнодорожные рассказы». Впервые опубликован в газете «Ди найе велт» («Новый мир»), Варшава, 1909.

КОНКУРЕНТЫ

Из серии «Железнодорожные рассказы». Впервые опубликован в «Ди найе велт» в 1909 г.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Первые две части под названием «Страничка из «Песни Песней» были опубликованы в 1909 г. в газете «Дер фрайнд», третья часть под названием «В эту пасхальную ночь» — в газете «Дер американер» («Американец», Нью-Йорк, 1911), четвертая — под названием «Суббота после швуэс» — в газете «Юдишес тагесблат» («Ежедневная еврейская газета», Нью-Йорк, 1911).

Стр. 596. *Каббала* — религиозно-мистическое учение, возникшее среди евреев в VIII веке.

Стр. 604. *Александр Македонский* (356—323 гг. до н. э.) — царь Македонский, завоеватель Древнего Востока, в том числе и Иудеи. С его именем связаны различные легенды, зафиксированные в Талмуде.

Стр. 616. *Харойсес* — смесь из яблок, орехов и слив, служит приправой для некоторых блюд пасхальной трапезы.

Афикоймен — ломтик мацы. Кладется под подушку, на которую опирается глава семейства, первенствующий за пасхальным чином (седером). Одна часть афикоймена съедается после окончания пасхальной трапезы, другая — сохраняется до следующего года, так как она, по представлению верующих, предохраняет от злосчастий.

НА-КОСЯ — ВЫКУСИ!

Из серии «Железнодорожные рассказы». Впервые опубликован в «Ди найе велт» в 1910 г.

Стр. 632. *...словишь «проходное»...* — то есть проходное свидетельство, выдаваемое полицией взамен отобранного паспорта.

Только бы не идти по этапу! — Имеется в виду насильственное выдворение из мест, где евреям в царское время жить не разрешалось.

«ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ»

Из серии «Железнодорожные рассказы». Впервые опубликован в газете «Дер момент» («Момент»), Варшава, 1910.

Стр. 638. *Толмачев* — градоначальник Одессы в 1907—1911 гг., черносотенец и антисемит.

Стр. 641. *Ханука* — иудейский праздник, справляется ежегодно в течение восьми дней в память освящения иерусалимского храма и освобождения Иудеи от греческого владычества (II век до н. э.).

СЛОВО ЗА СЛОВО

Впервые опубликован в «Дер тог» в 1915 г.

Стр. 650. *Моэл* — священнослужитель, совершающий обряд обрезания крайней плоти у младенцев.

Стр. 656. *Молох* — свирепый бог у финикиян, символ кровожадности.

БЕРЛ-АЙЗИК

Впервые опубликован в «Дер тог» в 1915 г.

Стр. 661. *Капорес* — магический искупительный обряд, который совершается в ночь накануне Судного дня, состоит в том, что мужчина трижды вертит над своей головой петуха (женщина — курицу), произнося при этом молитву «Да будет это искуплением моим...».

Лулев и эсрог — магический имитативный обряд, совершаемый в дни праздника кущей. В одной руке держат лулев, состоящий из пальмовой ветви, перевязанной тремя миртовыми и двумя вербными ветками, а в другой — эсрог, особый сорт лимона, и ими потрясают, что, по представлению верующих, служит магическим средством для вызова ветра и дождя.

М. Беленький

СОДЕРЖАНИЕ

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 197

Шолом-Алейхем

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК. РАССКАЗЫ

*

Редактор Б. Грибанов

Оформление библиотеки
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
М. Фридкина

Корректор М. Муромцева

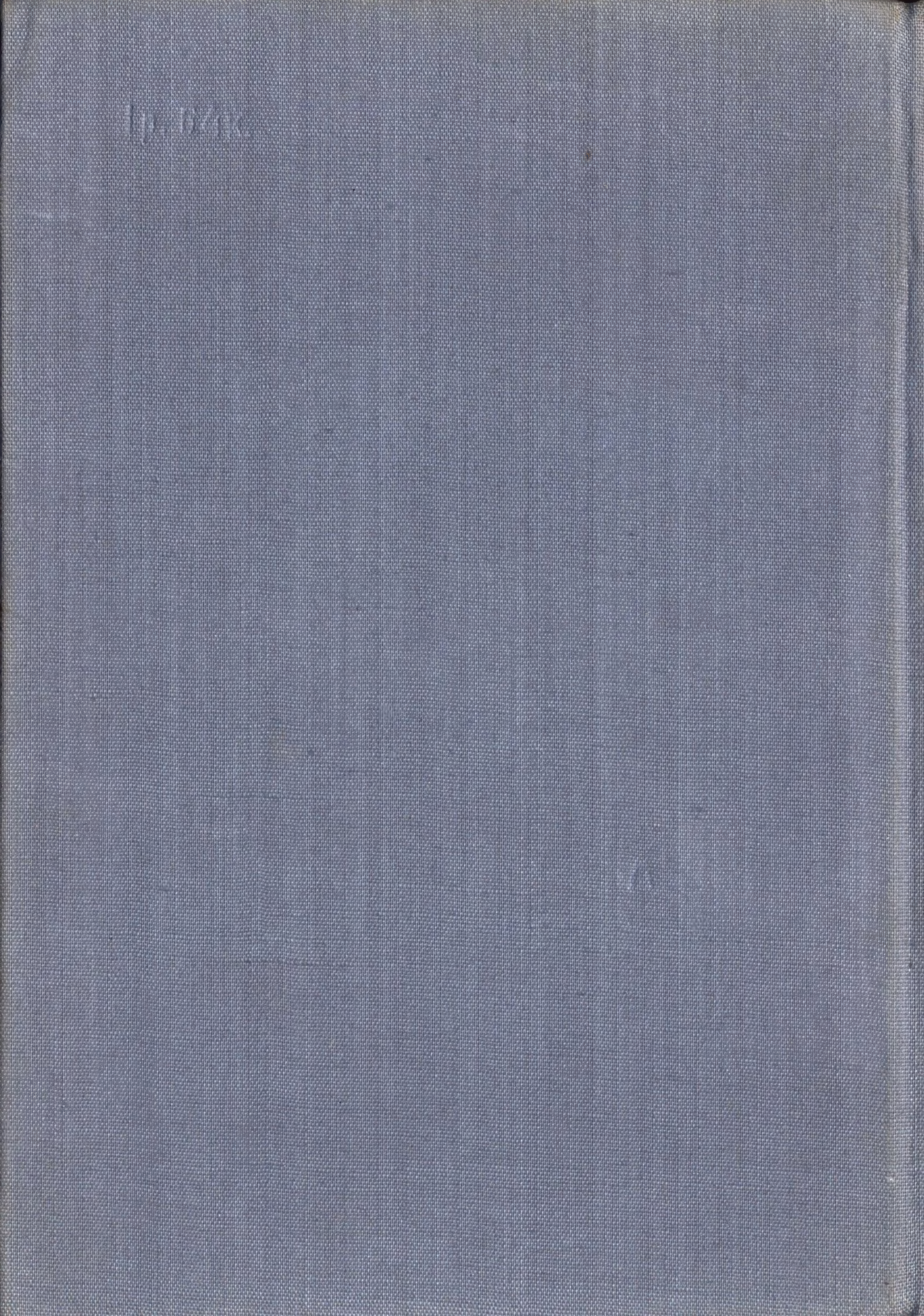
*

Сдано в набор 11/XII 1967 г. Подписано к печати 29/V 1968 г. Бумага типографская № 1. 60 × 84[1]/16. 43 печ. л. 40,12 усл. печ. л. 38,301 уч.-изд. л. + 8 накидок + 1 вкл. = 39,321 л. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 982.
Цена 1 р. 64 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16



ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМ